878114

3 495

Пр. 2010

878114

БРИЛЛІАНТЫ, РУБИ
и САПФИРЫ

Большое дело часовъ
НЕВСКІЙ пр.
№ 32.

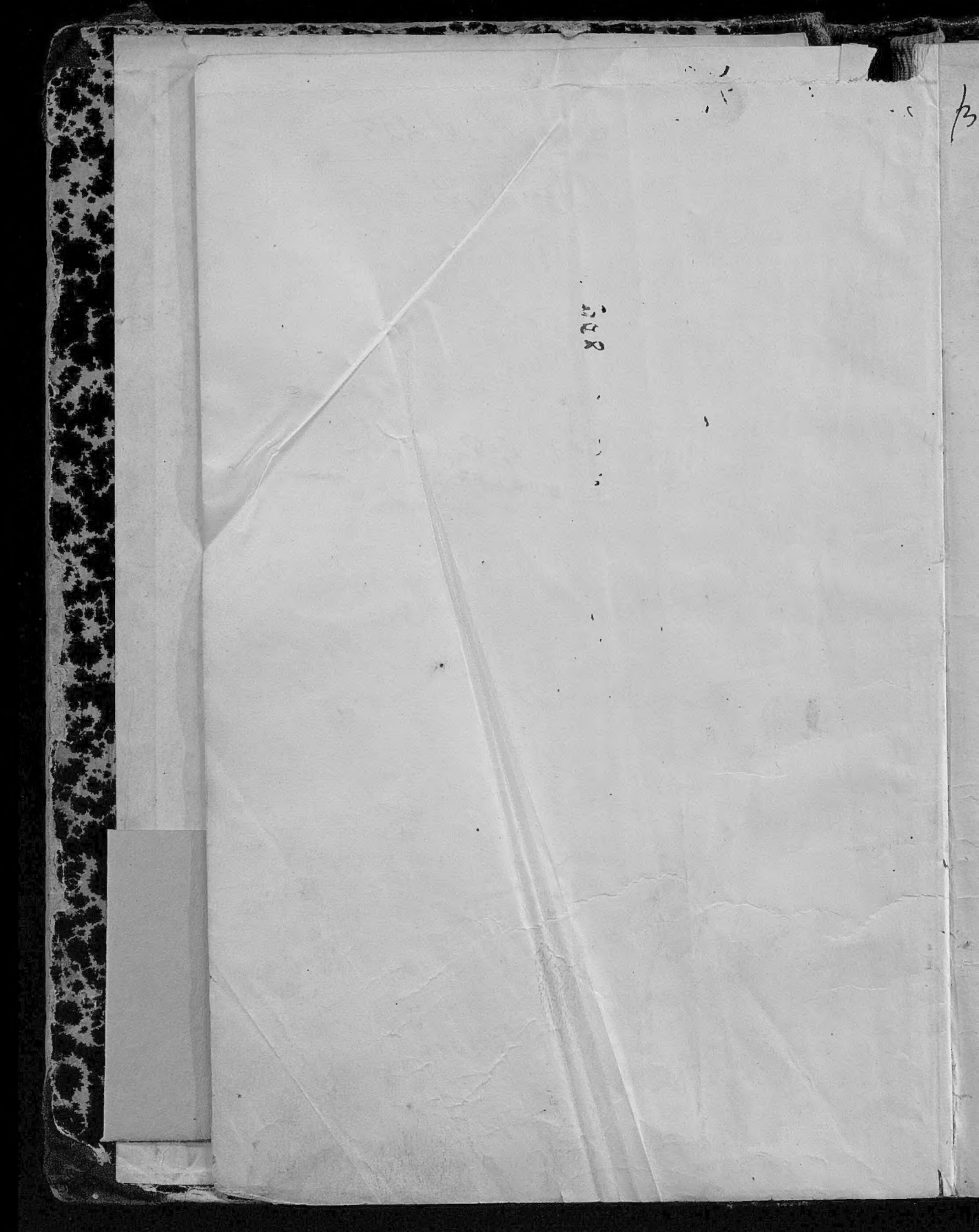
ОДФ-ии

Хр. Л. № 823.

Отд. IV, № 450.

трясти
нести
пасти
везти
порости
лѣзть
глохнуть

ОБМЕН



В-106870

Проверено 1949 г.

СОБРАНІЕ
КРИТИЧЕСКИХЪ МАТЕРІАЛОВЪ
ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЙ
И. С. ТУРГЕНЕВА.

ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ.

Т-1403

СОСТАВИЛЪ

В. Зелинскій.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

Ученической Библіотеки Петроградскаго Земледѣльческаго Училища

МОСКВА.
Типографія А. Г. Кольчугина, Волхонка, домъ Воейковой.
1895.

8Р
3-495

Научная библиотека
Уральского
Госуниверситета
г. Свердловск
878114

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Второе изданіе „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“, вслѣдствіе значительнаго дополненія и расширенія критическихъ статей, не могло вмѣститься въ двухъ выпускахъ, а потребовало еще особаго дополненія къ нимъ. Этотъ печатающійся дополнительный выпускъ заключаетъ въ себѣ: разборы послѣднихъ произведеній И. С. Тургенева, начиная съ „Нови“, библіографическій указатель къ сочиненіямъ Тургенева, алфавитные указатели къ „Собранію критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева, похороны Тургенева и отзывы иностранной печати о Тургеневѣ по поводу его смерти.

В. Зелинскій.

ОГЛАВЛЕНІЕ 2-го ВЫПУСКА.

Отъ издателя . . . . . I.

Дворянское гнѣздо.

Критическія статьи:

Стран.

П. Анненкова. 1
Ап. Григорьева. 6
Д. Писарева 7
Ап. Григорьева 8
А. Незеленова . . . . . —
П. Евстафьева 11
М. Де-Пуле. 15
В. Буренина 18
Ю. Николаева 20

Дѣйствующія лица „Дворянскаго гнѣзда“ въ отдѣльности.

Лаврецкій.

Критическія статьи:

Ап. Григорьева 29
М. Де-Пуле. 31
П. Евстафьева 32
Н. Добролюбова. 34
Д. Писарева 35
П. Анненкова 39
О. Миллера 45
В Буренина 48
А. Незеленова 50
Ю. Николаева 52

Лиза.

Критическія статьи:

П. Евстафьева 58
М. Де-Пуле. 60
М. Авдѣева 62
Д. Писарева . . . . . —
Н. Невзорова. 66
П. Анненкова. 67
О. Миллера 80
В. Буренина 81
А. Незеленова 83
Ю. Николаева 91

Паншинъ.

Критическія статьи:

П. Евстафьева 95
П. Анненкова. 97
Д. Писарева 98
О. Миллера 102
Ап. Григорьева 103
А. Незеленова 104

Варвара Павловна Лаврецкая.

Критическія статьи:

П. Евстафьева 107
Ап. Григорьева 108
П. Анненкова. 109
В. Буренина 112

Михалевичъ.

Критическія статьи:

О. Миллера. 113
А. Незеленова 115

Иванъ Петровичъ (отецъ Лаврецкаго).

Критическія статьи:

Ап. Григорьева 118
С. Венгерова. . . . . —

Марѳа Тимоѳеевна.

Критическая статья
П. Евстафьева 119

Леммъ.

Критическая статья
А. Незеленова 119

„Наканунѣ“.

Критическія статьи:

П. Басистова 122
Изъ „Русскаго Слова“.
Статья Н. К—аго 124
П. Басистова. 126
Д. Писарева 128
Изъ „Невскаго Сборника“.
Статья Алкандрова 129
Н. Добролюбова. 132
В. Буренина 133
А. Незеленова 136
Ю. Николаева 139

Дѣйствующія лица «Наканунѣ» въ отдѣльности.

Елена.

Критическія статьи:

Изъ „Русскаго Слова“.
Статья Н. К—аго 144
М. Авдѣева. 147
О. Миллера . . . . . —
П. Басистова. 148
Н. Добролюбова. 153
Д. Писарева 155
Изъ „Современника“.
Статья А. О. 156
В. Буренина 162
А. Незеленова 166
Ю. Николаева 171

Инсаровъ.

Критическія статьи:

Изъ „Русскаго Слова“.
Статья Н. К—аго 172
М. Авдѣева 174
П. Басистова 176
Н. Добролюбова. 181
С. Венгерова. 184
Д. Писарева . . . . . —
В. Буренина 187
А. Незеленова 189

Берсеневъ.

Критическія статьи:

Изъ „Русскаго Слова“.
Статья Н. К—аго 196
Н. Добролюбова. 199
А. Незеленова 200

Шубинъ.

Критическія статьи:

Изъ „Русскаго Слова“.
Статья Н. К—аго 201
А. Незеленова 203

Курнатовскій.

Выдержка изъ статьи Н. Добролюбова. 206

Уваръ Ивановичъ.

Критическая статья
А. Незеленова 207

„Первая любовь“.

Критическія статьи:

	Стран.		Стран.
С. Венгерова.	209	В. Буренина	221
Изъ „Русскаго Слова“. Статья П. К—аго	—	А. Незеленова	223

„Отцы и дѣти“.

Общіе отзывы о романѣ.

Критическія статьи:

П. Страхова	225	А. Скабичевскаго	238
В. Буренина	226	М. Антоновича	242
Н. Страхова	229	В. Буренина	245
Д. Писарева	230	Изъ „Русскаго Вѣстника“.	247
Н. Страхова	231	И. С. Тургенева	252
Изъ „Русскаго Вѣстника“.	234	В. Буренина	254
„ „Библіотеки для чтенія“	238	Н. Соловьева.	255
		А. Незеленова	256

Дѣйствующія лица романа каждое въ отдѣльности.

Базаровъ.

а) *Базаровъ какъ типъ, герой и характеръ.*

Критическія статьи:

Д. Писарева	265	Н. Страхова	268
Изъ „Русскаго Вѣстника“.	266	Изъ „Русскаго Вѣстника“.	269
Н. Страхова	—	„ „Мысли“. Статья NN.	—
Изъ „Русскаго Вѣстника“.	267	К. Григорьева	272
„ „Библіотеки для чтенія“	—	А. Незеленова	281

б) *Базаровъ со стороны нравственности, ума и дѣла.*

Критическія статьи:

М. Антоновича	284	О. Миллера	288
Изъ „Русскаго Вѣстника“.	285	А. Скабичевскаго. . . .	289
Н. Страхова	286	Изъ „Русскаго Вѣстника“.	290
Изъ „Библіотеки для чтенія“	—		

в) *Базаровъ какъ нигилистъ и циникъ.*

Критическія статьи:

М. Авдѣева 291
О. Миллера 292
Н. Страхова . . . . . —
О. Миллера 296
Изъ „Библіотеки для чтенія“ 298

г) *Базаровъ въ отношеніи трагизма.*

Критическія статьи:

Д. Писарева 299
О. Миллера 302
А. Скабичевскаго 305

Второстепенныя лица въ романѣ.

Критическія выдержки:

В. Буренина 308
Н. Страхова 308
М. Антоновича 309
Д. Писарева 309
Изъ „Русскаго Вѣстника“. 310
Н. Страхова 311
Д. Писарева 311
Изъ „Русскаго Вѣстника“. 312
М. Антоновича 313
Н. Страхова 313
Изъ „Русскаго Вѣстника“. 314
Д. Писарева 314
Изъ „Русскаго Вѣстника“. 314
М. Антоновича 315
В. Буренина 316
Изъ „Библіотеки для чтенія“. 316
Н. Страхова 317

„Призраки“.

Критическія статьи:

Е. Эдельсона 317
М. Антоновича 325
А. Незеленова 328

„Собака“.

Критическія статьи:

А. Суворина 339
С. Венгерова 344

„Довольно“.

Критическія статьи:

В. Буренина 344
А. Незеленова 347

„Дымъ“.

Критическія статьи:

	Стран.
П. Соловьева	352
В. Буренина	352
П. Анненкова	352
П. Страхова	354
В. Буренина	358
Изъ „Отечественныхъ Записокъ“	360
Н. Соловьева	361
П. Анненкова	363
А. Скабичевскаго	364
П. Анненкова	367
Н. Страхова	369
Изъ „Голоса“	371
Ю. Николаева	385

Дѣйствующія лица „Дыма“.

Литвиновъ.

Критическія статьи:

О. Миллера	391
Н. Соловьева	391
А. Скабичевскаго	392
П. Анненкова	394
Н. Лунина	395

Ирина.

Критическія статьи:

Н. Соловьева	406
П. Анненкова	410
А. Скабичевскаго	413
Н. Лунина	414

Потугинъ.

Критическія статьи:

О. Миллера	427
Н. Соловьева	427
П. Анненкова	428
Н. Лунина	429

Губаревъ.

Критическая выдержка П. Соловьева 433

Ворошиловъ.

Критическая выдержка Н. Соловьева 433

Татьяна.

Критическая выдержка А. Скабичевскаго. 434

Беллетристическіе этюды Тургенева въ періодъ между „Дымомъ“ и „Новью“.

Общая критическая статья В. Буренина 434

„Лейтенантъ Ергуновъ“.

Критическая выдержка П. Страхова 437

„Несчастная“.

Критическія статьи:

Изъ „Голоса“	437
Н. Страхова	439
К. Григорьева	440

„Странная исторія“.

Критическая статья А. Незеленова 441

„Стукъ, стукъ, стукъ!“

Критическія статьи:

И. Страхова 445
Изъ „Дѣла“. Статья Постнаго 445
А. Незеленова 447

„Вешнія воды.“

Критическая статья Постнаго изъ „Дѣла“. 449

„Наши послали.“

Критическая статья (М.) изъ „Русскаго Вѣстника“. . 451

„Пунинъ и Бабуринъ.“

Критическія статьи:

Н. Михайловскаго. . . . 452
Изъ „Русскаго Вѣстника“. Статья (М.) 455

„Живыя мощи.“

Критическая статья О. Миллера. 460

„Дворянское гнѣздо".

*) Трудно сказать, начиная разборъ новаго произведенія г. Тургенева, что болѣе заслуживаетъ вниманія: само ли оно со всѣми своими достоинствами или необычайный успѣхъ, который встрѣтилъ его во всѣхъ слояхъ нашего общества. Во всякомъ случаѣ, стоитъ серіозно подумать о причинахъ того единогласнаго сочувствія и одобренія, того восторга и увлеченія, которые вызваны были появленіемъ *Дворянскаго гнѣзда*. На новомъ романѣ автора сошлись люди противоположныхъ партій въ одномъ общемъ приговорѣ; представители разнородныхъ системъ и воззрѣній подали другъ другу руку и выразили одно и то же мнѣніе. Романъ былъ сигналомъ повсемѣстнаго примиренія и образовалъ родъ какого-то литературнаго *trève de Dieu*, гдѣ каждый позабылъ на время свои любимыя мнѣнія, чтобы вмѣстѣ съ другими спокойно насладиться произведеніемъ и присоединить голосъ свой къ общей и единодушной похвалѣ. Конечно, тутъ можно видѣть торжество поэзіи и художественнаго таланта, самовластно подчиняющихъ себѣ разнороднѣйшіе оттѣнки общественной мысли, но съ нѣкоторою основательностію тутъ можно предполагать также, что не каждая изъ рукоплещущихъ сторонъ одинаково понимаетъ внутреннее значеніе произведенія, и не каждая въ приговорѣ своемъ подразумѣваетъ именно то, что̀ другая.

Разбирать причины и, такъ-сказать, составныя части громаднаго успѣха, встрѣченнаго романомъ г. Тургенева—

*) П. Анненковъ. „Русскій Вѣстникъ" 1859 г., № 16. Также „Воспоминанія и критическіе очерки" Анненкова, отдѣлъ II.

не наше дѣло. Скажемъ только, что явленіе это, по нашему мнѣнію, принадлежитъ къ числу очень замѣчательныхъ явленій послѣдняго времени. Мы хорошо понимаемъ единодушіе въ приговорѣ, когда дѣло заходитъ объ общей идеѣ, въ которой каждый человѣкъ порознь или цѣлый народъ вмѣстѣ узнаютъ свою неотъемлемую собственность, свое отраженіе и цѣль для своихъ стремленій; но единодушіе передъ свободнымъ проявленіемъ авторской фантазіи, передъ вопросомъ искусства, передъ фигурами и образами, которые вызваны потребностію отдѣльнаго, частнаго лица, или его художническою прихотью—такое единодушіе представляетъ уже хорошую тему для изслѣдованія. Достаточно вспомнить, что для образованія подобнаго факта нужно было каждому изъ многочисленныхъ судей позабыть на время всѣ нажитыя имъ теоретическія отношенія къ другимъ людямъ (иначе онъ бы никогда съ ними не сошелся), и это вообще довольно рѣдко случается во всѣхъ литературахъ. При подобныхъ явленіяхъ уму наблюдателя неизбѣжно представляется одно изъ двухъ: или счастливое произведеніе вдругъ отвѣтило эстетическимъ и моральнымъ потребностямъ, жившимъ скрытною, затаенною жизнію въ умахъ большей части современниковъ, или при оцѣнкѣ произведенія существуетъ какого-либо рода недоразумѣніе, имѣющее право на раскрытіе и объясненіе.

Мы можемъ сказать откровенно, что, по искреннему нашему убѣжденію, въ составленіи успѣха новому произведенію г. Тургенева участвовали въ извѣстной мѣрѣ и то и другое изъ этихъ условій.

Когда-то, довольно давно, печатно было замѣчено, что для автора *Записокъ Охотника* періодъ поэтическихъ анекдотовъ съ тонкими чертами изъ народнаго быта, съ мастерски-заостреннымъ юмористическимъ словомъ, съ легкими, повидимому, но глубоко задуманными и сильно выработанными картинами и положеніями, прошелъ безвозвратно. Послѣ *Записокъ Охотника* автору не оставалось ничего болѣе, какъ пуститься въ открытое море полной, многосторонней народной жизни, если онъ не хотѣлъ укорениться въ одномъ

родѣ и вѣчно плавать у береговъ народнаго быта, въ этихъ анекдотахъ, похожихъ на изящныя, щеголеватыя лодочки, неоцѣнимыя для прогулокъ, для полусеріозныхъ и полушутливыхъ бесѣдъ, но мало пригодныя къ большому, долгому и серіозному плаванію за богатствами русскаго духа и русской поэзіи. Кромѣ сельскихъ подробностей, помѣщичьихъ и чиновничьихъ нравовъ, на очереди художническаго воспроизведенія стояло еще тогда цѣлое, такъ-называемое, образованное общество наше со всѣми разнообразными своими явленіями, которыя возникали, двигались, цвѣли и умирали безъ всякаго свидѣтеля, на подобіе невидимокъ, рѣдко-рѣдко оскорбляемыя любопытнымъ взоромъ наблюдателя. Изъ этого страннаго терема, созданнаго, какъ и всѣ терема, пренебреженіемъ, лѣностію мысли и самодовольствомъ писателей, г. Тургеневъ пытался съ самаго начала освободить нѣсколько образовъ, но онъ относился еще къ новому міру, куда вступалъ, очень горделиво; онъ какъ бы сомнѣвался, способенъ ли этотъ міръ къ независимой жизни въ искусствѣ, сумѣетъ ли онъ держать себя какъ слѣдуетъ и принесетъ ли онъ честь и похвалу своему покровителю. Вмѣсто того, чтобы попытаться уразумѣть черты открывшагося ему міра, авторъ сталъ *выбирать* между ними и, какъ бываетъ всегда въ такихъ случаяхъ, выносилъ на свѣтъ не то, что дѣйствительно имѣло силу и значеніе въ обществѣ, а то, что́ походило на самого искателя, на собственные его идеалы. Но явленія жизни неумолимы, какъ древніе боги. Ихъ не вызовешь презрѣніемъ или укоромъ, ихъ не дождешься, сложа горделиво руки на груди, и въ добавокъ ничѣмъ ихъ не замѣнишь: ими надо овладѣть открыто и честно, какъ овладѣваютъ сердцемъ гордой и благородной женщины, для чего очищаютъ и исправляютъ собственную свою мысль и собственную свою жизнь. Не всякій способенъ къ такому смѣлому приступу, который одинъ дастъ побѣду и обладаніе: вотъ почему большая часть изящныхъ произведеній, содержаніе которыхъ касалось исторіи нашего общества, отличалась въ то время выдумываніемъ явленій, подлогомъ и подставкой изобрѣтенныхъ мотивовъ, вмѣсто настоящихъ

и жизненныхъ. Покуда само общество хранило суровое, равнодушное молчаніе, — ложные слухи, произвольныя догадки и сплетни ходили о немъ по литературѣ безъ малѣйшаго препятствія. Даже Гоголь не могъ измѣнить литературную привычку къ выдумкѣ, лишь только основная интрига произведенія помѣщалась въ средѣ тѣхъ слоевъ общества, которые непосредственно слѣдуютъ за мелкимъ чиновничествомъ, сельскимъ дворянствомъ и городскимъ провинціальнымъ населеніемъ. Самые странные литературные букеты, не имѣвшіе ни формы, ни цвѣта, ни запаха, набирались именно на той почвѣ, которая принадлежала классамъ, заявляющимъ претензію на образованность, на умѣніе лучше понимать жизнь, и разумнѣе, богаче и художественнѣе устроивать ее. Великій примѣръ Гоголя принесъ одну только пользу: онъ обратилъ писателей въ чуткихъ сторожей, которые на порогѣ этого особеннаго и разнообразнѣйшаго общества проводили дни и ночи, ожидая, не покажется ли кто случайно изъ вѣчно замкнутыхъ и недоступныхъ дверей. Когда сама тѣснота и обиліе жизни, тамъ царствующей, выбрасывали какое-либо явленіе наружу, подобно тому, какъ нѣкоторыя многолюдныя страны выбрасываютъ излишекъ своего населенія въ Америку, неусыпные стражи устремлялись на жертву съ поспѣшностію и рвеніемъ людей, проживщихъ многія сутки безъ сна и дѣла или съ пустымъ дѣломъ въ рукахъ. Такимъ образомъ получили мы нѣсколько настоящихъ типовъ, разработанныхъ, надо признаться, очень удовлетворительно и множествомъ несомнѣнныхъ талантовъ, потому что таланты у насъ находятся въ обратной пропорціи со *знаніемъ:* знанія мало, дарованій много. Впрочемъ, мы все-таки должны быть благодарны этого рода литературному захвату, какъ ни мало требовалъ онъ доблести, усилій мысли и наблюденія. По милости его, мы пріобрѣли, какъ уже сказали, нѣсколько законченныхъ типовъ, напримѣръ, типъ *широкой натуры*, освободившей себя отъ всякой отвѣтственности передъ совѣстью, типъ *ничтожнаго характера* съ сильными претензіями и развитою головой, типъ *благонамѣреннаго* бюрократа, загоняющаго людей къ по-

рядку и добродѣтели, какъ стадо, и т. д. Мы подстерегали жизненныя явленія изъ-за угла не даромъ!

Немного ранѣе *Рудина*, и особенно съ этого романа, мы видимъ г. Тургенева уже въ серединѣ того круга, по внѣшней окраинѣ котораго ходила вся наша литература, и не только въ серединѣ, но въ прямомъ, открытомъ и свободномъ общеніи со всѣмъ его поэтическимъ, комическимъ и подъ часъ трагическимъ населеніемъ. Нажитыя понятія, предубѣжденія и предразсудки остались у него за порогомъ новаго міра, да и въ этомъ новомъ мірѣ онъ уже ищетъ не *исключительныхъ* явленій, которыми можно было бы поразить простыхъ людей, а ищетъ человѣка съ отношеніями, опредѣляющими и направляющими его. Какъ ни отрывчаты его разсказы, какъ ни слышится въ нихъ еще тайная робость за себя и за внутреннее достоинство выводимыхъ имъ лицъ, говоръ публики вокругъ новыхъ его произведеній показалъ, что онъ уже близокъ къ настоящему дѣлу, что ему остается превратить свои намеки въ ясные, положительные факты, договорить свои полуоткровенія, додѣлать фигуры, брошенныя наполовинѣ, и получить затѣмъ право на названіе лѣтописца современной жизни. Черезъ рядъ болѣе или менѣе удачныхъ опытовъ, г. Тургеневъ дошелъ, наконецъ, до простой, многозначительной драмы, какая является въ *Дворянскомъ гнѣздѣ*, и какихъ тысячи втихомолку разыгрываются по разнымъ угламъ нашего отечества, дошелъ до лицъ и характеровъ, нисколько не запятнанныхъ грубымъ авторскимъ произволомъ, и взятыхъ изъ неисчисленной движущейся толпы такъ-называемаго образованнаго общества, гдѣ они укрываются отъ лѣпиваго наблюденія; словомъ, онъ изобразилъ такое событіе, которое оказалось связаннымъ тончайшими нитями съ нашею современностію, съ сердцами всего настоящаго, или лучше, всего *отживающаго* поколѣнія. Таковъ былъ результатъ смѣлаго и вмѣстѣ дружелюбнаго отношенія къ жизни. Мудрено ли, что общество, узнавъ наконецъ въ яркой картинѣ одну изъ тайнъ собственнаго существованія, встрѣтило картину съ увлеченіемъ и восторгомъ, которыми оно обыкновенно награждаетъ людей, от-

крывающихъ ему дорогу къ самосознанію, къ оцѣнкѣ себя и къ суду надъ собою?

П. Анненковъ.

* * *

*) Произведенія Тургенева, говоритъ Аполлонъ Григорьевъ, представляютъ собой развитіе всей нашей эпохи; съ нею вмѣстѣ, онъ любилъ, вѣрилъ, сомнѣвался, проклиналъ, вновь надѣялся и вновь вѣрилъ—не боясь никакихъ крайнихъ граней мысли или, лучше сказать, увлекаясь самъ мыслію до крайнихъ ея граней и беззавѣтно отдаваясь всѣмъ увлеченіямъ. Отъ этого, читая его послѣднее произведеніе („Дворянское гнѣздо“) — вы что ни шагъ — повѣряете процессъ, который совершался въ цѣлой эпохѣ, что ни шагъ—сталкиваетесь съ образами, возродившимися, пожалуй, въ новыхъ и лучшихъ формахъ, но которыхъ сѣмена и даже зародыши коренятся въ далекомъ прошедшемъ. Вы поднимаете слой за слоемъ—и болѣе всего поражаетесь органическою связью словъ между собою... Доказательствомъ этой органической связи служитъ, въ особенности въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, исторія отца и дѣда Лаврецкаго, мѣсто, которое одному критику, въ числѣ многихъ другихъ мѣстъ, показалось, какъ онъ выразился, ретроспективнымъ... Что сказалось „Дворянскимъ гнѣздомъ“? Вся умственная жизнь послѣ-пушкинской эпохи, отъ туманныхъ началъ ея въ кружкѣ Станкевича, до рѣзкаго постановленія вопросовъ Бѣлинскимъ, и отъ рѣзкости Бѣлинскаго до уступокъ, весьма значительныхъ — сдѣланныхъ мыслію жизни и почвѣ... Борьба славянофильства и западничества, и борьба жизни съ теоріею—славянофильской или западною все равно — завершается въ поэтическихъ задачахъ Тургеневскаго типа побѣдою жизни надъ теоріями... Типъ, котораго послѣднимъ выраженіемъ у Тургенева является Лаврецкій, создавался долгимъ процес-

*) „Русское Слово“ 1859 г. и Сочиненія Аполлона Григорьева

сомъ, долженъ былъ воплотить въ себѣ весь этотъ процессъ, процессъ нашей послѣ-пушкинской эпохи. Но между тѣмъ, что должно было быть, и тѣмъ, что есть, что намъ дано — значительная разница. Судить о типѣ по тому, какъ онъ явился въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, и на этомъ только основаніи заключать о художественности или нехудожественности его выполненія и цѣлаго произведенія, въ которомъ онъ является — значитъ, положительно не понять дѣла по отношенію къ Тургеневу, не понять задачъ, внутренняго смысла его поэтической дѣятельности. Наше время есть время всеобщихъ исповѣдей, и такую искреннюю, полную исповѣдь болѣе всего представляютъ произведенія Тургенева вообще и „Дворянское гнѣздо“ въ особенности. Для того, чтобы понять послѣдніе результаты этой искренней исповѣди въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ — нужно было прослѣдить всю борьбу, высказывающуюся въ произведеніяхъ Тургенева. Только зная эту борьбу, можно понять все значеніе стиховъ, которые онъ влагаетъ въ уста Михалевичу, и весь смыслъ того смиренія передъ народною правдою, которое проповѣдуетъ Лаврецкій въ разговорѣ съ Паншинымъ.

Аполлонъ Григорьевъ.

* * *

*) Знаніе русской жизни, и притомъ знаніе не книжное, а опытное, выпесенное изъ дѣйствительности, очищенное и осмысленное силою таланта и размышленія, оказывается во всѣхъ произведеніяхъ Тургенева, и особенно ярко выразилось въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, самомъ стройномъ и законченномъ изъ его произведеній. Всѣ дѣйствующія лица его романа, начиная отъ русской дѣвушки, Лизы, и кончая русскимъ лакеемъ старыхъ временъ, Антономъ, въ высшей степени оригинальны и жизненны; всѣ они созданы изъ тѣхъ элементовъ, которые всѣ мы знаемъ,

*) Д. Писаревъ. „Разсвѣтъ“ 1859 г., № 4. Тоже Сочиненія Писарева.

и изъ которыхъ, со времени реформы Петра, мало по малу слагается наша общественная и частная жизнь. Всѣ они—представители настоящаго или непосредственнаго прошедшаго. *Д. Писаревъ.*

* * *

*) Если начать смотрѣть на „Дворянское гнѣздо“ математически — холодно, то постройка его представится безобразно недодѣланною. Прежде всего обнаружится огромная рама съ холстомъ для большой картины; на этомъ холстѣ отдѣланъ одинъ только уголокъ, или, пожалуй, центръ; по мѣстамъ мелькаютъ то совершенно отдѣланныя части, то обрисовки и очерки, то малеванье обстановки. Въ самомъ уголкѣ или, пожалуй, центрѣ, иное живетъ полною жизнію, другое является этюдомъ, пробой. А между тѣмъ, это и не отрывокъ, не эпизодъ изъ картины; нѣтъ, это драма, въ которой одно только отношеніе разработано; живое, органическое цѣлое, вырванное почти безжалостно изъ обстановки, съ которой оно связано всѣми своими нервами; и оборванныя нити, оборванныя связи безобразно висятъ на виду зрителей... Въ числѣ эпизодическихъ сценъ Тургеневскаго произведенія, т. е., эпизодическихъ въ отношеніи къ одному отдѣланному уголку его картины, а не къ цѣлому холсту, на которомъ задумывалась картина,— есть одна, особенно поразительная своею глубокою вѣрою въ развитіе, въ силы; — это сцена свиданія Лаврецкаго и Михалевича, сцена, въ которой рисуется цѣлая эпоха, цѣлое поколѣніе съ его стремленіями, глубоко-знаменательная *историческая* сцена, дополняющая изображеніе того міра, изъ котораго вышелъ „Рудинъ“. *А. Григорьевъ.*

* * *

**) „Дворянское гнѣздо“ имѣло самый большой успѣхъ, который когда-либо выпалъ мнѣ на долю,

говоритъ поэтъ въ предисловіи къ изданію своихъ сочи-

*) Аполлонъ Григорьевъ. „Русское Слово“ 1859 г. и Сочиненія А. Григорьева.
**) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

неній: собственное свидѣтельство Тургенева, что въ моментъ наибольшаго развитія его творческихъ силъ русское общество сумѣло понять своего великаго изобразителя.

Ни одно изъ созданій Тургенева не проникнуто такою смѣлою, такою горячею вѣрой, ни одно не можетъ быть названо такимъ задушевнымъ созданіемъ, какъ „Дворянское гнѣздо“. Здѣсь нарисованъ чистѣйшій во всей русской литературѣ (послѣ пушкинской Татьяны) женскій образъ, образъ Лизы; здѣсь передъ нами и тотъ изъ героевъ Тургенева, въ котораго онъ наиболѣе вѣрилъ, на котораго онъ возлагалъ наибольшія надежды,—Лаврецкій; рисуя его, поэтъ изобразилъ въ чудесной исторической и бытовой картинѣ и всѣ тѣ элементы, изъ которыхъ слагалась и слагается жизнь русскаго общества, какъ бы желая показать намъ, что этотъ герой его есть достигнутый результатъ великаго историческаго процесса.

„Весенній, свѣтлый день клонился къ вечеру; небольшія розовыя тучки стояли высоко въ ясномъ небѣ и, казалось, не плыли мимо, а уходили въ самую глубь лазури“.

Такими словами начинается романъ, и свѣтлый тонъ, звучащій въ нихъ, проникаетъ все произведеніе, съ начала и до конца, до тѣхъ словъ, которыми отживающій Лаврецкій привѣтствуетъ весеннюю жизнь молодого человѣческаго поколѣнія:

„Играйте, веселитесь, растите, молодыя силы... вамъ надобно дѣло дѣлать, работать,—и благословеніе нашего брата, старика, будетъ съ вами“ *).

„Дворянское гнѣздо“ — романъ въ самомъ широкомъ и полномъ смыслѣ этого слова: русская жизнь отразилась въ немъ всѣми своими сторонами: здѣсь и западничество, и славянофильство, и петербургское чиновничество съ его отвлеченнымъ высокомѣріемъ, и бытъ деревни и города, и всѣ тѣ элементы, въ настоящемъ и въ историческомъ прош-

*) Эти прекрасныя слова, по выбору поэта новаго поколѣнія русской литературы, были написаны на лентахъ лавроваго вѣнка, несеннаго передъ гробомъ великаго писателя юношествомъ того университета, въ которомъ онъ самъ получилъ воспитаніе.

ломъ русской жизни, изъ которыхъ слагается нашъ бытъ; съ одинаковымъ художественнымъ совершенствомъ нарисовалъ поэтъ и благородную фигуру нѣмца Лемма, и строгій образъ воспитательницы Лизы, Агафьи, и другихъ простыхъ русскихъ людей. И надо всѣмъ этимъ царитъ въ произведеніи, все освѣщая и осмысливая свѣтомъ своего религіознаго идеала, кроткій образъ цѣломудренной дѣвушки въ своей чистой и безупречной красотѣ.

Лучшая въ русской литературѣ критическая статья о „Дворянскомъ гнѣздѣ“ принадлежитъ Аполлону Григорьеву. Статья эта объясняетъ и всѣ предшествовавшія великому роману произведенія поэта. Анализируя „Дворянское гнѣздо“, критикъ находитъ, что романъ этотъ есть „огромный холстъ, натянутый для огромной исторической картины“, на которомъ „отдѣланъ только одинъ уголокъ или, пожалуй, центръ, а затѣмъ—по мѣстамъ мелькаютъ... то обрисовки и очерки, то малеванье обстановки; въ самомъ уголкѣ или, пожалуй, центрѣ иное живетъ полною жизнію, другое является этюдомъ, пробой... это драма, въ которой одно только отношеніе разработано; живое органическое цѣлое, вырванное почти безжалостно изъ обстановки, съ которой оно связано всѣми своими нервами“.—Прощая (если только умѣстно это слово и выражаемое имъ чувство), прощая критику несправедливость такого отношенія къ постройкѣ романа за превосходный анализъ его характеровъ и тургеневскихъ типовъ вообще, мы останавливаемся, однако, на вопросѣ, почему показалась неудачной постройка романа лучшему изъ истолкователей поэта?.. Должно быть, потому, что героемъ произведенія взятъ (какъ онъ признаетъ) человѣкъ односторонняго направленія — „славянофилъ“ Лаврецкій, хотя этотъ славянофилъ и далекъ отъ исключительности, и отличается широтой сочувствій и пониманія.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Послѣ Пушкина рѣдко кто изъ нашихъ писателей пользовался такой любовью публики, какъ Тургеневъ. Романъ его „Дворянское гнѣздо“ вызвалъ необыкновенный общій восторгъ. Причина его необычайнаго успѣха таится въ особенности дарованія Тургенева. Онъ умѣетъ въ неиспорченной природѣ человѣка открыть то поэтическое начало, ту божественную искру, которая — по выраженію Гоголя—хоть разъ, какъ „блистающая радость“ промчится въ жизни человѣка, чтобы согрѣть ее на все остальное время. Тургеневъ владѣетъ даромъ подмѣтить это поэтическое начало въ жизни человѣка и выразить его въ живомъ образѣ. Оттого-то онъ болѣе, чѣмъ кто-либо изъ новѣйшихъ писателей, очаровывалъ своихъ читателей, или— по выраженію того-же Гоголя—„окуривалъ упоительнымъ куревомъ людскія очи“. Тургеневъ вообще мастеръ рисовать русскую природу и русскихъ людей; но ни въ одномъ изъ его произведеній не видно столько свѣтлыхъ картинъ природы и ни въ одномъ съ такой любовью не раскрыта душа его *героевъ*, какъ въ романѣ „Дворянское гнѣздо“...

По содержанію своему и по обработкѣ характеровъ, романъ „Дворянское гнѣздо“ примыкаетъ къ замѣчательнѣйшимъ русскимъ романамъ съ общественнымъ значеніемъ, т. е.—къ „Евгенію Онѣгину“, „Герою нашего времени“, „Мертвымъ душамъ“ и „Обломову“. Въ этой немногочисленной семьѣ „Дворянскому гнѣзду“ принадлежитъ хорошее мѣсто. Задачи тургеневскаго романа родственны задачамъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Гончарова въ названныхъ сочиненіяхъ. Но „Дворянское гнѣздо“ имѣетъ на своей сторонѣ нѣкоторыя преимущества. Напримѣръ: здѣсь съ особенной полнотой охарактеризована та среда (т. е. дворянская), изъ которой наши романисты брали своихъ героевъ; лицъ больше, лица разнообразнѣе; анализъ причинъ умственной или нравственной несостоятельности дѣйствующихъ лицъ сдѣланъ полнѣе и отчетливѣе; герой ро-

*) П. Евстафіевъ. „Новая русская литература“.

мана, т. е. Лаврецкій, представляетъ характеръ гораздо болѣе разработанный и законченный, нежели Онѣгины, Печорины, Тентетниковы, Обломовы и Штольцы. Мало того, что Лаврецкій не „москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ“, что онъ не кичится „необъятными силами“ и вообще не довольствуется одними мечтами о дѣятельности, онъ доискивается, въ чемъ заключается его „вывихъ“; нравственнымъ страданіемъ скупаетъ этотъ недостатокъ, въ которомъ, впрочемъ, не самъ виновенъ, и въ продолженіе многихъ лѣтъ дѣйствительно „вправляетъ“ себя (какъ требовалъ Михалевичъ), дѣлаетъ добро, а подъ конецъ жизни достигаетъ драгоцѣннаго убѣжденія, что хотя ему грустить и сожалѣть есть о чемъ, но „стыдиться нечего“. Такимъ образомъ, романъ этотъ выставляетъ такого героя, который естественнѣе, понятнѣе и привлекательнѣе предыдущихъ, и въ которомъ съ большею отчетливостью представленъ идеалъ правильнаго воспитанія, семейнаго счастья и общественной дѣятельности.

Въ *ходѣ* повѣствованія замѣчается та особенность, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ повѣсть разступается, чтобы дать мѣсто вставкамъ. Эти вставки на столько существенны, что при помощи ихъ становится виднѣе смыслъ какъ отдѣльныхъ частей романа, такъ и всего сочиненія. Такъ, напримѣръ, большой эпизодъ, заключающій въ себѣ главы VIII—XVI, широкими рѣзкими чертами рисуетъ нравы и обычаи въ дворянскомъ родѣ Лаврецкихъ, потомъ—исторію дѣтства, воспитанія и студенческихъ годовъ Ѳедора Лаврецкаго, наконецъ—его-же неудачную женитьбу и всѣ тѣ душевныя и семейныя потрясенія, которыя онъ пережилъ и отъ которыхъ пріѣхалъ искать спасенія на родинѣ. Второй эпизодъ: глава XXV—неожиданный пріѣздъ къ Лаврецкому стараго его товарища, Михалевича; нескончаемый горячій споръ о предметахъ самыхъ отвлеченныхъ, а за тѣмъ—о своей молодости, разочарованіяхъ, тяжелыхъ урокахъ дѣйствительности и лучшихъ идеалахъ человѣка образованнаго и благороднаго. Въ спорѣ этомъ выясняются многія стороны какъ обоихъ друзей, такъ и того времени, подъ

вліяніемъ котораго они провели свои университетскіе годы.— Въ другихъ-же мѣстахъ, живописная, согрѣтая чувствомъ повѣсть смѣняется сценами, цѣлымъ рядомъ разговоровъ. Сцены идутъ быстро, съ необыкновеннымъ оживленіемъ и быстротой. Въ нихъ-то съ особенной выразительностію и раскрываются характеры дѣйствующихъ лицъ, черты нравовъ изображаемаго времени и общества.

Тонъ повѣствованія вездѣ проникнутъ искреннимъ чувствомъ, мѣстами юмористиченъ, напримѣръ, въ изображеніи сантиментальной Марьи Дмитровны; мѣстами переходитъ въ явную насмѣшку, напримѣръ, въ изобличеніи щепетильнаго, тщеславнаго Паншина; мѣстами полонъ глубокаго негодованія и призрѣнія, напримѣръ, въ изображеніи Варвары Павловны; но за то, мѣстами звучитъ высокимъ лиризмомъ, напримѣръ, при изображеніи душевныхъ движеній вообще и Лаврецкаго въ особенности. Всѣ эти элементы изложенія, взятые вмѣстѣ, составляютъ силу, красоту и увлекательность тургеневскаго романа.

Основная идея этого произведенія подсказывается авторомъ во многихъ мѣстахъ романа, напримѣръ: въ исторіи воспитанія Лаврецкимъ вообще, а Ѳедора Ивановича въ частности; въ томъ мѣстѣ спора съ Михалевичемъ, гдѣ послѣдній клеймитъ друга своего названіемъ эгоиста и, не слушая оправданія Лаврецкаго, что его *„съ дѣтства вывихнули“*, громитъ его кличкой *„злостнаго начитаннаго байбака“*, который сознательно лежитъ, не принимается за дѣло, и это—въ такое время, когда въ Россіи, по словамъ Михалевича, „на каждой отдѣльной личности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собой!“ Еще въ томъ мѣстѣ, гдѣ авторъ позволяетъ читать въ душѣ Лаврецкаго новыя, живительныя впечатлѣнія деревни, сельскаго труда, сельской природы. „Вотъ когда я на днѣ рѣки:“—думалъ Лаврецкій по возвращеніи въ деревню—„и всегда, во всякое время тиха и не спѣшна здѣсь жизнь. Кто входитъ въ ея кругъ, покоряйся: здѣсь не зачѣмъ волноваться, нечего мутить; здѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку

не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ. И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши!— На женскую любовь ушли мои лучшіе годы: пусть-же вытрезвитъ меня здѣсь скука, пусть успокоитъ меня, подготовитъ къ тому, чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло.“ — Окончательно-же и сполна Тургеневъ высказываетъ идею романа въ эпилогѣ. Вотъ это мѣсто: „Лаврецкій самъ бы себя не узналъ, если бы могъ такъ взглянуть на себя, какъ онъ мысленно взглянулъ на Лизу. Въ теченіе этихъ восьми лѣтъ совершился, наконецъ, переломъ въ его жизни, тотъ переломъ, котораго многіе не испытываютъ, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымъ человѣкомъ до конца: онъ дѣйствительно *пересталъ думать о собственномъ счастьи*, о своекорыстныхъ цѣляхъ. Онъ утихъ и—къ чему тапть правду?—постарѣлъ не однимъ лицомъ и тѣломъ, постарѣлъ душою; сохранить до старости сердце молодымъ, какъ говорятъ иные, и трудно и почти смѣшно; тотъ уже можетъ быть доволенъ, кто не утратилъ вѣры въ добро, постоянства воли, охоты къ дѣятельности. Лаврецкій имѣлъ право быть довольнымъ: онъ сдѣлался дѣйствительно хорошимъ хозяиномъ, дѣйствительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; онъ, насколько могъ, обезпечилъ и упрочилъ бытъ своихъ крестьянъ.“ И далѣе, при взглядѣ на свою прошлую жизнь: „грустно стало ему на сердцѣ, но не тяжело и не прискорбно: сожалѣть ему было не о чемъ, стыдиться—нечего.“ Наконецъ, въ привѣтѣ молодому поколѣнію: „играйте, веселитесь, растите молодыя силы! жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить: вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть;—и сколько изъ насъ не уцѣлѣло! а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать—и благословеніе нашего-брата, старика, будетъ съ вами!“ —Послѣ всѣхъ этихъ разъясненій не трудно читателю вывести слѣдующія основныя мысли изъ этого романа. Во-первыхъ, что жажда наслажденій, жажда личнаго счастья обманчива: она не только не даетъ счастья, но вообще не можетъ дать прочнаго со-

держанія для жизни. Эта мысль развита, какъ мы видѣли, и въ романѣ Гончарова, именно въ характерѣ Ольги Ильинской и въ характерѣ Обломова. Во вторыхъ, что то поверхностное, одностороннее воспитаніе и образованіе, которое давалось въ былое время въ дворянской средѣ, не могло развить въ человѣкѣ полнаго, дѣятельнаго и нравственнаго характера, а служило скорѣе душевнымъ „вывихомъ", какъ выразился Лаврецкій; и для выправки такого вывиха требовалось много силъ, а представлялось мало вѣроятности успѣха. Наконецъ, въ третьихъ, что, благодаря могучимъ преобразованіямъ, сдѣланнымъ державною рукою въ русской жизни,—и въ дворянской средѣ водворился новый, животворный духъ, исчезли тѣ условія, при которыхъ прежде уже съ дѣтства воспитаніе человѣка шло вкривь и вкось; поколѣніе, слѣдующее за Лаврецкими, можетъ развиваться правильно, жить жизнію полною, общественною, счастливою.

П. Евстафіевъ.

* * *

*) Повѣсть открывается рядомъ сценъ, на которыя выводятся слѣдующія лица: *Марья Дмитріевна Калитина*, тетка ея, *Марѳа Тимоѳеевна Пестова*, *Гедеоновскій*, нѣчто въ родѣ паразита, *Паншинъ*, нѣчто въ родѣ Калиновича, *Лиза*, дочь Марьи Дмитріевны, героиня романа, *Леммъ*, нѣмецъ—музыкантъ, и *Лаврецкій*, герой романа, дальній родственникъ Пестовыхъ. Дѣйствіе идетъ необыкновенно шибко. Читатель сильно заинтересованъ Мароой Тимоѳеевной, Леммомъ и Лаврецкимъ. Героиня романа пока остается въ туманѣ, на заднемъ планѣ. Впрочемъ, это обыкновенный пріемъ г. Тургенева—сберегать, такъ сказать, силы главнаго лица до поры до времени, пріемъ, вѣрно разсчитанный. По обыкновенію, всѣ герои Тургенева ведутъ трагическую борьбу. И хотя борьба эта бываетъ не одинаковой степени, но въ рѣшительный моментъ ея непремѣнно слѣдуетъ сберечь ге-

[1]) М. Де-Пуле. „Русское Слово" 1859 г., № 11.

рою достаточный запасъ силъ—иначе не будетъ борьбы, а слѣдовательно и поэзіи. Познакомивъ нѣсколько читателей съ своими героями, авторъ прерываетъ дѣйствіе и ведетъ въ продолженіе девяти главъ разсказъ о фамиліи Лаврецкихъ, съ исторіею которыхъ отчасти связывается и исторія Пестовыхъ. Вѣроятно, эта семейная хроника навела автора на мысль дать метафорическое названіе своей повѣсти, впрочемъ, вовсе неудачное. Исторія дома Лаврецкихъ не лишена интереса: авторъ мѣткими чертами изобразилъ членовъ этой фамиліи, насколько возможно изображеніе лицъ, стоящихъ на заднемъ планѣ. Но этотъ эпизодъ совершенно лишній и вмѣстѣ съ нѣсколькими главами, въ которыхъ является *Варвара Павловна*, жена Лаврецкаго, только безполезно удлиняющій повѣсть и ослабляющій силу впечатлѣнія, производимаго быстро развивающеюся трагедіей. Жаль, если авторъ съ намѣреніемъ сдѣлалъ это удлиненіе, желая чтобы сочиненіе его вышло романомъ, жаль потому, что намѣреніе это не осуществилось: *Дворянское гнѣздо* все-таки повѣсть, а не романъ: повѣсть потому, что представляемая имъ драма, правда, кипящая жизнію и трагическимъ элементомъ, немногосложна и не продолжительна, ее никакъ не хватило-бы на обширное поэтическое произведеніе, каковы романъ и собственно драма. И г. Тургеневъ, по нашему мнѣнію, насилуетъ свой талантъ, прибѣгая къ различнымъ средствамъ, сдѣлать *Дворянское гнѣздо* во что-бы то ни стало романомъ. Съ этой цѣлью онъ съ особеннымъ тщаніемъ занялся отдѣлками личности Варвары Павловны. Напрасно! Конечно, личность вышла хороша; правда и то, что личность прикосновенна къ дѣлу, но она заставляетъ читателя слишкомъ долго на себѣ останавливаться, въ ущербъ цѣлостности впечатлѣнія, производимаго трагедіей. Если уже пришлось говорить о недостаткахъ новаго произведенія г. Тургенева, то, кстати, скажемъ о нихъ разомъ. Самый крупный, бросающійся въ глаза недостатокъ —двойственность характера *Лаврецкаго:* Лаврецкій, по исторіи его фамиліи, Лаврецкій, такъ сказать, закулисный, и Лаврецкій въ дѣйствіи, передъ глазами читателей—два лица,

мало имѣющія между собою общаго. Кто знакомъ съ произведеніями Тургенева, тотъ сейчасъ-же замѣтитъ, что личность Лаврецкаго не новая. Она сильно напоминаетъ другихъ героевъ нашего автора: Лаврецкій—это *лишній человѣкъ* въ Божьемъ мірѣ, одинъ изъ тѣхъ *надломанныхъ* характеровъ, судьбу которыхъ такъ любитъ изображать авторъ *Записокъ Охотника*. Что Лаврецкій личность не новая — это капитальный недостатокъ *Дворянскаго гнѣзда:* поэту слѣдовало-бы разомъ (или много въ два-три пріема) отдѣлаться отъ преслѣдующей его идеи, чѣмъ пѣть на одну и ту-же тему постоянно. Впрочемъ, этотъ капитальный недостатокъ повѣсти объясняется недостаточностью художественнаго элемента въ нашемъ авторѣ. Жаль, что г. Тургеневъ беретъ своихъ *лишнихъ людей*, своихъ *байбаковъ*, уже готовыми лишними людьми и байбаками, нигдѣ не развивая художественнаго процесса байбачества.

Байбачество порождается вообще тѣми условіями общественнаго быта, которыя парализуютъ истинно—благую и гуманную дѣятельность, не оставляя пораженному субъекту ничего, кромѣ *мышія скуки*. Есть нѣчто глубоко трагическое въ этомъ пассивномъ положеніи, въ этой горькой необходимости лежать на боку! Литературный нашъ байбакъ также не новый: его затронулъ еще Карамзинъ, обработывали Пушкинъ и Лермонтовъ, авторъ *Кто Виноватъ*, Майковъ въ *Двухъ Судьбахъ*, Гоголь въ *Тентетниковѣ*. Но одни изъ нашихъ литературныхъ байбаковъ не что иное, *какъ Москвичи въ гарольдовыхъ плащахъ*, другіе слишкомъ абстрактны, отзываются сочиненіемъ на заданную тему. *Байбачество* г. Тургенева, хотя нигдѣ не удалось ему воплотить его въ глубоко-художественный образъ, отличается необыкновенною искренностію, народностію. Искренность (т. е. прямо выхваченное изъ жизни, а не сочиненное, выдуманное) и народность мы считаемъ понятіями синонимическими. Въ искусствѣ слѣдуетъ отличать поэтическую народность отъ бытовой; послѣдняя для писателей нашего времени камень преткновенія. Какъ истинный художникъ, Тургеневъ предиамѣренно ее обходитъ.

Научная библиотека
Уральского
Госуниверситета
г. Свердловск

Но за то въ изображеніи народности поэтической (т. е., въ изображеніи поэтическаго, свойственнаго народу, авторъ *Дворянскаго гнѣзда*—единственный у насъ мастеръ.

М. Де-Пуле.

* * *

*) Романъ этотъ при своемъ появленіи возбудилъ очень сильное впечатлѣніе и въ публикѣ и въ критикѣ. И первая и вторая признали его въ художественномъ отношеніи произведеніемъ необыкновеннымъ, высшимъ, чѣмъ всѣ прежнія беллетристическія работы Тургенева. Но въ то же самое время нѣкоторая часть и публики и критики, по преимуществу либеральной, осталась не совсѣмъ довольной—чѣмъ бы вы думали?—тѣмъ, что художникъ выставилъ положительный русскій типъ въ лицѣ героя романа, Лаврецкаго, тѣмъ, что онъ опоэтизировалъ! — его героиню Лизу. Эта героиня, по мнѣнію россійскихъ либеральныхъ читателей и критиковъ, не соотвѣтствовала идеалу дѣвицы, „свободной отъ нелѣпыхъ предразсудковъ“, идеалу, въ дни появленія „Дворянскаго гнѣзда“ уже начинавшему серьезно волновать умы и сердца тогдашней интеллигенціи и литературы. Иными словами говоря, и либеральные читатели и либеральная критика выказывали недовольство тѣмъ, что Тургеневъ въ созданіи своего героя и героини захотѣлъ остаться правдивымъ и нарисовать ихъ такими, какими они явились его творчеству подъ вліяніемъ наблюденій дѣйствительности; что онъ не обнаружилъ ни малѣйшаго поползновенія сыграть въ руку господствовавшей либеральной теоріи, подчиниться ея назойливому деспотизму во что бы то ни стало, хотя бы даже въ ущербъ правдѣ творчества, въ ущербъ художнической добросовѣстности. Этому не надо удивляться, у насъ это случается очень нерѣдко: какъ только писатель—будь онъ публицистъ или беллетристъ—достигнетъ полной зрѣлости своего таланта, дающей ему возможность и право выработать прямой,

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

правдивый и честный взглядъ на жизнь, а, главное, взглядъ самостоятельный, не подчиняющійся готовымъ шаблонамъ и трафаретамъ такъ называемаго общественнаго и журнальнаго мнѣнія, такъ сейчасъ же онъ возбуждаетъ недовольство въ поверхностномъ большинствѣ. За недовольствомъ сперва слѣдуетъ „охлажденіе“, а потомъ даже и нѣкотораго рода ненависть, которую испыталъ Тургеневъ позднѣе по поводу „Отцовъ и дѣтей“. Примѣровъ такихъ пассажей въ нашей литературѣ (да и въ одной ли литературѣ?) можно бы указать нѣсколько, но, боясь отвлечься въ сторону, я ограничусь однимъ: нѣчто подобное случилось съ Пушкинымъ, которымъ восторгались до изступленія, когда онъ бросалъ легкомысленной толпѣ свои „политическія“ эпиграммы, пикантную сказку „Русланъ и Людмила“ и первыя свои поэмы „Кавказскій плѣнникъ“, „Бахчисарайскій фонтанъ“, писанныя подъ вліяніемъ байроническаго настроенія, чуждаго его русской природѣ. Но когда его творчество созрѣло вполнѣ, когда онъ освоился съ истинно народными идеалами и началъ выражать ихъ въ такихъ совершенныхъ созданіяхъ, какъ „Борисъ Годуновъ“—къ нему современное журнальное и общественное мнѣніе охладѣло. Уже гораздо позднѣе, когда великій поэтъ сошелъ въ могилу, когда „замолкли звуки дивныхъ пѣсенъ“, оцѣнили великую силу и правдивость его поэзіи, оцѣнили сродство его поэтическаго духа съ народнымъ духомъ. Съ Тургеневымъ будетъ то же самое: многое изъ того, что не было понято и истолковано цѣнителями и судьями при его жизни, многое изъ того, что было осуждено, какъ противорѣчащее пристрастнымъ требованіямъ партій, воскреснетъ теперь, послѣ утраты художника, въ новой силѣ и красотѣ, озаренное яркимъ ореоломъ самой глубокой правды и самой проникновенной мысли. Пройдутъ годы со смерти Тургенева, а его значеніе въ искусствѣ, жизненность его созданій будутъ выростать все болѣе и болѣе.

В. Буренинъ.

* * *

*) Темно наше прошедшее. Не освѣтилъ его еще яркимъ свѣтомъ великій историкъ-художникъ. Мало мы любимъ Россію, больше инстинктивною, часто болѣзненною любовью, нежели сознательною и глубокою—мало любимъ Россію, потому что мало любимъ нашу исторію и мало знаемъ ее.

Въ пурпурѣ и виссонѣ, озаренная блескомъ „святыхъ чудесъ“ предстоитъ предъ нами Европа. Яркіе образы тамошнихъ людей и тамошнихъ событій возстаютъ въ нашемъ воображеніи—образы великихъ королей и великихъ подвижниковъ: подвижниковъ религіи, науки, искусства,—образы великихъ тирановъ и великихъ мучениковъ, наконецъ, трагическая борьба народныхъ массъ. Возстаютъ предъ нами и эти гигантскіе образы, созданные Дантомъ и Микель-Анджело, возстаютъ и Мадонны съ ихъ воздушными и неуловимыми очертаніями, какъ бы изнутри свѣтящіяся проникающимъ ихъ таинственнымъ, нездѣшнимъ свѣтомъ. Коснулось насъ и вѣяніе гигантскаго, страстнаго и безпокойнаго духа Шекспира. Намъ близки его герои, съ ихъ борьбой и страданіями, съ ихъ страстями и высокимъ примиреніемъ; намъ понятенъ его глубокій, трагическій скептицизмъ, разрѣшающійся въ *Гамлетѣ* предчувствіемъ все примиряющей и все объясняющей вѣры; надъ нами долго властвовалъ этотъ мрачный и колоссальный образъ Датскаго принца,—этотъ образъ скептика, не вѣрящаго въ свой скептицизмъ, высящійся надъ міромъ, и какъ бы освѣщенный зловѣщимъ заревомъ разгорающагося пожара, который, распространяясь въ своемъ страшномъ стихійномъ стремленіи по лицу Европы, испепелитъ все, что тамъ было святого и великаго...

„Я знаю, что ѣду поклониться только великому кладбищу, говоритъ одинъ изъ героевъ Достоевскаго, уѣзжая за границу; но на этомъ великомъ кладбищѣ похоронены великіе мертвецы, которые предстоятъ предъ нами какъ живые, во всей своей неслыханной трагической красотѣ, и властвуютъ надъ нашею душой, и наполняютъ наше сердце

*) Ю. Николаевъ. „Тургеневъ“. Критическій очеркъ. М. 1894 г.

скорбію и восторгомъ; и бѣдною, тусклою кажется намъ наша жизнь, наше прошедшее, сливающееся въ нашемъ воображеніи въ одинъ какой-то тусклый тонъ...

Мы всѣ, конечно, инстинктивно и часто болѣзненно любимъ свою родину; мы не промѣняемъ ея, не промѣняемъ „эти бѣдныя селенія, эту скудную природу“ на чужія „святыя чудеса“,—но намъ надо учиться любить ее, чтобы полюбить сознательно.

Этимъ объясняются многія явленія русской жизни, этимъ объясняется странное и болѣзненное состояніе души многихъ русскихъ людей, этимъ же было навѣяно и скорбное пророчество нашего поэта:

Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда...

Такъ оно и случилось: „толпой угрюмою“ прошли мимо насъ наши Онѣгины и Печорины, Бельтовы и Рудины, свидѣтельствуя своимъ существованіемъ только о тяжкомъ недугѣ поразившемъ русскую жизнь. Въ прозрѣніи своемъ поэтъ угадалъ и самую сущность людей этой „угрюмой“ толпы:

Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,
Ни вкуса нашего не радуя ни глазъ,
Виситъ между цвѣтовъ, пришлецъ осиротѣлый,
И часъ ихъ красоты—его паденья часъ!

Но угадавъ сущность явленія, поэтъ не угадалъ его причины:

Мы пзсушили умъ наукою безплодной—

говоритъ онъ. Нельзя безъ улыбки читать этого стиха, какъ и другого:

Межъ тѣмъ подъ бременемъ познанья и сомнѣнья
Въ бездѣйствіи состарится оно...

И въ тридцать восьмомъ году, когда появилась *Дума*, и теперь странными кажутся эти слова о „наукѣ“, которою

мы „изсушили умъ“: какъ тогда, такъ и теперь у насъ нѣтъ вовсе науки, а наше общество совершенно чуждо наукѣ европейской (понимая подъ словами „европейская наука“ всю совокупность многовѣковой духовной и умственной жизни Европы) и въ этомъ, быть-можетъ, одна изъ причинъ того, что наши Онѣгины и Печорины, Бельтовы и Рудины „какъ тощій плодъ до времени созрѣли“; и въ тридцать восьмомъ году и теперь странно слышать слова о томъ, что мы бездѣйствуемъ „подъ бременемъ познанья и сомнѣнья“. „Бремя познанія“ никогда не отягощало русскаго общества, и наше „сомнѣніе“ объясняется вовсе не тѣмъ, что мы, проникнувъ въ глубину познанія, усумнились въ самой его возможности. Напротивъ, мы съ большимъ энтузіазмомъ, безо всякаго сомнѣнія и критики, принимали всякую европейскую мысль и вовсе не усумнились въ самихъ себѣ, а свое безсиліе и безплодіе приписывали складу русской жизни, который, будто бы, не даетъ развернуться нашимъ силамъ. И утвердившись въ этомъ настроеніи, мы, какъ блудные сыны, покинувъ отчій домъ, расточили свое наслѣдіе, свои нравственныя и умственныя богатства, „съ блудницами и ложными друзьями“, и, расточивъ, питались желудями, брошенными намъ Европой.

Но что говорить о „блудныхъ сынахъ“, когда всѣмъ приходилось учиться любить Россію сознательно, какъ стали учиться славянофилы. И мы начали учиться. Мы углубились въ исторію. Въ истлѣвшихъ листахъ лѣтописей и хартій мы стали искать того, что можно полюбить въ нашемъ прошломъ, во что можно повѣрить. Изъ разрозненныхъ кусочковъ, какъ складываютъ разрѣзанную картинку, начали мы складывать свое прошедшее — и невольно складывали эти кусочки въ такую картину, которая уже впередъ готова была въ нашемъ умѣ. Не живымъ духомъ вѣяло отъ этой искусственно сложенной картины. Вѣрныя черты въ ней были блѣдны и не одухотворены, невѣрныя, предуманныя заслоняли и то, что было въ ней вѣрнаго. Блѣдными тѣнями проходили предъ нами наши смиренные иноки, подвижники, монахи-лѣтописцы, создатели нашего

просвѣщенія, блѣдными тѣнями проходили наши князья съ ихъ усобицами, съ ихъ борьбою, съ ихъ любовью къ народу, съ ихъ незримыми душевными подвигами во время татарщины; блѣдною тѣнью проходилъ и народъ, разрозненный, несобранный и лишь безконечною силой своего духа устоявшій, сохранившій неразвращенною свою душу христіанскую и во время татарщины и въ смутное время. Блѣдными тѣнями прошли предъ нами и собиратели земли, и великіе святители, и Сергій, какъ бы въ одномъ себѣ уже давшій мѣру русской души; кровавымъ пятномъ — и только имъ, мелькнулъ намъ въ глаза Грозный; въ нестройной картинѣ, въ которой мы пытались уловить черты духа народнаго, прошла предъ нами смутная эпоха — и все это, съ самаго начала, являлось намъ нестройнымъ, отрывочнымъ, негармоничнымъ и лишь мучило наше воображеніе, дразнило нашу фантазію. На всемъ этомъ фонѣ выдѣлялось лишь одно лицо, ослѣпительно яркое, столь яркое, что самыя очертанія его трудно было разсмотрѣть, какъ трудно разсмотрѣть дискъ солнца—выдѣлялась одна мощная фигура:

. . . . . .
Съ поднятой лапой, какъ живые
Стояли львы сторожевые,
И прямо въ темной вышинѣ,
Надъ огражденною скалою
Гигантъ съ простертою рукою
Сидѣлъ на бронзовомъ конѣ...
. . . . . .
Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
Какая дума на челѣ!
Какая сила въ немъ сокрыта!
А въ семъ конѣ какой огонь!
Куда ты скачешь гордый конь
И гдѣ опустишь ты копыта?
О мощный властелинъ судьбы!
Не такъ ли ты, надъ самой бездной,
На высотѣ, уздой желѣзной
Россію вздернулъ на дыбы?..

И вотъ онъ,—Петръ, сталъ между нами и древнею Русью.

Онъ заслонилъ собою свѣтъ преданья, мерцавшій изъ глубины вѣковъ, онъ указалъ намъ на иной свѣтъ, онъ привелъ насъ и заставилъ поклониться европейскимъ „святымъ чудесамъ“, онъ показалъ намъ путь, по которому мы пошли за обманчивыми, блуждающими огнями европейскаго прогресса—пошли за ними „толпой угрюмою и скоро позабытой“; онъ создалъ нашихъ „скитальцевъ“, онъ возростилъ этотъ „хилый“ плодъ „до времени созрѣвшій“. Эти-то „скитальцы“, ослѣпленные блескомъ лика Петра, покорились ему, въ немъ видѣли начало нашей исторіи, начало нашего самосознанія. Ослѣпленные его ликомъ, они не умѣли различить черты этого лика; они не поняли, что если въ немъ наше будущее, то въ немъ же и наше прошедшее, что онъ гигантъ, который, по выраженію Пушкина, „одинъ — цѣлая всемірная исторія“, все же только одно изъ звеньевъ въ ходѣ нашего историческаго развитія, что и онъ своею личностью свидѣтельствуетъ о величіи, силѣ и красотѣ нашего прошедшаго. Не поняли они Петра, который шелъ въ Европу не какъ робкій ученикъ, не какъ варваръ, благоговѣйно прислушивающійся къ рѣчамъ аонискаго софиста, а какъ исполинъ, могущественный и свободный, властною рукой бравшій тамъ все, что ему было нужно; не поняли они, что Петръ изъ сближенія съ Европой вышелъ самимъ собой, крѣпкимъ Русскимъ, духовно связаннымъ со своимъ народомъ.

Не поняли Петра и тѣ, которые учились по хартіямъ и лѣтописямъ сознательно любить Россію. Сквозь сіяніе его лика они сумѣли разсмотрѣть только черты грубыя, бросавшіяся въ глаза,—черты деспота, ломавшаго все на пути. Они видѣли, что общество страдаетъ тяжкою болѣзнью, они понимали, что эта болѣзнь есть болѣзнь прививки европейской цивилизаціи—и, негодуя на болѣзнь, они перенесли свое негодованіе и на того, кто сдѣлалъ прививку. Они отрицали Петра со всѣмъ его дѣломъ, они думали, что это дѣло надо было сдѣлать иначе, они отрицали его во имя правды мертвыхъ лѣтописей и хартій. Но отрицать его было невозможно. Онъ стоялъ предъ ними во весь свой

исполинскій ростъ. Онъ стоялъ предъ ними въ своихъ дѣяніяхъ, онъ стоялъ предъ ними уже въ незыблемой красотѣ—въ изображеніяхъ Пушкина. Нельзя было отрицать его, ибо онъ властвовалъ и надъ ними. И ихъ онъ согнулъ своею мощною рукой, и ихъ онъ заставилъ преклониться предъ „святыми чудесами“ Европы. Отъ Петра некуда было уйти: вездѣ, на всѣхъ путяхъ ихъ онъ ихъ преслѣдовалъ какъ Евгенія въ *Мѣдномъ Всадникѣ*.

. . . . . .
И, озаренъ луною блѣдной,
Простерши руку въ вышинѣ,
За нимъ несется Всадникъ Мѣдный
На звонко скачущемъ конѣ,—
И во всю ночь, безумецъ бѣдный
Куда стопы ни обращалъ,
За нимъ повсюду Всадникъ Мѣдный
Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ...

Они хотѣли укрыться подъ сѣнью древней Руси, но онъ, все тотъ же исполинъ, преслѣдовалъ ихъ и тамъ, заслоняя собою отъ нихъ и эту древнюю Русь. Они, какъ и герой поэмы Пушкина, были „оглушены шумомъ внутренней тревоги“—тревоги произведенной въ нихъ Петромъ, и живой духъ древней Руси, сохранившійся не въ хартіяхъ и лѣтописяхъ, а въ преемственномъ преданіи, не давался имъ, чуждымъ этого преданія.

Это было положеніе истинно трагическое.

Трагично было положеніе нашихъ „скитальцевъ“, любившихъ родину болѣзненною любовью, преклонявшихся предъ Европой, но одинаково чуждыхъ и своей родинѣ и Европѣ, бродившихъ по свѣту съ опустошенною душой, — но не менѣе трагично было и положеніе тѣхъ, которые хотѣли научиться любить свою родину. Тамъ, въ Европѣ, были „святыя чудеса“, предъ которыми они преклонялись,—здѣсь, на родинѣ, для нихъ было тускло и темно въ настоящемъ, а въ прошедшемъ вставали лишь блѣдные призраки со страницъ метвыхъ лѣтописей и хартій... И только ликъ Петра съ „тайной въ немъ сокрытой“ одинъ возвышался надо всѣмъ, неотразимый и непонятный...

Въ Пушкинѣ разрѣшился этотъ трагизмъ. Пушкинъ вышелъ изъ этого замкнутаго круга еще тогда, когда только нарождались въ нашемъ обществѣ и „скитальцы“ и люди, хотѣвшіе научиться сознательно любить Россію. Онъ просто ее любилъ, въ его душѣ жило то преемственное преданіе, которое сдѣлало для него яснымъ ликъ Петра, и подъ живымъ дуновеніемъ котораго ожили для поэта блѣдные образы лѣтописей и хартій, облеклись въ плоть и кровь, засвѣтились кроткимъ свѣтомъ той, своей, особой красоты, которой никогда не знала Европа. Изъ самой глубины древней Руси глянулъ на насъ образъ лѣтописца Пимена и озарилъ своимъ кроткимъ свѣтомъ цѣлую полосу нашей исторіи. Этотъ свѣтъ не померкнетъ. Ни свѣтъ „святыхъ чудесъ“ Европы ни ослѣпительный блескъ лика Петрова не затмятъ его. Это свѣтъ особенный, не сливающійся ни съ какимъ другимъ—свѣтъ вѣчный, немеркнущій...

Озаренная этимъ свѣтомъ, стала ясна Пушкину наша прошлая жизнь. Онъ далъ намъ хронику семейства Гриневыхъ, и мы почувствовали, что преданіе не прервалось дѣяніями Петра, что оно жило и живетъ въ глубинѣ жизни, въ народной массѣ, постоянно просачиваясь оттуда и въ другіе слои. Мы почувствовали, что и старикъ Гриневъ, и его сынъ, и Маша, и комендантъ Бѣлогорской крѣпости, и кривой поручикъ Иванъ Игнатьевичъ—что все это люди древней Руси, Руси озаренной кроткимъ и вѣчнымъ, немеркнущимъ свѣтомъ лампады Пимена,—мы почувствовали, что это люди древней Руси, несмотря на ихъ напудренные парики и французскія шпаги. Мы почувствовали, что гдѣ-то притаилась заснувшая до времени, не умершая, а замершая, какъ бы завороженная волшебнымъ словомъ древняя Русь, не дающая активнаго отпора новымъ вѣяніямъ, но хранящая себя, свой душевный складъ, хранящая тотъ немеркнущій свѣтъ, которымъ она жила и двигалась.

Изъ нѣдръ-то этой жизни, какъ бы замершей, какъ бы завороженной, вышли Лиза и Лаврецкій; эта же жизнь своимъ тихимъ дыханіемъ, слышнымъ для чуткаго художника, дала ему то настроеніе, плодомъ котораго было *Дворянское Гнѣздо*.

Реформы Петра взволновали русскую жизнь лишь на поверхности — волненіе не проникало въ глубину, въ народную массу. Народъ несъ всѣ тяготы, „непосильные и несносные труды“, по выраженію самого Петра, но остался при старомъ складѣ быта. Такъ же какъ и въ допетровской Руси народъ жилъ и двигался однимъ чувствомъ религіознымъ, такъ же какъ и въ допетровской Руси для него былъ одинъ источникъ свѣта—Церковь; такъ же какъ и въ допетровской Руси народъ былъ привязанъ къ монастырю, и такъ же, во всемъ мракѣ жизни, монастырь былъ для народа свѣтлою точкой. Оттуда исходилъ свѣтъ, тамъ учился онъ, этотъ темный народъ, учился въ храмѣ, учился прислушиваясь къ разсказамъ странниковъ и богомольцевъ, учился тому, что „единое на потребу“—учился какъ ему жить и какъ умирать. Такъ же какъ и въ допетровской Руси, народъ притекалъ ко гробамъ подвижниковъ земли Русской,— и плакалъ и молился на этихъ гробахъ, не смущаемый тѣмъ, что вверху танцовали на асамблеяхъ, а потомъ на балахъ, переряживались въ волтеріанцевъ, въ масоновъ, горевали не тѣмъ горемъ, которымъ горевалъ народъ, радовались не его радостью. Смѣнялись поколѣнія, перемѣнялись моды, измѣнялись настроенія, трагедіи нашей исторической жизни перебивались комедіей, а часто и буффонадой; Онѣгиныхъ и Печориныхъ смѣнили Рудины и Бельтовы, — а народъ оставался все тотъ же и жилъ все тѣмъ же.

Реформы Петра, послѣдующее ихъ развитіе, или, вѣрнѣе, искаженіе мало затронули также и класъ помѣстнаго дворянства. Оно не сопротивлялось новымъ вѣяніямъ, оно поступилось всѣмъ внѣшнимъ, оно обрило бороду, одѣлось въ кафтанъ и прицѣпило шпагу, оно служило, когда приказывали, но тѣмъ болѣе былъ силенъ его пассивный отпоръ. Измѣнивъ внѣшнія формы быта, оно осталось при прежнемъ внутреннемъ складѣ жизни. Среднепомѣстное дворянство мало чѣмъ отличалось отъ народа во внутреннемъ складѣ быта, и вотъ почему въ этотъ слой постоянно просачивалась изъ слоя народнаго та живая вода, которою народъ утолялъ свою духовную жажду. Этотъ слой, не приставшій

къ движенію, происходившему на поверхности, какъ бы застылъ, какъ бы окаменѣлъ, жизнь въ немъ какъ бы заснула, не задумываясь сама надъ собою. Духовнаго движенія не было въ этомъ слоѣ, но духовная жизнь теплилась въ немъ. Эта духовная жизнь была однородна съ духовною жизнью народа: тѣ же паломники одинаково заходили въ крестьянскую хату и въ барскую усадьбу, на гробахъ тѣхъ же подвижниковъ одинаково молились господа и ихъ рабы, оттуда же, изъ тѣхъ же монастырей свѣтилъ свѣтъ и тѣмъ и другимъ.

Въ исторіи рода Лаврецкихъ мы находимъ именно поэтическое изображеніе этой заснувшей, замершей жизни. Бурнымъ вихремъ врывались въ эту жизнь чуждые элементы, занесенные сюда изъ столицъ, изъ-за границы, но ни разложить эту жизнь ни поколебать ея устои они не могли. Такъ ворвался въ эту жизнь отецъ Лаврецкаго. „Отставной аббатъ изъ энциклопедистовъ влилъ цѣликомъ въ своего воспитанника (отца Лаврецкаго) всю премудрость XVIII вѣка, и онъ такъ и ходилъ наполненный ею“. Вотъ этотъ-то волтеріанецъ, потомъ англоманъ, вторгнулся въ заснувшую жизнь, но скользнулъ лишь по поверхности ея, не оставивъ никакихъ слѣдовъ. Онъ мудрилъ надъ воспитаніемъ сына, но не могъ обезличить кряжистую натуру Лаврецкаго. Правда, и это воспитаніе и послѣдующія соприкосновенія съ европейскимъ просвѣщеніемъ сдѣлали брешь въ его душѣ, вытравивъ изъ нея дѣтскія вѣрованія; но не могли вытравить изъ этой души крѣпкихъ кровныхъ сочувствій къ своему, родному, не могли вытравить того, что́ просочилось въ эту душу изъ стихіи народной. Но и дѣтскія вѣрованія все же жили въ глубинѣ души Лаврецкаго, какъ несознанное чувство, только не могли прорваться сквозь наслоенія мыслей и чувствъ, вынесенныхъ имъ изъ соприкосновенія съ европейскимъ просвѣщеніемъ. Когда Лаврецкій пошелъ въ церковь, чтобъ увидать Лизу, „чудное умиленіе наполнило его душу. Ему было хорошо и немного совѣстно. Чинно стоявшій народъ, родныя лица, согласное пѣніе, запахъ ладана, длинные косые лучи отъ оконъ, самая темнота стѣнъ и сводовъ,

все говорило его сердцу. Давно не былъ онъ въ церкви, давно не обращался къ Богу: онъ и теперь не произнесъ никакихъ молитвенныхъ словъ, — онъ безъ словъ даже не молился, но хотя на мгновеніе, если не тѣломъ, то всѣмъ помысломъ своимъ повергнулся ницъ и припикъ смиренно къ землѣ".

Такъ чувствовалъ невѣрующій Лаврецкій.

Ю. Николаевъ.

Дѣйствующія лица «Дворянскаго гнѣзда» въ отдѣльности.

Лаврецкій.

*) Высокое значеніе этого лица, несмотря на всю неполноту его изображенія, на всю робость пріемовъ автора при этомъ изображеніи, на всю болѣзненную неопредѣленность отношеній къ нему автора—прежде всего въ томъ, что это лицо не сухой логическій выводъ, не итогъ, подведенный искусственно подъ извѣстными данными, а живорожденное, выношенное въ душѣ созданіе поэта, что онъ лицо художественное... Лицо Лаврецкаго, даже такъ какъ оно является видимо недодѣланнымъ въ „Дворянскомъ гнѣздѣ"—представитель (хотя никакъ не преднамѣренный) сознанія нашей эпохи. Лаврецкій—уже не Рудинъ, отрѣшенный отъ всякой почвы, отъ всякой дѣйствительности, — но, съ другой стороны, уже и не Бѣлкинъ, стоящій съ дѣйствительностію въ уровень. Лаврецкій—живой человѣкъ, связанный съ жизнію, почвою, преданіями,—но прошедшій бездны сомнѣнія, внутреннихъ страданій, совершившій нѣсколько моральныхъ скачковъ. Отсюда выходитъ весь его душевный процессъ, вся драма его отношеній... Онъ представитель *нашей* эпохи, эпохи самой близкой къ намъ—и какъ такового, его надобно было отдѣлить, оттѣнить отъ представителей эпохъ предшество-

*) А. Григорьевъ. Сочиненія А. Григорьева и „Русское Слово" 1859 г., № 8.

вавшихъ. Средство для такого отдѣленія Тургеневъ избралъ самое естественное — его родословную, образъ его дѣда и отца...

На Лаврецкаго падаетъ весь свѣтъ въ картинѣ; его лично оттѣняетъ множество фигуръ и подробностей, а тѣ психологическія задачи, которыхъ онъ взятъ представителемъ, положительно оттѣняются всѣми фигурами и всѣми подробностями. Такъ и слѣдуетъ, такъ родилось, а не сочинилось созданіе въ душѣ артиста; фигура Лаврецкаго и психологическія задачи, которыхъ представителемъ онъ является, имѣютъ важное значеніе въ нравственномъ, душевномъ процессѣ поэта и нашей эпохи. Лаврецкій, прежде всего,—послѣднее (т. е. до сихъ поръ) слово его борьбы съ типомъ, который тревожилъ и мучилъ его своей страстностью и своимъ крайнимъ, напряженнымъ развитіемъ, типомъ, дразнившимъ его, и который онъ самъ додразнилъ нѣкогда въ себѣ до созданія Василія Лучинова. Лаврецкій — полнѣйшее (покамѣстъ, разумѣется) выраженіе протеста его за доброе, простое, смиренное, противъ хищнаго, сложно-страстнаго, напряженно-развитого. Между тѣмъ личность эта вышла сама чрезвычайно сложною, можетъ быть, потому, что самая борьба поэта съ противоположнымъ типомъ далеко еще не покончена, или покончивалась имъ доселѣ насильственно и постоянно отдается, какъ отдалась она явно въ Рудинѣ.

Спартанская система воспитанія, какъ всякая теорія, нисколько не приготовила Лаврецкаго къ жизни... Лучшее, что дала ему жизнь, было сознаніе недостатковъ воспитанія. Превосходно характеризуетъ Тургеневъ умственное и нравственное состояніе своего героя въ эту эпоху развитія. „Въ послѣднія пять лѣтъ“, говоритъ онъ о Лаврецкомъ, „онъ много прочелъ и кое-что увидѣлъ; много мыслей перебродило въ его головѣ; любой профессоръ позавидовалъ-бы нѣкоторымъ его познаніямъ, но въ то-же время онъ не зналъ *многаго*, что каждому гимназисту давнымъ давно извѣстно. Лаврецкій сознавалъ, что онъ не свободенъ, онъ втайнѣ сознавалъ себя чудакомъ“. Опять вѣрная, ху-

дожественно и въ высшей степени, вѣрная-же историческая черта, характеризующая множество людей послѣпушкинской эпохи. Это уже не та эпоха, когда

...учились по немногу,
Чему нибудь и какъ нибудь.

Нѣтъ—это эпоха серьезныхъ знаній съ огромными пробѣлами, знаній, пріобрѣтенныхъ большею частію саморазвитіемъ, самомышленіемъ — эпоха Бѣлинскихъ, Кольцовыхъ и многихъ, весьма многихъ изъ насъ, если не всѣхъ поголовно... Особенность Лаврецкаго въ томъ еще, что надъ нимъ тяготѣетъ совершенно уродливое воспитаніе.

Ап. Григорьевъ.

* * *

*) Въ Лаврецкомъ вы видите передъ собою добродушнѣйшее созданіе, румяное, полное, симпатичное, повидимому, неспособное къ глубокому страданію. Такимъ является образъ Лаврецкаго въ разсказѣ автора, прежде чѣмъ выступаетъ передъ читателемъ, какъ дѣйствующее лицо. Но Лаврецкій въ трагедіи, т. е. въ самомъ дѣйствіи повѣсти, совершенно иной: при томъ же добродушіи и симпатичности, онъ способенъ къ глубокому страданію, котораго читатель никакъ бы не предполагалъ отъ Лаврецкаго перваго. Авторъ, правда, безпрестанно наводитъ насъ на мысль, что, несмотря ни на что, натура Лаврецкаго еще сохранила, послѣ испытанныхъ имъ ударовъ, свои здоровыя силы: онъ, видите-ли, научился пахать землю, сдѣлался отличнымъ хозяиномъ. Но, кто вникнулъ глубже въ характеръ борьбы, выдержанной Лаврецкимъ, тотъ увидитъ, что авторъ сдѣлалъ тутъ неудачную натяжку: подобная борьба такого свойства, что ни съ чѣмъ не мирится, ничего не оставляетъ: весь человѣкъ падаетъ въ изнеможеніи подъ ея ударами. Этотъ недостатокъ, эта замѣтная двойственность въ характерѣ Лаврецкаго объясняются свой-

*) М. Де-Пуле. „Русское Слово“ 1859 г., № 11.

ствомъ по преимуществу поэтическаго таланта автора: Тургеневъ взялъ Лаврецкаго слишкомъ рано, далеко до начала трагической борьбы, на что нашъ авторъ великій мастеръ, и не нашелъ достаточно матеріаловъ для его воплощенія, а потому и личность вышла блѣдна.

М. Де-Пуле.

* * *

*) Характеръ Лаврецкаго разработанъ Тургеневымъ съ художественною тонкостью и любовью. Для того, чтобы сдѣлать читателю понятнымъ плохое воспитаніе Лаврецкаго, а также для того, чтобы объяснить, какъ умный, серьезный Лаврецкій могъ ошибиться въ выборѣ жены, авторъ разсказываетъ намъ исторію всего семейства Лаврецкихъ. Исторія начинается съ ихъ жестокаго прадѣда, а оканчивается отцомъ-англоманомъ. Этотъ англоманъ задумалъ дать своему сыну (т.-е. герою романа) такое воспитаніе, чтобы юноша вышелъ совершеннѣйшимъ спартанцемъ, былъ бы чуждъ слабостей человѣческой природы. И для этого, между прочимъ, англоманъ держалъ своего сына вдали не только отъ всякаго женскаго вліянія, но даже отъ знакомства съ женщинами. Въ мастерской, живой и вѣрной картинѣ фамиліи Лаврецкихъ видно, какъ въ зеркалѣ, ужасное состояніе образованныхъ людей въ XVIII столѣтіи и въ первой четверти нынѣшняго. Видны крупные, рѣзкіе очерки жестокихъ старинныхъ баръ—причудливыхъ, самоуправныхъ, а иногда и легко себѣ представить, какъ подъ вліяніемъ такихъ лицъ жизнь людей замирала, а не развивалась. По этой исторіи Лаврецкихъ видно, что дворянинъ того времени вступалъ въ жизнь безъ достаточной нравственной подготовки: круглымъ невѣждою въ наукахъ и безъ малѣйшаго порядочнаго воспитанія. Если бъ Тургеневъ не вставилъ въ романъ длиннаго эпизода о фамиліи Лаврецкихъ (главы VIII — XVI), то было-бы непонятно, какимъ образомъ 23-хъ лѣтній *спар-*

*) П. Евстафіевъ. „Новая русская литература“.

танецъ могъ принять первую красивую женщину за олицетвореніе всего нравственнаго, прекраснаго, благороднаго въ мірѣ.

Варвара Павловна разрушила это представленіе. Но несчастіе было полезно Лаврецкому. Оно смягчило и обработало его душу. Оно сдѣлало его снисходительнымъ къ людямъ; отъ неопредѣленныхъ стремленій и безцѣльныхъ трудовъ оно привлекло его къ роднымъ стенямъ, къ нуждамъ и печалямъ ближнихъ. Лаврецкій у себя въ деревнѣ совсѣмъ не тотъ, какимъ былъ въ Москвѣ и Парижѣ. Онъ сталъ добръ, симпатиченъ; онъ радуется успѣхамъ людей, какъ своему собственному счастью; онъ какъ будто вновь родился для новой, лучшей жизни. Такимъ является онъ въ то время, когда между нимъ и Лизой установились дружескія отношенія, и не замѣтно для нихъ самихъ росли и развивались въ другія, болѣе нѣжныя чувства. „Никто не знаетъ,—говоритъ авторъ,—никто не видѣлъ и не увидитъ, какъ призванное къ жизни и расцвѣтанію наливается и зрѣетъ зерно въ лонѣ жизни“. Съ особеннымъ вниманіемъ и любовью Тургеневъ раскрываетъ читателю тѣ состоянія души, которыя переживаетъ его герой; когда между нимъ и Лизой отношенія устроились было такъ хорошо и—во второй разъ Варвара Павловна разрушила ихъ счастье. Авторъ, незамѣтно для читателя, учитъ его сочувствовать Лаврецкому, уважать его страданія. Эти страданія, дѣйствительно, дорисовываютъ его нравственный образъ. Состояніе души его особенно отчетливо видно въ двухъ совершенно несходныхъ положеніяхъ Лаврецкаго: *первое* — когда съ разбитымъ навѣки счастьемъ бѣднякъ старается взять себя въ руки и, стиснувъ зубы, велѣть душѣ своей молчать; *второе* — въ самомъ концѣ романа. Здѣсь авторъ вывелъ поразительный контрастъ: съ одной стороны, молодое поколѣніе съ звонкимъ смѣхомъ и довѣрчивымъ взглядомъ на будущее, а рядомъ съ нимъ: драгоцѣнныя, хотя томительныя воспоминанія Лаврецкаго объ исчезнувшей молодости, о мелькнувшемъ счастьи; кроткій, искренній его привѣтъ молодежи; тихое, полное тоски,

обращеніе къ самому себѣ: „здравствуй, одинокая старость! догорай, безполезная жизнь“. Окончательно въ душѣ читателя Лаврецкій оставляетъ впечатлѣніе глубокое и отрадное. Читатель чувствуетъ и понимаетъ, въ какой мѣрѣ страданія и несчастія очистили и возвысили его душу до той степени, на которой человѣкъ становится снисходителенъ къ людямъ и свое собственное благополучіе полагаетъ въ содѣйствіи счастью другихъ людей.

П. Евстафьевъ.

* * *

*) Тургеневъ умѣлъ поставить Лаврецкаго такъ, что надъ нимъ трудно иронизировать, хотя онъ и принадлежитъ къ тому роду типовъ, на которые мы смотримъ съ усмѣшкой. Драматизмъ его положенія заключается уже не въ борьбѣ съ собственнымъ безсиліемъ, а въ столкновеніи съ такими понятіями и нравами, съ которыми борьба дѣйствительно устрашитъ самаго энергическаго и смѣлаго человѣка. Онъ женатъ, и отступился отъ своей жены; но онъ полюбилъ чистое, свѣтлое существо, воспитанное въ такихъ понятіяхъ, при которыхъ любовь къ женатому человѣку есть ужасное преступленіе. А между тѣмъ она его тоже любитъ, и его притязанія могутъ безпрерывно и страшно терзать ея сердце и совѣсть. Надъ такимъ положеніемъ поневолѣ задумаешься горько и тяжко, и мы помнимъ, какъ болѣзненно сжалось наше сердце, когда Лаврецкій, прощаясь съ Лизой, сказалъ ей: „ахъ, Лиза, Лиза! какъ бы мы могли быть счастливы!“ и когда она, уже смиренная монахиня въ душѣ, отвѣтила: „вы сами видите, что счастье зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога“, и онъ началъ было: „да, потому что вы...“ и не договорилъ... читатели и критики „Дворянскаго гнѣзда“, помнится, восхищались многимъ другимъ въ этомъ романѣ. Но для насъ существеннѣйшій интересъ его заключается въ этомъ трагическомъ столкновеніи Лаврецкаго, пассивность кото-

*) Н. Добролюбовъ. Сочиненія Добролюбова, томъ 3.

раго именно въ этомъ случаѣ мы не можемъ не извинить. Здѣсь Лаврецкій, какъ будто измѣняя одной изъ родовыхъ чертъ своего типа, почти не является даже пропагандистомъ. Начиная съ первой встрѣчи съ Лизой, когда она шла къ обѣднѣ, онъ во всемъ романѣ робко склоняется предъ незыблемостью ея понятій, и ни разу не смѣетъ приступить къ ней съ холодными разувѣреніями. Но и это, конечно, потому, что здѣсь пропаганда была бы самымъ дѣломъ, котораго Лаврецкій, какъ и вся его братія, боится. При всемъ томъ, намъ кажется (по крайней мѣрѣ, казалось при чтеніи романа), что самое положеніе Лаврецкаго, самая коллизія, изображенная г. Тургеневымъ и столь знакомая русской жизни, — должна служить сильною пропагандою и наводить каждаго читателя на рядъ мыслей о значеніи цѣлаго огромнаго отдѣла понятій, заправляющихъ нашею жизнію. Теперь, по разнымъ печатнымъ и словеснымъ отзывамъ, мы знаемъ, что были не совсѣмъ правы: смыслъ положенія Лаврецкаго — былъ понятъ иначе или совсѣмъ не выясненъ многими читателями. Но что въ немъ есть что-то законченно-трагическое, и не призрачное, — это было понятно, и это, вмѣстѣ съ достоинствами исполненія, привлекло къ „Дворянскому гнѣзду“ единодушное, восторженное участіе всей читающей русской публики.

Н. Добролюбовъ.

* * *

*) Лаврецкій — человѣкъ много переживній, испытавшій и радость и горе, вдумывавшійся въ себя и въ свои отношенія къ людямъ, и выработавшій себѣ, наконецъ, путемъ серьезныхъ занятій, путемъ размышленія и опыта, умѣнье владѣть своимъ внутреннимъ міромъ, сдерживать порывы чувства и мириться съ жизнію, несмотря на ея мрачныя стороны, несмотря на тѣ страданія, которыя выпадаютъ въ ней на долю людей съ развитымъ умомъ и нѣжнымъ чувствомъ. Все участіе Лаврец-

*) Д. Писаревъ. „Разсвѣтъ“ 1859 г., № 4. Также Сочиненія Писарева.

каго въ дѣйствіи романа представляется рядомъ не заслуженныхъ страданій, среди которыхъ крѣпнетъ и формируется его мужественная личность, крѣпнетъ не черствѣя, не теряя живой воспріимчивости ко всему изящному въ природѣ и въ человѣкѣ. Его, какъ онъ самъ выражается, съ дѣтства вывихнули уродливымъ воспитаніемъ, отъ послѣдствій котораго ему трудно оправиться до зрѣлаго возраста; въ немъ пробудили любознательность и не направили ея, ему не дали даже элементарныхъ свѣдѣній, а между тѣмъ, бросили въ его свѣжую и здоровую голову нѣсколько идей, взятыхъ изъ философіи XVIII вѣка, пересаженныхъ на русскую почву и понятыхъ особеннымъ, оригинальнымъ образомъ; суровымъ, почти спартанскимъ воспитаніемъ ему придали полноту и крѣпость физическихъ силъ—и не указали исхода этимъ силамъ. До двадцатитрехлѣтняго возраста его не познакомили ни съ жизнію ни съ наукою, въ немъ развили только твердость воли, и эта твердость пригодилась ему на то, чтобы, не пугаясь упущеннаго времени, приняться за перевоспитаніе самого себя. Но, между тѣмъ, жизнь не ждетъ, и предъявляетъ свои права, заставляетъ его идти впередъ тогда, когда нѣтъ еще ни опытности, ни умѣнья осмысливать свои поступки, когда дѣло перевоспитанія только что началось. Лаврецкій дѣлаетъ промахъ въ жизни,—промахъ, не легшій пятномъ на его совѣсть, но окончательно испортившій его будущую участь. Послѣдствія этого промаха—неудачнаго и неосторожнаго выбора жены, по первому впечатлѣнію, развиваются въ романѣ и составляютъ его главную завязку. Лаврецкій является на сцену уже человѣкомъ 35 лѣтъ, уже знакомый съ тяжелымъ страданіемъ. Первое впечатлѣніе горести уже пережито имъ; но въ душѣ остались неизгладимые слѣды. Онъ не далъ горю опутать и обезсилить себя, не сталъ имъ рисоваться передъ самимъ собою, но, вглядѣвшись въ свое положеніе, сказалъ себѣ просто, что не видитъ впереди возможности счастья и наслажденія; онъ мирится съ этою безнадежностію и при этомъ примиреніи умѣетъ уберечься отъ той апатіи, въ которую часто впадаютъ

люди, обманутые жизнію. Наслажденія жизни кончились, говоритъ онъ самъ себѣ, но осталась обязанность, и это сознаніе неисполненнаго долга,—сознаніе, что онъ можетъ и долженъ быть полезенъ окружающимъ и зависящимъ отъ него людямъ, даетъ ему силы жить, не ожидая и не требуя ничего отъ жизни. Лаврецкій не признаетъ себя разочарованнымъ, и онъ дѣйствительно не разочарованный; онъ не возводитъ собственнаго, случайнаго несчастія въ общее правило, не смотритъ съ недовѣріемъ и насмѣшкою на чужія радости, не чувствуетъ къ людямъ отвращенія, не отвергаетъ въ нихъ существованія добра, хотя, конечно, не вѣритъ ему съ прежнимъ, юношескимъ увлеченіемъ. Онъ не можетъ себѣ представить, чтобы самъ онъ могъ еще разъ помолодѣть душою и испытать счастье взаимной любви; но когда это счастіе встрѣчается съ нимъ, онъ не отталкиваетъ его, начинаетъ ему вѣрить и предается своему новому чувству безъ боязни, безъ мрачныхъ предчувствій, съ полнымъ, святымъ наслажденіемъ, которымъ онъ дорожитъ тѣмъ болѣе, что уже знаетъ ему цѣну и что не смѣлъ болѣе надѣяться на него... Онъ не отступаетъ отъ борьбы, пока можно бороться, и умѣетъ покориться молча, съ мужественнымъ достоинствомъ тамъ, гдѣ нѣтъ другого исхода. Послѣднею способностью обладаютъ немногіе. Ему никогда не измѣняютъ русскій незатѣйливый, но прочный и здоровый практическій смыслъ и русское добродушіе, иногда угловатое и неловкое, но всегда искреннее и не приготовленное. Лаврецкій простъ въ выраженіи радости и горя; у него нѣтъ возгласовъ и пластическихъ жестовъ, не потому, чтобы онъ подавлялъ ихъ, а потому, что это не въ его природѣ; онъ, какъ русскій человѣкъ, страдаетъ про себя, и способенъ скорѣе къ тихому чувству, къ заунывности, къ продолжительной тоскѣ, о которой поютъ наши народныя пѣсни, нежели къ бурнымъ взрывамъ отчаянія и къ стремительнымъ движеніямъ страсти. Въ драматическія минуты его жизни въ немъ иногда шевелятся грубыя, дикія чувства; но они не омрачаютъ разсудка и тотчасъ подавленныя раз-

мышленіемъ, замираютъ въ груди, не найдя себѣ выхода. У Лаврецкаго есть еще одно чисто русское свойство: легкій, безобидный, полузадумчивый, полуигривый юморъ проникаетъ собою почти каждое его слово; онъ добродушно шутитъ съ другими и часто, смотря со стороны на свое положеніе, находитъ въ немъ комическую сторону, и съ тою же добродушною шутливостью относится къ собственной личности и затрогиваетъ такіе предметы, которыхъ воспоминаніе заставляетъ сердце обливаться кровію. Когда случается ему укорять себя въ чемъ-нибудь, онъ рѣдко укоряетъ серьезно, съ желчію или съ негодованіемъ. Онъ никогда не впадаетъ въ трагизмъ; напротивъ, отношеніе его къ собственной личности тутъ остается юмористическимъ. Онъ добродушно, съ оттѣнкомъ тихой грусти, смѣется и надъ собою и надъ своими увлеченіями и надеждами. Личность Лаврецкаго рельефно выдвигается въ романѣ Тургенева, тѣмъ болѣе, что она оттѣнена съ двухъ сторонъ: съ одной стороны, ее оттѣняетъ космополитъ и мелкій эгоистъ Паншинъ, съ другой—энтузіастъ, мечтатель, претендующій на титулъ фанатика, Михалевичъ... Столкновеніе Лаврецкаго съ Паншинымъ показываетъ различіе между заносчивымъ диллетантомъ-космополитомъ, судящимъ о народности, которой онъ не знаетъ, и человѣкомъ жизни, патріотомъ безъ претензій, относительно знающимъ нужды своихъ соотечественниковъ и дѣйствительно сочувствующимъ интересамъ ихъ развитія. Столкновеніе Лаврецкаго съ Михалевичемъ обнаруживаетъ слабыя стороны ихъ обоихъ. Безцѣльный энтузіазмъ Михалевича составляетъ рѣзкую противоположность съ медленностію и нерѣшительностію Лаврецкаго. Первый кричитъ о долгѣ и дѣятельности, но не выходитъ изъ общихъ мѣстъ и самъ не можетъ опредѣлить, чего онъ требуетъ; второй знаетъ свои обязанности, но, по свойственной русскимъ людямъ обломовщинѣ, долго собирается взяться за дѣло, мѣшкаетъ и безполезно тратитъ время. Лаврецкій не энергическій человѣкъ, хотя въ немъ много жизненныхъ силъ и здороваго ума; недостатокъ энергіи, которымъ вообще страдаетъ русская народность, про-

исходитъ въ немъ, быть-можетъ, просто отъ физіологическихъ или климатическихъ условій. Оттѣняя собою его хорошія качества, эта черта придаетъ его личности послѣднюю опредѣленность и сообщаетъ его образу печать поэтической жизненной правды. Личность Лаврецкаго во все продолженіе романа совершенствуется и очищается путемъ тяжелыхъ испытаній; она достигаетъ полнаго своего развитія уже въ эпилогѣ. Лаврецкій является тамъ человѣкомъ пожилымъ; онъ кончилъ навсегда личные расчеты съ жизнію, взялся за серьезное и полезное дѣло, и въ этомъ дѣлѣ нашелъ себѣ ежели не счастье, то, по крайней мѣрѣ, разумное, достойное мыслящаго человѣка успокоеніе.

Д. Писаревъ.

* * *

*) Авторъ не оставилъ безъ разрѣшенія и вопроса, почему умный, серіозный Лаврецкій могъ такъ ошибиться въ выборѣ жены. Для поясненія этого обстоятельства, г. Тургеневъ разсказываетъ намъ исторію всего семейства Лаврецкихъ, начиная отъ прадѣда ихъ, разбойника, грабящаго и злодѣйствующаго съ вѣдома, почти съ позволенія общества, до отца, англомана, преобразователя, женившагося случайно на крѣпостной дѣвушкѣ и сдѣлавшагося трусомъ и тряпкой, по выраженію Гоголя, какъ только жизнь немножко серіознѣе заглянула ему въ лицо. Первый билъ сосѣдей, и вѣшалъ „мужиковъ за ребра“, послѣдній заводилъ англійское хозяйство и старался образовать изъ сына своего *спартанца*, незнакомаго со слабостями человѣческой природы. Такъ было до 1825 года, когда „близкіе знакомые и пріятели Ивана Петровича (отца нашего героя) подверглись тяжкимъ испытаніямъ“, и самъ онъ вдругъ притихъ и сжался до глубочайшаго ничтожества, до невыразимой пошлости. Всѣ эти страницы у г. Тургенева, съ ихъ быстрыми, но крупными очерками лицъ, гдѣ проходятъ, почти какъ видѣнія, разоренныя и истасканныя графини о-бокъ съ любов-

*) П. В. Анненковъ. „Русскій Вѣстникъ“ 1859 г., № 16. Также „Воспоминанія и критическіе очерки“ Анненкова. Спб. 1879 г.

никами своими, бѣдныя дворовыя дѣвушки, попавшія въ госпожи, дикіе помѣщики, подъ взглядомъ которыхъ замираетъ всякая жизнь въ нѣмомъ трепетѣ и безъ сопротивленія,—принадлежатъ къ числу мастерскихъ страницъ романа. Это вѣрная, оживленная картина русскихъ образованныхъ поколѣній въ XVIII столѣтіи и въ первой четверти настоящаго! Нужно ли говорить, что она далеко оставляетъ за собой недавнія безобразныя попытки изобразить близкую намъ старину посредствомъ голыхъ выписокъ изъ „записокъ“ и „памфлетовъ“, скрѣпляя ихъ только циническими намеками? Нѣтъ ничего общаго въ картинѣ г. Тургенева съ этою возмутительною игрой на почвѣ исторіи, игрой, которую еще въ добавокъ хотѣли намъ выдать за свободное, творческое созданіе, какъ будто изъ подобранныхъ цитатъ, изъ коллекціи скандалезныхъ анекдотовъ можетъ выйти что-либо, кромѣ смѣшенія, поясняющаго только малую совѣстливость писателя передъ собой и передъ публикой. Изъ картины г. Тургенева оказывается, что нашъ Лаврецкій нѣсколько разъ уже былъ *надорванъ* въ жизни, прежде чѣмъ послѣдняя шутка жены подкосила его существованіе. Такъ или иначе, но и тутъ все поколѣніе, къ которому онъ принадлежитъ, раздѣляетъ его участь. Почти каждый изъ его членовъ и разными способами былъ обезсиленъ, прежде чѣмъ являлся къ жизни и дѣятельности; жизнь и дѣятельность валили его только окончательно съ ногъ на землю. На школьныхъ скамьяхъ, на первыхъ порывахъ молодости или дома передъ требованіями воспитателей начиналась для каждаго нравственная діэта, направленная къ укрощенію, извращенію или къ отмѣнѣ природныхъ силъ человѣка. Двадцати трехъ лѣтъ *спартанецъ* былъ круглый невѣжда въ наукахъ, а еще болѣе въ жизни. Варвара Павловна явилась первымъ существомъ, которое приняло съ улыбкой и доброжелательствомъ этого юнаго „Алкида“, какъ называетъ его авторъ, описывая его мужественную наружность, скрывавшую младенческое сердце и невѣдѣніе. Алкидъ ничего не разбиралъ. Въ одномъ имени женщины, въ одномъ ея образѣ заключалось для него полное представленіе всего

нравственнаго, благороднаго и чистаго въ мірѣ. Когда Варвара Павловна разрушила это представленіе, то она разрушила не одну идею, а цѣликомъ всю жизнь человѣка. Несчастіе, однакожъ, было полезно Лаврецкому. Оно смягчило и обработало его душу, надѣливъ ее тѣмъ мудрымъ снисхожденіемъ, о которомъ говоритъ поэтъ, дало пониманіе русской жизни, подобно спасительному балласту, привлекло его изъ обширныхъ, но неопредѣленныхъ стремленій, къ землѣ, къ роднымъ степямъ, къ нуждамъ, печалямъ и волненіямъ ближнихъ. Все существо его сдѣлалось чрезвычайно добрымъ, симпатическимъ: сердца окружающихъ покоряются ему невольно, увлеченныя его общимъ благорасположеніемъ. Онъ радуется успѣхамъ людей, ихъ радостямъ, какъ собственному счастію, и только, обращаясь на себя, желалъ бы себѣ еще разъ молодости, еще разъ любви и еще разъ жизни. Какъ ни странны и мало разумны подобныя желанія, но они почти сбываются, когда сильный ударъ женской руки разрушаетъ его воздушный за́мокъ... Таковъ Лаврецкій замѣнившій Паншина въ сердцѣ Лизаветы Михайловны...

Лиза и Лаврецкій лишены всякой возможности существовать въ мірѣ на тѣхъ основаніяхъ, какія выпали имъ на долю, или какія они избрали себѣ. Бѣдственная, роковая невозможность эта оказывается съ перваго появленія ихъ на сцену отсутствіемъ свободнаго движенія, мертвенностью воли и безсиліемъ передъ гнетомъ внѣшняго міра, то-есть всѣми признаками зловѣщей агоніи, поэтическій характеръ которой не спасаетъ однакожъ человѣка отъ гибели. Они стоятъ передъ читателемъ открытые для всѣхъ житейскихъ бурь и не имѣя ничего въ рукахъ, чѣмъ бы защититься. Со всѣми ихъ качествами, какъ нельзя болѣе походятъ они на тѣхъ страдальцевъ романической школы живописи, которыхъ мы видимъ на картинахъ о-бокъ съ орудіями ихъ страданій, покорно принимающихъ всѣ удары враговъ, посылая только угасающій взоръ къ звѣздамъ и ласковому небу. Все ихъ значеніе заключается въ достоинствѣ характера и въ удивительно-глубокомъ выраженіи фи-

зіономіи, но существенный признакъ жизни—движеніе—такъ чуждъ имъ, что, кажется, съ первымъ шагомъ на встрѣчу обстоятельствъ или на борьбу съ ними и они лишились бы всего своего величія. Вотъ почему и фигуры Лизы и Лаврецкаго написаны авторомъ въ легкомъ, полупрозрачномъ тонѣ, который не даетъ усмотрѣть и распознать тотчасъ же ихъ лица и свойственное имъ выраженіе. Мѣсто сильныхъ красокъ жизни замѣнено тутъ безчисленными и тончайшими чертами; каждая изъ нихъ отвѣчаетъ какой-либо тайной сторонѣ ихъ существованія, и каждая будитъ въ душѣ читателя множество личныхъ воспоминаній, множество знакомыхъ и родныхъ ему ощущеній. Удивительное обаяніе, производимое героями, зиждется именно на обиліи, выразительности и значеніи этихъ подробностей, бросающихся въ глаза съ перваго же раза, между тѣмъ какъ полный образъ героевъ возстаетъ уже гораздо позднѣе и требуетъ уже нѣкотораго размышленія. Оно и понятно. Единственная сила, сосредоточивающая человѣка, мгновенно объясняющая его для всѣхъ взоровъ, опредѣляющая и обнажающая его, есть опять-таки движеніе, или, другими словами, употребленіе воли, борьба за себя и свои основанія. Но Лиза и Лаврецкій не борются, не отстаиваютъ своей жизни, а только заняты мыслію, какъ бы благороднѣе, достойнѣе и великодушнѣе подчиниться всему, чего потребуютъ, къ чему принудятъ ихъ обстоятельства. Страдательное положеніе есть ихъ удѣлъ на землѣ, и притомъ удѣлъ, столько же данный имъ извнѣ, сколько и взятый на себя по охотѣ, несмотря на нѣкоторыя попытки Лизы и Лаврецкаго освободиться отъ него, противорѣчащія основному ихъ характеру, и потому всегда неудачныя, какъ бываетъ безслѣдна всякая вспышка. Гдѣ же причина, спрашивается, этого нравственнаго паралича, поразившаго ихъ въ серединѣ жизни? Прежде чѣмъ дѣйствовать на внѣшній міръ, всякому человѣку необходимо позаботиться объ устройствѣ и организаціи своего собственнаго личнаго и внутренняго міра. Для того, чтобы вести какую-либо борьбу, необходима твердая точка опоры, которая нигдѣ не найдется, кромѣ насъ же самихъ. У иныхъ,

болѣе счастливыхъ поколѣній, первые зачатки нравственнаго капитала, столь нужнаго для развитія природныхъ силъ въ человѣкѣ, достаются, такъ-сказать, по наслѣдству и даромъ. Лизѣ и Лаврецкому ничего не было оставлено. Вдохновеніе часто приходило на помощь первой, но не освобождало ея совершенно отъ необходимости внутренней работы, а еще менѣе освобожденъ былъ отъ нея Лаврецкій. Они должны были сами наживать всякую общечеловѣческую мысль, всякое свѣтлое, коренное правило жизни, и притомъ еще безпрестанно повѣрять на самихъ себѣ всякій моральный принципъ, чтобъ удостовѣриться не фальшиваго ли онъ чекана и достоинства. Такъ мало достовѣрности представляли имъ тѣ признанные и законные авторитеты, которымъ другіе народы слѣпо и охотно подчиняются. Но заниматься устроеніемъ своихъ домашнихъ, такъ-сказать, душевныхъ дѣлъ и въ то же время принимать всѣ вызовы обстоятельствъ и храбро выдерживать безконечныя дуэли съ случайностями жизни, — работа вообще очень тяжелая. Лиза и Лаврецкій ограничились одною половиной ея и, обративши всю энергію воли исключительно на самихъ себя. Можетъ быть, покажется страннымъ, что мы говоримъ объ энергіи и волѣ нашей четы послѣ того, какъ признали удѣломъ ихъ на землѣ страдательное положеніе по преимуществу. Оно и точно странно, если глядѣть на нихъ со стороны дѣйствующаго или по крайней мѣрѣ волнующагося міра, гдѣ обыкновенно стоитъ читатель, и гдѣ они неохотно, да и весьма неловко показываются; но если посмотрѣть на нихъ въ ихъ душевномъ ульѣ, въ тайной ихъ работѣ надъ собою, дѣло принимаетъ совсѣмъ другой оборотъ. Въ царствѣ растеній есть роды, обозначаемые названіемъ *тайнобрачныхъ;* между русскими людьми есть многочисленный классъ, который можно бы назвать *тайнорабочимъ*: онъ неутомимо, упорно трудится надъ собой подъ покровомъ глубочайшаго молчанія, въ глухомъ, незримомъ тайникѣ собственнаго духа. Отсюда и явленіе, часто повторяющееся въ нашей жизни. Внѣшній міръ, напримѣръ, по прежнему стоитъ, какъ стоялъ, каждый и всѣ оставляютъ его жить въ покоѣ, какъ живетъ,

но взглядъ на него уже измѣнился, опередилъ его и даже покинулъ. Со словъ нашего автора, мы сказали, что Лаврецкій былъ обезсиленъ, прежде чѣмъ наступила пора обнаруженія силъ, и это, кажется намъ, несомнѣнно въ отношеніи той стороны его существованія, которая соприкасается съ живымъ и дѣйствующимъ міромъ; со словъ же нашего автора, можемъ сказать наоборотъ, что Лаврецкій потратилъ огромное количество труда и силы на другую, нравственную сторону своего существованія. Между нимъ и отцомъ его англоманомъ лежитъ, напримѣръ, цѣлая бездна развитія, но кто же вырылъ ее, какъ не Лаврецкій—сынъ? Въ превосходныхъ сценахъ, изображающихъ намъ психическое состояніе Лаврецкаго, по полученіи въ Парижѣ несомнѣннаго доказательства измѣны жены и собственнаго позора, мы видимъ, какъ пробуждаются въ немъ мрачныя силы его родоначальниковъ, отцовъ и дѣдовъ его, и какъ твердо побѣждаетъ онъ ихъ въ себѣ. Страшныя испытанія, какимъ подвергаетъ его Варвара Павловна, по возвращеніи въ Россію, никогда не застаютъ его въ расплохъ, а находятъ его также насторожѣ противъ грубыхъ инстинктовъ и увлеченія: онъ страстно бережетъ человѣческое, гуманное чувство свое, добытое съ такимъ трудомъ, даже передъ коварствомъ и низостью. Плебейская кровь, которая отчасти течетъ въ его жилахъ, помогаетъ его усиліямъ, но не создала ихъ, какъ намекаетъ авторъ, не вполнѣ основательно, по нашему мнѣнію: плебейская кровь также нуждается въ обузданіи ея духовнымъ началомъ, можетъ быть, даже болѣе, чѣмъ какая-либо другая. Энергическое управленіе своимъ внутреннимъ міромъ—вотъ гдѣ единственная доблесть Лаврецкаго, не имѣющаго иной доблести. Этимъ онъ отличается отъ всѣхъ литературныхъ типовъ 20-хъ и 30-хъ годовъ нашего столѣтія, отъ Чацкихъ, Онѣгиныхъ и Печориныхъ. Чацкій, Онѣгинъ, Печоринъ свободно презираютъ всю окружающую ихъ современность, совсѣмъ и не подозрѣвая, что презрѣніе надо бы начать съ самихъ себя, и что они составляютъ первое звено той самой современности, которую такъ охотно осмѣиваютъ. Они выдѣляютъ себя изъ толпы

безъ малѣйшаго права на то или по праву въ родѣ „вольности дворянской“, и ни разу не пришлось имъ подумать, что измѣненіе порядка вещей, который тяготитъ ихъ, должно не предшествовать измѣненію ихъ собственной жизни, а слѣдовать за нимъ. Лаврецкій менѣе заносчивъ и развязенъ, но онъ серіознѣе ихъ. Не нужно прибавлять, кажется, что мы отдаемъ ему преимущество только за обиліе содержанія, произведенное самимъ ходомъ жизни и времени, а не за выразительность и яркость образа, чѣмъ первые, конечно, далеко превосходятъ его.

П. Анненковъ.

***

*) Лаврецкій, съ дѣтства муштруемый и выдерживаемый подъ началомъ, и впослѣдствіи постоянно попадаетъ въ положеніе зависимое—и въ дружбѣ съ Михалевичемъ разыгрываетъ вполнѣ страдательную, въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, роль. Даже и влюбившійся-то не самъ, а скорѣе влюбленный своимъ энтузіастомъ товарищемъ, онъ попадаетъ затѣмъ подъ ферулу жены, для нея оставляетъ университетъ, наконецъ, за нею плетется туда-же, куда каждогодно плетутся лишніе русскіе люди—на заграничныя воды. Въ одномъ только отношеніи спаслось въ немъ столь свойственное человѣческой природѣ чувство независимости: онъ не захотѣлъ служить, не захотѣлъ чиновнически дѣлать видъ, что дѣлаетъ дѣло, а предпочелъ откровенно и просто ничего не дѣлать. Но „жизнь становилась подчасъ тяжела у него на плечахъ,—тяжела, потому что пуста“. Вотъ въ этомъ опять онъ значительно отличался отъ Рудина, который, за множествомъ словъ, принимаемыхъ за дѣла, такъ долго не сознавалъ своей пустоты. Въ этомъ случаѣ Лаврецкому, можетъ быть, помогла та честная плебейская его кровь, на которую указывалъ ему Михалевичъ, т. е., помогло, надо полагать, участіе, которое онъ, ради ма-

*) О. Миллеръ. „Объ общественныхъ типахъ въ повѣстяхъ И. С. Тургенева“. „Бесѣда“ 1871 г., № 11. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

тери, долженъ былъ съ дѣтства питать къ народу съ трудовой его долей, участіе, невольно растворявшееся тѣмъ уваженіемъ къ труду, которое должно было его заставлять краснѣть при мысли о собственномъ ничего недѣланіи. Съ другой уже чисто физической стороны, честная плебейская кровь сказалась у Лаврецкаго тою здоровой натурою, въ силу которой онъ ни мало не измѣнился, несмотря на невзгоды, чѣмъ, какъ извѣстно, просто оскорбилась нервозная его родственница Марья Дмитріевна, привѣтствовавшая его, разъѣхавшагося съ женой, словами: „Видно, тебѣ все, какъ съ гуся вода; иной бы съ горя зачахъ, а тебя еще разнесло“. Но Лаврецкаго постигаютъ новыя испытанія. Полюбивъ Лизу, онъ, прочитавъ въ газетахъ о смерти жены, начинаетъ считать возможнымъ соединить свою участь съ участью этой дѣвушки, но сперва встрѣчаетъ отпоръ въ ея собственной, болѣзненно-чуткой совѣсти, а потомъ попадаетъ въ положеніе, уже совершенно безвыходное, узнавъ, что слухъ о смерти жены былъ ложенъ. Но и въ этомъ безвыходномъ положеніи нравственною опорою служитъ ему—опять-таки мысль о плебейской его роднѣ. „Предъявп-же, говоритъ онъ самому себѣ, свои права на полное истинное счастье! Оглянись—кто вокругъ тебя блаженствуетъ, кто наслаждается? Вонъ мужикъ ѣдетъ на косьбу! Можетъ, онъ наслаждается своею судьбою?“ Или вспомните о томъ, какъ отправляется Лаврецкій туда, гдѣ находитъ укрѣпленіе Лиза—въ церковь, и какъ въ той-же церкви его поражаетъ крестьянинъ, молящійся съ невыразимымъ усердіемъ; припомните и вопросъ Лаврецкаго: что съ нимъ? и данный скороговоркою отвѣтъ, пугливо и сурово отшатнувшагося мужика: „сынъ померъ“, вслѣдъ-же за тѣмъ и попытку молиться самого Лаврецкаго. Во всемъ этомъ онъ, разумѣется, нисколько уже не походитъ на Рудина: Лаврецкій не только не рисуется своимъ горемъ, не только не ублажаетъ себя воображеніемъ, что я-де стоически твердъ, но, напротивъ, коритъ себя въ малодушіи. При этомъ онъ доходитъ даже до того, что, взглянувъ на портретъ свирѣпаго прадѣда своего Андрея, читаетъ въ его взглядѣ

какъ-бы презрѣніе къ хилому своему потомку. Но все таки, въ самыхъ этихъ укоризнахъ себѣ, въ самой этой готовности оглянуться вокругъ, на народъ, на самомъ дѣлѣ не оказывается какого-либо зародыша настоящей мужской силы, такой силы, которая бы сдѣлала его, наконецъ, человѣкомъ не слова, а дѣла. Въ сущности онъ и тутъ попадаетъ въ рудинство въ томъ смыслѣ, что только говоритъ, и, пожалуй, думаетъ о народѣ, но чтобъ отдѣлаться отъ жены, не задумывается снабжать ее трудовыми крестьянскими деньгами для веселаго проживанія въ Парижѣ. Точно такъ-же, совершенно порудински, избѣгая тяжелыхъ впечатлѣній и постоянныхъ, опредѣленныхъ (а не измышляемыхъ только) заботъ, онъ не рѣшается отнять у жены своей дочери, съ тѣмъ чтобы самому ее воспитать, а оставляетъ ее на жертву— подобной матери! Во многихъ отношеніяхъ, повидимому, вполнѣ возрожденнымъ представляется намъ Лаврецкій въ эпилогѣ"... Но это возрожденіе, по мнѣнію г. Миллера, далеко не охватило собою всего существа Лаврецкаго: въ сущности, въ немъ уцѣлѣлъ еще „ветхій человѣкъ". „Посреди многолюднаго Божьяго міра, продолжаетъ г. Миллеръ—онъ считаетъ себя одинокимъ; думаетъ только о *догораніи* жизни, большая часть которой осталась дѣйствительно вполнѣ безполезной, такъ что слѣдовало бы наверстывать, а онъ уже усталъ, охладѣлъ къ труду, еще такъ недавно принявшись за трудъ! Вотъ и опять тутъ сказалось барство со всѣмъ его сибаритствомъ и пустоцвѣтствомъ! Нѣтъ, Лаврецкій не есть еще настоящій человѣкъ *дѣла* и *почвы*; въ немъ нѣтъ еще настоящей *силы*".

Выходка Лаврецкаго противъ канцелярски просвѣтительныхъ затѣй Паншина, состоящая въ отстаиваніи молодости и самостоятельности Россіи, дала поводъ, по словамъ г. Миллера, нѣкоторымъ критикамъ признавать въ Лаврецкомъ славянофила, „почувствовавшаго, какъ и многіе, на собственномъ примѣрѣ всю пагубу такъ называемой *безпочвенности*. Но не надо забывать, что выходка Лаврецкаго противъ Паншина вызвана, главнымъ образомъ, желаніемъ уничтожить его въ глазахъ Лизы, инстинктивно

сочувствующей всему народному. Въ сущности Лаврецкій довольно далекъ отъ того, чтобы сдѣлаться настоящимъ славянофиломъ; напротивъ, въ немъ до конца сохраняется отпечатокъ чего-то рудинскаго (хотя не надобно забывать, что есть и между такъ называемыми славянофилами своего рода Рудины: стоитъ только вспомнить въ „Запискахъ Охотника“ Любозвонова). Во всякомъ случаѣ, воспитаніе Лаврецкаго было, какъ онъ самъ отзывается, совершенно безпочвенно. Хотя и *плебей* по матери, онъ былъ искусственно выпиженъ въ „дворянскомъ гнѣздѣ“.

О. Миллеръ.

* * *

*) Всматриваясь въ сущность Лаврецкаго, мы видимъ, что въ этомъ лицѣ Тургеневъ возвелъ въ положительный, въ героическій типъ тотъ элементъ, который онъ противополагалъ прежнимъ героямъ теоретическаго склада, прежнимъ оторваннымъ отъ родной почвы носителямъ чуждаго ей, наноснаго идеала. Лаврецкій—человѣкъ почвы, человѣкъ той простой русской дѣятельности, неудовлетворенность безхитростнымъ строемъ которой грызла безсознательно сердца „скитальцевъ“ въ родѣ Вязовнина, героя „Переписки“ и, наконецъ, Рудина, заставляла ихъ не только томиться жизнью и жаждою призрачной, теоретической дѣятельности, но даже гибнуть вдали отъ родины, порой совсѣмъ задаромъ, порой за чуждое дѣло. Лаврецкій вовсе не космополитическая, оторвавшаяся отъ почвы натура—это натура кряжевая, кровно русская натура, выросшая на родной почвѣ и при всей неправильности этого роста, совершившагося отчасти подъ искусственными, наносными вліяніями—таково, напримѣръ, вліяніе системы воспитанія, измышленной его отцомъ, мнимымъ поклонникомъ Руссо и Дидерота—воспринявшая въ себя всѣ существенные соки, всѣ черты національнаго характера, начиная отъ добродушнаго смиренія и застѣнчивости до жажды простой деревенской жизни

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

и земледѣльческаго труда, до жажды душевной прямоты и правды и ненависти ко всякому ложному блеску, ко всякой внутренней извращенности чувства, какъ бы она ни была прельстительна и красива по внѣшности. Въ мастерскихъ, можно сказать, почти геніальныхъ страницахъ, изображающихъ предковъ Лаврецкаго, картины и впечатлѣнія его родной деревни, его сельскаго уединенія—въ этихъ страницахъ Тургеневъ нарисовалъ съ удивительной сжатостью и вмѣстѣ съ тѣмъ съ удивительною полнотою всѣ тѣ почвенныя, кровныя вліянія, подъ которыми сложился коренной, русскій типъ его героя. Вопреки своей обычной задачѣ разоблачать, развѣнчивать типъ—задачѣ, отъ которой онъ не уклонялся и въ послѣдовавшихъ за „Дворянскимъ гнѣздомъ“ художественныхъ работахъ, въ „Отцахъ и дѣтяхъ“, въ „Нови“—вопреки его постоянному стремленію къ отрицательному анализу надъ героическими лицами его произведеній, Тургеневъ отдаетъ Лаврецкому все свое сочувствіе и притомъ сочувствіе самое искреннее, самое теплое. Онъ кровно связываетъ Лаврецкаго со всѣми существенными преданіями и лучшими качествами его среды и выставляетъ въ немъ именно того „сельскаго джентельмена“, которымъ, по выраженію одного англійскаго критика, нашъ писатель являлся всегда самъ. Дѣйствительно, Лаврецкій отъ головы до ногъ „сельскій джентельменъ“, какъ шекспировскій Лиръ „король отъ головы до ногъ“, и притомъ джентельменъ вполнѣ русскій, что, говоря по правдѣ, и до сихъ поръ еще составляетъ порядочную рѣдкость, а въ доброе старое время составляло рѣдкость еще большую. Въ числѣ особенно замѣчательныхъ качествъ этого „сельскаго джентельмена“, этого птенца „дворянскаго гнѣзда“, слѣдуетъ отмѣтить одно, дѣлающее его прямою противоположностью всѣмъ главнымъ героямъ тургеневскихъ произведеній—это славянофильство Лаврецкаго. Правда, его славянофильство очень мягко и чуждо узкихъ сектаторскихъ воззрѣній, которыми грѣшили славянофилы эпохи Лаврецкаго; но во всякомъ случаѣ оно оттѣнено Тургеневымъ очень ясно и съ явнымъ сочувствіемъ. И Тургеневъ не

только оттѣнилъ эту черту въ своемъ героѣ, но даже для приданія большаго значенія его славянофильству нарисовалъ въ противоположность ему Паншина, въ которомъ, по собственному признанію, онъ выставилъ „всѣ комическія и пошлыя стороны западничества“. Конечно, онъ сдѣлалъ это для того, чтобы принизить въ лицѣ этого лакея поверхностнаго европейничанья (подобныхъ которому впрочемъ, къ слову сказать, можно найти и до сихъ поръ на Руси великое множество) искусственный, наносный, отрицательный типъ передъ положительнымъ, кровнымъ русскимъ типомъ.

В. Буренинъ.

*
* *

*) Уже въ романѣ „Рудинъ“ мы видѣли, что поэтъ, развѣнчивая своего героя „западника“, съ особенной любовью останавливался на второстепенномъ лицѣ произведенія—Лежневѣ; можно было догадываться, что типъ, представителемъ котораго былъ Лежневъ, явится на первомъ планѣ въ новомъ созданіи Тургенева; такъ и случилось.

Герой „Дворянскаго гнѣзда“—Лаврецкій—очень сложный характеръ, сложный и многосторонній; но творецъ его назвалъ его „славянофиломъ“. И въ самомъ дѣлѣ, преобладающія воззрѣнія и симпатіи въ немъ—славянофильскія, и самъ онъ—человѣкъ почвы, человѣкъ народа, съ душой простой, спокойной и уравновѣшенной.

Онъ является передъ нами въ романѣ послѣ сильнаго нравственнаго потрясенія, послѣ разрыва съ женою. Этотъ разрывъ былъ тяжелъ для него, и Лаврецкій страдалъ глубоко и искренно; но онъ

„не походилъ на жертву рока (говоритъ поэтъ). Отъ его краснощекаго, чисто-русскаго лица, съ большимъ бѣлымъ лбомъ, немного толстымъ носомъ и широкими правильными губами, такъ и вѣяло степнымъ здоровьемъ, крѣпкой долговѣчной силой. Сложенъ онъ былъ на славу,—и бѣлокурые волосы вились на его головѣ, какъ у юноши. Въ однихъ только его глазахъ, голубыхъ, навыкатѣ и

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

нѣсколько неподвижныхъ, замѣчалась—не то задумчивость, не то усталость, и голосъ его звучалъ какъ-то слишкомъ ровно".

Но онъ вовсе не походилъ на разочарованнаго:

„Развѣ разочарованные такіе бываютъ? (возражалъ онъ самъ Михалевичу въ спорѣ съ нимъ). Тѣ всѣ бываютъ блѣдные и больные,—а, хочешь, я тебя одной рукой подниму?"

Искусственно отторгнутый отъ родины, скитаясь съ женой за-границей, онъ инстинктивно стремился домой, на родную почву. Въ Парижѣ, занимаясь переводомъ ученаго сочиненія объ ирригаціяхъ и посѣщая лекціи въ Sorbonne и Collége de France, онъ все думалъ:

„Я не теряю времени... все это полезно; но къ будущей зимѣ надобно непремѣнно вернуться въ Россію и приняться за дѣло".

По нѣкоторой косности и лѣни своей славянской натуры, Богъ знаетъ когда привелъ-бы онъ въ исполненіе свое желаніе вернуться, если-бы не подтолкнули его на это обстоятельства. Душевно измученный и разбитый, бѣжалъ онъ домой,—и родная глушь, спокойное теченіе жизни родной деревни оказались цѣлительными для его больного сердца.—„Вотъ когда я на днѣ рѣки" (думалъ Лаврецкій, сидя подъ окномъ въ маленькомъ домикѣ своего Васильевскаго):

„И всегда, во всякое время тиха и неспѣшна здѣсь жизнь... кто входитъ въ ея кругъ—покоряйся: здѣсь незачѣмъ волноваться, нечего мутить; здѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ. И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши!..

„На женскую любовь ушли мои лучшіе годы (продолжаетъ думать Лаврецкій): пусть же вытрезвитъ меня здѣсь скука, пусть успокоитъ меня, подготовитъ къ тому, чтобы и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло... Тишина обнимаетъ его со всѣхъ сторонъ, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывутъ по немъ; кажется, онѣ знаютъ, куда и зачѣмъ онѣ плывутъ. Въ то самое время, въ другихъ мѣстахъ на землѣ кипѣла, торопилась, грохотала жизнь; здѣсь та же жизнь текла неслышно, какъ вода по болотнымъ травамъ, и до самаго вечера Лаврецкій не могъ оторваться отъ созерцанія этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшемъ таяла въ его душѣ какъ весенній снѣгъ,—

и странное дѣло! никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины“.

Живя долго передъ тѣмъ вулканической и нравственно-мутной, увлекавшей его чуждой жизнью, Лаврецкій отрезвѣлъ духомъ въ родной деревнѣ, очнулся и пришелъ къ самосознанію, къ пониманію окружающаго, къ пониманію родины (всегда, конечно, таившемуся, хотя безсознательно, въ его душѣ).

Такимъ и является онъ передъ нами въ блестящемъ спорѣ своемъ съ Паншинымъ.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Съ удивительнымъ художественнымъ проникновеніемъ ввелъ Тургеневъ одну черту въ исторію юности Лаврецкаго. Онъ, физически сильный, здоровый, застѣнчивый какъ мальчикъ въ свои двадцать три года, съ жаждой знанія, съ душой, открытою для просвѣщенія, поступаетъ въ университетъ.

„Смѣшно было въ его года надѣть студенческій мундиръ, но онъ не боялся насмѣшекъ. Онъ поступилъ на физико-математическое отдѣленіе. Здоровый, краснощекій, уже съ заросшею бородою, молчаливый, онъ производилъ странное впечатлѣніе на своихъ товарищей; они не подозрѣвали того, что въ этомъ суровомъ мужѣ, аккуратно пріѣзжавшемъ на лекціи въ широкихъ деревенскихъ саняхъ парой, таится чуть не ребенокъ. Онъ имъ казался какимъ-то мудренымъ педантомъ; они въ немъ не нуждались и не искали въ немъ; онъ избѣгалъ ихъ.“

Такимъ образомъ Лаврецкій совершенно избѣгъ вліянія „кружковъ“, сформировавшихъ Рудина и Гамлета Щигровскаго уѣзда. Его душа осталась свободною, въ ней не было разбужено ни тщеславіе ни сантиментальность, и вѣянія той эпохи коснулись его не въ своемъ извращенномъ, разслабленномъ и опошленномъ выраженіи,—не въ

*) Ю. Николаевъ. „Тургеневъ“. Критическій этюдъ. М. 1894 г.

кружкахъ, а непосредственно: съ каѳедры, быть-можетъ, изъ устъ Грановскаго, съ театральныхъ подмостокъ во вдохновенной игрѣ Мочалова. И въ Москвѣ и за границей, гдѣ онъ продолжалъ учиться, Лаврецкій остался самимъ собою со своимъ здравымъ умомъ, со своимъ крѣпкимъ чувствомъ. Онъ не спасовалъ бы передъ Рудинымъ и предъ тѣми вѣяніями, которыя въ немъ отразились. Онъ пожалѣлъ бы его, но не приклонился бы предъ нимъ, какъ преклоняется Лежневъ. Онъ и учился просто, безъ задней мысли: не для того, чтобы научиться любить родину. Онъ и безъ того ее любилъ, и для него каждый клочекъ родной земли былъ дороже всѣхъ „святыхъ чудесъ“ Европы.

Самъ Тургеневъ въ своихъ *Литературныхъ Воспоминаніяхъ* называетъ Лаврецкаго славянофиломъ. Но какой же онъ славянофилъ? Онъ не славянофилъ и не западникъ, онъ просто русскій человѣкъ, который даже не понимаетъ, о чемъ тутъ думать и разсуждать.

Въ извѣстномъ спорѣ съ Паншинымъ, гдѣ Лаврецкій и является, по мнѣнію Тургенева, славянофиломъ —„Лиза вся была на сторонѣ Лаврецкаго“. „А между тѣмъ ей и въ голову не приходило, что она патріотка“, читаемъ въ романѣ,—„но ей было по душѣ съ русскими людьми; русскій складъ ума ее радовалъ; она, не чинясь, по цѣлымъ часамъ бесѣдовала со старостой материнскаго имѣнія, когда онъ пріѣзжалъ въ городъ, и бесѣдовала съ нимъ какъ съ ровней, безо всякаго барскаго снисхожденія“.

Лаврецкому точно также и въ голову не приходило, что онъ патріотъ или славянофилъ, и онъ оборвалъ Паншина потому, что, какъ и Лизу, „самонадѣянный тонъ свѣтскаго чиновника его отталкивалъ“, а „его презрѣніе къ Россіи оскорбляло“.

Лаврецкій несчастливъ, но потому что несчастливо сложилась его жизнь, и онъ съ мужественнымъ стокойствіемъ несетъ свое несчастіе. Онъ не можетъ быть несчастливъ такъ, какъ Рудинъ; онъ любитъ Россію здоровою любовью и вѣритъ въ нее. Онъ хорошо перенесъ прививку европейскаго просвѣщенія и вышелъ изъ соприкосновенія съ

этимъ просвѣщеніемъ самимъ собою, но уже съ сознательною любовью къ родинѣ своей и къ народу своему. Правда живая вѣра народная не наполняла его душу, какъ наполняетъ душу Лизы, но, какъ мы видѣли, его невѣріе, или то, что онъ считаетъ имъ, есть плодъ душевной усталости, а не нравственнаго распаденія. „Лиза втайнѣ надѣялась привести его къ Богу“, пишетъ Тургеневъ—и, конечно, привела бы. Да мы и видимъ въ концѣ романа, какимъ высокимъ смиреніемъ проникнуты мысли и чувство Лаврецкаго—тѣмъ смиреніемъ, которое дается только вѣрой. Всѣмъ памятны эти послѣднія страницы романа—памятенъ образъ Лаврецкаго, состарѣвшагося, сломленнаго неоспильнымъ горемъ, тягостью воспоминаній о погибшихъ надеждахъ, несбывшихся мечтахъ, но смиреннаго и спокойнаго въ своемъ высокомъ смиреніи. Смиреніе передъ жизнью, предъ ея таинственными силами хотѣлъ показать Тургеневъ въ Лаврецкомъ... но что же такое это смиреніе предъ жизнью какъ не смиреніе „въ виду конца, *въ виду ожидающаго Бога*“, какъ говоритъ Лаврецкій?

Лаврецкій не герой, конечно. Онъ не подвижникъ въ высокомъ, въ героическомъ смыслѣ этого слова, хотя вся его жизнь есть незримый и тяжелый подвигъ,—но онъ изъ тѣхъ, кѣмъ держится Русская земля. А она держится смиренными и терпѣливыми, спокойными своею вѣрой въ Россію и въ народъ свой.

Лѣтописецъ смутнаго времени, описавъ полное разореніе земли Русской, которой, казалось, уже не было спасенія, говоритъ: „И встали тогда *послѣдніе люди*“. Эти *послѣдніе люди* спасли Русь. Кто же они, эти „послѣдніе люди“? Да именно эти, терпѣливые и спокойные, выступающіе только въ послѣднюю минуту, когда, кажется, все уже гибнетъ, и нигдѣ нѣтъ вѣры въ спасеніе—встающіе, чтобы пожертвовать собою и спасти...

Къ такимъ людямъ принадлежитъ Лаврецкій.

Говорятъ, что лица Лизы и Лаврецкаго вышли у Тургенева блѣдными и неяснымъ, что тутъ нѣтъ красокъ, что это только туманные абрисы. Все это правда. Но тѣмъ не

менѣе, если есть въ русской художественной литературѣ намекъ на то, что принято называть положительнымъ типомъ, то этотъ намекъ мы имѣемъ въ Лаврецкомъ.

Таковъ Лаврецкій и таково его значеніе...

Лаврецкій, возвратившійся на родину, съ усталою душой, съ незажившею, сочащеюся сердечною раной,, тотчасъ же чувствуетъ успокоивающее дѣйствіе того полузабытаго вѣянія, которое снова коснулось души его. Онъ не поселился въ Лаврикахъ, гдѣ все ему напоминало и ослѣпившую его страсть къ женѣ, и годы дѣтства и юности, омраченные безпокойною суетливостію его отца, ломавшаго мальчика на свой образецъ, и страданія матери, отъ которой онъ былъ отъединенъ и оторванъ, и слишкомъ скоро сбывшееся зловѣщее пророчество тетки Глафиры о томъ, что не свить ему гнѣзда нигдѣ. Онъ поселился въ Васильевскомъ, въ маленькой своей деревушкѣ, и его тотчасъ же охватило вѣяніе преданія, вѣяніе глубокой тишины. Эта тишина вошла въ его душу и подѣйствовала на него какъ благотворный, тихій сонъ на больного, только что перенесшаго кризисъ. „Вотъ когда я на днѣ“, думалъ Лаврецкій,—и чувствовалъ, что здѣсь, на днѣ русской жизни, гдѣ совершается живая и таинственная работа нашихъ духовныхъ силъ, прибыло силы и бодрости въ душѣ его.

„И всегда, во всякое время неспѣшна здѣсь жизнь“, думалъ Лаврецкій.—„Кто входитъ въ ея кругъ, покоряйся: здѣсь незачѣмъ волноваться, нечего мутить; здѣсь только тому и удача, кто прокладываетъ свою тропинку не торопясь, какъ пахарь борозду плугомъ. И какая сила кругомъ, какое здоровье въ этой бездѣйственной тиши! Вотъ тутъ подъ окномъ коренастый лопухъ лѣзетъ изъ густой травы; надъ нимъ вытягиваетъ зоря свой сочный стебель, богородицыны слезки еще выше выкидываютъ свои кудри; а тамъ дальше, въ поляхъ, волнуется рожь, и овесъ уже пошелъ въ трубочку, и ширится во всю ширину свою каждый листъ на каждомъ деревѣ, каждая травка на своемъ стеблѣ. „На женскую любовь ушли мои лучшіе годы“, продолжаетъ думать Лаврецкій,—„пусть же вытрезвитъ меня здѣсь скука,

пусть успокоитъ меня, подготовитъ къ тому, чтобъ и я умѣлъ не спѣша дѣлать дѣло“. И онъ снова принимался прислушиваться къ тишинѣ, ничего неожидая и въ то же время какъ будто безпрестанно ожидая чего-то: тишина обнимаетъ его со всѣхъ сторонъ, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывутъ по немъ; кажется, они знаютъ, куда и зачѣмъ они плывутъ. Въ то самое время въ другихъ мѣстахъ на землѣ кипѣла, торопилась, грохотала жизнь; здѣсь та же жизнь текла неслышно, какъ вода по болотнымъ травамъ; и до самаго вечера Лаврецкій не могъ оторваться отъ созерцанія этой уходящей, утекающей жизни; скорбь о прошедшемъ таяла въ его душѣ, какъ весенній снѣгъ,—и, странное дѣло!—никогда не было въ немъ такъ глубоко и сильно чувство родины“.

И такъ Лаврецкій погрузился „на дно рѣки“, душа его уже готова раскрыться, чтобы воспринять въ себя эту тишину, полную затаенной мысли, свѣтящуюся изнутри постояннымъ, ровнымъ свѣтомъ. Лаврецкій задумался надъ этою жизнью, и въ немъ, какъ бы сама эта жизнь задумалась надъ собой. Онъ какъ бы внялъ голосу поэта:

. . . . . жить въ самомъ себѣ умѣй,
Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей
Таинственно волшебныхъ думъ;
Ихъ заглушитъ наружный шумъ,
Дневные ослѣпятъ лучи:
Внимай ихъ пѣнью—и молчи...

И, прислушиваясь къ этой тишинѣ въ своей душѣ и къ тишинѣ жизни, текущей неслышно, „какъ вода по болотнымъ травамъ“, онъ чувствовалъ, что здѣсь скрыто что-то безконечно значительное, таинственное и глубокое. Нужно было, чтобъ это безконечно значительное прикоснулось къ его душѣ реально, какъ прикасался Христосъ Своими божественными перстами къ страждущимъ, и исцѣлило ее, эту уставшую, смятую ложью жизни душу.

И предъ нимъ предстало это безконечно значительное, вышедшее изъ нѣдръ той же жизни, хранящей въ задум-

чивой своей тишинѣ свою тайну: предъ нимъ предстала Лиза. Она прикоснулась къ его душѣ—и душа эта расширилась, ожила, затрепетала новою, невѣдомою для нея жизнію... Въ Лизѣ, которую онъ полюбилъ, для него слилось все: и любовь къ родинѣ, и религіозное чувство, жившее въ его душѣ—слилось все—и все нашло свое объясненіе; онъ почувствовалъ всѣмъ своимъ существомъ, въ чемъ заключена тайна той тишины, къ которой онъ такъ чутко прислушивался. Любовь Лаврецкаго къ Лизѣ не отдѣляется въ душѣ его какъ особое чувство, она есть какъ бы высшее выраженіе всей его душевной жизни. Вотъ почему его любовь такъ чиста и свята, такъ цѣломудренна, вотъ почему эта любовь дала ему силу выдержать безконечно тяжкое испытаніе, вотъ почему эта любовь—сильнѣе смерти, сильнѣе вѣчной разлуки... Лиза умерла для Лаврецкаго, но любовь къ ней одухотворила его жизнь, подняла его на высоту того смиренія, въ ореолѣ котораго онъ въ послѣдній разъ проходитъ передъ нами въ концѣ романа.

Послѣ посѣщенія Калитиными Васильевскаго, еще не имѣя оказавшагося потомъ ложнымъ извѣстія о смерти жены, не питая никакихъ надеждъ, но уже чувствуя себя во власти Лизы, вспоминая ея образъ, ея слова, Лаврецкій произноситъ стихъ, недавно слышанный имъ отъ энтузіаста Михалевича.

Все время, возвращаясь верхомъ домой, онъ думалъ о Лизѣ, думалъ, самъ того не замѣчая, какою-то внутреннею думой.

„Онъ долго ѣхалъ“, читаемъ мы въ романѣ,—„понуривъ голову, потомъ выпрямился, медленно произнесъ:

„И я сжегъ все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигалъ“...

Да, онъ сжегъ все, чему поклонялся. Образъ Лизы вошелъ въ его душу—и въ этой душѣ сгорѣло все нечистое, страстное, безпокойно-сомнѣвающееся, все, что осталось отъ чада жизни, прожитой имъ.

Михалевичъ въ своихъ стихахъ воспользовался только

однимъ старымъ изреченіемъ. Когда святой Ремигій обратилъ Клодвига въ христіанство, и обращенный спросилъ его, что же онъ долженъ теперь дѣлать, такъ какъ онъ христіанинъ, святой Ремигій произнесъ свой знаменитый отвѣтъ: „Сожги все, чему ты до сихъ поръ поклонялся, поклонись всему, что ты сжигалъ“.

Лиза своимъ взглядомъ, своими простыми и глубокими словами о жизни и смерти, всѣмъ обаяніемъ своей дѣвственной чистоты, не нарушенной никакимъ страстнымъ помысломъ, безъ словъ сказала Лаврецкому тѣ же властныя слова: „Сожги все, чему ты до сихъ поръ поклонялся, поклонись всему, что ты сжигалъ“. И онъ сжегъ все, чему поклонялся: оно само собой сгорѣло въ душѣ его; и онъ поклонился тому, что сжигалъ на огнѣ плотской страсти— поклонился душевной красотѣ русской женщины и Тому, Кто создалъ эту красоту: „давно онъ не былъ въ церкви, давно не обращался къ Богу“... но теперь, когда онъ вмѣстѣ съ Лизой вошелъ въ храмъ,—„чудное умиленіе наполнило его душу... всѣмъ помысломъ своимъ онъ повергнулся ницъ и приникъ смиренно къ землѣ“.

И уже долго спустя, утративъ Лизу навсегда, готовый встрѣтить „одинокую старость“, онъ душой своей склоняется предъ нимъ же, предъ лицомъ „ожидающаго Бога“...

Лиза прикоснулась къ его душѣ, и онъ отошелъ отъ нея —исцѣленный.

Ю. Николаевъ.

„Л и з а“.

*) Лиза—въ высшей степени симпатическій и замѣчательный типъ современной образованной дѣвушки (провинціальной барышни). Она привлекательна, какъ и Татьяна Пушкина, но превосходитъ Татьяну своимъ цѣльнымъ нравственнымъ характеромъ. Лиза не могла получить отъ своей пустой сантиментальной матери никакого солиднаго вос-

*) П. Евстафіевъ. „Новая русская литература“.

питанія. Училась она усидчиво: „безъ труда ей ничего не давалось“, говоритъ авторъ. Существо сосредоточенное, свѣтлое, отчасти восторженное, Лиза выросла подъ сильнымъ вліяніемъ своей няни. Разсказы няни о мученикахъ и сподвижникахъ глубоко запали ей въ душу и воспитали въ ней глубокое религіозное чувство. Оно-то потомъ проникло собою всѣ ея стремленія и поступки... Въ своей замкнутой семьѣ Лиза, конечно, не могла получить ни малѣйшаго знанія людей. Ея нравственное чувство служило ей единственнымъ руководителемъ и оберегателемъ во всѣхъ сношеніяхъ съ людьми. Благодаря этому чувству, она не потерялась въ пустотѣ окружающей жизни. Среди этой пустоты она какъ будто предчувствовала, или угадывала иной, лучшій порядокъ вещей, и удивительно строго и твердо прошла своимъ путемъ между людьми, чужими ей и по мыслямъ и по развитію. Въ самыхъ трудныхъ положеніяхъ жизни Лиза руководствуется все тѣмъ же нравственнымъ чувствомъ: оно подсказываетъ ей, что дѣлать. Когда Варвара Павловна разрушила ея надежду на счастье, Лиза говоритъ Лаврецкому: „теперь вы видите сами, что счастье, зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога“. Тутъ, правда, не видно рѣшимости сопротивляться враждебнымъ вліяніямъ и стараться побѣдить ихъ; но недостатокъ энергіи вознаграждается глубокимъ самоотверженіемъ Лизы. Она любитъ, страдаетъ, переноситъ нравственныя потрясенія съ истиннымъ геройствомъ, не входитъ ни въ какія сдѣлки съ совѣстью. Ея счастье разбито, и вотъ какъ она говоритъ о томъ своей бабушкѣ: „все кончено; кончена моя жизнь съ вами. Такой урокъ не даромъ; да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю. Счастье ко мнѣ не шло. Даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю: и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство наше нажилъ; я знаю все. Все это отмолить надо.“ И затѣмъ Лиза разрываетъ связь съ жизнью дѣйствительной и запирается—какъ она говоритъ—навѣки. Такая рѣшимость со стороны молодой дѣвушки есть своего рода героизмъ. Нравственный образъ Лизы Тургенева

далеко оставляетъ за собою личность Пушкинской Татьяны, а ихъ раздѣляютъ всего 20—30 лѣтъ. Свѣтлою является Лиза въ началѣ, ствѣтлою проходитъ передъ зрителемъ, черезъ всѣ степени развивающейся драмы, и такою-же свѣтлою скрывается въ монастырскую келью.

П. Евстафіевъ.

* * *

*) *Лиза* замѣчательна и какъ женщина вообще и какъ русская женщина въ особенности. Существо сосредоточенное, свѣтлое, отчасти восторженное, она выросла подъ сильнымъ вліяніемъ своей няни *Агафьи Власьевны*, женщины вполнѣ русской. *Агафья* невольно напоминаетъ *Акима*, героя *Постоялаго Двора:* и въ ней и въ немъ развито до экзальтаціи религіозное чувство. Въ характерѣ русскаго человѣка глубоко замѣчательна черта *самонаказанія*, этого добровольнаго мученичества, на которое осуждаетъ себя человѣкъ за немногія радости, испытанныя имъ въ жизни, между тѣмъ какъ онъ, по природѣ своей, имѣетъ всѣ права на счастіе. На это покаяніе осуждаютъ себя всегда люди даровитые, претерпѣвшіе всевозможный гнетъ судьбы, а чаще отдѣльныхъ лицъ; вмѣсто того, чтобы ожесточаться, разражаться воплями и проклятіями, они распинаютъ самихъ себя. Повторяемъ, глубоко знаменательна эта печальная черта въ характерѣ простого русскаго человѣка! Къ числу такихъ людей принадлежала и *Агафья*: за свою красоту, за свою добрую, любящую натуру, за свои права на счастіе она *наказалась*: результатомъ этого самонаказанія было добровольно-принятый крестъ терпѣнія безконечнаго, самоуничтоженія добровольнаго. Подобная личность, немногими чертами, но мастерски очерченная поэтомъ, не могла не произвести, и дѣйствительно произвела на Лизу громадное вліяніе: религіозная восторженность, сдержанность натуры, какая-то величавая важность сообщились Лизѣ вслѣдствіе вліянія няни. „Въ каждомъ ея движеніи“,

*) М. Де-Пуле. „Русское Слово“ 1859 г., № 11.

говоритъ авторъ, „высказывалась невольная, нѣсколько неловкая грація; голосъ ея звучалъ серебромъ нетронутой юности, малѣйшее ощущеніе удовольствія вызывало привлекательную улыбку на ея губы, придавало глубокій блескъ и какую-то тайную ласковость ея засвѣтившимся глазамъ. Вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности (конечно, до знакомства съ Лаврецкимъ), она любила одного Бога, восторженно, робко, нѣжно“.

Намъ обыкновенно нравится этотъ величавый, святой образъ женщины, типъ совершенно новый въ нашей литературѣ, художественно созданный поэтомъ. Лиза не безсердечное, сухое существо: припомните ея наивное, но горячее желаніе примирить Лаврецкаго съ женою, припомните ея борьбу самой съ собою, когда она убѣдилась въ любви къ нему и ея объясненіе съ Маѳой Тимофеевной по поводу все той же любви. Лиза не резонерка, а живая, русская женщина. Передъ нею какъ-то мельчаетъ разбитый образъ Лаврецкаго. Она настоящій герой драмы: на нее, слабое созданіе, сильнѣе падаютъ удары рока, на ея плечахъ легла вся тяжесть трагедіи. Невозможно видѣть безъ сердечнаго трепета, какъ выноситъ эту тяжесть бѣдная дѣвушка!

Послѣ совершившейся катастрофы, послѣ тѣхъ нравственныхъ потрясеній, которыя переноситъ Лиза съ истиннымъ героизмомъ, съ болью и воплями, хотя подавленными, но ужасными, ей остается одно — умереть; но это мало!... Ей, какъ русской женщинѣ, какъ воспитанницѣ Агафьи, нужно еще наказать себя, — и она *наказуется*: „Все кончено“, говоритъ она Маѳѣ Тимофеевнѣ, „кончена и моя жизнь съ вами. Такой урокъ недаромъ; да я ужъ не въ первый разъ объ этомъ думаю. Счастіе ко мнѣ не шло; даже когда у меня были надежды на счастье, сердце у меня все щемило. Я все знаю, и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство наше нажилъ; я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо“.

Ни одинъ женскій образъ не рисовалъ Тургеневъ съ такою любовію, какъ образъ Лизы, и не одинъ не выходилъ изъ-подъ пера его такимъ оконченнымъ.

М. Де-Пуле.

* * *

*) Лиза Калитина не представляетъ собою какого нибудь опредѣленнаго момента въ развитіи русской мысли; она принадлежала и принадлежитъ всему періоду застоя и даже — чему мы видимъ примѣръ въ католическихъ странахъ—можетъ идти далѣе его. Она, какъ и Татьяна, жертва ложнаго пониманія долга и ложныхъ, мистически-религіозныхъ понятій. Собственно русская особенность этихъ воззрѣній состоитъ въ томъ, что они не привиты непосредственно клерикальнымъ воспитаніемъ, а изъ древне-духовнаго аскетическаго ученія проникли въ народъ, смѣшались съ его идолопоклонствомъ, и, еще искаженнымъ невѣжествомъ, уже стали съ низу заражать малопросвѣщенные классы и даже были приняты нѣкоторыми болѣе честными и добросердечными, чѣмъ проницательными людьми, за существенную, да еще и уважаемую принадлежность русской народности! Мудрено-ли послѣ этого, что полуобразованная молоденькая дѣвушка становится жертвою этихъ воззрѣній, когда такой начитанный и многовидѣвшій господинъ, какъ славянофилъ Лаврецкій, не возмутился ими и не сумѣлъ, пользуясь своимъ вліяніемъ на дѣвушку, показать ей всю ложь ея взглядовъ!

М. Авдѣевъ.

* * *

**) Лиза считаетъ покорность высшею добродѣтелью женщины; она молча покоряется, насильно закрываетъ себѣ глаза, чтобы не видать несовершенствъ окружающей ея сферы. Помириться съ этою сферою она не можетъ: въ ней слишкомъ много неиспорченнаго чувства истины; обсу-

*) М. Авдѣевъ. „Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы“.
**) Д. Писаревъ. «Разсвѣтъ» 1859 г., № 4. Также сочиненія Писарева.

живать или даже замѣчать ея недостатки она не смѣетъ, потому что считаетъ это предосудительною и безнравственною дерзостью. Потому, стоя неизмѣримо выше окружающихъ ее людей, она старается себя увѣрить, что она такая-же, какъ и они, даже, пожалуй, хуже,—что отвращеніе, которое возбуждаетъ въ ней зло или неправда, есть тяжкій грѣхъ, недостатокъ смиренія. При случаѣ, гдѣ только есть какая-нибудь возможность, она даже готова увѣрить себя, что чужой проступокъ или чужое горе произошли по ея винѣ, что она слезами и молитвою должна загладить свое невольное, никогда даже не совершенное, но тѣмъ неменѣе тяготѣющее надъ нею преступленіе; ея чуткая совѣсть находится въ постоянной тревогѣ; не выработавъ въ себѣ критической способности, боясь предоставить себя своему природному здравому смыслу, избѣгая обсуживанія, которое она смѣшиваетъ съ осужденіемъ, Лиза во всякомъ движеніи своемъ, во всякой невинной радости предчувствуетъ грѣхъ, страдаетъ за чужіе проступки, упрекаетъ себя въ томъ, что замѣтила ихъ, и часто готова принести свои законныя потребности и влеченія въ жертву чужой прихоти. Она вѣчная и добровольная мученица. Личность ея получаетъ отъ этого особенную трогательную прелесть; но ежели взглянуть на дѣло серьезно, не поддаваясь той инстинктивной симпатіи, которую внушаетъ съ перваго взгляда привлекательный образъ молодой дѣвушки, то нельзя не замѣтить, что Лиза идетъ по ложной и опасной дорогѣ. Истиннымъ можно назвать только такое развитіе, которое ведетъ насъ къ нравственному совершенству и заставляетъ насъ находить счастіе въ самомъ процессѣ самосовершенствованія. Такое развитіе должно пробуждать въ насъ потребности и въ то же время должно давать намъ средства удовлетворять этимъ потребностямъ, должно вести эти стремленія къ опредѣленной и разумной цѣли. Но ежели мы будемъ требовать отъ себя невозможнаго, ежели, во имя неправильно понятой буквы нравственнаго закона, мы постоянно недовольны собою, ежели мы постоянно будемъ тратить свою энергію на со-

вершеніе ненужныхъ подвиговъ смиренія и самоотверженія, тогда мы только измучимъ и истомимъ себя, отравимъ себѣ самыя благородныя и невинныя радости жизни, выпустимъ изъ рукъ собственное разумное счастье, и омрачимъ спокойствіе и счастіе близкихъ людей своими добровольными и безполезными страданіями. Ежели самодовольствіе ведетъ къ умственной неподвижности, то и постоянное, фанатическое стремленіе къ недостижимому идеалу, стоящему выше человѣчества, ведетъ къ ослабленію нравственныхъ силъ, какъ неумѣренныя гимнастическія упражненія изнуряютъ физическія силы. Истинное развитіе должно вести къ равновѣсію всѣхъ силъ человѣческой души. У Лизы равновѣсіе было нарушено. Воображеніе, настроенное съ дѣтства разсказами набожной, но неразвитой няньки, и чувство, свойственное всякой женской, впечатлительной природѣ, получили полное преобладаніе надъ критическою способностію ума. Считая грѣхомъ анализировать другихъ, Лиза не умѣетъ анализировать и собственной личности. Когда ей должно на что-нибудь рѣшиться, она рѣдко размышляетъ: въ подобномъ случаѣ она или слѣдуетъ первому движенію чувства, довѣряется врожденному чутью истины, или спрашиваетъ совѣта у другихъ и подчиняется чужой волѣ, или ссылается на авторитетъ нравственнаго закона, который всегда понимаетъ буквально и всегда слишкомъ строго, съ фанатическимъ увлеченіемъ. Словомъ, она не только не достигаетъ умственной самостоятельности, но даже не стремится къ ней, и забиваетъ въ себѣ всякую живую мысль, всякую попытку критики, всякое рождающееся сомнѣніе. Въ практической жизни она отступаетъ отъ всякой борьбы; она никогда не сдѣлаетъ дурного поступка, потому что ее охраняютъ и врожденное нравственное чувство и глубокая религіозность; она не уступитъ въ этомъ отношеніи вліянію окружающихъ, но когда нужно отстаивать свои права, свою личность, она не сдѣлаетъ ни шагу, не скажетъ ни слова и съ покорностію приметъ случайное несчастіе, какъ что-то должное, какъ справедливое наказаніе, поразившее ее за какую-то

воображаемую вину. При такомъ взглядѣ на вещи, у Лизы нѣтъ орудія противъ несчастія. Считая его за наказаніе, она несетъ его съ покорнымъ благоговѣніемъ, не старается утѣшиться, не дѣлаетъ никакихъ попытокъ стряхнуть съ себя его гнетущее вліяніе: такія попытки показались-бы ей дерзкимъ возмущеніемъ. „Мы были наказаны“, говоритъ она Лаврецкому. За что? на это она сама не отвѣчаетъ; но, между тѣмъ, убѣжденіе такъ сильно, что Лиза признаетъ себя виновною и посвящаетъ всю остальную жизнь на оплакиваніе и отмаливаніе этой невѣдомой для нея и несуществующей вины. Восторженное воображеніе ея, потрясенное несчастнымъ происшествіемъ, разыгрывается и заводитъ ее такъ далеко, показываетъ ей такой мистическій смыслъ, такую таинственную связь во всѣхъ совершившихся съ нею событіяхъ, что она, въ порывѣ какого-то самозабвенія, сама называетъ себя мученицею, жертвою, обреченною страдать и молиться за чужіе грѣхи... И такъ кончается жизнь молодого, свѣжаго существа, въ которомъ была способность любить, наслаждаться счастьемъ, доставлять счастье другому и приносить разумную пользу въ семейномъ кругу... и какую значительную пользу можетъ принести въ наше время женщина, какое согрѣвающее, благотворное вліяніе можетъ имѣть ея мягкая, граціозная личность, ежели она захочетъ употребить свои силы на разумное дѣло, на безкорыстное служеніе добру. Отчего-же уклонилась отъ этого Лиза? Отчего такъ печально и безслѣдно кончилась ея жизнь? Что сломило ее? Обстоятельства, скажутъ нѣкоторые. Нѣтъ, не обстоятельства, отвѣтимъ мы, а фанатическое увлеченіе неправильно понятымъ нравственнымъ долгомъ. Не утѣшенія искала она въ монастырѣ, не забвенія ждала она отъ уединенной и созерцательной жизни: нѣтъ! она думала принести собою очистительную жертву, думала совершить послѣдній, высшій подвигъ самоотверженія. Насколько она достигла своей цѣли, пусть судятъ другіе. Говоря о воспитаніи Лизы, г. Тургеневъ даетъ намъ ключъ къ объясненію какъ нравственной чистоты ея убѣжденій, не по-

тускнѣвшихъ отъ вреднаго вліянія неразвитаго общества, такъ и излишней строгости и односторонности ея взгляда на жизнь.

Д. Писаревъ.

* * *

*) Очевидно, эта покорность и неспособность Лизы вести хоть какую-нибудь борьбу съ несчастіями въ жизни объясняется прежде всего всей исторіей русской женщины, ея забитостію и приниженностію. Лиза — это та-же затворница, живущая въ терему, съ тѣми-же народными взглядами и понятіями на жизнь, которыя занесены чрезъ дѣвичью въ дѣтскую и съ увлеченіемъ переданы ей тайной воспитательницей, няней Агаѳьей. Лиза благочестива, Лиза религіозна, но есть-ли въ ея благочестіи хоть порывы, хоть капли той *живой, дѣятельной нравственности*, къ которой призываетъ насъ христіанство? Лиза, какъ и многія другія героини Тургенева, страдаетъ самымъ узкимъ себялюбіемъ, доходящимъ до того, что для нея любовь — источникъ всего, и внѣшняго и внутренняго благополучія. Съ нею, этою любовью, она возится какъ сумасшедшая, и отъ нея погибаетъ, забывая, что здоровая, нормальная любовь женщины есть спокойное, тихое чувство, не исключающее изъ круга обязанностей женщины заботъ о развитіи своего ума, о подготовкѣ себя къ труду: придется-ли прилагать этотъ навыкъ къ труду въ семейной жизни или внѣ оной—это все равно. Только такое воспитаніе и направленіе женщины обезпечиваетъ ея будущность, подготовляетъ ее къ разнымъ случайностямъ въ жизни, дѣлаетъ ее побѣдительницей въ борьбѣ съ ними и доставляетъ счастіе.

Н. Невзоровъ.

* * *

*) Н. Невзоровъ. „Руководящіе типы и воспитательный элементъ въ произведеніяхъ русской литературы послѣ Гоголя“.

*) Изъ среды патріархальнаго, но уже суетнаго и испорченнаго семейнаго быта, г. Тургеневъ вывелъ образъ молодого существа, которое съ первыхъ шаговъ на поприщѣ жизни замѣчаетъ, что оно не вторитъ общимъ интересамъ окружающихъ, ихъ понятіямъ, радостямъ и заботамъ. Въ душѣ Лизаветы Михайловны созрѣлъ и выросъ религіозно-нравственный идеалъ существованія, который не можетъ сдружиться съ тѣмъ, что́ представляется дѣвушкѣ въ настоящемъ и чего можетъ она ожидать въ будущемъ. Послѣ первыхъ неудачныхъ усилій помириться на чемъ-нибудь въ текущей жизни, она быстро разрываетъ съ ней всѣ связи и заключается въ монастырь.

Общее выраженіе участія и умиленія со стороны публики проводило ее въ это послѣднее убѣжище; но нельзя сказать, чтобы характеръ дѣвушки и сущность ея жизни были оцѣнены и поняты удовлетворительно большинствомъ ея поклонниковъ: иначе послѣдніе не стали бы такъ много соболѣзновать о судьбѣ ея и, можетъ-статься, вмѣстѣ со слезами состраданія явилось бы у нихъ и какое-либо другое чувство. Намъ кажется, что внѣшняя сторона ея существованія много участвовала въ привлеченіи къ ней тѣхъ симпатій, которыми она теперь пользуется. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ дѣвушка, мечтающая исключительно о моральныхъ обязанностяхъ своихъ, когда въ ея годы и въ ея положеніи думается о свѣтлой поэзіи и радостяхъ жизни: вотъ первые проблески любви и счастія, падающіе на ея сердце не живительною росой, а каплями яда и огорченій; вотъ отступаетъ она передъ грубою дѣйствительностію, начинаетъ чувствовать святое отвращеніе къ земнымъ искушеніямъ, и торопится унести дѣвственную чистоту ума и сердца въ суровую монастырскую келью. Не для жизни даны ей были молодость, красота, высокія предчувствія истины и блага: все погибло въ цвѣтѣ, застигнутое неожиданнымъ морозомъ среди весны, и притомъ той чудной весны, какая возстаетъ всегда подъ перомъ г. Тур-

*) П. Анненковъ. „Русскій Вѣстникъ“ 1859 г., № 16. Также „Воспоминанія и критическіе очерки“ Анненкова. Спб. 1879 г.

генева. Inde... отсюда слезы! Но если бы судить о лицѣ этомъ только по выраженію горя и жалобъ, возбужденныхъ имъ въ читателяхъ, то пришлось бы отнести его къ числу тѣхъ слабыхъ, хотя и интересныхъ организмовъ, которые страдаютъ потому, что неспособны къ здоровому человѣческому существованію. Кто изъ поклонниковъ Лизаветы Михайловны замѣтилъ, что въ нѣжную, граціозную и обаятельную форму ея облеклась такая строгая идея, какая часто бываетъ не подъ силу и болѣе развитымъ и болѣе крѣпкимъ мышцамъ? Лизавета Михайловна способна тронуть и вызвать слезу у самаго хладнокровнаго читателя, это правда, но одною слезой и сожалѣніемъ она не можетъ довольствоваться: она имѣетъ право на нѣчто большее, нежели слеза и сожалѣніе, чѣмъ, какъ извѣстно, вполнѣ оцѣниваются и достаточно вознаграждаются многія героини трогательныхъ романсовъ, испытавшія горе и несчастія.

А затѣмъ еще въ общемъ хорѣ поклонниковъ нашей повѣсти сильную долю голосовъ образуетъ новая и особенная раса „искателей идеаловъ“. Удивительно иногда становится, когда подумаешь, къ какому употребленію и къ какому злоупотребленію способны бываютъ *слова!* Чего не вводится иногда подъ покрышку слова, весьма опредѣленнаго сначала, но затѣмъ потерявшаго, отъ общаго употребленія, какъ старая монета, первоначальный штемпель и надпись свою? Чего не стараются тогда схоронить въ его нѣдрахъ, и подчасъ какимъ страннымъ требованіямъ и цѣлямъ принуждено оно бываетъ служить и отвѣчать? Идеаломъ, на языкѣ эстетики, означается всякій образъ, соединяющій въ себѣ всю ту сумму нравственныхъ и поэтическихъ чертъ, какая ему свойственна по природѣ его. Это очень просто и, пожалуй, можетъ быть выражено еще въ другой формулѣ, именно: всякій нравственный и поэтическій образъ, вѣрный дѣйствительности и самому себѣ, есть идеалъ. На основаніи этого опредѣленія, и комическое лицо, подъ перомъ художника-писателя, можетъ оказаться идеаломъ, такъ же точно, какъ, на основаніи того

же опредѣленія, самая благонамѣренная фигура, снабженная многими добродѣтелями и прекрасными мнѣніями, но безъ жизненной и поэтической правды, не въ состояніи будетъ добиться до желаемаго повышенія въ идеалъ. Съ этою азбукой эстетики благоразумное меньшинство новѣйшихъ искателей идеаловъ, пожалуй, и согласится отвлеченно, но вотъ гдѣ вся партія цѣликомъ расходится съ этетикой. Настоящій идеалъ можетъ иногда казаться осужденіемъ и отрицаніемъ того низшаго порядка вещей, гдѣ онъ явился и призванъ дѣйствовать, а у ложныхъ идеалистовъ онъ обязанъ узаконять его и мирить съ нимъ. На языкѣ новѣйшихъ искателей идеаловъ, всякая попытка облагородить будничныя, такъ сказать, подробности жизни, пошлый ходъ ея, грубыя и закоренѣлыя ея привычки, называются стремленіемъ къ идеализаціи, и чѣмъ труднѣе задача сообщить пошлому какое-либо значеніе и достоинство, тѣмъ выше цѣнятъ они усилія писателя и тѣмъ сильнѣе приходятъ отъ него въ восторгъ. Съ ужасомъ и отвращеніемъ бѣгутъ они, въ ремеслѣ, отъ замазки первоначальнаго матеріала красками и лакомъ, какая почасту дѣлается для прикрытія его трещинъ и пороковъ; замазка и лакъ, наоборотъ, составляютъ для нихъ желанную цѣль и послѣднее слово въ искусствѣ. Они отличаются отъ всѣхъ другихъ искателей тѣмъ, что непричастны ихъ волненіямъ, а, напротивъ, любятъ покой, умственную и физическую нѣгу: идеалъ для нихъ почти то же, что праздникъ для школьника, освобождающій его отъ всѣхъ обязанностей и отъ всякой заботы. Они бы желали праздника на круглый годъ, и, если можно, навсегда. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ умѣ ихъ таится невысказанное желаніе, чтобъ идеалы служили щегольскими ширмами для прикрытія непріятныхъ житейскихъ случаевъ, требующихъ скорой и дѣятельной помощи,— для устраненія отъ глазъ явленій и событій, волнующихъ общественную совѣсть и нарушающихъ безмятежное состояніе души, которое имъ такъ дорого. Они даже судятъ объ относительномъ достоинствѣ идеаловъ по матеріальному употребленію, какое можно сдѣлать изъ того или другого.

Сквозь запутанныя опредѣленія идеалъ ихъ часто выглядываетъ не въ образѣ эстетическаго понятія, а въ формѣ полезной мѣры благочинія. Завидѣвъ въ лицѣ Лизаветы Михайловны безропотную покорность судьбѣ, убѣдясь, что впечатлѣніе, производимое ею, тихо и отрадно, и особенно не найдя въ ней никакого протеста противъ людей и обстоятельствъ, отъ которыхъ она, безъ жалобы, скрывается въ монастырской кельѣ, вся эта раса новѣйшихъ искателей идеаловъ въ одинъ голосъ причислила ее къ сонму своихъ любимцевъ и увѣнчала автора за созданіе такого безкорыстнаго, скромнаго и похвальнаго существа.

Но такъ ли все это?

Есть афоризмъ, не подлежащій сомнѣнію: „поэты родятся“, но можно прибавить къ нему, что и высоко-нравственные характеры тоже родятся“, но крайней мѣрѣ, возникновеніе ихъ часто бываетъ необъяснимо. Они образуются иногда безъ помощи воспитанія, примѣра, правилъ и указаній, сохраняемыхъ семействомъ отъ старины или отъ господствующаго ученія; они могутъ явиться (и часто являются) въ годины полной духовной тьмы, въ нѣдрахъ самаго испорченнаго круга, при совершенномъ отсутствіи моральныхъ убѣжденій, еще недобытыхъ или уже потерянныхъ окружающимъ ихъ міромъ. Этими характерами доказывается только высокое достоинство человѣческой природы, способной всегда творить нравственные типы, ее выражающіе. Иногда нѣтъ никакой возможности указать, гдѣ началась работа ихъ благодатной мысли, когда и чѣмъ пробудилась ихъ душа, по какому поводу они разошлись съ общими понятіями и создали себѣ особенную мѣрку для опредѣленія добра и правды. Достовѣрно одно, что иногда достаточно самой скудной духовной пищи для развитія ихъ моральнаго существованія въ изумительномъ блескѣ; какая-нибудь книжка, какое-нибудь ничтожное событіе въ домашнемъ быту дѣлаются неожиданно крѣпкими основами ихъ будущаго развитія. Для Лизаветы Михайловны достаточно было няни Агаѳьи съ ея пламеннымъ разсказомъ о мученикахъ и подвижникахъ, съ ея народно-мистическимъ настроеніемъ, чтобъ обратить молодой умъ

совсѣмъ въ противуположную сторону, именно къ строгому *пониманію* моральной идеи, заключающейся въ религіи. Часто даже глубоко-нравственные характеры обходятся и безъ этихъ толчковъ, безъ этой подмоги на первыхъ шагахъ своихъ въ жизни. Учителями ихъ дѣлаются просто всѣ безобразныя, темныя, неразумныя и тупыя проявленія страстей и обычаевъ окружающаго ихъ быта: они учатся правдѣ въ виду господствующаго произвола, сознанію обязанностей своихъ—на духовномъ и тѣлесномъ растлѣніи близкихъ людей, порядку, справедливости и снисхожденію на общей распущенности и на дикихъ порывахъ животнаго существованія. Можно сказать даже, что чѣмъ заразительнѣе всѣ примѣры, окружающіе ихъ, тѣмъ они тверже укореняются и смѣлѣе идутъ въ правомъ пути. Кто первый указалъ его, кому обязаны они первымъ извѣстіемъ о его существованіи, неизвѣстно. Можетъ-быть, это неизбѣжное дѣйствіе приспѣвшаго времени обновленія для всѣхъ, или, можетъ-быть, это—дѣйствіе точно такой же благодати, какъ, напримѣръ, поэтическій даръ: какъ бы то ни было, Лизавета Михайловна принадлежитъ къ семьѣ этихъ самородныхъ нравственныхъ характеровъ.

Великое достоинство этого лица состоитъ особенно въ томъ, что авторъ не лишилъ его вмѣстѣ съ тѣмъ существенныхъ правъ и качествъ молодости. Этого и надо было ожидать. Не такой писатель г. Тургеневъ, чтобы могъ остановиться на отвлеченномъ образѣ, заняться сухимъ или односторонним педантическимъ идеаломъ. Лизавета Михайловна является намъ въ полной красѣ дѣвичьяго развитія; дѣло только въ томъ, что фантазія дѣвушки, работа ея головы и ея сердца, самая игра жизненныхъ силъ, все уже окрашено врожденнымъ нравственнымъ чувствомъ, отъ котораго она ни убѣжать ни освободиться не можетъ, которое составляетъ ея величіе и ея кару посреди людей. Да и проявляется оно особеннымъ, весьма тонкимъ образомъ. Ни разу не встрѣтишь у нея рѣзкаго слова, крикливаго осужденія или враждебнаго поступка противъ опредѣленій и понятій большинства (а, вѣдь, подобные грубые порывы

мысли и нужны многимъ людямъ для уразумѣнія характера); нравственное чувство ея выражается только постоянною боязнію жизни, постояннымъ къ ней недовѣріемъ и какимъ-то испугомъ передъ новыми, еще незнакомыми ея вліяніями, точно въ молодой душѣ Лизаветы Михайловны уже поселилось убѣжденіе, что оттуда ждать нечего. Никто изъ самыхъ близкихъ людей не владѣетъ ея сердцемъ, ея довѣренностію; привязанностію племянницы не можетъ даже похвастаться сама Марѳа Тимоѳеевна, превосходный типъ умной, добросердечной старухи, по природѣ любящей въ человѣкѣ молодость и достоинство. Марѳа Тимоѳеевна однакоже слишкомъ бойка. У Марѳы Тимоѳеевны сохраняется еще оттѣнокъ барскаго своеволія, даже въ самомъ добрѣ, которое она дѣлаетъ: этого уже достаточно, чтобъ испугать ея племянницу, Лизу, на которой всякій оттѣнокъ, лишенный нравственнаго смысла, отражается болѣзненно, замыкая ей уста и сердце. Еще тоньше, можетъ-быть, поступилъ авторъ, выбравъ Паншина, пустого свѣтскаго болтуна, первымъ предметомъ, на которомъ сосредоточиваются у Лизы пробужденныя ея наклонности къ любви и взаимности. Тутъ выказываетъ она очень мало проницательности, знанія и пониманія людей: нравственное чувство остается единственнымъ руководителемъ и единственнымъ оберегателемъ молодой дѣвушки...

Подъ конецъ она даже расположена считать неопредѣленныя требованія, неумолкающіе призывы сердца и нравственой природы за особенность или за уродство своей организаціи, которыя должно таить отъ людей, потому что они никѣмъ не признаются, никѣмъ не угадываются, равно чужды матери, Паншину, Марѳѣ Темоѳеевнѣ и всему семейству. Она рѣшается отдать свою руку Паншину на одномъ условіи — лишь бы не мѣшалъ онъ ей сдѣлаться доброю женой, лишь бы позволилъ прожить вѣкъ наединѣ съ собственною ея мыслію. Почти передъ самымъ совершеніемъ этой безразсудной жертвы является изъ за границы усталый и сильно пораженный домашнимъ несчастіемъ Лаврецкій. Онъ обращаетъ на себя вниманіе Лизы, и окончательно отводитъ ее отъ соперника своего, Паншина.

Чѣмъ же дѣлается для нея Лаврецкій? Спустя немного, она опять стоитъ и передъ нимъ въ недоумѣніи, въ раздумьи, опять съ новой неразрѣшимыхъ вопросовъ и неисполнимыхъ требованій своихъ!

Многимъ показалось страннымъ одно мѣсто въ романѣ. Вскорѣ послѣ того, какъ между Лаврецкимъ и Лизой завязались тихія, дружелюбныя отношенія, начинавшія перерождаться, подъ покровомъ взаимной передачи чувствъ и мыслей, въ настоящую любовь, Лизавета Михайловна сказала ему разъ въ неописанномъ волненіи: „Вы должны простить вашу жену“. Восклицаніе Лизы было такъ ново для слуха публики, что многіе приняли его за грубую ошибку, за случайную гримасу, исказившую ея физіономію. Для насъ откровенное слово Лизаветы Михайловны имѣетъ другое значеніе: имъ высказала она ясное пониманіе своего собственнаго положенія, имъ выразила ужасъ къ своей любви, зарождающейся на краю пропасти, и положила ей предѣлъ, да имъ же намѣтила и все, что остается еще дѣлать Лаврецкому въ теченіе его жизни, какъ мы сейчасъ же разберемъ подробнѣе.

Во всемъ этомъ, кажется намъ, трудно усмотрѣть какое-либо потворство быту или извѣстной средѣ жизни, которое оправдывало бы надежды, возложенныя новѣйшими искателями идеаловъ на лицо Лизаветы Михайловны. Совсѣмъ наоборотъ: глубокая, поучительная, но нисколько не сентиментальная драма связана, такъ сказать, со всѣмъ ея существованіемъ. Драма есть уже въ ея появленіи между людми того круга, которые намъ представлены авторомъ, драма сопровождаетъ затѣмъ каждый шагъ ея, не кончаясь даже и тамъ, гдѣ авторъ кончаетъ повѣсть. Куда скроется Лизавета Михайловна отъ требованій своей мысли? Гдѣ она найдетъ тотъ кровъ, подъ которымъ пугливая совѣсть уже не можетъ быть потревожена? Есть ли, въ самомъ дѣлѣ, убѣжище для нея?... Не выдумана ли тутъ келья, какъ старый, романическій мотивъ, пригодный къ тому, чтобы завершить романъ чѣмъ-нибудь поприличнѣе?..

Постараемся однакожъ уяснить самую мысль, которая

теплится въ безсвязныхъ словахъ Лизаветы Михайловны, когда она вызываетъ Лаврецкаго на примиреніе съ женой фразами: „Надо будетъ покориться... Я не умѣю говорить, но если мы не будемъ покоряться“... и проч. Слѣдуетъ замѣтить вообще, что Лиза никогда не выражается у автора полною и опредѣленною мыслью, но вся состоитъ только изъ пробужденій, предчувствій и намековъ, и это по причинамъ, о которыхъ скажемъ послѣ. Мысль ея оставляется на разборъ и догадку читателя, и мы съ своей стороны разбираемъ ее такъ: въ большей части семейныхъ бурь и катастрофъ люди столько же наказываются неизмѣнными опредѣленіями закона, установленія, сколько и тайною моралью, которая неизмѣнно присутствуетъ въ самой жизни. Это сбылось именно на Лаврецкомъ. Чего искалъ онъ въ женѣ своей? Онъ плѣнился, разсказываетъ намъ авторъ, красотой ея формъ, роскошными линіями тѣла, свободой и граціей ея движеній, наконецъ умомъ, способнымъ чувствовать и понимать разнообразныя эстетическія наслажденія. Самою обаятельною чертой въ ея характерѣ была именно эта наклонность искать эстетическія наслажденія всюду вокругъ себя, въ обстановкѣ жизни и въ обязанностяхъ, налагаемыхъ ею. Въ эпоху молодости Лаврецкаго, лицо, отличенное подобными стремленіями, пріобрѣтало общее уваженіе и подчасъ общее удивленіе, какъ за особенный даръ, ниспосланный ему небомъ. Чувство изящнаго, а иногда просто навыкъ въ щегольствѣ и нѣкоторые признаки *вкуса*, при внѣшнихъ преимуществахъ, ставили лицо или избранницу на недосягаемый пьедесталъ въ общественномъ мнѣніи. Говорить тутъ о необходимости какихъ-либо жизненныхъ правилъ и основаній считалось пошлостью, педантизмомъ, „нестерпимою рефлексіей“; пониманіе красоты и эстетическихъ приличій казалось символомъ пониманія всего остальнаго на свѣтѣ. Но чувство изящнаго, особенно у поверхностныхъ, неглубокихъ натуръ, къ числу которыхъ принадлежитъ бо́льшая часть нашихъ любителей и любительницъ изящнаго, служитъ только чѣмъ-то въ родѣ красн-

ваго, кокетливаго мостика, сокращающаго и облегчающаго имъ дорогу къ страстямъ и чисто-животнымъ упражненіямъ. Надо, впрочемъ, сказать, что Варвара Павловна щедро заплатила мужу за выборъ его. „Не даромъ, говоритъ авторъ, вѣяло прелестью отъ всего существа его молодой жены; не даромъ сулила она чувству тайную роскошь неизвѣданныхъ наслажденій: она сдержала больше, чѣмъ сулила“. Оставалось удержать Варвару Павловну при себѣ навсегда, но удержать ее иначе нельзя было, какъ исчерпавъ до послѣдняго обола все то добро, которое она принесла съ собою въ домъ, именно красоту и способность наслаждаться; съ послѣднимъ оболомъ она уже становилась безпомощною нищей и ничѣмъ не могла замѣнить потерь своихъ. Но Лаврецкій поступаетъ не такъ. Покуда роскошная, парижская жизнь гремитъ въ собственномъ его салонѣ, подъ руководствомъ жены, онъ сидитъ у себя въ кабинетѣ и страстно, лихорадочно, неусыпно *учится*. Чему именно, зачѣмъ, для какой опредѣленной цѣли — это ему самому неизвѣстно, это только характеристическая черта его эпохи. Безвыходное занятіе, судорожная любознательность, бросающаяся во всѣ стороны, плаваніе въ морѣ науки безъ компаса, безъ пристани въ виду, — вотъ его дѣло, какъ и любимое дѣло всего поколѣнія современниковъ его. А между тѣмъ Варвара Павловна не ждетъ. Въ характерѣ ея нѣтъ нисколько нравственной бережливости: она скучаетъ богатствомъ красоты, когда нѣтъ возможности тратить его. Не видя близкой руки помогающей, она весело проживаетъ достояніе свое, она принимается бросать его по сторонамъ. Варвара Павловна дѣлаетъ только то, на что́ призвана, для чего воспитывалась дома и въ казенномъ заведеніи, чего ожидала отъ своей красоты и своего ума. Лаврецкій вывелъ ее на сцену дѣйствія, открылъ ей арену для подвиговъ и за то своевременно получилъ узаконенную плату. Чего онъ могъ ожидать болѣе, выбирая такую жену, что́ онъ сдѣлалъ для укрѣпленія связи своей, кромѣ предоставленія женѣ полной свободы располагать собою? Онъ виноватъ передъ ней и передъ

своею совѣстію почти столько же, сколько преступная жена его виновата передъ закономъ, и приговоръ, изреченный Лизой, по вдохновенію нравственнаго чувства, становится неотразимъ: „надо покориться... надо простить“. Больше ничего не остается дѣлать!..

Лиза постоянно отступаетъ передъ событіями и требованіями дѣйствительнаго міра, ее окружающаго, это правда; но также правда и то, что безъ особенной внутренней энергіи она никогда не могла бы защитить себя такъ полно отъ его условій, притязаній и понятій! Съ своимъ врожденнымъ даромъ пониманія или, лучше, предчувствія высшаго порядка вещей, она проходитъ между людьми удивительно строго и твердо, между тѣмъ какъ внѣшнее ея существованіе колеблется, безъ малѣйшаго сопротивленія, дуновеніемъ всѣхъ случайностей жизни. Сила ея только въ ея мысли. Но характеръ Лизы, какъ типа современной образованной дѣвушки, лучше всего объясняется сравненіемъ его съ другимъ типомъ того же рода, первымъ по времени и по достоинству, именно съ Татьяной Пушкина.

Между Татьяной Пушкина и вторымъ типомъ русской провинціальной барышни, достойнымъ этого названія, Лизой г. Тургенева, лежитъ промежутокъ тридцати годовъ, но онъ еще ничего не значитъ въ сравненіи съ бездной, которая раздѣляетъ ихъ въ нравственномъ смыслѣ. Можно ли было въ тридцатыхъ годахъ нашихъ вообразить себѣ русскую дѣвушку съ тѣми чертами и свойствами, какія замѣчаемъ нынѣ у героини новаго романа г. Тургенева? Необычайно длинное путешествіе совершилъ этотъ образъ съ того времени, какъ впервые показался въ литературѣ нашей. Для того, чтобы Татьяна Пушкина могла превратиться въ знакомую намъ Лизу, ей нужно было убѣдиться въ бѣдности и нищетѣ всего, что прежде такъ томило, волновало и занимало ее. Прежняя Татьяна занята исключительно исторіей своей любви и ни о чемъ другомъ, кромѣ орудія и проводника этой любви, Онѣгина, понятія не имѣетъ, да еще и объ немъ понятія ея весьма ограничены и скудны. За то она исполнена женственности, гра-

ціи и страсти, которыя заступаютъ ей мѣсто всѣхъ правилъ и образа мыслей. Еще и до сихъ поръ, по остатку стараго романтизма, любовь понимается многими какъ идея, исключающая всѣ другія идеи, и съ появленіемъ которой человѣкъ освобождается отъ всѣхъ обязанностей, житейскихъ и нравственныхъ. Влюбленная женщина, по одному тому, что она влюбленная женщина, представляется и теперь существомъ, исполнившимъ на землѣ все, что слѣдовало ему исполнить, изъятымъ отъ суда и мелкихъ ожиданій своихъ собратій по крови и отечеству. Что же было въ тридцатыхъ годахъ! Любовь, какъ священная отмѣтка, положенная на избранника или избранницу чьею-то невидимою рукой, тотчасъ же выводила ихъ изъ толпы, каковы бы, впрочемъ, ни были ихъ душевныя качества и умственное настроеніе, и вѣчно-свѣжая поэзія Пушкина воплотила это понятіе общества въ живомъ типѣ, который останется перломъ его творческой дѣятельности. Блестящая, ослѣпительная красота этого типа не можетъ, однакоже, помѣшать намъ всмотрѣться пристально во всѣ черты его. Татьяна подъ конецъ обнаруживаетъ еще и способность къ сдѣлкамъ съ своею совѣстію, какія обыкновенно зарождаются въ обществѣ, еще не имѣющемъ твердыхъ основаній, когда нужно обойти препятствіе или установленіе, слишкомъ строго повелѣвающее. Тогда является тайный кодексъ самовольныхъ правилъ и исключеній, который и дѣйствуетъ рядомъ съ нравственными законами, въ ущербъ имъ и оскорбляя ихъ однимъ своимъ присутствіемъ. Татьяна замужемъ за генераломъ, къ которому ласковъ дворъ и которому она остается, безъ любви, вѣрна на вѣкъ. Это уже способно возбудить подозрѣніе, но она еще любитъ въ тайнѣ Онѣгина и находится замужемъ—вотъ что положительно дурно, если не съ точки зрѣнія тѣхъ годовъ, когда творилъ поэтъ, то съ точки зрѣнія нашей современности, когда многое уразумѣлось проще и правильнѣе. Вѣдь, Татьяна обманываетъ тутъ не только свою совѣсть, но и *вѣру* другого человѣка, хотя все чисто и безукоризненно въ ней по наружности. Далеко не такъ полно и ослѣпи-

тельно, какъ Татьяна, выразила себя Лиза въ романѣ г. Тургенева (да и кому же у насъ подъ силу мѣряться съ Пушкинымъ въ выраженіи), но она сдѣлала огромное пріобрѣтеніе съ тѣхъ поръ, какъ показалась впервые Татьяной. Лиза имѣетъ строгія нравственныя основанія; сдѣлки съ совѣстію ей противны; благоговѣніе къ свѣту и къ условнымъ приличіямъ замѣнилось неудержимымъ стремленіемъ направить все свое домашнее, обыденное существованіе въ смыслѣ одной религіозно-моральной идеи, врожденной ей или пріобрѣтенной ею. Это уже своего рода героизмъ, и понятія о необходимости возводить до героизма благородныя побужденія и такъ-называемыя добродѣтели не существовало еще во времена Пушкина, да и теперь оно далеко не привычный и далеко не вполнѣ знакомый намъ гость.

Какъ бы то ни было, но покамѣстъ Лизавета Михайловна и Лаврецкій покорно выжидаютъ приговора жизни и обстоятельствъ, не дѣлая ничего, чтобъ обратить его въ свою пользу, смягчить или избѣжать его. Это круглые сироты извѣстнаго общественнаго быта, и выраженіе тихой, грустной поэзіи, свойственной людямъ, обреченнымъ на жертву съ самаго рожденія, принадлежитъ имъ по праву. Поэзія этого рода создала вокругъ нихъ ровный, свѣтозарный ореолъ, и отъ нихъ разошлась по всему роману. Въ ея кроткой, задумчивой атмосферѣ движется даже большая часть второстепенныхъ лицъ, какъ, напримѣръ, дворовый человѣкъ, старикъ Антонъ, дошедшій, путемъ привычки, до благоговѣнія къ удручавшей его власти, приживалка въ комнатѣ Мароы Тимоѳеевны, музыкантъ Леммъ съ его постоянною благодарностію и вспышками вдохновенія (лицо, впрочемъ, сильно отзывающееся воспоминаніями стараго романтизма) и проч. Всего болѣе присутствуетъ она въ описаніяхъ, и кто ѣхалъ вмѣстѣ съ Лаврецкимъ въ деревню, послѣ его долгой заграничной жизни, кто жилъ съ нимъ въ глуши его помѣстья передъ степями, получившими для него внятную и знаменательную рѣчь, ходилъ съ нимъ по опустѣлому, тяжелому дому умершей тетки,

смотрѣлъ свободно и смѣло разросшійся садъ помѣстья, при тишинѣ едва движущейся и какъ бы замершей жизни, кто, наконецъ, провожалъ съ нимъ верхомъ Лизу, посѣтившую его уединенное жилище, и возвращался съ нимъ опять домой, при лунной ночи, переживая въ себѣ сладкое чувство новой привязанности, имъ овладѣвшее,—тотъ уже не позабудетъ этихъ впечатлѣній. Томительно и отрадно ложатся они на сердце читателя, наполняя его въ одно и то же время грустью и наслажденіемъ. Есть мгновеніе въ романѣ, когда поэзія, окружающая образы Лизы и Лаврецкаго, достигаетъ своего апогея. Неожиданно разнесшійся слухъ о смерти жены Лаврецкаго открываетъ вдругъ и впервые нашей четѣ надежду на счастіе. Съ обычною боязнію. съ непобѣдимымъ сомнѣніемъ въ возможности его, съ тайными упреками совѣсти, помимутно возстающими въ душѣ ея отъ каждаго самаго незначительнаго обстоятельства, начинаетъ Лиза привыкать къ этой мысли. Она еще вся поглощена борьбой между надеждой и опасеніями, не понимаетъ сама, что съ ней дѣлается, когда разъ застаетъ ее чудная лѣтняя ночь, Лаврецкій, прокравшійся въ садъ, неожиданное свиданіе съ нимъ и первый, единственный поцѣлуй любви, сорванный съ ея устъ въ тишинѣ ночи, который отдается въ другомъ мѣстѣ города, у бѣднаго Лемма, вѣроятно, предчувствовавшаго свиданіе, юною и вдохновенною сонатой. Надо читать это описаніе въ романѣ, чтобъ испытать его обаятельное и потрясающее дѣйствіе; но поцѣлуй, какъ и всѣ надежды четы, длится одно мгновеніе. Онъ какъ будто вызвалъ изъ гроба львицу Варвару Павловну, потому что вслѣдъ за тѣмъ она является въ маленькій городской домикъ Лаврецкаго и умоляетъ его о пощадѣ и прощеніи, въ которыхъ, видимо, нисколько не нуждается. Тогда всѣ расчеты съ жизнію кончаются для Лизы, она рѣшительно порываетъ связь съ людьми, обществомъ, и убѣгаетъ въ монастырь; Лаврецкій тоже пропадаетъ, Богъ вѣсть куда, на долгое время. Чистая поэзія самоотреченія, омывшая ихъ съ самаго появленія на сцену до того, что лишила воли, простора и движенія, теперь

окончательно слилась въ безмятежную рѣку надъ ихъ головами...

И. Анненковъ.

* * *

*) Лиза, такъ мило признающаяся Лаврецкому, что у нея „словъ нѣтъ“, тѣмъ самымъ уже прямо выдѣляетъ себя изъ разряда людей, зараженныхъ рудинствомъ. И если у Лизы нѣтъ *словъ*, которыми всякаго рода Рудины замѣняютъ, по большей части, *дѣла*, то водятся-ли за Лизой эти послѣднія? Лиза благочестива; но есть-ли въ ея благочестіи настоящая, дѣятельная христіанская нравственность? „За чѣмъ оскорблять?“... „Если мы не будемъ покоряться“ — вотъ тѣ коротенькія изреченія, въ которыхъ высказывается, конечно, скорѣе страдательный, чѣмъ дѣйствительный складъ ея міросозерцанія. Не сходясь съ умозрительнымъ, въ своемъ родѣ, пониманіемъ христіанства Лаврецкимъ, Лиза находитъ, что „христіаниномъ надобно быть не для того, чтобы познавать небесное, тамъ, земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть“. Тутъ уже прямо звучитъ даже себялюбивая струнка въ ея благочестіи: христіанство оцѣнивается лишь какъ средство *спастись*, пріютить за гробомъ свою душу, *собственную свою* душу. Такимъ образомъ, если тутъ приносятся жертвы, то вовсе не ради другихъ людей, а просто земными низшими выгодами жертвуется тутъ высшимъ—небеснымъ, но все-же *своимъ личнымъ* выгодамъ. Послѣ этого совершенно особый смыслъ получаетъ и то, что Лиза любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога—восторженно, робко, нѣжно, т. е., она любила его, какъ виновника ея будущаго блаженства на небѣ. Рѣшившись идти въ монастырь, она лишь вполнѣ отдавалась предмету своей высшей страсти. Только повидимому примѣшивалась тутъ забота и о другихъ, о земной братіи, безъ люб-

*) О. Миллеръ. „Объ общественныхъ типахъ въ повѣстяхъ И. С. Тургенева“. „Бесѣда“ 1871 г., № 11. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

ви къ которой, по ученію настоящаго, дѣятельнаго христіанства, мы не можемъ любить и Бога. „Я все знаю, говоритъ она, и свои грѣхи, и чужіе, и какъ папенька богатство наше нажилъ“... Но напрасно ждешь послѣ этого, что она захочетъ употребить это, какъ неправо нажитое, богатство на пользу ближнимъ, и такимъ образомъ на дѣлѣ загладить грѣхи отца... Эти послѣдніе тревожатъ ее не потому, что отъ нихъ приходилось, а отъ послѣдствій ихъ еще и теперь приходится плохо очень и очень многимъ людямъ; грѣхи отца тревожатъ ее потому, что отъ нихъ можетъ сдѣлаться плохо *его* душѣ. „Все это отмолить, отмолить надо“, говоритъ Лиза; и такъ, только отмолить — ради его самого, а не залѣчить, сколько возможно, своею братолюбивою дѣятельностію тѣ глубокія раны, которыя онъ наносилъ другимъ. Такимъ образомъ, и въ Лизѣ не видимъ мы силы дѣятельной, какъ не видѣли и настоящей любви, и, при неимѣніи „словъ“, она въ своемъ родѣ рудинствуетъ.

О. Миллеръ.

* * *

*) Изъ всѣхъ женскихъ образовъ, созданныхъ Тургеневымъ, образъ Лизы представляется наиболѣе русскимъ, наиболѣе соотвѣтствующимъ тому идеалу русской женщины, о которомъ у насъ когда-то такъ много толковали, что, наконецъ, перестали совсѣмъ толковать. Послѣ благороднаго образа пушкинской Татьяны едва ли кто нарисовалъ такой простой, безпритязательный и вмѣстѣ съ этимъ чудно-поэтическій женскій образъ, какимъ является героиня „Дворянскаго гнѣзда“. Эта кроткая и милая, глубоко добрая, спокойная, сдержанно-цѣломудренная и вмѣстѣ съ тѣмъ полная самыхъ глубокихъ, самыхъ беззавѣтныхъ порывовъ любви, эта твердая въ своемъ религіозномъ, сосредоточенномъ энтузіазмѣ Лиза гораздо привлекательнѣе, гораздо сильнѣе душой и, главное, гораздо жизненнѣе пресловутой

*) В. Буренинъ. «Литературная дѣятельность Тургенева». Спб. 1884 г.

Елены, фигурирующей въ „Наканунѣ“, которою такъ восхищалась наша либеральная критика, восторгались наши „гражданки“ эпохи пущаго прогресса на Руси, восторгаются еще и теперь эпигоны и—простите курьезное слово—эпигонши утрированныхъ стремленій къ женскимъ „вопросамъ“, „правамъ“ и ко всей трескотнѣ и болтовнѣ, преимущественно плѣняющей въ этомъ дѣлѣ упомянутыхъ эпигоншъ. А между тѣмъ несмотря на то, что Елена была превознесена выше облакъ ходячихъ, какъ лучшій, какъ необыкновенно-художественный типъ русской „женщины-гражданки“, въ замыслѣ и компановкѣ этого типа, если говорить всю правду, Тургеневъ позаимствовался изъ такихъ книжныхъ источниковъ, какъ романы Жоржъ-Сандъ, гораздо больше, чѣмъ изъ наблюденій надъ дѣйствительными русскими женщинами. Несомнѣнно также, что въ нервической, слегка надорванной Еленѣ довольно искусственной „приподнятости“, что ея quasi-гражданскій обликъ, если всмотрѣться въ него поглубже, представляется немного „сдѣланнымъ“, хотя, конечно, сдѣланнымъ съ большимъ искусствомъ и съ искреннимъ увлеченіемъ. Въ созданіи кроткаго и твердаго, нѣсколько даже фанатическаго образа Лизы незамѣтно ни малѣйшаго слѣда подобной дѣланности: этотъ образъ взятъ изъ жизни цѣликомъ, онъ выработанъ творчествомъ художника безъ всякихъ искусственно-книжныхъ подогрѣваній этого творчества тенденціей, безъ всякихъ придуманныхъ декораціонныхъ освѣщеній въ угоду вѣяніямъ времени. И отъ того-то этотъ женскій образъ такъ привлекателенъ въ своей неприкрашенной простотѣ и правдѣ, отъ того-то онъ такъ не понравился нашей либеральной критикѣ: въ немъ, въ этомъ образѣ чистой, доброй и твердой русской дѣвушки нѣтъ никакого заемнаго блеска и треска, онъ не отличается внѣшней эффектностью — ну, стало быть, онъ намъ пришелся не ко двору, ибо, вѣдь, мы только падки на эффектную ложь, только ее и разумѣемъ сразу, только ей и сочувствуемъ съ увлеченіемъ и азартомъ. Либеральная критика не могла простить Тургеневу и его Лизѣ ту религіозную закваску,

которая органически связана съ натурой этой героини и которой источникъ указанъ художникомъ въ раннемъ вліяніи на душу Лизы народнаго элемента, въ лицѣ няни Агаѳьи Власьевны. Помилуйте, какъ смѣлъ Тургеневъ простирать свою художническую добросовѣстность, свое стремленіе къ правдивому воспроизведенію дѣйствительности до забвенія либеральной тенденціи, которая не можетъ терпѣть никакого „мистицизма“, хотя бы этотъ мистицизмъ истекалъ изъ кровнаго сродства съ народнымъ міросозерцаніемъ; какъ смѣлъ Тургеневъ развязать трагическую коллизію романа удаленіемъ героини въ монастырь; какъ смѣлъ онъ выразить чуть ли не сочувствіе такой развязкѣ и признать ея неизбѣжность! Вотъ если бы онъ заставилъ Лизу броситься на шею женатому Лаврецкому, заставилъ и его и ее, вопреки всякимъ „мистическимъ“ и общественнымъ предразсудкамъ, выразить такимъ „честнымъ“ и смѣлымъ поступкомъ „честный“ протестъ „свободной любви“—вотъ тогда бы это была настоящая героиня, тогда бы это былъ настоящій герой, тогда бы ихъ поощрила и либеральная критика и всѣ либеральные „граждане“ и „гражданки“. Но мистическое заблужденіе Лизы и робкая уступка этому заблужденію со стороны Лаврецкаго были поставлены въ укоръ и имъ и ихъ творцу: съ этого времени къ Тургеневу началось охлажденіе либеральной „партіи“. Романомъ „Наканунѣ“ онъ поправилъ дѣло и воротилъ къ себѣ симпатію этой партіи, но не надолго, однакоже: „Отцы и дѣти“ окончательно возбудили партію уже до ненависти, до грубаго негодованія пресловутой „критики“ г. Антоновича, въ которой Тургеневъ былъ сравненъ съ Аскоченскимъ — этимъ чудовищемъ обскурантизма въ глазахъ тогдашнихъ либераловъ...

В. Буренинъ.

* * *

*) Чистый и строгій образъ Лизы есть высшій образъ тургеневскаго творчества, внушающій намъ невольное бла-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

говѣйное уваженіе. Какъ Наталья романа „Рудинъ“, эта русская дѣвушка поражаетъ насъ своей душевной дѣльностью, нераздвоенностью; но та была еще дитя, только начинающее жить; эта — вполнѣ сложившійся опредѣлившійся характеръ. Лиза знаетъ, какъ ей думать, чувствовать и поступать во всѣхъ обстоятельствахъ жизни; въ ней нѣтъ ни сомнѣній ни колебаній: ей истина открыта. Простъ, повидимому, и несложенъ ея духовный міръ; но онъ глубокъ и всеобъемлющъ. — Замѣчательны при этомъ два обстоятельства: Тургеневъ далъ ей только 19 лѣтъ и не надѣлилъ ее дарованіями:

„Особенно блестящими способностями, большимъ умомъ ее Богъ не наградилъ; безъ труда ей ничего не давалось“, говоритъ онъ.

Инстинктъ генія руководилъ въ этомъ случаѣ поэтомъ: не тотъ человѣкъ Евангельской притчи вошелъ въ „радость Господа своего“, кому дано было 12 талантовъ, а тотъ, кто удвоилъ свой одинъ талантъ. Что же касается молодости, то часто правда и истина доступны дѣтямъ, а возрастая, человѣкъ иной разъ теряетъ ихъ, раздваиваясь и мельчая духомъ, утрачивая юношескую вѣру, молодой энтузіазмъ. Лиза сохранила ихъ неизмѣнными съ младенческихъ лѣтъ. Живя полною и цѣльною жизнью духа, она не знаетъ не только раздвоенія, но и эгоизма: ей некогда и не для чего заниматься собою и думать о своемъ личномъ счастьѣ.

Достоевскій въ своей рѣчи о Пушкинѣ сблизилъ Лизу съ Татьяной великаго поэта. Въ самомъ дѣлѣ, между этими лицами много общаго: та же полнота духовной жизни въ обѣихъ, то же отсутствіе односторонности.—Лиза напоминаетъ Татьяну и своимъ дѣтствомъ:

„Она... была серьезный ребенокъ“ (говоритъ Тургеневъ); глаза ея „свѣтились тихимъ вниманіемъ и добротой, что рѣдко въ дѣтяхъ. Она въ куклы не любила играть, смѣялась не громко и не долго, держалась чинно. Она задумывалась не часто, но почти всегда не даромъ; помолчавъ немного, она обыкновенно кончала тѣмъ, что обращалась къ кому-нибудь старшему съ вопросомъ, показывавшимъ, что голова ея работала надъ новымъ впечатлѣ-

піемъ... Отца она боялась; чувство ея къ матери было неопредѣленно,—она не боялась ея и не ласкалась къ ней; впрочемъ, она и къ Агаѳьѣ (ея няня и воспитательница) не ласкалась, хотя только ее одну и любила".

Серьезность и глубина духовной жизни отличаютъ дѣтство обѣихъ—и Татьяны и Лизы. Но Лиза была счастливѣе Татьяны: та возростала подъ вліяніемъ односторонняхъ впечатлѣній,—сначала народнаго сказочнаго міра, потомъ романтической поэзіи Руссо и Байрона, потомъ отвлеченнаго мышленія, съ которымъ знакомилась по книгамъ Онѣгина и его отмѣткамъ на поляхъ этихъ книгъ,—и къ полному равновѣсію, къ гармоническому единству (такъ поражающему насъ въ ея „проповѣди" Онѣгину) ея богатыя душевныя силы пришли слишкомъ поздно, тогда, когда она уже, сама не зная, какъ это случилось, закабалила себя бездушнымъ формамъ свѣтскаго міра. — Лизѣ то же единство, та же гармонія дались проще: съ ранняго дѣтства передъ нею открылась нетлѣнная красота религіознаго идеала. Ея воспитательницей была простая русская женщина — Агаѳья, много испытавшая въ жизни, можно сказать, извѣдавшая жизнь, и потомъ смирившаяся и отдавшая всю душу свою Богу.—Съ удивительной простотой и художественной силой повѣствуетъ намъ Тургеневъ, какъ возростала Лиза подъ руководствомъ этой Агаѳьи.

„Бывало, Агаѳья, вся въ черномъ, съ темнымъ платкомъ на головѣ, съ похудѣвшимъ, какъ воскъ прозрачнымъ, но все еще прекраснымъ и выразительнымъ лицомъ, сидитъ прямо и вяжетъ чулокъ; у ногъ ея, на маленькомъ креслицѣ, сидитъ Лиза и тоже трудится надъ какой-нибудь работой или, важно поднявши свѣтлые глазки, слушаетъ, что разсказываетъ ей Агаѳья; а Агаѳья разсказываетъ ей не сказки: мѣрнымъ и ровнымъ голосомъ разсказываетъ она житіе Пречистой Дѣвы, житіе отшельниковъ, угодниковъ Божіихъ, святыхъ мученицъ; говоритъ она Лизѣ, какъ жили святые въ пустыняхъ, какъ спасались, голодъ терпѣли и нужду, — и царей не боялись, Христа исповѣдовали; какъ имъ птицы небесныя кормъ носили, и звѣри ихъ слушались; какъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ кровь ихъ падала, цвѣты выростали. „Желтофіоли?" спросила однажды Лиза, которая очень любила цвѣты... Агаѳья говорила съ Лизой важно и смиренно, точно она сама

чувствовала, что не ей бы произносить такія высокія и святыя слова. Лиза ее слушала — и образъ Вездѣсущаго, Всезнающаго Бога съ какой-то сладкой силой втѣснялся въ ея душу, наполнялъ ее чистымъ, благоговѣйнымъ страхомъ, а Христосъ становился ей чѣмъ-то близкимъ, знакомымъ, чуть не роднымъ; Агаѳья и молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на зарѣ, торопливо ее одѣвала и уводила тайкомъ къ заутренѣ; Лиза шла за ней на цыпочкахъ, едва дыша; холодъ и полусвѣтъ утра, свѣжесть и пустота церкви, самая таинственность этихъ неожиданныхъ отлучекъ, осторожное возвращеніе въ домъ, въ постельку,— вся эта смѣсь запрещеннаго, страннаго, святого потрясала дѣвочку, проникала въ самую глубь ея существа. Агаѳья никогда никого не осуждала и Лизу не бранила за шалости. Когда она бывала чѣмъ недовольна, она только молчала; и Лиза понимала это молчаніе съ быстрой прозорливостью ребенка“.

Отдавшись, такимъ образомъ, съ дѣтства всею душою Богу, Лиза не утратила своей самобытности, напротивъ— этимъ именно пріобрѣла ее:

„у ней не было „своихъ словъ“, какъ она выразилась однажды, но были свои мысли, и шла она своей дорогой“, говоритъ поэтъ.

Чѣмъ выше стоитъ человѣкъ нравственно, чѣмъ онъ чище сердцемъ и прозорливѣе умомъ, чѣмъ глубже его духовная жизнь,—тѣмъ онъ проще, тѣмъ ближе къ людямъ и тѣмъ доступнѣе всѣмъ чистымъ впечатлѣніямъ жизни, тѣмъ меньше представляется онъ необыкновеннымъ существомъ. Это самое мы и видимъ въ Лизѣ:

Такъ росла она (говоритъ поэтъ) — покойно, неторопливо, такъ достигла девятнадцати-лѣтняго возраста. Она была очень мила, сама того не зная. Въ каждомъ ея движеніи высказывалась невольная, нѣсколько неловкая грація; голосъ ея звучалъ серебромъ нетронутой юности, малѣйшее ощущеніе удовольствія вызывало привлекательную улыбку на ея губы, придавало глубокій блескъ и какую-то тайную ласковость ея засвѣтившимся глазамъ. Вся проникнутая чувствомъ долга, боязнью оскорбить кого-бы то ни было, съ сердцемъ добрымъ и кроткимъ, она любила всѣхъ и никого въ особенности; она любила одного Бога, восторженно, робко, нѣжно... Такова была Лиза“.

И вотъ эта дѣвушка встрѣтилась съ Лаврецкимъ и полюбила его. Любовь ея, какъ и любовь Натальи къ Рудину,

какъ всякая возвышенная любовь, коренится не въ чисто личныхъ ощущеніяхъ, а на почвѣ общей жизни. Лизу и Лаврецкаго сблизили — единство убѣжденій, сходство многихъ чувствъ и мыслей, сходство общаго строя духовной жизни. Особенно ясно открывается это передъ нами въ той сценѣ романа, гдѣ Лаврецкій споритъ съ Паншинымъ; онъ и споритъ, главнымъ образомъ, для Лизы, чувствуя внутреннюю потребность открыть ей свою душу, высказаться передъ нею.

„Лиза не вымолвила ни одного слова въ теченіе спора между Лаврецкимъ и Паншинымъ (разсказываетъ поэтъ), но внимательно слѣдила за нимъ, и вся была на сторонѣ Лаврецкаго. Политика ее занимала очень мало; но самонадѣянный тонъ свѣтскаго чиновника... ее отталкивалъ; его презрѣніе къ Россіи ее оскорбило. Лизѣ и въ голову не приходило, что она патріотка; но ей было по душѣ съ русскими людьми; русскій складъ ума ее радовалъ; она, не чинясь, по цѣлымъ часамъ бесѣдовала со старостой материнскаго имѣнія, когда онъ пріѣзжалъ въ городъ, и бесѣдовала съ нимъ какъ съ ровней, безъ всякаго барскаго снисхожденія. Лаврецкій все это чувствовалъ: онъ бы не сталъ возражать одному Паншину; онъ говорилъ только для Лизы. Другъ другу они ничего не сказали, даже глаза ихъ рѣдко встрѣчались; но оба они поняли, что и любятъ и не любятъ одно и то-же“.

Въ эту минуту и опредѣлилось окончательно ихъ взаимное чувство, утвердилось въ ихъ сердцахъ:

„у каждаго изъ нихъ сердце росло въ груди (говоритъ поэтъ), и ничего для нихъ не пропало: для нихъ пѣлъ соловей, и звѣзды горѣли, и деревья тихо шептали, убаюканныя и сномъ, и нѣгой лѣта, и теплomъ. Лаврецкій отдавался весь увлекавшей его волнѣ—и радовался; но слово не выразитъ того, что происходило въ чистой душѣ дѣвушки: оно было тайной для нея самой; пусть же оно останется и для всѣхъ тайной“.

Послѣднія слова свидѣтельствуютъ, съ какой глубокой и благоговѣйной любовью, съ какимъ уваженіемъ относится Тургеневъ къ своей Лизѣ (Это напоминаетъ намъ отношенія Пушкина къ Татьянѣ). И вездѣ, всюду въ романѣ Тургеневъ сердцемъ своимъ симпатизируетъ Лизѣ болѣе, чѣмъ кому-либо. И въ разногласіяхъ Лизы съ

съ Лаврецкимъ онъ на ея сторонѣ (хоть, можетъ быть, и самъ это не вполнѣ и не всегда сознаетъ).

Разногласія съ Лаврецкимъ... Да, при всемъ сходствѣ сочувствій и антипатій, между героемъ романа и Лизой есть два существенныхъ разногласія: во-первыхъ, въ религіозныхъ убѣжденіяхъ; во-вторыхъ, въ личныхъ отношеніяхъ того и другого къ чувству любви и, въ связи съ этимъ, къ своему „я“. Примириться съ этими разногласіями Лиза, душа прямая, искренняя и сильная, не хочетъ и не можетъ, — не по эгоизму (его нѣтъ въ ней), а по чувству правды; она или обратитъ Лаврецкаго къ Богу и истинѣ или разорветъ съ нимъ, и не колеблясь разобьетъ свое сердце.

Разница религіозныхъ убѣжденій особенно ясно выражается въ сценѣ посѣщенія Калитиными Лаврецкаго въ его Васильевскомъ. Лаврецкій бесѣдуетъ съ Лизой у пруда. „Помолились вы за меня?“ спрашиваетъ онъ.

— Да, я за васъ молилась и молюсь каждый день. А вы, пожалуйста, не говорите легко объ этомъ.

Лаврецкій началъ увѣрять Лизу, что ему это и въ голову не приходило, что онъ глубоко уважаетъ всякія убѣжденія; потомъ онъ пустился толковать о религіи, о ея значеніи въ исторіи человѣчества, о значеніи христіанства...

— Христіаниномъ нужно быть, заговорила не безъ усилія Лиза: не для того, чтобы познавать небесное... тамъ.. земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть.

Лаврецкій съ невольнымъ удивленіемъ поднялъ глаза на Лизу и встрѣтилъ ея взглядъ.

— Какое это вы промолвили слово! сказалъ онъ.

— Это слово не мое, отвѣчала она.

— Не ваше... Но почему вы заговорили о смерти?

— Не знаю... Я часто о ней думаю.

— Часто.

— Да.

— Этого не скажешь, глядя на васъ теперь: у васъ такое веселое, свѣтлое лицо, вы улыбаетесь...

— Да, мнѣ очень весело теперь, наивно возразила Лиза.

Какими ничтожными кажутся здѣсь высокопарныя разсужденія Лаврецкаго объ историческомъ, объ относительномъ значеніи религіи вообще и христіанства въ частно-

сти, безъ вѣры въ божественность ихъ, ничтожными сравнительно съ простой, до обыденности простой мыслью Лизы, что всякому человѣку надо умереть, что земная жизнь наша коротка и временна. Въ самомъ дѣлѣ, одно изъ двухъ: или нѣтъ Бога и жизни вѣчной—и тогда нечего утѣшать себя исторической значительностью идей и вѣрованій человѣческихъ, а надо придти къ отчаянью, либо къ легкомысленному наслажденію матеріальными благами дѣйствительности,—или есть безсмертіе души и Богъ есть—и тогда вѣра нужна именно потому, что „каждый человѣкъ долженъ умереть“, что онъ лишь гость въ земной жизни. Лиза вѣритъ, и (высшая нравственная доблесть!) не боится смерти. Вѣчная дума о кончинѣ не мѣшаетъ ей радоваться свѣтлымъ впечатлѣніямъ жизни, быть спокойной и веселой.

Лаврецкій быстро уступаетъ Лизѣ въ дѣлѣ вѣры — она приводитъ его къ Богу. Когда онъ узналъ о смерти жены и сообщилъ это извѣстіе Лизѣ, она потребовала, чтобы онъ пошелъ въ церковь: „мы вмѣстѣ помолимся (сказала она) за упокой ея души“. И Лаврецкій на другой день отправился къ обѣднѣ. Онъ увидѣлъ въ церкви Лизу.

„Онъ почувствовалъ, что она молилась и за него, — и чудное умиленіе наполнило его душу,“ — и онъ „всѣмъ помысломъ своимъ повергнулся ницъ и приникъ смиренно къ землѣ. Вспомнилось ему, какъ въ дѣтствѣ онъ всякій разъ въ церкви до тѣхъ поръ молился, пока не ощущалъ у себя на лбу какъ-бы чьего-то свѣжаго прикосновенія; это, думалъ онъ тогда, ангелъ-хранитель принимаетъ меня, кладетъ на меня печать избранія. Онъ взглянулъ на Лизу... „Ты меня сюда привела, подумалъ онъ: коснись же меня, коснись моей души“. Она все такъ-же тихо молилась; лицо ея показалось ему радостнымъ, и онъ умилился вновь, онъ помолился другой душѣ—покоя, своей прощенья“.

Надежды Лизы сбылись: Лаврецкій увѣровалъ, Лаврецкій обратился черезъ нее къ Богу. Правда, это было лишь на время, а потомъ онъ опять вернулся къ своему скептицизму. Но, однако, никакъ нельзя сказать, что молитва его была лишь умиленіемъ и непослѣдовательностью влюбленнаго, „богомольнымъ благоговѣньемъ передъ святыней красоты“. Нѣтъ, онъ молился какъ вѣрующій христіанинъ,

когда просилъ у Бога упокоенія душѣ жены, прощенія своей душѣ.

Гораздо труднѣй было другое дѣло: тяжелѣй было сломить его эгоизмъ.

„Счастье на землѣ зависитъ не отъ насъ“,—сказала Лиза. Въ этихъ словахъ, тоже простыхъ, кроется тотъ глубокій смыслъ, что человѣкъ не долженъ думать о личномъ счастьѣ,—оно придетъ само, если нужно, а наша обязанность—думать и заботиться о томъ, что выше нашего эгоизма. Лиза вѣрна этой идеѣ въ своей любви къ Лаврецкому: въ то время, когда онъ наслаждается своимъ блаженствомъ, слушая романтическую музыку Лемма, она — молится. — Лаврецкій тоже, какъ Лиза, возвышенно смотритъ на любовь и бракъ: онъ правдиво и честно мечтаетъ, что, если бы она была его женою, она бы „воодушевила (его) на честный, строгій трудъ, и (они) пошли бы оба впередъ, къ прекрасной цѣли“. Но такая возвышенная мечта у Лаврецкаго отвлеченна: на самомъ дѣлѣ въ любви къ Лизѣ онъ ищетъ прежде всего личнаго счастья. Не станемъ подбирать доказательствъ, въ пользу этого соображенія, изъ событій романа (ихъ можно бы было найти довольно много); вспомнимъ только слова самого поэта объ этомъ въ эпилогѣ произведенія; Тургеневъ говоритъ про своего героя:

„совершился наконецъ (т. е. черезъ 8 лѣтъ послѣ того, какъ все кончено было въ его отношеніяхъ къ Лизѣ) переломъ въ его жизни, тотъ переломъ, котораго многіе не испытываютъ, но безъ котораго нельзя остаться порядочнымъ человѣкомъ до конца; онъ дѣйствительно пересталъ думать о собственномъ счастьѣ, о своекорыстныхъ цѣляхъ“.

Ясно изъ этихъ словъ, что и здѣсь, и въ этой мысли Тургеневъ согласенъ съ Лизой.

Но что же дурного въ счастьѣ честно и искренно любящихъ другъ друга людей? Конечно, ничего. И Лиза счастлива любовью къ Лаврецкому. Но дурно то, когда человѣкъ весь сосредоточивается на мечтахъ объ этомъ счастьѣ, забывая общее, забывая свой долгъ: въ немъ развивается тогда эгоизмъ, а эгоизмъ приводитъ злобу.—Мы и видимъ

это въ Лаврецкомъ: параллельно съ любовью къ Лизѣ, въ душѣ его живетъ эгоистическая злоба на жену. Это мучитъ Лизу; она борется съ темнымъ началомъ въ его любви, она отчасти одолѣваетъ это начало; но вполнѣ побѣдить не можетъ, — и здѣсь обнаруживается несостоятельность Лаврецкаго, здѣсь развѣнчиваетъ его Тургеневъ.

Сближеніе Лизы съ Лаврецкимъ съ того и началось, что она указала ему неправду его злобы на жену; онъ-было отвѣтилъ рѣзкимъ возраженіемъ, самолюбиво увѣренный въ правотѣ своего чувства; но потомъ созналъ себя неправымъ, — взволнованный, подошелъ онъ къ Лизѣ, и „украдкой шепнулъ ей: „спасибо, вы добрая дѣвушка; я виноватъ...“ И ея блѣдное лицо заалѣлось веселой и стыдливой улыбкой“. Съ этой минуты и въ его сердце и въ сердце Лизы закралась искра взаимной любви.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Душевная красота дана была Лизѣ отъ природы, но именно вѣяніе одухотворенной тишины, подспудной жизни съ затаившимся въ ней преданіемъ, съ хранимымъ въ ней немеркнущимъ свѣтомъ — именно вѣяніе этой тишины охранило душевную красоту Лизы, осмыслило ее, дало ей форму.

„Наружный шумъ“ никогда не врывался въ тотъ міръ „таинственно волшебныхъ думъ“, который былъ въ душѣ Лизы, не мѣшалъ ей внимать себѣ, прислушиваться ко внутреннему голосу своей души, и она, сама того не зная, исполняла завѣтъ поэта:

Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими и молчи!

Она, въ тишинѣ, питалась этими ключами, просачивавшимися въ ея душу изъ окружавшаго ее міра замершаго преданія. Впечатлѣнія жизни она молча „слагала въ сердцѣ своемъ“ — и все наростало и наростало ея душевное богатство.

*) Ю. Николаевъ. „Тургеневъ“. Москва. 1894 г.

Въ ея жизнь не врывались никакіе чуждые элементы, какъ въ жизнь Лаврецкаго, ее никто не ломалъ, какъ ломали Лаврецкаго, надъ ней никто не мудрилъ, какъ мудрили надъ нимъ. Правда, поверхность той жизни, изъ глубины которой питалась ея душа, была мертвенная и омертвѣвшая, — но эта мертвенная и омертвѣвшая среда мало вліяла на Лизу. Отецъ ея, практикъ и дѣлецъ, вѣчно погруженный въ свои расчеты, мало обращалъ на нее вниманія, мать—пустая эгоистка—всѣ заботы о ней ограничивала тѣмъ, что наряжала ее, какъ куклу, но не только не вмѣшивалась въ ея внутреннюю жизнь, а врядъ ли даже подозрѣвала, что у ребенка, потомъ у дѣвочки и у дѣвушки есть внутренняя жизнь —такъ мало этой внутренней жизни было у самой Марьи Дмитріевны. Гувернантка, учителя,—все это скользнуло мимо Лизы, не затрогивая ея души. Но съ самаго младенчества эту душу наполнило собою чувство религіозное. Няня ея Агаѳья, тетка Марѳа Тимооеевна, всѣми корнями вросшіе въ почву, созданную преемственнымъ преданіемъ, дали ей первыя дѣтскія впечатлѣнія. А весь складъ натуры Лизы былъ таковъ, что впечатлѣнія глубоко западали въ ея душу и усвоялись въ тайной, но непрерывной работѣ мысли. Глаза ея, еще ребенка, говоритъ Тургеневъ, „свѣтились тихимъ вниманіемъ и добротой, что́ рѣдко въ дѣтяхъ“. „Она задумывалась не часто“, читаемъ мы далѣе—„но почти всегда не даромъ; помолчавъ немного, она обыкновенно кончала тѣмъ, что обращалась къ кому-нибудь старшему съ вопросомъ, показывавшимъ, что голова ея работала надъ новымъ впечатлѣніемъ“.

Немного разсказываетъ намъ Тургеневъ о внутренней жизни Лизы вообще и о внутренней ея жизни въ дѣтствѣ — въ особенности. Чутьемъ художника уловилъ онъ немногія черты ея души, но онѣ такъ и остались для него неяснымн. Чутье же художника подсказало ему и ту осторожность, почти робость, съ которыми онъ рисуетъ ея образъ. Образъ этотъ сдѣланъ твердою, но уже слишкомъ осторожною рукой. Художникъ боится сгустить тѣнь, по-

ложить лишній штрихъ, провести еще линію; за краски онъ и вовсе не принимается. Онъ чувствуетъ, что его эскизъ не полонъ, недоконченъ, едва намѣченъ, но предпочитаетъ оставить его такъ, нежели испортить невѣрнымъ оттѣнкомъ, фальшиво наложенною краской. Онъ до того остороженъ, что первоначально даже вовсе не коснулся дѣтства Лизы, ея воспитанія. Въ первоначально написанномъ романѣ не было той главы, гдѣ говорится объ этомъ. Она написана и вставлена въ романъ по указанію П. В. Анненкова, которому Тургеневъ посылалъ для предварительнаго прочтенія всѣ свои произведенія, между прочимъ и *Дворянское гнѣздо*. Анненковъ, прочтя романъ въ рукописи, замѣтилъ, что необходимо прибавить къ нему исторію дѣтства и воспитанія Лизы, безъ чего она не будетъ понятна. Тургеневъ послушался совѣта и написалъ новую главу, которую вставилъ въ романъ. И дѣйствительно, тотчасъ же замѣтно, что эта глава (XXXV-я) искусственно вставлена въ разсказъ, неожиданно прерывая его теченіе. Но и въ этой главѣ не заключена исторія дѣтства и воспитанія Лизы: на это въ ней есть только намеки, все же дающіе намъ ключъ къ уразумѣнію Лизы и ея послѣдующей исторіи...

Самое воспитаніе Лиза, какъ народъ нашъ, получила въ церкви, въ храмѣ. Она полюбила храмъ, какъ любитъ его народъ нашъ, и тамъ для нея раскрылся глубокій смыслъ ея вѣры, и тамъ она нашла утвержденіе того, что́ жило въ душѣ ея. Она воспринимала въ свою душу ученіе вѣры не въ сухомъ изложеніи катихизиса или учебника, а въ живомъ дѣйствіи, въ живомъ откровеніи самой вѣры. Въ церковныхъ службахъ—и вся исторія христіанства и вся его догматика: исторія, раскрывающаяся въ дѣйствіи, во всемъ ея величавомъ трагизмѣ, — догматика, раскрывающаяся не въ сухихъ формулахъ, а въ святыхъ словахъ умиленной и скорбной молитвы, въ поэзіи церковныхъ пѣснопѣній, въ вѣчныхъ словахъ, произносимыхъ предъ самымъ престоломъ вѣчнаго Бога.

Въ храмѣ произносятся каждый разъ одни и тѣ же сло-

ва, но слова *вѣчныя*, и эти слова каждый разъ, какъ ихъ снова слышала Лиза, снова и съ новою силой входили въ ея душу: смыслъ ихъ все углублялся, значеніе ихъ все становилось понятнѣе. Въ храмѣ же она видѣла вокругъ себя этотъ смиренный, колѣнопреклоненный народъ, съ благоговѣніемъ прислушивающійся къ святымъ и вѣчнымъ словамъ,—она видѣла этихъ смиренныхъ людей, убогихъ, темныхъ, простыхъ, но готовыхъ во всякую минуту отдать жизнь свою за эти святыя и вѣчныя слова; въ храмѣ она жила одною жизнью съ этимъ народомъ, чувствовала однимъ чувствомъ съ нимъ... *И вѣчное*, одно вѣчное наполняло ея душу, укрѣплялось въ ней, отодвигая отъ нея все временное, все житейское...

Вотъ откуда ея слова, такъ поразившія Лаврецкаго. Когда онъ началъ говорить ей о религіи, о ея значеніи въ исторіи, о значеніи христіанства, Лиза сразу поняла смыслъ этихъ философскихъ разсужденій, поняла и то, что не въ нихъ сущность дѣла.

„Христіаниномъ нужно быть, заговорила не безъ нѣкотораго усилія Лиза:— не для того, чтобы познавать небесное... тамъ... земное, а для того, что каждый человѣкъ долженъ умереть“.

„Лаврецкій съ невольнымъ удивленіемъ поднялъ глаза на Лизу и встрѣтилъ ея взглядъ“.

„Какое это вы промолвили слово, сказалъ онъ“.

„Это слово не мое, отвѣчала она“.

Да, это слово не ея, это то *вѣчное* слово, которое вошло въ ея душу въ храмѣ и укрѣпилось въ ней.

Это вѣчное, и только оно, которое въ ея душѣ господствуетъ надо всѣмъ, надъ всѣми ея чувствами и помыслами—это вѣчное дало силу ей, хрупкой и слабой дѣвушкѣ, перенести съ мужественною твердостію тяжкое испытаніе, постигшее ее, дало ей силу добровольно и сознательно возложить на себя крестъ и понести его. Она нестерпимо страдаетъ, конечно, но она не подчиняется страданію, а сама принимаетъ его, сознательно и осмысленно, и вотъ почему ея страданіе восходитъ на высоту подвига.

Ея душа, постигнутая несчастіемъ, истерзанная нестерпимымъ страданіемъ, не впадаетъ въ отчаяніе и уныніе, а напротивъ, расширяется, возвышается и обнаруживаетъ то высокое чувство, которое таилось въ глубинѣ, не высказанное, но всегда сознаваемое. Уже рѣшившись идти въ монастырь, она говоритъ теткѣ:

„Счастіе ко мнѣ не шло. Даже когда у меня были надежды на счастіе, сердце у меня все щемило. Я знаю все: и свои грѣхи и чужіе, и *какъ папенька богатство нажилъ*, я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо“.

И она ушла въ монастырь. Она знаетъ, что дѣлаетъ и зачѣмъ дѣлаетъ. Не разбитая жизнь, не разбитая надежда на счастіе гонитъ ее туда, не для того чтобъ укрыться отъ вѣтра жизни, какъ хотѣлъ укрыться отъ него Гамлетъ—въ могилѣ, идетъ она въ монастырь;—нѣтъ, она идетъ туда, совершая сознательный подвигъ, она идетъ туда молиться за міръ, за грѣхи отца своего, которые скорбью и тягостью легли на ея душу, мучатъ ея чуткую совѣсть,—она идетъ молиться за живыхъ и за мертвыхъ, за тѣхъ, за кого, быть-можетъ, уже некому помолиться...

„Говорятъ, Лаврецкій посѣтилъ тотъ отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза—увидѣлъ ее“, читаемъ мы въ романѣ. — „Перебираясь съ клироса на клиросъ, она прошла близко мимо него, прошла ровною, торопливо смиренною походкой монахини—и не взглянула на него; только рѣсницы обращеннаго къ нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо—и пальцы сжатыхъ рукъ, перевитые четками, еще крѣпче прижались другъ къ другу.

Ю. Николаевъ.

Паншинъ.*)

*) Паншинъ—тоже живой и въ своемъ родѣ замѣчательный новый русскій типъ. Тургеневъ яркими красками изо-

*) П. Евстафьевъ. „Новая русская литература“.

бразилъ этого героя. Паншинъ — совершеннѣйшій представитель той полуобразованности, той внѣшней отдѣлки, которая иногда такъ пріятно бросается въ глаза. У него всевозможные таланты: онъ живописецъ, музыкантъ, чиновникъ, ораторъ, берейторъ, свѣтскій человѣкъ; но все это въ такой лишь степени, сколько нужно, чтобы занимать, тѣшить людей и никогда не приносить имъ ни духовной ни вещественной пользы. Чтобы приносить пользу, нужно дѣло, призваніе къ дѣлу. Всякое дѣло требуетъ участія души, а всѣ душевныя силы Паншина обращены исключительно къ самому себѣ. Впрочемъ, Паншинъ можетъ, пожалуй, играть даже и хорошаго человѣка; но игра эта будетъ натуральна только до тѣхъ поръ, покуда ничто не затронетъ его мелкихъ страстей. Тогда тотчасъ выступитъ наружу его пустая, безсердечная натура, отполированная только снаружи. Для людей ограниченныхъ Паншинъ кажется героемъ, представителемъ столичнаго просвѣщенія. Передъ нимъ, напримѣръ, чуть не благоговѣетъ мать Лизы, и считаетъ его прекрасной *партіей* для своей дочери. Честный старикъ Леммъ думаетъ о немъ иначе: „Лизавета Михайловна — говоритъ онъ — дѣвица справедливая, серьезная, съ возвышенными чувствами; она можетъ любить одно прекрасное, а онъ не прекрасенъ; то есть душа его не прекрасна... онъ... онъ дил-летантъ, однимъ словомъ“. Это значитъ: человѣкъ, который всего нахваталъ изъ книгъ, обо всемъ толкуетъ заносчиво и рѣзко; ни къ чему души не прилагаетъ, ни въ чемъ искренно не убѣжденъ. Когда Лаврецкій спокойно и благородно разбилъ его въ спорѣ на всѣхъ пунктахъ и обличилъ свѣтскаго болтуна, старушка Марѳа Тимоѳеевна украдкой потрепала своего Ѳедю по щекѣ, лукаво прищурилась и нѣсколько разъ покачала головой, приговаривая: „отдѣлалъ умника, спасибо!“ Вообще авторъ не скупится на острыя и сердитыя изобличенія напускной важности, тщеславія и самодовольства этого героя. Не безъ умысла Тургеневъ поручаетъ именно Марьѣ Дмитріевнѣ, т. е. самой пустой госпожѣ, выразить похвалу достоинствамъ Паншина: „вотъ какой умный человѣкъ у

меня бесѣдуетъ". Въ этой-же главѣ, именно XXXIII, авторъ какъ будто подъ вліяніемъ негодованія на изображаемый типъ, самъ прерываетъ сцену разговора дѣйствующихъ лицъ и уже отъ своего собственнаго лица дорисовываетъ характеръ Паншина. И въ этой дорисовкѣ авторъ торопливъ и самъ какъ будто раздраженъ. Тутъ попадаются о Паншинѣ такія слова: „говорилъ красиво, но съ тайнымъ озлобленіемъ"—возражалъ раздражительно и рѣзко,—„занесся наконецъ до того, что, забывъ свое камеръюнкерское званіе и чиновничью карьеру, назвалъ Лаврецкаго" и т. д. Подъ конецъ же сцены, опять устами Маріи Дмитріевны, авторъ произноситъ „une nature poétique, конечно, не можетъ пахать... et puis, вы призваны, Владиміръ Николаевичъ, дѣлать все en grand". Этимъ сарказмомъ авторъ совершенно уничтожаетъ заносчивость говоруна.

П. Евстафіевъ.

* * *

*) Паншинъ этотъ, по выдѣлкѣ, по обилію и роскоши второстепеныхъ подробностей, можетъ-быть, уступаетъ въ романѣ только изображенію „львицы" Варвары Павловны, обработанному авторомъ съ изумительною тщательностію. Паншинъ вступаетъ въ семейство Лизы почти какъ побѣдитель, еще прежде какой-нибудь побѣды. Пустѣйшая мать героини—бывшая институтка — за него горой. Удивительный представитель русской полуобразованности и русскаго фальшиваго развитія, которыя такъ изумляютъ иностранцевъ, онъ надѣленъ всѣми возможными талантами: талантомъ живописца, музыкальнымъ, чиновничьимъ, но въ той степени, какая нужна, чтобы занимать, тѣшить людей, и никогда не приносить имъ ни духовной, ни вещественной пользы. Онъ и ораторъ, и берейторъ, и свѣтскій человѣкъ—и все это въ мѣру, такъ, чтобы ничто не походило на настоящее дѣло или призваніе. Всякое дѣло или призваніе требуютъ участія души и мысли, а душа и мысль

*) П. Анненковъ. „Воспоминанія и критическіе очерки", отд. II. Спб. 1879 г.

Паншина обращены только къ самому себѣ. Лизавета Михайловна находитъ, что онъ и *добрый человѣкъ*: онъ можетъ играть, пожалуй, и добраго человѣка очень натурально, покуда мелкія страсти, единственно доступныя ему, спятъ спокойно въ нѣдрахъ его пустой груди. Это совершеннѣйшій типъ *выправки*, которымъ наполнены канцеляріи и салоны Петербурга, смѣшной и позорный въ одно время, если разсмотрѣть его ближе, но очень годный на выставку, когда нужно обмануть глаза образованнаго міра, чего, какъ извѣстно, всѣ мы крѣпко добиваемся. Въ провинціи онъ еще и представитель столичнаго *прогресса*, высокаго моральнаго и общественнаго развитія, которое тамъ совершилось или совершается.

Такой-то человѣкъ принялся со всѣмъ усердіемъ и со всѣмъ кокетствомъ, къ какому только способенъ, разработывать сердце Лизаветы Михайловны въ свою пользу, и это не изъ одной потѣхи: она успѣла тронуть даже его черствую душу. Мы застаемъ ее въ ту минуту, когда она начинаетъ поддаваться его усиліямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ читатель пораженъ въ ней признаками какого-то невольнаго страха, подозрѣнія и нерѣшительности: это и есть именно обычная работа нравственнаго чувства, замѣняющаго ей опытность и бодрствующаго надъ нею во всякое время. За блестящею наружностію Паншина, за радужною игрой его артистическихъ притязаній, свѣтскихъ пріемовъ и полупризнаній, не видится благородной дѣвушкѣ моральнаго образа, смутно живущаго въ ея душѣ, не слышится голоса, отвѣчающаго ея предчувствіямъ и вопросамъ...

П. Анненковъ.

* * *

*) Паншинъ не служитъ никакому дѣлу, не преданъ никакой идеѣ, не выработалъ себѣ никакого твердаго, дорогого убѣжденія; прожить весело и спокойно, нравиться окружающимъ людямъ, рисоваться передъ ними разнообраз-

*) Д. Писаревъ. „Разсвѣтъ“ 1859 г., № 4. Также „Сочиненія Писарева“.

ными дарованіями и чистотою нравственныхъ правилъ, возбуждать ихъ изумленіе и благоговѣніе вычитанною и кстати приведенною мыслію и, наконецъ, путями всѣхъ этихъ разнородныхъ, пустыхъ, но въ сущности безгрѣшныхъ успѣховъ достигнуть подъ старость высокаго чина и обезпеченнаго состоянія—вотъ цѣль Паншина въ жизни, и этой цѣли онъ навѣрное достигнетъ, потому что онъ человѣкъ умный, не настолько безнравственный или смѣлый, чтобы оскорбить какою нибудь продѣлкою даже самое чуткое общественное мнѣніе, и не настолько благородный и пылкій, чтобы всею душою принять какое нибудь убѣжденіе и во имя этого убѣжденія пожертвовать карьерою и временными выгодами. Паншинъ—сухой человѣкъ, примѣняющій и общія идеи и высшія стремленія къ мелкимъ выгодамъ своего *я*, но въ то же время тщательно скрывающій отъ всѣхъ другихъ свой узкій эгоизмъ. Онъ драпируется и постоянно играетъ роль. То онъ является государственнымъ человѣкомъ, заботящимся о нуждахъ народа и горячо принимающимъ къ сердцу все, что можетъ упрочить его благосостояніе и содѣйствовать его развитію. Въ этомъ случаѣ его пылкія и, повидимому, вдохновенныя рѣчи отличаются преобладаніемъ общихъ мѣстъ и незнаніемъ истиннаго дѣла, незнаніемъ народнаго характера и народной жизни. То онъ прикидывается художникомъ, умно говоритъ о Шекспирѣ и Бетховенѣ, съ чувствомъ поетъ, съ видомъ знатока кладетъ широкіе штрихи на единственный ландшафтъ, который рисуетъ во всѣхъ альбомахъ знакомыхъ дамъ и дѣвицъ. Здѣсь Леммъ, истинный художникъ по чувству и спеціалистъ своего дѣла по знаніямъ, прямо угадываетъ его неискренность, и смѣло говоритъ, что онъ неспособенъ вѣрно понимать и глубоко чувствовать. То Паншинъ просто является добрымъ, откровеннымъ малымъ, у котораго нѣтъ ни затаенной мысли ни расчета, человѣкомъ, увлекающимся минутными порывами, поддающимся мимолетнымъ впечатлѣніямъ и способнымъ, по живости и безпечности характера, надѣлать глупостей и поставить себя въ затруднительное и нелов-

кое положеніе. Тутъ притворство его обнаруживается тѣмъ, что онъ, являясь на словахъ добрымъ и простымъ малымъ, на дѣлѣ держитъ себя самымъ политическимъ образомъ. Онъ шутитъ, фамильярничаетъ, позволяетъ себѣ вольности, но настолько, насколько можно; онъ никогда не забывается. Шутки его иногда оскорбляютъ личности; но онъ шутитъ только съ беззащитными людьми, съ тѣми, кто стоитъ ниже его, или съ тѣми, кто не пойметъ пропіи и приметъ ее за чистую монету. Нельзя сказать, чтобы Паншинъ постоянно сознательно лгалъ, играя свои роли: онъ самъ увѣренъ, что онъ и артистъ, и администраторъ, и славный малый. Потому онъ чрезвычайно доволенъ всею своею особою вообще и каждымъ изъ своихъ прекрасныхъ качествъ въ особенности; онъ актеръ, увлекающійся своею ролью и забывающій дѣйствительность. Дѣйствительности своей онъ собственно и не знаетъ: вѣчно рисуясь и передъ другими и передъ собою, онъ не успѣлъ возвыситься до безпристрастнаго размышленія надъ самимъ собою и никогда не задавалъ себѣ существеннаго вопроса: чѣмъ онъ долженъ быть и что онъ на самомъ дѣлѣ? На самомъ дѣлѣ Паншинъ человѣкъ одного разбора съ Молчалинымъ („Горе отъ ума“) и Чичиковымъ („Мертвыя Души“); онъ приличнѣе ихъ обоихъ и несравненно умнѣе перваго. Поэтому, чтобы достигнуть тѣхъ же цѣлей, къ которымъ идутъ и Молчалинъ и Чичиковъ, чтобы далеко обогнать того и другого, Паншину не нужно будетъ ни ползать ни мошенничать: достаточно будетъ улыбнуться въ одномъ мѣстѣ, сказать ловкую фразу въ другомъ, почтительно выслушать пелѣпое разсужденіе въ третьемъ, прикинуться рыцаремъ чести въ четвертомъ—и на избранника судьбы широкою рѣкою польются земныя блага. Чичиковъ и Молчалинъ мелкіе торгаши, оттого къ нимъ и прилипаетъ грязь ихъ ремесла; Паншинъ промышленникъ большой руки, и потому онъ останется барином и честнымъ человѣкомъ, не по убѣжденію, а потому, что оно и выгодно и спокойно. По внутреннимъ свойствамъ души, онъ ничѣмъ не лучше обоихъ своихъ предшественниковъ, цѣль въ жизни

у нихъ одна; все различіе заключается только во внѣшнемъ образованіи, да во внѣшней обстановкѣ. Такихъ людей формируетъ наше общество, оно воспитываетъ ихъ съ малыхъ лѣтъ въ своихъ салонахъ или канцеляріяхъ; оно потворствуетъ имъ своимъ благоволеніемъ и позволяетъ имъ достигнуть желанной цѣли, ежели они идутъ къ ней осторожно и прилично, не производя скандала и не марая себя вопіющею безнравственностію. Въ романѣ Тургенева Паншинъ представленъ въ одну изъ самыхъ свѣтлыхъ минутъ своей жизни: онъ любитъ достойную дѣвушку. Чувство, повидимому, очень благородное, но тутъ надо принять въ соображеніе три обстоятельства:

1) Онъ любитъ дѣвушку очень богатую, дѣвушку, которая во всѣхъ отношеніяхъ представляется ему приличною, почти блестящею партіей.

2) Онъ продолжаетъ рисоваться передъ любимою дѣвушкою во все продолженіе романа; онъ рисуется торжественною важностію, когда дѣлаетъ предложеніе, рисуется мрачнымъ спокойствіемъ, когда впослѣдствіи получаетъ отказъ. Чувство во все продолженіе дѣйствія не вызвало у него ни одного живого, задушевнаго, нерасчитаннаго слова.

3) Онъ не понималъ и не зналъ любимой дѣвушки; разговоръ ихъ вертѣлся въ общихъ сферахъ музыки, живописи, поэзіи. Онъ говорилъ о нихъ какъ дилетантъ и свѣтскій человѣкъ. Она слушала его равнодушно и отвѣчала прилично, потому что въ разговорѣ не было одушевленія, не было и откровенности. Зная одну наружность дѣвушки и довольствуясь этимъ знаніемъ, онъ не могъ любить сильно; въ тотъ самый день, когда неблагопріятно рѣшилась его судьба, онъ съ живѣйшимъ удовольствіемъ пѣлъ, игралъ въ карты и велъ пустой разговоръ съ женщиною, не заслуживавшею ни уваженія ни сочувствія развитаго человѣка. Вотъ каковъ Паншинъ!

Д. Писаревъ.

* * *

*) Если Паншинъ вообще даровитъ, если въ немъ замѣтна своего рода художническая струя, то она вѣдь остается совсѣмъ не согрѣтою хотя-бы чѣмъ-нибудь похожимъ на увлеченіе. Другая, рѣшительно перевѣшивающая сторона Паншина, сторона чиновническая, способность его являться *исполнителемъ*, при надеждѣ со временемъ стать министромъ, окончательно отличастъ его какъ отъ Михалевича, такъ и отъ Рудина. За то уже рѣшительное сходство съ послѣднимъ обнаруживается въ немъ въ то время, когда онъ услаждаетъ себя ораторствованіемъ. И при этомъ подъ нимъ точно также не оказывается почвы, онъ точно также не знаетъ Россіи, хотя, на бѣду, онъ не ограничивается однимъ составленіемъ плановъ, но, какъ чиновникъ, имѣетъ или будетъ имѣть возможность и на самомъ дѣлѣ мудрить, производить опыты надъ живымъ тѣломъ народа русскаго. Если вѣрно Лежневское объясненіе „пустоты“ Рудина тѣмъ, что онъ космополитъ, а „космополитизмъ“— нуль или хуже нуля, **) то тѣмъ-же самымъ космополитизмомъ одержимъ и Паншинъ; только онъ, какъ космополитъ чиновникъ, къ сожалѣнію, не нуль, а скорѣе тотъ пушкинскій живописецъ-варваръ, который чертитъ свой беззаконный рисунокъ поверхъ самородныхъ созданій народнаго творчества, и чертитъ его такъ безцеремонно, что понадобилось-бы не мало усилій, чтобы стереть всю эту мазню. „Россія отстала отъ Европы, говоритъ Паншинъ, нужно подогнать ее... Мы больны оттого, что только на половину сдѣлались европейцами; чѣмъ мы ушиблись, тѣмъ и лѣчиться должны“... И вотъ онъ, съ цѣлой стаей другихъ, намѣренъ приняться за такое лѣченіе—изъ, конечно, даже не прекраснаго „далека“ своей канцеляріи. Чисто чиновничій характеръ предполагаемаго Паншинымъ лѣченія сказывается въ слѣдующихъ его словахъ: „Всѣ народы въ сущности одинаковы, вводите только хорошія

*) О. Миллеръ. „Бесѣда“ 1871 г., № 11. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Часть I. Спб. 1890 г.

**) Т.--е. космополитизмъ не въ смыслѣ братской общительности со всѣми народами, а въ смыслѣ народной безхарактерпости, незнанія собственной почвы, не имѣнія, въ нравственномъ смыслѣ, ни кола ни двора.

учрежденія, и дѣло съ концомъ!"... „Пожалуй, дѣлаетъ онъ уступку, можно приноравливаться къ существующему народному быту," но кто не знаетъ, какъ мало можно полагаться на эту бюрократическую готовность только *приноравливаться?*

О. Миллеръ.

* * *

*) Сказать, что Паншинъ — человѣкъ теоріи, мало. И Рудинъ — нѣкоторымъ образомъ человѣкъ теоріи, и душу самого Лаврецкаго подчинили себѣ теоріи въ извѣстныхъ, по крайней мѣрѣ, пунктахъ. Паншинъ—тотъ *дѣятельный* человѣкъ, тотъ реформаторъ съ высоты чиновническаго воззрѣнія, тотъ нивелеръ, вѣрующій въ отвлеченный законъ, въ отвлеченную справедливость, который равно противенъ нашей русской душѣ, явится-ли онъ въ исполненной претензій комедіи графа Соллогуба въ лицѣ Надимова, въ больномъ ли созданіи Гоголя въ лицѣ Констанжогло, въ посягающихъ-ли на лавреатство драматическихъ произведеніяхъ г. Львова, или въ блестящемъ произведеніи любимаго и уважаемаго таланта, каковъ Писемскій, въ лицѣ Калиновича.

Отношеніе Тургенева къ этой личности — совершенно правильное и законное, но самая личность и недодумана и недодѣлана. Паншинъ—великолѣпенъ, когда онъ покровительственно любезничаетъ съ Гедеоновскимъ, великолѣпенъ въ сценахъ съ Лизою, великолѣпенъ, когда онъ граціозно играетъ въ пикетъ съ Марьей Дмитріевной, великолѣпенъ въ разговорахъ съ Лаврецкимъ: однимъ словомъ, всѣ наружныя стороны его личности отдѣланы художественно, но внутренно онъ долженъ быть захваченъ и шире и крупнѣе. Вѣдь, онъ реформаторъ (пусть, вмѣстѣ съ тѣмъ и Иванъ Александровичъ Хлестаковъ въ сущности); онъ долженъ былъ совмѣстить въ себѣ цѣлый рядъ подобныхъ реформаторовъ, приглядясь къ дѣятельности которыхъ, люди

*) Ап. Григорьевъ. Сочиненія Ап. Григорьева.

жизни, люди съ широкими мечтами и планами, кончаютъ привязанностію къ почвѣ, смиреніемъ передъ народною правдою; онъ долженъ былъ войдти въ картину такъ рельефно, чтобы видно было и то, какимъ путемъ онъ развился. А то, что мы о немъ знаемъ?.. Ничего, кромѣ такихъ чертъ, которыя рисуютъ просто пустого и просто внѣшняго, безсодержательнаго человѣка, да и въ этихъ немногихъ чертахъ нѣкоторыя совершенно фальшивы... Вы остаетесь въ нѣкоторомъ недоумѣніи, что именно хотѣлъ сказать Тургеневъ фигурою своего Паншина, и какими сторонами натуры оттѣняетъ Паншинъ лицо Лаврецкаго? Тѣмъ-ли, что онъ натура чисто внѣшняя, внѣшне-даровитая, внѣшне-блестящая и т. д., въ противоположность искренней и съ виду далеко неблестящей личности главнаго героя? Тѣмъ-ли, что онъ одна изъ общихъ истертыхъ фигуръ свѣтскихъ героевъ, въ родѣ героевъ повѣстей графа Соллогуба и вообще повѣстей сороковыхъ годовъ? Или, наконецъ, тѣмъ, что онъ—холодная теоретическая натура, въ противоположность жизненной натурѣ Лаврецкаго?.. Провести въ Паншинѣ идею теоретической чистоты и отвлеченности у Тургенева не доставало послѣдовательности. А не доставало этой послѣдовательности только потому, что къ самому Лаврецкому нѣтъ у него окончательно ясныхъ отношеній.

Ап. Григорьевъ.

* * *

*) Разочарованый, послѣ „Рудина“, въ западникахъ, Тургеневъ въ лицѣ Паншина, по его собственному позднѣйшему показанію, изобразилъ ложныя стороны западничества и изобразилъ превосходно.

Паншинъ — молодой петербургскій чиновникъ, которому предстоитъ блестящая карьера. Онъ — свѣтскій человѣкъ, артистъ, но прежде всего и больше всего — бюрократъ. Умѣло и ловко воспитанный отцомъ, онъ пущенъ имъ въ

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

свѣтъ, и прекрасно самъ пробиваетъ себѣ дорогу. Онъ разносторонне талантливъ: не дурно поетъ, сочиняетъ романсы; но Леммъ справедливо говоритъ про него Лизѣ:

„Онъ не можетъ ничего понимать; какъ вы этого не видите? Онъ дилетантъ—и все тутъ!

Вы къ нему несправедливы (пробуетъ-было возразить Лиза): онъ все понимаетъ, и самъ почти все можетъ сдѣлать.

Да (отвѣчаетъ Леммъ), все второй нумеръ, легкій товаръ, спѣшная работа. Это нравится, и онъ нравится, и самъ онъ этимъ доволенъ—ну и браво“.

Какъ артистъ, Паншинъ позволяетъ себѣ иногда увлеченія; но и среди нихъ онъ вполнѣ владѣетъ собою, потому что въ душѣ холоденъ какъ ледъ и хитеръ. Какъ считающій себя человѣкомъ необыденнымъ и непошлымъ, онъ увѣренъ, что полюбилъ Лизу, и говоритъ въ отвѣтъ на отказъ ея:

„Я не хотѣлъ пойти по избитой дорогѣ... я хотѣлъ найти себѣ подругу по влеченію сердца; но, видно, этому не должно быть. Прощай, мечта“.

Онъ напускаетъ на себя затѣмъ грустный и меланхолическій видъ. Но встрѣча съ Варварой Павловной сейчасъ же его утѣшаетъ: онъ забываетъ хмурить брови и отрывисто вздыхать (по адресу Марьи Дмитріевны, чтобы дать ей почувствовать, какъ онъ огорченъ отказомъ Лизы), и весь отдается „наслажденію полу-свѣтской, полу-художественной болтовни“, старается понять тайный смыслъ „не строгихъ, не ясныхъ и сладкихъ рѣчей“, которыя говорятъ ему „прелестные глаза“ Варвары Павловны, старается самъ говорить глазами, и смущается только тѣмъ, что „Варвара Павловна, въ качествѣ настоящей заграничной львицы“, стоитъ выше его. Онъ кончаетъ тѣмъ, что отдается въ „неограниченную, безвозвратную, безотвѣтную власть“ Варварѣ Павловнѣ, что, однако, не мѣшаетъ ему сильно подвигаться въ чинахъ и мѣтить въ директоры департамента.

Но во всемъ блескѣ своихъ достоинствъ является Паншинъ тогда, когда разсуждаетъ о государственныхъ и административныхъ вопросахъ. Особенно замѣчательны при этомъ

его самоувѣренность и его ловкое умѣнье, о чемъ бы ни заговорилъ, свести рѣчь на самого себя. Однажды они съ Лаврецкимъ горячо поспорили, встрѣтившись въ домѣ Калитиныхъ вечеромъ, когда въ большомъ кусту сирени раздавались первые вечерніе звуки соловья и „первыя звѣзды зажигались на розовомъ небѣ надъ неподвижными верхушками липъ“. — Паншинъ, прочитавши лермонтовскую „Думу“, сталъ, по поводу ея,

„укорять и упрекать новѣйшее поколѣніе, при чемъ не упустилъ случая изложить, какъ бы онъ все повернулъ по-своему, если-бы власть у него была въ рукахъ. „Россія—говорилъ онъ—отстала отъ Европы; нужно подогнать ее. Увѣряютъ, что мы молоды—это вздоръ; да и притомъ у насъ изобрѣтательности нѣтъ: самъ Х—въ признается въ томъ, что мы даже мышеловки не выдумали. Слѣдовательно, мы поневолѣ должны заимствовать у другихъ. Мы больны, говоритъ Лермонтовъ,—я согласенъ съ нимъ; но мы больны оттого, что только наполовину сдѣлались европейцами; чѣмъ мы ушиблись, тѣмъ мы и лѣчиться должны... У насъ—лучшія головы—les meilleures têtes — давно въ этомъ убѣдились; всѣ народы въ-сущности одинаковы; вводите только хорошія учрежденія—и дѣло съ концомъ. Пожалуй, можно приноравливаться къ существующему народному быту; это наше дѣло, дѣло людей... (онъ чуть не сказалъ: государственныхъ) служащихъ; но въ случаѣ нужды, не безпокойтесь: учрежденія передѣлаютъ самый этотъ бытъ“.

Паншинъ высказалъ это западническое и вмѣстѣ либерально-чиновническое воззрѣніе на жизнь самонадѣянно и въ то же время „съ тайнымъ озлобленьемъ“. — Лаврецкій не сталъ сдерживаться, и завязался споръ.

„Лаврецкій отстаивалъ молодость и самостоятельность Россіи... Паншинъ возражалъ раздражительно и рѣзко, объявилъ, что умные люди должны все передѣлать, и занесся наконецъ до того, что, забывъ свое камеръ-юнкерское званіе и чиновничью карьеру, назвалъ Лаврецкаго отсталымъ консерваторомъ... Лаврецкій не разсердился, не возвысилъ голоса... и спокойно разбилъ Паншина на всѣхъ пунктахъ. Онъ доказалъ ему невозможность скачковъ и надменныхъ передѣлокъ, не оправданныхъ ни знаніемъ родной земли, ни дѣйствительной вѣрой въ идеалъ, хотя бы отрицательный; привелъ въ примѣръ свое собственное воспитаніе; требовалъ прежде всего признанія народной правды и смиренія передъ нею,—

того смиренія, безъ котораго и смѣлость противу лжи невозможна; не отклонился, наконецъ, отъ заслуженнаго, по его мнѣнію, упрека въ легкомысленной растратѣ времени и силъ.

Все это прекрасно! воскликнулъ, наконецъ, раздосадованный Паншинъ: вотъ вы вернулись въ Россію, — что-же вы намѣрены дѣлать?

Пахать землю, отвѣчалъ Лаврецкій, — и стараться какъ можно лучше ее пахать".

Такъ „западникъ" Паншинъ оказался несостоятельнымъ передъ Лаврецкимъ.

А. Незеленовъ.

Варвара Павловна Лаврецкая.

*) Варвара Павловна Лаврецкая — совершенная противоположность Лизы въ нравственномъ отношеніи. Это типъ другого рода. Трудно представить себѣ существо съ болѣе заманчивой внѣшностью и съ большимъ нравственнымъ безобразіемъ. Въ ней соединились: и молодость, и красота, и грація, и остроуміе, и нѣкоторый блескъ образованія; но всѣ эти качества составляютъ, къ несчастью, только одинъ щегольской покровъ духовнаго убожества. Подъ изящной внѣшностію La belle madame de Lavrezky, какъ ее величали въ модномъ парижскомъ свѣтѣ, скрываются самыя низкія страсти. Для нея всякія благородныя человѣческія стремленія: трудъ, честь, наука, поэзія, искусство, семья, общество, — все это одни пустыя слова безъ значенія. Она живетъ единственно для удовлетворенія своихъ личныхъ страстей и прихотей. Наглость, лицемѣріе, самый сухой эгоизмъ, — все это она считаетъ средствами дозволенными, когда они ей нужны: въ ней не воспитано *никакихъ* добрыхъ, честныхъ правилъ жизни. Поэтому она ничѣмъ нравственно и не стѣсняется; силы ея не имѣютъ нравственнаго руководителя; она ими пользуется смѣло и рѣшительно для достиженія своихъ корыстныхъ цѣлей и — въ извѣстномъ кругу людей — всегда дѣйствуетъ открыто и

*) П. Евстафіевъ. „Новая русская литература".

побѣдоносно. Въ этомъ-то именно кругу, въ Парижѣ, она заслужила себѣ характеристику: cette grande dame russe si distinguée и еще другую, для окончательной и самой *высокой* похвалы: une vraie française par l'esprit. Эта нравственно-убогая особа изображена въ романѣ съ безпощадной строгостью. Нигдѣ, ни на одну минуту, ни одной привлекательной въ характерѣ черты. Даже въ отношеніи къ своей маленькой дочкѣ, Адѣ, Варвара Павловна не обнаруживаетъ истиннаго нѣжнаго материнскаго чувства: мать заботится только, чтобы ребенокъ былъ одѣтъ всегда въ кружевахъ, какъ куколка. При всей строгости, съ какою Тургеневъ изобразилъ этотъ типъ молодой барыни (львицы) si distinguée, Варвара Павловна заслуживаетъ однакоже сожалѣнія. Съ одной стороны, это—жертва извѣстной обстановки и собственной невоспитанности; съ другой стороны, это—живой урокъ для тѣхъ людей, которые ошибочно полагаютъ, будто довольно имѣть отъ природы достаточно душевныхъ качествъ, чтобы и безъ воспитанія быть хорошимъ человѣкомъ, или—что никакимъ воспитаніемъ не выработаешь въ человѣкѣ нравственнаго характера, если человѣкъ ужъ отъ природы не хорошъ.

П. Евстафіевъ.

* * *

*) Рѣзкость или, лучше сказать, недодѣланность художественнаго представленія типа Варвары Павловны, есть, впрочемъ, рѣзкость только по отношенію къ Тургеневу, ибо сравните Варвару Павловну хоть, напримѣръ, съ барыней, выведенной въ повѣсти г. Крестовскаго: „Фразы“—Варвара Павловна выиграетъ на сто процентовъ относительной мягкостью изображенія. Дѣло только въ томъ, что Варвара Павловна, какъ и Паншинъ—лица не центральныя, даже не самостоятельныя, не картины, а оттѣняющія: одинъ Лаврецкаго, другая Лизу. Дѣло все въ Лаврецкомъ и въ Лизѣ—узелъ драмы въ ихъ отношеніяхъ. Смыслъ этихъ отношеній слишкомъ ясенъ, чтобы о немъ надобно было толковать долго.

Ап. Григорьевъ.

*) А. Григорьевъ. „Русское Слово“ 1859 г., № 8 и Сочиненія А. Григорьева.

*) Торжествующій образъ Варвары Павловны нарисованъ такъ ярко у автора, что почти выходитъ изъ рамы повѣствованія и противорѣчитъ общему его колориту, выдержанному въ томномъ и нѣжномъ полу-свѣтѣ. Существо, болѣе безобразное въ нравственномъ отношеніи и болѣе искушающее и раздражающее въ физическомъ смыслѣ — трудно и представить себѣ. Это порожденіе особеннаго рода сборной, такъ-сказать, цивилизаціи, которая по частямъ наплываетъ съ разныхъ сторонъ на человѣка, нисколько не заботясь о томъ, гдѣ она ляжетъ, на чемъ ляжетъ и какъ ляжетъ. Она только равно удаляетъ человѣка отъ народныхъ убѣжденій и отъ народныхъ предразсудковъ, отъ духовныхъ стремленій времени и отъ его заблужденій, отъ хорошихъ и дурныхъ сторонъ общаго отечества, замѣщая все это понятіемъ о служеніи самому себѣ или даже потребностямъ своего организма, какъ у нашей львицы, подъ тѣмъ покровомъ щегольства и приличія, какія только нужны не для обузданія чужихъ страстей, а для лучшаго ихъ возбужденія, прикрытія и направленія. Эта цивилизація намъ хорошо извѣстна: мы почасту различаемъ ея признаки у себя дома, преимущественно въ такъ-называемыхъ избранныхъ кругахъ общества, и можно полагать, что есть не малое количество читательницъ, публично негодующихъ на львицу Варвару Павловну, и втайнѣ, можетъ-быть, безсознательно завидующихъ ея уму и способности наслаждаться жизнію, опрокидывая всѣ препятствія на пути своемъ. Одно лицемѣріе еще связываетъ львицу Варвару Павловну съ гражданскимъ обществомъ; не будь лицемѣрія, она была бы такъ гола, такъ отвратительно свободна какъ Отаптянка или жительница Сандвичевыхъ острововъ. Чему ей покоряться? Во всемъ мірѣ не существуетъ для нея какого-либо обязательнаго правила, такъ какъ внутри ея не существуетъ и признака какого-либо противорѣчія — все ясно и просто для нея, все побѣждено и покорено ею. Оттого силы для борьбы съ людьми въ пользу своихъ ни-

*) П. Анненковъ. „Воспоминанія и критическіе очерки". Спб. 1879 г.

тересовъ, нерастраченныя на воспитаніе себя, у нея всегда на лицо и дѣйствуютъ неотразимо, открыто и побѣдоносно. Моралистъ и этнографъ одинаково задумаются надъ этимъ образомъ, который такъ полно представленъ г. Тургеневымъ. Но для львицъ, подобныхъ Варварѣ Павловнѣ, недостаточно родной почвы и отечества, гдѣ, по условіямъ жизни и образованія, сцена дѣйствія еще узка и должна довольствоваться партеромъ изъ небольшого числа знатоковъ и цѣнителей этого рода талантовъ. Вотъ почему „львицы“ наши охотно бѣгутъ за границу, гдѣ арена для подвиговъ ихъ значительно расширяется, и гдѣ въ самыхъ разнородныхъ кругахъ могутъ онѣ найти полное пониманіе и полное признаніе всѣхъ своихъ доблестей. Столицы Европы наполнены этими героинями, увидѣвшими свѣтъ на родныхъ нашихъ берегахъ Клязьмы, Суры, Камы, иногда и далѣе, иногда въ бѣдномъ и нуждающемся семействѣ. Однакожъ и столицы Европы не въ силахъ, подчасъ, отказать имъ въ удивленіи. Оно и понятно. Явленіе туземныхъ львицъ, европейскихъ Варваръ Павловнъ возникаетъ отъ заблужденія страстей, отъ извращенія мысли, отъ дѣйствія различныхъ ученій, обуревающихъ общество, наконецъ, просто отъ жажды шума и извѣстности. Онѣ имѣютъ если не оправданіе, то, по крайней мѣрѣ, своего рода опредѣленіе. Ничего подобнаго нѣтъ въ настоящей, родной нашей Варварѣ Павловнѣ. Она можетъ похвастать, что никогда не поддавалась „гибельнымъ впечатлѣніямъ“ отчего бы то ни было, что ни вредное чтеніе ни опасное размышленіе не участвовали въ образованіи ея вкусовъ, что она также мало обязана своимъ величіемъ увлеченію страсти, какъ и превратному понятію о независимости. Какъ же тутъ не удивиться? Варвара Павловна сама создала себя. Она есть точно такое же самородное, оригинальное явленіе русской жизни, какъ и антиподъ ея, благородная Лизавета Михайловна: ими выражаются два противоположные полюса одного и того же общественнаго развитія.

Ничто такъ не утверждаетъ въ этомъ убѣжденіи, какъ одно обстоятельство, равно приложимое къ обоимъ лицамъ: Вар-

вара Павловна тоже не имѣла никакой подпоры внѣ себя для своего бѣдно-рожденнаго, хилаго нравственнаго чувства, какъ другая для строгаго своего идеала. Есть на свѣтѣ множество характеровъ, которые нуждаются болѣе чѣмъ въ обпихъ правилахъ, составляющихъ достояніе всего человѣчества, для того чтобы сберечь свое достоинство и укрѣпить въ себѣ нетвердыя понятія о чести. Имъ нужны еще бываютъ частныя правила разумнаго существованія, требованія, узаконенныя обычаемъ, примѣры, вошедшіе въ силу закона, словомъ—весь тотъ неписанный уставъ общежитія, какой обыкновенно вырабатывается самими народами въ своимъ нѣдрахъ, служитъ имъ лучшею характеристикой и составляетъ, можетъ-быть, высшее ихъ произведеніе: въ немъ различныя національности сознаютъ себя какъ нравственныя лица. Подобные кодексы есть у англичанъ, нѣмцевъ, французовъ, но особенно у первыхъ; благодаря этимъ кодексамъ, всѣ личности, кромѣ гражданской и религіозной связи, связываются еще во-едино и общимъ представленіемъ житейской морали, составляя, такимъ образомъ, великое духовное братство. Никто не можетъ нарушить его, подъ опасеніемъ сильнаго нареканія, и каждый членъ безсознательно стремится возвратить къ нему всякаго ослушника. На эти готовыя указанія долга и порядка именно и опираются люди, имѣвшіе несчастіе родиться безъ внутренней потребности къ воспитанію себя, и дѣйствительно, при бѣдности натуры, тутъ заключается, единственное спасеніе для человѣка. Ничего подобнаго у насъ нѣтъ. Каждый человѣкъ у насъ есть единственный руководитель, оцѣнщикъ и судья своихъ поступковъ. Мы не можемъ согласиться другъ съ другомъ ни въ одномъ, самомъ простомъ и самомъ очевидномъ нравственномъ правилѣ, мы разнимся во взглядахъ на первопачальныя понятія, на азбуку, такъ-сказать, ученія о человѣкѣ. Представленія о дозволенномъ и недозволенномъ, въ различныхъ кругахъ нашего общества, до такой степени разнородны и противорѣчивы, что поступокъ, выставляемый на позоръ одною стороной, даетъ поводъ наивно похвастаться имъ другой сторонѣ. Все

это называется свободой жизни. Многіе даже смотрятъ на самое явленіе какъ на весьма выгодное для общественнаго положенія, не связаннаго никакими путями, никакими узкими и тираническими опредѣленіями обычая, и потому способнаго широко развиваться во всѣ стороны. Не знаемъ, такъ ли это, но, по крайней мѣрѣ, умноженіе лицъ, подобныхъ Варварѣ Павловнѣ, въ послѣднее время, и наглые примѣры откровеннаго заявленія своего безумія, безпрестанно встрѣчающіеся, несомнѣнно свидѣтельсвуетъ, кажется, что намъ покамѣстъ еще нечего гордиться этою свободой.

П. Анненковъ.

* * *

*) На ряду съ правдивымъ женскимъ образомъ Лизы, въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ Тургеневъ создалъ другой женскій образъ, не менѣе типическій, не менѣе правдивый и обработанный, быть можетъ, еще рельефнѣе—образъ „гуляшей“ россіянки Варвары Павловны Лаврецкой. Варварой Павловной художникъ какъ бы хотѣлъ оттѣнить всю нравственную и душевную прелесть и чистоту Лизы, въ лицѣ ея онъ представилъ ту холодную, душевную разнузданность, которая въ русскихъ женщинахъ встрѣчается совсѣмъ не такъ рѣдко, какъ это думаютъ и говорятъ разные фальшивые восхвалители необыкновенныхъ достоинствъ нашихъ дамъ, имѣющихъ, какъ извѣстно, въ будущемъ спасти Россію и даже, кажется, уже спасавшихъ ее не разъ въ прошедшемъ. Въ художественномъ отношеніи типъ Варвары Павловны обработанъ съ удивительнымъ мастерствомъ и силою; онъ стоитъ передъ читателями какъ живой, со всѣми существенными чертами, онъ вылился у художника такъ полно и цѣлостно. Этотъ отрицательный типъ, столь ярко нарисованный Тургеневымъ, послужилъ, потомъ оригиналомъ для множества блѣдныхъ и искаженныхъ копій. Разные заурядные сочинители нашихъ дней, еще и до сихъ поръ пробавляются въ волю копированіемъ

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

этого яркаго типа и выдаютъ банальные снимки съ блестящей Варвары Павловны за самостоятельныя созданія своей фантазіи.

В. Буренинъ.

Михалевичъ.

*) Между выведенными въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ типами одинъ, надо замѣтить, является, повидимому, прямо противоположнымъ Рудину. Не даромъ не только въ немъ самомъ не замѣтно барство, но и друга своего, Лаврецкаго, онъ заставляетъ благодарить Бога за то, что въ жилахъ его течетъ (отъ матери) честная плебейская кровь **). Какъ мало однако-же она помогла Лаврецкому при той барской крови, которая наслѣдована имъ отъ отца, и, главное, при томъ чисто барскомъ воспитаніи, какое онъ получилъ,—это видно изъ самыхъ упрековъ ему Михалевича. Видя, что Лаврецкій совершенно раскисъ, опустился отъ своихъ семейныхъ невзгодъ, Михалевичъ напрасно ему говоритъ: „Ты себя вправь,—на то ты человѣкъ, мужчина!.. Развѣ позволительно частный, такъ сказать, фактъ возводить въ общій законъ, въ непреложное правило“ (т. е. вслѣдствіе того, что пришлось обмануться въ женѣ, становиться равнодушнымъ и безучастнымъ ко всему человѣческому роду). „Ты эгоистъ—вотъ что!... Въ тебѣ нѣтъ теплоты сердечной; умъ,—все одинъ только копеечный умъ; ты просто жалкій, отсталый вольтеріанецъ“ (намекъ на воспитаніе Лаврецкаго). „Нѣтъ, ты байбакъ и злостный байбакъ, байбакъ съ сознаніемъ, а не наивный“... Это послѣднее обстоятельство особенно возмущаетъ Михалевича, являющагося такимъ образомъ человѣкомъ дѣла. „И гдѣ вздумали люди обайбачиться? продолжаетъ онъ;—у насъ!... теперь!... въ Россіи! Когда на каждой отдѣльной лич-

*) О. Миллеръ. „Бесѣда“ 1871 г., № 11. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

**) На происхожденіе Михалевича нѣтъ никакихъ прямыхъ указаній у сочинителя.

ности лежитъ долгъ, отвѣтственность великая передъ Богомъ, передъ народомъ, передъ самимъ собой!...“ А что это у Михалевича не просто громкое общее мѣсто, — несомнѣнно изъ того, что слѣдуетъ далѣе. Уже совершенно опредѣленная, точно выраженная задача представляется въ совѣтѣ его Лаврецкому заняться бытомъ своихъ крестьянъ. И вотъ именно тутъ то какъ-бы съ тѣмъ, чтобы хорошенько пронять своего „злостнаго байбака,“ Михалевичъ напоминаетъ ему о томъ, что самая кровь, текущая въ его жилахъ, должна бы заставить его всѣмъ сердцемъ отдаться заботамъ о своихъ крестьянахъ. А между тѣмъ, съ другой стороны, тотъ же самый Михалевичъ не даромъ учился вмѣстѣ съ баричами, не даромъ хлебнулъ вмѣстѣ съ ними той отвлеченной, кажущей жизнь черезъ дымку, отуманивающей образованности, какою вскормлено было у насъ на Руси столько поколѣній. Въ силу этой-то образованности и сталъ онъ такимъ стихотворцемъ-энтузіастомъ, что пустѣйшая и бездушнѣйшая Варвара Павловна могла ему представиться изумительнымъ, геніальнымъ и притомъ предобрымъ существомъ, такъ что именно онъ-то и влюбилъ въ нее того самаго Лаврецкаго, котораго несчастіе она составила и которому онъ однакоже, какъ видѣли мы, читаетъ безпощадныя наставленія. Замѣчательно, что при всемъ этомъ онъ не сознаетъ и тѣни какой-либо вины за самимъ собою, и что у него станетъ духу, при свиданіи съ Лаврецкимъ, прежде всего другого, на цѣлую ночь завязать съ нимъ „одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на которые способны только русскіе люди“, *) споровъ о самыхъ отвлеченныхъ предметахъ“, но ведомыхъ такъ горячо, какъ будто бы „дѣло тутъ шло о жизни и смерти“. Если обратить вниманіе на это, то Михалевичъ станетъ далеко не такъ непохожъ на Рудина, какъ оно можетъ показаться съ перваго раза. Точно также походитъ онъ на него въ ту минуту, когда, уже садясь въ тарантасъ, все еще развиваетъ свои воз-

*) Т. е. люди, получившіе русское отвлеченное, не непосредственно изъ самой жизни вытекающее образованіе.

зрѣнія на судьбы Россіи, припутывая тутъ „религію, прогрессъ, человѣчность"; а самъ между тѣмъ всѣ надежды свои возлагаетъ на откупщика (идеализируя, по всей вѣроятности, и его, какъ Варвару Павловну), который взялъ Михалевича единственно для того, чтобы имѣть у себя въ конторѣ образованнаго человѣка. Правда, кончаетъ Михалевичъ не такъ, какъ Рудинъ. Послѣ долгихъ странствованій, онъ не только попадаетъ на настоящее свое дѣло, но и умѣетъ удержать его за собой. Получивъ мѣсто старшаго надзирателя въ казенномъ заведеніи, онъ совершенно доволенъ своей судьбой, а воспитанники его обожаютъ, хоть и передразниваютъ.

О. Миллеръ.

* * *

*) Эпизодъ пріѣзда Михалевича къ Лаврецкому—одно изъ лучшихъ мѣстъ романа, если только въ „Дворянскомъ гнѣздѣ" есть лучшія мѣста, а не все одинаково прекрасно.

Михалевичъ напоминаетъ собою Донъ-Кихота. Романистъ, идеалистъ и поэтъ въ душѣ, онъ чуждъ всякихъ эгоистическихъ и своекорыстныхъ расчетовъ. Непзмѣнный мечтатель, онъ никогда не былъ и не можетъ быть практическимъ человѣкомъ; но онъ вѣчно стремится къ дѣятельности, дѣятельности возвышенной и благородной. Подобные ему люди никакого дѣла не сдѣлаютъ; но они будятъ жизнь, не даютъ ей покрыться плѣсенью и толкаютъ на дѣло тѣхъ, кто способенъ къ нему, кто можетъ работать. Михалевичи постоянно увлекаются, разочаровываются, и сейчасъ же увлекаются снова; но въ нихъ жизнь никогда не останавливается, вѣчно кипитъ горячимъ ключомъ.

Новымъ чувствамъ всѣмъ сердцемъ отдался,
Какъ ребенокъ душою я сталъ:
И я сжегъ все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигалъ,—

такими стихами опредѣляетъ Михалевичъ свою жизнь и

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ". Спб. 1885 г.

свои увлеченія; и это опредѣленіе прекрасно, и эти стихи обратились въ пословицу,—что особенно трогательно въ Михалевичѣ—это отсутствіе всякой заботы о себѣ,—онъ стоически и вполнѣ добродушно, даже самъ того не замѣчая, переноситъ и бѣдность, и всякую невзгоду, и всякіе удары судьбы.—Онъ явился къ Лаврецкому проѣздомъ, на нѣсколько часовъ,—и между пріятелями сейчасъ-же завязался споръ. Но споръ этотъ не то, что споръ съ Паншинымъ,—онъ горячій и задушевный съ обѣихъ сторонъ.—Отвлеченный человѣкъ, Михалевичъ лишь мимоходомъ, въ двухъ словахъ, переговорилъ съ другомъ о житейскихъ обстоятельствахъ его и своихъ, и сейчасъ-же ударился въ область общихъ идей. О себѣ онъ заявилъ, что онъ теперь человѣкъ „вѣрующій“:

„я по прежнему (сказалъ онъ) вѣрю въ добро, въ истину, но я не только вѣрю,—я вѣрую теперь; да,—я вѣрую, вѣрую“.

И эта „вѣра“ его такъ искренна и сильна, и въ то же время такъ дѣтски наивна, увлеченія его такъ пламенны и крайни, что онъ мечтаетъ, какъ о великомъ счастьѣ, о томъ, чтобы дойти до фанатизма. Когда онъ упрекнулъ Лаврецкаго въ „вольтеріанствѣ“, тотъ отразилъ упрекъ восклицаніемъ:

„Послѣ этого... я въ-правѣ сказать, что ты фанатикъ!
Увы! возразилъ съ сокрушеньемъ Михалевичъ,—я, къ несчастью, ничѣмъ не заслужилъ еще такого высокого наименованія“.

Споръ Лаврецкаго и Михалевича замѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ. Во 1-хъ, здѣсь обнаруживается слабая сторона Лаврецкаго. Конечно, ошибочны частныя обвиненія, которыя Михалевичъ щедрою рукою сыплетъ на своего друга, называя его и „разочарованнымъ“, и „эгоистомъ“, и „вольтерьянцемъ“, и „байбакомъ“, и „циникомъ“ и человѣкомъ, стремящимся къ какому-то „самонаслажденью“; но въ общемъ смыслѣ обвиненій и обличеній его есть правда, есть правда въ его призывахъ Лаврецкаго на дѣло: герой романа, при всемъ своемъ умѣ, при всемъ образо-

ваніи, при всемъ знаніи „на какую ножку (по выраженію Михалевича) нѣмецъ хромаетъ“, „что плохо у англичанъ и у французовъ“,—страдаетъ, однако, нѣкоторой наклонностью къ апатіи, къ бездѣйствію и лѣни. Онъ самъ призналъ правду подобныхъ изобличеній. Проводивъ уѣхавшаго пріятеля и возвращаясь въ домъ съ крыльца, на которомъ долго стоялъ, смотря на дорогу, Лаврецкій подумалъ:

„А вѣдь онъ, пожалуй, правъ; пожалуй, что я байбакъ“.

И поэтъ отъ себя прибавляетъ про своего героя:

„Многія изъ словъ Михалевича неотразимо вошли въ его душу, хоть онъ и спорилъ и не соглашался съ нимъ“.

Затѣмъ, во 2-хъ, споръ старыхъ друзей свидѣтельствуетъ, что какъ ни расходятся они, повидимому, во взглядахъ, въ строѣ своихъ мыслей, въ характерахъ и т. д., есть тѣмъ не менѣе между ними много и очень много общаго: романтикъ и мечтатель Донъ-Кихотъ Михалевичъ оказывается совершенно русскимъ человѣкомъ; а Лаврецкій—очень и очень причастнымъ тѣмъ западно-европейскимъ началамъ и вліяніямъ, которыми живетъ, весь ими охваченный, Михалевичъ: не даромъ они близки между собою и съ полуслова, съ полунамека понимаютъ другъ друга.

Поэтъ говоритъ про ихъ споръ, что это былъ

„одинъ изъ тѣхъ нескончаемыхъ споровъ, на которые способны только русскіе люди. Съ оника, послѣ долголѣтней разлуки, проведенной въ двухъ различныхъ мірахъ... заспорили они о предметахъ самыхъ отвлеченныхъ,—и спорили такъ, какъ будто дѣло шло о жизни и смерти обоихъ“.

А когда накричались они до-сыта и утомились, когда перестали состязаться, они

„еще болѣе часа бесѣдовали“, и „голоса ихъ не возвышались болѣе, и рѣчи ихъ были тихія, грустныя, добрыя рѣчи“.

Михалевичъ—такой-же простой и добрый русскій человѣкъ, какъ и Лаврецкій, хотя, въ качествѣ романтика, и не отличается мѣткимъ юморомъ своего друга.

А. Незеленовъ.

Иванъ Петровичъ (отецъ Лаврецкаго).

*) Ѳеодоръ Лаврецкій—герой „Дворянскаго гнѣзда" — и отецъ его, Иванъ Петровичъ, оба разрознились, раздѣлились съ окружавшею ихъ дѣйствительностію—но огромная бездна лежитъ между ними. Иванъ Петровичъ, усвоившій себѣ внѣшнимъ образомъ ученіе „изувѣра Дидерота", такъ и остается на цѣлую жизнь холоднымъ, отрѣшившимся отъ связи съ жизнію—да отрѣшившимся не вслѣдствіе какого-либо убѣжденія, а по привычкѣ и по эгоистической прихоти, методистомъ. Анализъ жизни этого типическаго лица поистинѣ глубокъ у Тургенева. Поразительная правдивость анализа высказывается въ особенности въ двухъ мѣстахъ. Когда послѣ ссоры съ отцомъ и послѣ брака своего съ Маланьею, Иванъ Петровичъ уѣхалъ въ Петербургъ, онъ, по словамъ автора, „отправился съ легкимъ сердцемъ. Неизвѣстная будущность его ожидала; бѣдность, быть можетъ, грозила ему, *но онъ разсталъ съ ненавистной ему жизнію*, а главное—не выдалъ своихъ наставниковъ, дѣйствительно пустилъ въ ходъ и оправдалъ на дѣлѣ Руссо, Дидерота „La Declaration des droits de l'homme. Чувство совершеннаго долга, торжество, чувство гордости—наполняло его душу".

Ап. Григорьевъ.

* * *

**) Отецъ Лаврецкаго, какъ позднѣйшая формація типа Лучинова, доказываетъ, что одни и тѣ-же условія, даже не въ одно и то-же время, всегда влекутъ схожіе между собою результаты, и мы, слѣдовательно, въ свою очередь, не будемъ неправы, если, убѣдившись въ сходствѣ Лучинова съ Лаврецкимъ, предположимъ возможность подобія и окончанія ихъ жизненныхъ путей.

С. Венгеровъ.

*) А. Григорьевъ. Сочиненія Ап. Григорьева.
**) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ".

Марѳа Тимоѳеевна.

*) Марѳа Тимоѳеевна—превосходный типъ энергической умной барыни-старушки. Она по природѣ любитъ въ человѣкѣ молодость и достоинство. У ней правъ независимый. Всѣмъ она говоритъ правду въ глаза, за что и слыветъ „чудачкой.“ Лизина мать не любитъ ее, но побаивается ея насмѣшекъ. За то Лиза только съ бабушкой одной въ семьѣ и сходится до нѣкоторой степени. Она сошлась-бы съ нею еще больше, если бъ въ бабушкѣ тоже не было кое-какихъ проявленій барскаго своеволія. Рѣчь Марѳы Тимоѳеевны суха и рѣзка; но такъ искусно выдержана эта личность авторомъ, что читатель не обращаетъ вниманія на эту внѣшнюю грубость: ему по душѣ откровенное, честное, сердечное слово старушки.

П. Евстафіевъ.

Л е м м ъ.

**) Для выясненія читателю любви Лаврецкаго поэтъ избралъ именно Лемма, благороднаго представителя западно-европейской духовной жизни, — онъ заставилъ Лемма подмѣтить чувство Лаврецкаго и выразить въ чудесной вдохновенной симфоніи ту внутреннюю музыку счастья, которая звучала въ душѣ Лаврецкаго послѣ объясненія съ Лизой въ саду, послѣ перваго и послѣдняго поцѣлуя. Лаврецкій шелъ по улицамъ города, опьяненный блаженствомъ, и думалъ: „Исчезни, прошедшее, темный призракъ... она меня любитъ, она будетъ моя“, и

„вдругъ ему почудилось, что въ воздухѣ надъ его головою разлились какіе-то дивные, торжествующіе звуки... и въ нихъ, казалось, говорило и пѣло его счастье“.

Звуки неслись изъ квартиры Лемма.

„Давно Лаврецкій не слыхалъ ничего подобнаго: сладкая, страстная мелодія съ перваго звука охватывала сердце; она вся сіяла,

*) П. Евстафіевъ. „Новая русская литература“.
**) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ.“ Спб. 1885 г.

вся томилась вдохновеніемъ, счастьемъ, красотою; она росла и таяла; она касалась всего, что есть на землѣ дорогого, тайнаго, святого: она дышала безсмертной грустью и уходила умирать въ небеса. Лаврецкій выпрямился и стоялъ, похолодѣлый и блѣдный отъ восторга. Эти звуки такъ и впивались въ его душу, только что потрясенную счастьемъ любви; они сами пылали любовью“.

„Это удивительно“, сказалъ Леммъ, „что вы именно теперь пришли; но я знаю, все знаю“.

— Вы все знаете? произнесъ съ смущеніемъ Лаврецкій.

— Вы меня слышали, возразилъ Леммъ: развѣ вы не поняли, что я все знаю?

Превосходно въ романѣ изображеніе старика Лемма: это одна изъ самыхъ художественныхъ фигуръ, когда-либо нарисованныхъ Тургеневымъ. Бѣдный, несчастный музикусъ, заброшенный суровой судьбою на чужбину, Леммъ много вытерпѣлъ всякаго рода невзгодъ, и сжался, ушелъ въ себя, сталъ необщительнымъ и суровымъ; но подъ грубой внѣшностью въ непривлекательной его фигурѣ таится свѣтлый умъ, умѣющій понимать людей, таится младенчески-чистая душа, мечтающая о чистыхъ звѣздахъ, о правдѣ, о Богѣ. Романтически, мечтательно-влюбленный въ свою лучшую ученицу, Лизу, онъ ей посвящаетъ свою духовную кантату. „Только праведные правы“, и чувство Лаврецкаго къ ней вдохновляетъ его на высокое художественное созданіе. Съ изумительнымъ искусствомъ изображаетъ Тургеневъ національныя черты въ его характерѣ: серьезность и ту смѣлость мысли, „которая доступна одному германскому племени“, и странный для русскаго человѣка контрастъ его филистерской жизни, съ ночнымъ колпакомъ, съ декохтомъ, съ кухаркой Катринъ, варящей ему скверный кофе—съ одной стороны, и его вдохновенныхъ творческихъ порывовъ—съ другой стороны, когда его маленькая бѣдная комнатка обращается въ „святилище“, и „высоко и вдохновенно“ поднимается „въ серебристой полутьмѣ голова старика“. Превосходно также рисуетъ поэтъ тѣ горькія минуты Лемма, когда онъ тщетно пытается создать что-либо поэтическое, высокое,—и потомъ безнадежно по-

никаетъ своей старческой головою (И какъ часты бываютъ у него такія минуты!).

Замѣчательно, что чудная симфонія Лемма, воспѣвающая счастье Лаврецкаго, осталась неизвѣстною Лизѣ. И это не даромъ: вдохновенная музыка старика не передаетъ того, что происходило въ чистой душѣ глубоко полюбившей дѣвушки. — При всей высотѣ своей, эта музыка все-таки остается романтической, — и отвѣчаетъ романтическимъ струнамъ души Лаврецкаго. И самъ Леммъ, при всей чистотѣ своей души, не можетъ войти въ ту высшую область нравственнаго бытія, въ которой постоянно живетъ Лиза,— его не могутъ занимать тѣ высшіе вопросы, которые ее волнуютъ: онъ и не подозрѣвалъ объ извѣстіи про смерть жены Лаврецкаго, когда передавалъ въ своихъ чудныхъ звукахъ его счастье.

И не только романтизмъ, но и другія стихіи западноевропейской жизни глубоко заложены въ душѣ Лаврецкаго. Михалевичъ назвалъ его между прочимъ въ спорѣ „скептикомъ“. И въ самомъ дѣлѣ въ Лаврецкомъ есть скептицизмъ, и довольно сильный, развившійся подъ вліяніемъ тяжелыхъ обстоятельствъ жизни, но, конечно, бывшій въ немъ и раньше. Когда Лаврецкій понялъ Варвару Павловну и разстался съ нею,

„скептицизмъ, подготовленный (говоритъ поэтъ) опытами жизни, воспитаніемъ, окончательно забрался въ его душу“.

И вотъ, онъ на все и на всѣхъ начинаетъ смотрѣть съ сомнѣніемъ. Лиза, послѣ первыхъ же встрѣчъ съ нею, произвела на него хорошее впечатлѣніе; онъ было сталъ думать о ней какъ о прекрасномъ существѣ, сталъ думать, что Паншинъ дѣйствительно, какъ говоритъ Мароа Тимоѳеевна, ея не стоитъ; но тотчасъ-же остановилъ свои размышленія скептическимъ замѣчаніемъ:

„А, впрочемъ, чего я размечтался? Побѣжитъ и она по той-же дорожкѣ, по какой всѣ бѣгаютъ“.

Везетъ Лаврецкій Лемма къ себѣ въ деревню гостить.

Подъ впечатлѣніями—звѣзднаго неба, „всѣхъ обаяній дороги, весны и ночи“, старикъ размечтался о музыкѣ, о поэтическихъ словахъ для своего будущаго романса. Но Лаврецкій неожиданно охлаждаетъ его скептическимъ вопросомъ:

„Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христоforъ Ѳедоровичъ, промолвилъ онъ громко:—а какъ вы полагаете, этотъ Фридолинъ, послѣ того, какъ графъ привелъ его къ женѣ, вѣдь, онъ тутъ-то и сдѣлался ея любовникомъ,—а?

Леммъ не выдержалъ и разсердился:

— Это вы такъ думаете, возразилъ (онъ), потому что, вѣроятно, опытъ...

и старикъ „вдругъ умолкъ и въ смущеніи отвернулся“.

А. Незеленовъ.

„НАКАНУНѢ“.

*) На г. Тургенева за его произведеніе („Наканунѣ“) полилось столько обвиненій и упрековъ, оно вызвало столько кривыхъ толковъ, шума и брани, и въ то-же время нашло въ нѣкоторыхъ читателяхъ столько благороднаго, горячаго сочувствія, что литературная судьба этого романа можетъ считаться навсегда—упроченною. Эти толки, этотъ шумъ и крики, это ожесточенное отстаиваніе нѣкоторыхъ началъ, будто-бы разрушаемыхъ г. Тургеневымъ—все это ручается за то, что въ своемъ „Наканунѣ“ онъ коснулся весьма живыхъ интересовъ нашего общества и затронулъ такіе вопросы, которымъ скоро предстоитъ уже новое разрѣшеніе, какъ всякая новость, пугающая многихъ и многихъ охранителей существующаго status quo, облѣнившихся въ спокойномъ болотѣ рутинныхъ отношеній и до того привыкшихъ къ гладкой обрядности жизни, что они съ ужасомъ

*) П. Басистовъ. „Отечественныя Записки“ 1860 г., № 5.

смотрятъ на всякое свободное движеніе живой души и хотятъ увѣрить насъ, что оно грозитъ разрушеніемъ всему, на чемъ держится семейство, общество. Особенно досталось г. Тургеневу за то, что онъ осмѣлился изобразить съ сочувствіемъ дѣвушку, которая не очень уважаетъ своего отца, холодна къ матери, не увлекается солидными качествами пріисканнаго ей родителями жениха — чиновника Курнатовскаго, съ отличіемъ подвизающагося на службѣ Ѳемидѣ — отдаетъ свое сердце и руку, не спросясь родныхъ, студенту-болгарину и — о ужасъ! разночинцу! Какой ударъ нравственнымъ, общественнымъ, патріотическимъ и, наконецъ, сословнымъ предразсудкамъ! Какой ужасный примѣръ подаетъ Елена всѣмъ благовоспитываемымъ дѣвицамъ, которымъ заботливые родители всячески стараются внушить, во-первыхъ, вѣчную признательность къ нимъ уже за то одно, что они произвели ихъ на свѣтъ, и, во-вторыхъ, неуклонное повиновеніе ихъ волѣ, хотя-бы дѣло шло о сердцѣ, которымъ никто распоряжаться не воленъ! Какое опасное противоядіе всѣмъ ихъ спасительнымъ наставленіямъ, всей ихъ заботливости, съ которой они внушаютъ имъ съ шестнадцатилѣтняго возраста думать о выгодной партіи, полагая все счастіе въ нарядахъ, экипажахъ, балахъ и визитахъ!... Мнѣ случилось слышать, какъ одна маменька называла Елену „мерзавкой“... Эта маменька произносила это милое слово съ особеннымъ удареніемъ при своей дочкѣ, которая также имѣла неосторожность влюбиться не по календарю... Нашлась такая-же маменька и въ литературѣ и разбранила Елену на чемъ свѣтъ стоитъ. Конечно, въ печати не явилось ругательствъ, неприличныхъ печати, за то какихъ преступленій, какихъ ужасовъ не было приписано бѣдной Еленѣ!... какихъ обидныхъ эпитетовъ не надавала эй эта блюстительница нравовъ, скромно-подписавшаяся не болѣе, какъ „русской женщиной“ въ газетѣ г. Павлова „Наше Время“.

Впрочемъ, на обвиненія этой госпожи превосходно отвѣчала другая русская женщина и, послѣ ея краснорѣчивой апологіи, ничего не остается прибавить въ пользу Елены;

можно только посовѣтовать всѣмъ тѣмъ, кто видитъ въ Еленѣ разрушительницу семейной нравственности, прочесть статью Евгенія Туръ *) съ должнымъ вниманіемъ. Въ этой статьѣ любительницы патріархальной жизни найдутъ, между прочимъ, и одну утѣшительную для нихъ мысль, именно: что г. Тургеневъ вовсе и не думалъ ставить своей Елены за образецъ—съ чѣмъ также нельзя не согласиться.

П. Басистовъ.

* * *

**) Повѣсть г. Тургенева „Наканунѣ,“ въ которой авторъ, какъ будто покончивъ съ типами доселѣ имъ любимыми, пытается создать новыхъ людей, ожидаемыхъ обществомъ, встрѣчена была такими разнообразными толками и противорѣчащими сужденіями, какими не сопровождалось ни одно изъ его произведеній, хотя критика не успѣла еще разработать этотъ типъ-намекъ, представленный г. Тургеневымъ, не успѣла еще освоиться съ нимъ. Большинство осталось положительно недовольнымъ этимъ болгаромъ Инсаровымъ, увлекшимъ русскую дѣвушку, на которую авторъ потратилъ все богатство своего поэтическаго творчества, для которой не пожалѣлъ ни красокъ ни любви. Одни негодовали на то, что этотъ пришлецъ Инсаровъ лицо очень не поэтическое, что онъ нигдѣ не выказываетъ своей дѣятельности, что дѣятельность эта, насколько она проявляется въ повѣсти, очень пуста и ничтожна, и что напрасно авторъ своимъ Инсаровымъ тычетъ какъ бы въ глаза такимъ развитымъ, богато-одареннымъ натурамъ, каковы художникъ Шубинъ или ученый Берсеневъ. Другіе порицали автора за то, что, взявъ своего новаго героя изъ Болгаріи, онъ какъ будто этимъ хотѣлъ сознаться, что земля наша велика и обильна и много производитъ прекрасныхъ личностей, а Инсаровыхъ въ ней покуда еще нѣтъ, такъ что приходится ихъ, какъ норманновъ или литовцевъ, выписывать изъ-за моря. Однимъ словомъ, впечатлѣніе, произве-

*) „Московскія Вѣдомости“ 1860 г., № 35.
**) „Русское Слово“ 1860 г., № 5. Статья Н. К—аго.

денное новою повѣстію г. Тургенева, было больше неблагопріятно, чѣмъ благопріятно; иные, назойливые люди, доходили до убѣжденія, что авторъ подвергнулся полному fiasco; и что только чудная прелесть, дѣвственная поэзія его „Первой любви“, искупаетъ недостатки „Наканунѣ,“ повѣсти, написанной съ неудачною тенденціей. Такъ-ли это на самомъ дѣлѣ? Точно-ли г. Тургеневъ заслуживаетъ упрековъ и порицанія, и не виновата-ли сама жизнь въ томъ, что первый встрѣчающійся въ нашей литературѣ типъ Инсарова, человѣка цѣлаго, нераздвоеннаго и не надорваннаго,—человѣка, у котораго слово и дѣло сливаются въ одно, у котораго нѣтъ готовыхъ на устахъ, но никогда не примѣняемыхъ къ дѣлу фразъ, который не задумывается надъ любовью или ненавистью, надъ долгомъ или страстію, который весь отдался великому дѣлу, совершаемому имъ безъ парада и шума, безъ реторики и кривляній,—что типъ Инсарова вышелъ не вполнѣ удаченъ и неудовлетворяетъ насъ? Былъ-ли онъ въ состояніи сдѣлать изъ этого лица такой полный и опредѣленный образъ, какой представляютъ намъ „Лишніе люди“: Рудины et tutti quanti, эти „грызуны, гамлетики, самоѣды“, какъ называетъ ихъ Шубинъ, люди, которыхъ огромное число выкормила и похоронила русская земля, съ которыми сжился талантъ г. Тургенева? Да, виновата среда, если лицо Инсарова въ русской повѣсти кажется намъ иностраннымъ; авторъ самъ чувствовалъ неловкость своего героя, если бъ онъ родился въ русской кожѣ, и выписалъ его изъ Болгаріи. Намъ горько и больно это обстоятельство; но дѣлать тутъ нечего, и мы покорно клонимъ голову передъ неизбѣжнымъ произволомъ автора, но за то радостно привѣтствуемъ этотъ новый, невиданный дотолѣ въ русской литературѣ, а слѣдовательно и жизни, образъ, какъ заждавшіеся, старѣющіе супруги привѣтствуютъ первое дитя свое, ожидаемое съ трепетомъ и молитвою.

Содержаніе „Наканунѣ“ все основано на любви, составляющей naeосъ повѣсти, въ которомъ пробуются разные характеры и гдѣ побѣдителемъ является болгаръ Инсаровъ,

подчиняющій себѣ вполнѣ одинъ изъ лучшихъ женскихъ характеровъ, когда-либо созданныхъ г. Тургеневымъ. До сихъ поръ женщины г. Тургенева стояли гораздо выше мужчинъ; теперь онъ, повидимому, ставитъ своего новаго героя выше этой Елены... Разладъ, который вносится въ русскую жизнь, появленіемъ Инсарова въ повѣсти Тургенева, очень естественно долженъ былъ привести нѣкоторыхъ критиковъ къ обвиненію его въ томъ, что онъ сошелъ съ настоящей своей дороги, что онъ въ ущербъ своему таланту, сталъ „увлекаться философскими воззрѣніями на жизнь“, что идея повѣсти „въ состояніи сбить съ толку весьма многихъ, не утвердившихся еще во взглядѣ на личные характеры и общественныя отношенія, который служитъ основаніемъ истинной нравственной философіи“. Таково, по крайней мѣрѣ, содержаніе критики „Нашего Времени“ (№ 9), журнала, такъ неудачно пытавшагося разрушить послѣднюю драму г. Островскаго.

Изъ „Русскаго Слова“. Статья Н. К—аго.

* * *

*) Увлекшись превосходнымъ, глубоко-психологическимъ анализомъ Донъ-Кихота, возбуждающимъ горячее сочувствіе къ этому міровому типу указаніемъ свѣтлыхъ его сторонъ, и встрѣтивъ—не *въ* Инсаровѣ, а *объ* Инсаровѣ — такія же черты въ „Наканунѣ“, иные критики очень горячо принялись разсуждать о томъ, что для насъ прошла пора гамлетовъ; что довольно мы разсуждали; что намъ теперь нужны Донъ-Кихоты, люди дѣла, люди, способные къ самоотверженію, которые бы привели въ исполненіе то, что мы до-сихъ-поръ только придумывали. До-сихъ-поръ у насъ были гамлетики, грызуны, самоѣды и проч. Теперь намъ нужны люди, герои для борьбы съ врагами внутренними, не говоруны и не рефлектеры, а практическіе дѣятели; надобно, чтобъ они всею силою души своей захотѣли увра-

*) П. Басистовъ. „Отечественыя Записки“ 1860 г., № 5.

чевать наши раны, вполнѣ отдались идеѣ общаго блага, слились съ нею своимъ существомъ, и т. п. И возможность Елены показываетъ возможность такихъ людей. Вотъ мысль новаго романа г. Тургенева! Вотъ что хотѣлъ онъ сказать его заглавіемъ! До-сихъ-поръ мы разсуждали, сознавали извѣстныя идеи и стремленія; теперь мы *наканунѣ* людей дѣла, которые осуществятъ ихъ.

Итакъ, на г. Тургенева хотятъ взвести такую мысль, что намъ не нужно теперь ни искусство ни наука, а нужны одни практическіе дѣятели? Ужели онъ сказалъ это? Странно, какъ эти толкователи не замѣтили, что въ той же самой повѣсти эти безсмысленные крики: „практики! практики! давайте намъ практики“! превосходно осмѣяны въ лицѣ Лупоярова, какъ снѣгъ на голову свалившагося къ Инсарову въ Венеціи... Не безтолковой практики, безъ мысли, хочетъ г. Тургеневъ. Идея его задумана глубже. Въ лицѣ Елены онъ задаетъ вопросъ: *что* надобно дѣлать, и *какъ* дѣлать?

Литература наша не со вчерашняго дня занимается рѣшеніемъ этого вопроса и до сихъ поръ пыталась представить намъ уже нѣсколько идеальныхъ образцовъ дѣятельности. Еще г. Авдѣевъ, въ лицѣ трудолюбиваго чиновника Иванова, хотѣлъ вывести идеалъ истиннаго дѣятеля, намъ нужнаго. Тоже повторилъ г. Писемскій своимъ Калиновичемъ, но уже съ печальнымъ исходомъ, показывающимъ, что въ этомъ родѣ дѣятельности несть спасенія. Г. Гончаровъ создалъ Штольца; но этотъ идеалъ вышелъ чѣмъ-то въ родѣ облагороженнаго Чичикова, и не удовлетворилъ публику. Наконецъ, г. Тургеневъ является съ новымъ идеаломъ—Инсаровымъ. Посмотримъ-же, много-ли онъ сказалъ этимъ лицомъ.

Если Елена выражаетъ собою протестъ противъ существующаго въ нашей жизни, то Инсаровъ, которому Елена отдастъ преимущество передъ Шубинымъ, Берсеневымъ и Курнатовскимъ, естественно долженъ представить положительный идеалъ, взятый изъ чуждой намъ жизни, какъ несуществующій еще въ нашей дѣйствительности, но же-

лаемый. Слѣдовательно, значеніе Инсарова должно заключаться въ контрастѣ, который укажетъ авторъ, между нимъ и представителями русской дѣятельности—Шубинымъ, Берсеневымъ и Курнатовскимъ — въ главныхъ ея проявленіяхъ: наукѣ, искусствѣ, практической дѣятельности.

Мы настолько убѣждены въ сочувствіи г. Тургенева къ искусству (котораго онъ самъ служитъ однимъ изъ представителей) и къ наукѣ (которую онъ такъ прекрасно умѣлъ почтить въ лицѣ покойнаго Грановскаго), что не беремъ на себя смѣлости думать, чтобъ онъ хотѣлъ унизить ихъ въ пользу практической дѣятельности. Не думаемъ также, чтобы онъ понималъ слово „дѣятельность“ такъ узко. Вѣдь и Шубинъ дѣйствуетъ: онъ надѣлалъ шуму своей Вакханкой; и Берсеневъ дѣйствуетъ: онъ обратилъ на себя вниманіе ученой публики своими дѣльными сочиненіями; и Курнатовскій дѣйствуетъ: онъ честно и добросовѣстно исполняетъ свои служебныя обязанности. Стало быть, если г. Тургеневъ и выводитъ въ Инсаровѣ контрастъ со всѣми этими лицами, то, кажется, не для того, чтобъ протестовать противъ *такой* художественной, ученой и гражданской дѣятельности, какую представляютъ собою Шубинъ, Берсеневъ и Курнатовскій.

П. Басистовъ.

* * *

*) Кромѣ фальшиваго пониманія и уродливаго построенія, въ романѣ „Наканунѣ“ есть еще недоговоренность, умышленная недокончennость въ выраженіи главной идеи. Нѣтъ отвѣта на естественный вопросъ: нашла-ли Елена своего героя въ Инсаровѣ? Вопросъ этотъ очень важенъ, потому что онъ ведетъ къ рѣшенію общаго психологическаго вопроса: Что такое мечтательность и исканіе героя? Болѣзнь-ли это, порожденная пустотою и пошлостью жизни, или это естественное свойство личности, выходящей изъ обыкновенныхъ размѣровъ? Есть ли это проявленіе силы

*) Д. Писаревъ. „Русское Слово“ 1861 г., № 12. Также Сочиненія Писарева.

или проявленіе слабости? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, надо было создать для Елены самыя благопріятныя обстоятельства, и тогда въ картинахъ и образахъ показать намъ: счастлива-ли она или нѣтъ? А тутъ, что такое? Инсаровъ скоропостижно умираетъ: да развѣ это рѣшеніе вопроса? Къ чему эта смерть, обрывающая романъ на самомъ интересномъ мѣстѣ, замазывающая черною краскою неоконченную картину и избавляющая художника отъ труда отвѣчать на поставленный вопросъ? Но, можетъ быть, Тургеневъ и не задавалъ себѣ этого вопроса? Можетъ быть, для него центромъ романа была не Елена, а былъ Инсаровъ? Тогда остается только пожалѣть, что въ плохомъ дидактическомъ романѣ, похожемъ на Обломова по идеѣ, встрѣчается такъ много такихъ великолѣпныхъ частностей, какъ, напримѣръ, личности — Елены, Шубина и Берсенева, дневникъ Елены, сцена ожиданія, сцены любви, и, наконецъ, неподражаемый Уваръ Ивановичъ.

Д. Писаревъ.

* * *

*) Въ „Накапунѣ“ семейныя рамки раздвигаются. На первомъ планѣ рисуется передъ вами женщина, мечтающая не о такомъ только героѣ, который, растаявши въ любви, осыпалъ бы ее золотымъ дождемъ. Такихъ героевъ встрѣчаетъ Елена Николаевна на каждомъ шагу. Берсеневъ и Шубинъ готовы броситься въ эту, чтобы осчастливить ее; но такое счастье кажется ей приторнымъ, мелкимъ и жалкимъ: она мечтаетъ о какой-то иной жизни, полной дѣятельнаго добра... Она мечтаетъ о такомъ героѣ, съ которымъ она пойдетъ рука объ руку, и будутъ они дѣлать великое дѣло. Такимъ героемъ является Инсаровъ. Его живой энтузіазмъ, его увлеченіе не одною личною любовью къ героинѣ, но и любовью къ родинѣ, наконецъ, увлеченіе Елены имъ въ силу его общественнаго энтузіазма — все это представляется чѣмъ-то новымъ, неслыханнымъ и не-

*) Алкандровъ (псевдонимъ). „Невскій Сборникъ“ 1867 г.

виданнымъ въ прежней дѣятельности г. Тургенева. Казалось, съ этой повѣсти начнется поворотъ въ дѣятельности г. Тургенева, вмѣстѣ съ вѣкомъ, и г. Тургеневъ представитъ намъ новые типы, новыя положенія, новые вопросы... Но кто могъ думать, что подъ новою оболочкою таилась старая гниль. Эта новая оболочка, эти широкіе вопросы, которые поставлены въ основаніе повѣсти, взяты авторомъ напрокатъ и разработаны отвлеченно, безъ всякаго примѣненія ихъ къ русской жизни, безъ всякаго анализа русской жизни на основаніи ихъ. Для того, чтобы создать типъ живого, вольнаго, увлеченнаго благимъ дѣломъ, г. Тургеневъ взялъ совершенно чуждый русской жизни типъ болгара, жаждущаго освободить свою родину. Инсаровъ въ сущности ничѣмъ не отличается отъ Рудина. Его замыселъ освободить Болгарію такой-же рискованный и безумный, какъ и прорытіе фарватера Рудина, какъ и всякое подобное предпріятіе, выходящее изъ ряда мелкихъ дѣлишекъ Адуева, Штольца и прочихъ мудрецовъ вѣка сего. Рудинъ способенъ на рискованную женитьбу не менѣе Инсарова; а съ другой стороны, и самъ Инсаровъ, если онъ и женился такъ отважно на Еленѣ, то это потому, что встрѣтилъ дѣвушку готовую вмѣстѣ съ нимъ дѣлать дѣло въ такую минуту, когда дѣло было въ рукахъ, и счастье жизни Инсарова — свобода родины,—было такъ близко. Но Богъ знаетъ, женился-ли бы Инсаровъ, если-бы онъ былъ въ положеніи Рудина? Женился-бы онъ на Еленѣ послѣ Крымской войны, когда оказалось-бы, что дѣло его потеряно, и Болгарія продолжаетъ находиться подъ властью Турокъ? Если-же Инсаровы встрѣчаются и въ русской жизни, какъ бы ни было ихъ мало, то почему же г. Тургеневу нужно было насиловать свое воображеніе и придумывать Инсарова, вмѣсто того, чтобы взять его изъ нашей среды?... А потому, вотъ видите, что въ Россіи такихъ людей совсѣмъ нѣтъ, по мнѣнію г. Тургенева: „нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотрю. Все либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели, да

палки барабанныя!...“ „Будутъ“, утѣшаетъ себя вслѣдъ затѣмъ Тургеневъ словами Увара Ивановича. Почему-же будутъ, если ихъ нѣтъ теперь... Откуда они явятся? Съ неба свалятся, что ли?... Въ томъ то и дѣло, что такіе люди всегда были и всегда будутъ, только мы долго еще не будемъ понимать ихъ; долго еще они будутъ маяться и увядать безъ дѣла; долго еще они будутъ казаться намъ или холодными резонерами или жалкими безумцами, и мы будемъ бросать въ нихъ грязью и смѣшивать ихъ съ шулерами, берущими въ долгъ безъ отдачи. Г. Тургеневу ничего не стоило создать отвлеченно типъ освободителя Болгаріи, но въ то-же время онъ привыкъ мѣрять русскую жизнь на узенькій филистерскій аршинчикъ; и тотъ-же Инсаровъ—въ русской жизни чуждъ и противенъ для него, что онъ и показалъ, какъ въ „Рудинѣ“, такъ и въ „Отцахъ и дѣтяхъ“...

Характеръ Елены, представляющій, повидимому, столько новыхъ, неслыханныхъ до того времени мотивовъ, въ свою очередь, скрываетъ подъ новою оболочкою старую гниль... Елена является передъ нами женщиною, какихъ до нашего времени совсѣмъ не было, а если и было, то очень мало. Она мечтаетъ не объ однихъ нарядахъ и не объ одной любви, но и о жизни, полной дѣятельнаго добра... но почему же она только мечтаетъ объ этой жизни, почему она не живетъ ею? Почему для осуществленія этой жизни, ей непремѣнно нужно героя, который повелъ бы ее по дорогѣ дѣятельнаго добра. А сама она не можетъ идти по этой дорогѣ?... Я нисколько не отрицаю необходимости встрѣчи Елены съ Инсаровымъ. Конечно, ужъ если выходить замужъ Еленѣ, то выходить за такого человѣка, какъ Инсаровъ... Но какое же отношеніе имѣетъ замужество и жизнь полная дѣятельнаго добра? Мнѣ представляется, что это два интереса въ жизни, совершенно различные, и если они имѣютъ взаимное отношеніе, то скорѣе вопросъ о замужествѣ долженъ зависѣть отъ вопроса о жизни полной дѣятельнаго добра; у т. Тургенева же это выходитъ наоборотъ: вопросъ о жизни полной дѣятельнаго добра является

у него совершенно подчиненнымъ вопросу о замужествѣ; для того, чтобы осуществить такую жизнь, Еленѣ непремѣнно нужно встрѣтить Инсарова... Ну, а если бы она Инсарова не встрѣтила, неужели она въ такомъ случаѣ должна была бы вѣчно ограничиваться одними мечтаніями?... Что за жалкое существо въ такомъ случаѣ женщина! Неужели не можетъ она шагу ступить, если услужливый кавалеръ не протянетъ ей руку?...

Женскій вопросъ въ „Наканунѣ“ представляется, такимъ образомъ, чѣмъ то въ родѣ вопроса о кадрилѣ или вальсѣ: ангажируетъ кавалеръ,—барышня протанцуетъ съ нимъ нѣсколько туровъ на поприщѣ дѣятельнаго добра, а если кавалеръ пройдетъ мимо, барышня такъ и остается сидѣть возлѣ своей маменьки. А отчего происходитъ такой курьезный взглядъ г. Тургенева на женскій вопросъ? Опять таки оттого, что на первомъ планѣ у г. Тургенева семейный вопросъ, сквозь который онъ смотритъ на всѣ прочія отношенія жизни. Г. Тургеневъ никакъ не можетъ понять, что женщина можетъ любить, одерживать побѣды, страдать отъ неудачной любви, быть, наконецъ, хорошею женою и матерью, — и въ то же самое время, совершенно безотносительно отъ всего этого, вести жизнь полную дѣятельнаго добра. Вѣрный своему принципу, г. Тургеневъ предписываетъ и здѣсь свой неизмѣнный ультиматумъ: или любовь или смерть.

Изъ „Невскаго Сборника“. Статья Алкандрова.

* * *

*) Г. Тургенева по справедливости можно назвать представителемъ и пѣвцомъ той морали и философіи, которая господствовала въ нашемъ образованномъ обществѣ въ послѣднее двадцатилѣтіе. Онъ быстро угадывалъ новыя потребности, новыя идеи, вносимыя въ общественное сознаніе, и въ своихъ произведеніяхъ непремѣнно обращалъ (сколько

*) Н. Добролюбовъ. Сочиненія Добролюбова, т. 3 и „Современникъ“ 1860 г., № 3. Статья „Когда же наступитъ настоящій день?“

позволяли обстоятельства) вниманіе на вопросъ, стоявшій на очереди и уже смутно начинавшій волновать общество...

Общественная потребность дѣла, живого дѣла, начало презрѣнія къ мертвымъ принципамъ и пассивнымъ добродѣтелямъ выразились во всемъ строѣ повѣсти „Наканунѣ“. Мы можемъ сказать смѣло, что если уже г. Тургеневъ тронулъ какую-нибудь новую сторону общественныхъ отношеній, — это служитъ ручательствомъ за то, что вопросъ этотъ дѣйствительно подымается въ сознаніи образованнаго общества, что эта новая сторона жизни и начинаетъ выдаваться и скоро выкажется рѣзко и ярко предъ глазами всѣхъ....

Талантъ г. Тургенева не изъ тѣхъ титаническихъ талантовъ, которые единственно силою поэтическаго представленія поражаютъ, захватываютъ васъ и влекутъ къ сочувствію такому явленію или идеѣ, которымъ мы вовсе не расположены сочувствовать. Не бурная, порывистая сила, а напротивъ—мягкость и какая-то поэтическая умѣренность служатъ характеристическими чертами его таланта.

Н. Добролюбовъ.

* * *

*) Романъ „Наканунѣ“ появился прямо вслѣдъ за романомъ „Дворянское гнѣздо“ и вызвалъ общія похвалы одинаково во всѣхъ журнальныхъ лагеряхъ, особенно въ лагерѣ либеральной критики. Это произведеніе было послѣднимъ, угодившимъ названной критикѣ: вмѣстѣ съ нимъ кончилось ея благоволеніе къ Тургеневу надолго, чуть не на цѣлыя двадцать лѣтъ. При появленіи „Наканунѣ“, Тургеневъ былъ въ „Современникѣ“ провозглашенъ однимъ изъ самыхъ полныхъ и самыхъ лучшихъ выразителей прогрессивныхъ стремленій; а черезъ два года въ томъ же „Современникѣ“ низведенъ на степень самыхъ несомнѣнныхъ ретроградовъ, и не только „Отцы и дѣти“, послужившіе поводомъ для такого низведенія, но и всѣ прежнія его

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

произведенія объявлены антипрогрессивными. Такое ужъ тогда время было рѣшительное: легко воздвигали кумиры и кланялись имъ въ ноги, и столь же легко ихъ низвергали и топтали ногами. Особеннымъ настроеніемъ времени слѣдуетъ объяснить и ту тенденцію, которую Тургеневъ въ своемъ романѣ постарался выразить въ главной героинѣ, нервной московской барышнѣ Еленѣ Стаховой, инстинктивно искавшей для своей любви непремѣнно героя-гражданина и нашедшей его, благодаря остроумію автора, въ болгаринѣ Инсаровѣ, такъ какъ россійская почва въ то время гражданъ еще не производила. Время появленія романа „Наканунѣ“ было по преимуществу временемъ исканія „гражданскихъ мотивовъ“ во всемъ, начиная съ поэзіи и кончая... обѣдами, на которыхъ провозглашались тосты и спичи за прогрессъ и свободу. Нельзя отнять у этого любопытнаго времени искренняго и благороднаго энтузіазма, искренняго и смѣлаго подъема общественнаго духа, хорошихъ и честныхъ увлеченій; но въ то же самое время нельзя не признать въ его усиленныхъ и возвышенныхъ волненіяхъ и тревогахъ большой дозы легкомыслія, фразерства, поверхностности, бѣганія за либеральной модой. Тургеневъ, при его чуткой отзывчивости на всякое біеніе общественнаго пульса, при его склонности къ отраженію всякихъ умственныхъ и нравственныхъ колебаній нашей жизни, не могъ не подчиниться лучшимъ сторонамъ того духа, который вѣялъ тогда такою освѣжающею струей, не могъ не отвѣтить своимъ сердцемъ на то, что тогда „просило у сердца отвѣта“. И онъ отвѣтилъ романомъ, въ самомъ названіи котораго было что-то обѣщающее, зовущее впередъ, онъ отвѣтилъ образами Елены и Инсарова, въ художественномъ отношеніи нѣсколько блѣдными и неопредѣленными, но задуманными необыкновенно умно и, при всемъ, почти исключительномъ, участіи въ ихъ созданіи одного ума, нарисованными увлекательными красками. Въ этомъ трудномъ и рѣдко удающемся дѣлѣ, т. е. въ созданіи образовъ нестолько творческой фантазіей, сколько мыслью, нашему художнику сослужило, кажется, большую службу

его глубокое знакомство съ художественными образцами европейскихъ литературъ и тонкое изученіе беллетристической техники...

Оставляя въ сторонѣ нѣкоторую перерисовку личности Елены и недорисовку личности Инсарова, въ общемъ романъ „Наканунѣ“ долженъ быть признанъ однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ, самыхъ крупныхъ романовъ Тургенева. Не говоря уже о превосходной художественной выработкѣ второстепенныхъ лицъ романа, Берсенева, Шубина, отца и матери Елены, даже „черноземной силы“— Увара Ивановича, весь романъ проникнутъ дѣйствительно какимъ-то тревожнымъ, нервнымъ, поднимающимъ чувствомъ, которое въ то время отвѣчало какъ нельзя болѣе живо общественному настроенію. Кромѣ того, самый замыселъ романа представляется значительно расширеннымъ противъ замысла прежнихъ произведеній; видно, что Тургеневъ освободился уже отъ своей старой, тревожившей его творческую фантазію много лѣтъ задачи: обрисовки несостоятельности типа идеалистовъ сороковыхъ годовъ. Въ романѣ „Наканунѣ“ художникъ вышелъ на новый путь, на поиски новыхъ, молодыхъ типовъ. Пусть эти поиски ограничились не вполнѣ жизненнымъ образомъ Елены и довольно безцвѣтною фигурою Инсарова; но уже самый фактъ стремленія художника уловить и опредѣлить въ конкретныхъ чертахъ новые типы, раскрыть основное содержаніе „гражданской“ идеи, которая направляла жизненное развитіе—самый этотъ фактъ значилъ въ свое время очень многое. Фактъ этотъ показалъ всю изумительную чуткость художническаго дарованія Тургенева, съ одной стороны, и съ другой — всю живость его наблюдательности, силу его аналитическаго ума. Въ то время, когда беллетристика не дерзала даже помыслить о героѣ-гражданинѣ, можетъ быть, даже не подозрѣвала возможности такого героя на Руси, Тургеневъ не задумался вызвать его образъ, остроумно позаимствовавъ этого героя хотя и на чуждой, но вмѣстѣ съ тѣмъ и на родной намъ почвѣ. Такое позаимствованіе — замѣтимъ кстати—очень знаменательно: въ этомъ обраще-

ніи къ нашимъ единокровнымъ братьямъ за героемъ-гражданиномъ, быть можетъ, у Тургенева сказалось инстинктивное сочувствіе славянству, инстинктивное влеченіе, коренящееся невольно въ каждомъ крупномъ представителѣ русской національности, какимъ, безъ сомнѣнія, былъ авторъ „Наканунѣ“.

В. Буренинъ.

* * *

*) Къ нерадостнымъ заключеніямъ привели два большихъ романа Тургенева: „Рудинъ“ и „Дворянское гнѣздо“. Два „героя времени“, изображенные въ нихъ, два лица, на которыхъ послѣдовательно возлагалъ поэтъ великія надежды, оказались несостоятельными.

„Я кончу тѣмъ, что пожертвую собой за какой-нибудь вздоръ, въ который даже вѣрить не буду“, сказалъ Рудинъ. И, дѣйствительно, такъ и случилось.

„Здравствуй, одинокая старость! Догорай, безполезная жизнь!“ сказалъ Лаврецкій. И этими словами самъ призналъ себя „сошедшимъ съ земного поприща“ (какъ выразился про него поэтъ), отжившимъ человѣкомъ въ 45 лѣтъ, отжившимъ преждевременно, потому что не смогъ подняться на высоту своего призванія, своихъ силъ, на ту высоту, куда такъ долго, такъ тщетно звала его Лиза.

Тургеневъ развѣнчалъ обоихъ своихъ героевъ. Но въ немъ самомъ еще жива и сильна была вѣра въ человѣка вообще, въ русскую нашу жизнь въ частности. И какъ было не остаться этой вѣрѣ живою, когда не все поддалось разлагающей силѣ его анализа, когда уцѣлѣли передъ могуществомъ этого анализа два женскихъ образа — Натальи и Лизы. Несостоятельнымъ оказался мужчина; выдержала строгій и безпощадный судъ поэтической правды русская женщина.

И вотъ въ новомъ романѣ поэта—„Наканунѣ“—мы видимъ опять великія надежды. Но надежды эти возлагаются

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

теперь на женщину, и она является героиней произведенія.—Наталья и Лиза, высокія нравственно, сильно и благотворно вліявшія на Рудина и Лаврецкаго, хотя и не спасшія ихъ, не стояли, однако, въ романахъ на первомъ планѣ, потому что, по волѣ поэта, имъ не дано было инициативы: Наталья, когда разочаровалась въ Рудинѣ, и когда разбились ея высокія мечты о жизни, вышла замужъ за честнаго, но тупоумнаго Волынцева; Лиза — добровольно сошла съ земного поприща, удалилась въ монастырь.

Въ новомъ своемъ романѣ Тургеневъ попробовалъ придать характеру женщины инициативу. Изъ его творческой фантазіи вышелъ образъ самобытно стремящейся на дѣло— Елены.

Елена, какъ извѣстно, уходитъ изъ русской жизни, не удовлетворившись ею и не найдя въ ней дѣятельности для себя. Это обстоятельство, равно какъ и то, что русская жизнь изображена въ „Наканунѣ“ безъ героя, безъ вождя, безъ руководящей силы, повидимому, свидѣтельствуетъ, что поэтъ отрицательно относится къ нашей дѣйствительности, по крайней мѣрѣ, въ ея настоящемъ, что онъ какъ будто отчаялся въ ней. Онъ заставляетъ дѣйствующихъ лицъ романа произносить суровые приговоры надъ русской жизнью и надъ самими собою.

„Нѣтъ, кабы были между нами путные люди, не ушла бы отъ насъ эта дѣвушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, какъ рыба въ воду!“

говоритъ Шубинъ. Съ подобными мыслями соглашается какъ-будто самъ поэтъ. Соглашается онъ какъ-будто даже съ желчнымъ заключеніемъ Инсарова, сказавшаго Еленѣ послѣ посѣщенія ихъ, въ Венеціи, Лупояровымъ, пустымъ болтуномъ и самонадѣяннымъ фразеромъ:

„Вотъ... вотъ ваше молодое поколѣніе! Иной важничаетъ и рисуется, а въ душѣ такой же свистунъ, какъ этотъ господинъ“.

Но, несмотря на все это, не отчаяніе слышится въ общемъ тонѣ романа, а надежда. Недаромъ дано произве-

денію названіе „Наканунѣ“, недаромъ предшествовавшій романъ, „Дворянское гнѣздо“, окончился исполненнымъ вѣры привѣтомъ молодому поколѣнію русскихъ людей:

„Играйте, веселитесь, растите, молодыя силы! (говоритъ Лаврецкій)... жизнь у васъ впереди, и вамъ легче будетъ жить: вамъ не придется, какъ намъ, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о томъ, какъ бы уцѣлѣть—и сколько изъ насъ не уцѣлѣло!—а вамъ надобно дѣло дѣлать, работать“.

Это молодое поколѣніе, къ которому съ такимъ привѣтомъ обратился Лаврецкій, и изображено въ „Наканунѣ“. Оно не выдвинуло изъ своей среды героя, оно оказалось несостоятельнымъ. Но оно такъ полно жизни, жизни прекрасной, даровитой, бойкой, умной, честной; его представители въ романѣ такіе симпатичные люди,—что надежды, положенныя поэтомъ въ основу романа, понятны; понятна его вѣра, что мы „наканунѣ“ появленія настоящихъ дѣльныхъ людей, настоящихъ героевъ.

„О, вы, русскіе... золотыя у васъ сердца!“

говоритъ Инсаровъ, говоритъ съ удивленіемъ, съ недоумѣніемъ, потому что ему, состоятельному человѣку и герою, недоступна, совершенно непонятна та душевная высота, на которую могутъ подниматься несостоятельные русскіе Берсеневы и Шубины.

Вѣрой въ будущее Россіи проникнутъ авторъ „Наканунѣ,“ и романъ этотъ, изобличающій недостатки родной земли, исполненъ горячей любовью къ родинѣ.

Отсюда двойственность, нѣкоторое непримиренное противорѣчіе въ отношеніяхъ Тургенева къ Еленѣ и къ Инсарову: онъ и сочувствуетъ имъ—и не сочувствуетъ, потому что и развѣнчиваетъ русскую жизнь — и вѣритъ въ нее, въ ея великое будущее.

А. Незеленовъ.

* * *

*) Высокое настроеніе, подъ вліяніемъ котораго было создано *Дворянское гнѣздо*, скоро уступило мѣсто новымъ, или казавшимся новыми, вѣяніямъ, появившимся на поверхности русской жизни—новой суетѣ этой жизни. Старую суету жизни побѣдилъ въ себѣ Тургеневъ, и эта побѣда ознаменовалась возвышеннымъ настройствомъ его души, отразившимся въ *Фаустѣ* и въ *Дворянскомъ гнѣздѣ;* но новая суета подчинила его себѣ, въ ней, какъ и въ броженіи умовъ въ сороковыхъ годахъ, онъ увидѣлъ что-то серіозное, не временное, не преходящее, не симптомы болѣзни нашего историческаго роста и развитія, а самую сущность, движущую эти ростъ и развитіе.

Дѣйствительно, въ русской жизни возникало нѣчто новое, безконечно серіозное, наступалъ переломъ въ нашей исторіи, ознаменованный освобожденіемъ крестьянъ, выступало на историческую арену новое дѣйствующее лицо, значительное и для многихъ загадочное—народъ нашъ, до тѣхъ поръ лишь хранившій преемственное преданіе; но броженіе умовъ, начавшееся въ концѣ пятидесятыхъ годовъ и не замершее еще до сихъ поръ, было, въ сущности, продолженіемъ такого же броженія сороковыхъ годовъ. Это броженіе умовъ было лишь сопровождающимъ явленіемъ, было лишь симптомомъ болѣзни роста, не болѣе. Въ самомъ дѣлѣ, много ли страницъ посвятитъ будущій историкъ эпохи, начиная съ шестидесятыхъ годовъ, этому броженію умовъ, со всѣми его послѣдствіями, до политическихъ убійствъ и до 1 марта включительно; это ли броженіе умовъ станетъ центромъ его изслѣдованія? Конечно, нѣтъ. Если современники часто изъ за деревьевъ не видятъ лѣса, если для нихъ вздымающіяся на поверхности волны заслонятъ безбрежный океанъ, въ глубинѣ котораго царитъ все та же таинственная тишина и тогда, когда на поверхности бушуетъ буря, въ глубинѣ котораго совершается все та же таинственная и неспѣшная работа, какая бы зыбь и какая бы пѣна не вздымалась на поверхности—если такъ для современниковъ,

*) Ю. Николаевъ. „Тургеневъ". Москва, 1894 г.

то не такъ для историка. Онъ знаетъ, что волны улягутся, что не въ нихъ сущность жизни океана, а грязную пѣну унесетъ теченіе. Онъ знаетъ, что когда наступитъ весна, и ледъ растаетъ, побѣгутъ грязные потоки, оглушая воздухъ своимъ шумомъ,—но знаетъ также, что скоро эти грязные потоки исчезнутъ, освѣженная земля зазеленѣетъ, и тихія воды снова сверкнутъ своею чистою прозрачностью. И зная это, онъ отведетъ надлежащее мѣсто общественному броженію эпохи отъ шестидесятыхъ до восьмидесятыхъ годовъ, онъ увидитъ въ этомъ броженіи только одинъ изъ симптомовъ болѣзни историческаго роста.

Начавшаяся суета русской жизни повліяла и на Тургенева. Это тотчасъ же отразилось на его творчествѣ. Онъ создаетъ романъ *Наканунѣ*, уже наполненный этою суетой. *Дворянское гнѣздо* появилось въ 1858 году, *Наканунѣ* — въ 1859. Это очень короткій срокъ, — но между настроеніемъ Тургенева, выразившимся въ *Дворянскомъ гнѣздѣ*, и настроеніемъ, выразившимся въ *Наканунѣ*—цѣлая бездна. Тутъ не въ томъ дѣло, что въ *Дворянскомъ гнѣздѣ* онъ рисовалъ картину вѣками сложившагося быта, а въ *Наканунѣ* желалъ изобразить только-что нарождающееся, новое; въ изображеніи этого новаго должно было бы отразиться то же настроеніе, какое отразилось въ *Дворянскомъ гнѣздѣ*, если бъ это настроеніе не было *только* настроеніемъ, а возвысилось бы на степень осмысленнаго міросозерцанія. Этого не случилось, и потому Тургеневъ пишетъ *Наканунѣ* уже въ совершенно новомъ настроеніи.

Возвышенное настроеніе души отразилось хотя несовершеннымъ, но возвышеннымъ произведеніемъ, новое настроеніе, очень мелкое и поверхностное, отразилось и произведеніемъ поверхностнымъ и неопредѣленнымъ. Дѣло въ томъ, что Тургеневъ самъ былъ захваченъ потокомъ новаго умственнаго броженія, подъ вліяніемъ котораго создалось его новое настроеніе, и уже, конечно, нельзя было уловить существенныя черты этого броженія, отнестись къ нему правильно, самому находясь въ состояніи подобнаго же броженія.

Самое заглавіе — *Наканунѣ* показываетъ, что отъ русской жизни ожидалось что-то совершенно новое, что старое, напримѣръ, Лиза, считалось уже отжившимъ — такъ поняли это дѣло и въ обществѣ. Выразитель тогдашнихъ общественныхъ настроеній, Добролюбовъ, по поводу *Наканунѣ* написалъ статью: *Когда же наступитъ настоящій день?* Въ этой статьѣ говорилось, что настоящій день наступитъ, когда русское общество, а въ особенности русскія дѣвицы совершенно эманципируются отъ всѣхъ „предразсудковъ“, даже отъ тѣхъ, которые еще сохранила Елена. Самъ Тургеневъ смотрѣлъ на Елену какъ на явленіе новое; Болгаринъ же Инсаровъ уже былъ потому новъ, что онъ Болгаринъ. Въ своей литературной автобіографіи Тургеневъ, между прочимъ, говоритъ коснувшись *Наканунѣ*: „Фигура главной героини Елены, *тогда еще новаго типа въ русской жизни*, довольно ясно обрисовывалась въ моемъ воображеніи“. Но это не былъ новый типъ, не только въ русской жизни, но даже и въ русской литературѣ— не говоря уже о французской. Въ романахъ Жоржъ-Санда, такъ усердно читавшихся и у насъ, давно уже выводился подобный типъ — и быть-можетъ не безъ вліянія Жоржъ-Санда, этотъ женскій типъ сформировался и въ русской жизни, со своеобразною, конечно, окраской и со своеобразными очертаніями. Но и въ русской литературѣ этотъ типъ былъ не новый: онъ появлялся въ произведеніяхъ самого Тургенева. Существенныя черты женщинъ и дѣвушекъ этого типа заключаются, по свидѣтельству самого Тургенева *(Литературная Автобіографія)*, „въ смутномъ, хотя сильномъ стремленіи къ свободѣ“ и въ исканіи „героя“, которому бы дѣвица или дама „могла предаться“.

И ту и другую черту мы уже находимъ въ *комическихъ* женскихъ типахъ, выведенныхъ Тургеневымъ. Эти черты мы находимъ, напримѣръ, въ дѣвицѣ Эмеренціи или Эмерансъ изъ повѣсти *Два Пріятеля*. Эта дѣвица Эмеранція, какъ и Елена, имѣетъ склонности вести съ кавалерами разговоры о предметахъ возвышенныхъ, свое „смутное стремленіе къ свободѣ“ она выражаетъ тѣмъ, что потп-

хоньку отъ родителей завела „шуры-муры“, какъ говорятъ Гоголевскія дамы, съ нѣкоторымъ Валентиномъ. „Этотъ Валентинъ“, замѣчаетъ авторъ, „былъ учитель въ губернской гимназіи. Въ городѣ пускался онъ во всѣ тяжкія, а въ деревнѣ вздыхалъ по Эмеранціи платонически и безнадежно“. Эмеранція точно также искала „героя“ и нашла его въ лицѣ Валентина. „Вчера былъ у насъ новый гость, Вязовнинъ“, писала она подругѣ. — „Онъ очень милый и любезный человѣкъ, сейчасъ видно, что очень образованный, и—сказать тебѣ на ушко?—мнѣ сдается, я произвела на него довольно сильное впечатлѣніе. Но не безпокойся, mon amie: мое сердце не было затронуто, и Валентину опасаться нечего“.

Конечно, дѣвица Эмеранція сюсюкаетъ и припрыгиваетъ, она коверкаетъ французскія слова, она совершенно необразована и дурно воспитана; конечно, у нея Валентинъ, а у Елены „герой“, намѣревающійся спасти свою родину; но записка Эмеранціи, право же, напоминаетъ своимъ тономъ иныя мѣста изъ дневника Елены. Конечно, Елена не писала такихъ пошлостей, но мы говоримъ не о содержаніи, а о тонѣ. Но... но даже если говорить о тонѣ, то и здѣсь врядъ ли мы найдемъ большое различіе. Припомните весьма патетическую сцену между Инсаровымъ и Еленой, когда она тайно посѣщаетъ его квартиру.

„А, ты хотѣлъ убѣжать отъ меня! говоритъ она. — „*Тебѣ не нужно было русской любви, Болгаринъ*? Посмотримъ, какъ ты теперь отъ меня отдѣлаешься!“

Это стоитъ Эмеранціи...

Но продолжимъ наши поиски. Одну предвозвѣстницу Елены мы нашли—а вотъ другая. Въ той же повѣсти *Два Пріятеля* мы встрѣчаемся съ молодой вдовой Софьей Кирилловной Заднѣпровской, которую простодушный Петръ Васильевичъ называетъ „эманципе“. Софья Кирилловна такъ же стремится къ свободѣ, такъ же отыскиваетъ „героя“, достойнаго ея, такъ же неудовлетворена окружающею дѣйствительностью. Будучи вдовой, а не дѣвицей, она и высказывается гораздо свободнѣе. Она жалуется на

окружающее ее общество. „Да“, говоритъ она съ негодованіемъ, „все, что выходитъ изъ-подъ общаго уровня, все, что нарушаетъ законы какого-то выдуманнаго приличія, подвергается здѣсь строжайшему осужденію“. Она, подобно Еленѣ, задаетъ „вопросы своей судьбѣ“, какъ она выражается. Затѣмъ, высказывая свои стремленія къ свободѣ, „Софья Киприловна сильно возстала противъ брака“ — и заключила свою филиппику слѣдующими словами: „Что̀ можетъ быть для женщины дороже свободы — свободы мыслей, чувствъ, поступковъ!“

Мы находимъ и еще одну предвозвѣстницу Елены въ разсказѣ Тургенева *Татьяна Борисовна и ея племянникъ*. У одного сосѣда Татьяны Борисовны, „хорошаго и смирнаго молодого человѣка, была сестра, дѣвица лѣтъ тридцати восьми съ половиной, существо добрѣйшее, но исковерканное, натянутое, восторженное“. Эта-то дѣвица чуть было не уморила Татьяну Борисовну своею восторженностью, и уморила бы — „если бы не влюбилась въ молодого, пріѣзжаго студента, съ которымъ тотчасъ же вступила въ дѣятельную и жаркую переписку; въ посланіяхъ своихъ она, какъ водится, благословляла его на святую и прекрасную жизнь, приносила „всю себя“ въ жертву, требовала одного имени сестры, вдавалась въ описаніе природы, упоминала о Гёте, Шиллерѣ, Беттинѣ и нѣмецкой философіи — и довела, наконецъ, бѣднаго юношу до мрачнаго отчаянія“.

Скажутъ, что ужъ нѣтъ ничего общаго съ Еленой. Нѣтъ, много общаго. Это разновидность того же типа: это Елена въ пожилыхъ годахъ, и при томъ Елена не красивая, не изящная, которой, по этому случаю, не удалось „предаться“ какому-нибудь „герою“. Эта дѣвица была добрѣйшее существо, Елена не добра, но основныя черты типа тѣ же: та же исковерканность, натянутость, восторженность, и тотъ же эгоизмъ, которому не мѣшаетъ добродушіе.

Надо всѣми этими провозвѣстницами Елены Тургеневъ смѣялся: онъ выставлялъ ихъ въ комическомъ свѣтѣ, опи-

сывалъ ихъ съ тонкимъ юморомъ, а иныхъ съ пренебрежительною ироніей и съ злымъ сарказмомъ—но не даромъ говоритъ пословица: „Чему посмѣешься, тому и послужишь“. И Тургеневу пришлось послужить тому, надъ чѣмъ онъ смѣялся. Какъ только тѣ же лица предстали предъ нимъ съ иными внѣшними чертами, въ видѣ дѣвицъ красивыхъ и изящныхъ, хорошо выдержанныхъ и прекрасно воспитанныхъ, которыя при томъ и гораздо умнѣе своихъ рѣшительно глупенькихъ провозвѣстницъ, такъ Тургеневъ въ этихъ красивыхъ и изящныхъ дѣвицахъ не разсмотрѣлъ столь хорошо знакомыя ему черты. Онъ отнесся къ этимъ красивымъ и изящнымъ дѣвицамъ серіозно, безъ иронiи, онъ увидѣлъ въ нихъ явленіе не комическое, а серіозное, и не только серіозное, но героическое,—увидѣлъ въ нихъ новый типъ. Дѣло началось съ Натальи въ *Рудинѣ*. Это—ближайшая предвозвѣстница Елены.

Ю. Николаевъ.

Дѣйствующія лица «Наканунѣ» въ отдѣльности.

Елена.

*) Удивительная, славная дѣвушка эта Елена, выросшая, подобно героинѣ „Дворянскаго гнѣзда“, Богъ знаетъ на какой почвѣ, въ какомъ семействѣ, уродившаяся ни въ мать ни въ отца. Подобныя явленія только на Руси бываютъ, и мы не знаемъ какъ и объяснить ихъ. Отецъ — пустѣйшій и вздорный болтунъ, забывающій жену для вдовы нѣмецкаго происхожденія, домъ — для клуба. Мать, всегда склонная къ волненію и грусти, всегда больная и капризная, съ пансіонскими мечтами на старости лѣтъ (Шубинъ назоветъ ее курицей), еще меньше отца могла имѣть вліяніе на развитіе дочери. Оставленная на свободѣ, она развернулась роскошнымъ поэтическимъ цвѣткомъ, созданіемъ воль-

*) „Русское Слово“ 1860 г., № 5. Статья П. К—аго.

нымъ и полнымъ, и не ея вина, если она охладѣла и къ отцу и къ матери. Впечатлѣнія ложились глубоко къ ней въ душу. „Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала, требованія ея ни передъ чѣмъ не отступали, самыя молитвы не разъ мѣшались съ укоромъ. Стоило человѣку потерять ея уваженіе, — а судъ произносила она скоро, — и ужъ онъ переставалъ существовать для нея". Безъ подругъ и безъ этой пошлой обстановки, которая дѣлаетъ русскую дѣвушку „барышней", нарядной куклой, а жизнь ея мелкою и ничтожною, она жаждала не нарядовъ и праздниковъ, какъ всѣ, а дѣятельнаго добра; нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили. Всѣ притѣсненныя животныя, находили въ ней покровительство и защиту. На десятомъ году она познакомилась съ нищей дѣвочкой Катей и прислушивалась къ ея разсказамъ, и потомъ хотѣлось ей надѣть сумку, убѣжать съ Катей и скитаться по дорогамъ. Безъ внѣшняго шума, безъ внѣшнихъ волненій, жизнь ея перегорала во внутренней тревогѣ, одинокою, никому не слышною борьбою. „Ея душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки не было; никто не стѣснялъ ее, никто не удерживалъ, а она рвалась и томилась.... Все, что окружало ее, казалось ей не то безсмысленнымъ, не то непонятнымъ. Какъ жить безъ любви? а любить некого! думала она, и страшно становилось ей отъ этихъ думъ, отъ этихъ ощущеній"...

Елена стоитъ уже ступенью выше Лизаветы Михайловны въ „Дворянскомъ гнѣздѣ"; она не нашла себѣ выхода въ томъ квіетизмѣ, въ томъ византійскомъ міросозерцаніи, которымъ удовлетворялась героиня „Дворянскаго гнѣзда"; она ждала чего-то, жаждала, мучилась и страдала, плакала недоумѣвающими, но жгучими слезами. Такою является она передъ нами, когда встрѣча съ Инсаровымъ, на дачѣ въ Кунцевѣ, рѣшаетъ ея участь и опредѣляетъ окончательно ея жизнь.

Отрывки изъ дневника Елены указываютъ намъ то состояніе ея души, когда она познакомилась съ Инсаровымъ.

Состояніе это—дѣвушки, развитой духовно, которой только любовь даетъ послѣднее опредѣленіе. Все окружающее ее такъ пошло и ничтожно; привязаться ей не къ кому. Оттого у ней нѣтъ покоя, оттого ей грустно и томно, такъ что она завидуетъ пролетающимъ птицамъ. Ей некому протянуть руки; она спрашиваетъ себя, зачѣмъ у ней эта молодость, эта душа, зачѣмъ живетъ она. „Пошла бы куда-нибудь въ служанки, право: мнѣ было бы легче“, пишетъ она. Какъ могла бы она полюбить, какимъ бы могучимъ счастіемъ окружила она человѣка, выбраннаго душой ея. Она никогда не мыслила, не чувствовала въ половину. И вотъ наступаетъ для нея этотъ періодъ блаженства, эта долго жданная, долго призываемая любовь, и русская литература обогатилась нѣсколькими страницами такого блестящаго описанія страсти, страницами полными роскоши молодого и свѣжаго чувства, полными волшебнаго обаянія любви, какія рѣдко случалось перечитывать намъ доселѣ. Весеннимъ благоуханіемъ вѣетъ со страницъ этихъ, и счастливо общество, въ которомъ посреди нестройныхъ звуковъ и формъ неуяснившейся, полу-дикой дѣйствительности раздаются подобные гармоническіе звуки, возникаютъ такіе ясные, роскошные образы.

Кому же отдалась эта дѣвушка, эта чуткая душа, какъ называетъ ее Шубинъ, отдалась вполнѣ и безраздѣльно? Кто этотъ счастливецъ, вырвавшій ее изъ пошлаго міра, ее окружающаго? Чѣмъ увлекъ онъ ее, чѣмъ соблазнилъ ее? Четырехъ молодыхъ людей выставляетъ авторъ претендентами сердца Елены. Каждый изъ нихъ и благороденъ, и чистъ, и достоинъ всякаго сердца женскаго, но одинъ изъ нихъ выше остальныхъ трехъ. Чѣмъ же онъ выше? Что это за новый идеалъ, волнующій сердце дѣвушки? Чѣмъ онъ достойнѣе остальныхъ извѣстныхъ и знакомыхъ намъ личностей, которыя не разъ г. Тургеневъ подвергалъ безпощадному анализу, гдѣ соединялась тонкая ироніа съ грустнымъ сожалѣніемъ?

Изъ „Русскаго Слова“. Статья Н. К--аго

* * *

*) По словамъ г. Авдѣева, Елена уже переступила за черту хозяйки, жены или любовницы; она полюбила Инсарова за то, что онъ былъ человѣкъ дѣла. „Она, продолжаетъ г. Авдѣевъ,—отдалась вполнѣ беззавѣтно не только ему, но и его дѣлу: когда Инсаровъ умираетъ—она слѣпо идетъ по пути, по которому онъ думалъ идти съ ней. Она не думаетъ о томъ, что этотъ путь ей совершенно темепъ, почти непзвѣстенъ, что она могла идти по немъ, только опираясь на опытную руку, и что есть другіе подобные пути болѣе ей сподручные, близкіе, на которыхъ она могла бы дѣйствовать самостоятельнѣе и сознательнѣе: она остается слѣпо вѣрна дѣлу своего возлюбленнаго, и вся отдается ему. Нужды нѣтъ, что мысль сю выражаемая не нова, что и сама Елена напоминаетъ намъ тѣхъ русскихъ женщинъ доопѣгинской эпохи, которыя оставили имена свои не въ литературѣ, лишенной возможности рисовать ихъ образы,—женщинъ, которыя тоже вырывались изъ узкой рамы хозяйки и любовницы, и шли за своими избранными далеко дальше теплыхъ стѣнъ семейной жизни. Образъ Елены является намъ отраднымъ явленіемъ уже потому, что, послѣ долгаго пути упадка и медленнаго возстановленія, мы видимъ русскую мысль снова на томъ уровнѣ развитія, до котораго она доходила во времена наиболѣе благопріятныя для ея развитія, что за этимъ переваломъ мы имѣли право надѣяться на дальнѣйшія и совершенно новыя въ русской жизни шаги женскаго развитія. И надежды эти оправдались: не даромъ романъ, въ которомъ явилась Елена, называется „Накануѣ“.

М. Авдѣевъ.

* * *

**) Если въ лицѣ Инсарова видимъ мы тутъ человѣка, уже прямо противоположнаго Рудину, то человѣкъ этотъ не русскій, а болгаринъ. Между тѣмъ Елена—русская,

*) „Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы“.

**) О. Миллеръ. „Объ общественныхъ типахъ въ повѣстяхъ Тургенева“. „Бесѣда“ 1871 г., № 11. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

она какъ бы первая изъ новаго поколѣнія русскихъ женщинъ, далеко опередившаго русскихъ мужчинъ. Какимъ путемъ, подъ какими впечатлѣніями и вліяніями, въ силу какой внутренней, самородной работы могла сложиться эта удивительная натура, этого, къ сожалѣнію, не касается нашъ сочинитель. Онъ просто говоритъ, что Елена уже съ самаго дѣтства „жаждала дѣятельности, дѣятельнаго добра. Нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили, она видѣла ихъ во снѣ... Всѣ притѣсненныя животныя находили въ Еленѣ покровительство и защиту“... Вспомните ея нѣжную дружбу съ нищей дѣвочкой Катей. При такомъ направленіи совершенно понятно, что „одно чтеніе не удовлетворяло Елену“. Между тѣмъ самые умные люди вокругъ нея—не забудьте, что это было въ самомъ началѣ пятидесятыхъ годовъ—еще вполнѣ удовлетворялись чтеніемъ, однимъ только чтеніемъ. Не отъ того-ли Еленѣ и приходило иногда въ голову, что она „желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи“?...

О. Миллеръ.

* * *

*) Г. Тургеневъ принадлежитъ къ небольшому числу тѣхъ избранныхъ, чуткихъ натуръ, въ которыхъ находятъ себѣ живой отголосокъ всѣ лучшія стремленія развивающагося русскаго общества и въ которыхъ эти стремленія, даже едва-замѣтно пробивающіяся въ дѣйствительности, отражаются болѣе полными, болѣе яркими и послѣдовательными образами. Я не знаю, сдѣлаетъ-ли хотъ одна изъ нашихъ дѣвицъ *именно* то, что дѣлаетъ Елена въ романѣ г. Тургенева, побѣжитъ-ли въ чужую сторону за какимъ-нибудь студентомъ освобождать Болгарію; но мысль, что назначеніе женской любви заключается въ томъ, чтобъ сочувствовать идеямъ любимаго человѣка и служить ему утѣшительной опорой на пути, ведущемъ къ избранной имъ

*) П. Баскаковъ. „Отечественныя Записки“ 1860 г., № 5.

цѣли, эта мысль уже не исключительная фантазія немногихъ горячихъ головъ, но почти общее убѣжденіе всего молодого поколѣнія нашихъ женщинъ. По крайней мѣрѣ, серьезныя женщины не понимаютъ уже любви безъ раздѣленія принциповъ и убѣжденій того, кого любишь. Та ступень общественнаго развитія, на которой для женщины въ будущемъ ея мужъ стояла на первомъ планѣ наружность, мундиръ, чинъ, богатство—уже пережита нами, и теперь осталась достояніемъ однихъ неразвитыхъ женщинъ; да и тѣ уже совѣстятся признаться явно, что онѣ идутъ замужъ за мундиръ, за деньги и т. п. Для того, чтобъ стать подругой человѣка на всю жизнь, сдѣлалось необходимо нравственное побужденіе, душевное сочувствіе тому, что этотъ человѣкъ дѣлаетъ, для чего онъ живетъ. Но какъ скоро женщина пришла къ этому серьезному взгляду на замужество, она непремѣнно придетъ и къ слѣдующему, болѣе общему и еще болѣе серьезному вопросу: *чему-же сочувствовать? для чего жить?* Отвѣтъ на этотъ вопросъ заключается для женщины въ личности того человѣка, котораго она, наконецъ, полюбитъ...

Въ Еленѣ Николаевнѣ Стаховой представляетъ намъ г. Тургеневъ именно такую дѣвушку, которой нравственныя требованія уже не удовлетворяются тѣмъ, что даетъ русское общество въ его современномъ состояніи (дѣло идетъ о такъ-называемомъ образованномъ русскомъ обществѣ)... Наука, искусство, жизнь по Гегелю—повергаютъ себя поочередно къ стопамъ Елены; всѣ несутъ ей дань обожанія въ лицѣ, можно сказать, благороднѣйшихъ своихъ представителей: молодой художникъ Шубинъ, молодой ученый Берсеневъ, практикъ и юристъ Курнатовскій—одинъ за другимъ влюбляются въ Елену, и каждый изъ нихъ счелъ-бы счастливымъ, если бъ она согласилась быть его спутницей въ жизни. Но ей не нравится ни художникъ Шубинъ, ни ученый Берсеневъ, ни дѣлецъ Курнатовскій; она понимаетъ и цѣнитъ ихъ достоинства; Шубина и Берсенева даже любитъ, какъ братьевъ, но ни за одного изъ нихъ не пойдетъ: она чувствуетъ, что все это—не то, а между тѣмъ всѣ

они изъ лучшихъ, изъ передовыхъ людей нашего образованнаго общества. Шубинъ—скульпторъ, съ положительнымъ талантомъ, будущая извѣстность; *) Берсеневъ—скромный, прилежный молодой человѣкъ, будущій профессоръ исторіи; наконецъ, Курнатовскій—дѣльный секретарь въ сенатѣ, усердный, честный чиновникъ. Спрашивается: что же нужно Еленѣ, если ее не удовлетворяютъ ни наше искусство, ни наша наука, ни наша жизнь гражданская, являющіяся передъ ней—замѣтьте—въ лучшихъ своихъ представителяхъ или, по-крайней мѣрѣ, въ такихъ, которыхъ авторъ желалъ, чтобъ мы считали лучшими представителями современнаго общества? и почему все это ее не удовлетворяетъ?

Сначала Елена сама не могла понять, отчего это происходитъ. „Все, что окружало ее, казалось ей не то безсмысленнымъ, не то непонятнымъ“, говоритъ за нее авторъ: „какъ жить безъ любви? а любить некого! думала она. Иногда ей приходило въ голову, что она желаетъ чего-то, чего никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи“. Но это смутное желаніе не складывалось въ опредѣленную мысль; ея мысли были ей самой неясны. Нужно, чтобъ явился человѣкъ, который бы удостоился ея сочувствія: тогда само-собою сдѣлалось бы яснымъ, почему она не могла сочувствовать всему тому, что не онъ.

Въ Россіи такого человѣка не оказалось. Только иностранецъ могъ показать Еленѣ, каковы должны быть настоящіе люди. Къ счастью, такой иностранецъ нашелся. Все то, что инстинктивно и смутно до сихъ-поръ только снилось Еленѣ, предстало передъ ней въ лицѣ Инсарова вылитымъ въ положительный образъ, и этотъ образъ приковалъ ее къ себѣ на вѣки. Что жъ такое *нашла* Елена особеннаго въ Инсаровѣ—такого, о чемъ никто не мыслитъ въ цѣлой Россіи?

Ей понравилась *его прямота и непринужденность;* ей

*) Это еще вопросъ: желалъ-ли авторъ въ поверхностномъ Шубинѣ представить истиннаго художника?

Примѣч. редакц. «Отеч. Записокъ».

понравилась *твердость его воли и упорное преслѣдованіе своей цѣли*; понравилась *самая цѣль—освобожденіе своей угнетенной родины*, *цѣль* простая, ясная; понравилось и то, что это была цѣль, поставленная не личнымъ капризомъ фантазіи, а общая Инсарову съ послѣднимъ мужикомъ, съ послѣднимъ нищимъ въ Болгаріи. Дѣятельность съ такой прекрасной цѣлью и должна была понравиться Еленѣ, потому что въ ней она увидѣла простое исполненіе той мечты, которая постоянно не давала ей покоя. „Съ дѣтскихъ лѣтъ (говоритъ г. Тургеневъ) она жаждала дѣятельности, дѣятельности добра". Она воспитывала заброшенныхъ собакъ и кошекъ, подавала щедро милостыню, но все это казалось ей ничтожнымъ. Въ дневникѣ своемъ она писала: „О, еслибъ мнѣ кто-нибудь сказалъ: вотъ что ты должна дѣлать. Быть доброю, этого мало; дѣлать добро... да; это главное въ жизни. Но какъ дѣлать добро?" Въ Инсаровѣ Елена увидѣла, что надобно дѣлать и какъ. Инсаровъ отнялъ ее у Шубина, у Берсенева, у Курнатовскаго, у всей Россіи, и увлекъ ее за собой въ Болгарію... Она—центръ, около котораго вертятся всѣ пружины романа. На нее положилъ авторъ всего болѣе труда; ея личность постарался онъ отдѣлать съ наибольшей отчетливостью. Вездѣ *она* на первомъ планѣ. Мы знаемъ ея жизнь почти съ колыбели; мы видимъ, что было вложено въ нее натурой, что развилось первыми впечатлѣніями ея дѣтства, чему помогло развиться отсутствіе воспитательной ферулы. Любовь къ правдѣ, общая всѣмъ дѣтямъ и заглушаемая только впослѣдствіи всякими неправдами, сросшимися съ нашей перепорченной жизнью, растетъ въ Еленѣ передъ нашими глазами; тѣсно съ нею связанное отвращеніе ко всякой лжи, нестѣсняемое никакими одуряющими наставленіями; жизнь наединѣ съ собой, и вмѣстѣ съ нею вырабатывающійся серьезный взглядъ на жизнь; жажда жизни со смысломъ и инстинктивное угадыванье этого смысла—сначала только отрицательное, а потомъ, съ появленіемъ Инсарова, положительное, и, наконецъ, радостное успокоеніе въ любви къ человѣку, поставившему себѣ задачей жизни простое, но великое, народное дѣло къ чело-

вѣку, связанному съ своей землей и живущему только ея счастьемъ—вотъ въ короткихъ словахъ рамка той занимательной исторіи, которая составляетъ содержаніе романа.

Въ какомъ отношеніи Елена Стахова находится къ нашей русской дѣятельности? Возможны-ли въ ней теперь такія женщины? Иные говорятъ, что возможность созданія Елены въ поэзіи доказываетъ возможность такихъ женщинъ и въ дѣйствительной жизни. Это что-то хитро. Развѣ мы не видали въ нашей литературѣ идеаловъ, вычитанныхъ въ чужихъ литературахъ или выдуманныхъ разстроеннымъ воображеніемъ? Развѣ Улинька Гоголя мыслима въ дѣйствительности, а, вѣдь, создалась-же она у него какъ-то въ фантазіи. Впрочемъ, для Елены г. Тургенева не нужно прибѣгать ни къ игрѣ словъ ни къ натяжкамъ. Что идеалъ нашего поколѣнія—гражданинъ своей земли, это было высказано не разъ и прежде г. Тургенева, а такъ какъ среди всякаго поколѣнія мужчинъ непремѣнно есть женщины, на столько развитыя, чтобъ сочувствовать его идеалу, то возможность становится понятна сама собою.

Несомнѣнно то, что такая женщина, какъ Елена, въ первый разъ является въ нашей литературѣ. Любовь Елены—это самое чистое, самое благородное проявленіе чувства любви, какое только мы можемъ себѣ представить. Это — полная, глубокая преданность любимому человѣку, полное раздѣленіе его надеждъ и стремленій, это бракъ въ истинномъ смыслѣ слова...

Проникнуться сознательнымъ уваженіемъ къ идеѣ, потомъ полюбить эту идею сердцемъ, встрѣтивъ ея олицетвореніе въ живомъ человѣкѣ, и, соединивъ свою судьбу съ судьбой этого человѣка, идти во слѣдъ за нимъ, куда поведетъ его эта идея, раздѣляя съ нимъ всѣ бури и невзгоды — да это такъ возвышенно, такъ нравственно, что могло быть поставленно за образецъ и основаніе всякому браку.

Къ сожалѣнію, проявленіе этой высокой любви такъ же мало развито на дѣлѣ, какъ проявленіе патріотическихъ плановъ самого Инсарова. Г. Тургеневъ, какъ будто на-

рочно избѣгаетъ той минуты, когда его героямъ настаетъ пора дѣйствовать и приводить въ исполненіе то, о чемъ они такъ прекрасно говорятъ. Конечно, Елена дѣлаетъ рѣшительный шагъ, когда высказываетъ готовность бѣжать съ Инсаровымъ, и—если бъ она это сдѣлала—мы, можетъ быть, имѣли-бы случай посмотрѣть, какъ-бы она „тамъ, между чужими, стала отставать отъ своихъ привычекъ, работать“ и такъ далѣе. Но авторъ улаживаетъ все это проще: родители Елены узнаютъ, что она тайно обвѣнчалась съ Инсаровымъ и, послѣ обычныхъ упрековъ, дѣло оканчивается благополучно. Мать снабжаетъ Елену деньгами, и Инсаровы путешествуютъ въ довольствѣ и спокойствіи, катаются въ гондолѣ, ѣздятъ въ театръ и т. п. Труды, лишенія, борьба—все это осталось на словахъ.

Жизнь—дѣло грубое, а талантъ г. Тургенева въ высшей степени деликатенъ, и притомъ онъ по преимуществу лирическій. Его дѣло — внутренній міръ души, тонкій анализъ чувствованій, красоты природы. И г. Тургеневъ знаетъ, въ чемъ его сила. Уклоненіе отъ всякихъ сценъ, гдѣ должна выйти на арену борьба живыхъ силъ, это намѣренное уклоненіе, замѣчаемое не въ одномъ „Наканунѣ,“ но и во всѣхъ другихъ его произведеніяхъ, есть не ошибка съ его стороны, а признакъ глубокаго художническаго такта.

П. Басистовъ.

* * *

*) Въ „Наканунѣ“ главное лицо — Елена. Въ ней сказалась та смутная тоска по чемъ-то, та почти безсознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новыхъ людей, которая охватываетъ теперь все русское общество, и даже не одно только такъ называемое образованное... Сочувствіе Елены, такой дѣвушки, какъ мы ее понимаемъ, не могло обратиться на русскаго человѣка съ тѣмъ правомъ, съ той естественностію, какъ обратилось оно на

*) Н. Добролюбовъ. „Современникъ“ 1860 г., № 3. Также Сочиненія Добролюбова, т. 3.

этого болгара. Все обаяніе Инсарова заключается въ величіи и святости той идеи, которою проникнуто все его существо. Елена, жаждущая дѣятельнаго добра, но не знающая, какъ его дѣлать, мгновенно и глубоко поражается, еще не видавши Инсарова, разсказомъ о его замыслахъ. „Освободить свою родину, говоритъ она:—эти слова и выговорить страшно—такъ они велики!“ И она чувствуетъ, что слово ея сердца найдено, что она удовлетворена, что выше этой цѣли нельзя поставить себѣ, и что на всю жизнь ея, на всю ея будущность достаетъ дѣятельнаго содержанія, если только она пойдетъ за этимъ человѣкомъ...

По тому, какъ задуманъ характеръ Елены, — она представляетъ явленіе исключительное, и если-бы на самомъ дѣлѣ она являлась вездѣ выразительницею своихъ воззрѣній и стремленій,—она-бы оказалась чуждою русскому обществу и не имѣла-бы для насъ такого смысла, какъ теперь. Она была бы лицомъ сочиненнымъ, растеніемъ, неудачно пересаженнымъ на нашу почву откуда-нибудь изъ другой земли. Но вѣрное чутье дѣйствительности не позволило г. Тургеневу придать своей героинѣ полнаго соотвѣтствія практической дѣятельности съ теоретическими ея понятіями и внутренними порывами души... Во всей повѣсти нѣтъ ни одного случая, гдѣ-бы жажда дѣятельнаго добра заставила Елену вмѣшаться въ дѣла окружающей ее среды и проявить чѣмъ-нибудь свое вліяніе. Мы не думаемъ, чтобъ это зависѣло отъ случайной ошибки автора; нѣтъ, въ нашемъ обществѣ еще очень недавно, да и не между женщинами, а изъ среды мужчинъ, возвышался и блисталъ особенный типъ людей, гордившихся своимъ устраненіемъ отъ окружающей ихъ среды... Впрочемъ, безсиліе Елены приданъ въ повѣсти особенный мотивъ, вытекающій изъ ея женственнаго, гуманнаго чувства: она боится всякихъ столкновеній,—не по недостатку мужества, а изъ опасенія нанести кому-нибудь оскорбленіе и вредъ.

Н. Добролюбовъ.

* * *

*) Елена раздражена мелкостью тѣхъ людей и интересовъ, съ которыми ей приходится имѣть дѣло каждый день. Она умнѣе своей матери, умнѣе и честнѣе и отца, умнѣе и глубже всѣхъ гувернантокъ, занимавшихся ея воспитаніемъ, она раздражена и не удовлетворена тѣмъ, что даетъ ей жизнь; она съ сознаннымъ негодованіемъ отвертывается отъ дѣйствительности, но она слишкомъ молода и женственна, чтобы стать къ этой дѣйствительности въ трезвыя отрицательныя отношенія. Ея недовольство дѣйствительностью выражается въ томъ, что она ищетъ лучшаго, и, не находя этого лучшаго, уходитъ въ міръ фантазіи, начинаетъ жить воображеніемъ. Это болѣзненное состояніе; когда воображеніе забѣгаетъ впередъ, когда начинается сооруженіе идеала и потомъ бѣганіе за нимъ, тогда живыя силы уходятъ на безплодные поиски и попытки, и жизнь проходитъ въ какомъ-то тревожномъ безпредметномъ, смутномъ ожиданіи. Елена все мечтаетъ *о чемъ-то*, все хочетъ *что-то* сдѣлать, все ищетъ *какого-то* героя; мечты ея не приходятъ и не могутъ придти въ ясность, именно потому, что это мечты, а не мысли; она не критикуетъ нашей жизни, не всматривается въ ея недостатки, а просто отворачивается отъ нея и хочетъ выдумать себѣ жизнь... Я не осуждаю Елену въ томъ, что она мечтаетъ; я бы не осудилъ человѣка, схватившаго сильнѣйшій простудный кашель, я бы сказалъ только, что онъ боленъ; точно также я говорю и доказываю самой Еленѣ, что она больна, и что она ошибается, если считаетъ себя здоровою. Въ этомъ отношеніи ошибается вмѣстѣ съ нею самъ Тургеневъ; онъ глазами психически больной Елены смотритъ на дѣйствующія лица своего романа; оттого онъ вмѣстѣ съ Еленою ищетъ героевъ; оттого онъ вмѣстѣ съ нею бракуетъ Шубина и Берсенева; оттого онъ выписываетъ изъ Болгаріи невозможнаго и ни на что ненужнаго Инсарова. Елена и, вмѣстѣ съ нею, Тургеневъ не удовлетворяются обыкновенными, человѣческими размѣ-

*) Д. Писаревъ. „Русское Слово“ 1861 г., № 12. Также сочиненія Писарева.

рами личностей; все это мелко, все это обыкновенно, все это пошло, давай имъ аффекта, колоссальности, геропзма. Жить скверно, говорятъ Тургеневъ и Елена; согласенъ; жить скверно потому, что люди скверны; несогласенъ! Отношенія между людьми ненормальны, это такъ, а люди ни въ чемъ не виноваты, потому что передѣлать отношенія, затвердѣвшія отъ десяти-вѣковой исторической жизни, и передѣлать ихъ тогда, когда еще очень не многіе начали сознавать ихъ неудобства—это, воля ваша, мудрено. Если несется шестерня бѣшеныхъ лошадей, то я никакъ не рѣшусь называть мелкими трусами всѣхъ тѣхъ людей, которые будутъ уклоняться въ сторону и давать имъ дорогу. Инстинктъ самосохраненія и трусость—двѣ вещи разныя. Ставить самоотверженіе въ число необходимыхъ добродѣтелей, обязательныхъ для всякаго человѣка, можетъ только мечтательная дѣвушка Елена Николаевна Стахова, да замечтавшійся до забвенія дѣйствительности художникъ, Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

Д. Писаревъ.

* * *

*) Повѣстью „Наканунѣ“ восхищались не со стороны эстетической, а по сочувствію къ героинѣ повѣсти. Елена выразила собою, говорили женщины, ту жажду благотворной дѣятельности, которая снѣдаетъ проснувшееся общество. Русская женщина призвана стать во главѣ общественнаго движенія и вести за собою другихъ. Нѣкоторые даже замѣтили послѣ появленія повѣсти перемѣну въ своихъ знакомыхъ, у нихъ какъ то прибавилось гонору, они точно выросли на вершокъ.

Мы съ своей стороны совершенно согласны, что Елена прекрасно выразила собою черты современнаго движенія женщинъ, но движенія плохо осмысленнаго, не понятаго, движенія съ руками, полными всякимъ хламомъ. Мы это сейчасъ докажемъ. Въ ней восхищались болѣе всего го-

*) „Современникъ“ 1862 г., № 5. Статья А. О.

товностью покинуть семью и обезпеченную, спокойную жизнь, и промѣнять ее на трудную и безпокойную жизнь въ Болгаріи. Но въ этомъ еще нѣтъ ровно никакого геройства; это достоинство отрицательное. Она не видѣла любви къ себѣ въ домашнихъ, и ничто не привязывало ее къ отцу и матери, связь между ними была давно прервана,— скажемъ болѣе, ей становилось тяжело жить съ плаксой матерью и безпокойнымъ отцомъ. А впереди ей видѣлась жизнь съ любимымъ человѣкомъ. Промѣнять общество родныхъ на общество Инсарова можно было смѣло, не затрудняясь въ выборѣ. Эта рѣшимость, конечно, очень замѣчательная. На нее рѣшатся не всѣ, и пойти противъ обычая не всякая можетъ; но, вѣдь, и судъ неправый творятъ очень многіе, и не возводить же на пьедесталъ тѣхъ, кто не дѣлаетъ этого. Но въ этомъ шагѣ Елены есть еще другая сторона, въ немъ сказалась дѣятельная натура. Дѣйствительно, натура Елены была не изъ сонливыхъ—это доказываетъ ея рѣшимость оставить родительскій домъ,— но то-то и бѣда, что это энергія односторонняя, и что она разрѣшилась тѣмъ, что Елена кончила свое дѣятельное поприще въ Болгаріи сидѣлкою, сестрой милосердія. Такой исходъ можно было предвидѣть, если бъ хорошенько разсмотрѣть ея жизнь до встрѣчи съ Инсаровымъ. Она была добра, любила человѣка, какъ увѣряютъ нѣкоторые, въ ней кипѣла молодая кровь,— что же мѣшало ей, не ожидая долго героя Инсарова, заняться въ пользу тѣхъ, кто былъ подъ рукою. А дома было что дѣлать: тамъ Шубинъ чахъ отъ пустоты, тамъ Берсеневъ дѣлался суше да суше. Она часто видѣлась съ ними, пользовалась вѣсомъ въ ихъ глазахъ, и могла бы, если бъ умѣла да хотѣла, своимъ словомъ заставить Шубина всмотрѣться въ себя, научить Берсенева, что отъ его науки проку не будетъ, если онъ не выйдетъ изъ кабинета на свѣтъ Божій. А Елена, при всей своей любви къ человѣчеству, при всей жаждѣ дѣятельности, сидѣла сложа руки, скучала, спасала мухъ отъ пауковъ, кормила кошекъ и отчасти злобствовала. Въ чемъ же тутъ проявилась дѣятельная натура Елены?

Мы не отнимаемъ у нея ни твердости характера ни стремленій, и видимъ очень хорошо, что Елена хотѣла дѣлать что-нибудь, что ей нужна была работа, что она отъ пауковъ кидалась къ нищенкѣ, а отъ нищенки къ Берсеневу. Да, вѣдь, это работа не осмыслена, сводится на экзальтацію. Но, наконецъ, Елена успокоилась, опредѣлила къ чему стремилась, увидѣла, что ей нужна дѣятельность болѣе разумная и полезная для братьевъ. Такъ; но развѣ Берсеневъ и Шубинъ не братья, и если въ Еленѣ были задатки любви къ человѣку вообще, то зачѣмъ же она оттолкнула отъ себя Шубина и постоянно глумилась надъ нимъ?

Люди, въ самомъ дѣлѣ желающіе добра своимъ братьямъ, не останавливаются за мелочностью проявленія любви. Цѣль жизни не мѣшаетъ работать по дорогѣ, гдѣ только можно и какъ только можно. Задать себѣ извѣстный урокъ и ждать, когда сложатся выгодныя для дѣла обстоятельства, не трудно, если въ это время не ворочать обстоятельствъ, не ускорять благопріятныхъ условій прихода. Елена не занималась Шубинымъ и не проявляла своей натуры до прихода Инсарова. Значитъ, любовь къ Инсарову побудила ее идти въ Болгарію. Не приди Инсаровъ, Елена такъ бы и жила въ Москвѣ, покровительствуя бѣднымъ кошечкамъ и мушкамъ, и не удовлетворила бы своихъ стремленій, потому что не нашла бы дѣятельности въ скромной обстановкѣ нашей незатѣйливой жизни; она именно хотѣла оказать услугу, но не людямъ, а народу, и услугу притомъ громадную. Иначе зачѣмъ бы ей было ходить въ Болгарію; вѣдь, и у насъ тоже есть что дѣлать. Елена или не понимала, видно, этихъ явленій или, видя ихъ, не скорбѣла, и считала такую сферу дѣйствій пестоющею, и искала большаго. Она съ радостью бросилась за Инсаровымъ спасать его родину, его угнетенныхъ собратій. Здѣсь цѣль видна сразу, осязательна. Но умеръ Инсаровъ—и Елена уже не спасаетъ отечества, а спускается на степень доброй и заботливой сестры, ходящей за больными, дѣятельность которой не требуетъ большой кипучести натуры. Этотъ обо-

ротъ немного страненъ только на первый взглядъ, но онъ легко объясняется тѣмъ, что Елена любила Инсарова, а не людей, увлеклась его геройствомъ, и шла за нимъ все равно куда бы то ни было, на битву или на покой. Страстность и энергичность Елены была цѣликомъ отдана Инсарову, она шла за Инсаровымъ пассивно, и искать въ ней общественную дѣятельность не стоитъ. А между тѣмъ, общество нашло въ ней что-то фатальное, какъ выразилась бы Елена, величественное. Оно сочло Елену непогрѣшимымъ существомъ, и не хотѣло посмотрѣть ее поближе. Нѣкоторое превосходство Елены передъ другими закупило этихъ другихъ, подавило ихъ. Онѣ видѣли только, что она приняла участіе въ серьезномъ дѣлѣ, а какъ, по какому поводу?—этого не хотѣли видѣть.

Въ Еленѣ есть еще черта, какъ-то дурно гармонирующая съ искреннимъ и осмысленнымъ желаніемъ дѣлать дѣло. Она какъ-то щепетильна, пикантна, она не разсталась со взглядами барышень.

Вслушайтесь, напримѣръ, въ слѣдующія фразы Елены. Елена наслушалась разсказовъ Берсенева объ Инсаровѣ, и въ ея воображеніи нарисовался образъ человѣка, способнаго на такой великій подвигъ, какъ освобожденіе родины. На лицѣ его написано благородство и отвага, и, главное, онъ хорошъ собою. Встрѣтила она Инсарова и разочаровалась.

„Инсаровъ дѣйствительно произвелъ на Елену меньше впечатлѣнія, чѣмъ она сама ожидала, или, говоря точнѣе, онъ произвелъ на нее *не то впечатлѣніе, котораго ожидала она*. Ей понравилась его прямота и непринужденность,—и лицо его ей понравилось; но все существо Инсарова, *спокойно твердое и обыденно-простое* какъ-то *не ладилось съ тѣмъ образомъ, который составился у нея въ головѣ* отъ разсказовъ Берсенева. Елена, сама того не подозрѣвая, ожидала чего то болѣе „фатальнаго“. Но, думала она, онъ сегодня говорилъ очень мало, я сама виновата, я не распрашивала его; подождемъ до другого раза... а глаза у него выразительные, честные глаза. Она чувствовала, что

ей не преклониться передъ нимъ хотѣлось, а подать ему дружески руку, и она недоумѣвала: *не такими воображала она себѣ* людей, подобныхъ Инсарову, *„героевъ“*. Разочарованіе это идетъ далѣе; оказывается, что у него вовсе нѣтъ изящныхъ манеръ.

„Долго не забуду я вчерашней поѣздки. Какія странныя, новыя, страшныя впечатлѣнія! Когда онъ вдругъ взялъ этого великана и швырнулъ его, какъ мячикъ, въ воду, я не испугалась... но онъ меня испугалъ. И потомъ—*какое лицо зловѣщее, почти жестокое!* Какъ онъ сказалъ: выплыветъ! Это меня перевернуло. *Стало быть, я его не понимала.* И потомъ, когда всѣ смѣялись, когда я смѣялась, какъ мнѣ было больно за него! Онъ стыдился, я это чувствовала, *онъ меня стыдился.* Онъ мнѣ это сказалъ потомъ, въ каретѣ, въ темнотѣ, когда я старалась его разглядѣть и боялась его. Да, съ нимъ шутить нельзя, и заступиться онъ умѣетъ. *Но къ чему же эта злоба, эти дрожащія губы, этотъ ядъ въ глазахъ?* Или, можетъ быть, иначе нельзя? Нельзя *быть* мужчиной, *бойцомъ*, и остаться *кроткимъ и мягкимъ?* Жизнь дѣло грубое, сказалъ онъ мнѣ недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу; онъ не согласился съ Д. Кто изъ нихъ правъ? А какъ начался этотъ день! Какъ мнѣ хорошо идти съ нимъ рядомъ, *даже молча*... Но я рада тому, что случилось. Видно, такъ слѣдовало“...

Она ждала, что такая личность поступитъ отмѣнно хорошо, что онъ не забудется въ обществѣ дамъ, совладаетъ съ собою, сдѣлаетъ все какъ нибудь политично, и, въ заключеніе, какъ рыцарь, предложитъ ей свою руку и заведетъ съ нею „пріятный“ разговоръ. И вдругъ злоба въ лицѣ, энергія выраженія, крутая расправа — совсѣмъ не хорошія манеры!

Разговоръ Елены съ Берсеневымъ объ отлучившемся Инсаровѣ еще лучше.

„Вообразите себѣ, началъ онъ съ принужденной улыбкой: —нашъ Инсаровъ пропалъ“.

— Какъ пропалъ? проговорила Елена.

— Пропалъ. Третьяго дня вечеромъ ушелъ куда-то, и съ тѣхъ поръ его нѣтъ.

— Онъ не сказалъ вамъ, куда онъ пошелъ?

— Нѣтъ.

Елена опустилась на стулъ.

— Онъ, вѣроятно, въ Москву отправился, промолвила она, стараясь казаться равнодушной и въ то же время сама дивясь тому, что она старается казаться равнодушной.

— Не думаю, возразилъ Берсеневъ. — Онъ ушелъ не одинъ.

— Съ кѣмъ же?

— Къ нему третьяго дня, передъ обѣдомъ, явились два какихъ-то человѣка, должно быть, его соотечественники.

„— Болгары? почему вы это думаете?

„— А потому что, сколько я могъ разслышать, они говорили съ нимъ на языкѣ, мнѣ неизвѣстномъ, на славянскомъ... Вотъ вы все находите, Елена Николаевна, что въ Инсаровѣ таинственнаго мало: ужъ на что таинственнѣе этого посѣщенія? Представьте: вошли къ нему—и ну кричать и спорить, да такъ дико, злобно... И онъ кричалъ.

„— И онъ?

„— И онъ кричалъ на нихъ. Они какъ будто жаловались другъ на друга. И если бы вы взглянули на этихъ посѣтителей! Лица смуглыя, широкоскулыя, тупыя, съ ястребиными носами, лѣтъ каждому за сорокъ, одѣты плохо, въ пыли, въ поту; съ виду ремесленники — не ремесленники, и не господа... Богъ знаетъ, что за люди.

„— И онъ съ ними отправился?

„— Съ ними. Накормилъ ихъ да ушелъ съ ними. Хозяйка мнѣ сказывала:—они вдвоемъ цѣлый огромный горшокъ каши съѣли. Такъ, говоритъ, въ перегонку и глотали, словно волки.

Елена слабо усмѣхнулась.

„— Вы увидите, промолвила она:—*все это разрѣшится чѣмъ нибудь очень прозаическимъ.*

„— Дай Богъ! Только напрасно вы употребили это

слово. Въ Инсаровѣ нѣтъ ничего прозаическаго, хотя Шубинъ и увѣряетъ...

„—Шубинъ! перебила Елена и пожала плечомъ. — *Но сознайтесь, что эти два господина, глотающіе кашу...*

„—И Ѳемистоклъ ѣлъ наканунѣ Саламинскаго сраженія, съ улыбкой замѣтилъ Берсеневъ.

„— Такъ; *но за то на другой день и было сраженіе.* А вы все-таки дайте мнѣ знать, когда онъ вернется, прибавила Елена и попыталась перемѣнить разговоръ, — но разговоръ не клеился“.

И такой образъ былъ причисленъ къ идеаламъ нашего времени, передъ нимъ поклонились; — эта черта многознаменательная и лучше всякихъ разсужденій рисуетъ недостатки нашей современности. Въ самомъ дѣлѣ, литература указала женщинамъ, что онѣ имѣютъ одинаковыя съ мужчинами права жизни: онѣ встрепенулись, поднялись и остановились на Еленѣ. Этотъ неудачный выборъ показываетъ, что мы еще не совсѣмъ выяснили себѣ, зачѣмъ все это дѣлается, для чего служитъ эта дѣятельность, что, обратясь къ ней, онѣ дѣйствовали болѣе сердцемъ. Дисгармонія уже даетъ себя чувствовать, она позволяетъ принять дѣятельность Елены за идеальную, считать ее личностью, достойною подражанія. Женщины наши сочли, что Елена удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ вѣка, и жестоко ошиблись.

Изъ „Современника“. Статья А. О.

* * *

*) Основной матеріалъ для компановки образа Елены Тургеневъ заимствовалъ въ значительной мѣрѣ изъ литературныхъ источниковъ, можетъ быть, всего больше изъ романовъ Жоржъ Сандъ, и только формальную сторону этого матеріала взялъ изъ родной дѣйствительности. Вслѣдствіе этого фигура Елены гораздо менѣе жива и закончена, гораздо менѣе заключаетъ въ себѣ плоти и крови, чѣмъ

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева.“ Спб. 1884 г.

другіе женскіе типы въ его романахъ, напримѣръ, Наташа въ „Рудинѣ“, Марья Павловна въ „Затишьѣ“, Лиза и Варвара Павловна въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“. И это выходитъ такъ, несмотря на то, что художникъ, очевидно, сосредоточилъ весь запасъ своихъ силъ, все свое великое искусство на обработку и возможно яркое и опредѣленное выясненіе и освѣщеніе образа Елены. Все, что только можетъ дать беллетристическая техника, пущено имъ въ ходъ: и біографическая характеристика, и дневникъ, и изобиліе страстныхъ романическихъ эпизодовъ и, для оттѣненія душевной глубины героини, рядомъ съ нею пустенькая фигура Зои. И однако, повторяю, Елена вытанцовывалась не совсѣмъ и ея обликъ, особенно съ самой существенной стороны—со стороны претензій на „дѣятельно-гражданское“ значеніе не достигъ живой опредѣленности. Это замѣтила въ свое время даже либеральная критика, этого не могла утаить она, несмотря на то, что утаиваніе въ писателѣ вещей, невыгодныхъ для подтвержденія ея стремленій, либеральной критикѣ было не въ диковинку: такое утаиваніе практиковалось ею очень часто и съ легкимъ сердцемъ. Какъ ни старается либеральная критика вознести Елену, но она невольно проговаривается, что Тургеневу не удалось придать своей героинѣ дѣятельность, сообразную съ ея внутренними теоретическими требованіями, и объясняетъ эту неудачу такъ: въ эпоху появленія романа „Наканунѣ“, „художественно создать“ такую дѣятельность было невозможно для русскаго писателя. „Не откуда было взять дѣятельности, и по неволѣ авторъ заставилъ свою героиню „дешевымъ образомъ“ проявлять свои высокія стремленія въ подачѣ милостыни, да въ спасеніи заброшенныхъ котятъ. За дѣятельность, требующую большаго напряженія и борьбы, она и не умѣетъ взяться, и боится приняться... Во всей повѣсти нѣтъ ни одного случая, гдѣ бы жажда дѣятельнаго добра заставила Елену вмѣшаться въ дѣло окружающей среды и проявить чѣмъ нибудь свое вліяніе“ *).

*) Добролюбовъ. „Когда же придетъ настоящій день“.

Либеральная критика, далѣе, старается объяснить очень хитро это отсутствіе дѣятельной силы въ героинѣ, по замыслу автора олицетворяющей русскую „гражданку“: „Мы не думаемъ, чтобы это зависѣло отъ случайной ошибки автора; нѣтъ, въ нашемъ обществѣ еще очень недавно, да и не между женщинами, а изъ среды мужчинъ, возвышался и блисталъ особенный типъ людей, гордившихся своимъ устраненіемъ отъ окружающей ихъ среды. „Тутъ невозможно сохранить себя чистымъ — говорили они, — и притомъ вся эта среда такъ мелка и пошла, что лучше удалиться отъ нея въ сторону“. И они точно удалялись, не сдѣлавъ ни одной попытки для исправленія этой пошлой среды, и удаленіе ихъ считалось единственнымъ честнымъ выходомъ изъ ихъ положенія, и прославлялось какъ подвигъ“. Елена, видите ли, при всѣхъ своихъ гражданскихъ томленіяхъ и порываніяхъ, слѣдуетъ примѣру этихъ милыхъ гражданъ, и отъ этого ничѣмъ себя активно не проявляетъ. Но не говоря уже о томъ, что поэтъ, и притомъ самый „гражданскій“, справедливо заклеймилъ логику „честныхъ“ господъ, не желавшихъ грязнить себя сношеніемъ съ средой, „логикой презрѣнной“,—героиня „Наканунѣ“ по самой сущности своей, несмотря на „гражданскія“ претензіи и сочувствія угнетеннымъ щенкамъ и нищимъ дѣвушкамъ, ничего не умѣетъ дѣлать, кромѣ какъ „отдаваться“ то возвышеннымъ мечтамъ, то герою своихъ мечтаній. Съ этой стороны она вызываетъ невольную улыбку и заставляетъ припоминать ироническій отзывъ о ней ея родителя, московскаго клубнаго дворянина Николая Артемьевича Стахова, который говорилъ: „Елену Николаевну я не понимаю, точно. Я для нея недовольно возвышенъ. Ея сердце такъ обширно, что обнимаетъ всю природу, до малѣйшаго таракана или лягушки, словомъ, все, за исключеніемъ родного отца. Ну, прекрасно, я это знаю, и ужъ не суюсь. Потому тутъ и нервы, и ученость, и „паренье въ небеса“. Дѣйствительно, въ характерѣ Елены встрѣчается много такого, что, при обыкновенномъ, здравомъ взглядѣ кажется нѣсколько смѣшнымъ. Если сопоставить неопредѣленность

активной стороны характера Елены, претензіи ея на подвиги съ самыми подвигами, то эта героиня оказывается не больше не меньше какъ обыкновенной барышней, нервическаго темперамента и мечтательнаго настроенія. Въ чемъ же, въ самомъ дѣлѣ, заключаются ея подвиги? Въ томъ, что она навязалась Инсарову, когда тотъ хотѣлъ уклониться отъ ея любви и при этомъ даже смѣшныя, ультраромантическія фразы откалывала въ родѣ: „А, ты хотѣлъ убѣжать отъ меня? Тебѣ не нужно было русской любви, болгаръ! Посмотримъ теперь, какъ ты отъ меня отдѣлаешься!“ Или въ томъ, что она изъ родительскаго дома бѣгала тайкомъ къ этому болгару, пригласила „взять“ себя, несмотря на то, что болгаръ былъ боленъ, потомъ тайкомъ же обвѣнчалась съ нимъ и потомъ поѣхала съ мужемъ въ Болгарію? Но, вѣдь, и всякая иная барышня, безъ малѣйшей гражданской закваски, сумѣла бы совершить первый подвигъ, какъ, напримѣръ, у Тургенева же совершила его Ася; что же касается до послѣдняго подвига — сопутствія мужу въ страну, гдѣ происходитъ война, такъ мало ли самыхъ простоватыхъ супругъ военныхъ докторовъ и интендантовъ сопутствовали своимъ супругамъ въ походахъ, и однакоже никто не провозглашалъ ихъ за это героинями-гражданками. Слѣдуетъ замѣтить еще вотъ что: несмотря на все искусство художника, приподнятость и дѣланность образа Елены сказывается въ нѣкоторомъ книжномъ фразерствѣ, вкладываемомъ въ ея уста авторомъ. Возьмите, напримѣръ, слѣдующія размышленія Елены: „О, Боже, зачѣмъ смерть, зачѣмъ разлука, болѣзнь, слезы? Или зачѣмъ эта красота, „это сладостное чувство надежды, зачѣмъ успокоительное сознаніе прочнаго убѣжища, неизмѣнной защиты, безсмертнаго покровительства? Что же значитъ это улыбающееся, благословляющее небо, эта счастливая, отдыхающая замля? Ужели это все только въ насъ, а внѣ насъ вѣчный холодъ и безмолвіе?“ Подобными книжно-философскими размышленіями можетъ проговариваться какая нибудь Жоржъ-Сандовская, или Шпильгагенская или Ауэрбаховская героиня; но въ устахъ русской героини подобныя

фразы кажутся неестественными. По крайней мѣрѣ, у другихъ женскихъ лицъ, созданныхъ Тургеневымъ съ большей жизненностью и съ полнымъ отсутствіемъ тенденціозности и аффектаціи, такихъ фразъ не встрѣчается. Изъ указанныхъ фальшивыхъ чертъ въ характерѣ Елены мы можемъ вывести такое общее заключеніе: образъ этой россійской гражданки былъ, такъ сказать, первой ласточкой, которая долженствовала, по замыслу художника, заявить о близости „гражданской“ весны въ развитіи нашей жизни. Ласточку по неволѣ пришлось Тургеневу вызвать изъ-за моря, т. е. слегка позанять ее изъ шедевровъ иностранной беллетристики, и только дать ей гнѣздо и обстановку русскую: на родной почвѣ ласточки тогда еще не водились.

В. Буренинъ.

* * *

*) Елена удивительное, странное явленіе тургеневскаго творчества, съ художественной точки зрѣнія. Это едва-ли не самый блѣдный рисунокъ во всей поэзіи великаго писателя. Вы не представите ее себѣ такъ ясно, какъ, напримѣръ, Лизу „Дворянскаго гнѣзда“, какъ Зою (въ „Наканунѣ“), какъ Рудина, какъ Берсенева, Шубина и другихъ: есть что-то не то недовершенное, не то выдуманное, а не созданное въ ея лицѣ. Но все могущество тургеневской поэзіи сказалось, однако, въ очеркѣ Елены: поэтъ придалъ ей живыя, реальныя чувства (вспомнимъ, напримѣръ, удивительно поэтическую сцену ея счастья, истомы счастья послѣ объясненія съ Инсаровымъ въ часовнѣ, и особенно самое это объясненіе; вспомнимъ ея слезы радости и успокоенія послѣ того, какъ Берсеневъ сообщилъ ей, что опасность миновала для Инсарова, и т. д.); поэтъ придалъ ей жизненныя человѣческія мысли и порывы воли, — и мы вправѣ потому говорить и судить о ней, какъ о живомъ, реальномъ человѣкѣ...

Мы видимъ, такимъ образомъ, что главное свойство Елены,

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб 1885 г.

главная черта ея характера—стремленіе къ дѣятельности, жажда дѣла. Это начало инициативы и отличаетъ ее отъ Лизы „Дворянскаго гнѣзда“, отличаетъ, какъ кажется, выгодно, въ ея пользу.—Лиза стоитъ безусловно высоко, вся преданная религіозному идеалу: она одинаково полно живетъ и мыслью, и сердцемъ, и въ душѣ ея свѣтлая гармонія; но недостатокъ инициативы могъ сказаться страшно въ ея судьбѣ: не будь Лаврецкаго, и кто знаетъ—можетъ быть, она, кротко и терпимо относящаяся къ людямъ, вышла бы за Паншина и сокровища своей душевной чистоты и силы принесла бы въ жертву человѣку безъ сердца и безъ души; можетъ быть, конечно, Паншинъ поддался бы ея свѣтлому вліянію и переродился (что̀, впрочемъ, очень сомнительно); но даже въ этомъ счастливомъ случаѣ все-таки пришлось-бы пожалѣть о недостойномъ примѣненіи великой нравственной силы.—Съ Еленой этого-бы не случилось.

Но есть въ Еленѣ другое, что̀ заставило поэта развѣнчать ее, что̀, какъ ложь, отравило ея жизнь и убило ее, что̀ ставитъ ее безконечно ниже Лизы.

Стремясь къ своему неясному, но заманчивому идеалу, всѣмъ сердцемъ желая дѣятельности, Елена инстинктивно ищетъ человѣка, который бы всей душою былъ преданъ дѣлу, вѣрилъ въ это дѣло и въ себя, и энергически шелъ къ цѣли, былъ-бы сильный человѣкъ, герой. Елена подала бы ему свою руку и пошла бы за нимъ.

Одно время мысль и сердце ея остановились на Берсеневѣ, и она близка была къ тому, чтобы полюбить его. Шубинъ думаетъ (хотя она сама это отрицаетъ), что была прежде минута, когда и къ нему тяготѣло ея сердце. Но во всякомъ случаѣ она скоро разочаровалась въ обоихъ,—и вниманіе ея остановилось на Инсаровѣ. Онъ, съ его страстной идеей освобожденія родины, занялъ всю ея душу, и она его полюбила; а полюбивши, она рѣшилась твердо и неизмѣнно пойти за нимъ всюду, на жизнь и смерть. Она преклонилась передъ нимъ, потому что

„онъ лучше меня! (записала она въ дневникѣ). Онъ спокоенъ, а я въ вѣчной тревогѣ; у него есть дорога, есть цѣль,—а я, куда я иду? гдѣ мое гнѣздо?“

Быстрая и рѣшительная, Елена сама первая открыла свою душу Инсарову, когда тотъ, по крайней простотѣ своего ума, хотѣлъ-было бѣжать отъ овладѣвшаго его сердцемъ чувства.—Я пойду за тобой, говоритъ она Инсарову...

Вѣрная своимъ словамъ и своему рѣшенію, Елена дѣйствительно идетъ за Инсаровымъ, идетъ съ нимъ „на дѣло“, разрывая со всѣмъ, что̀ ей дорого, всѣмъ жертвуя тому, что̀ считаетъ истиной.

Мы видѣли, какъ Шубинъ высоко ставитъ и ее и ея поступокъ въ разговорѣ съ Уваромъ Ивановичемъ. Высоту ея энергіи и твердости духа видимо признаетъ и поэтъ, разсказывая въ романѣ ходъ событій: ея замужество, ея отъѣздъ съ Инсаровымъ и жизнь за границей.

Но замѣчательно, что рядомъ съ этимъ Тургеневъ показываетъ намъ и нѣчто другое. Съ самой той минуты, какъ Елена, объяснившись съ Инсаровымъ, почувствовала себя счастливой, ее начали безпокоить укоры совѣсти. „Что̀-то кольнуло Елену“, когда она увидѣла мать впервые послѣ рѣшенія покинуть и родину и семью. Но на этотъ разъ счастье вполнѣ одолѣло, и внутренняя тревога души не помрачила „стыдливаго торжества“ любящей и любимой дѣвушки, не помѣшала всему окружающему улыбаться ей и радостно ее привѣтствовать. — Черезъ нѣсколько дней совѣсть заговорила громче:

„Ей было тяжело (говоритъ поэтъ про свою героиню) сидѣть съ матерью, ничего не подозрѣвающей, выслушивать ее, отвѣчать ей, говорить съ ней—казалось Еленѣ чѣмъ-то преступнымъ, она чувствовала въ себѣ присутствіе какой-то фальши; она возмущалась... Уже ни ласковымъ, ни милымъ, ни даже сномъ не казалось ей все окружающее: оно какъ кошмаръ давило ей грудь неподвижнымъ, мертвеннымъ бременемъ; оно какъ будто и упрекало ее, и негодовало, и знать про нее не хотѣло... Ты, молъ, все-таки, наша. Даже ея бѣдные питомцы, угнетенные птицы и звѣри глядѣли на нее,—по крайней мѣрѣ, такъ чудилось ей,—недовѣрчиво и враждебно. Ей становилось совѣстно и стыдно своихъ чувствъ. „Вѣдь, это все-таки мой домъ“, думала она, „моя семья, моя родина...“ Нѣтъ, это больше не твоя родина, не твоя семья,—твердилъ ей другой голосъ. Страхъ овладѣлъ ею, и она досадовала на свое малодушіе. Бѣда только начиналась, а ужъ она теряла терпѣніе... То ли она обѣщала?“

Такъ боролась Елена съ своей совѣстью, такъ мучилась она ея упреками, упреками за то, что измѣняетъ родинѣ, покидая ее, измѣняетъ семьѣ, останавливается на недостойномъ человѣкѣ.

Но Елена подавила въ себѣ голосъ внутренней правды.— Подавила она въ себѣ и голосъ разума и добраго чувства, подсказывавшихъ ей сомнѣніе въ нравственной состоятельности Инсарова.—Мы видѣли, какъ еще раньше объясненія съ Инсаровымъ въ любви Елена смущалась присутствіемъ въ душѣ его ненависти и злобы. Но теперь она забыла все это, закрыла глаза на свои сомнѣнія и колебанія, — и вся, всею душой отдалась волнѣ нахлынувшаго чувства, жаждѣ дѣятельности во что-бы то ни стало, жаждѣ счастья.— Она не остановилась даже тогда, когда во второе посѣщеніе ею Инсарова передъ ней открылась новая для нея темная черта его характера, — преобладаніе въ немъ мутно-чувственнаго начала. Она упрямо продолжала идти по разъ избранной дорогѣ, пожертвовавъ для этого и родиной, и семьей, и душевной чистотой своей.

Такія жертвы не обходятся даромъ,—и расплата не замедлила. Инсаровъ умираетъ за границей, въ Венеціи, не успѣвши попасть въ родную землю, не успѣвши привести въ исполненіе ни малѣйшаго изъ своихъ замысловъ,—и всѣ надежды Елены на дѣятельность разомъ рушатся.

Смерть Инсарова—не случайность, и геній великаго художника сказался въ этой преждевременной, повидимому, кончинѣ героя романа: по даннымъ своего характера Инсаровъ не могъ служить освобожденію своей родины: недостойныя руки недостойны были коснуться великаго дѣла.

Слишкомъ скоро Елена рѣшилась пойти за Инсаровымъ (точно такъ-же, какъ „слишкомъ скоро“, по словамъ поэта, произнесла она судъ надъ людьми), грубо оборвала она связи съ родиной, слишкомъ быстро покончила съ своими сомнѣніями и колебаніями, съ голосомъ внутренней правды. Она хотѣла дѣятельности во что-бы то ни стало, не разбирая путей,—а дѣятельность можетъ быть благою и плодотворной только на нравственно-чистой основѣ. — Елена

все потеряла,—и она сама почувствовала тогда покаравшую ее руку Божью.

Инсаровъ еще не умеръ; но Елена уже начинаетъ понимать неизбѣжность смерти; и вотъ какія мысли тѣснятся въ ея головѣ:

„Неужели уже довольно? Я была счастлива, не однѣ только минуты, не часы, не цѣлые дни—нѣтъ, цѣлыя недѣли сряду. А съ какого права?“ (Ей стало страшно своего счастія).

„Но если это—наказаніе, подумала она опять, если мы должны теперь внести полную уплату за нашу вину?.. О, Боже, неужели мы такъ преступны! Неужели Ты, создавшій эту ночь, это небо, захочешь наказать насъ за то, что мы любили? А если такъ, если онъ виноватъ, если я виновата, — прибавила она съ невольнымъ порывомъ,—такъ дай ему, о Боже, дай намъ обоимъ умереть по крайней мѣрѣ честной, славной смертью—тамъ, на родныхъ его поляхъ, а не здѣсь, не въ этой глухой комнатѣ“.

„А горе бѣдной одинокой матери?“ спросила она себя и смутилась, и не нашла возраженій на свой вопросъ“.

Въ этихъ замѣчательныхъ словахъ, полныхъ внутренняго прозрѣнія, Елена намекаетъ между прочимъ и на незаслуженность своего счастія, т. е. она начинаетъ инстинктивно чувствовать, что пожертвовала родиной и семьей не только для дѣятельности, но и для своего эгоистическаго личнаго самоуслажденія. Гораздо яснѣе она высказываетъ то-же въ письмѣ къ матери:

„Я искала счастья (говоритъ она) — и найду, быть можетъ, смерть. Видно, такъ слѣдовало; видно, была вина...“

Она, которая прежде, до своего ложнаго шага, часто молитвы мѣшала съ упреками, теперь не дерзаетъ „вопрошать Бога, зачѣмъ не пощадилъ, не пожалѣлъ... „Въ ея душѣ не было упрековъ“, говоритъ поэтъ.

Впрочемъ, Елена не вполнѣ смирилась, не вполнѣ признала свою вину, и кончила тѣмъ, что не отреклась-таки отъ своего заблужденія. Въ письмѣ къ матери (звавшей ее вернуться на родину) она послѣ приведенныхъ прекрасныхъ словъ раскаянія прибавила еще слова совсѣмъ другого рода:

„Простите мнѣ всѣ огорченія, которыя я причинила вамъ (писала она); это было не въ моей волѣ. А вернуться въ Россію — зачѣмъ? Что̀ дѣлать въ Россіи?“

Елена упорно и настойчиво хочетъ продолжать неудавшееся дѣло Инсарова, хотя и сознала, что и онъ и она сама недостойны приняться за это дѣло: она упорно не хочетъ загладить свою вину передъ родиной и семьей.

А. Незеленовъ.

* * *

(*) Если вывести Елену изъ окружающаго ее романическаго ореола, то что̀ же отъ нея останется? Нервная барышня съ головой набитою „идеями“, почерпнутыми изъ романовъ и журнальныхъ статей, а потомъ несносная женщина, сущее наказаніе для мужа, для дѣтей, для всѣхъ окружающихъ. И. Тургеневская Елена хотя хорошо воспитана, выхолена, изящна, она — дворянская, барышня, но что̀ сказать о многочисленныхъ Еленахъ, вышедшихъ изъ иного быта, вульгарныхъ, невоспитанныхъ, не сдержанныхъ? Съ этими уже, конечно, сущее наказаніе. Онѣ вѣчно суетятся, вѣчно „ищутъ исхода“, бросаются то въ соціализмъ, то въ толстовщину, вѣчно отыскиваютъ „героевъ“, даже уже достигши сорокалѣтняго возраста и болѣе. Кому не знакомъ этотъ жалкій современный типъ? Вотъ во что̀ выродилась романическая и изящная Елена. Выродилась она и въ литературѣ. Я уже не говорю о прогрессивныхъ романахъ, съ безчисленными повтореніями Елены, въ видѣ героини, но и самъ Тургеневъ показалъ намъ Елену въ иномъ свѣтѣ, въ лицѣ Маріанны изъ *Нови*. Основы характера сохранены тѣ же, но показана совершенно пустая барышня, въ которой, кромѣ мелочнаго тщеславія и эгоизма, ничего нѣтъ.

И вотъ въ этихъ то типахъ хотѣли видѣть проявленіе самостоятельности русской женщины. Но дѣло въ томъ, что именно въ этихъ Еленахъ нѣтъ ничего самостоятель-

*) Ю. Николаевъ. „Тургеневъ“. Москва 1894 г.

наго, что онѣ идутъ всегда по мужской указкѣ; ихъ душа такъ пуста, что ее во всякую минуту можно наполнить чѣмъ угодно: сегодня соціализмомъ, завтра непротивленіемъ злу, а послѣ завтра еще чѣмъ-нибудь.

Въ *Наканунѣ*, какъ и всегда, Тургеневъ ухватилъ дѣйствительно живой нервъ начинавшагося броженія, не давъ вѣрное изображеніе, освѣтилъ его невѣрнымъ, колеблющимся свѣтомъ — и отсюда возникло недоразумѣніе относительно дѣвушекъ и женщинъ подобнаго типа, которое существуетъ и до сихъ поръ.

Ю. Николаевъ.

Инсаровъ.

*) Авторъ, очевидно, съ глубокою обдуманностію сдѣлалъ Инсарова не русскимъ, болгаромъ, выдѣливъ его совершенно изъ русской жизни.... А между тѣмъ онъ герой русской повѣсти, онъ вторгается въ русскую жизнь, имѣвшую до его появленія мирное, хоть и пошлое теченіе. Во имя какихъ принциповъ вторгается онъ въ эту жизнь? Во имя чего ставится онъ за идеалъ для подражанія русскимъ людямъ, какимъ, очевидно, хотѣлъ поставить его г. Тургеневъ? До сихъ поръ г. Тургеневъ самовластно, деспотически распоряжался со всѣми русскими характерами, которые дѣйствуютъ въ его разсказахъ, до сихъ поръ онъ становился всегда выше ихъ, смотрѣлъ на нихъ, какъ побѣдитель на побѣжденнаго. Одинъ только Инсаровъ — характеръ идеальный, возвышенный, конечно, выше всего его окружающаго, и авторъ не свободно стоитъ передъ нимъ. Неужели же онъ сдѣлалъ его идеальнымъ изъ уваженія къ чужому, чего нельзя передѣлать, съ чѣмъ нельзя поступить критически? Говорить и доказывать это значило бы оскорблять нашего автора. Цѣль его гораздо выше. Инсаровъ является героемъ въ русской повѣсти, какъ представитель общечеловѣческихъ началъ, того, что придаетъ

*) Изъ „Русскаго Слова“ 1860 г., № 5. Статья Н. К—аго.

смыслъ жизни въ современности, что даетъ ей высшую санкцію. Упрекать автора въ томъ, что его повѣсть имѣетъ *направленіе*, что она написана съ задуманною идеею—мы не станемъ, да и критика уже давно не имѣетъ права на подобные упреки. Въ наше время нельзя ничего писать безъ живого отношенія къ современности: это воздухъ, въ которомъ мы всѣ живемъ, и мы не вѣримъ въ чистое искусство. Какъ бы могущественъ ни былъ талантъ, жизнь сильнѣе его, и очевидно, что Инсаровъ и его дѣятельность невольно проснлись въ повѣсть г. Тургенева. Это стонъ нашей жизни, то, чего жаждетъ она. Понятно, что г. Тургеневъ — талантъ чрезвычайно чуткій на пониманіе явленій общественныхъ и нашего развитія, томится тою же жаждою *новыхъ людей*, какою томится наше общество. И онъ, какъ и всѣ мыслящіе русскіе люди эпохи нами переживаемой, понимаетъ, чего не достаетъ русской жизни.... Если мы и видимъ, что въ послѣдніе, переживаемые нами годы русской жизни, началось что-то такое, что не похоже на старое, что предвѣщаетъ новую жизнь, гдѣ знакомые намъ характеры будутъ уже отверженцами, то и это новое, начинающееся, назначеніе котораго есть борьба, не создало, да и не въ состояніи создать еще ни одного типа. Посмотрите, куда уходятъ лучшія силы. Въ борьбу, которой конца не видно, въ которой цѣли нѣтъ ясной и опредѣленной. Инсаровъ знаетъ, за что готовъ онъ сложить свою голову, знаетъ, съ чѣмъ и съ кѣмъ онъ идетъ на борьбу, а у насъ, съ болью сердечною признаться надобно, туманъ передъ глазами. Всѣ подвиги наши могутъ покуда ограничиваться шумихою словъ,—а на это мы были большіе мастера и прежде,—или представляться дѣтскими выходками. Нападаютъ на Инсарова за то, что лицо это не удовлетворяетъ насъ, и обвиняютъ въ томъ автора. Какъ болгаръ, онъ совершенно вѣренъ своему назначенію, своему призванію, но нашъ идеальный характеръ, нашъ дѣятель, долженъ принять иную форму. Совершенно справедливо, что Инсаровъ не удовлетворяетъ насъ русскихъ, но въ этомъ недостаткѣ виноватъ не та-

лантъ г. Тургенева, а сама жизнь, не успѣвшая или не могшая намъ дать своего Инсарова. Еще спорный вопросъ: молода или стара эта жизнь, но успокоимся на томъ мнѣніи, что жизнь эта еще молода и станемъ ждать, когда она дастъ намъ идеальнаго дѣятеля. Его надобно ждать отъ жизни, а не отъ таланта; талантъ беретъ только у жизни...

Изъ дневника Елены мы видимъ, почему она предпочла Инсарова всѣмъ другимъ, почему ея сердце неотразимо было увлечено имъ. Это былъ первый встрѣченный ею въ жизни человѣкъ, *который не лжетъ*. Все остальное лгало кругомъ, начиная съ отца и матери, которыхъ двусмысленныя супружескія отношенія заставили лгать другъ другу, и кончая маленькой нѣмочкой Зоей. Изъ міра семейной и общественной лжи, изъ міра *сплошной лжи*, она въ первый разъ увидала истину въ человѣкѣ. Инсаровъ *не только говоритъ*, какъ говоритъ Шубинъ съ блестящей граціей, съ мѣткой ироніей, какъ говоритъ Берсеневъ съ глубокою мыслію, какъ прежде говорилъ Рудинъ, первый ораторъ тургеневскихъ разсказовъ,—*Инсаровъ дѣлалъ и будетъ дѣлать*. Этой гармоніи между словомъ и дѣломъ, между фактомъ и фразой нѣтъ ни у кого въ повѣсти, кромѣ него. Но больше всего она полюбила его за то, что у него есть цѣль жизни и цѣль близкая, осязаемая, что все существо его отдано этой цѣли.

„Русское Слово“. Статья Н. К—аго.

* * *

*) Въ эпоху Инсарова между молодыми людьми уже являлись не отвлеченные споры о конечномъ и безконечномъ, но произносились такія соединяющія слова, какъ родина, свобода, справедливость. Мало того, являются люди, которые полагаютъ счастьемъ и цѣлью своей жизни служить идеямъ, представляемымъ этими словами, и такимъ

*) М. Авдѣевъ. „Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы“.

человѣкомъ является герой романа Инсаровъ. Послѣ Рудина, пропагандиста, человѣка слова, долженъ былъ явиться человѣкъ дѣла; Инсаровъ и есть такой человѣкъ. Онъ хочетъ свободы родины, и работаетъ всѣми отъ него зависящими средствами на освобожденіе родины отъ турецкаго ига: читатель знаетъ, что Инсаровъ былъ болгаръ. И такъ на сцену является уже настоящій политическій дѣятель. Онъ не русскій и не можетъ быть русскимъ, потому что такой дѣятель при нашей обстановкѣ невозможенъ; его задача — не наша задача; но появленіе его въ литературѣ доказываетъ, что въ развитой части общества явились стремленія повыше желанія покорять сердца сдающихся съ радостью, но только на законномъ основаніи, дѣвушекъ.

Инсаровъ бѣденъ, но расчетливъ и точенъ, какъ нѣмецъ: онъ никѣмъ не одолжается и въ бездѣлицахъ, и когда Берсеневъ предложилъ ему жить въ нанятой имъ дачѣ, Инсаровъ сначала отказывается, но потомъ, разсчитавъ сколько Берсеневу приходится платить за каждую комнату, находитъ возможнымъ нанять одну, но отъ общаго обѣда отказался, потому что не въ состояніи обѣдать такъ, какъ Берсеневъ. Инсаровъ дѣятеленъ, но вся его дѣятельность безъ исключенія направлена на одну точку, на одну цѣль — родину. Онъ не служитъ ей какой-нибудь одной исключительной стороной, напримѣръ, какъ писатель, пропагандистъ, воинъ, — онъ дѣлаетъ для нея все, что можетъ: переводитъ съ болгарскаго на русскій, и съ русскаго на болгарскій, чтобы способствовать ознакомленію родины съ народомъ ей полезнымъ, составляетъ болгарскую грамматику, разбираетъ ссоры земляковъ, ведетъ переписку съ мѣстными дѣятелями, — словомъ, онъ весь въ своей Болгаріи, и когда говоритъ о ней, то совершенно преображается. „Не то, чтобы лицо его разгоралось или голосъ возвышался, — говоритъ авторъ, — нѣтъ, но все существо его будто крѣпло и стремилось впередъ, очертанія губъ обозначались рѣзче и неуловимѣе, а въ глубинѣ глазъ зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь.

М. Авдѣевъ.

* * *

*) Къ сожалѣнію, г. Тургеневъ не обрисовалъ этого героя въ такой полнотѣ, какая необходима была для того, чтобъ онъ и читателя увлекалъ такъ же, какъ увлекъ Елену. Мы видимъ въ немъ студента, намѣревающагося принять участіе въ возстаніи, которое готовилось въ Болгаріи, въ началѣ восточной войны — и только. Но какимъ образомъ онъ сталъ бы освобождать Болгарію, какія у него были средства и связи—ничего этого мы не видимъ. Елена, въ своемъ дневникѣ, пишетъ, что онъ разсказалъ ей „свои планы“; но какіе были эти планы — мы не знаемъ. Когда Инсаровъ сдѣлался боленъ, къ нему пришелъ Берсеневъ. Взоры его упали на столъ, покрытый грудами бумагъ. „Исполнитъ ли онъ свои замыслы? подумалъ Берсеневъ. Неужели все исчезнетъ?“ Но что такое было въ этихъ бумагахъ—опять неизвѣстно. Елена нашла у него письма. „Это письма изъ Болгаріи, сказалъ ей Инсаровъ: друзья мнѣ пишутъ, они меня зовутъ“ — и только. Изъ всѣхъ сношеній Инсарова съ болгарами, жившими въ Россіи, мы узнаемъ только, что одинъ разъ у него были два какіе-то человѣка, „лица смуглыя, широкоскулыя, тупыя, съ ястребиными носами, лѣтъ каждому за сорокъ; одѣты плохо, въ пыли, въ поту“, и съѣли вдвоемъ цѣлый огромный горшокъ каши, и что съ ними Инсаровъ отправился въ Троицкій Посадъ, мирить какихъ-то земляковъ, которые не хотѣли платить другъ другу какія-то деньги. Если не считать гимнастическаго подвига съ пьянымъ нѣмцемъ въ Царицынѣ (мимоходомъ сказать, вовсе ненужнаго ни для освобожденія Болгаріи ни для успѣленія любви Елены, и весьма-неловко напоминающаго гораздо-лучше мотивированный и болѣе демоническій подвигъ Печорина съ краснорожимъ господиномъ, съ длинными усами, ангажировавшимъ княжну Мери pour mazure), то Инсаровъ ровно ничего не дѣлаетъ въ романѣ. Берсеневъ, заочно рекомендуя его Еленѣ, увѣрялъ ее, что „у него одна мысль — освобожденіе его родины, и Елена задумчиво промолвила: „освободить

*) П. Баснстовъ. „Отечественныя Записки“ 1860 г., № 5.

свою родину! Эти слова даже выговорить страшно — такъ они велики"... Конечно, велики; но эти слова такъ и остаются словами. Мы не видимъ ни одного шага, который бы подвинулъ насъ къ приведенію ихъ въ дѣло; мало того, г. Тургеневъ не потрудился указать намъ даже возможности приведенія ихъ въ дѣло Инсаровымъ. Намъ остается восхищаться голымъ принципомъ, прекраснымъ и возвышеннымъ, безспорно, но все же отвлеченнымъ принципомъ, а не живымъ человѣкомъ. Все, что есть живого въ Инсаровѣ — его отношенія къ русскимъ и къ своимъ землякамъ, его занятія, его любовь къ Еленѣ — все это могло бы существовать и безъ этого принципа; а того, чѣмъ бы осуществлялся этотъ принципъ, мы въ Инсаровѣ не видимъ.

Эта личность осталась бы для насъ совершенно-непонятною, если бъ г. Тургеневъ не далъ намъ самъ ключа къ ней въ своей философской статьѣ о Гамлетѣ и Донъ-Кихотѣ, напечатанной въ № 1 „Современника" нынѣшняго же года, одновременно съ появленіемъ „Наканунѣ" въ „Русскомъ Вѣстникѣ". Въ этой прекрасной статьѣ мы находимъ слѣдующее разсужденіе:

„Что выражаетъ собою Донъ-Кихотъ? Вѣру прежде всего; вѣру въ нѣчто вѣчное, незыблемое, въ истину, однимъ словомъ, въ истину, находящуюся *внѣ* отдѣльнаго человѣка, не легко ему дающуюся, требующую служенія и жертвъ, но доступную постоянству служенія и силѣ жертвы. Жить для себя, заботиться о себѣ Донъ-Кихотъ почелъ бы постыднымъ. Онъ весь живетъ внѣ себя, для другихъ, для своихъ братьевъ. Въ немъ нѣтъ и слѣда эгоизма; онъ не заботится о себѣ, онъ весь самопожертвованіе — оцѣните это слово!—онъ вѣритъ, вѣритъ крѣпко и безъ оглядки".

Постоянное стремленіе къ одной и той же цѣли придаетъ нѣкоторое однообразіе его мыслямъ, односторонность его уму; онъ знаетъ мало, да ему и не нужно много знать: онъ знаетъ, въ чемъ его дѣло, зачѣмъ онъ живетъ на землѣ, а это—его главное знаніе".

Далѣе:

„Простота его манеръ происходитъ отъ отсутствія того, что мы бы рѣшились назвать не самолюбіемъ, а *самомнѣніемъ*; Донъ-Кихотъ не занятъ собою и, уважая себя и другихъ, не думаетъ рисоваться“.

И далѣе:

„Кто, жертвуя собою, вздумалъ бы сперва разсчитывать и взвѣшивать всѣ послѣдствія, всю вѣроятность пользы своего поступка, тотъ едва-ли способенъ на самопожертвованіе“.

То же самое находимъ мы высказаннымъ объ Инсаровѣ въ разныхъ мѣстахъ „Наканунѣ“. Когда Берсеневъ сталъ толковать съ нимъ о Фейербахѣ, то „изъ возраженій его (говоритъ г. Тургеневъ) видно было, что онъ старался дать самому себѣ отчетъ въ томъ: нужно ли ему заняться Фейербахомъ или же можно обойтись безъ него“.—„Онъ плохо говоритъ по-французски и не стыдится“, пишетъ о немъ Елена въ своемъ дневникѣ. „Мнѣ кажется, что у Дмитрія (говоритъ о немъ она же) оттого ясно на душѣ, что онъ весь отдался своему дѣлу, своей мечтѣ. Изъ чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тотъ ужъ ни за что не отвѣчаетъ. Не *я* хочу; *то* хочетъ“. „Ты *вѣришь*—говоритъ она-же въ письмѣ къ Инсарову о представленномъ ей женихѣ, Курнатовскомъ: а тотъ нѣтъ, потому что только въ самого себя *вѣрить* нельзя“.

Итакъ, другіе *говорятъ* объ Инсаровѣ то-же самое, что самъ г. Тургеневъ говоритъ о Донъ-Кихотѣ: жаль только, что Инсаровъ самъ за себя ничѣмъ не говоритъ, какъ-бы слѣдовало ожидать отъ живого лица. Что-жъ такое этотъ Инсаровъ? Отвлеченная идея донъ-кихотства, въ благороднѣйшемъ смыслѣ этого слова, окрещенная славянской фамиліей, но, при всемъ томъ, оставшаяся отвлеченной, какъ созданіе мышленія, а не фантазіи.

Дѣло Инсарова имѣетъ двѣ стороны: одну—временную, другую—вѣчную; другими словами: въ немъ есть форма и идея. Временную сторону, или форму, составляетъ мысль объ освобожденіи угнетенной родины; сущность не въ томъ.

Если бъ дѣло было только въ томъ, чтобъ изобразить намъ человѣка, въ минуту общей опасности поднимающагося на общее дѣло и жертвующаго этому дѣлу всего себя безраздѣльно, въ такомъ случаѣ можно-бы найти образцы и у насъ, въ Россіи: стоитъ вспомнить 1612 годъ съ тогдашнимъ нашимъ Инсаровымъ—мѣщаниномъ Мининымъ. Если бъ г. Тургеневъ только въ этомъ смыслѣ хотѣлъ намъ показать Инсарова, то его романъ былъ бы не болѣе, какъ исправленный „Юрій Милославскій, или русскіе въ 1612 году".

Но, вѣдь, такіе случаи, которые вызываютъ на дѣло весь народъ и даютъ возможность являться героямъ, встрѣчаются не всякій день въ народной жизни. Всенародныя событія начинаются и кончаются, а между тѣмъ жизнь народа продолжаетъ идти своимъ чередомъ, слагаясь не изъ подвиговъ, а изъ мелкихъ дѣлъ каждаго. Вѣдь, и Инсаровъ—положимъ, что ему удалось-бы освободить свою Болгарію — долженъ-же былъ-бы потомъ заняться какимъ-нибудь не столь громкимъ дѣломъ. Онъ—такъ-же, какъ и всѣ —училъ-бы дѣтей или писалъ статьи въ болгарскіе журналы, или служилъ-бы въ военной или статской службѣ, или, наконецъ, торговалъ-бы, пахалъ землю и т. п. Спрашивается: отличалась-ли-бы тогда его дѣятельность отъ дѣятельности Шубиныхъ, Берсеневыхъ, Курнатовскихъ?

Если бъ Инсаровъ былъ живое лицо, а не порожденіе отвлеченнаго мышленія, то мы сейчасъ же нашли-бы въ немъ черты постоянныя, которыя дали-бы намъ возможность отвѣчать на этотъ вопросъ съ увѣренностью. Теперь-же, такъ какъ Инсаровъ опредѣляется только тѣмъ, что говоритъ о немъ другіе, а не тѣмъ, что онъ говоритъ и дѣлаетъ самъ передъ нами, то намъ придется искать отвѣта въ какихъ-нибудь намекахъ, которые случайно обронитъ то или другое изъ дѣйствующихъ лицъ романа, и изобличать тайную мысль автора, съ опасеніемъ ошибиться.

Когда Елена познакомилась съ Инсаровымъ, она написала въ своемъ дневникѣ: „Вотъ, наконецъ, правдивый человѣкъ; вотъ на кого положиться можно. Этотъ не лжетъ;

это первый человѣкъ, котораго я встрѣчаю, который не лжетъ: всѣ другіе лгутъ, все лжетъ“. Это говоритъ Елена, уже знавшая и Шубина и Берсенева. Между тѣмъ г. Тургеневъ представляетъ намъ ихъ благородными людьми; сталобыть, тутъ ложь надобно относить не къ нравственнымъ ихъ правиламъ, а къ самой ихъ дѣятельности. Они не лгутъ; но дѣятельность ихъ ложна, въ жизни ихъ нѣтъ правды, а, слѣдовательно, нѣтъ и истинной жизни. Все, что они дѣлаютъ—пустоцвѣтъ. А то, что дѣлаетъ Инсаровъ—не ложь; въ его дѣлѣ—истинное дѣло. И оно истинно не потому, что оно практическое: дѣло Курнатовскаго тоже практическое, но и оно ложь. Это понимаетъ не только Елена, но и Шубинъ. Когда Курнатовскій былъ у Стаховыхъ, Шубинъ послѣ обѣда подошелъ къ Еленѣ и сказалъ: „Вотъ этотъ (то-есть Курнатовскій) и нѣкто другой (то-есть Инсаровъ)—*оба практическіе люди*, а посмотрите, какая разница: тамъ настоящій, живой, *жизнью данный идеалъ*, а здѣсь даже не чувство долга, а просто служебная честность и *дѣльность безъ содержанія*“. Тотъ-же рѣзвый художникъ Шубинъ еще въ началѣ романа высказалъ еще понятнѣе свой взглядъ на то, въ чемъ состоитъ сила Инсарова: *онъ съ своею землею связанъ*, говорилъ онъ Берсеневу: „не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся къ народу: влейся, молъ, въ насъ, живая вода!“

Вотъ эта живая связь съ своей землей и составляетъ внутреннюю вѣчную сторону дѣятельности Инсарова, она-то и даетъ ей правдивость и силу. Понятно, что дѣятельность Шубина, Берсенева, Курнатовскаго ложна, потому что она не связана съ землей, выросла не изъ народной жизни, а явилась Богъ-знаетъ откуда и служитъ Богъ-знаетъ чьимъ потребностямъ. Шубинъ лѣпитъ какихъ-то вакханокъ; Берсеневъ пишетъ „о нѣкоторыхъ особенностяхъ древне-германскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній“ и пестритъ свою статью иностранными словами; Курнатовскій дѣленъ безъ содержанія.

Итакъ, разбирая Инсарова, мы пришли къ мысли о необходимости народности въ искусствѣ, народности въ наукѣ, народности въ жизни общественной.

И стоило изъ-за этого поднимать Болгарію! Вѣдь, эту новость проповѣдывалъ еще „Москвитянинъ“; эту новую мысль четыре года разносила на своей оберткѣ „Русская Бесѣда“: „Только коренью основанье крѣпко, то и древо неподвижно; только коренья не будетъ, къ чему прилѣпиться“?

П. Басистовъ.

***

*) Въ Инсаровѣ, строго говоря, нѣтъ ничего чрезвычайнаго. Берсеневъ и Шубинъ, и сама Елена, и, наконецъ, даже авторъ повѣсти характеризуютъ его все болѣе отрицательными качествами. Онъ никогда не лжетъ, не измѣняетъ своему слову, не беретъ взаймы денегъ, не любитъ разговаривать о своихъ подвигахъ, не откладываетъ исполненія принятаго рѣшенія, его слово не расходится съ дѣломъ и т. п. Словомъ, въ немъ нѣтъ тѣхъ чертъ, за которыя долженъ горько упрекать себя всякій человѣкъ, имѣющій претензію считать себя порядочнымъ. Но, кромѣ того, онъ—болгаръ, питающій въ душѣ страстное желаніе освободить свою родину, и этой мысли онъ предается весь, открыто и увѣренно, въ ней заключается конечная цѣль его жизни. Онъ не думаетъ ставить свое личное благо въ противоположность съ этой цѣлью; подобная мысль, столь естественная въ русскомъ ученомъ дворянинѣ Берсеневѣ, не можетъ даже въ голову придти простому болгару. Напротивъ, онъ потому-то и хлопочетъ о свободѣ родины, что въ этомъ видитъ свое личное спокойствіе, счастье всей своей жизни; онъ бы оставилъ въ покоѣ порабощенную родину, если бъ только могъ найти удовлетвореніе себѣ въ чемъ-нибудь другомъ. Но онъ никакъ не можетъ понять себя отдѣльно отъ родины. Какъ же это можно быть довольнымъ и счастливымъ, когда свои земляки страдаютъ? думаетъ онъ. — Какъ можетъ человѣкъ успокоиться, пока его родина порабощена и угнетена? И какое занятіе мо-

*) Н. Добролюбовъ. Сочиненія Добролюбова, т. 3 и „Современникъ“, 1860 г., № 3.

жетъ быть для него пріятно, если оно не ведетъ къ облегченію участи бѣдныхъ земляковъ“? Такимъ образомъ, онъ дѣлаетъ свое задушевное дѣло совершенно спокойно, безъ натяжекъ и фанфаронадъ, такъ же просто, какъ ѣстъ и пьетъ. Покамѣстъ ему приходится еще мало работать для прямого выполненія своей идеи; но что-же дѣлать? Ему приходится теперь и ѣсть плохо и мало, и даже иной разъ голодать случается; но все-таки пища, хоть и скудная, составляетъ необходимое условіе его существованія... Онъ также живетъ *наканунѣ* великаго дня свободы, въ который существо его озарится сознаніемъ счастья, жизнь наполнится и будетъ уже настоящей жизнью. Этого дня ждетъ онъ, какъ праздника, и вотъ почему не приходитъ ему въ голову сомнѣваться въ себѣ и холодно разсчитывать и взвѣшивать, сколько именно можетъ онъ сдѣлать и съ какимъ великимъ мужемъ успѣетъ поровняться... Онъ хочетъ идти, онъ не можетъ нейти, не потому, чтобы боялся нарушить какой-нибудь долгъ, а потому, что онъ умеръ бы, если бы ему нельзя было двинуться съ мѣста. Въ этомъ огромная разница между нимъ и Берсеневымъ. Берсеневъ тоже способенъ къ жертвамъ и подвигамъ; но онъ похожъ при этомъ на великодушную дѣвушку, которая для спасенія отца рѣшается на ненавистный бракъ... Любовь къ свободѣ родины у Инсарова не въ разсудкѣ, не въ сердцѣ, не въ воображеніи: она у него во всемъ организмѣ, и что бы ни вошло въ него, все претворяется силою этого чувства, подчиняется ему, сливается съ нимъ. Оттого, при всей обыкновенности своихъ способностей, при всемъ отсутствіи блеска въ своей натурѣ, онъ стоитъ неизмѣримо выше, дѣйствуетъ на Елену несравненно сильнѣе и обаятельнѣе, нежели блестящій Шубинъ и умный Берсеневъ, хотя оба они тоже люди благородные и любящіе.

Но почему же Инсаровъ не могъ быть русскимъ? Вѣдь, онъ въ повѣсти не дѣйствуетъ, а только собирается на дѣло; это и русскій можетъ. Характеръ его тоже возможенъ и въ русской кожѣ; особенно въ такихъ проявленіяхъ. Онъ любитъ сильно и рѣшительно; но неужели не-

возможно и это для русскаго человѣка?.. Тургеневъ, столь хорошо изучившій лучшую часть нашего общества, не нашелъ возможности сдѣлать его *нашимъ*. Мало того, что онъ вывезъ его изъ Болгаріи, онъ недостаточно приблизилъ къ намъ этого героя даже просто какъ человѣка. Въ этомъ, если хотите смотрѣть даже на литературную сторону, главный художественный недостатокъ повѣсти. Мы понимаемъ одну изъ важныхъ причинъ его, не зависящихъ отъ автора, и потому не дѣлаемъ упрека г. Тургеневу...

Инсаровъ, какъ человѣкъ сознательно и всецѣло проникнутый великой идеей освобожденія родины и готовый принять въ ней дѣятельную роль, не могъ развиться и проявить себя въ современномъ русскомъ обществѣ. Даже Елена, такъ полно умѣвшая полюбить его и такъ слиться съ его идеями, и она не можетъ остаться среди русскаго общества, хотя тамъ,—всѣ ея близкіе и родные. И такъ великимъ идеямъ, великимъ сочувствіямъ нѣтъ еще мѣста среди насъ?.. Все героическое, дѣятельное должно бѣжать отъ насъ, если не хочетъ умереть отъ бездѣйствія или погибнуть напрасно? Не такъ ли? Не таковъ ли смыслъ повѣсти, разобранной нами?—Мы думаемъ, что нѣтъ. Правда, для широкой дѣятельности нѣтъ у насъ открытаго поприща... Дѣло въ томъ, что какъ бы ни была плоха наша жизнь, но въ ней уже оказалась возможность такихъ явленій, какъ Елена. И мало того, что такіе характеры стали возможны въ жизни, они уже охвачены художническимъ сознаніемъ, внесены въ литературу, возведены въ типъ. Елена—лицо идеальное, но черты ея намъ знакомы, мы ее понимаемъ, сочувствуемъ ей. Что это значитъ? То, что основа ея характера — любовь къ страждущимъ и притѣсненнымъ, желаніе дѣятельнаго добра, томительное исканіе того, кто бы показалъ, какъ дѣлать добро,—все это, наконецъ, чувствуется въ лучшей части нашего общества. И чувство это такъ сильно и такъ близко къ осуществленію, что оно уже не обольщается какъ прежде, ни блестящимъ, но безплоднымъ умомъ и талантомъ, ни добросовѣстной, но отвлеченной ученостью, ни служебными добро-

дѣтелями, ни даже добрымъ, великодушнымъ, но пассивно-развитымъ сердцемъ. Для удовлетворенія нашего чувства, нашей жажды нужно болѣе: нуженъ человѣкъ, какъ Инсаровъ—но русскій Инсаровъ.

Н. Добролюбовъ.

* * *

*) Мы полагаемъ, что Добролюбовъ увлекся въ своемъ пессимизмѣ, старался доказать невозможность появленія Инсарова въ Россіи, идеальность его характера въ сравненіи съ русскими. Нѣтъ, скажемъ мы, Инсаровъ не болѣе, какъ очень порядочный человѣкъ! Противъ такого опредѣленія мы не протестуемъ, но чтобы онъ уже такъ высоко стоялъ, что намъ бѣднымъ русскимъ лапотникамъ оставалось бы только умилиться духомъ и сознаться въ своемъ безсиліи—съ этимъ мы никакъ согласиться не можемъ. Самобичеваніе вещь хорошая и полезная, но оно становится натянутымъ и даже вреднымъ, когда переходитъ границы должнаго. Въ данномъ случаѣ, пессимизмъ Добролюбова является одностороннимъ. Если вѣренъ его взглядъ, то какой же выводъ мы должны сдѣлать изъ „Наканунѣ“? Неужели-же такой грустно безнадежный, что у насъ хорошихъ людей нѣтъ?

С. Венгеровъ.

* * *

**) Бракуя людей за то, что они не герои, раскидывая направо и налѣво окружающую его мелюзгу, Тургеневъ доходитъ, наконецъ, до созданія идеальнаго человѣка. Человѣкъ этотъ—Болгаринъ. На какомъ основаніи? неизвѣстно. Принимать Инсарова за живое лицо я не могу; потому прослѣживать его развитіе и возсоздавать его личность критическимъ анализомъ я не берусь... Фигура Инсарова не возстаетъ передо мною; но за то съ ужасающею отчетливостью возстаетъ передо мною тотъ процессъ меха-

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ“.
**) Д. Писаревъ. „Русское Слово“ 1861 г. № 12. Также сочиненія Писарева.

ническаго построенія, которому Инсаровъ обязанъ своимъ происхожденіемъ. Тургеневъ не могъ остановиться на чисто отрицательныхъ отношеніяхъ къ жизни; ему до смерти надоѣли пигмеи, а между тѣмъ отъ этого жизнь не измѣнилась, и пигмеи не выросли ни на вершокъ. Ему захотѣлось колоссальности, героизма, и онъ задумался надъ тѣмъ, какія свойства надо придать герою; образъ не напрашивался въ его творческое сознаніе; надо было съ невѣроятными усилія мисоставить этотъ образъ изъ разныхъ кусочковъ; во первыхъ, надо было поставить героя въ необыкновенное положеніе; положеніе придумано: Инсаровъ — Болгаръ, и родители его погибли лютою смертью. Потомъ надо было устроить такъ, чтобы каждое слово и движеніе героя было проникнуто особенною многозначительностью, не сознаваемою самимъ героемъ; Тургеневъ достигъ этого, заставивъ Инсарова разглагольствовать о любви къ родинѣ почти такъ же, какъ разглагольствуетъ чиновникъ Соллогуба, съ тою только разницею, что послѣдній не дѣлаетъ блестящей антитезы (послѣдній мужикъ—и я). Чтобы оттѣнить то воодушевленіе, которое овладѣваетъ Инсаровымъ, когда онъ говоритъ о родинѣ, Тургеневъ заставляетъ его въ остальное время быть очень спокойнымъ; Тургеневъ напираетъ даже на то, что въ Инсаровѣ не видно ничего необыкновеннаго, что въ немъ все очень просто, начиная отъ ушастаго картуза и кончая спокойною походкою. Чтобы показать благородную гордость героя, Тургеневъ упоминаетъ о томъ, что Инсаровъ ни отъ кого не взялъ бы денегъ взаймы и даже отъ Берсенева не принимаетъ даромъ комнаты, когда тотъ приглашаетъ его къ себѣ на дачу. Не знаю, какъ другимъ, а мнѣ эта гордость по поводу десяти или двадцати рублей кажется мелочностью. Не принимать одолженія отъ мало знакомаго человѣка или отъ такого, которому тяжело быть обязаннымъ, это понятно; но съ мелочною тщательностью отгораживать свои интересы отъ интересовъ товарища студента или друга — это, воля ваша, безплодный трудъ. Мое ли перейдетъ къ нему, его ли ко мнѣ—чортъ ли въ этомъ? Я знаю, что самъ съ

удовольствіемъ сдѣлаю ему одолженіе, и потому съ полною довѣрчивостью принимаю отъ него такое же одолженіе. Чтобы показать, какъ земляки Болгары вѣрятъ Инсарову, Тургеневъ разсказываетъ о поѣздкѣ послѣдняго за шестьдесятъ верстъ; чтобы дать образчикъ той колоссальной энергіи, на которую способенъ герой—Тургеневъ изобрѣлъ бросаніе пьянаго нѣмца, и притомъ великана, въ воду. Чтобы дать понятіе о любви Инсарова къ родинѣ—Тургеневъ заставляетъ его бороться съ любовью къ Еленѣ; Инсаровъ готовъ на пользу Болгаріи пожертвовать любимою женщиною,—и это невольно переноситъ читателя въ лучшіе дни Римской республики. Но вотъ что любопытно: Инсаровъ герой, сильный человѣкъ; отчего же онъ постоянно предоставляетъ Еленѣ инициативу? Отчего Елена тащитъ его за собою и постоянно сама дѣлаетъ первый шагъ къ сближенію? Отчего Инсаровъ постоянно принимаетъ отъ нея разныя доказательства любви не иначе, какъ послѣ нѣкотораго упрашиванія съ ея стороны? Что это за церемоніи, и умѣстны ли онѣ между не пигмеями? Инсаровъ видитъ, что дѣвушка вышла къ нему на встрѣчу, и съ тоскою спрашиваетъ у него: отчего же вы не пришли сегодня утромъ? Въ этомъ вопросѣ сказывается любовь, недоумѣніе, страданіе, а Инсаровъ отвѣчаетъ на это: „я вамъ не обѣщалъ“, и старается только отстоять непарушимость своего слова. Точно будто хозяинъ торговаго дома отвѣчаетъ кредитору: „срокъ вашему векселю не сегодня!“ Освободитъ ли Инсаровъ Болгарію, не знаю; но Инсаровъ, какимъ онъ является въ отдѣльныхъ сценахъ романа: „Наканунѣ“, не представляетъ въ себѣ ничего цѣлостно-человѣческаго и рѣшительно ничего симпатичнаго. Что его полюбила болѣзненно-восторженная дѣвушка, Елена — въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго; вѣдь и Титанія гладила съ любовью длинныя уши ослиной головы; но что истинный художникъ, Тургеневъ, соорудилъ ходульную фигуру, стоящую ниже Штольца — это очень грустно; это показываетъ радикальное измѣненіе во всемъ міросозерцаніи, это начало увяданія. Кто въ Россіи сходилъ съ дороги чистаго

отрицанія, тотъ надалъ. Чтобы освѣтить ту дорогу, по которой идетъ Тургеневъ, стоитъ назвать одно великое имя Гоголя. Гоголь тоже затосковалъ по положительнымъ дѣятелямъ, да и свернулъ на переписку съ друзьями. Что-то будетъ съ Тургеневымъ?

Д. Писаревъ.

* * *

*) Героя-гражданина пришлось выписать Тургеневу изъ-за Дуная, изъ страны, хотя и не чужой намъ, но все-таки не русской. И по правдѣ сказать, герой этотъ еще въ большей степени, чѣмъ героиня романа „Наканунѣ“, отличается дѣланностью. Никто не станетъ спорить противъ того, что все обаяніе Инсарова, какъ выражается Добролюбовъ, „заключается въ величіи и святости той идеи, которою проникнуто все его существо“. Но, думаю, тоже трудно спорить и противъ того, что великая и святая идея служитъ только ярлыкомъ, такъ сказать, приклееннымъ извнѣ на героическомъ челѣ Инсарова, а „существо“ его мало соотвѣтствуетъ великой идеѣ. Подобно Еленѣ, Инсаровъ въ своихъ теоретическихъ стремленіяхъ очень героиченъ, а въ практическихъ дѣяніяхъ какъ будто возбуждаетъ нѣкоторую скептическую улыбку. Опять-таки блѣдность Инсарова въ качествѣ живой личности была въ свое время замѣчена либеральной критикой и, несмотря на все сочувствіе ея къ замыслу, который желалъ олицетворить въ этомъ образѣ Тургеневъ, указана ею. Мало того, что Тургеневъ счелъ нужнымъ вывезти своего героя изъ чужой страны, онъ—говоритъ Добролюбовъ—„недостаточно приблизилъ къ намъ этого героя даже просто какъ человѣка. Въ этомъ, если хотите смотрѣть даже на литературную сторону, главный художественный недостатокъ повѣсти. Мы понимаемъ одну изъ важныхъ причинъ его, независящихъ отъ автора, и потому не дѣлаемъ упрека г. Тургеневу. Но тѣмъ не менѣе блѣдность очертаній Инса-

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

рова отражается въ самомъ впечатлѣніи, производимомъ повѣстью. Величіе и красота Инсарова не выставляются передъ нами съ такою силою, чтобы мы сами прониклись ими и въ гордомъ одушевленіи воскликнули: идемъ за тобою! А между тѣмъ идея эта такъ свята, такъ возвышенна... Гораздо менѣе человѣчныя, даже просто фальшивыя идеи, горячо проводимыя въ художественныхъ образахъ, производили лихорадочное дѣйствіе на общество; Карлы-Мооры, Вертеры, Печорины вызывали толпу подражателей. Инсаровъ ихъ не вызоветъ. Правда, что и мудрено было ему выказаться вполнѣ съ своей идеей, живя въ Москвѣ и ничего не дѣлая; вѣдь, не въ риторическихъ же разглагольствіяхъ упражняться. Но мы изъ повѣсти мало узнаемъ его и какъ человѣка; его внутренній міръ недоступенъ намъ; для насъ закрыто, что́ онъ дѣлаетъ, чего надѣется, какія испытываетъ перемѣны въ своихъ отношеніяхъ, какъ смотритъ на ходъ событій, на жизнь, несущуюся передъ его глазами... Какъ живой образъ, какъ лицо дѣйствительное, Инсаровъ отъ насъ еще далекъ“. Только изъ-за непреклонной вѣрности Инсарова его идеѣ Добролюбовъ снисходительно рѣшается „на первый разъ“ не замѣчать, что Инсаровъ обозначается передъ читателями „лишь въ блѣдныхъ и общихъ очертаніяхъ“. Ко всѣмъ этимъ справедливымъ замѣчаніямъ о блѣдности фигуры Инсарова критикъ могъ бы прибавить, что реальные, положительные подвиги, которыми художникъ старается обрисовать душевную силу своего героя,—всѣ эти подвиги производятъ впечатлѣніе по меньшей мѣрѣ курьезное. Подвиги Инсарова извѣстны: примиреніе соотчичей, для котораго потребовалась поѣздка за шестьдесятъ верстъ, и уничтоженіе цѣлаго горшка каши; столкновеніе грубіяна-нѣмца въ царицынскій прудъ; наконецъ, стяженіе любви Елены и рѣшительность въ такой моментъ, когда московская барышня предложила герою „взять“ ее. Послѣдній подвигъ, вѣроятно, считался авторомъ тоже героическимъ, такъ какъ большинство россійскихъ героевъ въ прежнихъ его повѣстяхъ обыкновенно въ такіе моменты пасовали и робѣли, а болгаринъ-то вотъ

не спасовалъ и не сробѣлъ, несмотря даже на болѣзненную слабость, чѣмъ и доказалъ преимущество своей энергіи передъ безхарактерностью россіянъ...

В. Буренинъ.

* * *

*) Инсаровъ, какъ изображенъ онъ въ романѣ, съ перваго разу вызываетъ нашу симпатію, онъ дѣятель, герой, отдавшій себя общему дѣлу — освобожденію родины. Онъ „частное всегда подчиняетъ общему“ (говоритъ про него Добролюбовъ) и эта „любовь къ общему дѣлу“ даетъ ему „силу спокойно выдерживать отдѣльныя обиды“.

Онъ спокоенъ, онъ владѣетъ собою, потому что знаетъ— куда идетъ. „У него есть дорога, есть цѣль“, пишетъ Елена въ своемъ дневникѣ; у него есть и вѣра въ свое дѣло, какъ справедливо указываетъ она-же въ письмѣ къ нему.

Когда онъ говоритъ о своей родинѣ, онъ (по свидѣтельству Елены)

„ростетъ, ростетъ, и лицо его хорошѣетъ, и голосъ какъ сталь, и нѣтъ, кажется, тогда на свѣтѣ такого человѣка, передъ кѣмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ—онъ дѣлалъ и будетъ дѣлать“.

Инсаровъ живетъ въ Москвѣ, учится, хлопочетъ о сближеніи русскихъ съ болгарами, переводитъ болгарскія пѣсни и лѣтописи, собираетъ матеріалы о восточномъ вопросѣ, составляетъ русскую грамматику для болгаръ, болгарскую для русскихъ. —Онъ уважаемъ своими соотечественниками въ Москвѣ, и служитъ связующимъ звеномъ между ними, судитъ ихъ въ ихъ распряхъ, отдавая имъ свое время даже для мелочныхъ ихъ нуждъ:

„То не пустяки, Елена Николаевна, говоритъ онъ, когда свои земляки замѣшаны. Тутъ отказаться грѣхъ... Наше время не намъ принадлежитъ... а всѣмъ, кому въ насъ нужда“.

Онъ готовится къ будущей великой дѣятельности на ро-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

динѣ, и когда настала минута этой дѣятельности,—„душа его загорѣлась“, говоритъ поэтъ.

Онъ „желѣзный человѣкъ“, по опредѣленію Берсенева,

„и въ то же время... въ немъ есть что-то дѣтское, искреннее, при всей его сосредоточенности и скрытности“.

Онъ „не застѣнчивъ“, потому что не эгоистъ. Онъ правдивъ, „на него положиться можно“,—онъ никогда не лжетъ, и ему лгать нельзя: ему „надо всегда говорить правду“; это почувствовала Елена при первомъ-же серьезномъ разговорѣ съ нимъ.

Однимъ словомъ, онъ человѣкъ состоятельный, человѣкъ дѣла. Это сказывается даже въ мелочахъ, напр., въ его поступкѣ съ пьянымъ нѣмцемъ, котораго онъ бросилъ въ воду.

„Сушь, сушь, а всѣхъ насъ въ порошокъ стереть можетъ. Онъ съ своею землею связанъ,—не то, что наши пустые сосуды“,

говоритъ про него Шубинъ. Онъ-же выражается, что у Инсарова „настоящій, живой, жизнью данный идеалъ“.

Берсеневъ „можетъ быть ученѣе его (пишетъ Елена въ Дневникѣ), можетъ быть даже умнѣе... Но, я не знаю, онъ передъ нимъ такой маленькій“.

И въ самомъ дѣлѣ „маленькими“, несостоятельными оказываются передъ Инсаровымъ русскіе люди въ романѣ: Берсеневъ, Шубинъ, не говоря уже о Курнатовскомъ.

Этотъ послѣдній тоже не герой слова, а человѣкъ „практическій“; но имъ управляетъ и руководитъ не возвышенная мысль, даже

„не чувство долга, а просто судебная честность и дѣльность безъ содержанія“.

Такимъ Инсаровъ изображается въ романѣ. На самомъ-же дѣлѣ онъ, по словамъ Незеленова, „просто очень ограниченъ, даже тупъ. Никакихъ признаковъ сколько-нибудь живого ума мы въ немъ не видимъ, и напротивъ — видимъ

признаки иного рода. У него нѣтъ, напримѣръ, отвлеченныхъ умственныхъ интересовъ: онъ занимается науками, образованіемъ только съ чисто-практическою цѣлью. На другой день послѣ переселенія его въ Кунцево

„Берсеневъ зашелъ къ нему и потолковалъ съ нимъ о Фейербахѣ. Инсаровъ слушалъ его внимательно, возражалъ рѣдко, но дѣльно; изъ возраженій его видно было, что онъ старался дать самому себѣ отчетъ въ томъ: нужно ли ему заняться Фейербахомъ или же можно обойтись безъ него“.

Онъ чрезвычайно упрямъ и прямолинеенъ. Онъ, говоритъ поэтъ,

„никогда не мѣнялъ никакого своего рѣшенія... Берсеневу, какъ коренному русскому человѣку, эта, болѣе чѣмъ нѣмецкая, аккуратность сначала казалась нѣсколько дикою, немножко даже смѣшною“.

Берсеневъ понимаетъ, что Инсарову и предлагать нельзя жить на дачѣ у пріятеля безплатно. — Упрямство выражается и въ мелочахъ. Переѣхавъ къ Берсеневу, онъ, разсказываетъ поэтъ,

„особенно долго возился... съ письменнымъ столомъ, который никакъ не хотѣлъ помѣститься въ назначенный для него простѣнокъ; но Инсаровъ, со свойственною ему молчаливою настойчивостью, добился своего“.

Время свое онъ дѣлитъ педантически аккуратно. Шубинъ предложилъ Берсеневу и Инсарову посвятить день прогулкѣ. Они согласились и отправились по берегу Москвы-рѣки.

„Инсаровъ выступалъ не спѣша, глядѣлъ, дышалъ, говорилъ и улыбался спокойно: онъ отдалъ этотъ день удовольствію и наслаждался вполнѣ. „Благоразумные мальчики такъ гуляютъ по воскресеньямъ“, шепнулъ Шубинъ Берсеневу на ухо“.

Когда Елена полюбила его, когда это замѣтили давно и Шубинъ, и Берсеневъ, онъ, самъ любившій ее, ни о чемъ не подозрѣваетъ, и не по смиренію (смиренія въ немъ совсѣмъ нѣтъ), а просто по отсутствію всякой проницательности, малѣйшей способности видѣть душу другого человѣка. Онъ очень удивился, когда Елена открыла ему свое чувство.

Онъ не умѣетъ отличить важнаго отъ мелочного: бросаніе нѣмца въ воду въ Царицынѣ представляется ему какимъ-то подвигомъ,—слишкомъ ужь онъ серьезно отнесся къ этому событію; для него совсѣмъ не существуетъ черты смѣшного, въ немъ вовсе нѣтъ юмора. Вотъ почему Шубинъ и смѣется:

„Ну, какъ же не герой: въ воду пьяныхъ нѣмцевъ бросаетъ“.

И замѣчательно, что не одинъ Шубинъ,—надъ этимъ подсмѣялся и Добролюбовъ, критикъ вообще, какъ извѣстно, сочувствующій Инсарову, подсмѣялся въ статьѣ о „Грозѣ“ Островскаго, гдѣ, вопреки своей прежней статьѣ о „Наканунѣ“, развѣнчиваетъ Инсарова.

Ядовито, но правдиво изобразилъ его Шубинъ въ одной своей статуэткѣ:

„Злѣе и остроумнѣе невозможно было ничего придумать (говоритъ Тургеневъ). Молодой болгаръ былъ представленъ бараномъ, поднявшимся на заднія ножки и склоняющимъ рога для удара. Тупая важность, задоръ, упрямство, неловкость, ограниченность—такъ и отпечатались на физіономіи „супруга овецъ тонкорунныхъ“, и между тѣмъ сходство было до того поразительно, несомнѣнно, что Берсеневъ не могъ не расхохотаться“.

Торжество „вѣчнаго, чистаго искусства“, сказалось въ этой статуэткѣ, какъ и въ группѣ, въ которой Шубинъ обличилъ самого себя, торжество надъ глупостью и надъ зломъ.

Еще менѣе симпатиченъ Инсаровъ со стороны нравственной, чѣмъ со стороны умственной.—Злоба есть одинъ изъ самыхъ характерныхъ его признаковъ. Она проявилась, напримѣръ, когда онъ бросилъ пьянаго нѣмца въ воду: „что-то недоброе, что-то опасное выступило у него“ тогда „на лицѣ“, говоритъ поэтъ.—Это смутило Елену:

„она очень испугалась въ первую минуту; потомъ ее поразило выраженіе его лица; потомъ она все размышляла“.

И вотъ къ какимъ соображеніямъ привели ее эти размышленія: она записала въ дневникѣ:

„Долго не забуду я вчерашней поѣздки. Какія странныя, новыя, страшныя впечатлѣнія! Когда онъ вдругъ взялъ этого великана и швырнулъ его, какъ мячикъ, въ воду, я не испугалась... но онъ меня испугался. И потомъ—какое лицо зловѣщее, почти жестокое! Какъ онъ сказалъ: выплыветъ! Это меня перевернуло. Стало быть, я его не понимала. И потомъ, когда всѣ смѣялись, когда я смѣялась, какъ мнѣ было больно за него!.. Да, съ нимъ шутить нельзя, и заступиться онъ умѣетъ. Но къ чему же эта злоба, эти дрожащія губы, этотъ ядъ въ глазахъ? Или, можетъ быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцомъ, и остаться кроткимъ и мягкимъ? Жизнь дѣло грубое, сказалъ онъ мнѣ недавно. Я повторила это слово Андрею Петровичу; онъ не согласился съ Д. Кто изъ нихъ правъ?“

Злобу вноситъ Инсаровъ и въ чистое дѣло любви къ родинѣ и освобожденія ея, злобу и месть. И личная месть дорога ему; мечту о ней лелѣетъ онъ въ сердцѣ, и только на-время частное его дѣло отступило на задній планъ передъ общимъ. — Елена спрашиваетъ его — встрѣтился ли онъ, когда ѣздилъ на родину, „съ тѣмъ человѣкомъ...“ (она намекаетъ на убійцу его отца):

„Елена Николаевна, началъ онъ... и голосъ его былъ тише обыкновеннаго, что́ почти испугало Елену: я понимаю, о какомъ человѣкѣ вы сейчасъ упомянули. Нѣтъ, я не встрѣтился съ нимъ, и слава Богу! Я не искалъ его. Я не искалъ его не потому, чтобъ я не почиталъ себя въ-правѣ убить его,—я бы очень спокойно убилъ его,—но потому, что тутъ не до частной мести, когда дѣло идетъ о народномъ, общемъ отмщеніи... или нѣтъ, это слово не годится... когда дѣло идетъ объ освобожденіи народа. Одно помѣшало бы другому. Въ свое время и то не уйдетъ... И то не уйдетъ, повторилъ онъ и покачалъ головой“.

Въ продолжающемся затѣмъ разговорѣ о Болгаріи, Инсаровъ, обѣщая Еленѣ познакомить ее съ исторіей своего народа, говоритъ:

„Я увѣренъ, вы полюбите насъ: вы всѣхъ притѣсненныхъ любите. Если-бы вы знали, какой нашъ край благодатный! А между тѣмъ его топчутъ, его терзаютъ, подхватилъ онъ съ невольнымъ движеніемъ руки, и лицо его потемнѣло:—у насъ все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; какъ стадо гоняютъ насъ поганые турки, насъ рѣжутъ...

— Дмитрій Никанорычъ! воскликнула Елена.

Онъ остановился.

— Извините меня. Я не могу говорить объ этомъ хладнокровно“.

Инсаровъ выразился-бы точнѣе, если-бы сказалъ: не могу говорить безъ злобы и ненависти. Очевидно, что эта ненависть и испугала Елену. И ясно, что Инсарову, совсѣмъ непонятна, для него вполнѣ недоступна мысль поэта объ освободителѣ своей родины:“ „Только чистый можетъ святое дѣло честно совершить“ *). Чистоты духа въ Инсаровѣ нѣтъ.

Здѣсь открывается передъ нами еще одна темная черта его нравственнаго образа: перевѣсъ въ немъ, ощутительный, несомнѣнный перевѣсъ тѣла надъ духомъ. Есть въ немъ что́-то грубо животное, чувственное. — Онъ положительно отталкиваетъ насъ отъ себя въ той сценѣ съ Еленой, когда она, любящая его, радостная, счастливая, что онъ выздоравливаетъ, пришла къ нему. Она начала говорить ему о Шубинѣ, о Курнатовскомъ, о томъ, что́ она дѣлала во время его болѣзни...

„Онъ слушалъ ее (разсказываетъ поэтъ), слушалъ, то блѣднѣя, то краснѣя... онъ нѣсколько разъ хотѣлъ остановить ее, и вдругъ выпрямился.

— Елена, сказалъ онъ ей какимъ-то страннымъ и рѣзкимъ голосомъ, — оставь меня, уйди.

— Какъ? промолвила она съ изумленіемъ. Ты дурно себя чувствуешь? прибавила она съ живостью.

— Нѣтъ... мнѣ хорошо... но, пожалуйста, оставь меня.

— Я тебя не понимаю. Ты меня прогоняешь?.. Что это ты дѣлаешь? проговорила она вдругъ: онъ склонился съ дивана почти до полу, и приникъ губами къ ея ногамъ. — Не дѣлай это, Дмитрій... Дмитрій...

Онъ приподнялся.

— Такъ оставь меня! Вотъ видишь ли, Елена, когда я сдѣлался боленъ, я не тотчасъ лишился сознанія; я зналъ, что я на краю гибели; даже въ жару, въ бреду я понималъ, я смутно чувствовалъ, что это смерть ко мнѣ идетъ, я прощался съ жизнью, съ тобой, со всѣмъ, я разставался съ надеждой... И вдругъ это возрожденіе, этотъ свѣтъ послѣ тьмы, ты... ты... возлѣ меня, у меня... твой голосъ, твое дыханіе... Это свыше силъ моихъ! Я

*) „Козьма Захарьичъ Мининъ-Сухорукъ“, А. Н. Островскаго.

чувствую, что я люблю тебя страстно, я слышу, что ты сама называешь себя моею, я ни за что не отвѣчаю... Уйди!..

...Зачѣмъ ты пришла ко мнѣ теперь, когда я слабъ, когда я не владѣю собою, когда вся кровь моя зажжена... ты моя, говоришь ты... ты меня любишь...

Инсаровъ напрасно сваливаетъ съ больной головы на здоровую,—съ себя на болѣзнь, на слабость. То-же самое тупоумно-чувственное начало мы видимъ въ немъ и раньше болѣзни, въ первое посѣщеніе его Еленой. Онъ не ожидалъ того посѣщенія; онъ глядѣлъ на Елену какъ очарованный...

„Сядь же, проговорила она, не поднимая на него глазъ, и указывая ему на мѣсто возлѣ себя.

Инсаровъ сѣлъ, но не на диванъ, а на полъ у ея ногъ.

— На, сними съ меня перчатки, промолвила она неровнымъ голосомъ. Ей становилось страшно.

Онъ принялся сперва растегивать, потомъ стаскивать одну перчатку, стащилъ ее до половины, и жадно прильнулъ губами къ забѣлѣвшей подъ нею тонкой и нѣжной кисти.

Елена вздрогнула и хотѣла отклонить его другой рукой, онъ началъ цѣловать другую руку. Елена потянула ее къ себѣ, онъ откинулъ голову, она посмотрѣла ему въ лицо, нагнулась—и губы ихъ слились...

Прошло молчаніе... Она вырвалась, встала, шепнула: „нѣтъ, нѣтъ“ и быстро подошла къ письменному столу.

— Вѣдь, я здѣсь хозяйка, для меня не должно быть у тебя тайны, проговорила она, стараясь казаться безпечной и становясь къ нему спиной.—Сколько бумагъ! Это что за письма?

Инсаровъ наморщилъ брови. — Эти письма? промолвилъ онъ, вставая съ полу.—Ты можешь ихъ прочесть“.

Очевидно, Инсаровъ не понимаетъ чистаго чувства, и Шубинъ вдвойнѣ правъ, изобразивши его въ животномъ образѣ барана.

Таковъ въ „Наканунѣ“ состоятельный человѣкъ и герой, долженствующій посрамить собою, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, недѣятельныхъ и несостоятельныхъ русскихъ людей. — Отношенія Тургенева къ нему, къ этому герою, къ Инсарову, видимо объективны, безпристрастны. Но несомнѣнно чувствуется въ романѣ, что

сердце поэта гораздо больше лежитъ къ Шубину и къ Берсеневу, чѣмъ къ этому человѣку.

А. Незеленовъ

Берсеневъ.

*) Берсеневъ, человѣкъ хорошо воспитанный, кандидатъ Московскаго Университета, съ лицомъ, выражающимъ привычку мыслить и доброту. Г-жа Туръ когда-то сдѣлала подобное лицо героемъ своего большого романа „Племянница“. Это представитель тѣхъ жрецовъ науки, которыми, по словамъ Шубина, справедливо гордится классъ средняго русскаго дворянства, будущій посредникъ между наукой и россійской публикой. Онъ учится много, работаетъ усердно, но въ немъ нѣтъ этой пылкости Шубина, этой возможности отдаться надолго, страстно, съ забвеніемъ самого себя впечатлѣнію. Онъ чувствуетъ, что въ немъ зарождается любовь къ Еленѣ, онъ груститъ и страдаетъ; въ немъ уже есть зародыши той рефлексіи, которая губитъ жизнь, уничтожаетъ наслажденіе, не допускаетъ беззавѣтно отдаться чувству. Всего яснѣе контрасты обѣихъ натуръ выражаются во взглядѣ на природу у Шубина и у Берсенева. Когда первый радостно вдыхаетъ въ себя это дыханіе жизни, разлитой повсюду, Берсеневъ чувствуетъ безпокойство, тревогу, грусть; онъ силится размышленіемъ объяснить себѣ свое душевное состояніе. Когда подъ вліяніемъ вечера, проведеннаго съ Еленой, онъ возвращается домой, и сердце его настроено на любовь, онъ садится за фортепьяно въ своей комнаткѣ и подъ аккорды звуковъ, выражающихъ чувство, онъ плачетъ горькими слезами; да, онъ умѣетъ плакать. Но тотчасъ же, онъ умѣетъ подавить въ себѣ зарожденную тревогу, умѣетъ закрыть фортепьяно, заглушить звуки, поющіе въ сердцѣ и перейти къ тому, что, по его понятіямъ, составляетъ его призваніе въ жизни. Онъ можетъ раскрыть Раумерову *Исторію Гогенштауфе-*

* „Русское Слово“ 1860 г., № 5. Статья Н. К—аго.

новъ именно на той страницѣ, на которой остановился по утру, и продолжать свое изученіе дальше, перейти отъ Раумера къ Гроту и т. д. Что-то есть порядочное, нѣмецкое, въ этомъ подчиненіи себя идеалу долга, призванію. Любимая мечта его, цѣль его жизни—сдѣлаться профессоромъ. „Какое же можетъ быть лучше призваніе, говоритъ онъ Еленѣ,—подумайте, пойти по слѣдамъ Тимоѳея Николаевича?“ Одна мысль о подобной дѣятельности наполняетъ его радостью и смущеніемъ. Онъ не гордъ и не самоувѣренъ, онъ сознаетъ все, чего не достаетъ ему, и мечтаетъ получить позволеніе съѣздить за границу года на три, четыре и тамъ поучиться въ германскихъ университетахъ. Его идеалъ — эта дѣятельность слова въ аудиторіи, этотъ свѣтъ мысли постепенно пробивающій густую тьму, эта просвѣщенная борьба со зломъ, которой онъ хочетъ отдать всю свою жизнь, выбирая орудіемъ борьбы — науку. Онъ говоритъ прекрасно, сдержанно, съ сосредоточенною мыслію. Умъ и сердце слышатся въ словахъ его; Шубину объясняетъ онъ красоту, которую понимаетъ какъ эстетически-развитый человѣкъ, а не какъ художникъ, и Елена слушаетъ его со вниманіемъ, не отводя взора отъ его поблѣднѣвшаго лица, отъ глазъ его, дружелюбныхъ и кроткихъ. При разговорѣ съ нимъ „душа ея раскрывалась, и что-то нѣжное, справедливое, хорошее, не то вливалось въ ея сердце, не то выростало въ немъ.“ Берсеневъ не эпикуреецъ. Онъ не жаждетъ счастія, подобно Шубину; онъ смотритъ на счастіе, какъ на эгоизмъ; у него есть кой-что повыше этого личнаго счастія. Онъ говоритъ Шубину, что есть на свѣтѣ слова, соединяющія людей, заставляющія ихъ подавать другъ другу руки, что слова эти: искусство, родина, наука, свобода, справедливость—выше счастія, что любовь, которая для Шубина есть наслажденіе, по его понятію, должна быть жертвою, что все назначеніе нашей жизни — *поставить себя нумеромъ вторымъ* (въ противоположность эгоизму художника), и съ этой точки зрѣнія подчиненія себя общему благу, забвенія своей личности, онъ смотритъ на будущую свою дѣятельность. Берсеневъ су-

щество серьезное, но абстрактное, идеалистъ; его цѣль не близка; она далеко; за его словомъ не послѣдуетъ тотчасъ же примѣненія, дѣйствія. Берсеневъ сознательно добръ. Елена въ дневникѣ сравниваетъ его разъ съ Инсаровымъ и говоритъ, что Берсеневъ, можетъ быть, ученѣе его, можетъ быть, умнѣе, „но я не знаю, прибавляетъ она, *онъ передъ нимъ такой маленькій*“. Самоотверженіе его тогда, когда узнаетъ онъ о любви Елены къ Инсарову, когда нейдетъ ему въ голову Раумеръ, — трогательно. Заботы у постели больного Инсарова, роль посредника между нимъ и Еленой, которую любилъ онъ, роль, вѣроятно, стоившая ему тяжелыхъ часовъ глухого страданія, вызываютъ къ нему участіе. Лучше всего выражается его характеръ въ слѣдующихъ словахъ его: „Не даромъ мнѣ говаривалъ отецъ: мы съ тобой, братъ, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, — мы труженики, труженики и труженики. Надѣвай же свой кожаный фартукъ, труженикъ, да становись же за свой рабочій станокъ, въ своей темной мастерской! А солнце пусть сіяетъ другимъ! И въ нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастіе!“ Люди, подобные Берсеневу, носятъ въ груди своей клятву рыцарей Круглаго Стола; это такъ называемые *піонеры будущаго*, и, конечно, мы не откажемъ имъ въ нашемъ глубокомъ, полномъ сочувствіи, если только призваніе свое выполняютъ они честно и искренно, если они не сворачиваютъ съ своей дороги и ни съ кѣмъ никогда не дѣлаютъ компромиссовъ. Образецъ, приводимый Берсеневымъ, по слѣдамъ котораго онъ хочетъ идти — Грановскій — есть типъ этихъ чистыхъ рыцарей, которымъ ввѣренъ Грааль науки, бережно хранимый ими въ глухомъ лѣсу, посреди дикихъ звѣрей. Но время Грановскаго, несмотря на всю близость его къ намъ, не похоже на настоящее время, и мы увѣрены, что Грановскій теперь былъ бы инымъ. Въ этомъ служеніи абстрактному идеалу науки, въ этомъ ожиданіи отдаленныхъ плодовъ ея, въ этой медленной постройкѣ таинственнаго зданія — есть что-то массонское, мистическое. Молодая жизнь не терпитъ

никакого мистицизма. Ея горячія слезы отираются дѣятельною любовью; ея раны залѣчиваются дѣйствительными хирургами, а не теоретиками съ художественно-изящными фразами на устахъ. Ars longa, vita brevis—говоритъ опошленная употребленіемъ пословица, и жизнь не ждетъ, какъ не дожидалась Елена, можетъ быть, сначала чувствовавшая влеченіе къ Берсеневу, того времени, когда онъ кончитъ свое ученіе на казенный счетъ въ Парижѣ, Гейдельбергѣ, Берлинѣ и напечатаетъ статьи свои: *О нѣкоторыхъ особенностяхъ древне-германскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній и о значеніи городского начала въ вопросѣ цивилизаціи*, написанныя языкомъ нѣсколько тяжелымъ и испещреннымъ иностранными словами. Эти названія сочиненій Берсенева звучатъ какъ пронія: такъ далеки они отъ жизни, такъ ясно показываютъ, въ какую отдаленную сферу кинулся авторъ ихъ. А Елена поѣхала туда, гдѣ бьется настоящая жизнь, гдѣ народъ подымается противъ своихъ вѣковыхъ притѣснителей—турокъ, гдѣ у каждаго на устахъ слова: родина, независимость...

„Русское Слово“. Статья Н. К—аго.

* * *

*) Разсуждая о благородныхъ принципахъ Берсенева и о способности къ самоотверженію, Добролюбовъ говоритъ, что онъ (Берсеневъ) „выражаетъ искреннюю готовность пожертвовать своимъ счастьемъ для одного изъ тѣхъ словъ, которыя онъ называетъ соединяющими“. Этимъ онъ долженъ привлечь сочувствіе такой дѣвушки, какъ Елена. Но тутъ-же видно и то, почему онъ не можетъ овладѣть всею ея душою, всей полнотой ея жизни. Это одинъ изъ героевъ пассивныхъ добродѣтелей, человѣкъ, умѣющій многое перенести, многимъ пожертвовать, вообще выказать благородное поведеніе, когда приведетъ къ тому случай; но онъ не сумѣетъ и не посмѣетъ опредѣлить себя на широкую

*) Н. Добролюбовъ. Сочиненія Добролюбова, т. 3. Также „Современникъ“ 1860 г., № 3.

и смѣлую дѣятельность, на вольную борьбу, на самостоятельную роль въ какомъ-нибудь дѣлѣ... Берсеневъ весьма хорошій русскій дворянинъ, воспитанный въ началахъ долга и пустившійся потомъ въ ученость и философію. Онъ гораздо дѣльнѣе и надежнѣе Шубина, и если его повести по какому-нибудь пути, то онъ пойдетъ охотно и прямо. Но самъ вести онъ не можетъ, не только другихъ, но даже и себя самого; иниціативы нѣтъ у него въ натурѣ, и онъ не успѣлъ ее пріобрѣсти ни въ воспитаніи, ни въ послѣдующей жизни. Елена сначала почувствовала симпатію къ нему за то, что онъ добрый, и все о дѣлѣ говоритъ. Она даже совѣстится передъ нимъ своего невѣжества, по тому случаю, что онъ все приноситъ ей книги, которыхъ она читать не можетъ. Но совершенно привязаться къ нему, отдать ему свою душу, свою судьбу она не можетъ: она еще прежде, чѣмъ увидѣла Инсарова, инстинктивно поняла, что Берсеневъ не то, чего ей нужно.

Н. Добролюбовъ.

* * *

*) Берсеневъ, — „будущій посредникъ между наукой и россійскою публикой“, „добросовѣстно-умѣренный энтузіастъ“ (какъ опредѣляетъ его Шубинъ), —очень далекъ отъ настоящаго энтузіазма, отъ восторженнаго увлеченія идеей и жизнью. Онъ узокъ и сухъ. Онъ весь отдался наукѣ; но и въ науку не внесетъ увлеченія, не внесетъ страсти, хоть и любитъ ее, хоть и съ сердечнымъ участіемъ (конечно, умѣреннымъ) написалъ, въ концѣ романа, свои трактаты: „О нѣкоторыхъ особенностяхъ древне-германскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній“ и „О значеніи городского начала въ вопросѣ цивилизаціи“.

Человѣкъ умный и живой, Берсеневъ чуждъ, однако, всякой иниціативы, вялъ душою.— Благоговѣйно чтя память своего отца, человѣка оригинальнаго, но отвлеченнаго, „иллюмината, шеллингіанца, стараго геттингенскаго сту-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

дента, автора рукописнаго сочиненія „о проступленіяхъ или прообразованіяхъ духа въ мірѣ“—сочиненія, въ которомъ шеллингіанизмъ, сведенборгіанизмъ и республиканизмъ смѣшались самымъ оригинальнымъ образомъ“, — Берсеневъ не претендуетъ на бо́льшее, не мечтаетъ ни о чемъ высшемъ, какъ быть продолжателемъ отца въ дѣлѣ любви и стремленія къ знанію, да еще идти по стопамъ своего уважаемаго профессора Тимоѳея Николаевича:

„Помилуйте (говоритъ онъ Еленѣ), пойти по слѣдамъ Тимоѳея Николаевича... Одна мысль о подобной дѣятельности наполняетъ меня радостью и смущеніемъ, да... смущеніемъ, котораго... которое происходитъ отъ сознанія моихъ малыхъ силъ“.

Берсеневъ чувствуетъ, чувствуетъ искренно и сердечно, но тоже вяло. Была минута, когда Елена, любимая имъ дѣвушка, готова была полюбить его, — и онъ догадывался объ этомъ и Шубинъ о томъ-же говорилъ ему, когда они ночью шли отъ Стаховыхъ къ домику Берсенева.

А. Незеленовъ.

Шубинъ.

*) Непосредственная, художественная, блестящая натура представляется намъ въ лицѣ художника-скульптора Шубина. Здоровье и молодость, безпечность, самонадѣянность, избалованность невольно привлекаютъ къ нему. Какъ горячо, какъ страстно говоритъ онъ о любви, которую проситъ молодость, объ этой жаждѣ счастья, которою полна душа его. „Мы молоды, не уроды, не глупы, говоритъ онъ Берсеневу, мы завоюемъ себѣ счастіе!“ „Какіе безмолвные восторги пилъ бы я въ этихъ ночныхъ струяхъ, подъ этими звѣздами, подъ этими алмазами, если бъ я зналъ, что меня любятъ“, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ. Дальше этого счастья, эгоистическаго, но классическаго, дальше этого греческаго идеала наслажденія не идетъ Шубинъ. Онъ какъ-то художественно, порывисто влюбленъ въ Елену

*) „Русское Слово“ 1860 г., № 5. Статья Н. К—аго.

и въ то же время гонится за красивой горничной Аннушкой, и отбиваетъ у отца Елены Августину Христіановну. Это типъ такъ называемой широкой натуры, доведенный здѣсь до изящества, до граціи, освобожденный отъ всего грубаго, дикаго, удалого, исполненный той сдержанной, законной гармоніей, которая проникаетъ все существо Шубина. Ему хочется свѣта, простора, Италіи, обѣтованной земли художниковъ. Это облагороженный эпикуреецъ, ревниво ограждающій свое счастіе отъ всякаго облачка. Онъ не допускаетъ малѣйшей тѣни на этомъ свѣтломъ небѣ изящнаго наслажденія жизнію, и когда Берсеневъ, въ ясный вечеръ, разсказываетъ Еленѣ исторію отца своего, послѣдователя шеллинговой философіи, онъ проситъ говорить о соловьяхъ, о розахъ, о молодыхъ глазахъ и улыбкахъ. Онъ ничего еще не сдѣлалъ, но въ немъ множество задатковъ; геніальная натура его сказывается въ изящныхъ статуеткахъ, гдѣ мѣтко подмѣчены имъ выраженіе лица и внутренній міръ его знакомыхъ. Онъ и кончастъ въ повѣсти не дурно. Мы прощаемся съ нимъ въ Римѣ, гдѣ онъ весь отдался своему искусству, работаетъ много и считается однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ ваятелей. Шубинъ — представитель цѣлаго поколѣнія молодыхъ русскихъ людей, къ счастію, отживающаго теперь, которые, вслѣдствіе независящихъ отъ нихъ обстоятельствъ, выбрали своею дѣятельностію изящное наслажденіе жизнію, а идеаломъ для подражанія художественную фигуру Вильгельма Мейстера. Въ немъ много обаянія, *шарму*, какъ говоритъ онъ самъ. Такія лица нравятся женщинамъ съ эпикурейскими наклонностями, но на Елену онъ не могъ подѣйствовать. Она пишетъ въ своемъ дневникѣ, что ей не нужно его любви; она прямо говоритъ ему, что не полюбитъ художника. Онъ паряденъ, какъ бабочка, по словамъ ея, да любуется своимъ нарядомъ, чего бабочки не дѣлаютъ. Кромѣ этой изящной внѣшности, подвижности, блеска, у Шубина прекрасное сердце, прекрасная душа. Въ немъ такъ много любви ко всему окружающему; эту любовь, это человѣческое участіе онъ вноситъ въ домашнія ссоры

семейства, гдѣ живетъ; онъ улыбкой прогоняетъ вздохъ, шуткой сглаживаетъ набѣжавшія морщины на лобъ близкаго ему человѣка; онъ шутитъ надъ грубыми выходками и пристыжаетъ; онъ является спасителемъ въ затруднительныя минуты. Онъ красиво уменъ, но ни во что не вѣритъ, потому что „въ самого себя вѣрить нельзя“, говоритъ Елена. Въ сравненіи съ Инсаровымъ онъ вовсе не дрянь, но Елена его никогда не любила, какъ сама признается. Что для ея натуры, съ вѣчною жаждою дѣятельнаго добра, могла значить эта красивая, блестящая личность, съ ея проніей и эпикурейской бездѣятельностію? Намъ укажутъ на римскія работы Шубина и скажутъ, что онъ вовсе не бездѣятеленъ, но эти работы были его личнымъ дѣломъ, прихотью его художнической души, послѣобѣденнымъ кейфомъ. Играй искусство въ настоящемъ мірѣ ту роль, какую играло оно въ XIV, XV, XVI вѣкахъ, сдѣлайся оно главнымъ содержаніемъ цѣлой эпохи, такъ что художникъ является живымъ сосудомъ цѣлаго міра общественныхъ идей и стремленій, и будь Шубинъ однимъ изъ такихъ художниковъ, воплотившихъ въ свои созданія современную мысль родины, — конечно, Елена имѣла-бы полное право полюбить его. Но теперь искусство служитъ *для украшенія жизни;* связи съ народной исторіей оно не имѣетъ никакой, и Шубина могла полюбить только лѣнивая, жаждущая наслажденія женщина, а не строгая, дѣятельная Елена.

„Русское Слово“. Статья Н. К—ало.

* * *

*) Шубинъ (прямая противоположность Берсеневу, артистъ, даровитый художникъ и увлекающійся человѣкъ) грѣшитъ недостатками другого рода: онъ вѣтренъ, легкомысленъ, неоснователенъ.

„Я люблю говорить (записала Елена въ своемъ дневникѣ про Берсенева и Шубина) съ Андреемъ Петровичемъ: никогда ни слова

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

о себѣ, все о чемъ нибудь дѣльномъ, полезномъ. Не то, что Шубинъ. Шубинъ наряденъ, какъ бабочка, да любуется своимъ нарядомъ: этого бабочки не дѣлаютъ“.

Самолюбивая жажда счастья, въ самомъ дѣлѣ, владѣетъ душой Шубина, при всемъ его безпредѣльномъ, дѣтскомъ добродушіи.

„И отъ лѣса, и отъ рѣки, и отъ земли, и отъ неба, отъ всякаго облачка, отъ всякой травки я жду (говоритъ онъ Берсеневу), я хочу счастія, я во всемъ чую его приближеніе, слышу ихъ призывъ. „Мой богъ — богъ свѣтлый и веселый!.. Я было такъ началъ одно стихотвореніе... Счастья, счастья! пока жизнь не прошла, пока всѣ наши члены въ нашей власти, пока мы идемъ не подъ-гору, а въ гору!..

Будто нѣтъ ничего выше счастья?., (возразилъ ему Берсеневъ). И любовь соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслажденіе, любовь-жертва.

Шубинъ нахмурился.

— Это хорошо для нѣмцевъ; я хочу любить для себя; я хочу быть нумеромъ первымъ“, сказалъ онъ.

Онъ любитъ Елену, пламенно жаждетъ ея сочувствія; но въ то-же время легкомысленно увлекается пустенькой Зоей, надъ которой самъ-же смѣется.

Елена бесѣдуетъ съ Берсеневымъ объ отцѣ послѣдняго, о философіи Шеллинга...

„Что за охота, помилуйте (перебиваетъ ихъ разговоръ Шубинъ), теперь, въ такую погоду, подъ этими деревьями, толковать о философіи? Давайте лучше говорить о соловьяхъ, о розахъ, о молодыхъ глазахъ и улыбкахъ.

— Да (съ досадой замѣчаетъ ему Елена) и о французскихъ романахъ, о женскихъ тряпкахъ.

— Пожалуй, и о тряпкахъ (возражаетъ Шубинъ), если онѣ красивы.

— ...Позвольте васъ спросить (говоритъ ему на это Елена), при такомъ образѣ мыслей, зачѣмъ вы нападаете на Зою? Съ ней особенно удобно говорить о тряпкахъ и о розахъ“.

Шубинъ обижается на слова Елены, на то, что она отсылаетъ его къ Зоѣ. Но въ тотъ-же вечеръ, провожая Берсенева, онъ сознается своему другу (правда, съ искреннимъ огорченіемъ), что потерялъ теперь надежды на взаим-

ность Елены, между прочимъ потому, что она надняхъ застала его „цѣлующимъ руки у Зои“.

„У Зои?

— Да, у Зои. Что прикажешь дѣлать? У нея плечи такъ хороши.

Плечи?

— Ну, да, плечи, руки, не все ли равно? Елена застала меня посреди этихъ свободныхъ занятій послѣ обѣда, а передъ обѣдомъ я въ ея присутствіи бранилъ Зою. Елена, къ сожалѣнію, не понимаетъ всей естественности подобныхъ противорѣчій“.

У Шубина есть увлеченія, пожалуй, и еще пониже: въ тотъ-же самый вечеръ, тотчасъ послѣ слезъ Шубина о безнадежности своей любви, Берсеневъ становится свидѣтелемъ сцены отношеній своего друга къ Аннушкѣ. Они проходили мимо мелочной лавки; дѣвушка, съ виду горничная, стояла тамъ спиной къ порогу и торговалась съ хозяиномъ.

Шубинъ глянулъ во внутренность лавки, остановился и кликнулъ: Аннушка! Дѣвушка живо обернулась. Показалось миловидное, немножко широкое, но свѣжее лицо, съ веселыми карими глазами и черными бровями. — „Аннушка!“ повторилъ Шубинъ. Дѣвушка всмотрѣлась въ него, испугалась, застыдилась—и не кончивъ покупки, спустилась съ крылечка, проворно скользнула мимо и, чуть-чуть озираясь, пошла черезъ дорогу, налѣво... а Шубинъ обратился къ Берсеневу со словами: „это... это, вотъ видишь... тутъ есть у меня знакомое семейство... такъ это у нихъ... ты не подумай...“ и не докончивъ рѣчи (онъ) побѣжалъ за уходившею дѣвушкой.

— Утри, по крайней мѣрѣ, свои слезы, крикнулъ Берсеневъ, и не могъ удержаться отъ смѣха“.

Елена совершенно справедливо опредѣлила однажды Шубина ему самому:

„Вы... я побожиться готовъ, не вѣрите въ мое раскаяніе (сказалъ онъ).

— Нѣтъ, Павелъ Яковлевичъ, я вѣрю въ ваше раскаяніе и въ ваши слезы я вѣрю (замѣтила она). Но мнѣ кажется, самое ваше раскаяніе васъ забавляетъ, да и слезы тоже“.

И въ области своего искусства, которое такъ душевно,

такъ искренно любитъ, Шубинъ не удерживается отъ легкомысленныхъ постороннихъ увлеченій.

„Когда же, Боже мой, поѣду я въ Италію? когда... (восклицаетъ онъ въ бесѣдѣ съ Берсеневымъ).

— То есть, ты хочешь сказать—въ Малороссію? (иронически перебиваетъ тотъ).

— Стыдно тебѣ, Андрей Петровичъ, упрекать меня въ необдуманной глупости, въ которой я, и безъ того, горько раскаиваюсь. Ну, да, я поступилъ какъ дуракъ: добрѣйшая Анна Васильевна дала мнѣ денегъ на поѣздку въ Италію, а я отправился къ хохламъ ѣсть галушки, и...

— Не договаривай, пожалуйста, перебилъ Берсеневъ.

— И, все-таки, я скажу, что эти деньги не были истрачены даромъ. Я увидалъ тамъ такіе типы, особенно женскіе... Конечно, я знаю: внѣ Италіи нѣтъ спасенія!

— Ты поѣдешь въ Италію, проговорилъ Берсеневъ, не оборачиваясь къ нему, — и ничего не сдѣлаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаемъ мы васъ!“

И Берсеневъ, если не вполнѣ, такъ отчасти правъ въ этомъ строгомъ приговорѣ и предсказаніи. Шубинъ не учился своему искусству какъ слѣдуетъ: не хватало у него терпѣнья и выдержки; поступилъ было онъ въ университетъ, на медицинскій факультетъ, надѣясь познакомиться съ анатоміей, — но и тутъ бросилъ дѣло на полдорогѣ. И онъ не достигъ въ искусствѣ того, чего можно было-бы ожидать отъ его даровитости. Въ концѣ романа мы видимъ его въ Италіи.

А. Незеленовъ.

Курнатовскій.

*) Это новый видъ Паншина, только безъ свѣтскихъ и художественныхъ талантовъ, и болѣе дѣловой. Онъ очень честенъ и даже великодушенъ; въ доказательство его великодушія, Стаховъ, прочащій его въ женихи Еленѣ, приводитъ фактъ, что онъ, какъ только достигъ возможности безбѣдно существовать своимъ жалованьемъ, тотчасъ отка-

*) Н. Добролюбовъ. Сочиненія Добролюбова, т. 3. Также „Современникъ“ 1860 г., № 3.

зался въ пользу братьевъ отъ ежегодной суммы, которую назначалъ ему отецъ. Вообще въ немъ много хорошаго: это признаетъ даже Елена, изображающая его въ письмѣ къ Инсарову.

Н. Добролюбовъ.

Уваръ Ивановичъ.

*) Уваръ Ивановичъ, „представитель хорового начала“, „великій философъ земли русской“ „черноземная, сила“, „фундаментъ общественнаго зданія“ по опредѣленію Шубина, выражаетъ собою, своей грандіозной фигурой, крѣпкія, твердыя, надежныя основы русской общественной жизни, основы, съ которыхъ ей не сорваться, какъ ни уклоняйся она въ разныя стороны, которыя удержатъ ее въ границахъ истины и правды. — Уваръ Ивановичъ лежитъ почти неподвижно на своемъ диванѣ „самсонѣ“; но онъ все видитъ и слышитъ и все понимаетъ,—и когда нужно, когда обратятся къ нему, онъ укажетъ истинный путь: онъ останавливаетъ, напр., самолюбивый, легкомысленный порывъ Шубина, когда тотъ, по поводу Инсарова и Елены, замечталъ было о своей будущей славѣ, останавливаетъ словами здраваго смысла:

„далека пѣсня... о другихъ рѣчь, а ты... того... о себѣ“;

но онъ-же любитъ Шубина, ибо понимаетъ его даровитость, цѣнитъ его способности. И великая честь Шубину, что и онъ любитъ и цѣнитъ Увара Ивановича, — ручательство, что творческія силы русскаго общества (представителемъ которыхъ служитъ въ романѣ Шубинъ) стоятъ на почвѣ, на твердой народной почвѣ, хоть и отклоняются порою въ сторону.

По поводу отъѣзда Елены изъ Россіи Шубинъ бесѣдуетъ съ своимъ старымъ другомъ.

„Нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри“ (говоритъ онъ скорбно)... Что-жъ это, Уваръ Ивановичъ? Когда-жъ наша придетъ пора? Когда у насъ народятся люди?

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

— Дай срокъ, отвѣтилъ Уваръ Ивановичъ—будутъ.

— Будутъ? Почва! черноземная сила! ты сказала: будутъ. Смотрите же, я запишу ваше слово“.

Будутъ у насъ люди, — въ этой идеѣ весь смыслъ романа, тотъ смыслъ, о которомъ говоритъ и самое заглавіе его—„Наканунѣ“.

Если-бы Елена, прежде окончательнаго рѣшенія, обратилась къ Увару Ивановичу, — онъ бы открылъ ей истину: онъ-бы сказалъ ей, что она не должна разрывать съ родиной, что надо терпѣливо и смиренно подождать, что не слѣдуетъ увлекаться себялюбивымъ порывомъ къ отвлеченной дѣятельности и личному счастью; онъ бы открылъ ей глаза и на Инсарова.

Въ концѣ романа, когда все уже кончилось для Елены, „кончилась (по слову поэта) маленькая игра жизни... ея легкое броженіе, и настала очередь смерти“, — Шубинъ вновь задалъ Увару Ивановичу прежній вопросъ—вопросъ о томъ, что̀ ждетъ насъ впереди.

„Помните (писалъ онъ ему изъ Италіи), что̀ вы мнѣ сказали въ ту ночь, когда сталъ извѣстенъ бракъ бѣдной Елены, когда я сидѣлъ на вашей кровати и разговаривалъ съ вами? Помните, я спрашивалъ у васъ тогда, будутъ ли у насъ люди? и вы мнѣ отвѣчали: „будутъ“. О, черноземная сила! И вотъ теперь я отсюда, изъ моего „прекраснаго далека“, снова васъ спрашиваю:— ну что же, Уваръ Ивановичъ, будутъ?“

— Уваръ Ивановичъ поигралъ перстами (говоритъ поэтъ) и устремилъ въ отдаленіе свой загадочный взоръ“.

Что значитъ это теперешнее молчаніе Увара Ивановича? находитъ ли онъ лишнимъ повторять разъ имъ сказанное, считая его неизмѣннымъ и непреложнымъ? или онъ думаетъ, что не будутъ у насъ люди, если Елены станутъ уходить изъ русской земли, подрывая тѣмъ ея силы, если Шубины начнутъ работать на иностранный ладъ, отрываясь отъ почвы.

Должно быть оба смысла заключаются въ знаменательномъ молчаніи „великаго философа русской земли“, „представителя хорового начала“.

А. Незеленовъ.

„ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ“.

*) „Первая любовь“ не заключаетъ въ себѣ общественныхъ типовъ и, такъ сказать, вся состоитъ изъ „поэзіи“. Фабула сбивается на истинное происшествіе, но вы не въ претензіи за это, вамъ многое родственно въ повѣсти, вы многое и сами испытали. Своеобразная личность княжны Зинаиды нѣсколько смахиваетъ на Асю, но въ этой больше оригинальности, она не кокетничаетъ, чего никакъ однакоже нельзя отнять отъ предмета страсти многочисленныхъ кавалеровъ, увивающихся за хорошенькой княжной... Въ ряду другихъ женскихъ портретовъ Тургенева княжна Засѣкина занимаетъ не послѣднее мѣсто по своей симпатичности, но „культурныхъ“ элементовъ въ ней очень мало, даже меньше, чѣмъ у Аси. Если не гнаться за типами, а удовольствоваться характерами, то княжна не лишена интереса, хотя характеръ ея далеко не исчерпанъ Тургеневымъ.

С. Венгеровъ.

* * *

**) „Первая любовь“, не касаясь тяжелыхъ и сразу не дающихся общественныхъ вопросовъ, проникнута вся глубокою поэзіею любви, изображать которую такой удивительный мастеръ г. Тургеневъ. Всѣ прочли ее съ глубокимъ наслажденіемъ. Начавъ читать эти страницы, нельзя оторваться отъ нихъ до конца. Поэзія чувства разлита въ нихъ

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ“.

**) „Русское Слово“ 1860 г., № 5. Статья Н. К—аго.

щедрою рукою. Живыя лица повѣсти всѣ охвачены потокомъ любви, окружены волшебнымъ свѣтомъ, въ которомъ всякій предметъ получаетъ яркіе цвѣта. Въ этой повѣсти такъ много прочувствованнаго и прочувствованнаго не даромъ, а съ глубокимъ поэтическимъ пониманіемъ, что она невольно захватываетъ за живое всякаго читателя, у котораго въ молодости шевелилось въ сердцѣ что-либо похожее на чувство, описанное въ повѣсти. Тайною прелестью дѣйствительныхъ воспоминаній первой любви, молодымъ восторгомъ и молодою скорбью вѣетъ отъ этихъ горячихъ, страстныхъ страницъ. Старые, умершіе образы, подъ вліяніемъ этой поэзіи, возникаютъ въ сердцѣ, какъ подъ вліяніемъ перваго весенняго вѣтра просятся въ душу забытые сны. Какъ наслажденіе сѣверною весною невольно оставляетъ въ душѣ легкую скорбь, какое-то сожалѣніе, особенно если годы говорятъ о невозвратимыхъ потеряхъ, такъ и эти весеннія воспоминанія невольно навѣваютъ тайную грусть о прошедшемъ.

Быть можетъ, въ мысли намъ приходитъ,
Средь поэтическаго сна,
Иная старая весна,
И въ трепетъ сердце намъ приводитъ
Мечтой о дальней сторонѣ,
О чудной ночи, о лунѣ...

Вся повѣсть разсказывается, какъ воспоминаніе о первой любви, отъ лица холостяка Владимира Петровича, о которомъ мы знаемъ только, что онъ „человѣкъ лѣтъ сорока, черноволосый съ просѣдью“. Дѣйствіе происходитъ весною, на дачѣ подъ Москвою, когда этому Владимиру Петровичу исполнилось только шестнадцать лѣтъ, и онъ готовится къ вступительному экзамену въ университетъ, подъ вліяніемъ весны, лѣниво изучая знаменитый учебникъ Кайданова и повторяя наизусть любимые заученные на память стихи, въ то время какъ молодая жизнь сказывается неопредѣленными, сладкими желаніями. „Кровь бродила во мнѣ, и сердце ныло—такъ сладко и смѣшно; я все ждалъ, робѣлъ чего-то и всему дивился, и весь былъ на готовѣ; фантазія играла

и носилась быстро вокругъ однихъ и тѣхъ же представленій, какъ на зарѣ стрижи вокругъ колокольни; я задумывался, грустилъ и даже плакалъ; но и сквозь слезы и сквозь грусть, навѣянную то нѣвучимъ стихомъ, то красотою вечера, *проступала, какъ весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни*“. Этой молодой жизни, съ ея безпредметными восторгами и желаніями, недоставало человѣческаго чувства — любви, не замедлившей явиться. „Во всемъ, что я думалъ, во всемъ, что я ощущалъ, таилось полусознанное, стыдливое предчувствіе чего-то новаго, несказанно сладкаго, женскаго“... Эта ожидаемая женщина является шестнадцати-лѣтнему юношѣ въ лицѣ оригинальной княжны Зинаиды Засѣкиной, одной изъ тѣхъ поэтическихъ женщинъ, создавать которыя такой мастеръ г. Тургеневъ, сосѣдки по дачѣ. Ея характеръ обрисовывается съ удивительной граціей и изяществомъ въ небольшихъ сценахъ повѣсти, имѣвшихъ такое вліяніе на юношу. Она вся, какъ живой образъ, стоитъ передъ нами съ своею красивою внѣшностью, съ игривою прелестью кокетства, даваемаго молодостью и красотою, съ своей невысказываемой, но очевидною страстью, о которой не догадывается только бѣдный юноша, и съ своимъ поэтическимъ образомъ выраженія. Отъ всей фигуры ея вѣетъ чувствомъ и полнотою жизни. Не даромъ у ней было столько разнообразныхъ поклонниковъ, которыми она могла распоряжаться самовластно, какъ царица. Она была пятью годами старше студента. Избалованная общимъ обожаніемъ, она должна была смотрѣть на шестнадцатилѣтняго юношу, какъ на дитя. Но въ юношѣ между тѣмъ созрѣло настоящее человѣческое чувство любви, и эту любовь молодая дѣвушка должна была естественно щадить. Она сама постепенно дѣлается жертвою могучей страсти къ отцу студента, отдаваясь ей безотвѣтно, забывая всѣхъ своихъ поклонниковъ, забывая то, что она являлась всегда побѣдоносною между ними. Эта борьба въ ея душѣ и въ ея жизни между чувствомъ сожалѣнія, пощады къ бѣдному юношѣ, которое не дозволяетъ ей высказаться, и своею собственною страстію, ее пода-

вляющею, составляетъ одну изъ тайныхъ, сразу незамѣтныхъ красотъ разсказа.

Но главная прелесть его состоитъ въ передачѣ симптомовъ страсти въ молодомъ сердцѣ, въ первомъ волненіи и первомъ трепетѣ его и первомъ горѣ ревниваго чувства. Мы могли бы назвать этотъ разсказъ о любви глубокимъ психологическимъ этюдомъ, если бъ въ немъ не заключалось такъ много дѣйствительно перечувствованнаго, прожитаго сердцемъ. Невольно въ головѣ читателя возникаетъ мысль, что эта любовь есть сердечная повѣсть молодости разсказчика, созданная не авторскою фантазіею, а дѣйствительною жизнію. Свѣтлое сожалѣніе объ этой безвозвратно исчезнувшей молодости мы встрѣчаемъ на многихъ страницахъ повѣсти: „О, кроткія чувства, мягкіе звуки, доброта и утиханіе тронутой души, тающая радость первыхъ умиленій любви — гдѣ вы, гдѣ вы?“ Первое сознаніе юноши, что онъ полюбилъ, что слово найдено, котораго такъ жадно добивалась душа въ тотъ вечеръ, когда онъ усталый послѣ впечатлѣній дня возвращается въ свою студентскую комнату, передано удивительно просто и естественно: „Я присѣлъ на стулъ и долго сидѣлъ какъ очарованный. То, что я ощущалъ, было такъ ново и такъ сладко... Я сидѣлъ, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышалъ и только по временамъ *то молча смѣялся, вспоминая, то внутренно холодѣлъ при мысли, что я влюбленъ, что вотъ она, вотъ эта любовь.* Лицо Зинаиды тихо плыло передо мной во мракѣ—плыло и не проплывало; губы ея все также загадочно улыбались, глаза глядѣли на меня съ боку, вопросительно, задумчиво и нѣжно... какъ въ то мгновеніе, когда я разстался съ ней. Наконецъ, я всталъ, на цыпочкахъ подошелъ къ своей постели и осторожно, не раздѣваясь, положилъ голову на подушку, *какъ бы страшась рѣзкимъ движеніемъ потревожить то, чѣмъ я былъ переполненъ*“... Ночная гроза и трепетныя молніи, поминутно вспыхивавшія, какъ нарочно, соотвѣтствуютъ этимъ нѣмымъ и тайнымъ порывамъ зарождающагося чувства. Это чувство не постепенно растетъ и развивается; оно разомъ, съ

перваго дня, овладѣваетъ всѣмъ существомъ молодого человѣка; ему ничто и на умъ нейдетъ, кромѣ одной постоянной, напряженной думы о ней, и только въ присутствіи ея дѣлается ему легче. Зинаида окружена поклонниками; они со всѣхъ сторонъ льнутъ къ ней, ищутъ ея взгляда, ласки. Всѣ они гораздо старше бѣднаго юноши, и знаютъ чего хотятъ и добиваются въ этой страсти, а юношѣ остается только сознавать свое ничтожество, изнывать цѣлые дни, ревновать. Она кокетничаетъ со всѣми, потѣшается надъ всѣми и долго остается свободною, гордою и сіяющею, пока въ ней самой не заговорило сильное чувство, сломившее ея независимую волю. Съ какою мукою, хотя и послѣ всѣхъ, молодой человѣкъ впервые узнаетъ, что Зинаида полюбила. Но кого? отвѣтъ на этотъ вопросъ, хотя онъ ничего не прибавитъ къ ревнивой мукѣ, составляетъ новую тревогу для юноши. На какіе подвиги, на какія пожертвованія готовъ онъ рѣшиться, чтобъ только завоевать это сердце, непреклонное и гордое, пока не овладѣла имъ страсть. Эти порывы выражаются ребячествомъ, но приковываютъ участіе. Съ высокой стѣны оранжереи, съ двухсаженной высоты, онъ летитъ въ поле на шутливый вызовъ Зинаиды и больно ушибается, но возбуждаетъ скорбное чувство въ прихотливой красавицѣ. „Милый мой мальчикъ, говорила она, наклоняясь надо мною — и въ голосѣ ея звучала встревоженная нѣжность, „какъ могъ ты это сдѣлать, какъ могъ ты послушаться... вѣдь я люблю тебя... встань...“ Ея грудь дышала возлѣ моей, ея руки прикасались моей головы, и вдругъ что сталось со мной тогда! ея мягкія, свѣжія губы начали покрывать все мое лицо поцѣлуями... онѣ коснулись моихъ губъ... „Боль отъ ушиба прошла быстро и замѣнилась сладостнымъ ощущеніемъ любви, надеждою раздѣленнаго чувства; ревность и муки сомнѣнія забыты (юношѣ такъ немного нужно, чтобъ вновь увѣровать и успокоиться). Чувство блаженства, которое я испыталъ тогда, уже не повторилось въ моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всѣхъ моихъ членахъ и разрѣшилось, наконецъ, восторженными прыжками и восклицаніями.

Точно, я былъ еще ребенокъ“. Но въ молодости одно чувство такъ быстро смѣняется другимъ, такъ круты переходы, такъ быстро стучитъ сердце. Ревнивая тоска вновь изгоняетъ ощущеніе минутнаго блаженства, и подъ вліяніемъ злыхъ намековъ, подъ вліяніемъ современнаго романтизма (дѣйствіе происходитъ въ тридцатыхъ годахъ), онъ воображаетъ себя пушкинскимъ Алеко, мстителемъ за измѣну, и отправляется ночью караулить чужое счастіе въ садъ съ англійскимъ ножикомъ, вмѣсто кинжала. Эти ночныя ощущенія ревниваго юноши, а кому не случалось переживать подобное, этотъ школьникъ-Отелло и потомъ быстрый переходъ къ испугу, когда юноша въ счастливомъ соперникѣ узнаетъ отца своего, разсказаны удивительно вѣрно. „Я такъ скорчился и съежился, что, кажется, сравнялся съ самою землею. Ревнивый, готовый на убійство Отелло, внезапно превратился въ школьника“. На другой день онъ какъ дитя играетъ и бѣгаетъ въ саду съ двѣнадцатилѣтнимъ кадетомъ, братомъ Зинаиды. Но ноющая грусть грызетъ его сердце, теперь уже нѣтъ сомнѣній; тоска ревности превратилась въ безвыходное, но сознательное страданіе, которое ничѣмъ не поправишь, которое неотразимо стоптъ въ сердцѣ и напоминаетъ вѣчно о себѣ; слезы льются неудержимо. Прежде, покуда тайна была неясна, пока не была она открыта вполнѣ, дѣтское легкомысліе помогало. „*Я не хотѣлъ знать, любятъ ли меня, и не хотѣлъ сознаться самому себѣ, что меня не любятъ;* отца я избѣгалъ—но Зинаиду избѣгать я не могъ... Меня жгло какъ огнемъ въ ея присутствіи... но къ чему мнѣ было знать, что это былъ за огонь, на которомъ я горѣлъ и таялъ — благо мнѣ было сладко таять и горѣть. Я отдавался всѣмъ своимъ впечатлѣніямъ, *и самъ съ собою лукавилъ, отворачивался отъ воспоминаній и закрывалъ глаза передъ тѣмъ, что предчувствовалъ впереди.* Это томленіе, вѣроятно, долго бы не продолжилось; громовой ударъ разомъ все прекратилъ и перебросилъ меня въ новую колею. „Когда всѣ сомнѣнія исчезли, когда нельзя уже было съ эпикуреизмомъ юности обманывать себя, когда печальная истина

стояла съ неотразимою болью въ сердцѣ, это внезапное откровеніе раздавило меня... Все было кончено. Всѣ цвѣты мои были вырваны разомъ и лежали вокругъ меня, разбросанные и истоптанные“. Въ сладость прощальнаго поцѣлуя подмѣшано было много горечи погибшаго чувства.

Не въ одномъ этомъ влюбленномъ юношѣ и въ измѣненіяхъ его молодого чувства принимаетъ живое участіе читатель: еще больше возбуждаетъ его виновница этой любви, молодая дѣвушка, которая проносится въ повѣсти какъ поэтическая греза съ самаго перваго оригинальнаго ея появленія. „Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня — на полянѣ, между кустами зеленой малины, стояла высокая, стройная дѣвушка, въ полосатомъ розовомъ платьѣ и съ бѣлымъ платочкомъ на головѣ; вокругъ нея тѣснились четыре молодыхъ человѣка, и она поочередно хлопала ихъ по лбу тѣми небольшими сѣрыми цвѣтками, которыхъ имени я не знаю, но которые хорошо знакомы дѣтямъ: эти цвѣтки образуютъ небольшіе мѣшечки и разрываются съ трескомъ, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди такъ охотно подставляли свои лбы—а въ движеніяхъ дѣвушки (я ее видѣлъ съ боку) было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмѣшливое и милое, что я чуть не вскрикнулъ отъ удивленія и удовольствія, и, кажется, тутъ же бы отдалъ все на свѣтѣ, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу“. Съ этой дѣвушкой молодому человѣку пришлось часто встрѣчаться въ саду и познакомиться. Въ повѣсти насъ поражаетъ ея внѣшнее появленіе, всегда оригинальное и полное своенравной граціи; о томъ-же, какъ зарождается въ ней страсть къ отцу молодого человѣка; что происходитъ въ ея сердцѣ, когда эта страсть порабощаетъ и губитъ ее, мы можемъ догадываться только по внѣшнимъ признакамъ. Разсказъ идетъ отъ лица молодого человѣка, а онъ былъ юношески недогадливъ и вѣрилъ въ свое чувство. Но эта самая таинственность чувства бросаетъ на нее прелесть тайны. Живая, подвижная, внѣшняя, но вмѣстѣ съ тѣмъ и страстная натура ея сказывается въ ней во всемъ. Свѣт-

лая и вмѣстѣ лукавая улыбка не сходитъ съ ея губъ, пока ее совсѣмъ не прогнала могучая страсть. Мужчины, постоянные ея поклонники, постоянно окружающіе ее, очерчены въ немногихъ словахъ какъ живые люди: польскій графъ Малевскій, хитрый, фальшивый, мастеръ писать анонимныя письма, сорокалѣтній докторъ Лушинъ, скептикъ и пасмѣшникъ, романтическій поэтъ Майдановъ, написавшій дикую поэму „Убійца“, которую намѣревался издать въ черной оберткѣ, съ заглавными буквами кроваваго цвѣта, отставной капитанъ Нирмацкій, безобразный и влюбленный до того, что княжна, играя въ фанты и представляя собою статую, беретъ его за пьедесталъ, молодой гусаръ Бѣловзоровъ, съ зрачками на выкатѣ, съ нѣмою до глупости любовью, предлагающій сто рублей, чтобъ ему уступили право поцѣловать ручку княжны въ фантахъ и потомъ, когда тайна ея сдѣлалась извѣстною, пропадающій безъ вѣсти на Кавказѣ. Она своенравно и кокетливо тѣшится ихъ страстью, употребляетъ ихъ на посылки, требуетъ услугъ, и они только и хлопочутъ о томъ, какъ-бы услужить ей. Вся эта разнообразная свита всегда окружаетъ княжну, заискиваетъ ея слова, ея взгляда, играетъ съ нею въ фанты. Въ этой безпорядочной, страстной атмосферѣ, окружающей прекрасную дѣвушку, тѣшащуюся всѣмъ, что ни попадется ей подъ руку, страсть бѣднаго юноши горитъ сильнѣе и сильнѣе. Она играла имъ какъ кошка мышью. „Въ одномъ штрафѣ (въ фантахъ) мнѣ довелось сидѣть съ ней рядомъ, накрывшись однимъ и тѣмъ-же шелковымъ платкомъ; я долженъ былъ сказать ей *свой секретъ*. Помню я, какъ наши обѣ головы вдругъ очутились въ душной полупрозрачной, пахучей мглѣ, какъ въ этой мглѣ близко и мягко свѣтились ея глаза и горячо дышали раскрытыя губы, и зубы виднѣлись, и концы ея волосъ меня щекотали и жгли. Я молчалъ. Она улыбалась таинственно и лукаво, и, наконецъ, шепнула мнѣ: ну, что-же? а я только краснѣлъ и смѣялся, и отворачивался, и едва переводилъ духъ“. Подъ этими чарами, когда шестнадцатилѣтнее сердце само еще не знаетъ, чего хочетъ оно, легко и роскошно раз-

вертывается мучительно-сладкое чувство первой любви. Женщина стоитъ выше молодого человѣка; она только тѣшится его любовью, дурачитъ, балуетъ и мучитъ его, когда онъ изнываетъ, когда у него все изъ рукъ валится отъ напряженной думы о ней, когда непреодолимая сила влечетъ его къ ней, когда онъ всякій разъ съ невольной дрожью счастія переступаетъ порогъ ея комнаты. Какое ей дѣло было до ребенка, до этого шестнадцатилѣтняго мечтателя съ его робкою, неполною любовью, когда люди гораздо старше его раболѣпно лежали у ея ногъ. „Всѣ мужчины, посѣщавшіе ея домъ, были отъ нея безъ ума—и она всѣхъ ихъ держала на привязи—у своихъ ногъ. Ее забавляло возбуждать въ нихъ то надежды, то опасенія, вертѣть ими по своей прихоти (это она называла: стукать людей другъ о друга)—и они не думали сопротивляться, и охотно покорялись ей. Во всемъ ея существѣ, живучемъ и красивомъ, была какая-то особенно обаятельная смѣсь хитрости и безпечности, искусственности и простоты, тишины и рѣзвости; надо всѣмъ, что она дѣлала, говорила, надъ каждымъ ея движеніемъ носилась тонкая, легкая прелесть, во всемъ сказывалась своеобразная, играющая сила. И лицо ея безпрестанно мѣнялось, играло тоже: оно выражало почти въ одно и то же время—насмѣшливость, задумчивость и страстность. Разнообразнѣйшія чувства, легкія, быстрыя, какъ тѣни облаковъ въ солнечный вѣтреный день, перебѣгали то и дѣло по ея глазамъ и губамъ. „Это не поверхностная и холодная натура; еще не пришла ея очередь. Всѣ окружающіе ее мужчины стоятъ ниже ея. „Я такихъ любить не могу, на которыхъ мнѣ приходится глядѣть сверху внизъ. Мнѣ надобно такого, который самъ бы меня сломилъ... Да я на такого не наткнусь, Богъ милостивъ! Не попадусь никому въ лапы, ни, ни!“ И она попалась въ лапы, и сломилась ея гордая натура. Такъ почти всегда оканчиваютъ подобныя женщины...

За развитіемъ ея страсти мы можемъ слѣдить только по внѣшнимъ признакамъ, по тому, что успѣетъ замѣтить молодой человѣкъ, по ея собственнымъ словамъ и по нѣко-

торымъ отрывочнымъ сценамъ. Мы видимъ, какъ она блѣднѣетъ и скрываетъ страданіе, мы подмѣчаемъ глухую и упорную борьбу въ ней, естественную въ такой гордой натурѣ, какою была она. Очевидная перемѣна произошла въ ней. Она стала гулять одна и ходила долго, запиралась въ своей комнатѣ. Когда ей замѣчаетъ Лушинъ, что вся ея натура высказывается въ двухъ словахъ: капризъ и независимость, она отвѣчаетъ съ нервическимъ смѣхомъ: „опоздали почтой, любезный докторъ. Наблюдаете плохо; отстаете. — Надѣньте очки. — Не до капризовъ мнѣ теперь; васъ дурачить, себя дурачить... куда какъ весело! а что до независимости“... Вся поэтическая натура ея высказывается въ этомъ прекрасномъ разсказѣ, который она импровизируетъ вслѣдствіе условій игры въ фанты:

„Вотъ послушайте, начала она, наконецъ, что я выдумала. Представьте себѣ великолѣпный чертогъ, лѣтнюю ночь и удивительный балъ. Балъ этотъ даетъ молодая королева. Вездѣ золото, мраморъ, хрусталь, шелкъ, огни, алмазы, цвѣты, куренья, всѣ прихоти роскоши... Гостей множество, всѣ они молоды, прекрасны, храбры, всѣ безъ памяти влюблены въ королеву... она высока и стройна; у ней маленькая золотая діадема на черныхъ волосахъ... Всѣ толпятся вокругъ нея, всѣ расточаютъ передъ ней самыя льстивыя рѣчи... Королева слушаетъ эти рѣчи, слушаетъ музыку, но не глядитъ ни на кого изъ гостей. Шесть оконъ раскрыты сверху до низу, отъ потолка до полу; а за ними темное небо съ большими звѣздами, да темный садъ съ большими деревьями. Королева глядитъ въ садъ. Тамъ — около деревьевъ, фонтанъ: онъ бѣлѣетъ во мракѣ — длинный, длинный какъ привидѣніе. Королева слышитъ сквозь говоръ и музыку тихій плескъ воды. Она смотритъ и думаетъ: вы всѣ, господа, благородны, умны, богаты, вы окружили меня, вы дорожите каждымъ моимъ словомъ, вы всѣ готовы умереть у моихъ ногъ, я владѣю вами... а тамъ, возлѣ фонтана, возлѣ этой плещущей воды, стоитъ и ждетъ меня тотъ, кого я люблю, кто мною владѣетъ. На немъ нѣтъ ни богатаго платья, ни драгоцѣнныхъ камней, никто

его не знаетъ, но онъ ждетъ меня и увѣренъ, что я приду,— и я приду, и нѣтъ такой власти, которая бы остановила меня, когда я захочу пойти къ нему и остаться съ нимъ, и потеряться съ нимъ тамъ, въ темнотѣ сада, подъ шорохъ деревьевъ, подъ плескъ фонтана“...

Всѣ слушающіе дорого бы дали, чтобъ быть этимъ счастливцемъ у фонтана. Страсть ея по немногу открывается. Увлеченная ея водоворотомъ, она уже не думаетъ скрываться, бороться. Эта страсть является контрастомъ робкой любви юноши; онъ только тутъ понимаетъ, какого свойства бываетъ страсть, какъ быстро она изъ гордой и независимой дѣвушки, привыкшей играть людьми, дѣлаетъ безотвѣтную жертву, покорно склоняющуюся передъ своимъ властителемъ. „Да, думалъ я, вотъ это — любовь, это — страсть, это—преданность, и вспоминались мнѣ слова Лушина: жертвовать собою сладко для иныхъ“. Она сдѣлалась покорною до забвенія самой себя; на ея печальномъ, серьезномъ лицѣ, съ котораго прежде не сходила своенравная улыбка, явился „непередаваемый отпечатокъ преданности, грусти, любви и какого-то отчаянія“... Послѣдняя небольшая сцена въ глухомъ переулкѣ Москвы, въ небольшомъ деревянномъ домикѣ, у раскрытаго окна котораго стоитъ отецъ молодого человѣка и разговариваетъ съ Зинандою, показываетъ вполнѣ, до чего могла она покориться... Онъ ее уговариваетъ въ чемъ-то; она улыбалась покорно и упрямо. „Зинанда выпрямилась и протянула руку... вдругъ въ глазахъ моихъ совершилось невѣроятное дѣло: отецъ внезапно поднялъ хлыстъ, которымъ сбивалъ пыль съ полы своего сюртука — и послышался рѣзкій ударъ по этой обнаженной до локтя рукѣ. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинанда вздрогнула, молча посмотрѣла на моего отца и, медленно поднеся свою руку къ губамъ, поцѣловала заалѣвшійся на ней рубецъ. Отецъ швырнулъ въ сторону хлыстъ и, торопливо взбѣжавъ на ступеньки крылечка, ворвался въ домъ... Зинанда обернулась — и протянувъ руки, закинувъ голову, тоже отошла отъ окна“... Тяжелымъ гнетомъ ложится эта сцена на душу юноши.

Что передъ этою дѣйствительною страстью его мечтательная, робкая, дѣтская любовь! „Вотъ это любовь, говорилъ я себѣ снова, сидя ночью передъ своимъ письменнымъ столомъ, на которомъ уже начали появляться тетради и книги, это страсть!.. Какъ, кажется, не возмутиться, какъ снести ударъ отъ какой бы то ни было... отъ самой милой руки! А видно можно, если любишь... А я-то... я-то воображалъ“...

Но эта скорбь молодого сердца, эта подавленная, обманутая любовь, это страданіе—разрѣшаются въ молодости въ свѣтлое чувство; они принимаютъ образъ отраднаго воспоминанія... что такое любовь въ молодомъ сердцѣ?

...юнымъ, дѣвственнымъ сердцамъ
Ея порывы благотворны,
Какъ бури вешнія лугамъ.

И это сознаніе могучихъ силъ молодости, заключающей въ себѣ возможность будущаго развитія, ея эгоизма, быстрой смѣны впечатлѣній, выражается въ прекрасномъ дифирамбѣ ея, которымъ заключается вся исполненная свѣжей поэзіи повѣсть:

„О молодость! молодость! тебѣ нѣтъ ни до чего дѣла, ты какъ будто обладаешь всѣми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тѣшитъ, даже печаль тебѣ къ лицу, ты самоувѣренна и дерзка, ты говоришь: я одна живу — смотрите! а у самой дни бѣгутъ и исчезаютъ безъ слѣда и безъ счета, и все въ тебѣ исчезаетъ, какъ воскъ на солнцѣ, какъ снѣгъ... И, можетъ быть, вся тайна твоей прелести состоитъ не въ возможности все сдѣлать—а въ возможности думать, что ты все сдѣлаешь — состоитъ именно въ томъ, что ты пускаешь по вѣтру силы, которыя ни на что другое употребить бы не умѣла, — въ томъ, что каждый изъ насъ не шутя считаетъ себя расточителемъ, не шутя полагаетъ, что онъ въ правѣ сказать: О, чтобъ я сдѣлалъ, если бъ я не потерялъ времени даромъ!“

Изъ „Русскаго Слова“. Статья Н. К—ао.

* * *

*) Повѣсть „Первая любовь“ была любимымъ произведеніемъ Тургенева, какъ онъ самъ не разъ признавался въ этомъ. Авторъ цѣнилъ въ этой чисто интимной, но прекрасно обработанной вещи ея правдивость, вѣрность дѣйствительности, то-есть цѣнилъ личныя воспоминанія ранней юности. Въ этомъ отношеніи названная повѣсть имѣетъ выдающійся интересъ и, конечно, не будетъ обойдена будущими біографами Тургенева, такъ какъ въ ней, по свидѣтельству его самого, разсказанъ дѣйствительный фактъ изъ его жизни и притомъ безъ малѣйшихъ художественныхъ прикрасъ. На сколько свидѣтельство Тургенева достовѣрно—это вопросъ, который можетъ быть правильно рѣшенъ только біографическими документами. Знаменитые писатели, особенно склонные по натурѣ къ романтическому кокетству собственной личностью,—черта, кажется, немного присущая Тургеневу, несмотря на его прославленную скромность, — знаменитые писатели любятъ вводить въ заблужденіе современниковъ и еще болѣе потомство относительно отраженія интимныхъ подробностей своей жизни въ художественныхъ работахъ. Вспомнимъ Байрона, который иногда намекалъ, что ему не чужды даже преступленія его мрачныхъ героевъ. Вспомнимъ Гете, который въ своихъ мемуарахъ, такъ перемѣшалъ „правду“ своей жизни съ поэзіей, что трудно отличить, гдѣ начинается первая и гдѣ кончается вторая. О Ламартинѣ и Шатобріанѣ ужъ нечего и говорить: эти господа каждый, даже самый ничтожный, даже скверный иногда фактъ своей интимной жизни окрашивали такими радужно-фантастическими красками, что, при всей достовѣрной основѣ факта, онъ является въ этой окраскѣ почти что вздоромъ. Русскій писатель, разумѣется, не можетъ такъ лгать на себя и такъ себя поэтизировать, какъ это дѣлаютъ западные поэты: привычка къ трезвому реализму, присутствіе въ каждомъ крупномъ выразителѣ нашего національнаго характера идеала правды не допуститъ его до этого. Но, во всякомъ случаѣ, и русскія художе-

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

ственныя произведенія, въ которыхъ авторы старались воспроизвести біографическія черты, должны быть разсматриваемы съ крайней осторожностью: авторъ, воображая, что онъ вполнѣ искренень, можетъ невольно фантазировать о себѣ самомъ.

Я, впрочемъ, распространяюсь объ этомъ только a propos: при оцѣнкѣ чисто литературнаго значенія „Первой любви“ ея біографическое значеніе можетъ быть оставлено въ сторонѣ. Въ литературномъ же отношеніи эта повѣсть, безъ сомнѣнія, представляетъ одинъ изъ шедевровъ Тургенева, и въ ней замѣчательно ярко и мило обрисованъ оригинальный характеръ главной ея героини, княжны Зинаиды Засѣкиной. Вся повѣсть сплошь обработана необыкновенно легко и вмѣстѣ съ тѣмъ очень закончено: видно, что матеріалъ у художника дѣйствительно былъ готовый и не требовалъ ни малѣйшаго напряженія фантазіи для распоряженія имъ. Этотъ изящный и легкій интимный этюдъ художникъ набросалъ какъ бы въ видѣ отдыха послѣ „Наканунѣ“, романа съ широкою общественною задачею, и въ видѣ подготовки къ новому, еще болѣе серьезному по замыслу созданію—къ роману „Отцы и дѣти“.

Въ повѣсти „Первая любовь“ слѣдуетъ обратить вниманіе на одну любопытную частность. Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ этой повѣсти есть полячекъ Малевскій, сомнительный графъ, шуллеръ и вообще грязненькій господинъ, нарисованный съ большой художественной живостью и съ нескрываемымъ презрѣніемъ. Фигура эта очень типична, и такихъ гаденькихъ полячковъ на святой Руси и прежде встрѣчалось великое множество, да и теперь встрѣчается сколько угодно. Въ этомъ лицѣ сосредоточиваются непріятныя черты польскаго національнаго характера: душевная лживость, двуличность, ничтожество, трусость и склонность къ гаденькому интриганству. Тургеневъ усердно оттѣняетъ, даже подчеркиваетъ дрянность этого полячка: ему въ повѣсти придана самая жалкая роль, онъ является не только шуллеромъ, но даже авторомъ пошленькаго анонимнаго доноса. Безъ всякаго сомнѣнія, господамъ полякамъ, кото-

рые, къ слову сказать, недавно во Львовѣ вспоминали о Тургеневѣ, какъ о борцѣ „равенства и свободы“, не должно быть особенно лестно, что этотъ борецъ, кажется, одинъ только разъ въ своихъ произведеніяхъ попытался вывести поляка и вывелъ его въ такомъ непривлекательномъ образѣ: они должны за это также обижаться, какъ обижаются еврейскіе публицисты за его „Жида“. Но что будете дѣлать: несмотря на весь прославленный либерализмъ Тургенева, несмотря на западничество, которое онъ признавалъ въ себѣ настойчиво самъ и которое еще больше ему навязывала либеральная критика, этотъ русскій западникъ и либералъ, какъ видно изъ его произведеній, не могъ отдѣлаться отъ кровныхъ національныхъ антипатій ко всякой иноземной фальши и лжи. Вездѣ и всегда, какъ только дѣло касается типовъ евреевъ, нѣмцевъ, поляковъ, и даже французовъ, Тургеневъ покидаетъ свой западническій либерализмъ, ни мало не заботится о его шаблонныхъ предписаніяхъ въ оцѣнкѣ пошлыхъ и подлыхъ сторонъ этихъ типовъ и придерживается только одного требованія — требованія художественной правды. Замѣчательная черта чисто русской искренности творчества, искренности, которая невольно преобладаетъ надъ всякими теоретическими наносными вѣяніями.

В. Буренинъ.

* * *

*) Нѣкоторыя изъ сочиненій Тургенева имѣютъ автобіографическое значеніе; по крайней мѣрѣ, относительно „Первой любви“ это теперь, по напечатаніи воспоминаній Я. П. Полонскаго **) о великомъ поэтѣ, не подлежитъ сомнѣнію.—Да, Тургеневъ, этотъ поэтъ любви, видѣлъ въ любви чувство трагическое и страшное для человѣка. Онъ видѣлъ въ ней зло.

Но мы должны тутъ-же и оговориться: онъ видѣлъ въ ней и добро; не только тёмнымъ, она являлась у него по-

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.
**) Въ первыхъ №№ „Нивы“ 1884 года.

рою и свѣтлымъ началомъ. Такъ, юношеская любовь героя „Первой любви“ не заключаетъ въ себѣ ничего мрачнаго и вся проникнута добромъ и свѣтомъ. Этотъ человѣкъ, вспоминая подъ-старость о своей полу-дѣтской горячей привязанности, говоритъ тепло и искренно:

„И теперь, когда уже на жизнь мою начинаютъ набѣгать вечернія тѣни, что у меня осталось болѣе свѣжаго, болѣе дорогого, чѣмъ воспоминанія о той быстро пролетѣвшей, утренней, весенней грозѣ?“

Значитъ, есть любовь и любовь: великій поэтъ-аналитикъ подсмотрѣлъ въ этомъ, какъ природа старомъ, но какъ она-же вѣчно-юномъ чувствѣ двѣ враждебныхъ одна другой стихіи: любовь—добро, когда она дѣтски чиста, любовь—зло, когда она—страсть, закружившая душу. Тургеневъ яснѣе анализировалъ и ярче изобразилъ эту свою идею—въ позднѣйшихъ созданіяхъ: „Дымъ“ и „Вешнія воды“. Что обыкновенно является въ любви въ неразрывномъ соединеніи, то онъ здѣсь разложилъ въ образахъ своихъ героевъ: одна стихія любви, святая и чистая, сказалась въ отношеніяхъ Литвинова къ Тапѣ, Санина къ Джеммѣ; другая, мутная, злая и трагическая—въ увлеченіи Литвинова Ириной, Санина Марьей Николаевной.

Въ этомъ раздвоеніи любви отразилось то общее міровое раздвоеніе, то противорѣчіе человѣческаго духа и внѣшней природы, которое великій поэтъ нашъ съ глубокой сердечной болью изображалъ въ послѣднемъ періодѣ своей творческой дѣятельности.

А. Незеленовъ.

„Отцы и дѣти".

Общіе отзывы о романѣ.

*) При появленіи романа „Отцы и Дѣти", къ нему вдругъ приступили съ лихорадочными и настоятельными вопросами: кого онъ хвалитъ? кого осуждаетъ? кто у него образецъ для подражанія? кто предметъ презрѣнія и негодованія? какой это романъ—прогрессивный или ретроградный?

И вотъ на эту тему поднялись безчисленные толки. Дѣло дошло до мелочей, до самыхъ тонкихъ подробностей. Базаровъ пьетъ шампанское! Базаровъ играетъ въ карты! Базаровъ небрежно одѣвается. Что это значитъ? спрашиваютъ въ недоумѣніи. *Должно* это или *не должно*? Каждый рѣшилъ по своему, но всякій считалъ необходимымъ вывести правоученіе и подписать его подъ загадочною баснею. Рѣшенія однако же вышли совершенно разногласныя. Одни нашли, что „Отцы и Дѣти" есть сатира на молодое поколѣніе, что всѣ симпатіи автора на сторонѣ *отцовъ*. Другіе говорятъ, что осмѣяны и опозорены въ романѣ *отцы*, а молодое поколѣніе, напротивъ, превознесено. Одни находятъ, что Базаровъ самъ виноватъ въ своихъ несчастныхъ отношеніяхъ къ людямъ, съ которыми онъ встрѣтился; другіе утверждаютъ, что, напротивъ, эти люди виноваты въ томъ, что Базарову такъ трудно жить на свѣтѣ... Несмотря на то, романъ читается съ жадностью и возбуждаетъ такой интересъ, какого, смѣло можно сказать, не возбуждало еще ни одно произведеніе Тургенева...

Н. Страховъ.

* * *

*) Н. Страховъ. „Время" 1862 г., № 4. Также „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ". Спб. 1887 г.

*) Можно сказать съ увѣренностью, что со времени „Мертвыхъ душъ“ Гоголя ни одинъ изъ русскихъ романовъ не производилъ такого впечатлѣнія, какое произвели „Отцы и Дѣти“ при ихъ появленіи. Глубокій умъ и не менѣе глубокая наблюдательность, несравненная способность къ смѣлому и вѣрному анализу жизненныхъ явленій, къ широкому ихъ обобщенію сказались въ основномъ замыслѣ этого положительно *историческаго* произведенія. Тургеневъ разъяснилъ живыми образами „отцовъ“ и „дѣтей“, сущность той жизненной борьбы между отживающимъ періодомъ крѣпостного барства и новымъ преобразовательнымъ періодомъ, которая велась и тогда у всѣхъ на виду, которая составила главное содержаніе нашего „возрожденія“ и которой однако же до него никто не подыскалъ настоящаго яркаго опредѣленія. Тургеневъ не только далъ такое опредѣленіе, не только освѣтилъ внутренній смыслъ тогдашняго „новаго“ движенія жизни, но и указалъ главный характеристическій его признакъ — отрицаніе во имя реализма, какъ противоположность старому идеалистическо-либеральному консерватизму. Извѣстно, что онъ нашелъ и необыкновенно удачную кличку для этого отрицанія, кличку, впослѣдствіи сдѣлавшуюся нарицательной и принятую для извѣстной группы явленій и типовъ не у однихъ русскихъ, но и во всей Европѣ. Художникъ создалъ въ образѣ Базарова чрезвычайно характернаго представителя новаго жизненнаго уклада, новаго направленія и окрестилъ это самое направленіе удивительно мѣткимъ словомъ, надѣлавшимъ столько шуму, вызвавшимъ столько споровъ, сужденій и похвалъ, сочувствій и ненависти, робкихъ тревогъ и смѣлыхъ порываній. Въ исторіи литературы немного можно указать примѣровъ такого глубокаго и живого волненія, вызваннаго въ общественной средѣ художественнымъ созданіемъ, такого почти „политическаго“ значенія типа, воспроизведеннаго литературнымъ творчествомъ... Этотъ романъ и черезъ двадцать лѣтъ представляется все тѣмъ же глубокимъ, яркимъ и

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева.“ Спб. 1884 г.

правдивымъ отраженіемъ жизни, какимъ онъ былъ въ моментъ его появленія. Теперь его глубина и правдивость кажутся даже еще болѣе ясными и возбуждаютъ еще большее удивленіе и уваженіе къ творческой мысли художника, его создавшаго... Въ наши дни, когда періодъ развитія, уловленный Тургеневымъ въ его знаменитомъ романѣ, является уже пзжитымъ почти вполнѣ, мы можемъ только удивляться той проницательности, съ которою художникъ отгадалъ основной характеръ жизненнаго движенія, ознаменовавшаго этотъ періодъ. Борьба двухъ общественныхъ теченій, дореформеннаго и послѣреформеннаго, борьба двухъ поколѣній, стараго, воспитавшагося на эстетическомъ идеализмѣ, для котораго представлялъ такую удобную почву обезпеченный крѣпостнымъ правомъ барскій досугъ, и новаго, увлекавшагося реализмомъ и отрицаніемъ,—вотъ что составляло сущность движенія эпохи шестидесятыхъ годовъ. Тургеневъ своимъ геніальнымъ чутьемъ прозрѣлъ это основное „вѣяніе“ жизни и воспроизвелъ его въ живыхъ и яркихъ образахъ со всѣми его положительными и отрицательными, трогательными и комическими сторонами. Въ своемъ романѣ онъ вовсе не становился на сторону „отцовъ“, какъ это утверждала тогдашняя несочувственная ему прогрессивная критика, онъ вовсе не имѣлъ намѣренія превознести ихъ надъ „дѣтьми“ для униженія послѣднихъ. Точно также онъ вовсе не имѣлъ намѣренія выставлять въ образѣ представителя дѣтей какой-то образецъ „мыслящаго реалиста“, которому молодое поколѣніе должно было поклоняться и подражать, какъ это вообразила прогрессивная критика, сочувственно отнесшаяся къ его произведенію. Подобное односторонпее воззрѣніе было чуждо художнику: онъ нарисовалъ и отцовъ и дѣтей новозможности безпристрастно, аналитически, „спокойно зря на правыхъ и виновныхъ“. Онъ не пощадилъ ни отцовъ ни дѣтей, и произнесъ холодно суровый приговоръ и тѣмъ и другимъ. Отцамъ въ лицѣ Кирсановыхъ, особенно Павла Кирсанова, онъ пропѣлъ положительно отходную, выставивъ ихъ барскій идеализмъ, ихъ сантиментальную эстетику даже почти въ комическомъ,

даже, какъ справедливо онъ указывалъ самъ, въ карикатурномъ свѣтѣ. Въ выдающемся представителѣ „дѣтей“, Базаровѣ, онъ призналъ извѣстную нравственную силу, энергію характера, выгодно отличающую этотъ твердый типъ реалиста отъ жиденькаго безхарактернаго и безвольнаго типа прежняго поколѣнія; но, признавъ положительные стороны молодого типа, онъ не могъ не развѣнчать его, не могъ не указать его несостоятельности передъ жизнью, передъ народомъ. И онъ сдѣлалъ это. И теперь, когда время достаточно разоблачило несостоятельность типа тогдашняго поколѣнія, мы видимъ, какъ художникъ былъ правъ, какъ глубоко и далеко онъ прозрѣвалъ въ жизнь, какъ ясно онъ видѣлъ начала и концы ея развитія.... Тургеневъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ далъ образчикъ настоящаго общественнаго романа, несмотря на то, что его внѣшняя фабула сводится на обычныя интимныя отношенія главныхъ дѣйствующихъ лицъ. И съ какимъ изумительнымъ искусствомъ совершена художникомъ эта мудреная задача—вложить въ узкія условныя рамки самое широкое и новое содержаніе! Едва ли кому изъ романистовъ нашего вѣка, начиная отъ Диккенса и кончая Жоржъ Сандомъ и Шпильгагеномъ, удавалось сдѣлать это такъ сжато и такъ выразительно, съ такимъ отсутствіемъ дидактическаго элемента, почти всегда присущаго произведеніямъ упомянутыхъ сейчасъ корифеевъ западныхъ литературъ, съ такимъ полнымъ проникновеніемъ въ самую сущность жизненнаго движенія, отраженнаго въ романѣ. Повторяю еще разъ: „Отцы и Дѣти“ уже и теперь высоко цѣнятся европейской критикой. Но пройдутъ годы, и они будутъ цѣниться еще выше. Они будутъ поставлены на ряду съ тѣми крупными литературными произведеніями, въ которыхъ выражены основныя теченія времени, ихъ породившаго. Что касается до значенія этого романа въ родной литературѣ, то его законное мѣсто въ ряду съ такими созданіями, какъ „Евгеній Онѣгинъ“ Пушкина, „Мертвыя души“ Гоголя, „Герой нашего времени“ Лермонтова и „Война и миръ“ Льва Толстого...

В. Буренинъ.

* * *

*) Тургеневъ, какъ уже давно извѣстно, есть писатель, усердно слѣдящій за движеніемъ русской мысли и русской жизни. Онъ заинтересованъ этимъ движеніемъ необыкновенно сильно; не только въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“, но и во всѣхъ прежнихъ своихъ произведеніяхъ онъ постоянно схватывалъ и изображалъ отношенія между отцами и дѣтьми. Послѣдняя мысль, послѣдняя волна жизни,— вотъ что всего болѣе приковывало его вниманіе. Онъ представляетъ образецъ писателя, одареннаго совершенною подвижностію и вмѣстѣ глубокою чуткостью, глубокою любовью къ современной ему жизни...

Если мы не знаемъ полныхъ Базаровыхъ въ дѣйствительности, то, однакоже, всѣ мы встрѣчаемъ множество базаровскихъ чертъ; всѣмъ знакомы люди, то съ одной, то съ другой стороны напоминающіе Базарова. Если никто не проповѣдуетъ всей системы мнѣній Базарова, то, однакоже, всѣ слышали тѣ же мысли по одиночкѣ, отрывочно, несвязно, нескладно. Эти бродячіе элементы, эти не развившіеся зародыши, не докончепныя формы, не сложившіяся мнѣнія Тургеневъ воплотилъ цѣльно, полно, стройно въ Базаровѣ. Система убѣжденій, кругъ мыслей, которыхъ представителемъ является Базаровъ, болѣе или менѣе ясно выражались въ нашей литературѣ. Главными ихъ выразителями были два журнала: „Севременникъ“, уже нѣсколько лѣтъ проводившій эти стремленія, и „Русское Слово“, недавно заявившее ихъ съ особенною рѣзкостью. Отсюда, конечно, должно объяснить упрекъ, сдѣланный Тургеневу, что онъ изобразилъ въ Базаровѣ не одного изъ представителей молодого поколѣнія, а скорѣе главу кружка, порожденіе нашей бродящей и оторванной отъ жизни литературы. „Современникъ“ весьма недоволенъ романомъ Тургенева. Онъ думаетъ, что романъ написанъ въ укоръ и поученіе молодому поколѣнію, что онъ представляетъ клевету на молодое поколѣніе и можетъ быть поставленъ наряду съ Асмодеемъ нашего времени, соч. Аскоченскаго. *Н. Страховъ.*

* * *

*) Н. Страховъ. „Время“ 1862 г., № 4. Также „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“. Спб. 1887 г.

*) Этотъ романъ составляетъ вопросъ и вызовъ, обращенный къ молодому поколѣнію старшею частью общества. Одинъ изъ лучшихъ людей старшаго поколѣнія, Тургеневъ, обращается къ молодому поколѣнію и громко предлагаетъ ему вопросъ: „Что вы за люди? Я васъ не понимаю, я вамъ не могу и не умѣю сочувствовать. Вотъ что я успѣлъ подмѣтить. Объясните мнѣ это явленіе“. Таковъ настоящій смыслъ романа... И съ этой именно точки зрѣнія слѣдовало приняться за него критикѣ, т. е. ей слѣдовало сосредоточиться на разборѣ базаровскихъ идей, а не разбирать романъ только съ художественной стороны, какъ это сдѣлалъ Антоновичъ въ „Современникѣ“. „Дурна или хороша была тенденція тургеневскаго романа, говоритъ Писаревъ,—это все равно; для литературныхъ реалистовъ этотъ романъ былъ, во всякомъ случаѣ, драгоцѣннымъ извѣстіемъ о судьбѣ ихъ идеи и еще болѣе драгоцѣннымъ поводомъ къ обстоятельному объясненію съ читающею публикою“.

Все наше поколѣніе, — продолжаетъ Писаревъ **), —со своими стремленіями и идеями можетъ узнать себя въ дѣйствующихъ лицахъ этого романа. „Базаровъ—представитель нашего молодого поколѣнія; въ его личности сгруппированы тѣ свойства, которыя мелкими долями разсыпаны въ массахъ, и образъ этого человѣка ярко и отчетливо вырисовывается передъ воображеніемъ читателей“. „Тургеневъ вдумался въ типъ Базарова и понялъ его такъ вѣрно, какъ не поймetъ ни одинъ изъ нашихъ молодыхъ реалистовъ“. „Онъ не покривилъ душою въ своемъ послѣднемъ произведеніи“. „Общія отношенія Тургенева къ тѣмъ явленіямъ жизни, которыя составляютъ канву его романа, такъ спокойны и безпристрастны, такъ свободны отъ поклоненія той или другой теоріи, что самъ Базаровъ не нашелъ бы въ этихъ отношеніяхъ ничего робкаго или фальшиваго“. Тургеневъ есть „искренній художникъ, не уродующій дѣйствительность, а изображающій ее, какъ она есть“. Вслѣдствіе этой „честной, чистой натуры художника“, „его образы

*) Д. Писаревъ. Сочиненія Д. И. Писарева, ч. 2.
**) Цитируетъ критикъ „Времени“, Н. Страховъ („Время“ 1862 г., № 4).

живутъ своею жизнію; онъ любитъ ихъ, увлекается ими, онъ привязывается къ нимъ во время процесса творчества, и ему становится невозможнымъ помыкать ими по своей прихоти и превращать картину жизни въ аллегорію съ нравственною цѣлью и съ добродѣтельной развязкой". „Тургеневъ—пишетъ онъ (Писаревъ) — оправдалъ Базарова и оцѣнилъ его по достоинству. Базаровъ вышелъ у него изъ испытанія чистымъ и крѣпкимъ". „Смыслъ романа вышелъ такой: теперешніе молодые люди увлекаются и впадаютъ въ крайности; но въ самыхъ увлеченіяхъ оказываются свѣжая сила и неподкупный умъ; эта сила и этотъ умъ даютъ себя знать въ минуту тяжелыхъ испытаній; эта сила и этотъ умъ безъ всякихъ посторонннихъ пособій и вліяній выведутъ молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержатъ ихъ въ жизни". „Кто прочелъ въ романѣ Тургенева эту прекрасную мысль, *тотъ не можетъ не изъявить ему глубокой и горячей признательности, какъ великому художнику и честному гражданину Россіи!*"

Д. Писаревъ.

* * *

*) Критики, въ числѣ ихъ и Писаревъ, недовольны Базаровымъ за то, что онъ отрицаетъ изящество жизни, эстетическое наслажденіе и науку. По поводу этого критикъ „Времени" говоритъ: „Фигура Базарова имѣетъ въ себѣ нѣчто мрачное и рѣзкое. Въ его наружности нѣтъ ничего мягкаго и краснваго; его лицо имѣло другую, не внѣшнюю красоту: оно оживлялось спокойною улыбкою и выражало самоувѣренность и умъ". Онъ мало заботится о своей наружности и одѣвается небрежно. Точно также въ своемъ обращеніи онъ не любитъ никакихъ излишнихъ вѣжливостей, пустыхъ, не имѣющихъ значенія формъ, внѣшняго лаку, который ничего не покрываетъ. Базаровъ *простъ* въ высшей степени, и отъ этого, между прочимъ, зависитъ та легкость, съ которою онъ сходится съ людьми,

*) Н. Страховъ. „Время" 1862 г., № 4. Также „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ". Спб. 1887 г.

начиная отъ дворовыхъ мальчишекъ и до Анны Сергѣевны Одинцовой. Такъ опредѣляетъ Базарова самъ юный другъ его Аркадій Кирсановъ:

— Ты съ нимъ, пожалуйста, не церемонься, говоритъ онъ своему отцу: — онъ чудесный малый, такой простой, ты увидишь.

Чтобы рѣзче выставить простоту Базарова, Тургеневъ противопоставилъ ей изысканность и щепетильность Павла Петровича. „Послѣ этого весьма странно,- что почитатели Базарова не довольны его изображеніемъ въ этомъ отношеніи. Они находятъ, что авторъ придалъ ему *грубыя манеры*, что онъ выставилъ его *неотесаннымъ*, *дурно воспитаннымъ*, котораго *нельзя пустить въ порядочную гостиную*“.

Такъ выражается г. Писаревъ и на этомъ основаніи приписываетъ г. Тургеневу *коварный* умыселъ *уронить* и *опошлить* своего героя въ глазахъ читателей. По мнѣнію г. Писарева, Тургеневъ поступилъ весьма несправедливо; „можно быть крайнимъ матеріалистомъ, полнѣйшимъ эмпирикомъ, и въ то же время заботиться о своемъ туалетѣ, обращаться утонченно-вѣжливо со своими знакомыми, быть любезнымъ собесѣдникомъ и совершеннымъ джентльменомъ. Это я говорю—прибавляетъ критикъ— для тѣхъ читателей, которые, придавая важное значеніе утонченнымъ манерамъ, съ отвращеніемъ посмотрятъ на Базарова какъ на человѣка mal élévé и mauvais ton. Онъ дѣйствительно mal élévé и mauvais ton, но это нисколько не относится къ сущности типа“...

Изящныя манеры и хорошій туалетъ, конечно, суть вещи хорошія; но мы сомнѣваемся, чтобы они были къ лицу Базарову и шли къ его характеру. Человѣкъ глубоко преданный одному дѣлу, предназначавшій себя, какъ онъ самъ говоритъ, для „жизни горькой, терпкой, бобыльной“, онъ ни въ какомъ случаѣ не могъ играть роль утонченнаго джентльмена, не могъ быть любезнымъ собесѣдникомъ. Онъ легко сходится съ людьми; онъ живо заинтересовываетъ всѣхъ, кто его знаетъ: но этотъ интересъ заключается вовсе не въ тонкости обращенія...

Тургеневъ имѣлъ притязанія и дерзость создать романъ, имѣющій *всевозможныя* направленія; поклонникъ вѣчной истины, вѣчной красоты, онъ имѣлъ гордую цѣль во временномъ указать на вѣчное, и написалъ романъ не прогрессивный и не ретроградный, а, такъ сказать, *всегдашній*. Въ этомъ случаѣ его можно сравнить съ математикомъ, старающимся найти какую-нибудь важную теорему. Положимъ, что онъ нашелъ, наконецъ, эту теорему; не правда ли, что онъ долженъ быть сильно удивленъ и озадаченъ, если бы къ нему вдругъ приступили съ вопросами: да какая твоя теорема — прогрессивная или ретроградная? Сообразна ли она съ *новымъ* духомъ, или же угождаетъ *старому?* На такія рѣчи онъ могъ бы отвѣчать только такъ: ваши вопросы не имѣютъ никакого смысла, никакого отношенія къ моему дѣлу: моя теорема есть *вѣчная истина*...

Смѣна поколѣній — вотъ наружная тема романа. Если Тургеневъ изобразилъ не всѣхъ отцовъ и дѣтей, или не *тѣхъ* отцовъ и дѣтей, какихъ хотѣлось бы другимъ, то *вообще* отцовъ и *вообще* дѣтей, и отношеніе между этими двумя поколѣніями онъ изобразилъ превосходно. Можетъ быть, разница между поколѣніями никогда не была такъ велика, какъ въ настоящее время, а потому и отношеніе ихъ обнаружилось особенно рѣзко. Какъ бы то ни было, для того чтобы измѣрять разницу между двумя предметами, нужно употреблять одну и ту же мѣрку для обоихъ; чтобы рисовать картину, нужно взять изображаемые предметы съ одной точки зрѣнія, общей для всѣхъ ихъ.

Эта одинаковая мѣра, эта общая точка зрѣнія у Тургенева есть *жизнь человѣческая* въ самомъ широкомъ и полномъ ея значеніи. Читатель его романа чувствуетъ, что за миражемъ внѣшнихъ дѣйствій и сценъ льется такой глубокій, такой неистощимый потокъ жизни, что всѣ эти дѣйствія и сцены, всѣ лица и событія ничтожны передъ этимъ потокомъ.

Если мы такъ поймемъ романъ Тургенева, то, можетъ быть, передъ нами всего яснѣе обнаружится и то нравоученіе, котораго мы добиваемся. Нравоученіе есть, и даже

весьма важное, потому что истина и поэзія всегда поучительны.

Глядя на картину романа спокойнѣе и въ нѣкоромъ отдаленіи, мы легко замѣтимъ, что хотя Базаровъ головою выше всѣхъ другихъ лицъ, хотя онъ величественно проходитъ по сценѣ, торжествующій, поклоняемый, уважаемый, любимый и оплакиваемый, есть, однакоже, что-то, что въ цѣломъ выше Базарова. Что же такое? Всматриваясь внимательнѣе, мы найдемъ, что это высшее не какія-нибудь лица, а та *жизнь*, которая ихъ воодушевляетъ. Выше Базарова — тотъ страхъ, та любовь, тѣ слезы, которыя онъ внушаетъ. Выше Базарова та сцена, по которой онъ проходитъ. Обаяніе природы, прелесть искусства, женская любовь, любовь семейная, любовь родительская, *даже* религія, все это — живое, полное, могущественное — составляетъ фонъ, на которомъ рисуется Базаровъ. Этотъ фонъ такъ ярокъ, такъ сверкаетъ, что огромная фигура Базарова вырѣзается на немъ отчетливо, но вмѣстѣ съ тѣмъ мрачно.

Н. Страховъ.

* * *

*) Отдавая должную справедливость многимъ умнымъ замѣчаніямъ автора критической статьи во „Времени“ (№ 4), мы никакъ не можемъ согласиться съ нимъ въ основной его мысли, именно во взглядѣ его на сущность типа, изображеннаго г. Тургеневымъ подъ именемъ Базарова. Взглядъ этотъ не выдержитъ пробы, будемъ ли мы сравнивать его съ самымъ романомъ, или съ нашею общественною средою, изъ которой взяты элементы изображенія. По мнѣнію критика, въ этой фигурѣ выразился господствующій въ наше время духъ реализма, духъ дѣйствующій и въ жизни и въ наукѣ. Критикъ раздвигаетъ горизонтъ этого типа до всемірнаго значенія, и видитъ въ немъ какую-то всеобщую идею. Онъ видитъ въ немъ тотъ умственный аскетизмъ, который сурово отказывается отъ всего далекаго, отвле-

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1862 г., № 5-й.

ченнаго, туманнаго, и направляетъ мысль и дѣятельность къ достижимымъ цѣлямъ. Но, придавая этому типу такое значеніе, критикъ далекъ отъ сочувствія ему; критикъ видитъ въ немъ силу односторонюю, не удовлетворяющую всѣмъ требованіямъ человѣческой жизни и подавляющую многія лучшія изъ нихъ.

Во всякомъ случаѣ, такой взглядъ стираетъ не только всѣ индивидуальныя, но и всѣ типическія особенности этого образа; онъ превращаетъ его въ отвлеченность, которая столько же можетъ относиться къ Базарову, сколько и къ явленіямъ, совершенно противоположнымъ... Если бы критикъ обратилъ вниманіе на бытовыя стороны типа, то въ немъ не могло бы возникнуть и тѣни мысли о какомъ-то всеобщемъ духѣ реализма, и онъ легко нашелъ бы ключъ къ своему впечатлѣнію. Онъ удивляется жизненности и вѣрности изображенія; дѣйствительно, тургеневскій типъ отличается въ высокой степени этими качествами. Но какъ же критикъ не подумалъ, что при его толкованіи типъ этотъ оказался бы самою неудачною выдумкою и, во всякомъ случаѣ, былъ бы чѣмъ-то совершенно исключительнымъ, чѣмъ-то безъ всякой аналогіи съ окружающей средой...“

Разсуждая о научныхъ занятіяхъ и изслѣдованіяхъ Базарова, критикъ „Русскаго Вѣстника“ говоритъ: „Что проглянуло въ этомъ: серьезное дѣло или нѣтъ? Авторъ оставляетъ насъ безъ всякаго намека. Если бы съ его стороны былъ какой-нибудь умыселъ, то умыселъ этотъ непремѣнно отозвался бы такъ или иначе въ тонѣ его разсказа. Подозрительные глаза инквизиторски наблюдали за всѣми движеніями автора въ его произведеніи и готовы были видѣть во всемъ злонамѣренный умыселъ, но ни одному критику не пришло въ голову остановиться на этомъ пунктѣ. Дѣйствительно, здѣсь нѣтъ ни малѣйшей иронiи. Авторъ только взялъ тотъ духъ науки, какой представила ему наша общественная среда, и пустилъ его дѣйствовать, ни за что не принимая на себя отвѣтственности. Очень можетъ быть, что автору вовсе и на мысль не приходило спросить себя, серьезное ли это дѣло или нѣтъ, но, безъ сомнѣнія, въ

суммѣ общаго впечатлѣнія, всѣми должно было чувствоваться, что это дѣло не серіозное. Что за Дюбуа Ремонъ или Рудольфъ Вагнеръ, или, пожалуй, самый этотъ Джорджъ Генри Люисъ, о которомъ было у насъ такъ много толковъ, появился на святой Руси?... Нѣтъ сомнѣнія, что наука здѣсь не есть что-либо серьезное, и что ее надобно сложить со счетовъ. Если въ этомъ Базаровѣ сидитъ дѣйствительная сила, то она что-нибудь другое, а никакъ не наука. Своей наукой онъ можетъ имѣть значеніе лишь въ томъ окруженіи, куда онъ попалъ; своей наукой онъ можетъ подавлять только своего старичка-отца, юнаго Аркадія и мадамъ Кукшину... Впрочемъ, онъ на столько уменъ, что и самъ это сознаетъ, самъ это высказываетъ, хотя не о себѣ лично, но вообще о своихъ соотечественникахъ, въ сравненіи съ настоящими изслѣдователями въ тѣхъ странахъ, гдѣ это дѣло есть серьезное.....

Базаровъ вовсе не о томъ хлопочетъ, чтобы стать спеціалистомъ по той или другой части (науки); онъ занимается естественными науками болѣе въ качествѣ мудреца, въ интересѣ первыхъ причинъ и сущности вещей. Онъ потому занимается этими науками, что онѣ, по его мнѣнію, прямо ведутъ къ рѣшенію вопросовъ объ этихъ первыхъ причинахъ. Онъ уже заранѣе увѣренъ, что естественныя науки ведутъ къ отрицательному рѣшенію этихъ вопросовъ, и они ему нужны, какъ орудіе уничтоженія предразсудковъ и для вразумленія людей въ той вдохновительной истинѣ, что никакихъ первыхъ причинъ не имѣется, и что человѣкъ и лягушка въ сущности одно и то же...

Ни въ какой другой общественной средѣ Базаровы не могли бы имѣть обширнаго круга дѣйствій и казаться сплачами или гигантами; во всякой другой средѣ, на каждомъ шагу, отрицатели сами безпрерывно подвергались бы отрицанію; при каждой встрѣчѣ приходилось бы имъ повторять про себя то, что сказалъ Базаровъ передъ смертью: „Да, поди, попробуй отрицать смерть: она меня отрицаетъ, и баста“. Но въ нашей цивилизаціи, не имѣющей въ себѣ никакой самостоятельной силы, въ нашемъ маленькомъ

умственномъ мірѣ, гдѣ нѣтъ ничего, стоящаго твердо, гдѣ нѣтъ ни одного интереса, который бы не стыдился и не конфузился самого себя и сколько-нибудь вѣрилъ въ свое существованіе, — духъ нигилизма могъ развиться и пріобрѣсти значеніе. Эта умственная среда сама собою подпадаетъ подъ нигилизмъ и находитъ въ немъ свое вѣрнѣйшее выраженіе.

Въ Базаровѣ нашъ авторъ взялъ одинъ изъ лучшихъ типовъ нигилизма. Онъ принадлежитъ къ числу людей *импульсивныхъ*. Какъ и всѣ наши образованные люди, онъ прямо изъ школы вынесъ добрый задатокъ этого духа отрицанія,—вынесъ сѣмя его, которое нашло въ немъ благодарную почву. Какъ и у всѣхъ нашихъ такъ называемыхъ образованныхъ людей, въ его умѣ живущими и сильными элементами оказывается лишь то, что запечатлѣно отрицающимъ характеромъ; все прочее оказывается слабымъ, мертвымъ, хилымъ, подлежащимъ отрицанію. Онъ держитъ про себя весь этотъ хламъ только для произведенія надъ нимъ операцій разложенія...

Авторъ произвелъ своего героя отъ бѣдныхъ родителей, изъ той волнующейся среды, которая приливаетъ къ нашему привиллегированному сословію, группируется на его окрайнахъ и просачивается въ него съ разныхъ сторонъ. Отецъ его разночинецъ, дослужившійся до дворянства и ставшій мелкимъ помѣщикомъ, владѣльцемъ одной или двухъ дюжинъ душъ. Еще характеристичнѣе то обстоятельство, что Базаровъ — внукъ дьячка, — „какъ Сперанскій“, сказалъ онъ разъ своему новому пріятелю, скрививъ губы. Можетъ быть, фигура Базарова вышла бы еще типичнѣе, если бы авторъ прямо произвелъ его отъ дьячка... Нашъ нигилизмъ не можетъ не находить себѣ поживы въ отпрыскахъ духовнаго сословія. Благодаря сложившимся обстоятельствамъ, именно между ними онъ можетъ вербовать себѣ самыхъ *импульсивныхъ* поборниковъ. Отсюда-то всего легче и вѣрнѣе могутъ выходить его вѣроучители, и достаточно способные и достаточно сильные для своего дѣла. А потому, повторимъ, очень вѣрный инстинктъ побудилъ г. Тургенева при-

вести своего нигилиста въ нѣкоторую связь съ этимъ сословіемъ. Эта черта была бы очень выразительна, если бы художникъ болѣе воспользовался ею.

„Русскій Вѣстникъ“ 1862 г.

* * *

*) Г. Тургеневъ осудилъ эмансипацію женщинъ, совершающуюся подъ руководствомъ Ситниковыхъ и проявляющуюся въ умѣньи складывать крученыя папиросы, въ безпощадномъ куреньи табаку, въ питьѣ шампанскаго, въ пѣніи цыганскихъ пѣсенъ, въ пьяномъ видѣ, и въ присутствіи едва знакомыхъ молодыхъ людей, въ небрежномъ обращеніи съ журналами, въ безсмысленномъ толкованіи о Прудонѣ и Маколеѣ, при явномъ невѣжествѣ и даже отвращеніи ко всякому дѣльному чтенію, что доказывается лежащими по столамъ не разрѣзанными журналами или постоянно разрѣзанными на однихъ только скандальныхъ фельетонахъ,—вотъ тѣ обвинительные пункты, по которымъ г. Тургеневъ осудилъ способъ развитія у насъ женскаго вопроса.

„Библіотека для чтенія“ 1862 г.

* * *

**) Въ области беллетристики первымъ протестомъ противъ новыхъ идей былъ романъ г. Тургенева „Отцы и Дѣти“. Романъ этотъ отличается отъ другихъ того же рода произведеній тѣмъ, что онъ преимущественно философскій. Онъ мало касается какихъ-либо общественныхъ вопросовъ своего времени. Главная цѣль его поставить рядомъ другъ передъ другомъ философію отцовъ и философію дѣтей и показать, что философія дѣтей противна человѣческой природѣ, и потому не можетъ быть примѣнима въ жизни. Задача ро-

*) „Библіотека для чтенія“ 1862 г., № 5.

**) А. Скабичевскій. „Отечественныя Записки“ 1868 г., № 9. Также „Сочиненія А. Скабичевскаго“, т. I. Спб. 1890 г.

мана, какъ вы видите, очень серьезная: для выполненія ея автору слѣдовало бы изучить добросовѣстно и безпристрастно обѣ системы міросозерцанія, и тогда только приступить къ какимъ-либо выводамъ. Но на первыхъ же страницахъ вы видите, что авторъ лишенъ всякой умственной подготовки къ выполненію цѣли романа; онъ не только не имѣетъ никакого понятія о системѣ новой положительной философіи, но и о старыхъ, идеалистическихъ системахъ имѣетъ понятія самыя поверхностныя, ребяческія... Вы могли бы смѣяться надъ одними героями своего романа, читая ихъ сумбурныя разсужденія о молодомъ поколѣніи, если бы весь строй романа не былъ основанъ на этихъ-же самыхъ разсужденіяхъ. Это показываетъ, что г. Тургеневъ въ рѣчахъ Павла и Николая Петровичей представляетъ не одни только ихъ взгляды, а и свои собственные. Но намъ станетъ не до смѣху уже, какъ подумаемъ, что цѣлое общество повѣрило г. Тургеневу, что относиться ко всему критически—это нѣчто совершенно новое въ Европѣ, появившееся недавно послѣ уже гегелизма, и что это новое—очень опасное и ужасное, потому что относиться ко всему критически—значитъ отвергать всякія принципы, обитать въ безвоздушномъ пространствѣ и быть нигилистомъ. Слово „нигилистъ“ сдѣлалось вездѣсущимъ, и какъ всякое произвольное, неопредѣленное названіе, совершенно не характеризующее предмета, къ которому относится, въ устахъ невѣжественной толпы оно сдѣлалось еще произвольнѣе и неопредѣленнѣе... Такое явленіе есть прямое слѣдствіе той скудости образованности, которую вынесло наше общество изъ своего прошлаго, и въ которомъ оно до сихъ поръ коснѣетъ.

Не только различныя разсужденія и споры героевъ, весь романъ построенъ не на основаніяхъ наблюденій надъ живою дѣйствительностію, а на чисто апріорныхъ началахъ. Задавшись тою идеею, что молодежь все отрицаетъ, г. Тургеневъ вознамѣрился показать на Базаровѣ, что подобное безусловное отрицаніе противно человѣческой природѣ, и что природа дѣйствуетъ своимъ путемъ, развивая въ человѣкѣ побужденія, чувства и страсти совершенно въ проти-

ворѣчіе теоріи его, отрицающей всѣ эти явленія. Базаровъ ничего не видѣлъ въ любви, кромѣ минутнаго удовлетворенія чувственности, и смѣялся надъ проявленіями любви болѣе серьезными, называя такія проявленія отжившимъ романтизмомъ, а самъ подюбилъ не на шутку Одинцову, и не могъ никакъ сладить съ собой. Базаровъ отвергалъ дуэли и смѣялся надъ ними, какъ надъ рыцарскими затѣями, а какъ дѣло дошло до встрѣчи съ ненавистнымъ человѣкомъ и отстоянія своей чести, онъ согласился драться съ Павломъ Петровичемъ безъ всякихъ колебаній... Г. Тургеневъ слышалъ гдѣ-то стороною, что новое міросозерцаніе ставитъ въ основаніе всѣхъ психологическихъ явленій ощущенія, и вывелъ изъ этого какимъ-то образомъ, что выводить все изъ ощущеній, это значитъ все отрицать, косить и валять себя по ногамъ. Г. Тургеневъ никакъ не могъ вообразить, что отвергая честность, какъ врожденную идею, вложенную въ человѣка до его рожденія, и признавая ее, какъ ощущеніе, положительная философія нисколько не отрицаетъ этимъ честности, равно какъ и другихъ принциповъ. Все дѣло касается здѣсь не самой честности, а ея происхожденія, и Базаровъ, какъ человѣкъ новаго міросозерцанія, не имѣлъ никакого повода, приступая къ этому философскому вопросу, воображать, что онъ этимъ валяетъ себя по ногамъ и отрицаетъ принципы. Здѣсь г. Тургеневъ субъективенъ такъ же, какъ и въ рѣчахъ Кирсановыхъ: въ уста молодого поколѣнія онъ влагаетъ такія понятія о новомъ міросозерцаніи, которыя сложились въ его собственной художественной головѣ, лишенной всякаго философскаго развитія. Если бы г. Тургеневъ снизошелъ съ своего Парнаса и взглянулъ поближе на молодое поколѣніе, то въ жизни, въ дѣйствительности, онъ увидѣлъ бы, что молодежь не только не отрицаетъ честности, а, напротивъ того, шагу не можетъ ступить безъ того, чтобы разъ двадцать не повторить этого слова, при всякомъ удобномъ случаѣ.

...Вотъ что такое, по мнѣнію героевъ романа, нигилисты: это люди, которые ко всему относятся съ критической точки зрѣнія, не принимаютъ ничего на вѣру, и потому

они должны существовать въ безвоздушномъ пространствѣ и производить свое названіе отъ латинскаго слова nihil, что значитъ ничего... Ну, подумайте, пожалуйста, есть ли хоть одна капля, не скажу философскаго, просто здраваго смысла въ этомъ сумбурѣ. Одно только, что видно здѣсь, это крайнее, дѣтское невѣжество, которому совершенно неизвѣстенъ ходъ развитія европейской мысли. Это невѣжество не знаетъ, что отношеніе ко всему съ критической точки зрѣнія вовсе не составляетъ какой-либо новости, которую можно было бы назвать сущностью новаго міросозерцанія. Эта новость существуетъ уже со временъ Бекона и Декарта, и съ ихъ времени никто уже и не споритъ о томъ, что каждый мало-мальски мыслящій человѣкъ долженъ относиться ко всему критически. Споры европейскихъ идеалистовъ съ реалистами заключаются вовсе не въ томъ, слѣдуетъ ли относиться ко всему критически или нѣтъ; споръ идетъ объ основаніяхъ критическаго отношенія къ вещамъ: идеалисты говорятъ, что такое отношеніе можетъ быть основано на апріорическихъ началахъ чистаго разума, а реалисты строятъ его не иначе, какъ на началахъ индуктивныхъ изслѣдованій; но обѣ школы нисколько не сомнѣваются въ томъ, что на то и данъ человѣку разумъ, чтобы относиться ко всему критически. Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія героевъ романа, нигилистами слѣдуетъ называть не однихъ только послѣдователей положительной философіи, а и гегелистовъ, и шеллингистовъ, и кантистовъ, и спинозистовъ, — однимъ словомъ, всѣхъ европейскихъ мыслителей, включая Бекона и Декарта. Курьезнѣе всего здѣсь, между прочимъ, то, что Павелъ Петровичъ противопоставляетъ критическое отношеніе къ вещамъ и принципы, полагая, что принципы суть непремѣнно нѣчто принятое на вѣру, безъ всякой провѣрки критики. Но почему же тотъ же самый принципъ не можетъ быть принятъ на критическихъ основаніяхъ? Да и при какихъ условіяхъ человѣкъ будетъ стоять на болѣе твердой почвѣ: тогда ли, когда онъ будетъ слѣдовать въ жизни какому либо принципу, слѣпо принятому на вѣру, или когда онъ этотъ самый прин-

ципъ провѣритъ на основаніи какихъ-либо критическихъ данныхъ... Вообще, производя нигилизмъ отъ латинскаго слова nihil, т. е. ничего, гораздо было бы правильнѣе назвать нигилистами людей, у которыхъ ничего нѣтъ въ головѣ, ни одной мысли, провѣренной собственной критикой, кромѣ принятыхъ на вѣру кирсановскихъ принциповъ...

А. Скабичевскій.

* * *

*) Въ художественномъ отношеніи романъ совершенно неудовлетворителенъ, чтобъ не сказать болѣе изъ уваженія къ таланту г. Тургенева, къ его прежнимъ заслугамъ и къ его многочисленнымъ почитателямъ. Общей нити, общаго дѣйствія, которое бы связывало всѣ части романа, нѣтъ; все какія-то отдѣльныя рапсодіи. Выводятся личности совершенно лишнія, непзвѣстно для чего фигурирующія въ романѣ; такова, напримѣръ, княжна Х....ая; она являлась нѣсколько разъ къ обѣду и къ чаю въ романѣ, посидѣла на „широкомъ бархатномъ креслѣ“ и потомъ умерла, „забытая въ самый день смерти“. Есть нѣсколько и другихъ личностей совершенно случайныхъ, выведенныхъ только для мебели. Впрочемъ, эти личности, какъ и другія въ романѣ, не постижимы или не нужны собственно въ художественномъ отношеніи, но онѣ нужны были г. Тургеневу для другихъ цѣлей, чуждыхъ искусству... Это романъ дидактическій, настоящій ученый трактатъ, написанный въ разговорной формѣ, и каждое выведенное лицо служитъ выраженіемъ и представителемъ извѣстнаго мнѣнія и направленія... Если смотрѣть на романъ съ точки зрѣнія его тенденцій, то онъ и съ этой стороны такъ же неудовлетворителенъ, какъ и въ художественномъ отношеніи... Съ первыхъ же страницъ романа, къ величайшему изумленію читающаго, имъ овладѣваетъ нѣкотораго рода скука, но, разумѣется, вы этимъ не смущаетесь и продолжаете

*) М. Антоновичъ. „Современникъ“ 1862 г., № 3.

читать, надѣясь, что дальше будетъ лучше, что авторъ войдетъ въ свою роль, что талантъ возьметъ свое и невольно увлечетъ ваше вниманіе. А между тѣмъ и дальше, когда дѣйствіе романа развертывается передъ вами вполнѣ, ваше любопытство не шевелится, ваше чувство остается не тронутымъ, чтеніе производитъ на васъ какое-то неудовлетворительное впечатлѣніе, которое отражается не на чувствѣ, а, что всего удивительнѣе,—на умѣ. Васъ обдаетъ какимъ-то мертвящимъ холодомъ; вы не живете съ дѣйствующими лицами романа, не проникаетесь ихъ жизнію, а начинаете холодно разсуждать или, точнѣе, слѣдить за ихъ разсужденіями. Вы забываете, что предъ вами лежитъ романъ талантливаго художника, и воображаете, что вы читаете морально-философскій трактатъ, но плохой и поверхностный, который, не удовлетворяя уму, тѣмъ самымъ производитъ непріятное впечатлѣніе на ваше чувство. Это показываетъ, что произведеніе г. Тургенева крайне неудовлетворительно въ художественномъ отношеніи... Негдѣ укрыться отъ удушливаго зноя странныхъ разсужденій и хоть на минуту освободиться отъ непріятнаго, раздражительнаго впечатлѣнія, производимаго общимъ ходомъ изображаемыхъ дѣйствій и сценъ... Все вниманіе автора обращено на главнаго героя и другихъ дѣйствующихъ лицъ,—впрочемъ, не на ихъ личности, не на ихъ душевныя движенія, чувства и страсти, а почти исключительно на ихъ разговоры и разсужденія. Оттого въ романѣ, за исключеніемъ одной старушки, нѣтъ ни одного живого лица и живой души, а все только отвлеченныя идеи и разныя направленія, олицетворенныя и названныя собственными именами. Романъ г. Тургенева не есть произведеніе чисто объективное; въ немъ слишкомъ ясно выступаетъ личность автора, его симпатіи, его воодушевленіе, даже его личная желчь и раздраженіе. Чрезъ это мы получаемъ возможность прочитать въ романѣ личныя мнѣнія самого автора, и въ этомъ имѣемъ уже одно основаніе — высказанныя въ романѣ мысли принимать за сужденія автора, по крайней мѣрѣ, мысли, высказанныя съ замѣтнымъ сочувствіемъ къ

нимъ со стороны автора и вложенныя въ уста тѣхъ лицъ, которымъ онъ, очевидно, покровительствуетъ. Если бъ въ авторѣ была хоть искра сочувствія къ „дѣтямъ“, къ молодому поколѣнію, хотя искра вѣрнаго и яснаго пониманія ихъ воззрѣній и стремленій, то она непремѣнно гдѣ-нибудь заблестѣла бы въ теченіе всего романа...

Отцы, въ противоположность дѣтямъ, проникнуты любовью и поэзіей, они люди нравственные, скромно и втихомолку дѣлающіе добрыя дѣла; они ни за что не хотятъ отстать отъ вѣка. Даже такой пустой фатъ, какъ Павелъ Петровичъ, и тотъ поднятъ на ходули и выставленъ человѣкомъ прекраснымъ... Тургеневъ не умѣлъ опредѣлить своей задачи; вмѣсто изображенія отношеній между „отцами“ и „дѣтьми“, онъ написалъ панегирикъ „отцамъ“ и обличеніе „дѣтямъ“, да и „дѣтей“ онъ не понялъ: вмѣсто обличенія, у него вышла клевета. Распространителей здравыхъ понятій между молодымъ поколѣніемъ онъ хотѣлъ представить развратителями юношества, сѣятелями раздора и зла, ненавидящими добро,—однимъ словомъ, асмодеями. Изъ разныхъ мѣстъ романа г. Тургенева видно, что главный герой его человѣкъ неглупый,—напротивъ, очень способный и даровитый, любознательный, прилежно занимающійся и много знающій, а между тѣмъ въ спорахъ онъ совершенно теряется, высказываетъ безсмыслицы и проповѣдуетъ нелѣпости, непростительныя самому ограниченному уму... Вообще, романъ есть не что иное, какъ безпощадная и тоже разрушительная критика молодого поколѣнія. Во всѣхъ современныхъ вопросахъ, умственныхъ движеніяхъ, толкахъ и идеалахъ, занимающихъ молодое поколѣніе, г. Тургеневъ не находитъ никакого смысла, и дастъ понять, что они ведутъ только къ разврату, пустотѣ, прозаической пошлости и цинизму... Тургеневъ находитъ свой идеалъ совершенно въ другомъ мѣстѣ, именно въ „отцахъ“, въ болѣе или менѣе старомъ поколѣніи. Стало быть, онъ проводитъ параллель и противоположность между „отцами“ и „дѣтьми“; и смыслъ его романа нельзя формулировать такъ: между множествомъ хорошихъ дѣтей есть и дурныя,

которыя и осмѣяны въ романѣ; задача его совершенно иная и приводится къ такой формулѣ: „дѣти“ дурны, они и представлены въ романѣ во всемъ своемъ безобразіи; а „отцы“ хороши, что также доказано въ романѣ.

Подъ категорію „дѣтей“ г. Тургеневъ подвелъ значительную часть современной литературы, такъ называемое, ея отрицательное направленіе, которое онъ олицетворилъ въ одномъ изъ своихъ героевъ и вложилъ ему въ уста слова и фразы, часто встрѣчающіяся въ печати и выражающія мысли, одобряемыя молодымъ поколѣніемъ и не возбуждающія непріязненныхъ чувствъ въ людяхъ средняго поколѣнія, а можетъ быть и стараго...

М. Антоновичъ.

* * *

*) Чрезвычайно любопытнымъ и характернымъ документомъ, свидѣтельствующимъ на сколько критика стояла ниже художника въ пониманіи жизненнаго развитія можетъ служить статья г. Антоновича, появившаяся въ самомъ тогдашнемъ прогрессивномъ журналѣ—въ „Современникѣ“... Статья была необходима для того, чтобы показать, что такое называлось тогда критикою, какимъ отсутствіемъ всякаго эстетическаго вкуса и разумѣнія жизни отличалась эта псевдопрогрессивная критика, какимъ узкимъ, личнымъ и партійнымъ ненавистничествомъ, какой бурсацкою грубостью встрѣчала она геніальнѣйшихъ представителей русскаго искусства и умнѣйшія геніальнѣйшія произведенія ихъ, теперь признанныя цѣлымъ свѣтомъ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое была эта критика, что такое былъ г. Антоновичъ, въ качествѣ цѣнителя и судьи литературы, когда онъ въ своей „необходимой“ статьѣ не обинуясь изрекаетъ, что романъ Тургенева „вообще въ художественномъ отношеніи совершенно не удовлетворителенъ, чтобы не сказать болѣе изъ уваженія къ таланту г. Тургенева“, что въ немъ нѣтъ „общей нити, общаго дѣйствія, которое связывало

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

бы всѣ части романа“; что въ немъ „выводятся личности совершенно лишнія, неизвѣстно для чего фигурирующія“; что это „романъ дидактическій, настоящій ученый трактатъ, написанный въ разговорной формѣ“; что Тургеневъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ „оставилъ свою службу искусству и сталъ порабощать его разнымъ теоретическимъ соображеніямъ и практическимъ цѣлямъ“; что „философская проницательность измѣнила поэту въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“, что Базаровъ „есть тотъ же Рудинъ (!) съ нѣкоторыми измѣненіями въ слогѣ (?) и выраженіяхъ“; что Тургеневъ въ своемъ романѣ коснулся только верхушекъ „новыхъ“ мнѣній, а „до внутренняго ихъ смысла добраться не могъ“; что ему не слѣдовало бы „разбирать современный образъ мыслей и характеризовать направленія“, ибо онъ ихъ „вовсе не понимаетъ или понимаетъ по своему, по-художнически, поверхностно и не вѣрно“; что такое художество, какое обнаружено Тургеневымъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“, заслуживаетъ „если не отрицанія, то порицанія и т. д.“. Читая теперь всѣ такія и тому подобныя сужденія „необходимой“ статьи г. Антоновича, не знаешь, чему болѣе дивиться: полному ли критическому невѣжеству ихъ автора, или той самоувѣренной и самодовольной ограниченности, съ которою онъ смѣло высказываетъ свои неразумныя и вздорныя поученія и замѣчанія Тургеневу и публикѣ... Не болѣе основательно и не менѣе курьезно уразумѣла „Отцовъ и Дѣтей“ и та часть тогдашней прогрессивной критики, которая отнеслась очень сочувственно къ этому роману. Эта критика приняла базаровскій типъ за какое-то олицетвореніе божества прогресса, приняла всѣ базаровскіе взгляды и мнѣнія за экстрактъ тогдашней современности, всѣ его фразы и слова, даже ироническія и шуточныя, за кодексъ „самой послѣдней“ и самой мудрой морали. Базаровъ, положимъ, говоря о красотѣ Одинцовой, выражается въ романѣ такъ: „этакое богатое тѣло“. Сочувственная базаровскому типу прогрессивная критика пускалась въ серьезныя и пространныя объясненія, что такъ именно и слѣдуетъ цѣнить женскую красоту съ настоящей

реалистическо-современной, молодой, прогрессивной точки зрѣнія, что „богатство“ тѣла и есть единственный признакъ красоты, что другихъ никакихъ признаковъ и искать не подобаетъ, ибо такое исканіе есть гнилой идеализмъ, противорѣчіе естественно-научному знанію и т. д. И подобными основательными и полезными обсужденіями и доказательствами непреложной раціональности каждаго слова, каждаго движенія, каждаго поступка Базарова критика пробавлялась всласть, и все съ единственной цѣлью убѣдить, что онъ-то, Базаровъ, и есть самый настоящій, „мыслящій реалистъ“, что отъ него-то и отъ занятій его анатомированіемъ лягушекъ и изойдетъ спасеніе не только нашего отечества, но и цѣлаго міра...

В. Буренинъ.

* * *

*) Произведеніе г. Тургенева находится въ обстоятельствахъ совершенно исключительныхъ. Взятое изъ текущей жизни, оно снова входитъ въ нее и производитъ во всѣ стороны сильное практическое дѣйствіе, какое едва ли когда производило у насъ литературное произведеніе. Рампа исчезла, актеры и зрители смѣшались. Романъ какъ будто еще продолжается; произведенное имъ дѣйствіе, явленія, которыя онъ вызвалъ—какъ будто новая глава въ немъ, какъ будто эпилогъ къ нему. Этотъ эпилогъ, разыгрывающійся въ дѣйствительности, служитъ отличнымъ комментаріемъ романа; вотъ почему сказали мы, что онъ находится въ исключительныхъ условіяхъ. Благодаря этимъ условіямъ, чрезвычайно упрощается оцѣнка, и съ совершенною точностію разрѣшается вопросъ объ истинѣ типа, о вѣрности его изображенія. Впослѣдствіи, историкъ нашей литературы будетъ говорить объ этомъ романѣ не иначе, какъ въ связи съ явленіями, вызванными имъ въ той средѣ, изъ которой взято его содержаніе... Въ настоящемъ случаѣ вопросъ рѣшается безъ всякихъ затрудненій. Самою лучшею повѣр-

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1862 г., № 5.

кою изображеннаго типа служитъ произведенное имъ дѣйствіе... Г. Антоновичъ, критикъ „Современника“, не обратилъ бы никакого вниманія или отозвался бы самымъ добродушнымъ смѣхомъ на всякую неудачную попытку изобразить то, что не хотѣлось бы ему видѣть изображеннымъ; но онъ приходитъ въ совершенное неистовство при чтеніи романа г. Тургенева. Точно будто вырвали что-то изъ его сердца, точно будто онъ чувствуетъ себя пораженнымъ въ самую жизненную часть своего организма. Статья его объ „*Отцахъ и Дѣтяхъ*“ — не критика, а судорога, какая то ужасная скороговорка, въ которой все столпилось безъ всякаго взаимнаго контроля, повинуясь только чувству сильнѣйшаго раздраженія, не знающаго за что схватиться и укусить. Онъ пересочиняетъ романъ, навязываетъ автору разныя тенденціи, упрекаетъ его за измѣну чистому искусству, и въ то же время истерически хохочетъ надъ этимъ чистымъ искусствомъ, искажаетъ цитаты, перепачиваетъ дѣйствія, приписываетъ героямъ свойства и мнѣнія совершенно противоположныя тѣмъ, съ которыми они являются у автора, всячески старается опошлить главнаго героя, довести его до одного уровня съ какимъ то романомъ г. Аскоченскаго, отдавая предпочтеніе послѣднему. Въ критикѣ г. Антоновича есть все, даже сравненіе съ г. Аскоченскимъ, который служитъ въ нашей литературѣ послѣднимъ терминомъ всякаго обиднаго сравненія... Базаровъ, какъ извѣстно, пожелалъ передъ смертью видѣть женщину, которую онъ любилъ, и былъ утѣшенъ ея прощальнымъ поцѣлуемъ. Какъ же вы думаете? Критикъ приходитъ отъ этого въ ужасъ; онъ съ омерзѣніемъ говоритъ объ этой сценѣ и обсыпаетъ автора язвительными укорами за такую „гадость“... Молодой человѣкъ, чувствуя приближеніе смерти, не смѣй и думать о томъ, что при жизни волновало его сердце, что онъ любилъ съ увлеченіемъ и страстью. Проститься передъ смертью съ предметомъ этой любви грѣшно и безнравственно. Читатель помнитъ эту сцену! кажется, въ ней нѣтъ ничего безнравственнаго и богопротивнаго? Однакожъ этотъ ригористъ находитъ ее такою. Надобно думать, что

появленіе Тургеневскаго романа произвело какую-нибудь глубокую кутерьму въ почтенномъ журналѣ, гдѣ пишетъ г. Антоновичъ. Въ его критической статьѣ слышатся отзывы этой подземной катастрофы...

Кончина героя очаровываетъ г. Писарева. Онъ пишетъ о ней съ гордымъ блескомъ во взорѣ; онъ кичится этою смертію за себя и за все новое поколѣніе: онъ видитъ въ этой смерти истинную апоѳеозу героя нашего времени; онъ не находитъ словъ для изъявленія благодарности автору за эту сцену смерти. Какая противоположность съ воззрѣніемъ г. Антоновича! Кто же правъ?.. Мы сближаемъ этихъ двухъ критиковъ не съ тѣмъ, чтобъ изъ этого сближенія дѣлать какой-нибудь выводъ относительно художественныхъ достоинствъ произведенія. Пусть во мнѣніи одного оно стоитъ высоко; пусть во мнѣніи другого оно ниже романа г. Аскоченскаго: это все равно, объ этомъ толковать нечего. Но насъ интересуютъ не мнѣнія этихъ критиковъ, а ихъ личныя отношенія къ роману, который будто бы они разбираютъ, но который накрылъ ихъ самихъ и произвелъ самое разлагающее дѣйствіе на ихъ умственную организацію... Странное дѣло! Оба эти философа, и по молодости лѣтъ и по характеру своихъ воззрѣній, равно причисляютъ себя къ передовымъ людямъ, у обоихъ одинъ и тотъ же символъ вѣры, и однако какое радикальное разногласіе по отношенію къ типу, въ которомъ одинъ узнаетъ идеалъ современнаго поколѣнія, другой—его каррикатуру и поруганіе! Вотъ очевидное доказательство, что художникъ попалъ мѣтко. Въ его произведеніи узнало себя то, что онъ изобразилъ въ немъ, узнало себя не только не въ искаженномъ, но даже въ самомъ лестномъ видѣ, и въ то же время почувствовало себя уязвленнымъ. Въ одномъ человѣкѣ было бы невозможно совмѣщеніе этихъ двухъ результатовъ. И вотъ произошло разложеніе. Изъ одного и того же мѣста послышалось два голоса, противорѣчащіе другъ другу во всѣхъ пунктахъ, но принужденные слиться въ одинъ общій результатъ. Выходя изъ одного начала и описавъ двѣ интересныя кривыя линіи, они пришли къ одному концу. Одинъ

заявилъ, что художникъ не выдумалъ своего типа, а извлекъ его изъ дѣйствительности; другой засвидѣтельствовалъ, что художникъ дѣйствительно извлекъ его. Болѣзненные вопли критика *Современника* и восторженныя ликованія критика *Русскаго Слова* сливаются въ одинъ звукъ и равномѣрно свидѣтельствуютъ о силѣ художника и объ успѣхѣ его произведенія... Оба критика, недовольный и довольный, не только противорѣчатъ между собою, но и совершенно согласны. Противорѣчіе есть и противорѣчія нѣтъ. Во взглядахъ обоихъ философовъ, плачущаго и смѣющагося, совершенное согласіе; но въ ихъ чувствованіяхъ, въ патетическихъ движеніяхъ души совершенная противоположность. Одно и то же почувствовали они противоположнымъ образомъ. Одинъ узналъ грядущаго героя съ веселымъ ликованіемъ; другой тоже узналъ его, но со скрежетомъ зубовъ. Одинъ спокоенъ и счастливъ; другой волнуется и терзается, и сыплетъ проклятія“...

Вообще о романѣ и сферѣ его критикъ „Русскаго Вѣстника“ говоритъ: „Все въ этомъ произведеніи свидѣтельствуетъ о созрѣвшей силѣ этого первокласснаго таланта: ясность идей, мастерство въ обрисовкѣ типовъ, простота въ замыслѣ и ходѣ дѣйствія, воздержность и ровность въ исполненіи, драматизмъ, возникающій естественно изъ самыхъ обыкновенныхъ положеній, ничего лишняго, ничего задерживающаго, ничего посторонняго. Но сверхъ этихъ общихъ достоинствъ, романъ г. Тургенева имѣетъ еще тотъ интересъ, что въ немъ уловленъ текущій моментъ, схвачено убѣгающее явленіе, типически изображена и запечатлѣна навѣки мимолетная фаза нашей жизни. Вотъ задача художника, который хочетъ непосредственно дѣйствовать на свое время; вотъ въ чемъ истинный смыслъ того требованія, чтобы художникъ оставался сыномъ своего времени, гражданиномъ своей страны...

Наша умственная жизнь не отличается ни многочисленностію своихъ органовъ, ни богатствомъ, ни внутреннею послѣдовательностію въ своемъ развитіи. Она зависитъ отъ разнородныхъ вліяній, дѣйствующихъ на нее со стороны.

Эта скудная струйка нашего умственнаго и общественнаго быта протекаетъ передъ лицомъ великихъ и могущественныхъ цивилизацій, отъ которыхъ она зависитъ, которыя безпрерывно на нее дѣйствуютъ и производятъ въ ней пертурбаціи. Оттого-то наше развитіе, повидимому, идетъ такъ быстро; оттого-то оно такъ часто переходитъ изъ одной фазы въ другую, такъ легко измѣняется въ своемъ направленіи и цвѣтѣ. Что ни день, то новое колѣно, новая эпоха, новые герои. Въ нашей литературѣ проходитъ послѣдовательно цѣлый рядъ типовъ, соотвѣтствующихъ этимъ фазамъ. Это герои своего времени. Самъ г. Тургеневъ изобразилъ уже нѣсколько подобныхъ типовъ. Въ прежнихъ типахъ онъ изображалъ болѣе или менѣе прожитые фазы; но въ послѣднемъ романѣ онъ поймалъ героя прямо на дѣлѣ. Вотъ почему новый романъ г. Тургенева, при своемъ общемъ художественномъ значеніи, имѣетъ еще значеніе непосредственно дѣйствующей силы. То, что дѣйствуетъ теперь вокругъ насъ, что пробѣгаетъ въ умахъ и настраиваетъ ихъ извѣстнымъ образомъ, приведено здѣсь къ сознанію, представлено на видъ, — изъ дѣятеля превращено въ простой предметъ, изъ центра отброшено къ периферіи. Для подобной задачи необходимо обладать высокою творческою силою, необходима также зрѣлая и чуткая мысль, точка зрѣнія, до которой не всякій можетъ возвыситься, глубокая и обширная наблюдательность, большая власть надъ собой... Сфера этого романа, конечно, очень ограничена; она соотвѣтствуетъ тому кругу, въ которомъ вращается наше малокровное образованіе. Это сфера такъ называемыхъ у насъ образованныхъ людей, кончившихъ курсъ въ университетахъ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ, кое-что читавшихъ и группирующихся вокругъ литературы. Всего этого очень немного, все это очень скудно, все это не имѣетъ внутренней силы. Дурныя или хорошія мнѣнія, ложныя или истинныя ученія, равно лишены глубокаго корня и въ отцахъ и въ дѣтяхъ. Всѣ эти мнѣнія, всѣ эти толки и пренія—дѣло большею частію наносное или продуктъ тепличнаго воздуха. Это общая черта всего, что называется у

насъ образованнымъ, къ какому бы оно ни принадлежало поколѣнію, молодому или старому. Хороши или дурны люди, даровиты они или бездарны по своей природѣ, вы чувствуете, что главная доля ихъ умственнаго содержанія не выработана жизнію, а случайно занесена со стороны, и является или аффектаціей и безплодной вычурой, или сухимъ быліемъ. Сила здѣсь вовсе не сила, а только относительное безсиліе окружающаго. Таковъ этотъ маленькій міръ, къ которому относится послѣднее произведеніе нашего писателя-художника.

„Русскій Вѣстникъ“ 1862 г.

* * *

*) Позволю себѣ привести слѣдующую выписку изъ моего дневника: „30 іюля, воскресенье. Часа полтора тому назадъ, я кончилъ, наконецъ, свой романъ.... Не знаю, каковъ будетъ успѣхъ. — „Современникъ“, вѣроятно обольетъ меня презрѣніемъ за Базарова—и не повѣритъ, что во все время писанія я чувствовалъ къ нему невольное влеченіе...“

Мои критики называли мою повѣсть «*Памфлетомъ*», упоминали о «*раздраженномъ*», «*уязвленномъ*» самолюбіи; но съ какой стати сталъ бы я писать памфлетъ — на Добролюбова, съ которымъ я почти не видался, но котораго высоко цѣнилъ, какъ человѣка и какъ талантливаго писателя? Какого бы я ни былъ скромнаго мнѣнія о своемъ дарованіи — я все таки считалъ и считаю сочиненіе памфлета, «*пасквиля*», ниже его, недостойнымъ его. Что же касается до «*уязвленнаго*» самолюбія — то замѣчу только, что статья Добролюбова о *послѣднемъ моемъ произведеніи передъ «Отцами и Дѣтьми»* — о „Наканунѣ“ (а онъ по праву считался выразителемъ общественнаго мнѣнія), что эта статья, явившаяся въ 1861 году, исполнена самыхъ горячихъ, говоря по совѣсти, самыхъ незаслуженныхъ по-

*) И. С. Тургеневъ. Сочиненія И. С. Тургенева. Т. 1. Изд. Салаева.

хвалъ... Рисуя фигуру Базарова, я исключилъ изъ круга его симпатій все художественное, я придалъ ему рѣзкость и безцеремонность тона — не изъ нелѣпаго желанія оскорбить молодое поколѣніе (!!!), а просто вслѣдствіе наблюденій надъ моимъ знакомцемъ, докторомъ Д. и подобными ему лицами"... Личныя мои наклонности тутъ ничего не значатъ; но, вѣроятно, многіе изъ моихъ читателей удивятся, если я скажу имъ, что, за исключеніемъ воззрѣній на художество, я раздѣляю почти всѣ его убѣжденія. А меня увѣряютъ, что я на сторонѣ „отцовъ"... Я, который въ фигурѣ Павла Кирсанова даже погрѣшилъ противъ художественной правды и пересолилъ, довелъ до карикатуры его недостатки, сдѣлавъ его смѣшнымъ!

Помнится, одинъ критикъ въ сильныхъ и краснорѣчивыхъ выраженіяхъ, прямо ко мнѣ обращенныхъ, представилъ меня вмѣстѣ съ г. Катковымъ въ видѣ двухъ заговорщиковъ, въ тишинѣ уединеннаго кабинета замышляющихъ свой гнусный ковъ, свою клевету на молодыя русскія силы... Картина вышла эффектная! На дѣлѣ вотъ какъ происходилъ этотъ „*заговоръ*". Когда г. Катковъ получилъ отъ меня рукопись „Отцовъ и Дѣтей", о содержаніи которой онъ не имѣлъ даже приблизительнаго понятія—онъ почувствовалъ недоумѣніе. Типъ Базарова показался ему „чуть не апоѳеозой „Современника", и я бы не удивился, если бъ онъ отказался отъ помѣщенія моей повѣсти въ своемъ журналѣ... Надѣюсь, что г. Катковъ не посѣтуетъ на меня за приведеніе нѣкоторыхъ мѣстъ изъ написаннаго ко мнѣ въ то время письма его:—„Если и не въ апоѳеозу возведенъ Базаровъ", писалъ онъ, „то нельзя не сознаться, что онъ какъ-то случайно попалъ на очень высокій пьедесталъ. Онъ дѣйствительно подавляетъ все окружающее. Все передъ нимъ или ветошь или слабо и зелено. Такого-ли впечатлѣнія нужно было желать? Въ повѣсти чувствуется, что авторъ хотѣлъ характеризировать начало мало ему сочувственное, но какъ будто колебался въ выборѣ тона и безсознательно покорился ему. Чувствуется что-то несвободное въ отношеніяхъ автора къ герою повѣсти, какая-то

неловкость и принужденность. Авторъ передъ нимъ какъ будто теряется, и не любитъ, а еще пуще боится его!“ Далѣе г. Катковъ сожалѣетъ о томъ, что я не заставилъ Одинцову обращаться иронически съ Базаровымъ и т. д.— все въ томъ-же тонѣ! Явно, прибавляетъ Тургеневъ, что одинъ изъ „заговорщиковъ“ не вполнѣ былъ доволенъ работою другого.

И. Тургеневъ.

* * *

*) Тургенева, очевидно, очень тревожило то „общественное мнѣніе“, которое по отношенію къ художественнымъ созданіямъ такъ часто бываетъ именно „судомъ глупца“ и, волнуясь его отзывами, онъ нерѣдко порывался какъ бы оправдать себя, порывался поправить въ слѣдующемъ произведеніи то, за что его упрекали въ предыдущемъ. Помимо художественныхъ поправокъ и оправданій, Тургеневъ дѣлалъ попытки такихъ-же оправданій и поправокъ въ своихъ объясненіяхъ съ читателями и въ письмахъ. Въ этихъ любопытныхъ документахъ очень живо отражается противорѣчіе Тургенева самому себѣ не только какъ художнику, но даже просто противорѣчіе собственнымъ-же увѣреніямъ. И всѣ эти противорѣчія исходятъ именно изъ отсутствія той гордости и того спокойствія, которыя рекомендуются Пушкинымъ поэту для того, чтобы имѣть правильный „высшій“ судъ надъ собственнымъ своимъ творчествомъ. Такъ, въ объясненіи по поводу „Отцовъ и Дѣтей“ Тургеневъ видимо огорчается тѣмъ, что съ одной стороны разные „тучные“, „снисходительные“ и „раздражительные“ генералы-консерваторы привѣтствовали его, какъ изобличителя зловреднаго нигилизма, а съ другой — разные мнимопрогрессивные критики обвиняли въ непониманіи идеаловъ молодого поколѣнія, изображеннаго будто-бы карикатурно въ лицѣ Базарова. Огорченіе художника, прозрѣвшаго въ этихъ привѣтствіяхъ-обвиненіяхъ подрывъ прежней либе-

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

ральной репутаціи, приводитъ его къ тому, что онъ начинаетъ увѣрять, будто бы въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ его полное сочувствіе къ Базарову не можетъ быть отрицаемо, что, за „исключеніемъ воззрѣній на художество, онъ раздѣляетъ самъ почти всѣ базаровскія убѣжденія“. Въ недавно напечатанномъ въ газетѣ „Недѣля“ письмѣ, писанномъ почти тотчасъ же вслѣдъ за появленіемъ „Отцовъ и Дѣтей“, Тургеневъ даже увѣряетъ, что въ Базаровѣ ему „мечтался какой-то pendant къ Пугачову“. И все это говоритъ тотъ самый художникъ, который въ этомъ-же письмѣ удостовѣряетъ, что Николай Петровичъ Кирсановъ списанъ имъ отчасти съ самого себя, который въ романѣ отъ своего лица съ нескрываемой злостью замѣчаетъ, что „этотъ гордый и самоувѣренный Базаровъ и не подозрѣвалъ, что онъ въ глазахъ мужиковъ былъ все-таки чѣмъ-то вродѣ шута гороховаго“. Какъ, подумаешь, вяжутся предыдущія оправдательныя увѣренія съ тѣмъ, что мы находимъ въ романѣ! Если самъ Тургеневъ, по его-же словамъ, принадлежитъ къ кирсановскому типу, что, конечно, въ извѣстной степени и въ извѣстномъ отношеніи справедливо, то какъ-же онъ могъ сходиться въ своихъ убѣжденіяхъ съ Базаровымъ? Если Тургеневъ мечталъ въ Базаровѣ изобразить pendant Пугачеву, то какимъ образомъ онъ выставилъ его гороховымъ шутомъ въ глазахъ народа? Разгадки этихъ противорѣчій слѣдуетъ искать въ томъ, что въ своихъ объясненіяхъ романа правдивый и прямой въ творчествѣ, но уклончивый и слабый характеромъ художникъ старался всячески *поправить* ту рѣзкую правду, которую онъ высказалъ въ лицо обществу, въ лицо молодому поколѣнію и которою смутился самъ, когда это общество и это поколѣніе легкомысленно начали „колебать его треножникъ“... *В. Буренинъ.*

* * *

*) По поводу романа „Отцы и Дѣти“ Н. Соловьевъ замѣчаетъ: „Заслуга Тургенева во всякомъ случаѣ большая.

* Н. Соловьевъ. „Искусство и жизнь“. М. 1869 г.

Сколько умныхъ вещей было высказано, сколько сомнѣній разрѣшено, сколько вопросовъ затронуто, и все это по поводу одного художественнаго произведенія“.

Н. Соловьевъ.

* * *

*) Въ романѣ „Наканунѣ“ русская жизнь изображена великимъ поэтомъ безъ вождя, безъ героя, безъ руководящей силы. Но такой горячей любовью къ родинѣ, такой вѣрой въ нее проникнутъ романъ, что не могло быть никакого сомнѣнія, что онъ изображаетъ дѣйствительно канунъ новаго дня, и что въ недалекомъ будущемъ изъ творческой фантазіи поэта выйдетъ новый образъ сильнаго русскаго человѣка, выразителя думъ и стремленій своего поколѣнія, своей эпохи.

И въ самомъ дѣлѣ, черезъ два года послѣ „Наканунѣ“ явилось въ свѣтъ величайшее художественное созданіе Тургенева — новый романъ, опять изображающій „героя времени“ — „Отцы и Дѣти“.

Но, искушенный опытомъ, развѣнчавшій двухъ людей, на которыхъ возлагалъ великія и смѣлыя надежды, „западника“ Рудина и „славянофила“ Лаврецкаго, Тургеневъ иначе относится къ новому вождю жизни. Когда онъ изображалъ тѣхъ, мы видѣли, какъ вѣра въ нихъ боролась въ его душѣ съ сомнѣніемъ въ ихъ состоятельности; поэтъ въ самомъ ходѣ романовъ то идеализировалъ своихъ героевъ, то развѣнчивалъ. Ничего подобнаго мы не видимъ въ его отношеніяхъ къ Базарову: здѣсь нѣтъ никакихъ колебаній,— поэтъ признаетъ великую силу новаго человѣка, признаетъ его значительность, горячо любитъ его, но сразу, съ перваго его шагу убѣжденъ въ его несостоятельности, въ томъ, что онъ не есть достигнутый идеалъ. Тургеневъ вполнѣ безпристрастно, вполнѣ объективно относится къ своему послѣднему герою,—здѣсь и причина необычайной художественности его изображенія: ни одно лицо поэзіи Тургенева

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб 1885 г.

не стоитъ такъ твердо на своихъ ногахъ, не рисуется такъ опредѣленно и ярко въ нашемъ представленіи, какъ Базаровъ.

Въ своихъ превосходныхъ замѣткахъ „По поводу Отцовъ и Дѣтей“, замѣткахъ, написанныхъ 8 лѣтъ спустя послѣ романа, поэтъ самъ вѣрно разъясняетъ свои отношенія къ главному лицу „Отцовъ и Дѣтей“:

„воспроизведенный мною Базаровскій типъ (говоритъ онъ) не успѣлъ пройти чрезъ постепенные фазисы, черезъ которые обыкновенно проходятъ литературные типы. На его долю не пришлось — какъ на долю Онѣгина или Печорина — (мы могли бы прибавить: и Рудина или Лаврецкаго)—эпохи идеализаціи, сочувственнаго превознесенія. Въ самый моментъ появленія новаго человѣка—Базарова—авторъ отнесся къ нему критически... объективно“.

Къ приведеннымъ словамъ Тургеневъ присоединилъ горестное замѣчаніе:

„кто знаетъ! въ этомъ была, быть можетъ, если не ошибка, то несправедливость. Базаровскій типъ имѣлъ по крайней мѣрѣ столько же права на идеализацію, какъ предшествовавшіе ему типы“.

Но съ этимъ замѣчаніемъ поэта мы можемъ, конечно, не согласиться, тѣмъ болѣе, что оно прекрасно опровергается дальнѣйшими справедливыми указаніями его на необходимыя условія истиннаго творчества. Художнику „нужна“, говоритъ Тургеневъ,

„правдивость, правдивость неумолимая въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій... и нигдѣ такъ свобода не нужна, какъ въ дѣлѣ художества, поэзіи: не даромъ даже на казенномъ языкѣ художества зовутся „вольными“, свободными. Можетъ ли человѣкъ „схватывать“, „уловлять“ то, что его окружаетъ, если онъ связанъ внутри себя? Пушкинъ это глубоко чувствовалъ: не даромъ въ своемъ безсмертномъ сонетѣ, въ этомъ сонетѣ, который каждый начинающій писатель долженъ вытвердить наизусть и помнить, какъ заповѣдь,—онъ сказалъ:

...дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ.

И вотъ эту-то свободу отношенія и изображенія мы,

дѣйствительно, и видимъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“,—обстоятельство, подымающее романъ на недосягаемую художественную высоту.

Замѣчательно, однако, что художественность и объективность великаго произведенія не были оцѣнены въ свое время по достоинству русскимъ обществомъ. Тургеневъ вспоминаетъ сонетъ Пушкина „Поэту“,—ему самому пришлось испытать то горькое чувство, которое внушило это стихотвореніе его великому предшественнику. Не была понята правдивая и безпристрастная любовь Тургенева къ своему герою,—и на знаменитаго писателя посыпались обвиненія самыхъ противоположныхъ свойствъ:

„Въ то время, какъ одни (пишетъ онъ въ названной выше замѣткѣ) обвиняютъ меня въ оскорбленіи молодого поколѣнія, въ отсталости, въ мракобѣсіи, извѣщаютъ меня, что съ „хохотомъ презрѣнія сжигаютъ мои фотографическія карточки“,—другіе, напротивъ, съ негодованіемъ упрекаютъ меня въ низкопоклонствѣ передъ самымъ этимъ молодымъ поколѣніемъ. „Вы ползаете у ногъ Базарова!“ восклицаетъ одинъ корреспондентъ: вы только притворяетесь, что осуждаете его; въ сущности, вы заискиваете передъ нимъ и ждете, какъ милости, одной его небрежной улыбки!“

Въ „Современникѣ“, передовомъ и либеральномъ журналѣ 60-хъ годовъ, появилась рѣзкая и грубая статья „Асмодей нашего времени“, въ которой Тургеневъ сразнивался съ Аскоченскимъ, романъ его признавался не художественнымъ произведеніемъ, а злобной клеветою на молодое поколѣніе; Базаровъ очень не понравился многословному критику. Несмотря на крайнюю слабость и бездарность статьи (чтобы не сказать болѣе), несмотря на доходящую до фантастическаго нелѣпость ея доводовъ — она имѣла большой успѣхъ. Она имѣла успѣхъ, несмотря даже на то, что даровитый критикъ направленія близкаго къ „Современнику“ иначе отнесся къ дѣлу. Писаревъ въ своей статьѣ „Базаровъ“ написалъ:

„Тургеневъ никому и ничему въ своемъ романѣ не сочувствуетъ вполнѣ. Если бы сказать ему: „Иванъ Сергѣичъ, вамъ Базаровъ не нравится, чего же вамъ угодно?“—то онъ на этотъ вопросъ

не отвѣтилъ бы ничего. Онъ никакъ не пожелалъ бы молодому поколѣнію сойтись съ отцами въ понятіяхъ и влеченіяхъ. Его не удовлетворяютъ ни отцы ни дѣти, и въ этомъ случаѣ его отрицаніе глубже и серьезнѣе отрицанія тѣхъ людей, которые, разрушая то, что было до нихъ, воображаютъ себѣ, что они — соль земли и чистѣйшее выраженіе полной человѣчности... ...Скажу больше: общія отношенія Тургенева къ тѣмъ явленіямъ жизни, которыя составляютъ канву его романа, такъ спокойны и безпристрастны, такъ свободны отъ раболѣпнаго поклоненія той или другой теоріи, что самъ Базаровъ не нашелъ бы въ этихъ отношеніяхъ ничего робкаго или фальшиваго. Тургеневъ не любитъ безпощаднаго отрицанія, и между тѣмъ личность безпощаднаго отрицателя выходитъ личностью сильною, и внушаетъ каждому читателю невольное уваженіе. Тургеневъ склоненъ къ идеализму, а между тѣмъ ни одинъ изъ идеалистовъ, выведенныхъ въ его романѣ, не можетъ сравниться съ Базаровымъ ни по силѣ ума ни по силѣ характера. Я увѣренъ, что многіе изъ нашихъ журнальныхъ критиковъ захотятъ, во что бы-то ни стало, увидать въ романѣ Тургенева затаенное стремленіе унизить молодое поколѣніе и доказать, что дѣти хуже родителей; но я точно также увѣренъ, что непосредственное чувство читателей, не скованныхъ обязательными отношеніями къ теоріи, оправдаетъ Тургенева, и увидитъ въ его произведеніи не диссертацію на заданную тему, а вѣрную, глубоко прочувствованную и безъ малѣйшей утайки нарисованную картину современной жизни“.

Замѣтимъ мимоходомъ важное обстоятельство, что со взглядомъ Писарева на положеніе въ романѣ Базарова сошелся г. Катковъ.

Оба критика неправы, что не видятъ, какъ Тургеневъ безповоротно развѣнчалъ Базарова, какъ онъ, хоть и съ болью сердца, но разбилъ „высокій пьедесталъ“ своего героя. Но они совершенно вѣрно оба, съ своихъ противоположныхъ точекъ зрѣнія, указали на безпристрастіе Тургенева, на отсутствіе въ немъ тенденціи.

Когда ожиданіе Писарева, что поэта обвинятъ въ желаніи унизить „дѣтей“ въ пользу „отцовъ“, исполнилось, молодой критикъ энергически осмѣялъ плохую статью „Современника“.

Но несмотря на все это,—молодое поколѣніе временно отвернулось отъ Тургенева. Мы знаемъ теперь даже, что

его требовала на какой-то судъ учащаяся въ Гейдельбергѣ русская молодежь.

„На мое имя легла тѣнь (съ чувствомъ глубокой горести написалъ поэтъ, въ 1869 г.). Я себя не обманываю; я знаю, эта тѣнь съ моего имени не сойдетъ“.

Слава Богу, печальныя ожиданія великаго писателя не сбылись! Сочувствіе юности черезъ нѣсколько лѣтъ вновь хлынуло къ нему волною, и уже болѣе не покидало его и проводило его въ могилу. Это совпало съ возвращеніемъ сочувствій молодого поколѣнія къ великому учителю Тургенева — Пушкину. Но поэту пришлось испытать не мало горькихъ минутъ.

Отчего произошло все это? трудно отвѣтить, трудно рѣшить этотъ психологическій и историческій вопросъ. Самъ Тургеневъ готовъ былъ видѣть причину охлажденія къ нему въ томъ, что типъ Базарова не прошелъ подъ его перомъ „эпохи идеализаціи“. Можетъ быть, это и вѣрно; но ужъ никакъ нельзя согласиться съ благодушнымъ мнѣніемъ поэта, что здѣсь была его ошибка. Не ошибка была здѣсь, а нѣчто совсѣмъ другое: великій художникъ переросъ общество, переросъ своихъ читателей: однимъ хотѣлось идеализаціи Базарова, другимъ приниженія, — а правда —мало кому понравилась.

И такъ, Базаровъ изображенъ вполнѣ объективно: поэтъ его любитъ, но въ то-же время сразу, безъ колебаній и сомнѣній развѣнчиваетъ. Слѣдовательно (можно-бы спросить), романъ „Отцы и Дѣти“, въ которомъ впервые Тургеневъ не идеализируетъ, не возвеличиваетъ своего героя, какъ онъ это дѣлалъ прежде, долженъ производить впечатлѣніе печальное съ самыхъ первыхъ страницъ, ибо и въ нихъ уже нѣтъ вѣры поэта въ состоятельность новаго человѣка, новаго вождя жизни?

Повидимому, на такой вопросъ должно отвѣтить утвердительно; но на самомъ дѣлѣ утвердительный отвѣтъ будетъ невѣрнымъ. — Да, „герой“ развѣнчанъ, какъ развѣнчаны силою безпощаднаго тургеневскаго анализа и прежніе герои; но послѣ него осталась жизнь — осталась и вѣра поэта

въ эту жизнь. За Базаровымъ въ романѣ изображенъ цѣлый міръ, міръ молодости, счастья, религіозныхъ вѣрованій, — и этотъ міръ остался цѣльнымъ, когда разбились мечты сильной личности о своемъ могуществѣ, о своемъ великомъ назначеніи. Гордая личность не смогла охватить и исчерпать дѣйствительности однимъ созданнымъ ею принципомъ,— и ушла изъ міра; но родникъ жизни не изсякъ и бьетъ въ романѣ живымъ ключомъ...

„Отцы и Дѣти“ — названъ романъ Тургенева, и названіе это какъ будто намекаетъ на противоположность двухъ поколѣній, противоположность во взглядахъ и жизни. И въ самомъ дѣлѣ мы видимъ въ романѣ съ одной стороны молодыхъ людей — Базарова, Аркадія Кирсанова, Катерину Сергѣевну, Оденчку; съ другой стороны—Николая Петровича и Павла Петровича Кирсановыхъ, стариковъ родителей Базарова. Между Базаровымъ и Павломъ Петровичемъ происходятъ въ романѣ ожесточенные споры; дѣло доходитъ между ними даже до дуэли... Но, собственно говоря, этимъ почти и ограничивается весь разладъ двухъ поколѣній, будто-бы трагически изображенный въ романѣ, какъ обыкновенно принято думать.—Конечно, Базаровъ расходится во взглядахъ съ отцомъ своимъ и съ матерью, съ Николаемъ Петровичемъ. Но это разногласіе не есть что-либо особое и чрезвычайное, свойственное именно данной эпохѣ, именно двумъ опредѣленнымъ поколѣніямъ русскихъ людей,—это обычное, хоть и печальное явленіе въ жизни образованныхъ классовъ народа, обычная разница взглядовъ старости и молодости. Вражды тутъ нѣтъ. Мы видѣли взаимную любовь Базарова и его родителей; вспомнимъ, что тотъ-же Базаровъ, хоть и называлъ Николая Петровича „отставнымъ человѣкомъ“, но очень ему симпатизировалъ и считалъ его и называлъ человѣкомъ хорошимъ.— Что-же касается другихъ молодыхъ людей романа, то, собственно говоря, и нѣтъ даже никакого внутренняго разлада между ними и старымъ поколѣніемъ. Да и самая вражда Павла Петровича и Базарова есть не столько разладъ людей двухъ поколѣній, сколько вражда двухъ принциповъ:

аристократизма и, пожалуй, нѣкотораго рода байронизма—съ простыми отношеніями къ жизни.

Но въ романѣ изображенъ разладъ другого рода, болѣе существенный, разладъ между Базаровымъ съ его убѣжденіями—съ одной стороны, и Аркадіемъ Кирсановымъ, Катериной Сергѣевной, Ѳеничкой, Николаемъ Петровичемъ (когда послѣдній примкнулъ къ этимъ молодымъ людямъ, женившись на Ѳеничкѣ)—съ другой.—Аркадій Кирсановъ только кажется ученикомъ и послѣдователемъ Базарова; а на самомъ дѣлѣ онъ лишь временно и не глубоко, не сильно увлекся идеями и личностью своего необыкновеннаго друга. Онъ гораздо моложе Базарова духомъ, и за нимъ, за Катей, за Ѳеничкой, за помолодѣвшимъ Николаемъ Петровичемъ остается жизнь, послѣ того, какъ Базаровъ ушелъ изъ нея. Самъ Базаровъ это сознаетъ, и не даромъ считаетъ и называетъ Аркадія „птенцомъ“.

Катя первая поняла это. Она указала Аркадію на то, что онъ началъ освобождаться отъ вліянія Базарова.

„Онъ (говорила она про послѣдняго) не то, что мнѣ непонравится, а я чувствую, что и онъ мнѣ чужой, и я ему чужая... да и вы ему чужой.

Это почему? (удивился Аркадій).

— Какъ вамъ сказать... Онъ хищный, а мы съ вами ручные.

— И я ручной?

Катя кивнула головой“.

Базаровъ хотѣлъ ломать жизнь во имя своего міровоззрѣнія, во имя своего принципа,—и кончилъ убѣжденіемъ въ своей несостоятельности. Катя, Аркадій и другіе—это люди жизни, живою душой воспринимающіе ея впечатлѣнія, не подавляющіе ихъ въ себѣ, дающіе волю и просторъ своимъ душевнымъ стремленіямъ.—Базаровъ, руководящая сила жизни, умеръ, ушелъ изъ міра, „герой времени“ оказался несостоятельнымъ; но Аркадій, Катя, Ѳеничка, эта почва, эти основы жизни, ея волнующіяся стихіи — остались; жизнь русская не изсякла, по представленію поэта,—значитъ, возможно и наступленіе времени, когда появится новый герой, новый руководитель, который, можетъ быть,

найдетъ, наконецъ, истинное знамя, за которымъ всѣ пойдутъ.

И есть что-то отрадное и свѣтлое въ этомъ сохраненіи жизни, въ той радости молодыхъ людей романа, изображеніемъ которой онъ оканчивается. Замѣчательно, что самъ Базаровъ сочувственно отнесся къ этой молодости: вспомнимъ его отзывъ Аркадію о Катѣ, когда тотъ и не подозрѣвалъ еще, чѣмъ будетъ для него Катя.

„Чудо — не она (говорилъ Базаровъ про Одинцову), а ея сестра.

— Какъ? эта смугленькая?

— Да, эта смугленькая. Это вотъ свѣжо, и нетронуто, и пугливо, и молчаливо, и все что хочешь".

Базаровъ сочувственно смотритъ и на бракъ Аркадія съ Катей, на ихъ молодую счастливую будущность.

„Нынѣшняя молодежь больно хитра стала",

сказалъ онъ Аннѣ Сергѣевнѣ, когда они оба неожиданно узнали о сватовствѣ Аркадія; и тутъ-же искренно прибавилъ:

„Желаю вамъ окончить это дѣло самымъ пріятнымъ образомъ; а я издали порадуюсь".

Когда онъ разставался окончательно съ Аркадіемъ и съ злобной горечью говорилъ ему, что дороги ихъ разошлись; а Аркадій печально сказалъ: „ты навсегда прощаешься, Евгеній... и у тебя нѣтъ другихъ словъ для меня",—

„Базаровъ почесалъ у себя въ затылкѣ.—Есть, Аркадій, есть у меня другія слова, только я ихъ не выскажу, потому что это романтизмъ,—это значитъ: разсыропиться. А ты поскорѣй женись; да своимъ гнѣздомъ обзаведись, да надѣлай дѣтей побольше. Умницы они будутъ уже потому, что во-время родятся, не то что мы съ тобой".

Отвѣтомъ на сочувствіе Базарова молодой жизни, остающейся послѣ него, и будущей, которая еще придетъ со временемъ, служитъ сочувственное воспоминаніе о немъ, о былomъ борцѣ, объ орлѣ, надломившемъ свои крылья, воспо-

минаніе Кати и Аркадія: когда въ Марьинѣ на прощальномъ обѣдѣ въ честь отъѣзжавшаго Павла Петровича пили тосты, Катя шепнула на-ухо своему мужу: „въ память Базарова“, и чокнулась съ нимъ; а „Аркадій въ отвѣтъ пожалъ ей крѣпко руку“.

Кромѣ молодой жизни, осталось послѣ смерти Базарова еще великое начало, съ которымъ онъ стоялъ передъ смертью лицомъ къ лицу и которое, быть можетъ, смутило его,—религіозное міросозерцаніе, вѣра въ жизнь безконечную, обѣщающая человѣку свободу, ту свободу, которой такъ тщетно искалъ Базаровъ на иныхъ путяхъ. Тургеневъ оканчиваетъ романъ выраженіемъ величайшаго сочувствія своего этому религіозному міросозерцанію, которымъ живетъ уже цѣлые вѣка русскій народъ. Поэтъ описываетъ запущенное сельское кладбище; по могиламъ его безвозбранно бродятъ овцы; но между этими могилами есть одна (говоритъ онъ),

„до которой не касается человѣкъ, которую не топчетъ животное: однѣ птицы садятся на нее и поютъ на зарѣ. Желѣзная ограда ее окружаетъ; двѣ молодыя елки посажены по обоимъ ея концамъ: Евгеній Базаровъ похороненъ въ этой могилѣ. Къ ней, изъ недалекой деревушки, часто приходятъ два уже дряхлые старичка — мужъ съ женою. Поддерживая другъ друга, идутъ они отяжелѣвшею походкой; приблизятся къ оградѣ, припадутъ и станутъ на колѣни, и долго, и горько плачутъ, и долго, и внимательно смотрятъ на нѣмой камень, подъ которымъ лежитъ ихъ сынъ; помѣняются короткимъ словомъ, пыль смахнутъ съ камня, да вѣтку елки поправятъ, и снова молятся, и не могутъ покинуть это мѣсто, откуда имъ какъ будто ближе до ихъ сына, до воспоминаній о немъ... Неужели ихъ молитвы, ихъ слезы безплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О, нѣтъ! Какое-бы страстное, грѣшное, бунтующее сердце ни скрылось въ могилѣ, цвѣты, растущіе на ней, безмятежно глядятъ на насъ своими невинными глазами: не объ одномъ вѣчномъ спокойствіи говорятъ намъ они, о томъ великомъ спокойствіи „равнодушной“ природы; они говорятъ также о вѣчномъ примиреніи и о жизни безконечной...“

Въ этихъ чудныхъ, вдохновенныхъ словахъ выражается, каковы-бы ни были личныя воззрѣнія самого Тургенева,

выражается несомнѣнно затаенный религіозный идеалъ его высокой поэзіи, тотъ идеалъ, который свѣтитъ намъ и въ чистомъ образѣ Лизы, единственнаго лица, выдержавшаго строгій судъ тургеневскаго анализа. Это—тотъ-же самый религіозный идеалъ, который проникаетъ собою послѣднія произведенія Пушкина и Гоголя, и который проявляется обыкновенно въ концѣ дѣятельности всѣхъ нашихъ крупныхъ поэтовъ, безразлично—наклонны ли они болѣе къ западничеству или къ славянофильству.

А. Незеленовъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА РОМАНА КАЖДОЕ ВЪ ОТДѢЛЬНОСТИ.

Базаровъ.

а) Базаровъ какъ типъ, герой и характеръ.

*) „Публикѣ не было никакого дѣла ни до Тургенева ни до его романа,“ —упрекая г. Антоновича за его чисто эстетическую критику романа, говоритъ Писаревъ. — Она хотѣла знать, что такое Базаровъ, и этотъ вопросъ имѣлъ для нея самое жизненное значеніе, потому что большая часть матерей, отцовъ и сестеръ видѣли въ своихъ дѣтяхъ и братьяхъ частицы или зародыши тѣхъ типическихъ особенностей, которыя сосредоточились и воплотились съ полною силою въ фигурѣ тургеневскаго нигилиста. „Если Базаровъ—карикатура, разсуждала публика, то объясните и представьте намъ въ настоящемъ свѣтѣ то явленіе жизни, которое вызвало эту карикатуру, и покажите намъ еще разъ ту идею, которая породила это явленіе. Если Базаровъ живой человѣкъ, то растолкуйте намъ его, мы не понимаемъ, онъ насъ пугаетъ, и пугаетъ именно потому, что мы видимъ что-то непонятное и базаровское въ чертахъ

*) Д. Писаревъ. Сочиненія Д. И. Писарева.

характера многихъ изъ тѣхъ людей, которыхъ мы любимъ, отъ которыхъ намъ больно отрываться и съ которыми не умѣемъ свыкнуться.“

Д. Писаревъ.

* * *

*) Авторъ вездѣ даетъ Базарову центральное мѣсто; вездѣ является онъ главнымъ пунктомъ, а все прочее только группируется около него, и выдаетъ только рѣзче и явственнѣе его фигуру. Все располагается такъ, чтобъ онъ производилъ впечатлѣніе силы. Изъ лицъ, близко подходящихъ къ нему, только одно какъ будто стираетъ его, одно, предъ которымъ онъ пасуетъ: это—Одинцова.

„Русскій Вѣстникъ.“

* * *

**) Базаровъ является истиннымъ героемъ, несмотря на то, что въ немъ нѣтъ, повидимому, ничего блестящаго и поражающаго. Съ перваго его шага къ нему приковывается вниманіе читателя, а всѣ другія лица начинаютъ вращаться около него, какъ около главнаго центра тяжести. Онъ всего меньше заинтересованъ другими лицами; за то другія лица тѣмъ больше имъ интересуются. Онъ никому не навязывается и не напрашивается. И однакоже вездѣ, гдѣ онъ является, возбуждаетъ самое сильное вниманіе, составляетъ главный предметъ чувствъ и размышленій, любви и ненависти... Подъ конецъ разсказа, когда Базаровъ гоститъ у своихъ отца и матери, онъ очевидно нѣсколько потерялся, послѣ всѣхъ вынесенныхъ потрясеній. Не настолько онъ потерялся, чтобы не могъ поправиться, не могъ черезъ короткое время воскреснуть въ полной силѣ; но все-таки тѣнь тоски, которая и въ самомъ началѣ лежала на этомъ желѣзномъ человѣкѣ, подъ конецъ становится гуще. Онъ теряетъ охоту заниматься, худѣетъ, начинаетъ трунить надъ мужиками уже не дружелюбно, а желчно. Отъ этого и вы-

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1862 г., № 5.
**) Н. Страховъ. „Время“ 1862 г., № 4.

ходитъ, что на этотъ разъ онъ и мужикъ оказываются не понимающими другъ друга, тогда какъ прежде взаимное пониманіе было до извѣстной степени возможно... Умираетъ Базаровъ совершеннымъ героемъ, и его смерть производитъ потрясающее впечатлѣніе. До самаго конца, до послѣдней вспышки сознанія онъ не измѣняетъ себѣ ни единымъ словомъ, ни единымъ признакомъ малодушія. Онъ сломленъ, но не побѣжденъ. Такимъ образомъ, несмотря на короткій срокъ дѣйствія романа и несмотря на быструю смерть Базарова, онъ успѣлъ высказаться, вполнѣ показать свою силу. Жизнь не погубила его,—этого заключенія никакъ нельзя вывести изъ романа, — а пока только дала ему поводы обнаружить свою энергію. Въ глазахъ читателей Базаровъ выходитъ изъ искушенія побѣдителемъ. Всякій скажетъ, что такіе люди, какъ Базаровъ, способны много сдѣлать, что при этихъ силахъ отъ нихъ можно многаго ожидать.

Н. Страховъ.

* * *

*) Базаровъ герой; онъ существо болѣе или менѣе исключительное; онъ воплощаетъ въ себѣ тотъ духъ, который болѣе или менѣе примѣшивается къ мнѣніямъ, чувствамъ, дѣйствіямъ людей, но не господствуетъ въ нихъ исключительно, и даже большею частію вовсе не живетъ въ нихъ, а только говоритъ ихъ устами. Каковъ бы ни былъ этотъ духъ, онъ не портитъ ихъ въ основаніи, но и не дѣйствуетъ въ нихъ, какъ живая сила, онъ занимаетъ только пустое мѣсто: онъ внѣдряется тамъ, гдѣ ничего нѣтъ.

„Русскій Вѣстникъ“.

* * *

**) Базаровъ еще болѣе герой послѣ романа; теперь, когда на его счетъ и по поводу его возбуждено столько толковъ, столько сплетенъ, столько философскихъ недора-

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1862 г., № 5.
**) „Библіотека для чтенія“ 1862 г., № 5.

зумѣній, сколько, пожалуй, и не нужно для смертнаго, чтобы попасть въ герои. Наши критики не даромъ такъ много изощряли свои способности къ анализу на этомъ лицѣ, а нѣкоторые даже и ограничились однимъ этимъ лицомъ. Съ Базаровымъ приходитъ новый человѣкъ въ русскую жизнь, человѣкъ крайне безцеремонный, съ своимъ уставомъ—даже въ послѣднихъ мелочахъ, съ печатью очевидной силы и съ такою нестерпимою дерзостью, какъ будто всѣ люди другого нравственнаго настроенія должны проникнуться убѣжденіемъ, что они не болѣе, какъ простыя деревянныя пѣшки. Онъ приходитъ не воровать, не грабить, не рѣзать подобныя себѣ существа, какъ полагаетъ г. Писаревъ; однако въ немъ сильно развита наклонность распространять вокругъ себя боязнь. Онъ считаетъ себя Колумбомъ, открывшимъ новый міръ, хотя, въ знаніи стараго міра, его можно сбить на самыхъ пустякахъ. Можно сбить,—но ему кажется, что этому никогда не бывать; по его собственнымъ словамъ, онъ никогда еще не встрѣчалъ силы, передъ которой бы ему пришлось спасовать—обстоятельство, на которомъ воспитана вся его дерзость.

„Библіотека для Чтенія“.

* * *

*) Критикъ „Времени“ говоритъ, что Тургеневъ воплотилъ въ Базаровѣ строгое настроеніе ума и твердый складъ мысли. „Онъ одѣлъ этотъ умъ плотью и кровью и исполнилъ эту задачу съ удивительнымъ мастерствомъ. Базаровъ вышелъ человѣкомъ, простымъ, чуждымъ всякой изломанности, и вмѣстѣ крѣпкимъ, могучимъ душою и тѣломъ. Все въ немъ необыкновенно идетъ къ его сильной натурѣ. Весьма замѣчательно, что онъ, такъ сказать, *болѣе русскій*, чѣмъ всѣ остальныя лица романа. Его рѣчь отличается простотою, мѣткостью, насмѣшливостью и совершенно русскимъ складомъ. Точно также между лицами романа онъ всѣхъ легче сближается съ народомъ, всѣхъ лучше умѣетъ

*) Н. Страховъ. „Время“ 1862 г., № 4.

держать себя съ нимъ... Тургеневъ, создавшій до сихъ поръ, такъ сказать, раздвоенныя лица, напримѣръ, Гамлета Щигровскаго уѣзда, Рудина, Лаврецкаго, достигъ, наконецъ, въ Базаровѣ до типа цѣльнаго человѣка. Базаровъ есть первое сильное лицо, первый цѣльный характеръ, явившійся въ русской литературѣ изъ среды такъ называемаго образованнаго общества... Базаровъ — теоретикъ; онъ человѣкъ страшный, односторонне-рѣзкій; онъ проповѣдуетъ необыкновенныя вещи; онъ поступаетъ эксцентрически; онъ школьникъ, въ которомъ вмѣстѣ съ глубокою искренностью соединяется самое грубое *ломанье*; какъ мы сказали—онъ человѣкъ чуждый жизни, т. е. онъ самъ чуждается жизни. Но подъ всѣми этими внѣшними формами льется теплая струя жизни; при всей рѣдкости и дѣланности своихъ проявленій—Базаровъ человѣкъ вполнѣ живой, не фантомъ, не выдумка, а настоящая плоть и кровь. Онъ отрицается отъ жизни, а между тѣмъ живетъ глубоко и сильно.

Н. Страховъ.

* * *

*) Тургеневскій Базаровъ не просто типъ, но и характеръ, лицо живое до мельчайшей подробности. Нигдѣ въ этомъ образѣ не обнажается сентенція, нигдѣ не проглядываетъ въ немъ отвлеченное понятіе; онъ съ ногъ до головы — живая фигура. Производимое имъ впечатлѣніе совершенно индивидуальнаго свойства, точно такое, какое мы испытываемъ при встрѣчѣ съ живымъ человѣкомъ, — безотчетное чувство симпатіи или антипатіи, которое то заговоритъ громко, то притихнетъ.

„Русскій Вѣстникъ“.

* * *

**) Базаровъ, по словамъ критика „Мысли“ — типъ матеріалиста, т. е. типъ чисто головной, построенный чисто теоретически, изъ нѣсколькихъ философскихъ посылокъ и

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1862 г., № 5.
**) „Мысль“ 1880 г., № 1. Статья №№.

философской критики, съ примѣсью поверхностныхъ наблюденій, исключительно внѣшнихъ, надъ людьми новаго типа въ Россіи (типа создавшагося, какъ мы видѣли, никакъ не теоріей, а измѣненіемъ самой жизни). Его Базаровъ не признаетъ ничего, кромѣ ощущеній, онъ слѣдуетъ только непосредственнымъ влеченіямъ: нравится ему женщина, онъ добивается „толку“, не размышляя ни о послѣдствіяхъ ни о страданіяхъ другихъ людей. Не доволенъ онъ заботливостью отца, не согласенъ съ чьимъ-либо взглядомъ, онъ рѣжетъ грубо и рѣзко все, что думаетъ и чувствуетъ, не соображая послѣдствій, въ родѣ дуэли съ Павломъ Кирсановымъ или въ родѣ безмолвнаго горя старика-отца. Каждому извѣстно, что такъ дѣлать выводы отъ извѣстнаго міровоззрѣнія къ живому типу, проявляющему его міровоззрѣніе, нельзя въ художественномъ произведеніи. Люди живутъ не одной теоріей и дедуктивными выводами изъ нея, какъ думалъ Тургеневъ; они живутъ и чувствомъ и практическими соображеніями, и никакое міровоззрѣніе, какъ-бы оно ни вліяло на общій складъ ихъ жизни, не въ силахъ убить въ нихъ наслѣдственныхъ физіологическихъ инстинктовъ состраданія, общественности, осторожности,— не въ силахъ ихъ сдѣлать до того идіотами, чтобы они не разсчитывали послѣдствій своихъ дѣйствій для себя и другихъ, не принимали въ соображеніе своихъ и чужихъ страданій, хотя бы то были страданія Фенички или Николая Кирсанова, или г-жи Одинцовой, а тѣмъ болѣе стариковъ-родителей. Изъ этого вы видите, что тургеневскій Базаровъ не былъ живымъ типомъ, взятымъ изъ дѣйствительности (за исключеніемъ наружности и внѣшнихъ пріемовъ), а былъ философской задачей, философской полемикой, вродѣ діалоговъ Платона, съ тою только разницей, что тамъ доводились до абсурда мысли противниковъ путемъ логическаго спора, а здѣсь авторъ заставляетъ противника матеріалиста не только говорить нелѣпости, но и дѣйствовать на основаніи теоріи, которую авторъ желаетъ опровергнуть, т. е. желаетъ этими словами и дѣйствіями героя доказывать нелѣпость его теоріи. Нигдѣ такъ, какъ на Базаровѣ, не

представляется наглядным, какъ ошибочно такимъ образомъ рисовать извѣстныя жизненныя явленія. А между тѣмъ, такъ поступалъ столь большой художникъ, какъ Тургеневъ, и самъ того не замѣчая, шелъ въ этомъ случаѣ путемъ массы романовъ того времени, въ которыхъ такимъ-же теоретическимъ путемъ создавались *новые люди* безъ нервовъ, безъ крови, а съ однѣми теоріями, послѣдовательно проводимыми въ жизнь, до того послѣдовательно, что даже пища, сонъ, отдыхъ, костюмъ, жесты вытекали изъ теоріи. Это съ нимъ могло случиться только подъ вліяніемъ полемическаго жара, вызваннаго нападками на искусство, идеализмъ и пр. Онъ усмотрѣлъ въ этихъ нападкахъ не духъ времени, не простой невольный рефлексъ, какъ видимъ мы, а послѣдствія философской теоріи—послѣдствія матеріализма и новой науки, тогда какъ дѣло было совсѣмъ наоборотъ. Чтобы показать еще болѣе, какъ не состоятеленъ такой художественный пріемъ и какъ имъ грѣшили одинаково художники 40-хъ и 60-хъ годовъ, мы докажемъ, что общія положенія или основанія философіи вовсе не составляютъ всего содержанія жизни и дѣятельности. Однимъ словомъ, ошибка въ томъ, что дѣйствія управляются привычками, эмоціями, инстинктами, унаслѣдованными нами, столько же, если не больше, чѣмъ теоретической мыслью. Если унаслѣдованныя свойства, воспитаніе, привычки развили въ человѣкѣ нѣжность, впечатлительность, чувствительность, онъ, несмотря на любую, самую узкую философію, будетъ рыдать намъ романомъ, плакать отъ музыки, трепетать отъ одной мысли, что причиняетъ кому-либо страданіе. Мы видимъ профессоровъ-химиковъ, какъ Бородинъ, сочиняющихъ симфоніи, и мы знаемъ филолога Писарева, не выносившаго звуковъ музыки и весьма сомнительно относившагося къ поэзіи. Тутъ дѣло вовсе не въ общихъ теоріяхъ и взглядахъ на міръ. Если Базаровъ не выноситъ звуковъ віолончеля и серенады Шуберта, то это не потому, что онъ прочелъ „Матерію и Силу“ Бюхнера, какъ думалъ Тургеневъ, а потому, что у него не было тонкаго слуха, не было впечатлительныхъ нервовъ для

того, чтобы наслаждаться музыкой, или же вопросы иного рода отвлекали и поглощали вниманіе. Еще менѣе можно приписывать извѣстнымъ научнымъ или философскимъ теоріямъ причину того или иного общественнаго настроенія, какъ это, напр., дѣлаетъ Вирховъ въ нападкахъ на дарвинизмъ... Въ Базаровѣ Тургеневъ далъ нѣкоторыя болѣе или менѣе вѣрныя черты одной изъ разновидностей базаровскаго типа, притомъ черты главнымъ образомъ внѣшнія; въ душу типа, въ его жизненныя и соціальныя причины онъ не заглянулъ и, вѣроятно, не могъ заглянуть, ибо, мысля о немъ (образами или понятіями—это здѣсь безразлично), онъ не находилъ въ своей душѣ такого запаса образовъ, который позволилъ бы ему создать синтетически цѣльный типъ. Отъ этого-то разновидность, притомъ чисто внѣшнюю, онъ возвелъ въ типъ, да еще, за неимѣніемъ живыхъ образовъ, для истолкованія этой разновидности, пустился въ теоретическія умствованія, въ дедукціи отъ матеріализма Бюхнеровъ и Молешотовъ. Понятно, что получилось явленіе весьма далекое отъ дѣйствительности, хотя, повидимому, какъ будто живое. И оно, дѣйствительно, было отчасти знакомымъ и живымъ. Нѣчто подобное по внѣшности. по пріемамъ, было, да художникъ упустилъ душу, сущность этого кусочка типа, а не упустить не могъ: наблюденій было мало, заставить же свое вниманіе фиксировать искусственно на многихъ разновидностяхъ того же типа мѣшала та самоувѣренная вѣра въ художественное творчество изъ *самого себя*, которую дала старая теорія художественнаго творчества. Этимъ же объясняемъ безучастность нашихъ маститыхъ художниковъ и къ другимъ живымъ явленіямъ современной жизни...

„*Мысль*“.

* * *

*) Замѣчательно, что въ многочисленныхъ спорахъ по поводу Базарова всѣ усилія полемики сосредоточивались

*) К. Григорьевъ. „Дѣло“ 1884 г., № 1.

главнымъ образомъ около вопроса: хорошъ или дуренъ, полезенъ или вреденъ такой человѣкъ; вопросъ о томъ, представляетъ ли Базаровъ дѣйствительно типическій образчикъ поколѣнія, разбирался сравнительно чрезвычайно мало. „Типичность“ героя „Отцовъ и Дѣтей“ была признана словно какимъ-то единогласнымъ мнѣніемъ, безъ обсужденія и голосованія.

Конечно, нужно не малое искусство, чтобы написать картину, способную произвести такой эффектъ. Но его нѣтъ никакихъ основаній приписывать глубинѣ анализа, развитаго художникомъ. Эффектъ, напротивъ, опредѣлялся отчасти даже самымъ недостаткомъ анализа. Дѣло въ томъ, что познать самого себя—самая затруднительная вещь на свѣтѣ. Думать, что какое бы то ни было поколѣніе понимаетъ себя особенно хорошо и точно, а, стало-быть, способно единодушно оцѣнить дѣйствительно художественное воспроизведеніе своего типа—думать это—значитъ очень сильно ошибаться. Совсѣмъ иное дѣло—внѣшніе признаки, характеризующіе поколѣніе; они видны всѣмъ и каждому, по нимъ каждая масса отличаетъ себя отъ своихъ предшественниковъ и преемниковъ. Вѣрное воспроизведеніе этого *внѣшняго* образа дѣйствительно можетъ быть оцѣнено массою и возбудить ея восторгъ. Такъ было и при появленіи „Отцовъ и Дѣтей“. Тургеневъ развернулъ въ этомъ романѣ всю силу своего громаднаго таланта портретиста. Онъ нарисовалъ такой образъ, въ которомъ съ замѣчательной живостью и точностью воспроизведена вся физіономія, а не душа. Вся внѣшность схвачена у него превосходно, такъ что у читателя не можетъ возникнуть ни малѣйшаго сомнѣнія въ подлинности изображенія. Публика невольно поддается иллюзіи: ей кажется, что она видитъ передъ собою живого человѣка, къ которому стоитъ только присмотрѣться, чтобы понять самую душу новаго поколѣнія. И вотъ, мы начинаемъ всматриваться, анализировать, не замѣчая, что находимся въ положеніи человѣка, который вздумалъ анатомировать картину, въ надеждѣ открыть подъ лакомъ и красками тѣ вены, которыя такъ ясно просвѣчиваютъ сквозь изумительно выписованную кожу.

Отсутствіе настоящаго анализа, маскируемое поразительно живою внѣшностью, не могло, однако, не ощущаться до нѣкоторой степени публикой, хотя едва ли она сама сознавала, чего именно не достаетъ въ „типѣ“. Не понималъ этого и Тургеневъ вмѣстѣ съ публикой. Неудовлетворенность читателя онъ объяснялъ себѣ тѣмъ, что въ романѣ нѣтъ „оцѣнки“ Базарова, что, значитъ, читателямъ прямо не сказано, хорошъ онъ или дуренъ. Немножко насмѣшливо Тургеневъ замѣчаетъ по этому поводу: „а что жъ дѣлать автору, если онъ самъ не знаетъ, любитъ ли онъ своего героя или нѣтъ, какъ это у меня и было по отношенію къ Базарову?“ *) На самомъ дѣлѣ, мнѣ кажется, тутъ было нѣчто другое. Публика, думается мнѣ, чувствовала потребность не въ оцѣнкѣ, сдѣланной самимъ непремѣнно авторомъ, а въ томъ, чтобы „типъ“ заключалъ въ себѣ данныя, при наличности которыхъ его и его общественную роль возможно было бы оцѣнить. У Тургенева въ Базаровѣ этихъ-то данныхъ именно и не хватаетъ. Публика находила въ романѣ все, что сама видѣла и знала, даже больше: она видѣла сведеннымъ все это къ одному знаменателю, въ одинъ образъ. Она видѣла у Тургенева даже нѣкоторые выводы, какъ, напримѣръ, тотъ, что новый человѣкъ принадлежитъ къ породѣ очень сильной. Все это, однако, удовлетворяло только массу читателей, но въ болѣе чуткихъ, болѣе требовательныхъ оставляло нѣкоторое недоумѣніе, а иногда даже прямо неудовольствіе. То и другое, очевидно, было вполнѣ резонно. О недоумѣніи ужъ не говорю, но даже неудовольствіе вполнѣ имѣло мѣсто по отношенію къ Тургеневу. Дѣйствительно, замѣчательно яркое внѣшнее изображеніе не допускало у читателей мысли о возможности того, чтобы авторъ былъ просто *неспособенъ* изобразить внутреннее содержаніе даннаго типа. Не замѣчая у Базарова ничего на душѣ, читатель объяснилъ самъ эту пустоту не какъ пробѣлъ въ картинѣ, а какъ одинъ изъ признаковъ типа. Въ этомъ то смыслѣ на

*) Цитирую на память, по смыслъ фразы, надѣюсь, воспроизвожу вполнѣ точно.

Тургеневѣ дѣйствительно лежитъ грѣхъ, хотя невольный. Онъ далъ человѣку 60-хъ годовъ не только кличку „нигилиста“, но и наложилъ на него печать какого то отрицанія для отрицанія или, по крайней-мѣрѣ, отрицанія, далеко заходящаго за предѣлы той положительной основы, которая одна дѣлаетъ отрицаніе законнымъ и полезнымъ. Когда Тургеневу говорили, указывая на пожаръ Апраксина рынка: „Посмотрите, что ваши нигилисты дѣлаютъ“, художникъ могъ бы напомнить слова своего Базарова: „Я придерживаюсь отрицательнаго направленія—въ силу ощущенія. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ—и баста!“ Ну, разумѣется, если такъ, то почему публикѣ не думать, что другой Базаровъ могъ сказать: „Отрицаю Апраксинъ рынокъ—и баста!“ Одна фраза стоитъ другой, и для того, чтобы понять невозможность второй въ устахъ Базарова, нужно знать то, чего не знаетъ Тургеневъ, — настоящее душевное содержаніе человѣка 60-хъ годовъ: не его мнѣніе объ устройствѣ своего мозга, а дѣйствительное устройство этого мозга.

Вотъ гдѣ видна вся недостаточность изображенія общественнаго типа тѣмъ способомъ, какимъ это дѣлаетъ Тургеневъ. Слова человѣка далеко не всегда выражаютъ его настоящее мнѣніе, и даже самыя мнѣнія вовсе еще не выражаютъ характера и чувствъ, которыми, однако, главнымъ образомъ опредѣляется поведеніе человѣка. Наконецъ, даже наблюдая поведеніе человѣка, крайне легко впасть въ самое ошибочное представленіе о его характерѣ. Руссо разсказываетъ, что онъ въ обществѣ держалъ себя, по наружности, съ презрительнымъ пренебреженіемъ къ людямъ, но именно потому, что дорожилъ ихъ мнѣніемъ, а между тѣмъ, по робости и застѣнчивости, не сумѣлъ бы держать себя свѣтскимъ человѣкомъ. Крайній пуританизмъ иногда служитъ признакомъ развращенной натуры, сознающей необходимость держать себя въ постоянной уздѣ; видимый цинизмъ сплошь и рядомъ прикрываетъ внутреннее цѣломудріе. Отрицаніе точно также, если оно доходитъ до фанатизма, навѣрное скрываетъ подъ собою самый пламен-

ный, юношескій идеализмъ. Такъ бываетъ по большей части, и такъ было именно въ 60 годахъ, — эпоха, по моему мнѣнію, гораздо болѣе идеалистичная, чѣмъ такъ называемые 40 годы, полная иллюзій, доходившихъ до забвенія дѣйствительности.

Но все это, конечно, нужно понять, а для того, чтобы понять какой бы то ни было типъ—нужно съ нимъ прежде всего глубоко сжиться. Истолкователей „трехъ поколѣній“ вообще не бываетъ поэтому на свѣтѣ. Гораздо легче понять цѣлую сотню просто человѣческихъ психологическихъ моментовъ, чѣмъ одинъ „историческій“ типъ—это сложнѣйшее явленіе человѣческой психологіи. Тургеневъ могъ „истолковать“ три поколѣнія только потому, что не истолковалъ на самомъ дѣлѣ ни одного, а рисовалъ лишь картину чисто внѣшняго вида этихъ поколѣній. Отъ этого, къ слову сказать, происходитъ и неопредѣленность отношенія художника къ изображаемымъ типамъ. То, что мы понимаемъ, мы не можемъ не оцѣнивать: оцѣнка слагается въ душѣ даже противъ нашего желанія, правильная или неправильная—это все равно. Тургеневъ не можетъ опредѣлить, любитъ ли онъ Базарова, именно потому, что въ Базаровѣ не видитъ самаго главнаго, на основаніи чего люди любятъ или ненавидятъ. Точно также и мы теперь не можемъ сказать, любимъ ли Базарова, и если Писаревъ заявлялъ къ нему свои симпатіи, то въ сущности потому, что говорилъ вовсе не о томъ лицѣ, которое фигурируетъ въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“. Онъ рисовалъ тургеневскаго Базарова самъ, по своему вкусу, кое-что прибавилъ, кое-что выкинулъ, объявилъ, что такія то слова или поступки не должно принимать въ счетъ и т. д. Такъ, напримѣръ, отношеніе Базарова къ роднымъ онъ объяснилъ совершенно случайными причинами и твердо вѣрилъ, что будь отцомъ Базарова Николай Кирсановъ—они бы прекрасно поладили между собой; точно также отношеніе Базарова къ разнымъ „олухамъ“, которые ему „нужны“, потому что „не богамъ же горшки обжигать“,—Писаревъ опять объяснялъ тѣмъ, что мы видимъ Базарова, такъ сказать, въ непріятельскомъ

лагерѣ, а не между его настоящими товарищами, къ которымъ, дескать, онъ относится, конечно, иначе. Такимъ образомъ, Писаревъ постоянно имѣлъ въ виду не Базарова въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“, а какого то другого, находящагося въ иной обстановкѣ, иначе относящагося къ людямъ и т. д. Съ своей стороны, г. Антоновичъ, напримѣръ, для того чтобы отнестись къ Базарову отрицательно, долженъ былъ ввести въ свое представленіе о немъ нѣчто такое, чего у Тургенева вовсе нѣтъ (обвиненіе, напримѣръ, Базарова въ развращенности натуры). Но если брать Базарова, просто, безъ передѣлокъ, то его нельзя ни любить ни порицать по той простой причинѣ, что онъ намъ мало знакомъ. Вы съ нимъ встрѣчаетесь все будто „въ гостяхъ“, и о самыхъ существенныхъ сторонахъ его внутренняго содержанія просто не можете составить опредѣленнаго понятія.

И что, въ самомъ дѣлѣ, мы можемъ замѣтить въ Базаровѣ? Прежде всего, конечно, бросается въ глаза его „отрицаніе“. Но ясно ли въ Базаровѣ даже оно? Вѣдь отрицаніе отрицанію рознь. Отрицаетъ, напримѣръ, и Мефистофель, и Неронъ, и Калигула, и даже Пигасовъ. Для того, чтобы понять отрицаніе, мы должны видѣть тѣ чувства, симпатіи, желанія, которыя лежатъ въ его основѣ. Въ этомъ отношеніи, однако, Базаровъ дастъ намъ весьма противорѣчивыя показанія. Одинъ разъ онъ заявляетъ, напримѣръ: „Мы дѣйствуемъ въ силу того, что считаемъ *полезнымъ*; въ настоящее время всего полезнѣе отрицаніе: мы отрицаемъ“. И такъ, значитъ, въ основѣ отрицанія лежитъ все-таки забота объ общественной пользѣ. Но не подумайте, что вы можете успокоиться на такомъ выводѣ: другой разъ, да еще въ самомъ интимномъ дружескомъ разговорѣ, Базаровъ заявляетъ уже совершенно иное! „Мнѣ *пріятно* отрицать, говоритъ онъ,—мой мозгъ такъ устроенъ—и баста! Отчего мнѣ нравится химія? Отчего ты любишь яблоки? Тоже въ силу ощущенія. Это все едино“. Извольте же тутъ разбираться. Теперь ему уже „пріятно отрицать“—и баста! И если бы еще Базаровъ хоть ска-

залъ, что ему пріятно быть полезнымъ,—это другое дѣло. Но ему пріятно именно „отрицать“. Отрицаніе, стало быть, является чѣмъ-то само для себя существующимъ, само себя удовлетворяющимъ...

Нѣтъ спора, что докторъ, съ котораго Тургеневъ писалъ своего Базарова, могъ, конечно, сказать объ эти фразы. Но нельзя же ограничить роль „истолкователя“ простымъ записываніемъ фразъ своего натурщика. Долженъ же истолкователь показать читателямъ, какимъ образомъ эти видимыя противорѣчія приходятъ къ единству въ головѣ говорящаго и въ его натурѣ вообще. Можемъ ли мы удовлетвориться обрывками мыслей, фразами, выхваченными изъ разговора, случайными поступками среди случайной обстановки? Базаровъ, напримѣръ, гордится тѣмъ, что онъ „самоломанный“. На какомъ, спрашивается, основаніи? Человѣкъ не можетъ ломать себя безъ какой-нибудь идеи, безъ какого-нибудь побужденія, болѣе сильнаго, чѣмъ тѣ непосредственныя влеченія организма, которыя онъ въ себѣ „ломаетъ“. Что же заставляетъ Базарова ломать себя? Что заставляетъ его также имѣть какое-то дѣло? Ни одного изъ этихъ и подобныхъ вопросовъ авторъ намъ не объясняетъ и не даетъ возможности рѣшить ихъ даже на основаніи тѣхъ фактовъ изъ жизни Базарова, которые сообщаетъ въ романѣ; потому-то не только образъ мыслей, но и самый характеръ его героя остается очень темнымъ. Тургеневъ, повидимому, склоненъ думать, что Базаровъ—натура по существу эгоистичная, жесткая, и многіе факты подтверждаютъ это мнѣніе. Отношеніе къ отцу и матери, отношеніе къ „друзьямъ“, мелкіе случаи, въ родѣ пассажа съ Фенечкой—все это говоритъ въ пользу предположенія, что Базаровъ привыкъ думать только о себѣ, о своемъ удобствѣ и удовольствіи. Любовь къ Одинцовой кажется въ этомъ случаѣ нѣкоторымъ диссонансомъ. Но Одинцова такъ хороша собой, такъ крупна, что можетъ возбудить къ себѣ сильное чувство даже въ очень сухой и эгоистической натурѣ; сверхъ того, Одинцова сама—колоссальная эгоистка, и эта сторона ея характера скорѣе должна бы отогнать

человѣка, отличающагося противоположными свойствами. Стало быть, любовь эта вообще ничего не можетъ характеризовать въ Базаровѣ, кромѣ его силы. Не характеризуетъ его также и „дѣло“, которому онъ служитъ. Тургеневъ такъ старательно изобразилъ сомнѣніе Базарова и его любовь властвовать, что мечтанія о дѣлѣ могутъ быть объяснены простымъ честолюбіемъ, тѣмъ болѣе, что у Базарова иногда попадаются пресомнительныя размышленія. Однажды Аркадій замѣтилъ, что мы обязаны стараться о благосостояніи крестьянина. „А я, отвѣчаетъ ему пріятель,—я возненавидѣлъ этого самаго мужика, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть, и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня будетъ лопухъ расти; ну, а дальше?“ Особенно большой любви къ человѣчеству, согласитесь, эти размышленія и вопросы не показываютъ. Конечно, по обстоятельствамъ дѣла, они могли быть результатомъ случайнаго настроенія, какъ это и утверждаетъ Писаревъ. Но странно было бы со стороны автора угощать читателя „случайными“ чертами, оставляя въ тѣни „постоянныя“. Это вовсе не въ манерѣ Тургенева и просто-таки ниже его. Если же эта черта не случайная, то какъ же тогда понимать Базарова? Нельзя же порѣшить на томъ, что это сильная эгоистическая натура, очень честолюбивая и, сверхъ того озлобленная?... Я забылъ сказать, что эту послѣднюю черту Тургеневъ вырисовываетъ также очень старательно, и она приходится совсѣмъ кстати при нашихъ предположеніяхъ. „Въ тебѣ, говоритъ Базаровъ Аркадію,—нѣтъ ни дерзости ни злости, а есть молодая смѣлость да молодой задоръ; для нашего дѣла это не годится... Вы не деретесь, и уже воображаете себя молодцами, а мы—драться хотимъ... Ты невольно любуешься собой, тебѣ пріятно самого себя бранить, а намъ это скучно — намъ другихъ подавай, намъ другихъ ломать надо“. Черта яркая, окончательно дополняющая образъ отрицателя и разрушителя, но остановиться на такомъ опредѣленіи Базарова тоже трудно. Въ романѣ отличены черты, не допускающія этого.

Такъ, напримѣръ, авторъ показываетъ, что Базаровъ легко возбуждалъ къ себѣ симпатію большинства окружающихъ. Не успѣваетъ онъ пріѣхать къ Кирсановымъ, какъ вся прислуга къ нему привязывается; Аркадій его любитъ тоже всѣми маленькими силами души. Эта способность возбуждать привязанность вовсе не свойственна натурамъ сухимъ. Потомъ, напр., умирая, Базаровъ нѣсколько разъ вспоминаетъ отца и мать и будто хочетъ ихъ утѣшить чѣмъ-нибудь, соглашаясь позвать къ себѣ священника. Онъ въ полузабытьи говоритъ о своихъ планахъ что-нибудь сдѣлать для Россіи, которой онъ „нуженъ“. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи авторъ придаетъ своему герою еще одну черточту, очень характерную: онъ немножко фаталистъ, въ немъ живетъ какая-то увѣренность, что онъ не можетъ умереть, не исполнивъ нѣкоторой общественной миссіи. Мысль—„не умру“—съ такой ясностью подымается передъ нимъ во время дуэли, что онъ не хочетъ даже оставить на всякій случай записки къ отцу. А, вѣдь, Павелъ Кирсановъ хотѣлъ его непремѣнно убить и имѣлъ право на два выстрѣла. Когда Базаровъ чувствуетъ приближеніе смерти, это сознаніе его какъ будто удивляетъ: какимъ образомъ могло случиться, что онъ умретъ? „Вотъ, говорили, нуженъ Россіи... видно, не нуженъ“. Онъ, извольте видѣть, былъ увѣренъ, что не умретъ, потому что нуженъ Россіи, и когда сталъ умирать, то заключилъ отсюда, что, стало быть, былъ не нуженъ. Когда мысль о своей жизни такъ тѣсно слилась въ человѣкѣ съ представленіемъ объ общественной миссіи—можно съ увѣренностію сказать, что передъ нами—не эгоистъ по натурѣ. Эта черта скорѣе фанатика идеи...

Вообще, если у насъ когда-нибудь появится настоящая критика, изъ всѣхъ Тургеневскихъ типовъ—Базаровъ будетъ, конечно, первый низведенъ съ пьедестала, на который его встащила пристрастная и тенденціозная критика настоящей эпохи. Базаровъ — это именно чудо искусства: это можно видѣть по той непобѣдимой иллюзіи, въ какую онъ способенъ приводить сотни тысячъ людей. Но вдумай-

тесь въ него, — и вы увидите, что онъ прежде всего не есть какое бы ни было „истолкованіе“. Онъ воспроизводитъ передъ вами съ неподражаемой живостью внѣшнія, знакомыя черты человѣка 60-хъ годовъ, но не объясняетъ его и даже не даетъ никакихъ данныхъ для объясненія. Тамъ же, гдѣ художникъ будто пытается дать объясненіе, онъ лишь повторяетъ ходячую банальную мысль времени, неспособнаго понять самого себя. Тургеневъ выразилъ мысль общества, наблюдающаго новый типъ, попытался связать эту фальшивую оцѣнку съ дѣйствительными чертами людей 60-хъ годовъ, и этимъ ограничивается все „истолкованіе“.

К. Григорьевъ.

* * *

*) Обратимся къ личности Базарова. Кто такой этотъ человѣкъ? Онъ — нигилистъ, находимъ мы отвѣтъ въ романѣ. Но это слово „нигилистъ“, нѣкогда ясное и понятное, теперь стало очень неопредѣленнымъ. Вслѣдствіе различныхъ обстоятельствъ его, или лучше—выражаемое имъ понятіе стали смѣшивать и отождествлять съ понятіями: матерьялистъ, соціалистъ, даже революціонеръ и заговорщикъ. Но здѣсь простое недоразумѣніе, и нигилизмъ означаетъ совсѣмъ другое; это слово имѣетъ свой собственный смыслъ.

Базаровъ — это сильная, трезвенная личность, опирающаяся на себя, свободная или желающая быть свободной отъ всего, что можетъ спутать и завлечь человѣка, закружить его и лишить воли и самообладанія.

Аркадій Кирсановъ хочетъ расположить Базарова, если не къ сочувственному, такъ къ снисходительному взгляду на Павла Петровича.

„Да вспомни его воспитаніе, время, въ которомъ онъ жилъ (говоритъ Аркадій).

— Воспитаніе? подхватилъ Базаровъ. — Всякій человѣкъ самъ

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

себя воспитать долженъ,—ну, хоть какъ я, напримѣръ... А что касается до времени, отчего я отъ него зависѣть буду? Пускай же лучше оно зависитъ отъ меня. Нѣтъ, братъ, это все распущенность, пустота!“

Въ этихъ словахъ—весь Базаровъ, съ его жаждою свободы для человѣческой личности, съ его вѣрою въ могущество человѣческаго духа, въ возможность его независимости отъ условій мѣста и времени. Передъ нами идеалистъ, свободный и сильный въ своемъ сознаніи, а не грубый матерьялистъ.

Аркадій Кирсановъ такъ опредѣляетъ Базарова, и съ его опредѣленіемъ соглашаются и отецъ его, Николай Петровичъ, и дядя, Павелъ Петровичъ:

„Нигилистъ—это человѣкъ, который не склоняется ни передъ какими авторитетами, который не принимаетъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ ни былъ окруженъ этотъ принципъ“.

Но это опредѣленіе вполнѣ неточно, и потому невѣрно. Это опредѣленіе скептика, а не Базарова. Основное начало, во имя котораго живетъ этотъ послѣдній, совсѣмъ иное.

„Въ передѣлѣ была, братецъ ты мой, нашего хлѣба покушала“,

говоритъ Аркадію Базаровъ про Одинцову (про которую Тургеневъ выразился, что „эта молодая женщина уже успѣла перечувствовать и передумать многое“. — Базаровъ пережилъ больше, чѣмъ Одинцова, и многое извѣдалъ въ жизни. Онъ видѣлъ и знаетъ, какъ закруживаетъ человѣка то, что Павелъ Петровичъ Кирсановъ называетъ „принципами“ (и что Апол. Григорьевъ гораздо точнѣе называлъ „жизненными силами“ или „вѣяніями“), и онъ захотѣлъ свободы отъ этихъ „вѣяній“, господства человѣческой личности надъ ними.

Базаровъ какъ-будто пережилъ то, что мы видѣли въ предшествовавшихъ „Отцамъ и Дѣтямъ“ произведеніяхъ Тургенева. Мы видѣли, какъ начало романтическое, которому въ разныхъ видахъ его поддались Веретьевъ и Яковъ Пасынковъ, подорвало ихъ жизнь. Мы видѣли, какъ сдѣ-

лало несостоятельнымъ Рудина (при всей громадности его духовныхъ силъ) отвлеченно - умственное, философское, обобщающее начало, которому онъ безусловно отдался во власть. Мы были свидѣтелями, какъ тщетно боролись въ Лаврецкомъ великія жизненныя силы: начало народное, начало смиренія—съ одной стороны, скептицизмъ и романтизмъ—съ другой. —Базаровъ хочетъ избѣгнуть ошибокъ своихъ предшественниковъ, и вотъ — онъ отрицаетъ всѣ эти „вѣянія“, спутавшія ихъ и закружившія, или—лучше сказать—онъ борется съ этими вѣяніями, потому что онѣ живутъ въ его собственной душѣ, онъ ихъ знаетъ, онъ ихъ испыталъ. Онъ, сознавая слабыя стороны ихъ, хочетъ противопоставить имъ силу своей личности и ей подчинить ихъ:

„я уже въ клиникѣ замѣтилъ (говоритъ онъ однажды Аркадію): кто злится на свою боль—тотъ непремѣнно ее побѣдитъ“.

Базаровъ отрицаетъ все, въ чемъ онъ видитъ хотя-бы тѣнь стѣсненія личности, отрицаетъ съ энтузіазмомъ страстно вѣрующаго въ свою силу и въ правду своего положенія человѣка, съ энтузіазмомъ идеалиста, неудовлетворяющагося ничѣмъ, что не есть, по его мнѣнію, абсолютная истина.

Такъ, онъ не хочетъ признавать ни умственныхъ ни нравственныхъ обобщеній:

„что такое наука—наука вообще? (говоритъ онъ Павлу Петровичу). Есть науки, какъ есть ремесла, знанія; а наука вообще не существуетъ вовсе“.

„Надо быть справедливымъ, Евгеній (замѣчаетъ ему въ другой разъ Аркадій, заступаясь за дядю).

— Это изъ чего слѣдуетъ?“

возражаетъ онъ, отвергая принципъ справедливости, какъ нравственное обобщеніе. На томъ-же основаніи отвергаетъ онъ и искусство.

Романтическое чувство, рыцарское обожаніе, преклоненіе передъ любимымъ существомъ — вызываетъ въ Базаровѣ насмѣшку, приводитъ его въ негодованіе.

„Я все-таки скажу (заявляетъ онъ своему другу Аркадію),

что человѣкъ, который всю свою жизнь поставилъ на карту женской любви (онъ разумѣетъ въ данномъ случаѣ Павла Петровича), и когда ему эту карту убили, раскисъ и опустился до того, что ни на что не сталъ способенъ, этакой человѣкъ — не мужчина“.

Въ другой разъ онъ говоритъ уже про себя, когда ѣдетъ съ Аркадіемъ отъ Одинцовой:

„Лучше камни бить на мостовой, чѣмъ позволить женщинѣ завладѣть хотя бы кончикомъ пальца. Это все... Базаровъ чуть было не произнесъ своего любимаго слова „романтизмъ“, да удержался, и сказалъ: вздоръ“.

Замѣчательно, что онъ подкрѣпляетъ здѣсь свое мнѣніе ссылкою на народъ, на его взгляды:

„Вѣдь, вотъ ты, прибавилъ онъ, обращаясь къ сидѣвшему на козлахъ мужику,—ты, умница, есть у тебя жена?

Мужикъ показалъ обоимъ пріятелямъ свое плоское и подслѣповатое лицо.

— Жена-то? Есть. Какъ не быть женѣ.

— Ты ее бьешь?

— Жену-то? Всяко случается. Безъ причины не бьемъ.

— И прекрасно. Ну, а она тебя бьетъ?

Мужикъ задергалъ возжами... Онъ видимо обидѣлся.

— Слышишь, Аркадій Николаевичъ! (закончилъ Базаровъ). А насъ съ вами прибили... вотъ оно что значитъ быть образованными людьми“.

Отвергая романтизмъ, Базаровъ поэтому самому и говоритъ Одинцовой, въ свой послѣдній пріѣздъ къ ней, что— „любовь... вѣдь, это чувство напускное“. Ему еще кажется тогда, что онъ вполнѣ вырвалъ изъ своего сердца овладѣвшую-было имъ любовь.

А. Незеленовъ.

б) *Базаровъ со стороны нравственности, ума и дѣла.*

*) О нравственномъ характерѣ и нравственныхъ качествахъ Базарова говорить нечего; это не человѣкъ, а какое-то ужасное существо, просто дьяволъ, или, выражаясь

*) М. Антоновичъ. „Современникъ“ 1862 г., № 3.

болѣе поэтически, асмодей. Онъ систематически ненавидитъ и преслѣдуетъ все, начиная отъ своихъ добрыхъ родителей, которыхъ онъ терпѣть не можетъ, и оканчивая лягушками, которыхъ онъ рѣжетъ съ безпощадною жестокостью. Никогда ни одно чувство не закрадывалось въ его холодное сердце; не видно въ немъ и слѣда какого-нибудь увлеченія или страсти; самую ненависть онъ отпускаетъ разсчитанно, по гранамъ. И замѣтьте этотъ герой—молодой человѣкъ, юноша! Онъ представляется какимъ-то ядовитымъ существомъ, которое отравляетъ все, къ чему ни прикоснется; у него есть другъ, но и его онъ презираетъ и къ нему онъ не имѣетъ ни малѣйшаго расположенія; есть у него послѣдователи, но и ихъ онъ также ненавидитъ. Всѣхъ вообще подчиняющихся его вліянію онъ учитъ безнравственности и безсмыслію; ихъ благородные инстинкты и возвышенныя чувства онъ убиваетъ своей презрительной насмѣшкой, и ею же онъ удерживаетъ ихъ отъ всякаго добраго дѣла. Женщина, добрая и возвышенная по натурѣ, сначала увлекается имъ; но потомъ, узнавъ его ближе, съ ужасомъ и омерзѣніемъ отъ него отворачивается, отплевывается и „обтирается“ платкомъ...

М. Антоновичъ.

* * *

*) Для подобныхъ людей не безнравственное — безнравственно, а только впечатлѣніе презрительнаго и жалкаго. Норма ихъ нравственности не опредѣляетъ качество поступка; она опредѣляетъ только его размѣры и относительное значеніе. Каковъ бы ни былъ источникъ поступка и каковъ бы ни былъ его предметъ, они спрашиваютъ только, какими они покажутся въ немъ, большими или малыми, будетъ ли то въ глазахъ другихъ или въ своихъ собственныхъ. Тотъ же самый поступокъ при одинаковой комбинаціи своихъ факторовъ будетъ, по этой нормѣ, казаться и безчестнымъ и честнымъ, смотря потому, какой будетъ онъ

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1862 г., № 5.

имѣть видъ, мелкій или крупный, какое онъ будетъ производить впечатлѣніе—презрительной мелочи или уважительнаго событія,—водевильнаго фарса или эпической рапсодіи.

„Русскій Вѣстникъ“ 1862 г.

* * *

*) Базаровъ не есть существо ненавистное, отталкивающее своими недостатками; напротивъ, его мрачная фигура величава и привлекательна... Онъ овладѣваетъ вниманіемъ и сочувствіемъ читателя не потому, что каждое слово его свято и каждое дѣйствіе справедливо, но именно потому, что въ сущности всѣ эти слова и дѣйствія вытекаютъ изъ живой души. Повидимому, Базаровъ — человѣкъ гордый, страшно самолюбивый и оскорбляющій другихъ своимъ самолюбіемъ; но читатель примиряется съ этой гордостью, потому что въ то же время въ Базаровѣ нѣтъ никакого самодовольства, самоуслажденія; гордость не приноситъ ему никакого счастья. Базаровъ пренебрежительно и сухо обходится съ своими родителями; но никто ни въ какомъ случаѣ не заподозритъ его въ услажденіи чувствомъ своей власти надъ ними; еще менѣе возможно упрекнуть въ злоупотребленіи этимъ превосходствомъ и этой властью. Онъ просто отказывается отъ нѣжныхъ отношеній къ родителямъ, да и отказывается не вполнѣ. Выходитъ что-то странное: онъ не разговорчивъ съ отцомъ, подсмѣивается надъ нимъ, рѣзко уличаетъ его либо въ невѣжествѣ, либо въ нѣжничаньи; а между тѣмъ отецъ не только не оскорбляется, а радъ и доволенъ.

Н. Страховъ.

* * *

**) Базаровъ человѣкъ съ толкомъ, мысль его останавливалась на всякихъ вопросахъ, и останавливалась далеко не безплодно; ему, безъ сомнѣнія, приходилось

*) Н. Страховъ. „Время“ 1862 г., № 4. Также „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“. Спб. 1887 г.

**) „Библіотека для чтенія“ 1862 г., № 5.

размышлять и о естественныхъ предѣлахъ человѣческой свободы, въ томъ числѣ и о своей собственной, и о способности человѣка къ сознательному и добровольному самосовершенствованію. Ни изъ чего не видно, чтобы мысли его объ этихъ предметахъ были исполнены такой злодѣйской мрачности и фальши, чтобы онъ считалъ для себя безразличнымъ всякій родъ дѣйствій, честный или уголовный, какъ угодно думать г. Писареву. Напротивъ, есть полное основаніе думать, что, при встрѣчѣ съ такимъ образомъ мыслей, Базаровъ былъ бы способенъ показать себя человѣкомъ неумолимой строгости, и что, въ борьбѣ со зломъ, при нѣкоторой долѣ вліянія и власти, онъ показалъ бы себя террористомъ... Въ Базаровѣ чувствуется человѣкъ, который въ высшей степени отличается нетерпимостью вообще къ безразличному или неопредѣленному образу мыслей, въ комъ бы то ни было, и который въ особенности гнушается всякаго безразличія между своимъ собственнымъ образомъ мыслей и своимъ поведеніемъ, между своимъ убѣжденіемъ и своимъ словомъ, или между своимъ словомъ и своимъ дѣломъ... Стремленія Базарова направлены къ добру и правдѣ, т. е. къ такимъ предметамъ, на сторонѣ которыхъ стояли всѣ благодѣтельные геніи, о которыхъ упоминается въ сказкахъ, и всѣ истинные поборники человѣчества, о какихъ только упоминается въ исторіи; а такъ какъ никто не отвергаетъ въ Базаровѣ присутствія силы, то мы должны еще добавить, что стремленія его къ означенной цѣли направлены самымъ рѣшительнымъ образомъ. Въ настоящемъ Базаровѣ нѣтъ и тѣни ничего искусственнаго; ему, безъ сомнѣнія, и на умъ не приходило, чтобы онъ переживалъ какую-нибудь шутовскую болѣзнь своего времени. Онъ былъ боленъ — это фактъ: чрезмѣрная раздражительность, крайнѣйшая нетерпимость ко всякому мнѣнію, не подходящему къ его образу мыслей, несправедливость къ чужимъ характерамъ, какое-то особое умѣніе всякій споръ свести на ссору, почти постоянная непримиримость даже съ самимъ собою—все это, конечно, болѣзни; но Базаровъ знакомъ съ ними съ такого давняго

времени, что потерялъ память объ нихъ и считаетъ себя человѣкомъ цвѣтущаго здоровья. Онъ до такой степени убѣжденъ въ исправности своего здоровья и въ совершенствѣ своего здравомыслія, что всѣхъ другихъ людей считаетъ больными или полоумными. По его мнѣнію, онъ даже навѣрное знаетъ, что они больны и полоумны.

„Библіотека для чтенія“ 1862 г.

* * *

*) Въ нелюбви къ стихамъ и незнаніи толка въ искусствѣ Базаровъ рѣшительно сходится какъ съ Писаровымъ, такъ и съ Еленой. Ясно, что они сходятся въ этомъ, какъ люди дѣла, люди, въ которыхъ окончательно простылъ слѣдъ долговременнаго нашего *рудинствованія*, нашей долговременной призрачной жизни въ *дѣланномъ* мірѣ, рѣшительно внѣ предѣловъ міра дѣйствительнаго. Совершенно уже далекій отъ рудинства, Базаровъ отъявленный врагъ всякой *фразы*, всякихъ лишнихъ затѣй и непрочныхъ предположеній. Вспомните его отвѣтъ на вопросъ Одинцовой: къ чему онъ себя готовитъ? — „Я уже говорилъ вамъ: я будущій уѣздный лѣкарь.“ — „Вы, съ вашимъ самолюбіемъ“? — „Что за охота говорить и думать о будущемъ, которое большею частью не отъ насъ зависитъ? Выйдетъ случай что-нибудь сдѣлать—прекрасно; а не выйдетъ—по крайней мѣрѣ, тѣмъ будешь доволенъ, что заранѣе напрасно не болталъ“. При такомъ направленіи Базаровъ не можетъ придавать никакой цѣны и всѣмъ громкимъ словамъ, щедро расточаемымъ передъ нимъ расходившимся Павломъ Петровичемъ. „Аристократизмъ, либерализмъ, прогрессъ, принципы—подумаешь, сколько иностранныхъ и безполезныхъ словъ? *Русскому человѣку они даромъ не нужны*“.

О. Миллеръ.

* * *

*) О. Миллеръ. „Бесѣда“ 1871 г., № 12. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

*) Тургеневъ высоко поставилъ Базарова надъ Ситниковымъ, Кукшиною, въ лицѣ которыхъ онъ изобразилъ грязные подонки стараго времени, вынесшіе изъ новыхъ идей только новый способъ время препровожденья. Онъ возвысилъ Базарова и надъ другомъ его, прекраснодушнымъ Аркадіемъ, этимъ тщедушнымъ недоноскомъ прогресса. Въ лицѣ Базарова г. Тургеневъ, очевидно, имѣлъ намѣреніе представить типъ лучшихъ представителей молодого поколѣнія. Онъ надѣлилъ его многими такими симпатичными чертами, вслѣдствіе которыхъ критика въ началѣ 60 годовъ имѣла основаніе видѣть въ Базаровѣ типъ лучшихъ молодыхъ людей нашего времени. Происходя изъ плебейскаго рода, Базаровъ вынесъ отъ своихъ предковъ ту жилку усидчиваго трудолюбія, тотъ физическій и нравственный закалъ, которые такъ рѣзко отличаютъ его отъ мягкосердечныхъ, дряблыхъ, лѣнивыхъ и жиденькихъ натуришекъ кирсановской атмосферы. Жизнь, полная труда и борьбы изъ-за-куска хлѣба, изъ-за желанія пробиться собственною энергіею безъ всякой посторонней помощи, заставила пройти его сквозь огонь и воду, и еще болѣе закалила его. Вы видите передъ собою человѣка, который не ограничивается одними фразами о пользѣ труда, а самъ трудится безъ устали. Едва пріѣхалъ онъ къ Кирсановымъ, и на другое утро принялся за свои изслѣдованія... Это не фразеръ, а труженикъ, это не шарлатанъ, скрывающій подъ маскою грошоваго отрицанія отсутствіе всякихъ положительныхъ знаній, а человѣкъ при всей своей молодости успѣвшій запастись солидными свѣдѣніями. Такіе люди не говорятъ съ чужого голоса звонкихъ фразъ, значеніе которыхъ сами плохо понимаютъ, а высказываютъ то, что сознаютъ, до чего додумались они путемъ жизненнаго и научнаго опыта. И вдругъ этотъ солидный, энергическій труженикъ, человѣкъ работающій и знающій, разражается рядомъ нелѣпыхъ фразъ, въ которыхъ замѣчается полное отсутствіе всякой логики и всякаго знанія. Очевидно, что въ словахъ луч-

*) А. Скабичевскій. „Отечественныя записки“ 1868 г., № 9.

шаго работающаго представителя молодого поколѣнія г. Тургеневъ имѣлъ намѣреніе представить новое міросозерцаніе не въ искаженномъ, а въ чистомъ видѣ его съ цѣлію показать, какъ это міросозерцаніе гибельно вліяетъ на лучшихъ представителей его.

А. Скабичевскій.

* * *

*) Нашъ герой не только не врагъ фразы, не только не врагъ аффектаціи и фальши, но напротивъ — онъ самъ фраза, самъ аффектація и фальшь. Онъ не терпитъ извѣстный родъ фразы, потому что самъ преданъ другому роду. Онъ преслѣдуетъ не фразу, а только тотъ родъ или тотъ видъ ея, который ему не понутру и который противоположенъ его собственному роду. Онъ не любитъ, напримѣръ, „красивую“ фразу. „О, другъ мой, Аркадій Николаевичъ, говоритъ онъ своему юношѣ-поклоннику, объ одномъ прошу, не говори такъ красиво!“ Онъ побиваетъ красивую фразу, а самъ красуется своею шероховатостью и жестокостью; щеголяетъ своимъ умственнымъ аскетизмомъ, фразерствуетъ своею ненавистью къ фразѣ, рисуется въ своихъ притязаніяхъ на простоту мысли и дѣла... Однако, въ немъ есть нѣчто такое, чего въ другихъ нѣтъ. Въ немъ есть нѣчто такое, что пустотѣ придаетъ нѣкоторую силу, что лжи придаетъ нѣкоторую искренность, что фразѣ сообщаетъ до нѣкоторой степени характеръ дѣйствительной жизни и истиннаго чувства. Въ Базаровѣ нигилизмъ не есть простодушная наивность; онъ не есть въ немъ и пошлая вычура. Въ немъ есть одно довольно искреннее чувство, которое болѣе или менѣе примѣшивается ко всему, и всему болѣе или менѣе даетъ печать чего-то серьезнаго и какъ бы дѣльнаго. Этотъ элементъ, котораго нѣтъ у учениковъ и который есть у учителя,—этотъ элементъ есть довольно искреннее и неподдѣльное чувство озлобленія, которое въ немъ проглядываетъ. Его научныя изслѣдованія — фраза; его

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1862 г., № 5.

общія воззрѣнія, его толки объ искусствѣ, о знаніи, о людяхъ, объ общественныхъ учрежденіяхъ, о всеобщей несостоятельности, о необходимости повальной ломки, о непризнаваніи авторитетовъ, объ отрицаніи всѣхъ началъ жизни и мысли, — все это совершеннѣйшее праздномысліе и пустословіе. Такъ; но ко всему этому примѣшивается маленькая капля истиннаго яда, дѣйствительной злобы, и вотъ все это смѣшеніе принимаетъ болѣе или менѣе серьезное значеніе и внушаетъ респектъ окружающимъ. Отъ фразы спасаетъ Базарова единственно только эта доза натуральнаго яда, которая сообщаетъ жизненный румянецъ его мысли. Въ ней источникъ его умственной энергіи, въ ней его вдохновеніе, въ ней его сила, ею отличается онъ отъ своихъ поклонниковъ, которые въ своей умственной организаціи не имѣютъ никакого серьезнаго элемента.

„*Русскій Вѣстникъ*“ *1862 г.*

в) *Базаровъ, какъ нигилистъ и циникъ.*

*) Базаровскій нигилизмъ — вовсе „не отрицаніе ради отрицанія“, или отрицаніе, какъ онъ выразился, „въ силу ощущеній“, въ силу того, что это пріятно, или „что наше дѣло расчищать, а тамъ пусть строятъ другіе“. Нѣтъ, онъ отрицаетъ только то, въ чемъ не видитъ пользы, и не думаетъ оставлять послѣ ломки пустоту, а совѣтуетъ замѣстить ее чѣмъ удобнѣе, что сподручнѣе. Именно въ этомъ и заключается, къ сожалѣнію, малозамѣченная и малооцѣненная особенность базаровскаго нигилизма, что онъ не отрицаетъ во имя какой-нибудь предвзятой идеи, не думаетъ ломать, чтобы возвести на прежнемъ мѣстѣ какое-нибудь на досугѣ придуманное зданіе. Отъ этого базаровскій нигилизмъ вовсе не грѣшитъ тѣмъ, въ чемъ упрекали потомъ его послѣдователей; онъ не ломаетъ ради ломки, не работаетъ для какого-то выдуманнаго и недостижимаго идеала. Базаровскому нигилизму справедливѣе было бы

*) М. Авдѣевъ. „Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы“.

дать иное, впослѣдствіи появившееся и — какъ это ни странно — совершенно противозначущее ему названіе: названіе позитивизма, ученія положительности, а не отрицанія.

М. Авдѣевъ.

* * *

*) Не будучи бариномъ, Базаровъ терпѣть не могъ ничего существующаго только *для вида*, не приносящаго прямой пользы, и этимъ онъ опять бралъ во мнѣніи простыхъ людей. „Важно то, что дважды два — четыре, а остальное все пустяки“, говоритъ онъ. „И природа пустяки? спрашиваетъ съ удивленіемъ Аркадій“. — „И природа пустяки въ томъ значеніи, въ какомъ ты ее теперь понимаешь“. (Аркадій при этомъ залюбовался картиной вечера). „*Природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ*“. Понятно, что отвергая подобнымъ образомъ художественное начало въ природѣ, Базаровъ тѣмъ болѣе долженъ былъ отвергать искусство, въ томъ числѣ и поэзію. Понятно, что ему, а подъ вліяніемъ его и Аркадію, должно было казаться дикимъ, какъ это Николай Петровичъ перечитываетъ, Богъ вѣсть въ который разъ, Пушкина, и что подъ вліяніемъ своего пріятеля Аркадій взамѣнъ такого чтенія могъ подсунуть отцу — на первый разъ Бюхнера.

О. Миллеръ.

* * *

**) Глубокій аскетизмъ проникаетъ всю личность Базарова; это черта не случайная, а существенно необходимая. Характеръ этого аскетизма совершенно особенный, и въ этомъ отношеніи должно строго держаться настоящей точки зрѣнія, т. е. той самой, съ которой смотритъ Тургеневъ. Базаровъ отрекается отъ благъ этого міра, но онъ дѣлаетъ между этими благами строгое различіе. Онъ охотно ѣстъ

*) О. Миллеръ. „Бесѣда“ 1871 г., № 12. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

**) Н. Страховъ. „Время“ 1862 г., № 4. Также „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“. Спб. 1887 г.

вкусные обѣды и пьетъ шампанское; онъ не прочь даже поиграть въ карты. Г. Антоновичъ въ „Современникѣ“ видитъ здѣсь тоже *коварный умыселъ* Тургенева, и увѣряетъ насъ, что поэтъ выставилъ своего героя *обжорой*, *пьяницей* и *картежникомъ*. Дѣло однако же имѣетъ совсѣмъ не такой видъ, въ какомъ оно кажется цѣломудрію г. Антоновича. Базаровъ понимаетъ, что простыя или чисто тѣлесныя удовольствія гораздо законнѣе и простительнѣе наслажденій иного рода. Базаровъ понимаетъ, что есть соблазны болѣе губительные, болѣе растлѣвающіе душу, чѣмъ, напримѣръ, бутылка вина, и онъ бережется не того, что можетъ погубить тѣло, а того, что погубляетъ душу. Наслажденіе тщеславіемъ, джентльменствомъ, мысленный и сердечный развратъ всякаго рода для него гораздо противнѣе и ненавистнѣе, чѣмъ ягоды со сливками или пулька въ преферансъ. Вотъ отъ какихъ соблазновъ онъ бережетъ себя; вотъ тотъ высшій аскетизмъ, которому преданъ Базаровъ. За чувственными удовольствіями онъ не гоняется: онъ наслаждается ими только при случаѣ; онъ такъ глубоко занятъ своими мыслями, что для него никогда не можетъ быть затрудненія отказаться отъ этихъ удовольствій; однимъ словомъ, онъ потому предается этимъ пустымъ удовольствіямъ, что онъ всегда выше ихъ, что они никогда не могутъ завладѣть имъ. Зато тѣмъ упорнѣе и суровѣе онъ отказывается отъ такихъ наслажденій, которыя могли бы стать выше его и завладѣть его душою. Вотъ откуда объясняется и то болѣе разительное обстоятельство, что Базаровъ отрицаетъ эстетическія наслажденія, что онъ не хочетъ любоваться природою и не признаетъ искусства. Обоихъ нашихъ критиковъ (Антоновича и Писарева) это отрицаніе искусства привело въ великое недоумѣніе...

Базаровъ смотритъ на вещи не такъ, какъ г. Писаревъ. Г. Писаревъ, повидимому, признаетъ искусство, а на самомъ дѣлѣ онъ его отвергаетъ, т. е. не признаетъ за нимъ настоящаго значенія. Базаровъ прямо отрицаетъ искусство, но отрицаетъ его потому, что глубже понимаетъ его. Очевидно, музыка для Базарова не есть чисто-физическое за-

нятіе, и читать Пушкина не все равно, что пить водку. Въ этомъ отношеніи герой Тургенева несравненно выше своихъ послѣдователей. Въ мелодіи Шуберта и въ стихахъ Пушкина онъ ясно слышитъ враждебное начало; онъ чуетъ ихъ всеувлекающую силу, и потому вооружается противъ нихъ. Въ чемъ же состоитъ эта сила искусства, враждебная Базарову? Выражаясь какъ можно проще, можно сказать, что искусство есть нѣчто слишкомъ *сладкое*, тогда какъ Базаровъ никакихъ сладостей не любитъ, а предпочитаетъ имъ горькое. Выражаясь точнѣе, но нѣсколько старымъ языкомъ, можно сказать, что искусство всегда носитъ въ себѣ элементъ *примиренія*, тогда какъ Базаровъ вовсе не желаетъ примиряться съ жизнію. Искусство есть идеализмъ, созерцаніе, отрѣшеніе отъ жизни и поклоненіе идеаламъ; Базаровъ же реалистъ, не созерцатель, а дѣятель, признающій одни дѣйствительныя явленія и отрицающій идеалы... Восторгъ—вотъ зло, противъ котораго идетъ Базаровъ и котораго онъ не имѣетъ причины опасаться отъ рюмки водки. Искусство имѣетъ притязаніе и силу становиться гораздо выше *пріятнаго раздраженія зрительныхъ и слышательныхъ нервовъ*; вотъ этого-то притязанія и этой власти не признаетъ законными Базаровъ. Базаровъ въ этомъ случаѣ представляетъ живое воплощеніе одной изъ сторонъ русскаго духа. Мы вообще мало расположены къ изящному; мы для этого слишкомъ трезвы, слишкомъ практичны. Сплошь и рядомъ можно найти между нами людей, для которыхъ стихи и музыка кажутся чѣмъ-то или приторнымъ или ребячествомъ. Восторженность и высокопарность намъ не понутру; мы больше любимъ простоту, ѣдкій юморъ, насмѣшку. А на этотъ счетъ, какъ видно изъ романа, Базаровъ самъ великій художникъ...“

Что же касается отрицанія Базаровымъ науки, то по поводу этого критикъ „Времени“ говоритъ: „На этотъ разъ критики раздѣлились. Г. Писаревъ вполнѣ понимаетъ и одобряетъ это отрицаніе; г. Антоновичъ принимаетъ его за клевету, взведенную Тургеневымъ на молодое поколѣніе.

„Курсъ естественныхъ и медицинскихъ наукъ, прослу-

шанный Базаровымъ,—говоритъ г. Писаревъ,—развилъ его природный умъ и отучилъ его принимать на вѣру какія бы то ни было понятія и убѣжденія; онъ сдѣлался чистымъ эмпирикомъ; опытъ сдѣлался для него единственнымъ источникомъ познаванія, личное ощущеніе — единственнымъ и послѣднимъ убѣдительнымъ доказательствомъ. *Я придерживаюсь отрицательнаго направленія*—говоритъ онъ—*въ силу ощущеній. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ — и баста! Отчего мнѣ нравится химія? Отчего ты любишь яблоки? Тоже въ силу ощущенія — это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнутъ. Не всякій тебѣ это скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу*". „И такъ — заключаетъ критикъ — ни подъ собой, ни внѣ себя, ни внутри себя Базаровъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого (теоретическаго) принципа". Что касается до г. Антоновича, то такое умственное настроеніе Базарова онъ считаетъ чѣмъ-то весьма нелѣпымъ и позорнымъ. Весьма жаль только, что какъ онъ ни усиливается, онъ никакъ не можетъ показать, въ чемъ же состоитъ эта нелѣпость...

Вражда противъ науки есть также современная черта, и даже болѣе глубокая и болѣе распространенная, чѣмъ вражда противъ искусства. Подъ наукою мы разумѣемъ именно то, что разумѣется подъ *наукою вообще* и что, по мнѣнію нашего героя, не существуетъ вовсе. Наука для насъ не существуетъ, какъ скоро мы признаемъ, что она не имѣетъ никакихъ общихъ требованій, никакихъ общихъ методовъ и общихъ законовъ, что каждое знаніе существуетъ само по себѣ. Такое отрицаніе отвлеченности, такое стремленіе къ конкретности въ самой области отвлеченія, въ области знанія, составляетъ одно изъ вѣяній новаго духа".

Н. Страховъ.

* * *

По поводу базаровскаго нигилизма О. Миллеръ говоритъ: *) Развѣ какой-нибудь городничій или Иванъ Никифоровичъ, даже по свидѣтельству духовныхъ лицъ, не самые примѣрные христіане, строжайшимъ образомъ соблюдающіе всѣ наружныя требованія вѣры и даже неукоснительно подающіе и въ церквахъ и на улицахъ милостыню? Развѣ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, по свидѣтельству самого губернатора, не самый *благонамѣренный* человѣкъ, съ жаромъ и краснорѣчіемъ ратующій за нравственность, правду и благо отечества (въ наше время, конечно, онъ стоялъ бы, во имя цивилизаціи, за „священныя права собственности“, возставалъ бы противъ варварства, оживающаго въ видѣ „соціальнаго бреда“ и т. п.). Но кто же не знаетъ, что подо всей этой благонамѣренностью, подо всѣмъ этимъ благочестіемъ скрывалось у почтеннѣйшихъ гоголевскихъ сановниковъ рѣшительное отсутствіе всякихъ, на самомъ дѣлѣ, руководящихъ высшихъ началъ, кромѣ одного грубѣйшаго, чисто животнаго начала своекорыстія,— скрывалось только голое грязное *я* и, кромѣ его — рѣшительно *ничего*. Да, если глубже вдуматься въ знаменитые гоголевскіе типы, то основнымъ ихъ началомъ окажется ничто иное, какъ нашъ издавній *практическій*, только ловко замаскированный, *нигилизмъ*.

Какъ, неужели это явленіе существовало и до собственно такъ называемыхъ теперешнихъ „нигилистовъ“? Да, хотя съ этимъ, конечно, не захотятъ согласиться тѣ, что такъ усердно нападаютъ на этихъ послѣднихъ, вовсе не чуя ни въ людяхъ своей среды ни въ самихъ себѣ прямыхъ наслѣдниковъ нашего издавняго *практическаго нигилизма*. А между тѣмъ, вѣдь, и самое слово *нигилистъ* было употреблено у насъ еще до г. Тургенева, а именно, въ тридцатыхъ годахъ, въ „Телескопѣ“, гдѣ подъ заглавіемъ „Сонмище нигилистовъ“ покойный Надеждинъ помѣстилъ статью, въ которой обрисованы люди, не признающіе никакихъ руководящихъ началъ въ искусствѣ и литературѣ.

*) О. Миллеръ. „Бесѣда“ 1871 г., № 12. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

Если же мы обратимся на Западъ, то тамъ *нигилизмъ* и *нигилисты* упоминались еще въ XII в. Названія эти усвоены были за ересью Петра Ламбардскаго, который утверждалъ, „que Jésus Christ en tant qu' homme n'est point quelque chose, ou, ce qui revient au même — n'est rien (nihil)“ *). Ясно, что съ этими старыми западно-европейскими нигилистами, какъ у нашихъ издавнихъ практическихъ, такъ и у теперешнихъ теоретическихъ нигилистовъ—общаго всего одно имя, и я привелъ это свѣдѣніе собственно для того, чтобы показать, что имя это не только не явилось впервые у г. Тургенева, но даже не впервые явилось и у насъ вообще. Откуда же взялъ это слово нашъ сочинитель (а раньше его Надеждинъ), остается мнѣ неизвѣстнымъ. Вычитано ли оно гдѣ-нибудь нашими изобразителями того и другого нигилизма, или же оно употреблялось и самими изображенными и только у нихъ подслушано—остается вопросомъ. Но, хотя, какъ видно, названіе *нигилистъ* и не новость, въ ходъ оно у насъ пошло лишь съ тѣхъ поръ, какъ было употреблено г. Тургеневымъ, вовсе однако не думавшимъ наложить этимъ словомъ клеймо на цѣлое направленіе. Оно было сочтено за клеймо лишь другими, прежде всего, можетъ быть, редакціею того журнала, въ которомъ появились „Отцы и Дѣти“; но нашему сочинителю, конечно, тогда и не снилось, какое *милое* направленіе приметъ со временемъ эта редакція, какъ благородно она сумѣетъ воспользоваться и тургеневскимъ типомъ и самою его кличкою. У нашего сочинителя, какъ извѣсто, Аркадій думаетъ лишь превознесть своего товарища, говоря про него: „Хотите, я вамъ скажу, что онъ такое? Онъ нигилистъ“. На соображеніе же Николая Петровича: „Это отъ латинскаго nihil, ничего... Стало-быть, это слово означаетъ человѣка, который... который ничего не признаетъ“; и на поправку Павла Петровича: „Скажи, который ничего не уважаетъ“, Аркадій отвѣчаетъ такимъ толкованіемъ: „который ко всему относится съ критиче-

*) Crevier, Histoire de l'université de Paris, 1761 t. I. p. 205.

ской точки зрѣнія“... По собственному своему сознанію, нигилисты критически отнеслись ко всему, и къ самымъ завѣтнымъ, неприкосновеннымъ преданіямъ, а въ силу этихъ критическихъ отношеній они обличили всю лживость тѣхъ, кто подъ лицемѣрною вѣрою въ нихъ таитъ лишь заботу о самомъ себѣ, такъ-что и самая религіозность тутъ обращается въ какое-то заискиванье у Бога. Глубоко возненавидѣвъ всякую фальшь и всякое лицемѣріе, нигилисты съ отвращеніемъ отбросили всѣ эти обманчивые покровы изъ мнимыхъ вѣрованій и открыто и честно выставили своекорыстіе, какъ главный рычагъ человѣка.

О. Миллеръ.

* * *

*) Базаровъ, какъ существо незаконченное и отчасти искалѣченное, отвергаетъ семью; какъ существо, настрадавшееся въ бурсѣ, отвергаетъ общину, но за то онъ отвергаетъ авторитеты и считаетъ нелѣпой всякую вѣру на слово.

Что касается базаровскаго цинизма, то Писаревъ не находитъ въ немъ рѣшительно ничего дурного и оскорбительнаго для человѣческаго достоинства и несовмѣстнаго съ разумнымъ уваженіемъ къ женщинѣ.

На балѣ у губернатора Базаровъ, увидѣвъ Одинцову, сказалъ Аркадію: *„Кто бы она ни была, просто ли губернская львица или „эманципе“, въ родѣ Кукшиной, только у ней такія плечи, какихъ я не видывалъ давно. Аркадія покоробило отъ цинизма Базарова“.*

Разбирая этотъ цинизмъ Базарова, Писаревъ, между прочимъ, говоритъ: **) „Что молодой человѣкъ неравнодушенъ къ красотѣ молодой женщины,—въ этомъ, кажется, самый строгій моралистъ и самый восторженный поэтъ, каждый съ своей точки зрѣнія, не найдутъ ровно ничего предосудительнаго... Ужъ на томъ свѣтъ стоитъ, что молодые люди нравятся другъ другу, и что любовь начинается пре-

*) „Библіотека для чтенія“ 1862 г., № 5.
**) Сочиненія Д. И. Писарева, ч. 2.

имущественно съ того пріятнаго впечатлѣнія, которое производитъ привлекательная наружность. Когда человѣкъ почуствовалъ это пріятное впечатлѣніе, то почему же его и не высказать третьему лицу, которому это сообщеніе нисколько не можетъ быть оскорбительно?.. Молодому человѣку позволяется говорить о красотѣ женщины, даже о ея бюстѣ, даже о ея роскошныхъ формахъ, но при этомъ онъ, во-первыхъ, долженъ выражаться отборными словами, спеціально обточенными для подобныхъ живописаній; а во-вторыхъ, онъ долженъ, во время такого разговора, млѣть и благоговѣть, прищуривать глаза и изображать на своихъ губахъ блаженную улыбку небеснаго созерцанія. Тогда никому и въ голову не прійдетъ произнести слово „*цинизмъ*“... Но такъ какъ Базаровъ говоритъ спокойно и называетъ плечи — плечами, а не формами, и о безконечной идеѣ прекраснаго не запкается, то сейчасъ является на сцену „*цинизмъ*“. Принимая слово „цинизмъ“ въ широкомъ и разнохарактерномъ значеніи, я, пожалуй, готовъ допустить, что Базаровъ дѣйствительно циникъ; но въ базаровскомъ цинизмѣ нѣтъ рѣшительно ничего дурного, т.-е. ничего оскорбительнаго для человѣческаго достоинства и несовмѣстнаго съ разумнымъ уваженіемъ къ женщинѣ“.

Библіотека для чтенія 1862 г.

г) *Базаровъ въ отношеніи трагизма.*

*) „Ни одинъ изъ подобныхъ ему героевъ не находится въ такомъ трагическомъ положеніи, въ какомъ мы видимъ Базарова. Трагизмъ базаровскаго положенія заключается въ его полномъ уединеніи среди всѣхъ живыхъ людей, которые его окружаютъ. Онъ вездѣ производитъ своею особой рѣзкій диссонансъ, онъ всѣхъ заставляетъ страдать своимъ присутствіемъ и существованіемъ, онъ самъ это видитъ и понимаетъ; и понимаетъ, кромѣ того, съ мучительною ясностью роковыя причины и абсолютную непз-

*) Писаревъ. Сочиненія Д. И. Писарева, ч. 2.

бѣжность этихъ страданій. Люди, окружающіе Базарова, страдаютъ не отъ того, что онъ поступаетъ съ ними дурно, и не отъ того, что они сами дурные люди, напротивъ того, онъ не дѣлаетъ въ отношеніи къ нимъ ни одного дурного поступка, и они, съ своей стороны, также очень добродушные и честные люди. И тѣмъ хуже, тѣмъ мучительнѣе и безвыходнѣе ихъ положеніе. Нѣтъ причинъ для разрыва и нѣтъ возможности сблизиться. Нѣтъ возможности потому, что нѣтъ ни одного общаго интереса, ни одного такого предмета, который съ одинаковой силой затронулъ бы умственныя способности Базарова и его собесѣдниковъ“... Далѣе, по разсужденію Писарева, выходитъ, что если между родителями и дѣтьми появляется такой разладъ, какой существуетъ между старыми Базаровыми и ихъ сыномъ, то трудно придумать какой-нибудь выходъ. Молодой Базаровъ можетъ отшатнуться отъ своихъ родителей, потому что жизнь его наполняется умственнымъ трудомъ; но старые Базаровы? „И какой же настоящій Базаровъ, какой мыслящій человѣкъ рѣшится оттолкнуть отъ себя своихъ стариковъ, которые только имъ живутъ и дышатъ, и которые сдѣлали все, что могли, для его образованія“?..

Вотъ мѣсто въ романѣ, которое дало поводъ критикѣ укорить Базарова въ непочтительности къ родителямъ и жестокости характера:

— „Нѣтъ, говоритъ онъ на слѣдующій день Аркадію, уѣду отсюда завтра. Скучно, работать хочется, а здѣсь нельзя. Отправляюсь опять къ вамъ въ деревню; я же тамъ всѣ свои препараты оставилъ. У васъ, по крайней мѣрѣ, запереться можно. А здѣсь отецъ мнѣ все твердитъ: „Мой кабинетъ къ твоимъ услугамъ, никто тебѣ мѣшать не будетъ“. А самъ отъ меня ни на шагъ. Да и совѣстно какъ-то отъ него запираться. Ну и мать тоже. Я слышу, какъ она вздыхаетъ за стѣной, а выйдешь къ ней и сказать ей нечего.

— Очень она огорчится, промолвилъ Аркадій, да и онъ тоже.

— Я къ нимъ еще вернусь.
— Когда?
— Да вотъ какъ въ Петербургъ поѣду.
— Мнѣ твою мать особенно жалко.
— Что такъ? Ягодами, что ли, она тебѣ угодила?
Аркадій опустилъ глаза".

Характеризуя отношенія Базарова къ своимъ родителямъ, а равно и къ Аркадію, насколько они могутъ быть выяснены изъ приведеннаго разговора между Базаровымъ и Аркадіемъ, Писаревъ съ особеннымъ ожесточеніемъ упрекаетъ критику, не понявшую, по его мнѣнію, Базарова. „Базарову, говоритъ онъ, тяжело и душно; онъ видитъ, что и работать нельзя, да и для стариковъ-то удовольствія мало, потому что *выйдешь къ ней—и сказать ей нечего*. Такъ ему приходится скверно, что онъ чувствуетъ потребность высказаться хоть кому-нибудь, хоть младенчествующему кандидату Аркадію. И начинаетъ онъ высказываться отрывочными предложеніями, такъ какъ всегда высказываются люди сильные и сильно измученные. „*Совѣстно какъ-то, ну и мать тоже*", „*вздыхаетъ за стѣной*", „*сказать ей нечего*". Кажется, не хитро понять изъ этихъ словъ, что не гаерствуетъ онъ надъ своими стариками, что не весело ему смотрѣть на нихъ сверху внизъ, и что самъ онъ видитъ съ поразительною ясностью, какъ мало даетъ имъ его присутствіе, и какъ мучительна будетъ для нихъ необходимая разлука. Я думаю, умный человѣкъ, будучи на мѣстѣ Аркадія, нашелъ бы, что Базаровъ особенно заслуживаетъ въ эту минуту сочувствія, потому что быть мучителемъ и мучителемъ роковымъ, для каждаго разумнаго существа, гораздо тяжеле, чѣмъ быть жертвою. Умный человѣкъ хоть однимъ добрымъ словомъ далъ бы замѣтить огорченному другу, что онъ понимаетъ его положеніе, и что въ самомъ дѣлѣ ничѣмъ нельзя помочь бѣдѣ, и что, стало быть, дѣйствительно слѣдуетъ залить тяжелое впечатлѣніе свѣжими волнами живительнаго труда. А Аркадій? Онъ ничего не нашелъ лучшаго, какъ ухватить Базарова за самое больное мѣсто: „*Очень она огорчится*". Точно будто Базаровъ этого не знаетъ"... По

мнѣнію Писарева, Базаровъ могъ предложить Аркадію сокрушительный вопросъ: „Ну, а что жъ мнѣ дѣлать, чтобъ она не огорчалась?“ Но и тутъ Аркадій повторилъ бы свою минорную гамму съ легкою перестановкою нотъ. А такъ какъ Базарову было не до диспутовъ „съ этимъ писклявымъ цыпленкомъ“, не созданнымъ для пониманія трагическихъ положеній, то онъ продолжалъ разговоръ безъ всякихъ изліяній. Однако „это плоское животное, Аркадій, не утерпѣлъ и произвелъ новое визжаніе, и опять еще грубѣе ухватилъ Базарова за больное мѣсто. „*Мнѣ твою мать особенно жалко*“. Базарову ничего болѣе не оставалось, какъ охладить безполезные потоки аркадьевскаго сердоболья, и онъ сказалъ объ ягодахъ. Какъ только онъ сказалъ объ ягодахъ, Аркадій опустилъ глаза. Такъ тебѣ и надо поступать, Аркашенька. Больше ты, другъ мой разлюбезный, ничего и дѣлать не умѣешь, какъ только глазки опускать...

Д. Писаревъ.

* * *

*) Боязнь всего *напускного*, всего извращающаго и ломающаго природу, доводила Базарова до того, что онъ вмѣстѣ съ напускнымъ подавлялъ и природное, т.-е. впадалъ неумышленно въ ту же ломку — ломку наклонностей самыхъ естественныхъ, но не признанныхъ имъ за такія. „Оставаясь наединѣ послѣ свиданія съ Одинцовой, Базаровъ съ негодованіемъ сознавалъ романтика въ самомъ себѣ... Онъ ловилъ самого себя на всякаго рода постыдныхъ мысляхъ“... Онъ навѣрное счелъ бы постыднымъ и то, если бъ ему вдругъ захотѣлось затянуть пѣсню, хотя это столько же естественно, какъ захотѣть поѣсть или поработать; неестественными такія наклонности могли показаться только у насъ, въ образованной нашей средѣ, вслѣдствіе того, что мы слишкомъ долгое время исключительно „пѣли“ и видѣли въ этомъ „дѣло“, никакого другого дѣла не дѣлая. При этомъ, какъ извѣстно, мы особенно усердно тянули без-

*) О. Миллеръ. „Бесѣда“ 1871 г., № 12. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

конечную ноту „любви“; — отъ того-то и стали потомъ убѣгать отъ нея, какъ отъ какого-нибудь дурмана, всѣ люди дѣльные. „Любовь, говоритъ Одинцовой Базаровъ, вѣдь, это чувство напускное“... Въ самомъ дѣлѣ? подтягиваетъ (изъ самолюбія) она; мнѣ очень пріятно это слышать“. „Они оба думали, поясняетъ нашъ сочинитель, что говорили правду... Базаровъ при этомъ смѣялся, хотя ему вовсе не хотѣлось смѣяться“. Точно также Базаровъ прикидывался, и опять таки неумышленно, совершенно свободнымъ и отъ другой постыдной слабости—нѣжничанья (выражаясь во вкусѣ его) съ родителями. Ему, можетъ быть, и давно хотѣлось своихъ „стариковъ потѣшить“, а между тѣмъ онъ не торопится къ нимъ, и живетъ себѣ да живетъ—сперва у Кирсановыхъ, потомъ у Одинцовой. Только „постыдная слабость“ къ этой послѣдней (постыдная потому, что пожива тутъ не давалась — по крайней мѣрѣ, сразу) заставляетъ его, наконецъ, какъ бы въ видѣ отвода, поѣхать къ своимъ старикамъ, о которыхъ онъ уже давно говорилъ Аркадію: „Они у меня люди хорошіе. Я же у нихъ одинъ“. Ему, можетъ быть, не на шутку взгрустнулось по нихъ еще въ день его именинъ; онъ, по крайней мѣрѣ, не постыдился вспомнить о подобномъ вздорѣ, говоря Аркадію: „Сегодня меня дома ждутъ“; но сейчасъ же при этомъ *понизилъ голосъ* и, какъ бы для того, чтобъ поправиться, вдругъ прибавилъ: „Ну, подождутъ, что за важность!“—А вспомните, какъ, уже гостя у нихъ съ Аркадіемъ, онъ, словно хвалясь, говоритъ ему: „Ты видишь, какіе у меня родители—народъ не строгій!“—„Ты ихъ любишь, Евгеній?„—„Люблю, Аркадій“—и это даже безъ пониженія голоса, хотя любовь — чувство напускное... А между тѣмъ вѣдь извѣстно, что онъ не зажился у нихъ. „Работать хочется, а здѣсь нельзя“, не замедлилъ заговорить Евгеній... Ясно, что его тяготитъ не одна невозможность заняться порядочно (это бы можно еще устроить), но сознанье извѣстной *фальши* въ отношеніяхъ его къ родителямъ, фальши, заключающейся въ томъ, что „иной рязъ сидишь съ ними, хотя и скучно“... А все же какъ ни сильно дѣйствуетъ

на людей базаровскаго закала такое сознанье, цѣлый день прошелъ, прежде чѣмъ онъ рѣшился увѣдомить Василья Ивановича о своемъ отъѣздѣ. Да и по отъѣздѣ чувство жалости, надо думать, не сразу успокоилось въ немъ, потому что онъ „былъ не совсѣмъ собою доволенъ. Аркадій былъ не доволенъ имъ“. Ясно, что мимо лишь напускное, природное и не въ конецъ забитое довольно громко говорило въ обоихъ. Но съ рѣшительной силой заговорило оно только въ ту минуту, когда Базарову пришлось не на время, а на всегда распрощаться съ родителями. Тутъ чувство жалости дошло до того, что, для утѣшенія ихъ, онъ сталъ вдругъ способенъ указывать даже на то, отъ чего навсегда отказался. „Вы оба съ матерью, говоритъ онъ отцу, должны теперь воспользоваться тѣмъ, что въ васъ религія сильна; вотъ вамъ случай поставить ее на пробу“... Онъ доходитъ даже до того, что уже не боится впасть въ фальшь, говоря о предсмертныхъ предписаніяхъ религіи: „Я не отказываюсь, если это можетъ васъ утѣшить“... То же, рѣшительно переспливпее чувство любви заставляетъ его просить Одинцову: „Не разувѣряйте старика, что Россія ничего во мнѣ не теряетъ... И мать приласкайте... вѣдь, такихъ людей, какъ она, въ вашемъ большомъ свѣтѣ днемъ съ огнемъ не сыскать“...

Базарову такимъ образомъ не удается вполнѣ отдѣлаться отъ мимо-напускныхъ чувствъ. „Гони природу въ дверь, она войдетъ въ окно“ — можно бы примѣнить и къ нему.

И тотъ же самый Базаровъ, съ другой стороны, дѣлаетъ рѣшительную уступку уже положительно напускнымъ — и даже не чувствамъ, а жизненнымъ правиламъ. „Съ теоретической точки зрѣнія, говоритъ онъ, дуэль нелѣпость; ну, а съ практической точки зрѣнія—это другое дѣло“. Павлу Петровичу Кирсанову, по выраженію Базарова, захотѣлось испытать на немъ свой рыцарскій духъ. „Я бы могъ отказать вамъ въ этомъ удовольствіи, поясняетъ Базаровъ, да ужъ куда ни шло!“ Откуда же такая вдругъ снисходительность къ чужимъ удовольствіямъ и фантазіямъ, снисходительность, доводящая до того, о чемъ впослѣдствіи отзы-

вается самъ Базаровъ: „Экую мы комедію отломали? Ученыя собаки такъ на заднихъ лапахъ танцуютъ. А отказать было невозможно: вѣдь, онъ меня, чего добраго, ударилъ бы, и тогда“... Что тогда?...

О. Миллеръ

* * *

*) Базаровъ, какъ и слѣдовало, по мнѣнію г. Тургенева, всеотрицающему нигилисту, не видящему въ любви ничего, кромѣ чувственности, похвалилъ въ Одинцовой первоначально одни плечи, и выразился о ней, что она тертый калачъ; но потомъ онъ и самъ не замѣтилъ, какъ разгорѣлось въ немъ болѣе серьезное чувство, котораго онъ никакъ не ожидалъ и не желалъ... Въ этой борьбѣ Базарова съ самимъ собою, въ борьбѣ теоріи съ природою— заключается вся, такъ сказать, иронія романа, которую г. Тургеневъ проводитъ до конца, заставляя Базарова потѣшаться надъ своею любовью даже на смертномъ одрѣ: „Ну, что-жъ мнѣ вамъ сказать... Что я любилъ васъ? *Это и прежде не имѣло никакого смысла, а теперь подавно. Любовь— форма, а моя собственная форма уже разлагается.* Скажу я лучше, что какая вы славная! И теперь вотъ вы стоите, такая красивая“...

Вся эта иронія была бы совершенно умѣстна, если бы г. Тургеневъ имѣлъ цѣлію изобразить аскета, борющагося со своею природою, или разочарованнаго идеалиста, въ родѣ Онѣгина, который, какъ извѣстно, по полученіи письма Татьяны, подавилъ въ себѣ возникшее было увлеченіе, чтобы выдержать до конца свое скептическое отношеніе къ жизни. Средневѣковой аскетъ и разочарованный Онѣгинъ— это два вида одного и того же идеализма, и какъ мы видимъ, отрицаніе любви свойственно вполнѣ тому старому міросозерцанію, за которое ратуетъ г. Тургеневъ, и которое хотя и признавало любовь въ высокомъ идеалѣ, но приводило постоянно человѣка къ отрицанію ея въ жизни.

*) А. Скабичевскій. „Отечественныя Записки“ 1868 г., № 9. Также „Сочиненія А. Скабичевскаго“, т. I. Спб. 1890 г.

Приписывать же новому міросозерцанію отрицаніе любви, какъ это дѣлаетъ г. Тургеневъ,—чистая нелѣпость. Правда, новое міросозерцаніе не признаетъ любви, какъ особенной субстанціи, существующей внѣ человѣка и влагающейся въ человѣка при его зачатіи или рожденіи. Новое міросозерцаніе выводитъ любовь, какъ и всѣ психическія явленія, изъ ощущеній. Но выводить любовь изъ ощущеній, вовсе не значитъ отрицать любовь или же низводить ее на степень минутныхъ чувственныхъ наслажденій. Если бы г. Тургеневъ опять таки потрудился снизойти со своего Парнасса и посмотрѣть, что дѣлается въ жизни, онъ встрѣтилъ бы въ дѣйствительности не мало людей, воспринявшихъ новое міросозерцаніе, которыя испытываютъ сильныя и глубокія привязанности и не видятъ въ этомъ ни капли противорѣчія со своими идеями. Правда, они не считаютъ любви высшею своею цѣлью жизни, непзрѣченнымъ и необъяснимымъ таинствомъ, фатумомъ, заранѣе представляющимъ влеченіе двухъ сердецъ. Они смѣются надъ всѣми этими романтическими бреднями; но смѣяться надъ взглядами романтиковъ на любовь, это вовсе не значитъ смѣяться надъ самою любовью.

Если Базаровъ дѣйствительно человѣкъ новаго міросозерцанія, то въ немъ рѣшительно не мыслима борьба съ самимъ собою изъ-за любви. Если же г. Тургеневъ заставилъ Базарова бороться, то въ этомъ отношеніи авторъ поступилъ совершенно апріорично, выведя эту борьбу изъ своей ложной идеи о міросозерцаніи молодого поколѣнія. Базаровъ могъ бороться со своею страстью, но не вслѣдствіе какихъ-либо отвлеченныхъ теорій, отрицающихъ любовь, а изъ причинъ чисто реальныхъ, которыя, въ дѣйствительности, нерѣдко заставляютъ людей бороться со своими чувствами. Очень часто случается, что какая-либо страсть, слѣпо повинуясь своимъ естественнымъ законамъ, загорается въ человѣкѣ помимо всѣхъ доводовъ разсудка. Базаровъ могъ влюбиться въ Одинцову, и въ то же время сознавать, что эта барыня, изнѣженная комфортомъ, цѣнящая выше всего спокойствіе, и ради сохраненія этого спокой-

ствія, не рѣшающаяся пошевельнуть пальчикомъ, совершенно не годится быть ни его женою ни любовницею; онъ могъ вслѣдствіе этого смотрѣть на свою страсть, какъ на слѣпую, глупую, лишенную всякихъ разумныхъ основаній, и потому унижающую его; но борьба противъ такой страсти не была бы борьбою во имя какой-либо отвлеченной теоріи: это была бы чисто-жизненная борьба, достойная Базарова, и достойная кисти талантливаго художника; но г. Тургеневъ ни въ одномъ мѣстѣ своего романа и тѣни намека не сдѣлалъ на подобнаго рода борьбу, а повсюду на первомъ планѣ вы видите Базарова, борющагося со своею любовью только потому, что онъ считаетъ любовь белибердою и романтизмомъ..." „Очень можетъ быть, говоритъ въ другомъ мѣстѣ Скабичевскій, что г. Тургеневъ, въ лицѣ своихъ молодыхъ героевъ, желалъ представить вовсе не людей новаго міросозерцанія, а тѣхъ недоучившихся баричей, которые слышали только, что въ какомъ-то приходѣ звонятъ, но не знаютъ гдѣ, и которые щеголяютъ фразами дешеваго отрицанія не изъ внутренней потребности, вынесенной изъ жизненнаго опыта, а изъ щегольства этимъ отрицаніемъ, изъ желанія порисоваться имъ, да изъ-за того еще, что у нихъ кровь кипитъ и силъ избытокъ? Очень можетъ быть, что г. Тургеневъ изобразилъ именно тѣхъ рыцарей, которые, какъ это было въ прежнее время, такъ и теперь, съ невѣроятною легкостью переходятъ отъ щеголеватаго отрицанія къ весьма нещеголеватому примиренію съ самою пошлепькою дѣйствительностію. И развѣ среди подобнаго рода рыцарей нельзя встрѣтить такихъ, которые способны отнестись къ любви такъ же, какъ отнесся къ ней Базаровъ, т. е. бороться съ нею не вслѣдствіе какихъ-либо разумныхъ основаній, а просто потому, что, по ихъ мнѣнію, новыя идеи отвергаютъ любовь, какъ романтизмъ и белиберду? Г. Тургеневъ могъ встрѣтить въ жизни двухъ-трехъ рыцарей подобнаго рода, и такимъ образомъ, онъ вовсе не апріорично вывелъ отношеніе своихъ юныхъ героевъ къ жизни, а списалъ съ дѣйствительности то, что видѣлъ и слышалъ. Безспорно, г. Тургеневъ могъ въ дѣй-

ствительности встрѣтить всѣ тѣ фразы, которыя онъ вложилъ въ уста своихъ юныхъ героевъ; могъ онъ встрѣтить не мало и людей, не уступающихъ аскетамъ въ безполезной борьбѣ противъ естественныхъ потребностей во имя ложно-понимаемыхъ идей и принциповъ. Какой только уродливости нельзя подыскать въ нашей убогой дѣйствительности! Но въ такомъ случаѣ, г. Тургеневъ былъ обязанъ отдѣлить ложное пониманіе новыхъ идей отъ истиннаго, что онъ, конечно, и сдѣлалъ бы на Базаровѣ, если бы онъ самъ понималъ, въ чемъ тутъ заключается различіе.

А. Скабичевскій.

Второстепенныя лица въ романѣ.

*) О художественной обработкѣ и жизненности всѣхъ второстепенныхъ лицъ „Отцовъ и Дѣтей“ едва ли нужно много распространяться. Оба Кирсанова, Аркадій, Одинцова, старики Базаровы — все это фигуры необыкновенно рельефныя, изваянныя рукою мастера, достигшаго полной зрѣлости своего таланта, когда каждый ударъ рѣзца въ его рукѣ отличается точностью, силою и законченностью. Въ изображеніи отца и матери Базарова бездна сердечной теплоты, которая тѣмъ болѣе выдѣляется, что къ ней примѣшанъ безподобный юморъ...

В. Буренинъ.

* * *

**) Созданіе такихъ лицъ, какъ отецъ и мать Базарова, есть истинное торжество таланта. Повидимому, что можетъ быть ничтожнѣе и негоднѣе этихъ людей, отжившихъ свой вѣкъ и со всѣми предразсудками старины уродливо дряхлѣющихъ среди новой жизни? А между тѣмъ какое богатство *простыхъ* человѣческихъ чувствъ! Какая глубина и

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.
**) Н. Страховъ. „Время“ 1862 г., № 4. Также „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“. Спб. 1887 г.

ширина душевныхъ явленій — среди обыденнѣйшей жизни, не подымающейся ни на волосъ выше самаго низменнаго уровня!

Н. Страховъ.

* * *

*) Аркадій Николаевичъ Кирсановъ, кандидатъ петербургскаго университета, какого факультета не сказано,— юноша чувствительный, добросердечный, съ невинной душой; къ сожалѣнію, онъ подчинился вліянію своего друга, Базарова, который старается всячески притупить чувствительность его сердца, убить своими насмѣшками благородныя движенія его души и внушить ему презрительную холодность ко всему; какъ только обнаружитъ онъ какой-нибудь возвышенный порывъ, другъ тотчасъ же и осадитъ его своей презрительной проніей.

М. Антоновичъ.

* * *

**) Аркадій, по словамъ Писарева, похожъ во всѣхъ отношеніяхъ на кусокъ очень чистаго и мягкаго воска, изъ котораго всякій, кто только пожелаетъ, можетъ сдѣлать что ему угодно. Но дѣло въ томъ, что сегодня изъ него можетъ сдѣлать все, что угодно, одинъ, а завтра то же можетъ съ нимъ подѣлать другой и т. д. Аркадій будетъ подъ старость безполезнѣйшимъ, а можетъ быть, и дряннѣйшимъ тупеядцемъ. А старость, т. е. житье въ брюхо, для этихъ восковыхъ господъ начинается ровно черезъ годъ послѣ выхода изъ университета. Если бы вы спросили у Базарова: „*выйдетъ ли что-нибудь путнаго изъ вашего друга?*“ Базаровъ отвѣчалъ бы съ полнымъ убѣжденіемъ: „*ничего путнаго не выйдетъ; будетъ рафинированнымъ Маниловымъ и больше ничего.*

Д. Писаревъ.

* * *

*) М. Антоновичъ. „Современникъ“ 1892 г., № 3.
**) Сочиненія Д. И. Писарева, ч. 2.

*) Не понимаемъ, почему этотъ типъ молодежи, изображенный г. Тургеневымъ въ лицѣ Аркадія, представляетъ наше молодое поколѣніе будто бы въ невыгодномъ свѣтѣ. Напротивъ, мы думаемъ, что онъ представляетъ собою очень хорошій, очень привлекательный типъ. Презрительные отзывы объ этомъ молодомъ человѣкѣ понятны въ самыхъ же Аркадіяхъ, въ людяхъ очень молодыхъ, которые, разумѣется, хотятъ казаться героями, какъ ребенокъ хочетъ казаться большимъ. Очень понятно, почему, напримѣръ, критикъ *Русскаго слова* **) отзывается съ презрѣніемъ о молодомъ Кирсановѣ и иначе не называетъ его, какъ птенцомъ: по всѣмъ признакамъ, критикъ самъ еще весьма юный человѣкъ, самъ такой же Аркадій, которому можно пожелать только того, чтобъ онъ сохранилъ многія добрыя свойства своего прототипа... Аркадій безподобенъ въ своихъ нигилистическихъ выходкахъ; онъ также безподобенъ въ наивномъ сознаніи своего умственнаго превосходства надъ понятіями отца и дяди. Какъ добродушно сожалѣетъ онъ объ ихъ отсталости. Какъ онъ очарователенъ съ своимъ Бюхнеромъ, котораго подсовываетъ отцу, вмѣсто Пушкина, надѣясь просвѣтить его и возвысить! Какъ быстро рѣшаетъ онъ всѣ вопросы, какъ легко справляется онъ со всѣмъ, какъ ни по чемъ ему сломить и уничтожить что угодно изъ чистаго нигилизма! Вы чувствуете, какъ, подъ этимъ живымъ колоритомъ мѣста и времени, Аркадій остается тѣмъ же самымъ, какимъ знавали его въ другихъ мѣстахъ и въ другое время. Аркадій натура не *хищная:* это открыла ему умная дѣвушка, съ которою, къ счастію для себя, онъ сблизился на первыхъ порахъ своей жизни. Сначала его немножко покоробило при этомъ открытіи: простодушному молодому человѣку было жаль разставаться съ этимъ качествомъ, которое казалось ему признакомъ силы и героизма; но онъ скоро понялъ свою молодую глупость и, конечно, самъ послѣ смѣялся надъ нею. Онъ не *хищный* ни по натурѣ ни по воспитанію. Мнѣнія, кото-

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1862 г., № 5.
**) Рѣчь идетъ о Писаревѣ.

рыми онъ щеголяетъ, не проникаютъ у него глубоко внутрь, точно такъ же какъ и не выростаютъ извнутри; это легкая игра представленій, еще не имѣющихъ для молодого мягкаго ума никакого опредѣленнаго значенія. Но всѣ практическіе его инстинкты хороши, всѣ непосредственныя движенія его сердца не испорчены, и частью они остались нетронуты, и свидѣтельствуютъ о свѣжихъ непочатыхъ силахъ, о добромъ задаткѣ на будущее. Они свидѣтельствуютъ о любви, которая окружала колыбель нашего юноши, о мягкой семейной атмосферѣ, въ которой протекло его дѣтство. Правда, въ его умственной организаціи не замѣтно твердыхъ элементовъ; но имъ не откуда было взяться.

„Русскій Вѣстникъ“ 1862 г.

* * *

*) Что можетъ быть слабѣе и незначительнѣе юнаго пріятеля Базарова, Аркадія? онъ, повидимому, подчиняется каждому встрѣчному вліянію; онъ обыкновеннѣйшій изъ смертныхъ. Между тѣмъ, онъ милъ чрезвычайно. Великодушное волненіе его молодыхъ чувствъ, его благородство и чистота—подмѣчены авторомъ съ большою тонкостью и обрисованы отчетливо.

Н. Страховъ.

* * *

**) Павелъ Петровичъ — человѣкъ очень не глупый, и его фигура чрезвычайно любопытна и поучительна, какъ отживающая тѣнь печоринскаго типа. Эта тѣнь не хочетъ и не можетъ признать себя тѣнью и, встрѣчаясь съ тѣмъ типомъ, который живетъ въ настоящемъ, она, эта представительница прошедшаго, отрицаетъ его всѣми силами своего ума и ненавидитъ его такъ, какъ скупой рыцарь ненавидитъ своихъ наслѣдниковъ. Печоринскій и Базаровскій типы ненавидятъ и отталкиваютъ другъ друга. Печорины и Базаровы рѣшительно не могутъ существовать вмѣстѣ, въ

*) Н. Страховъ. „Время“ 1862 г., № 4.
**) Д. Писаревъ. Сочиненія Д. И. Писарева.

одномъ обществѣ, потому что и Печорины и Базаровы выдѣлываются изъ одного матеріала: стало быть, чѣмъ больше Печориныхъ, тѣмъ меньше Базаровыхъ, и наоборотъ. Вторая четверть XIX столѣтія особенно благопріятствовала производству Печориныхъ; новыхъ Печориныхъ жизнь уже не отчеканиваетъ, а старые, потускнѣлые и поблекшіе никакъ не желаютъ понять, что ихъ время прошло... Печорины и Базаровы — совершенно не похожи другъ на друга по характеру своей дѣятельности; но совершенно сходны между собою по типическимъ особенностямъ натуры: и тѣ и другіе—очень умны и вполнѣ послѣдовательные эгоисты; и тѣ и другіе выбираютъ себѣ изъ жизни все, что въ данную минуту можно выбрать самаго лучшаго, и, набравши себѣ столько наслажденій, сколько можно добыть, и сколько способенъ вмѣстить человѣческій организмъ, оба остаются неудовлетворенными, потому что жадность ихъ непомѣрна, а также потому, что современная жизнь вообще не очень богата наслажденіями.

Д. Писаревъ.

* * *

*) Павелъ Петровичъ — человѣкъ съ характеромъ; онъ не пасуетъ, въ немъ чувствуются силы,—но силы погибшія, которыя завяли отъ бездѣйствія, отъ мелочного употребленія въ безплодно прожитой жизни. Онъ раздражителенъ и нервенъ; но настоящей силы въ немъ мало. Вы отдаете ему справедливость, вы признаете его настоящимъ джентльменомъ, вы уважаете его благородство; но вы чувствуете, что онъ герой въ мамбриновомъ шлемѣ, и авторъ безъ пощады выставляетъ на видъ его смѣшныя стороны. Это человѣкъ, пропгравшій свое прошедшее, безъ настоящаго, безъ будущаго, призракъ между живыми, безплодно гальванизируемый впечатлѣніями, которыя раздражаютъ, кипятятъ его, но не могутъ воскресить погибшей жизни.

„Русскій Вѣстникъ“ 1862 г.

* * *

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1862 г., № 5.

*) Павелъ Петровичъ изображенъ Тургеневымъ съ душой и поэзіей. Онъ жилъ не безполезно, читалъ много, *отличался безукоризненною честностію*, любилъ брата, помогалъ ему своими средствами и мудрыми совѣтами. Когда бывало братъ разсердится на мужиковъ и хочетъ ихъ наказывать, Павелъ Петровичъ вступался за нихъ и говорилъ ему: du calme, du calme. Онъ отличался любознательностію и всегда съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ за опытами Базарова, несмотря на то, что имѣлъ полное право ненавидѣть его. Самымъ же лучшимъ украшеніемъ Павла Петровича была его нравственность. Павелъ Петровичъ былъ влюбленъ въ Ѳеничку, нѣсколько разъ приходилъ въ ея комнату „ни зачѣмъ“ и оставался съ нею наединѣ, но онъ не былъ на столько низокъ, чтобы поцѣловать ее, какъ это сдѣлалъ Базаровъ, вслѣдствіе чего Павелъ Петровичъ по благородности своего характера вызвалъ его на дуэль. „Онъ былъ на столько благороденъ, что только однажды прижалъ ея (Ѳенички) руку къ своимъ губамъ и такъ приникъ къ ней, не цѣлуя ея и только изрѣдка судорожно вздыхая“, и наконецъ на столько былъ самоотверженъ, что сказалъ ей: „любите моего брата, не измѣняйте ему ни для кого на свѣтѣ, не слушайте ничьихъ рѣчей“; и чтобъ дальше не соблазняться Ѳеничкой, онъ уѣхалъ за границу, „гдѣ его можно видѣть и теперь въ Дрезденѣ на Брюлевской террасѣ, между 2—4 часами“.

М. Антоновичъ.

* * *

**) Николай Петровичъ, какъ слѣдуетъ, настоящій сынъ своего вѣка. Въ немъ нѣтъ ни единой яркой черты и хорошаго только одно, что онъ человѣкъ, хотя и простѣйшій человѣкъ.

Н. Страховъ.

* * *

*) М. Антоновичъ. „Современникъ“ 1862 г., № 3.
**) Н. Страховъ. „Время“ 1862 г., № 4.

*) Отецъ Аркадія—существо не дозрѣвшее, не испытанное жизнію, безхарактерное, неспособное къ опредѣленной дѣятельности, конфузливое, хотя доброе, кроткое, съ неувядшею поэзіей въ душѣ. Оба они съ братомъ люди умные и хорошіе, и были бы людьми дѣльными, если бъ жили въ другой средѣ, при условіяхъ болѣе благопріятныхъ для образованія характера.... Бѣдный, добрый Николай Петровичъ совсѣмъ уничтожается не только передъ Базаровымъ, но даже передъ своимъ молоденькимъ сыномъ.

„Русскій Вѣстникъ“ 1862 г.

* * *

**) Николай Петровичъ положительно умнѣе своего сына, и съ нимъ Базаровъ могъ бы сблизиться, если бы была какая-нибудь возможность завязать это сближеніе, т. е. сдѣлать первый шагъ. Но вѣдь неловко же, неудобно подойти къ постороннему человѣку пожилыхъ лѣтъ и, безъ малѣйшаго вызова съ его стороны, подарить ему нѣсколько непрошенныхъ совѣтовъ касательно направленія его умственной дѣятельности.

Д. Писаревъ.

* * *

***) На Аркадія не похожъ другой молодой человѣкъ, преклоняющійся передъ *базаровщиною*. „Ситниковы“ носятъ на лбу своемъ признаки пошлости и ничтожества. Но и онъ удивительно вѣренъ, и его изображеніе исполнено жизненной правды. Ситниковы вездѣ есть, и вездѣ ихъ довольно. Онъ и мадамъ Кукшина нисколько не карикатуры и не портреты, но живые представители цѣлаго разряда явленій, которыя вошли въ свои типы, какъ своими общими, вездѣ одинаковыми чертами, такъ и со всѣми особенностями времени и мѣста, со всѣми своими couleurs locales.

„Русскій Вѣстникъ“ 1862 г.

* * *

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1862 г., № 5.
**) Д. Писаревъ. Сочиненія Д. И. Писарева.
***) „Русскій Вѣстникъ“ 1862 г., № 5.

*) Исключая Базарова, другія дѣти романа—глуповатыя и пустыя. Они слушаютъ Базарова и только безсмысленно повторяютъ его слова. Кромѣ Аркадія, таковъ, напр., Ситниковъ, котораго авторъ при всякомъ удобномъ случаѣ коритъ тѣмъ, что его „батюшка все по откупамъ“. Ситниковъ считаетъ себя ученикомъ Базарова и обязаннымъ ему своимъ перерожденіемъ. Повѣрите-ли, говоритъ онъ, что когда при мнѣ Евгеній Васильевичъ сказалъ, что не должно признавать авторитетовъ, я почувствовалъ такой восторгъ... словно прозрѣлъ! Вотъ, подумалъ я, наконецъ нашелъ я человѣка“...

Въ губернскомъ городѣ живетъ молодая женщина, принимаетъ къ себѣ молодыхъ людей; но, несмотря на это, она не слишкомъ заботится о своемъ костюмѣ и туалетѣ,—чѣмъ г. Тургеневъ думалъ унизить ее въ глазахъ читателей. Ходитъ она „нѣсколько растрепанная“, въ „шелковомъ не совсѣмъ опрятномъ платьѣ“, „бархатная шубка ея на пожелтѣломъ горностаевомъ мѣхѣ“; и въ то же время почитываетъ кое-что изъ физики и химіи, читаетъ статьи о женщинахъ, хоть съ грѣхомъ пополамъ, а все-таки разсуждаетъ о физіологіи, эмбріологіи, бракѣ и проч. Все это не важно; но все же она не назоветъ эмбріологіи англійской королевой, а, пожалуй, скажетъ даже, что это за наука такая, и чѣмъ она занимается,—и то хорошо. Все-таки Кукшина не такъ пуста и ограничена, какъ Павелъ Петровичъ; все-таки ея мысли обращены на предметы болѣе серьезные, чѣмъ фески, галстучки, воротнички, спадобья и ванны; а этимъ она видимо пренебрегаетъ. Она выписываетъ журналы, но не читаетъ и даже не разрѣзываетъ ихъ, а все-таки это лучше, чѣмъ выписывать жилеты изъ Парижа и утреннія костюмы изъ Англіи, подобно Павлу Петровичу... Кукшина дѣйствительно смѣшна, за границей она якшается съ студентами; но все же это лучше, чѣмъ показывать себя на Брюлевской террасѣ между 2—4 часами, и гораздо простительнѣе, чѣмъ почтен-

*) М. Антоновичъ. „Современникъ“ 1862 г., № 3.

ному престарѣлому человѣку якшаться съ парижскими танцовщицами и пѣвицами.

М. Антоновичъ.

* * *

*) Тургенева очень много упрекали за Кукшину, которую онъ самъ призналъ карикатурой, съ чѣмъ однако же нельзя согласиться безусловно. Кукшина, быть можетъ, дѣйствительно нѣсколько шаржирована. Но несомнѣнно, однако же, что во время, описанное въ романѣ, на святой Руси завелось много такихъ „передовыхъ женщинъ, émancipée въ истинномъ смыслѣ слова“, какъ выражается о Кукшиной тоже въ своемъ родѣ передовой мужчина—Ситниковъ. Близорукая кружковая критика очень озлобилась на Тургенева за осмѣяніе этой „передовой женщины“, конечно, прозрѣвъ въ такомъ осмѣяніи противодѣйствіе пресловутому „женскому вопросу...“

В. Буренинъ.

* * *

*) Тургеневъ вовсе не воображалъ представлять Одинцову такой возвышенной и симпатической душой, къ которой бы лежало все его авторское сочувствіе, какъ это хотѣлось представить нѣкоторымъ его критикамъ. Въ Одинцовой нѣтъ ничего необыкновеннаго, кромѣ ея красоты, изящной выдержки и приготовленности для жизни. За исключеніемъ красоты, всѣми остальными качествами Одинцовой, при условіи столь же благопріятнаго рожденія и воспитанія, могла бы обладать и несчастная Кукшина и всякая другая женщина.

„Библіотека для чтенія“ 1862 г.

* * *

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.
*) „Библіотека для чтенія“ 1862 г., № 5.

*) Что можетъ быть грустнѣе Ѳенички? *Прелестно было,—говоритъ авторъ,—выраженіе ея глазъ, когда она глядѣла, какъ бы исподлобья, да посмѣивалась ласково и немного глупо.* Самъ Павелъ Петровичъ называетъ ее *пустымъ существомъ.* И однакоже эта глупенькая Ѳенička набираетъ чуть ли не больше поклонниковъ, чѣмъ умница Одинцова. Ее не только любитъ Николай Петровичъ, но въ нее отчасти влюбляется и Павелъ Петровичъ и самъ Базаровъ. И однакожъ эта любовь и эта влюбленность суть истинныя и дорогія человѣческія чувства.

Н. Страховъ.

„ПРИЗРАКИ".

**) Еще очень недавно въ нашей публикѣ и журналахъ не было никакого разномыслія въ оцѣнкѣ литературной дѣятельности Тургенева. Каждое новое произведеніе его встрѣчалось съ безусловнымъ, все болѣе и болѣе возраставшимъ сочувствіемъ. Однимъ словомъ, Тургеневъ становился рѣшительнымъ любимцемъ, баловнемъ и публики и критики. Одинъ только „Современникъ" заявлялъ, нѣкоторое время, что онъ расходится въ направленіи съ общимъ любимцемъ; но такъ какъ по случаю этого заявленія произошелъ небольшой скандалъ, то оно и не произвело никакого впечатлѣнія, несмотря на то, что „Современникъ" въ то время былъ въ модѣ и силѣ. Тургеневъ все-таки оставался самымъ любимымъ писателемъ. Съ появленіемъ „Отцовъ и Дѣтей", единодушіе публики и журналистики въ отношеніи дѣятельности Тургенева вдругъ нарушились,

*) Н. Страховъ. „Время" 1862 г., № 4. Также „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ". Спб. 1887 г.

**) Е. Эдельсонъ. „Библіотека для чтенія" 1864 г., № 4—5.

произошелъ совершенный расколъ во мнѣніяхъ, какъ о новомъ романѣ, такъ и вообще о направленіи автора. Сочувствіе одной части публики къ любимому автору возросло еще болѣе, съ другой стороны раздался сильный и рѣзкій протестъ, горячее осужденіе поворота, совершившагося будто бы въ направленіи автора... Исторія эта, впрочемъ, такъ еще свѣжа и въ памяти читателей, что мы вовсе не думаемъ возстановлять ее во всѣхъ подробностяхъ. Но полагаемъ не безынтереснымъ припомнить нѣкоторыя обстоятельства этой любопытной исторіи, ускользнувшія въ свое время отъ вниманія нашей журналистики.

Дѣло въ томъ, что такъ называемые нигилисты, получившіе въ послѣднее время столь громкую извѣстность, не только не обличены, какъ думаютъ многіе, романомъ Тургенева, но въ сущности ему обязаны и своимъ именемъ и стройнымъ послѣдовательнымъ ученіемъ.

Въ самомъ дѣлѣ, до появленія этого романа, если и существовали между нашею молодежью зачатки какого-то новаго ученія, то это были по большей части или отголоски французскихъ соціальныхъ ученій съ примѣсью нѣмецкаго матеріализма, или какіе-то домашніе зачатки мысли еще менѣе удовлетворительнаго свойства—однимъ словомъ, нѣчто крайне смутное, невыдержанное, шаткое.

Продолжая свои этюды надъ русскимъ обществомъ, Тургеневъ не могъ не остановить вниманія на чемъ-то новомъ, бродящемъ въ нашемъ обществѣ; но въ то-же время, привыкнувъ передавать результаты своихъ наблюденій въ формѣ художественной, въ ясныхъ типахъ, онъ не могъ, конечно, удовлетвориться тѣми смутными, неустановившимися чертами, какими выражалось въ дѣйствительности бродившее начало. Въ его стройномъ художественномъ мышленіи разбросанные, разрозненные во множествѣ личностей черты слились въ одинъ образъ; обрывки ученія улеглись въ стройную, закругленную систему, и результатомъ этого художественнаго процесса явился Базаровъ. Само собою разумѣется, что этотъ Базаровъ былъ выдуманъ Тургеневымъ и что въ дѣйствительности авторъ не встрѣчалъ ни такой

выдержанной, вездѣ вѣрной себѣ личности, ни такого стройнаго, послѣдовательнаго ученія, какое онъ вложилъ въ своего Базарова. Но какъ бы то ни было, въ томъ художественномъ видѣ, въ какомъ представилъ авторъ своего героя, явилось уже нѣчто твердое, самостоятельно стоявшее на ногахъ, однимъ словомъ, явилась сила, явилось цѣлое ученіе.

То, что произошло за этимъ, чрезвычайно характеристично и какъ нельзя лучше рисуетъ наше молодое общество. Прежде всего нужно замѣтить, что Тургеневъ вовсе не представилъ своего Базарова въ карикатурномъ или гнусномъ видѣ и вообще нисколько не думалъ о безусловномъ осужденіи въ лицѣ его новыхъ началъ и принциповъ, открытыхъ имъ въ русскомъ обществѣ. Съ полнымъ безпристрастіемъ, повинуясь единственно своей поэтической наклонности къ стройному пониманію каждой эпохи жизни общества и къ созданію цѣльныхъ типовъ, онъ свелъ только вмѣстѣ тѣ отдѣльныя черты, которыя сами напрашивались на сліяніе воедино, и затѣмъ предоставилъ самому обществу произнести свой судъ надъ созданнымъ имъ лицомъ и воплощеннымъ въ немъ новымъ ученіемъ. Мало того, видимо не вполнѣ сочувствуя личностямъ, въ родѣ Базарова, авторъ былъ на столько деликатенъ и остороженъ передъ новыми людьми, которыхъ представителемъ является Базаровъ, что сообщилъ своему герою, если не симпатичную вообще, то по крайней мѣрѣ, серьезную, внушающую уваженіе физіономію. Казалось бы, болѣе нельзя облагодѣтельствовать всѣхъ тѣхъ, кто чувствовалъ въ себѣ черты характера и образъ мыслей, родственные Базарову.

Изъ рукъ Тургенева такъ называемые нигилисты получили имя, стройное ученіе, даже нѣкоторый патентъ на признаніе этого ученія, какъ дѣла серьезнаго, и, во всякомъ случаѣ, силы, достойной вниманія. И дѣйствительно, мало по малу они оцѣнили заслугу, оказанную имъ Тургеневымъ и съ радостью приняли новую кличку, дававшую имъ и знамя и извѣстное значеніе. Но такъ ли от-

неслись они сначала къ благодѣянію Тургенева? Увы! прежде всего они обидѣлись на автора, и хотя тотчасъ же и съ большой радостью поспѣшили познать себя въ лицѣ Базарова, но остались не довольны нѣкоторыми недостатками его, которыхъ какъ безпристрастный художникъ, Тургеневъ, конечно, не могъ скрыть. Имъ не пришло въ голову, что творчество до извѣстной степени не вольно, что оно не можетъ придавать разъ задуманному, цѣльному характеру тѣ или другія качества по произволу, что извѣстныя черты въ такомъ цѣльно задуманномъ характерѣ вызываютъ неизбѣжно другія черты и что только такимъ строго органическимъ процессомъ и создаются *живыя* лица, какимъ они, наконецъ, и принуждены были признать Базарова.

Но, повторяемъ, сначала нигилисты не оцѣнили великой услуги, оказанной имъ Тургеневымъ. И въ этомъ случаѣ они понесли весьма справедливое наказаніе. Поставивъ себѣ одною изъ главныхъ задачъ совершенное отрицаніе поэзіи, они никакъ не ожидали, что эта самая поэзія жестоко обличитъ ихъ ученіе, сшутитъ надъ ними злую шутку, заставивъ торжественно признать свою силу. Оказалась, въ самомъ дѣлѣ, весьма странная вещь, именно, что поэтическое творчество способно на такіе подвиги, которыхъ отъ него никакъ не ожидали. Могло-ли дѣйствительно прійти въ голову тѣмъ, которыхъ одинъ изъ главнѣйшихъ пунктовъ ученія состоялъ въ отрицаніи силы и заслугъ поэтическаго творчества, что собственное свое ученіе они примутъ готовымъ и цѣльнымъ изъ рукъ поэта, что художественный образъ, въ которомъ Тургеневъ не болѣе какъ безпристрастно воплотилъ это ученіе, въ его цѣломъ, стройномъ видѣ, сдѣлается ихъ идеаломъ, что они, однимъ словомъ, будутъ всѣмъ обязаны той силѣ и тому именно человѣку, которые были прежде предметомъ самыхъ ожесточенныхъ ихъ нападокъ. Но уже не разъ такимъ образомъ проявлялась въ исторіи человѣческихъ обществъ иронія судьбы.

Иначе подѣйствовало все это печальное недоразумѣніе

на самаго поэта. Уже нѣсколько поколѣній нашего русскаго общества провелъ онъ передъ нами въ художественныхъ образахъ и картинахъ. Устраняясь болѣе или менѣе всякій разъ отъ личнаго суда надъ своими героями, Тургеневъ тѣмъ не менѣе давалъ обществу вѣрныя и ясныя данныя для суда его надъ различными своими представителями. То съ грустью, то съ сочувствіемъ узнавая себя въ художественныхъ лицахъ поэта, общество наше какъ бы переживало вновь свою жизнь, и силою сознанія освобождалось окончательно отъ тѣхъ чертъ прошлаго, которые воплощались въ ясные художественные образы.

Ненужные лишніе люди, Гамлеты Щигровскаго уѣзда, Рудины, становились мало-по-малу отжившими типами, и вѣчно дѣятельныя общественныя силы искали новыхъ формъ и путей для своего проявленія. Живая связь поэта съ развивающимся обществомъ не нарушилась — они дѣлали одно и то же дѣло. „Сами обличаемые мѣткими чертами поэта признавали правду и силу обличенія и, если не находили въ себѣ силъ примкнуть къ общему движенію, вырабатывающему новыя силы и новые характеры, отходили въ сторону, покоряясь своей печальной участи не призванныхъ на пиръ жизни. Мало того, въ своемъ тяжеломъ положеніи они находили въ себѣ довольно мужества и благодушія, чтобы съ искренней радостью и доброжелательствомъ напутствовать свѣжія, смѣняющія ихъ силы и, конечно, не разъ были высказаны у насъ, такъ или иначе, въ дѣйствительности тѣ трогательныя, полныя высокаго чувства слова, которыя отживающій Лаврецкій въ концѣ романа „Дворянское Гнѣздо“ обращается къ молодому поколѣнію.

Съ тѣмъ же безпристрастіемъ, съ тѣмъ же отсутствіемъ произвольнаго личнаго осужденія приступилъ Тургеневъ въ своемъ романѣ „Отцы и Дѣти“ къ изображенію того новаго типа, который вырабатывался нѣкоторою частью русскаго общества на его глазахъ. Но прежняя живая связь поэта съ развивающеюся общественною мыслью была уже порвана. По крайней мѣрѣ, значительная часть журнальныхъ представителей молодого поколѣнія тупо и враждебно отнеслась

къ Тургеневу, не захотѣла слиться съ нимъ въ одномъ общемъ дѣлѣ и какъ бы отдѣлила свои надежды и стремленія отъ остального русскаго общества. Разрывъ со всѣми преданіями русской литературы сдѣлался полный и торжественный, искусство, такъ долго и честно служившее русскому обществу въ лицѣ Тургенева, стало отрицаться, какъ благотворная сила, не только въ этомъ дѣятелѣ, но и въ самомъ принципѣ. Отрекшись окончательно отъ живой силы, всегда вносившей свѣтъ и сознаніе въ смутно-кипящую дѣйствительность, литературное движеніе въ лицѣ отдѣлившихся превратилось въ какой-то хаосъ темныхъ силъ, непонятный и неинтересный для остального общества.

Весь этотъ прискорбный разладъ, все это странное недоразумѣніе между обществомъ и поэтомъ, жившимъ съ нимъ постоянно одною жизнью, поэтически высказывавшимъ его лучшія думы, сказался, болѣе или менѣе, невольно въ новомъ произведеніи Тургенева „Призраки". Какъ будто покидая совершенно то серьезное общественное служеніе, которому посвящены были всѣ его прежнія произведенія, какъ будто холодно отворачиваясь отъ того общества, страстному изображенію котораго онъ былъ дотолѣ всецѣло преданъ, въ „Призракахъ" Тургеневъ даетъ своей фантазіи—Эллисъ полную, исключительную надъ собою власть. Это уже не та здоровая, полная кипящихъ силъ фантазія, которая будитъ и напрягаетъ въ душѣ поэта всѣ человѣческія струны, которая дѣлаетъ его самымъ вѣрнымъ и живымъ выразителемъ духа и стремленій своей эпохи, умственнымъ двигателемъ своего общества; это какая-то больная фантазія, способная еще дать яркія, вѣрныя, то привлекательныя, то страшныя картины, способная мгновенно переносить поэта въ различныя страны и эпохи, но въ то-же время оставляющая его почти безучастнымъ въ виду проходящихъ передъ нимъ образовъ или заставляющая его смотрѣть, съ холодною, безсильною грустью на неизбѣжный порядокъ вещей.

Что можетъ быть, напр., безотраднѣе слѣдующей, холодно ясной, вѣрной, но тѣмъ болѣе ужасной картины знакомаго

намъ всѣмъ города. Эллисъ, или фантазія переноситъ автора изъ Германіи въ Россію

„Слуша-а-а-ай!“ раздался въ ушахъ моихъ протяжный звукъ. „Слуша-а-а-ай!“ словно съ отчаяніемъ раздалось въ отдаленіи. „Слуша-а-а-ай!“ замерло гдѣ-то на концѣ свѣта. Я встрепенулся. Высокій золотой шпиль бросился мнѣ въ глаза: я узналъ Петропавловскую крѣпость.

Сѣверная, блѣдная ночь! Да и ночь ли это? Не блѣдный, не больной ли это день? Я никогда не любилъ петербургскихъ ночей; но на этотъ разъ мнѣ даже страшно стало: обликъ Эллисъ исчезалъ совершенно, таялъ, какъ утренній туманъ на іюльскомъ солнцѣ, и я ясно видѣлъ все свое тѣло, какъ оно грузно и одиноко висѣло въ уровень Александровской колонны. Такъ вотъ Петербургъ! Да, это онъ, точно. Эти пустыя, широкія, сѣрыя улицы; эти сѣро-бѣловатыя, желто-сѣрые, сѣро-лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, съ ихъ впалыми окнами, яркими вывѣсками, желѣзными навѣсами надъ крыльцами и дряннымъ овощными лавками; эти фронтоны, надписи, будки, колоды: золотая шапка Исакія; пенужная, пестрая биржа, гранитныя стѣны крѣпости и изломанная деревянная мостовая; эти барки съ сѣномъ и дровами; этотъ запахъ пыли, капусты, рогожи, конюшни, эти окаменѣлые дворники въ тулупахъ у воротъ, эти скорченные мертвеннымъ сномъ извозчики на продавленныхъ дрожкахъ; да, это она, наша сѣверная Пальмира. Все видно кругомъ; все ясно, до гнусности четко и ясно, и все печально спитъ, странно громоздясь и рисуясь въ тускло-прозрачномъ воздухѣ. Румянецъ вечерней зари, чахоточный румянецъ не сошелъ еще, и не сойдетъ до утра съ бѣлаго, беззвѣзднаго неба; онъ ложится полосами по шелковистой глади Невы, а она чуть журчитъ и чуть колышется, торопя впередъ свои холодныя синія волны...

— Улетимъ взмолилась Эллисъ.

И не дожидаясь моего отвѣта, она понесла меня черезъ Неву, черезъ дворцовую площадь къ Литейной. Шаги и голоса послышались внизу: по улицѣ шла кучка молодыхъ людей съ испитыми лицами и толковала о танцклассахъ.

„Подпоручикъ Столпаковъ седьмый!“ крикнулъ вдругъ съ просонку солдатъ, стоявшій на часахъ у пирамидки ржавыхъ ядеръ, а нѣсколько подальше, у раскрытаго окна высокаго дома я увидалъ дѣвицу въ измятомъ шелковомъ платьѣ, безъ рукавниковъ, съ жемчужной сѣткой на волосахъ и съ папироской во рту. Она благоговѣйно читала книгу, это былъ томъ сочиненій одного изъ новѣйшихъ Ювеналовъ.

— Улетимъ, сказалъ я Эллисъ.

Не правда ли, что русское сердце, какъ-то невольно холодѣетъ отъ этой картины, и въ то же время невольно сознаешься, что въ ней собраны чуть ли не всѣ характерныя, типическія черты сѣверной Пальмиры, выжатъ весь сокъ той призрачной, напускной жизни, которою такъ гордится она передъ остальной Россіей.

Но мы, кажется, невольно поддались обаянію мастерской кисти Тургенева, забывая, что появленіе „Призраковъ“ можетъ быть объяснено только тѣми прискорбными обстоятельствами, которыя мы сами же старались разъяснить выше. Несмотря на всѣ свои частныя поэтическія достоинства, это новое произведеніе самаго симпатичнаго изъ нашихъ писателей, проникнуто такимъ безотраднымъ, тяжелымъ чувствомъ, что мы объясняемъ его только временнымъ настроеніемъ автора. И мы еще ждемъ чего-либо другого отъ Тургенева. Поэтъ высказывавшій своей долгой дѣятельностью столько горячаго участія къ судьбамъ родной страны, умѣвшей найти въ своей душѣ глубокую симпатію къ молодымъ, вновь входящимъ въ жизнь силамъ и къ старымъ уже отжившимъ типамъ—такой поэтъ вправѣ иной разъ затуманиться безпредѣльною скорбью, и впасть въ безотрадное сомнѣніе, но ужъ, конечно, приведенная нами выше цитата не будетъ его послѣднимъ словомъ родинѣ.

Е. Эдельсонъ.

* * *

*) Г. Тургеневъ отказался отъ проведенія тенденцій, и обратился къ самостоятельнымъ цѣлямъ искусства, забывъ о своихъ врагахъ; въ коротенькомъ предисловіи къ „Призракамъ“ онъ говоритъ: „я рѣшаюсь просить читателя, который, быть можетъ, въ правѣ ожидать отъ меня чего-нибудь посерьезнѣе, не искать въ предлагаемой фантазіи никакой аллегоріи или скрытаго значенія, а просто видѣть въ ней рядъ картинъ, связанныхъ между собою довольно поверхностно“. Дѣйствительно, всѣ ожидали, что г. Тургеневъ снова выступитъ съ романомъ въ родѣ „Отцовъ и Дѣтей“, въ которомъ окончательно добьетъ своихъ противниковъ; парижскіе корреспонденты русскихъ газетъ поддерживали это ожиданіе, увѣряя, что г. Тургеневъ готовитъ свой новый романъ именно для „Русскаго Вѣстника“.

У г. Тургенева до сихъ поръ поэзія и тенденція появлялись періодически, въ перемежку; за „Асей“ — чистой поэзіей, слѣдовало „Наканунѣ“ съ тенденціями; затѣмъ „Первая Любовь“ — поэзія, а послѣ нея „Отцы и Дѣти“ съ рѣзко выраженною тенденціею, наконецъ „Призраки“ — поэзія, за ними по очереди должна слѣдовать тенденція, и теперь возникаетъ вопросъ: послѣдуетъ или не послѣдуетъ? Пождемъ, увидимъ, а теперь полюбуемся „Призраками“. Чудесная штука, не злая, не разобиженная и никого не обижающая, какъ и прилично быть поэзіи, а главное не велика, всего два печатныхъ листа; читаешь разныя картины, любуешься ими, и вдругъ передъ тобой уже отрадно мелькаетъ конецъ, какъ пріютъ для усталаго путника. Сюжетъ фантазіи состоитъ въ томъ, что какой-то господинъ ѣздитъ по разнымъ мѣстамъ на призракѣ или привидѣніи, въ образѣ женщины; эта женщина носитъ его въ своихъ рукахъ по воздуху всюду, куда ему захочется.

Призракъ, возившій путешественника, тоже прекрасенъ, хотя тоже фантастично прекраснаго въ немъ нѣтъ.

Замѣтимъ кстати, что призракъ — женщина не русская по лицу, и имя у ней англійское, Эллисъ; самъ же путе-

*) М. Антоновичъ. „Современникъ“ 1864 г., № 4.

шественникъ видимо русскій, хотя объ этомъ прямо и не сказано. Они летали по Италіи, Германіи и Франціи, были даже и въ Россіи, и все, что видѣли на пути своемъ, то и описано въ „Призракахъ“. Что же они видѣли? Да такъ, ничего особеннаго, и все, что попадало на глаза; изображаемыя картины подобраны случайно и безъ всякаго умысла, какъ увѣряетъ г. Тургеневъ. Дѣйствительно, картины ужъ до того безсвязны и мало проникнуты чѣмъ нибудь однимъ, и до того разнохарактерны, что вся фантазія производитъ очень неясное и неопредѣленное впечатлѣніе. Конечно, и неопредѣленность впечатлѣнія хороша и пріятна для читателя, но только тогда, когда она выдержана во всемъ произведеніи; читатель никакъ не можетъ понять, что за дѣйствіе такое производитъ на него чтеніе; однако дѣйствіе это оказывается постояннымъ, во все время чтенія онъ остается подъ его вліяніемъ и даже послѣ чтенія чувствуетъ это вліяніе, хоть и не можетъ раздѣльно опредѣлить его. Въ фантазіи же г. Тургенева неопредѣленность перемѣшивается съ опредѣленностью, и впечатлѣніе оказывается не цѣльнымъ. Какъ фантазія, она очень блѣдна, не фантастична; образы ея не поражаютъ ни страстностью, ни таинственностью, ни ужасомъ, ни прелестью, вообще ничѣмъ, что составляетъ спеціальность фантазіи, и почему она нравится намъ. Вотъ, напр., такая картина въ „Призракахъ“: „ея лицо обернулось и придвинулось къ моему лицу... я почувствовалъ на губахъ моихъ какое-то страшное ощущеніе, какъ бы прикосновеніе тонкаго и мягкаго жала... Незлыя піявки такъ берутся“. И въ другомъ мѣстѣ: „Эллисъ подняла руку... но прежде чѣмъ туманъ охватилъ меня, я успѣлъ почувствовать на губахъ моихъ прикосновеніе того мягкаго, тупого жала“... Трудно сказать, чѣмъ именно нехороши эти картинки, а вы чувствуете, что онѣ нехороши; вамъ хочется, чтобы впечатлѣніе было сильнѣе, чтобы этотъ поцѣлуй былъ или страшенъ, вонъ какъ описываютъ поцѣлуи мертвецовъ-череповъ, чтобы морозъ пробѣжалъ по кожѣ, или ужъ очень милъ, вообще какъ нибудь необыкновененъ, такъ какъ онъ изображается же въ фантазіи; а

онъ въ картинѣ выходитъ даже не страшенъ, а такъ себѣ, даже хуже обыкновеннаго, потому что сравненіе его съ мягкимъ жаломъ не даетъ возможности нашей фантазіи представить себѣ, что же это былъ за поцѣлуй такой. — Вообще „Призраки“, какъ фантазія, своею фантастичностью не могутъ увлечь и приковать къ себѣ вниманія читателя, который на досугѣ и предается разнымъ соображеніямъ о томъ, что тутъ дѣло не въ фантазіи, а въ томъ, что за ней скрывается, и она не больше, какъ аллегорія. Строки сами по себѣ не въ состояніи занимать читателя, поэтому онъ и хочетъ уловить что нибудь между строками; однако ничего не улавливаетъ, а самыя строки между тѣмъ такъ и проскользаютъ, не произведши и того впечатлѣнія, которое могли-бы произвести по мѣрѣ силъ своихъ. Прочитаетъ онъ и подпись автора и „Баденъ-Баденъ“, стоящій сбоку подписи, и все-таки спрашиваетъ: что-же это значитъ? къ чему-же это? Эти вопросы и означаютъ, что фантазія, какъ фантазія, не произвела дѣйствія, иначе они не явились-бы. А г. Тургеневъ, какъ будто нарочно для ослабленія впечатлѣнія фантазіи, провелъ въ ней нѣсколько штриховъ, намекающихъ на тенденцію. Призрачный путешественникъ былъ въ Римѣ, видѣлъ всѣ древности, ему явился образъ Цезаря, но онъ убоялся взглянуть на него; въ Парижѣ онъ видѣлъ многое, во первыхъ, наполеоновское, во-вторыхъ, нравственное и безнравственное, въ третьихъ, картины изъ русскихъ путешественниковъ. Все это не возбуждаетъ никакихъ подозрѣній и не вызываетъ въ умѣ читателя придирчивыхъ вопросовъ. Но вотъ фантастическіе туристы въ Россіи и летятъ по Волгѣ. Здѣсь они видѣли кровавые подвиги Разина; ихъ обрызгало кровью; путешественникъ струсилъ. Даже въ Петербургѣ они были ночью, видали только внѣшность Петербурга, зданія и разные другіе неодушевленные предметы, вообще вещи; изъ живой-же жизни, изъ области людей и людскихъ дѣяній они видали слѣдующее: „по улицѣ, Литейной, шла кучка молодыхъ людей съ испитыми лицами и толковала о танцъ-классахъ. „Подпоручикъ Столпаковъ седьмый,“ крикнулъ

вдругъ съ просонку солдатъ, стоявшій на часахъ у пирамидки ржавыхъ ядеръ, и нѣсколько подальше, у раскрытаго окна высокаго дома, я увидѣлъ дѣвицу въ измятомъ шелковомъ платьѣ, безъ рукавчиковъ, съ жемчужной сѣткой на волосахъ и съ папироской во рту. Она благоговѣйно читала книгу: это былъ томъ сочиненій одного изъ новѣйшихъ Ювеналовъ.“ Здѣсь каждое слово возбуждаетъ вопросъ: отчего по Литейной, а не по Невскому? Отчего молодые люди и непремѣнно съ испитыми лицами и непремѣнно съ танцъ-классами на устахъ, а не старые люди съ благонамѣренными лицами и съ рѣчами объ идеяхъ и высочайшемъ благѣ человѣчества? отчего дѣвица въ измятомъ платьѣ, да непремѣнно безъ рукавовъ, да еще съ папироской, и какъ нарочно съ новѣйшимъ Ювеналомъ,—а не дѣва, вся и съ руками облеченная въ покрывало дѣвственной невинности, стоящая на колѣняхъ и шепчущая отрывокъ изъ „Отцовъ и Дѣтей?“ Наконецъ — и это особенно любопытно — кто этотъ Ювеналъ, кто нибудь изъ современныхъ романистовъ, принадлежащихъ къ типу г. Писемскаго и самого г. Тургенева, или это какой нибудь врагъ ихъ, данный въ руки измятой дѣвицѣ собственно для его избіенія? Вотъ вопросы, надъ которыми мучится читатель и которые мѣшаютъ ему наслаждаться разными художествами, разсыпанными въ „Призракахъ.“ — „Призраки“ уже извѣстны Европѣ: объ нихъ сдѣлалъ лестный отзывъ въ „Independance Belge“ петербургскій корреспондентъ, замѣтившій въ нихъ „аргументацію вѣрную и твердую!“

М. Антоновичъ.

* * *

*) „Отцами и Дѣтьми“ завершился главный періодъ дѣятельности Тургенева, время вѣры и свѣтлыхъ надеждъ. Правда, поэтъ-аналитикъ и скептикъ, Тургеневъ въ этомъ періодѣ послѣдовательно, одного за другимъ, развѣнчивалъ своихъ героевъ, разлагалъ и анатомировалъ ихъ образы

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

передъ глазами читателя, и такимъ путемъ приходилъ самъ и насъ приводилъ къ убѣжденію въ ихъ несостоятельности; но признавая несостоятельнымъ того или другого „героя времени“, поэтъ продолжалъ постоянно вѣрить (какъ мы видѣли) въ производившую ихъ почву, въ русское общество, въ жизнь, продолжалъ вѣрить, что жизнь эта изведетъ изъ своихъ нѣдръ новаго вождя. И оттого отраднымъ тепломъ, свѣтомъ вѣяло отъ произведеній великаго художника; сердце читателя замирало отъ восторженныхъ чувствъ, несмотря на печальное окончаніе всѣхъ этихъ произведеній. Ту-же вѣру мы видимъ и въ послѣднемъ великомъ романѣ—въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“. Базаровъ сошелъ со сцены, самъ замѣтивъ ошибочность своего міровоззрѣнія: но молодая жизнь осталась, бодрая и веселая. А въ концѣ романа выступило передъ нами въ своей лучезарной красотѣ религіозное созерцаніе жизни (правда, выступило въ общихъ и неопредѣленныхъ чертахъ). — Но все это, эти надежды, эта свѣтлая вѣра—проявились въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ въ послѣдній разъ въ тургеневскомъ творчествѣ.

Сынъ своего сомнѣвающагося времени, самъ скептикъ по складу своего характера, великій поэтъ не могъ остановиться всею душою на религіозномъ началѣ и его положить въ основу своей дальнѣйшей дѣятельности. А между тѣмъ человѣческія начала, тѣ начала, которыми жило его поколѣніе, были имъ исчерпаны; прошли черезъ горнило души его, и склонились осужденные его праведнымъ поэтическимъ судомъ и люди отвлеченной мысли, и романтики, и люди твердой воли, искавшіе опоры только въ своей личности.—Новыхъ героевъ въ прежнемъ духѣ не являлось и не могло болѣе явиться въ дѣйствительности,—и тоска овладѣла душой поэта, онъ пришелъ къ разочарованію въ жизни.

Раздвоеніе душевное, къ которому всегда влекъ его скептическій умъ, раздвоеніе, долго сдерживаемое вѣрою въ героическое, вѣрою въ творческія силы человѣчества, овладѣло Тургеневымъ. Онъ смутился, онъ пришелъ въ ужасъ передъ тѣмъ, передъ чѣмъ смутился и его послѣдній ге-

рой — передъ силою физической, матеріальной природы, враждебной всему человѣческому, враждебной стремленіямъ нашего „я“ къ безусловному, къ безсмертному, къ вѣчному. Эти смущеніе и ужасъ, эти раздвоеніе душевное, сомнѣніе и разочарованіе онъ выразилъ въ дивно-поэтическихъ формахъ въ двухъ своихъ произведеніяхъ лирическо-фантастическаго и отчасти философскаго характера—въ „Призракахъ“ и „Довольно“.

Фантазія „Призраки“ написана въ 1863 году. Здѣсь въ образѣ фантастическаго существа — Эллисъ поэтъ рисуетъ намъ свою музу. Эллисъ носитъ его по разнымъ странамъ, вызываетъ для него изъ глубины вѣковъ явленія минувшей жизни.

„Полетаемъ съ тобой до зари, вотъ и все (говоритъ Эллисъ). Я могу тебя отнести, куда только ты вздумаешь — во всѣ края земли. Отдайся мнѣ“.

Въ чудныхъ разнообразныхъ картинахъ, которыя муза показываетъ поэту, Тургеневъ олицетворилъ богатство и разнообразіе своего творчества, своихъ великихъ созданій. — Эллисъ несетъ его къ бурному морю около острова Уайта, на широкія берега великой русской рѣки, на берега Волги, въ горы и лѣса Шварцвальда, въ роскошную природу острова Isola Bella, въ Парижъ и Петербургъ; вызываетъ передъ его очи вблизи Рима легіоны Цезаря, въ Германіи возлѣ Мангейма—изнѣженные и легкомысленные призраки XVIII вѣка, людей въ пудреныхъ парикахъ, золоченыхъ кафтанахъ и кружевныхъ манжетахъ, гуляющихъ между стѣнами стриженой зелени.—Приведемъ два-три примѣра этихъ изумительно художественныхъ картинъ. — „Закрой глаза и не дыши“, сказала Эллисъ,

и мы помчались съ быстротою вихря (разсказываетъ поэтъ). Съ потрясающимъ шумомъ врывался воздухъ въ мои уши.

Мы остановились, но шумъ не прекращался. Напротивъ: онъ превратился въ какой-то грозный ревъ, въ громовой гулъ...

— Теперь ты можешь открыть глаза, — сказала Эллисъ.

Я повиновался... Боже мой, гдѣ я?

Надъ головой тяжелыя дымныя тучи; онѣ тѣснятся, онѣ бѣ-

гутъ какъ стадо злобныхъ чудовищъ... а тамъ, внизу, другое чудовище: разъяренное, именно разъяренное море... Бѣлая пѣна судорожно сверкаетъ и кипитъ въ немъ буграми—и, вздымая косматыя волны, съ грубымъ грохотомъ бьетъ оно въ громадный, какъ смоль черный утесъ. Завываніе бури, леденящее дыханіе расколыхавшейся бездны, тяжкій плескъ прибоя, въ которомъ по временамъ чудится что-то похожее на вопли, на далекіе пушечные выстрѣлы, на колокольный звонъ—раздирающій визгъ и скрежетъ прибрежныхъ голышей, внезапный крикъ невидимой чайки, на мутномъ небосклонѣ шаткій остовъ корабля—всюду смерть, смерть и ужасъ... Голова у меня закружилась—и я снова съ замираніемъ закрылъ глаза...

Что это! гдѣ мы?

— На южномъ берегу острова Уайтъ, передъ утесомъ Блакгангъ, гдѣ такъ часто разбиваются корабли, промолвила Эллисъ".

Этой страшной, грозной картинѣ совершенно противоположна другая, производящая сладостное впечатлѣніе:

„Какой-то дымчато-голубой, серебристо-мягкій—не то свѣтъ, не то туманъ—обливалъ меня со всѣхъ сторонъ (говоритъ поэтъ). Сперва я не различалъ ничего: меня слѣпилъ этотъ лазоревый блескъ—но вотъ понемногу начали выступать очертанія прекрасныхъ горъ, лѣсовъ; озеро раскинулось подо мною съ дрожавшими въ глубинѣ звѣздами, съ ласковымъ ропотомъ прибоя. Запахъ померанцевъ обдалъ меня волной—и вмѣстѣ съ нимъ, и тоже какъ будто волною, принеслись сильные, чистые звуки молодого женскаго голоса. Этотъ запахъ, эти звуки такъ и потянули меня внизъ—и я началъ спускаться... спускаться къ роскошному мраморному дворцу, привѣтно бѣлѣвшему среди кипарисной рощи. Звуки лились изъ его настежь раскрытыхъ оконъ; волны озера, усѣяннаго пылью цвѣтовъ, плескались въ его стѣны—и прямо напротивъ, весь одѣтый темной зеленью померанцевъ и лавровъ, весь облитый лучезарнымъ паромъ, весь усѣянный статуями, стройными колоннами, портиками храмовъ, поднимался изъ лона водъ высокій, круглый островъ...

Isola Bella!—проговорила Эллисъ. . Lago Maggiore...

Остановимся еще на одномъ эпизодѣ. Близъ Рима, на старинной латинской дорогѣ, среди древнихъ развалинъ муза вызываетъ тѣни прошлаго, образы древняго міра.

„Здѣсь,—произнесла Эллисъ и подняла руку: здѣсь!—Прогоовори громко, три раза сряду, имя великаго римлянина.

Что же будетъ?

— Ты увидишь.

Я задумался. Divus Cajus Julius Caesar! — воскликнулъ я вдругъ: — divus Cajus Julius Caesar! — повторилъ я протяжно; — Caesar!

Послѣднія отзвучія моего голоса не успѣли еще замереть, когда мнѣ послышалось...

Мнѣ трудно сказать, что именно. Сперва мнѣ послышался смутный, ухомъ едва уловимый, но безконечно повторявшійся взрывъ трубныхъ звуковъ и рукоплесканій. Казалось, гдѣ-то, страшно далеко, въ какой-то бездонной глубинѣ, внезапно зашевелилась несмѣтная толпа—и поднималась, поднималась, волнуясь и перекликаясь чуть слышно, какъ-бы сквозь сонъ, сквозь подавляющій, многовѣковый сонъ. Потомъ воздухъ заструился и потемнѣлъ надъ развалиной... Мнѣ начали мерещиться тѣни, міріады тѣней, милліоны очертаній, то округленныхъ какъ шлемы, то протянутыхъ какъ копья; лучи луны дробились мгновенными синеватыми искорками на этихъ копьяхъ и шлемахъ—и вся эта армія, эта толпа надвигалась ближе и ближе, росла, колыхалась усиленно... Несказанное напряженіе, достаточное для того, чтобы приподнять цѣлый міръ, чувствовалось въ ней; но ни одинъ образъ не выдавался ясно... И вдругъ мнѣ почудилось, какъ будто трепетъ пробѣжалъ кругомъ, какъ будто отхлынули и разступились какія-то громадныя волны... „Caesar, Caesar venit!“ зашумѣли голоса, подобно листьямъ лѣса, на который внезапно налетѣла буря... прокатился глухой ударъ—и голова блѣдная, строгая, въ лавровомъ вѣнкѣ, съ опущенными вѣками, голова императора стала медленно выдвигаться изъ-за развалины...

На языкѣ человѣческомъ нѣтъ словъ для выраженія ужаса, который сжалъ мое сердце. Мнѣ казалось, что раскрой эта голова свои глаза, разверзи свои губы—и я тотчасъ же умру. — Эллисъ!—простоналъ я: я не хочу, я не могу, не надо мнѣ Рима, грубаго, грознаго Рима... Прочь, прочь отсюда!

— Малодушный!—шепнула она,—и мы умчались. Я успѣлъ еще услыхать за собою желѣзный, громовой на этотъ разъ крикъ легіоновъ... потомъ все потемнѣло“.

Эти чудныя художественныя картины, которыя въ будущихъ вѣкахъ будутъ служить образцами высокой поэзіи, эти картины, олицетворяющія намъ тургеневское творчество, свидѣтельствуютъ о самосознаніи поэта, о томъ, что онъ, великій художникъ и великій умъ, чувствовалъ, при всей своей извѣстной скромности, свое значеніе, понималъ, что многое, очень многое доступно его творческой фанта-

зіи, что передъ нимъ открыта глубокая книга жизни въ ея настоящемъ и прошедшемъ.

Не совсѣмъ то говоритъ намъ изображеніе имъ своей музы. Здѣсь мы, напротивъ, видимъ необычайную, безпощадную (до несправедливости безпощадную) строгость его къ себѣ, и нетолько какъ къ поэту, но и какъ къ человѣку.

Три характерныхъ и странныхъ черты слѣдуетъ отмѣтить въ образѣ музы-Эллисъ. Во 1-хъ, она является поэту въ видѣ смутнаго, неопредѣленнаго призрака, и лишь понемногу, постепенно начинаетъ воплощаться и очеловѣчиваться; только въ моментъ своей гибели принимаетъ она окончательно реальныя формы.—Когда поэтъ впервые явился на ея зовъ „на уголъ лѣса къ старому дубу“,

„она казалась (говоритъ онъ) вся какъ-бы соткана изъ полупрозрачнаго молочнаго тумана — сквозь ея лицо мнѣ видиѣлась вѣтка, тихо колеблемая вѣтромъ — только волосы да глаза чуть-чуть черпѣли, да на одномъ изъ пальцевъ сложенныхъ рукъ блистало блѣднымъ золотомъ узкое кольцо... Ея глаза обратились на меня: взглядъ ихъ выражалъ не скорбь и не радость, а какое то безжизненное вниманіе. Я ждалъ, не произнесетъ-ли она слова, но она оставалась неподвижной и безмолвной, и все глядѣла на меня своимъ мертвенно-пристальнымъ взглядомъ“.

Только послѣ нѣсколькихъ полетовъ съ поэтомъ она стала измѣняться, осуществляться. Такъ, принеся его домой отъ бурнаго моря, она „внезапно возникла“ передъ нимъ въ образѣ „прелестной женщины“:

„Легко отдѣляясь отъ земли, она плыла мимо—и вдругъ подняла обѣ руки надъ головою. Эта голова и руки, и плечи мгновенно вспыхнули тѣлеснымъ теплымъ цвѣтомъ; въ темныхъ глазахъ дрогнули живыя искры; усмѣшка тайной нѣги шевельнула покраснѣвшія губы...“

Такою явилась она и на другой день: „не столь прозрачной, какъ наканунѣ“, съ лицомъ „болѣе женственнымъ“ и „болѣе важнымъ“.

Другая странная черта въ образѣ Эллисъ—отсутствіе въ ней народности:

„это была (говоритъ поэтъ) женщина съ маленькимъ, нерусскимъ лицомъ“.

Что хотѣлъ Тургеневъ выразить этимъ указаніямъ на нерусское лицо своей музы? Быть можетъ, онъ намекалъ на свое западничество... Но онъ былъ здѣсь несправедливъ къ себѣ. Великій поэтъ Тургеневъ дорогъ намъ именно какъ поэтъ, а какъ таковой, онъ не былъ и не могъ быть не народнымъ, не русскимъ, онъ не могъ быть даже западникомъ или славянофиломъ въ отвлеченномъ смыслѣ: мы и видѣли, что въ своихъ высшихъ созданіяхъ онъ не склонялся ни къ тому ни къ другому изъ этихъ направленій. Если же онъ назвалъ лицо своей музы нерусскимъ, то это, конечно, въ томъ смыслѣ, въ какомъ его можно противуположить, напр., Островскому, въ поэзіи котораго такъ явно преобладаютъ народныя стихіи; умъ, анализъ и сомнѣніе, перевѣшивающіе другіе элементы въ творчествѣ Тургенева, придаютъ какъ-бы западническій оттѣнокъ его поэзіи; но въ этомъ случаѣ онъ раздѣляетъ участь съ Пушкинымъ, въ поэзіи котораго преобладало воображеніе, художественное начало, созидающее образы. А кто-же рѣшится сказать, что Пушкинъ не народный поэтъ? Со временъ Петра Великаго западныя стихіи входятъ въ нашу русскую жизнь какъ начала, съ которыми мы сроднились.

Третья оригинальная черта Эллисъ—присутствіе въ ней чего-то злого и злобнаго; она — блуждающая комета, чуждая высшихъ жизненныхъ началъ. — „Я взглянулъ въ ея глаза“ (разсказываетъ поэтъ про одно изъ позднѣйшихъ свиданій съ нею),

„я взглянулъ въ ея глаза... мнѣ стало жутко: въ этихъ глазахъ что то двигалось—медленнымъ, безостановочнымъ и зловѣщимъ движеніемъ свернувшейся и застывшей змѣи, которую начинаетъ отогрѣвать солнце“.

Самый поцѣлуй Эллисъ оставляетъ на губахъ—

„странное ощущеніе, какъ-бы прикосновеніе тонкаго и мягкаго жала... Незлыя піявки такъ берутся“.

Въ горахъ Шварцвальда, очарованный красотою природы, поэтъ говоритъ своей музѣ:

„Эллисъ, ты должна любить этотъ край!“

А она возражаетъ:

— Я ничего не люблю.
Какъ же это? А меня?
— Да... тебя! отвѣчаетъ она равнодушно,

и затѣмъ „съ какимъ-то холоднымъ увлеченіемъ“ восклицаетъ: „впередъ!“.

Но особенно замѣчателенъ слѣдующій разговоръ:

„Эллисъ!—сказалъ я вдругъ (повѣствуетъ поэтъ)—ты, можетъ быть, преступная, осужденная душа?

Голова моей спутницы наклонилась. — Я тебя не понимаю, — шепнула она.

Заклинаю тебя именемъ Бога... началъ-было я.

— Что ты говоришь?—промолвила она съ недоумѣніемъ. — Я не понимаю“.

А когда она показывала поэту бурное море, около утеса Блакганга, и говорила, что тамъ „часто разбиваются корабли“,—онъ замѣтилъ въ ея голосѣ присутствіе злорадства.

Не счастье и не радость приноситъ она съ собою:

„Вѣдь, этакъ умрешь, пожалуй, или сойдешь съ ума“,

разсуждаетъ поэтъ о своихъ летаніяхъ съ нею, „сидя въ раздумьѣ подъ окномъ“:

„Надо все это бросить. Это опасно. Вонъ и сердце какъ странно бьется. А когда я летаю, мнѣ все кажется, что его кто-то сосетъ, или какъ будто изъ него что-то сочится—вотъ какъ весной сокъ изъ березы, если воткнуть въ нее топоръ. А все-таки жалко. Да и Эллисъ... Она играетъ со мной какъ кошка съ мышью... а, впрочемъ, едва-ли она желаетъ мнѣ зла. Отдамся ей въ послѣдній разъ—нагляжусь—а тамъ... Но если она пьетъ мою кровь? Это ужасно.

Такимъ образомъ, какъ-будто несочувственными чертами рисуетъ здѣсь Тургеневъ свою музу. И такъ-же относится

онъ къ себѣ самому: „малодушнымъ" является онъ въ своихъ летаніяхъ съ Эллисъ, робкимъ передъ тѣми грандіозными явленіями, которыя она ему показываетъ.

Какъ объяснить эту странность чуть не враждебнаго, строгаго отношенія къ себѣ и къ своей музѣ?—Объясняется это разочарованіемъ поэта въ жизни, его сомнѣніемъ, раздвоеніемъ душевнымъ, его испугомъ передъ грозною силой внѣшней природы; передъ этою послѣдней силой смутилась, оробѣла и Эллисъ. И поэтъ казнитъ за этотъ страхъ и себя и свою музу; признаетъ несостоятельными и себя и ее.

Когда Эллисъ несла его, по его требованію, отъ Петербурга на югъ прочь отъ „больной почи, больного дня, больного города",—ему стало невыносимо тяжело:

„Грустно стало мнѣ (пишетъ поэтъ), и какъ-то равнодушно скучно... И не потому стало мнѣ грустно и скучно, что пролеталъ я именно надъ Россіей. Нѣтъ! Сама земля, эта плоская поверхность, которая разстилалась подо мною; весь земной шаръ съ его населеніемъ, мгновеннымъ, немощнымъ, подавленнымъ нуждою, горемъ, болѣзнями, прикованнымъ къ глыбѣ презрѣннаго праха; эта хрупкая, шероховатая кора, этотъ наростъ на огненной песчинкѣ нашей планеты, по которому простушила плѣсень, величаемая нами органическимъ, растительнымъ царствомъ; эти люди мухи, въ тысячу разъ ничтожнѣе мухъ; ихъ слѣпленныя изъ грязи жилища, крохотные слѣды ихъ мелкой, однообразной возни, ихъ забавной борьбы съ неизмѣняемымъ и неизбѣжнымъ,—какъ это мнѣ вдругъ все опротивѣло! Сердце во мнѣ медленно перевернулось, и не захотѣлось мнѣ болѣе глядѣть на эти незначительныя картины, на эту пошлую выставку... Да, мнѣ стало скучно — хуже чѣмъ скучно. Даже жалости я не ощущалъ къ своимъ собратьямъ: всѣ чувства во мнѣ потонули въ одномъ, которое я назвать едва дерзаю: въ чувствѣ отвращенія, и сильнѣе всего, и болѣе всего во мнѣ было отвращеніе—къ самому себѣ".

Эти чувства и думы смутили Эллисъ: „Перестань (шепнула она), перестань, а то я тебя не снесу. Ты тяжелъ становишься".

Но и сама она, сама Эллисъ, муза, испугалась внѣшней природы, ея грозной, безсмысленной силы, испугалась смерти и пришла въ отчаянье.

Вотъ что случилось во время того-же полета изъ Петербурга на югъ:

„Эллисъ какъ-то странно ко мнѣ прижималась (повѣствуетъ поэтъ); она почти толкала меня. Я посмотрѣлъ на нее—и кровь во мнѣ застыла. Кому случалось увидать на лицѣ другого внезапное выраженіе глубокаго ужаса, причину котораго онъ не подозрѣваетъ—тотъ меня пойметъ. Ужасъ, томительный ужасъ кривилъ, искажалъ блѣдныя, почти стертыя черты Эллисъ. Я не видалъ ничего подобнаго даже на живомъ человѣческомъ лицѣ. Безжизненный, туманный призракъ, тѣнь... и этотъ замирающій страхъ...

Эллисъ, что съ тобой?—проговорилъ я, наконецъ.

— Она... она... отвѣчала она съ усиліемъ,—она!

Она? кто она?

— Не называй ее, не называй,—торопливо пролепетала Эллисъ. Надо спасаться, а то всему конецъ — и навсегда... Посмотри: вонъ тамъ!

Я обернулъ голову въ сторону, куда указывала мнѣ трепещущая рука—и увидалъ нѣчто .. нѣчто дѣйствительно страшное.

Это нѣчто было тѣмъ страшнѣе, что не имѣло опредѣленнаго образа. Что то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, какъ брюхо ящерицы — не туча и не дымъ, медленно, змѣинымъ движеніемъ, двигалось надъ землей. Мѣрное, широкое колебаніе сверху внизъ и снизу вверхъ, колебаніе, напоминающее зловѣщій размахъ крыльевъ хищной птицы, когда она ищетъ свою добычу; по временамъ непзъяснимо противное припиканіе къ землѣ,—паукъ такъ припикаетъ къ пойманной мухѣ... Кто ты, что ты, грозная масса? Подъ ея вліяніемъ—я это видѣлъ, я это чувствовалъ—все уничтожалось, все нѣмѣло... Гнилымъ, тлетворнымъ холодкомъ несло отъ нея—отъ этого холодка тошнило на сердцѣ и въ глазахъ темнѣло, и волосы вставали дыбомъ. Это сила шла; та сила, которой нѣтъ сопротивленія, которой все подвластно, которая безъ зрѣнія, безъ образа, безъ смысла—все видитъ, все знаетъ, и какъ хищная птица выбираетъ свои жертвы, какъ змѣя ихъ давитъ и лижетъ своимъ мерзлымъ жаломъ...

Эллисъ, Эллисъ! закричалъ я какъ изступленный.—Это смерть! сама смерть!

Жалобный звукъ, уже прежде слышанный мною, вырвался изъ устъ Эллисъ — на этотъ разъ онъ скорѣе походилъ на человѣческій отчаянный вопль—и мы понеслись. Но нашъ полетъ былъ странно и страшно неровенъ... А между тѣмъ вслѣдъ за нами, отдѣлившись отъ непзъяснимо ужасной массы, покатились какіе-то длинные, волнистые отпрыски, словно протянутыя руки, словно когти... Еще тревожнѣе, еще отчаяннѣе заметалась Эллисъ. „Она увидала! Все кончено! Я пропала!...“ слышался ея прерывистый

шопотъ. „О, я несчастная! Я могла бы воспользоваться, набраться жизни... а теперь... Ничтожество, ничтожество!“

Это было слишкомъ невыносимо... Я лишился чувствъ“.

Когда поэтъ очнулся, его взяло тяжелое раздумье объ Эллисъ, о музѣ:

„Ужели и она подлежитъ ея власти? Развѣ она не безсмертна? Развѣ и она обречена ничтожеству, разрушенію? Какъ это возможно?“

и вслѣдъ затѣмъ онъ услышалъ вблизи себя тихій стонъ и увидѣлъ, что въ двухъ шагахъ отъ него

„лежала распростертая молодая женщина въ бѣломъ платьѣ, съ разбросанными густыми волосами, съ обнаженнымъ плечомъ. Одна рука закинулась на голову, другая упала на грудь. Глаза были закрыты, и на стиснутыхъ губахъ выступила легкая алая пѣна. Неужели это Эллисъ?..

Эллисъ! ты ли это?—воскликнулъ я. Вдругъ, медленно затрепетавъ, приподнялись широкія вѣки; темные, пронзительные глаза впились въ меня—и въ то-же мгновенье въ меня впились и губы, теплыя, влажныя, съ кровянымъ запахомъ... мягкія руки обвились вокругъ моей шеи, горячая, полная грудь судорожно прижалась къ моей.—Прощай! прощай на вѣкъ!—явственно произнесъ замиравшій голосъ—и все исчезло“.

И такъ, муза умерла, исчезла, уничтожилась; смерть, матерьяльная сила природы побѣдила; восторжествовали сомнѣнія и невѣріе.—Но какимъ образомъ невѣріе и отчаяніе могутъ быть поэзіей? А между тѣмъ „Призраки“ насквозь проникнуты поэзіей.—Дѣло въ томъ, что невѣріе и сомнѣніе поэта—не полныя; подъ ними, какъ искра подъ слоемъ тяжелаго пепла, горитъ, хотя и слабымъ свѣтомъ, огонь вѣры, который самъ поэтъ робко не смѣетъ замѣтить, которому онъ не смѣетъ отдаться. Эллисъ умерла; но вотъ, однако, какими знаменательными словами оканчиваются „Призраки“:

„Но что значатъ (говоритъ поэтъ) тѣ пронзительно-чистые и острые звуки, звуки гармоники, которые я слышу, какъ только заговорятъ при мнѣ о чьей-нибудь смерти? Они становятся все громче, все пронзительнѣй... И зачѣмъ я такъ мучительно содрогаюсь при одной мысли о ничтожествѣ“.

Въ этихъ словахъ слышится затаенная вѣра, затаенная робкая надежда, какъ и въ духѣ и тонѣ всего разсказа.— Вотъ почему поэтъ и казнитъ въ немъ и себя и свою музу за недостатокъ воли, за малодушіе, за неумѣніе отдаться этой затаенной вѣрѣ, за нерѣшительность.

А. Незеленовъ.

„Собака".

*) Я очень радъ, что г. Тургеневъ напечаталъ въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ" критическую замѣтку о миломъ поэтѣ нашемъ, Я. П. Полонскомъ. Не то, чтобы я согласенъ былъ съ Тургеневымъ, до стиховъ я вообще не большой охотникъ, но замѣтка его, явившись на этой недѣлѣ, входитъ въ рядъ тѣхъ миленькихъ событій, о которыхъ въ правѣ говорить фельетонистъ. Я пользуюсь ею, чтобъ поговорить о Тургеневѣ, благо о новомъ изданіи его сочиненій у насъ еще ничего не было сказано. Это тоже предлогъ.

Къ числу найболѣе мелкихъ его произведеній принадлежитъ „Собака", но для меня съ этою „Собакою" связано одно изъ пріятныхъ воспоминаній молодости. Это было въ концѣ лѣта 1861 года. Полагаю, что въ наши дни объ этомъ отдаленномъ времени можно говорить свободно. Было въ немъ много хорошаго, увлекательнаго и много комическаго, юношески незрѣлаго. То была весна нашего либерализма, какъ теперь зима его. Г. Катковъ въ то время не былъ еще „отцомъ отечества"—онъ даже едва ли и помышлялъ объ этой роли, ибо ореолъ англійскаго самоуправленія, которымъ онъ былъ окруженъ нѣкоторое время, началъ сильно блекнуть. Въ обществѣ замѣтно было броженіе; являлись піонеры, призывавшіе къ самодѣятельности,

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости" 1870 года, № 11. Статья Незнакомца (А. Суворина), подъ заглавіемъ: „Недѣльные очерки и картинки".

къ движенію впередъ мирнымъ путемъ; съ другой стороны, начали являться прокламаціи...

Я жилъ въ то время въ Москвѣ, на дачѣ, въ Сокольникахъ, у извѣстной нашей писательницы, г-жи Евгеніи Туръ, которая въ то время, отдѣлившись отъ „Русскаго Вѣстника“, издавала „Русскую Рѣчь“ вмѣстѣ съ Е. М. Феоктистовымъ. Между сотрудниками былъ я, только что пріѣхавшій изъ провинціи и робко вкушавшій сладость литературнаго бытія, и г. Лѣсковъ, впослѣдствіи преобразовавшійся въ г. Стебницкаго, даже не по правиламъ изложеннымъ у Овидія. Этихъ двухъ лицъ (Овидія—въ сторону) не надо смѣшивать, хотя они несомнѣнно обозначаютъ одно и то же лицо. Г. Лѣсковъ пылалъ либерализмомъ и посвящалъ меня въ тайны петербургской журналистики. Онъ предлагалъ мнѣ даже изучать вмѣстѣ съ нимъ Фурье и Прудона по маленькой переводной политико-экономической книжечкѣ Гильдебрандта, явившейся лѣтомъ 1861 года, на русскомъ языкѣ, если не ошибаюсь, подъ редакціей Безобразова. Я былъ въ то время ужасно робокъ и скроменъ, и слушалъ г. Лѣскова какъ оракула. Нѣкоторыя выраженія до сихъ поръ остались у меня въ головѣ, напримѣръ, „народъ—это чиновникъ“.

Помню, какъ теперь, чудесный, тихій вечеръ, чуть-чуть пропитанный запахомъ сосноваго бора. Мы сидѣли на террасѣ, выходившей въ садъ, и пили чай. Г-жа Евгенія Туръ что-то разсказывала; ручная бѣлка сидѣла у нея на плечѣ и грызла орѣхи, которые та давала ей время отъ времени. Вошедшій человѣкъ подалъ ей на подносѣ письмо. Она медленно распечатала и поблѣднѣла. „Что это такое?“ съ особенною живостью сказала она, подавая листокъ г. Лѣскову.

„Это прокламація“, таинственно тихо сказалъ г. Лѣсковъ, пробѣжавъ печатный листокъ, заключавшійся въ письмѣ.

Прокламація!.. Это слово было такъ ново въ то время, что у насъ вытянулись лица и явилось желаніе прочесть и обсудить это новое явленіе соборне:

— „Подождите немного“, сказала хозяйка: „я отнесу бѣлку“.

Въ самомъ дѣлѣ, подумалъ я, бѣлка не должна слушать такія вещи. Мы сдвинули стулья, и г. Лѣсковъ тихо прочиталъ прокламацію „Великоруссъ“. Хозяйка взяла у него, сложила въ нѣсколько разъ и разорвала на мелкіе кусочки. Нѣкоторое время мы молчали. Хозяйка вертѣла въ рукахъ конвертъ; я усиленно вздыхалъ, самъ не знаю чего; г. Лѣсковъ глубокомысленно смотрѣлъ на небо. Потомъ мы стали говорить, только шопотомъ, точно заговорщики, хотя въ сущности всѣ мы были люди самые смирные, и удивились дерзости автора прокламаціи. Кто бы могъ написать её? Мы терялись въ догадкахъ. Извѣстно, что это была прокламація Обручова, который разослалъ её всѣмъ болѣе или менѣе извѣстнымъ лицамъ, самъ надписывая конверты.

Одинъ изъ этихъ конвертовъ былъ посланъ изъ провинціи въ Петербургъ, и по рукѣ отыскали автора. Это было начало того тяжелаго конца, который переживаемъ мы теперь. Господи, сколько въ то время было переговорено, сколько смутныхъ мыслей бродило въ головахъ!.. Я сказалъ уже, что это была весна либерализма, когда стремленія были неопредѣленны, шатки, когда шли продолжительные и горячіе споры объ англійской конституціи, о соціализмѣ, о фурьеризмѣ, вообще о „матеріяхъ важныхъ“, когда всюду цвѣло, но каковъ былъ это цвѣтъ, какого дерева — ни одинъ мудрецъ опредѣлить бы не могъ, потому что и мудрецы увлекались несбыточными мечтаніями. И замѣчательно, что интересы насущные, напр., судъ присяжныхъ, стояли гораздо болѣе въ сторонѣ въ тогдашнихъ спорахъ, чѣмъ отдаленные мечты о всеобщемъ благоденствіи. Я не могу безъ смѣха вспомнить, какъ спрашивали тогда другъ друга серьезно:

— „Вы конституціонистъ или республиканецъ“?

— „Я конституціонистъ“.

— „Допускаете-ли вы двѣ палаты или одну?“

— „Я допускаю только одну.“

— „Позвольте, почему же одну? и т. д. Если бы теперь обратиться къ кому нибудь съ подобнымъ вопросомъ, то, безъ сомнѣнія, можно бы получить отвѣтъ: „Убирайтесь къ чорту“... И резонно!...

Г-жа Евгенія Туръ, несмотря на свою ссору съ Катковымъ, часто говорила:

— „Если въ Англіи есть лордъ Брумъ и лордъ Маколей, то почему же не быть въ Москвѣ — именно въ Москвѣ лорду Каткову и лорду Леонтьеву?“

Я наивно соглашался, потому что въ г. Катковѣ дѣйствительно сильно подозрѣвалъ лорда Брума, а въ г. Леонтьевѣ—лорда Маколея, тѣмъ болѣе, что съ „Пропилеями“ московскаго профессора я былъ знакомъ основательно. „Отчего-жъ?“ думалъ я: и Маколей историкъ,—и г. Леонтьевъ историкъ. И, наконецъ, что за бѣда, если Леонтьевъ и Катковъ сдѣлаются лордами. Вѣдь, дѣтей мнѣ съ ними не крестить—пусть ихъ дѣлаются чѣмъ хотятъ“. Они лордами не сдѣлались, но зато стяжали славу другого рода. Тогда этого никто не подозрѣвалъ, и Кисловку, гдѣ жили издатели „Русскаго Вѣстника“ и „Современной Лѣтописи“, считали нѣкоторою россійскою Великобританніей.

Такъ въ это-то странное время, о которомъ многое можно было бы разсказать, я въ первый разъ увидѣлъ г. Тургенева, у той же г-жи Евгеніи Туръ, въ Москвѣ. Тургеневъ пріѣхалъ изъ своей тульской деревни, гдѣ онъ докончилъ „Отцовъ и Дѣтей“. Человѣкъ шесть сидѣло насъ въ уютномъ кабинетѣ г-жи Туръ. Тургеневъ тогда еще не былъ сѣдъ, какъ изображенъ онъ теперь на портретѣ. Впрочемъ, у меня осталось очень смутное воспоминаніе объ его лицѣ, ибо я взглядывалъ на него робко, съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ, какъ на знаменитость. Коренастый, высокій ростомъ, онъ почти не садился, и разсказывалъ, сильно жестикулируя, больше все стоя, преимущественно обращаясь къ очень хорошенькой женщинѣ, С. А., находившейся тутъ же. Онъ былъ какъ говорятся въ ударѣ, и почти не умолкалъ. Остроумная рѣчь его такъ и лилась потокомъ, вызывая на лицахъ присутствующихъ самое веселое выраженіе. Съ большимъ юморомъ разсказывалъ онъ о какой то нѣмецкой актрисѣ, которую онъ видѣлъ вмѣстѣ съ Маркомъ Вовчкомъ на одномъ германскомъ театрѣ. Актриса эта играла Маргариту въ „Фаустѣ“ Гёте; нѣмцы слушали

её благоговѣйно; но Тургеневъ и Марко Вовчокъ не могли удержаться отъ хохоту, когда Маргарита въ сценѣ сумасшествія схватила связку сѣна, воображая что это дитя ея, и, освободивъ изъ-за корсета грудь, совала ее въ сѣно. Я очень ясно помню фигуру Тургенева, представлявшаго Маргариту, вынимающую грудь. Всѣ очень много смѣялись.

Въ тотъ же вечеръ онъ разсказалъ свою „Собаку“. Разсказъ этотъ былъ такъ живописенъ и увлекателенъ, что производилъ огромное впечатлѣніе. Когда впослѣдствіи я прочиталъ его въ печати, мнѣ онъ показался блѣдной копіей съ устнаго разсказа Тургенева. Невольно думалось—и это была правда—что, садясь писать „Собаку“, Тургеневъ задавался опасеніемъ, какъ бы читатели и критики не подумали, что онъ самъ вѣритъ въ такое таинственное приключеніе; ему хотѣлось сохранить не только полную объективность, но даже придать повѣствованію шуточную форму, между тѣмъ какъ подобные разсказы, съ фантастическою завязкою, тогда только и хороши, когда художникъ самъ вѣритъ въ чудесное, по-крайней-мѣрѣ, на то время, когда пишетъ. Достаточно вспомнить Гофмана, чтобъ такое положеніе показалось совершенно правильнымъ. Устный разсказъ о собакѣ потому и производилъ впечатлѣніе, потому и былъ хорошъ, что Тургеневъ разсказывалъ съ увлеченіемъ, съ вѣрой: онъ даже блѣднѣлъ и лицо его принимало оттѣнки ужаса въ драматическихъ мѣстахъ.

Придя домой, я нѣсколько часовъ не могъ уснуть: все мнѣ мерещилась большая желтая собака и широкій лугъ, освѣщенный мѣсяцемъ, по которому (по лугу, а не по мѣсяцу) она бѣжала. Когда я уснулъ, во снѣ я видѣлъ Тургенева, который несся въ какой то колесницѣ, но только не огненной, къ мѣсяцу, по полосѣ лучей его, какъ по торной дорогѣ. Съ тѣхъ поръ я не видалъ Тургенева даже во снѣ, но онъ напоминалъ о себѣ часто.

А. Суворинъ.

* * *

*) „Собака“ появилась въ фельетонѣ „Петерб. Вѣд.“ (№ 85) за 1865 г., но далеко не соотвѣтствовала славѣ, которая ей предшествовала. Это одна изъ не удавшихся вещей Тургенева. Какъ сказка — она не интересна, какъ фактъ — не вѣроятна, наконецъ, какъ иронія — не достигаетъ цѣли. Г. Суворинъ, слышавшій „Собаку“ въ чтеніи самого Тургенева, — увѣряетъ, впрочемъ, что она очень понравилась слушавшимъ талантливую, живую передачу разсказа самимъ авторомъ. Г. Суворинъ утверждаетъ, что авторъ самою интонаціей, жестами выражалъ комическій страхъ помѣщика, фигурирующаго въ „Собакѣ“, что очень забавляло слушателей. Въ чтеніи, разумѣется, такіе аксессуары пропадаютъ, и „Собака“ возбуждаетъ только недоумѣніе, зачѣмъ Тургеневъ напечаталъ такую слабую вещь.

С. Венгеровъ.

„Довольно“.

**) Что Тургеневъ былъ видимо затронутъ и затронутъ очень чувствительно непониманіемъ, обнаруженнымъ и критикою и читателями, въ оцѣнкѣ его лучшаго и крупнѣйшаго произведенія („Отцовъ и Дѣтей“)—это отчасти видно изъ характернаго лирическаго отрывка „Довольно“. Отрывокъ этотъ полонъ сплошь унылымъ пессимизмомъ, романтическаго характера, очень напоминающимъ поэтическій пессимизмъ Леопарди, который похожъ на нашего художника тѣмъ, что съ теоретической фантазіей соединялъ трезвую разсудочность... Скорбное настроеніе, сходное по характеру и смыслу съ настроеніемъ Леопарди, звучитъ въ начальныхъ строкахъ лирическаго отрывка Тургенева, сходныя идеи встрѣчаются тутъ, да и во всемъ отрывкѣ... Вообще говоря, весь основной тонъ и смыслъ отрывка напоминаетъ намъ горькія и вмѣстѣ сладостныя муки и со-

*) С. Венгеровъ. „Русская литература въ ея современныхъ представителяхъ“.
**) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

мнѣнія поэзіи Леопарди. Разочарованіе въ значеніи собственнаго творчества, разочарованіе, которое было вызвано въ Тургеневѣ фактомъ непониманія его лучшаго произведенія, фактомъ охлажденія къ нему въ моментъ высшаго развитія его творчества, высказывается въ слѣдующихъ заключительныхъ сомнѣніяхъ въ призваніи художника и жалобахъ на тщету художнической дѣятельности: „Что сказать объ обыкновенныхъ, дюжинныхъ, второстепенныхъ труженикахъ—кто бы они ни были—государственные люди, ученые, художники — особенно художники? Чѣмъ заставить ихъ стряхнуть нѣмую лѣнь, свое унылое недоумѣніе, чѣмъ привлечь ихъ опять на поле битвы—если только мысль о тщетѣ всего человѣческаго, всякой дѣятельности, ставящей себѣ болѣе высокую задачу, чѣмъ добываніе насущнаго хлѣба, закралась имъ въ голову! Какими вѣнками прельстятся они — они, для которыхъ и лавры и терпія стали равно незначительны? Изъ чего они станутъ снова подвергаться смѣху „толпы холодной“ и „суду глупца“—старого глупца, который не можетъ простить имъ, что они отвернулись отъ прежнихъ кумировъ—молодого глупца, который требуетъ, чтобы они тотчасъ, вмѣстѣ съ нимъ, стали на колѣни, легли плашмя передъ новыми, только-что открытыми идолами?“ Къ спеціальнымъ, такъ сказать, жалобамъ въ такомъ родѣ, на которыя Тургеневъ, конечно, имѣлъ поводъ и право, примѣшаны въ отрывкѣ разныя болѣе общія разочарованія въ тщетѣ всего земного, всякихъ чувствъ и идей, въ „бренности“ созданій искусства. Все это сопровождается разными сантиментами въ романтическомъ вкусѣ, иногда, говоря откровенно, производящими почти комическое впечатлѣніе. Можно ли, напримѣръ, не улыбнуться, читая изображеніе такого tête-à-tête съ милой: „мы пріютились другъ къ дружкѣ, мы прислонились другъ къ дружкѣ головами, и оба читаемъ хорошую книгу; я чувствую, какъ бьется тайная жилка въ твоемъ нѣжномъ вискѣ, я слышу, какъ ты живешь, ты слышишь, какъ я живу, твоя улыбка рождается у меня на лицѣ прежде чѣмъ у тебя, ты отвѣчаешь безмолвно на мой безмолвный вопросъ, твои мысли,

мои мысли — какъ оба крыла одной и той же въ лазури потонувшей птицы — послѣднія преграды пали — и такъ успокоилась, такъ углубилась наша любовь, такъ безслѣдно исчезло всякое разъединеніе, что намъ даже не хочется мѣняться словомъ, взглядомъ.... Только дышать, дышать вмѣстѣ хочется намъ, жить вмѣстѣ, быть вмѣстѣ... И даже не сознавать того, что мы вмѣстѣ“. Оставивъ въ сторонѣ нѣкоторую комичность подобныхъ тонко-сантиментальныхъ изліяній, невольно вспоминаешь, что художникъ, склонный къ такимъ изліяніямъ, къ такому романтизму, воображалъ себя и, вѣроятно искренно, по убѣжденіямъ близкимъ къ созданному имъ Базарову! Подобныя милыя заблужденія, подобныя противорѣчія, впрочемъ, нерѣдко встрѣчаются въ поэтахъ съ женственною натурою, первоначальное художественное развитіе которыхъ при томъ слагалось подъ вліяніемъ романтизма. Не излишне будетъ замѣтить здѣсь, что комическую сторону лирическихъ сантиментовъ, которыми проникнутъ отрывокъ „Довольно“ и, имѣющая съ нимъ много общаго, фантазія „Призраки“, очень ѣдко выставилъ Достоевскій въ злѣйшей пародіи вообще на Тургенева и на два его упомянутыя произведенія. Пародія эта включена въ извѣстный романъ „Бѣсы“ и представляетъ одну изъ самыхъ ядовитыхъ страницъ этого, вообще очень ядовитаго романа. Я позволю себѣ привести здѣсь изъ пародіи Достоевскаго нѣсколько строкъ, такъ какъ въ нихъ хорошо схвачена карикатурная сторона тургеневскаго романтизма: „Межъ тѣмъ заклубился туманъ, такъ заклубился, такъ заклубился, что болѣе похожъ былъ на милліонъ подушекъ, чѣмъ на туманъ. И вдругъ все исчезаетъ, и великій геній переправляется зимой въ оттепель черезъ Волгу. Двѣ съ половиной страницы переправы, но все-таки попадаетъ въ прорубь. Геній тонетъ — вы думаете утонулъ? И не думалъ; это все для того, что когда онъ уже совсѣмъ утопалъ и захлебывался, то передъ нимъ мелькнула льдинка, крошечная льдинка съ горошинку, но чистая и прозрачная, „какъ замороженная слеза“, и въ этой льдинкѣ отразилась Германія, или лучше сказать, небо Германіи, и радужною

игрой своей отраженіе напомнило ему ту самую слезу, которая, „помнишь“, скатилась изъ глазъ твоихъ, когда мы сидѣли подъ изумрудным деревомъ, и ты воскликнула радостно: „Нѣтъ преступленія!“ „Да, сказалъ я сквозь слезы, но коли такъ, то вѣдь нѣтъ и праведниковъ“. Мы зарыдали и разстались навѣки.

В. Буренинъ.

* * *

*) То, что въ „Призракахъ“ выражено художественными образами, то въ „Отрывкѣ изъ записокъ умершаго художника“ — „Довольно“ (слѣдующаго, 1864 года) высказано полу-отвлеченно, полу-лирически, съ высоко-поэтическимъ одушевленіемъ и въ то-же время почти безотрадно скорбнымъ чувствомъ.

„Строго и безучастно ведетъ каждаго изъ насъ судьба (говоритъ „умершій художникъ“)—и только на первыхъ порахъ мы, занятые всякими случайностями, вздоромъ, самими собою—не чувствуемъ ея черствой руки. Пока можно обманываться и не стыдно лгать — можно жить и не стыдно надѣяться. Истина — не полная истина—о той и помину быть не можетъ, — но даже та малость, которая намъ доступна—замыкаетъ тотчасъ намъ уста, связываетъ намъ руки, сводитъ насъ „на-нѣтъ“.—Тогда одно остается человѣку, чтобы устоять на ногахъ и не разрушиться въ прахъ, не погрязнуть въ тинѣ самозабвенія... самопрезрѣнія: спокойно отвернуться отъ всего, сказать: довольно!—и скрестивъ на пустой груди ненужныя руки, сохранить послѣднее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознанія собственнаго ничтожества“.

Подъ „судьбою“ въ этихъ скорбныхъ словахъ художникъ разумѣетъ физическую природу и ея законы; а истина, по его мнѣнію, состоитъ въ томъ, что все подвластно этимъ законамъ, и ничто не выше ихъ, не свободно отъ нихъ.

„Увы! (говоритъ онъ) не привидѣнія, не фантастическія, подземныя силы страшны; не страшна Гофманщина, подъ какимъ-бы видомъ она ни являлась... Страшно то, что нѣтъ ничего страшнаго, что самая суть жизни мелко-неинтересна — и нищенски

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

плоска. Проникнувшись этимъ сознаньемъ, отвѣдавъ этой полыни, никакой уже медъ не покажется сладкимъ“.

Онъ предвидитъ, что ему возразятъ на это указаніемъ на „великія представленія, великія утѣшительныя слова: народность, право, свобода, человѣчество“.—Но, отвѣчаетъ онъ на возраженіе, не эти представленія, не эти слова управляютъ міромъ. Мы видимъ въ людской жизни, какъ въ древности, такъ и теперь — „все ту же пеструю и въ сущности несложную картину“:

„то-же легковѣріе и та-же жестокость, та-же потребность крови, золота, грязи, тѣ-же пошлыя удовольствія, тѣ-же безсмысленныя страданія во имя... ну, хоть во имя того-же вздора, двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ осмѣяннаго Аристофаномъ... та-же естественность неправды—словомъ, то-же хлопотливое прыганье бѣлки въ томъ-же старомъ, даже не подновленномъ колесѣ“.

„Но искусство?... красота?.. Да (говоритъ онъ), это сильныя слова; они, пожалуй, сильнѣе другихъ, мною вышеупомянутыхъ словъ. Венера Милосская, пожалуй, несомнѣннѣе римскаго права или принциповъ 89 года“.

Но — и искусство и красота — несостоятельны. И притомъ (продолжаетъ онъ)

„не условность искусства меня смущаетъ; его бренность, его тлѣнъ и прахъ — вотъ что лишаетъ меня бодрости и вѣры. Искусство въ данный мигъ, пожалуй, сильнѣе самой природы, потому что въ ней нѣтъ ни симфоніи Бетговена, ни картины Рюисдаля, ни поэмы Гете—и одни лишь тупые педанты или недобросовѣстные болтуны могутъ еще толковать объ искусствѣ какъ о подражаніи природѣ; но въ концѣ-концовъ природа неотразима; ей спѣшить нечего, и рано или поздно она возьметъ свое. Безсознательно и неуклонно покорная закономъ, она не знаетъ искусства, какъ не знаетъ свободы, какъ не знаетъ добра; отъ вѣка движущаяся, отъ вѣка преходящая, она не терпитъ ничего безсмертнаго, ничего неизмѣннаго... Человѣкъ ея дитя; но человѣческое—искусственное—ей враждебно, именно потому, что силится быть неизмѣннымъ и безсмертнымъ. Человѣкъ—дитя природы; но она всеобщая мать, и у ней нѣтъ предпочтеній: все, что существуетъ въ ея лонѣ, возникло только на счетъ другого и должно въ свое время уступить мѣсто другому—она создаетъ, разрушая, и ей все равно: что она создаетъ, что она разрѣшаетъ — лишь бы не передавалась жизнь, лишь бы смерть не теряла правъ своихъ... А потому она такъ-же спокойно покрываетъ плѣсенью

божественный ликъ Фидіасовскаго Юпитера, какъ и простой голышъ, и отдаетъ на съѣденіе презрѣнной моли драгоцѣнныѣйшіе строки Софокла... Гдѣ же намъ, бѣднымъ людямъ, бѣднымъ художникамъ сладить съ этой глухонѣмой, слѣпорожденной силой, которая даже не торжествуетъ своихъ побѣдъ, а идетъ, идетъ впередъ, все пожирая?“

На это можно-бы, казалось, отвѣтить или возразить словами Шиллера: одно преходящее прекрасно, „и сама природа, въ непрерывной игрѣ своихъ возникающихъ, исчезающихъ формъ, не чуждается красоты“. Да, отвѣчаетъ сомнѣвающійся художникъ, это такъ,

„это, пожалуй, справедливо—но только тамъ, гдѣ нѣтъ личности, нѣтъ человѣка, нѣтъ свободы: поблекшее крыло бабочки возникаетъ вновь и черезъ тысячу лѣтъ тѣмъ-же самымъ крыломъ той-же самой бабочки; тутъ строго и правильно, и безлично совершаетъ свой кругъ необходимость... но человѣкъ не повторяется какъ бабочка, и дѣло его рукъ, его искусства, его свободное твореніе, однажды разрушенное — погибаетъ навсегда... Ему одному дано „творить“,.. но странно и страшно вымолвить: мы творцы... на часъ, — какъ былъ, говорятъ, калифъ на часъ. Въ этомъ наше преимущество — и наше проклятіе: каждый изъ этихъ „творцовъ“ самъ по себѣ, именно онъ, не кто другой, именно это я словно созданъ съ преднамѣреніемъ, съ предначертаніемъ; каждый болѣе или менѣе смутно понимаетъ свое значеніе, чувствуетъ, что онъ сродни чему-то высшему, вѣчному—и живетъ, долженъ жить въ мгновеньи и для мгновенья. Сиди въ грязи, любезный, и тянись къ небу!“

Сознавши все это, понявши, заключаетъ художникъ, — нельзя уже ничего дѣлать, ничѣмъ увлекаться... „Нѣтъ... нѣтъ .. Довольно... довольно... довольно!“ Передъ этимъ горькимъ сознаніемъ все въ жизни лишается смысла,—

„и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полнаго сближенія, безвозвратной преданности—даже оно теряетъ все свое обаяніе; все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Ну да: человѣкъ полюбилъ, залепеталъ о вѣчномъ блаженствѣ, о безсмертныхъ наслажденіяхъ— смотришь: давнымъ-давно уже нѣтъ слѣда самаго того червя, который выѣлъ послѣдній остатокъ его изсохшаго языка.“

Вотъ къ какимъ безотраднымъ выводамъ, къ какому отчаянью пришелъ художникъ, написавшій свои записки —

„Довольно“. — Но замѣчательно, что въ первой половинѣ этихъ записокъ, гдѣ говорится о высокой и чистой любви,—нѣтъ отчаянья. Воспоминанія объ этой любви (дивно прекрасныя по чувству и художественному его выраженію) проникнуты тоской, грустью почти безотрадной; но это потому, что любовь завершилась разлукой, а не потому, чтобы „счастье безвозвратной преданности“ потеряло „все свое обаяніе“ отъ мысли о невѣчности всего въ мірѣ. Напротивъ, несмотря на эту мысль, въ душѣ человѣка сохранилось, не уничтожилось внутреннее, вѣчное достоинство этого минувшаго чистаго счастья. И въ этомъ кроется искра вѣры въ возможность чего-то вѣчнаго, безусловнаго, въ возможность для человѣка побороться съ природой и ея всеуничтожающей силой; невѣрящій, но скорбящій о вѣрѣ, жаждущій вѣры художникъ какъ будто вѣритъ въ вѣчность своей святой, неумершей любви:

„я пробѣгаю (говоритъ онъ) кроткимъ и умиленнымъ взоромъ все мое прошедшее, все наше прошедшее... Надежды нѣтъ и нѣтъ возврата—но и горечи нѣтъ во мнѣ и нѣтъ сожалѣнья—и яснѣе небесной лазури, чище перваго снѣга на горныхъ высотахъ, возстаютъ, какъ образы умершихъ боговъ, прекрасныя воспоминанья“.

Къ этимъ прекраснымъ воспоминаньямъ музѣ не пришлось-бы ревновать его, какъ въ „Призракахъ“ ревновала Эллисъ поэта къ пѣвицѣ на островѣ Isola Bella: воспоминанія эти— свѣтлы, и образъ той, къ кому онѣ относятся, должно быть вдохновлялъ художника и въ его жизни и въ его творчествѣ:

„я думаю о тебѣ (пишетъ онъ)... и много другихъ воспоминаній, другихъ картинъ встаетъ передо мною — и повсюду ты, на всѣхъ путяхъ моей жизни встрѣчаю я тебя“.

Эта чистая любовь была свѣтомъ въ душѣ — и этотъ свѣтъ не погасъ и теперь,—слабый лучъ его мерцаетъ въ сердцѣ, а вмѣстѣ съ нимъ мерцаетъ и лучъ вѣры, не окончательно залитый волнами сомнѣнія.

„Надо признаться (пишетъ художникъ): все потускнѣло вокругъ, вся жизнь поблекла. Свѣтъ, который даетъ ея краскамъ и зна-

ченіе и силу,—тотъ свѣтъ, который исходитъ изъ сердца человѣка, погасъ во мнѣ“...

но онъ сейчасъ-же дѣлаетъ оговорку:

„нѣтъ, онъ еще не погасъ — но едва тлѣетъ, безъ лучей и безъ теплоты. Помнится, однажды поздней ночью, въ Москвѣ, я подошелъ къ рѣшетчатому окну старенькой церкви и прислонился къ неровному стеклу. Было темно подъ низкими сводами —позабытая лампадка едва теплилась краснымъ огонькомъ передъ древнимъ образомъ — и смутно виднѣлись однѣ только губы святого лика—строгія, скорбныя; угрюмый мракъ надвигался кругомъ и, казалось, готовился подавить своею глухою тяжестью слабый лучъ ненужнаго свѣта... И въ сердцѣ моемъ—теперь такой-же свѣтъ и такой-же мракъ“.

Это чудное поэтическое сравненіе записокъ умершаго художника превосходно поясняетъ состояніе души самого Тургенева въ послѣднемъ періодѣ его дѣятельности: мракъ скептицизма и отчаянья преобладалъ въ эту эпоху въ душѣ великаго поэта; но не угасалъ, однако, въ ней и слабый лучъ чистаго свѣта вѣры (На вѣчную жажду поэтомъ этой вѣры указываетъ самое отчаяніе, порожденное сомнѣніями. Благородное сердце великаго писателя не могло спокойно остановиться на скептицизмѣ).

Да не будь этого луча вѣры въ его сердцѣ, и не написалъ бы онъ ничего болѣе послѣ „Довольно“, а подобно своему „умершему художнику“, „скрестилъ бы на пустой груди ненужныя руки“ и не „поплелся“ бы „съ изнеможеніемъ въ кости“ „вновь въ этотъ міръ“, на борьбу, — а онъ еще писалъ, еще боролся послѣ „Довольно“ около 20 лѣтъ, до самой своей смерти.

А. Незеленовъ.

„Дымъ“.

*) Извѣстно всѣмъ, что Тургеневъ принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ авторовъ, которые почти всякимъ своимъ произведеніемъ затрогиваютъ какіе-нибудь жизненные вопросы или возбуждаютъ движеніе въ обществѣ. Вопросъ, затронутый какъ бы невольно въ его романѣ „Дымъ“, чрезвычайно важенъ, это вопросъ о значеніи и надобности русскихъ людей, пересаженныхъ или пересѣвшихъ на чужую почву,—вопросъ, имѣющій, конечно, самую неразрывную связь съ вопросомъ о растеніяхъ и животныхъ, у насъ еще недостаточно акклиматизировавшихся...

Н. Соловьевъ.

* * *

**) Тургеневъ не былъ сатирикомъ по натурѣ, онъ самъ заявлялъ, что предпочитаетъ художественные образы сатирическимъ; и, однакоже, его романъ „Дымъ“ принадлежитъ къ числу самыхъ сильныхъ сатиръ въ русской литературѣ. Въ этомъ романѣ больно досталось нашимъ, такъ называемымъ, партіямъ: и радикаламъ, и умѣреннымъ, и славянофиламъ, и особенно пресловутой „аристократической“ партіи, которая въ моментъ общественнаго развитія, изображенный въ „Дымѣ“, воображала себя представительницей реакціи, спасительной для отечества, погибающаго отъ необузданнаго прогресса.

В. Буренинъ.

* * *

*) П. С. Тургеневъ не измѣнилъ своему литературному призванію и въ новомъ произведеніи... Какъ прежде въ „Рудинѣ“, „Дворянскомъ гнѣздѣ“, „Отцахъ и Дѣтяхъ“,

*) Н. Соловьевъ. „Искусство и Жизнь“, ч. 2. М. 1869 г.
**) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.
***) П. Анненковъ. „Вѣстникъ Европы“ 1867г., № 6. Также „Воспоминанія и критическіе очерки“, отд. II. Спб. 1879 г.

такъ и въ „Дымѣ“ онъ выводитъ передъ нами явленія и характеры изъ современной русской жизни, важные не по одному своему психическому или поэтическому значенію, но вмѣстѣ и потому, что они помогаютъ распознать мѣсто, гдѣ въ данную минуту обрѣтается наше общество, и мысль, которою оно занято передъ намѣткой послѣдующаго своего шага... „Дымъ“ такъ же, какъ и „Отцы и Дѣти“—историческій документъ, свидѣтельствующій о современной намъ эпохѣ столько же, сколько и всякіе другіе, офиціальные документы, намъ доселѣ извѣстные. Кромѣ того, повѣсть „Дымъ“ имѣетъ значеніе весьма серьезнаго документа еще и по другому качеству, кромѣ живописи нравовъ и понятій, а именно, по необычайной искренности своего изложенія, по характеру душевной исповѣди и твердаго убѣжденія, который сообщенъ ей авторомъ. Такіе документы особенно цѣнны для изслѣдователей извѣстныхъ эпохъ и культуръ. Уже вскорѣ послѣ появленія романа въ печати замѣчено было, что часть его, посвященная анализу русскихъ направленій, изображенію нравовъ, характеристикѣ лицъ и партій, желающихъ дать свою окраску, сообщить свой духъ всему строю насущной нашей жизни, написана бойчѣе, рѣзче, энергичнѣе, чѣмъ все, что въ этомъ родѣ написано доселѣ Тургеневымъ. Онъ такъ пріучилъ читателей къ тонкимъ чертамъ, мягкимъ очеркамъ, къ лукавой и веселой шуткѣ, когда ему приходилось смѣяться надъ людьми, къ изящному выбору подробностей, когда онъ рисовалъ ихъ нравственную пустоту, что многіе не узнали любимаго своего автора въ нынѣшнемъ сатирикѣ и писателѣ, высказывающемъ всѣ свои впечатлѣнія прямо и на чистоту. Нѣкоторые даже спрашивали: что съ нимъ сдѣлалось? Съ нимъ ничего не сдѣлалось, кромѣ того, что на него низошла минута, часто являющаяся въ жизни замѣчательныхъ общественныхъ дѣятелей, когда потребность быть искреннимъ и откровеннымъ превозмогаетъ у нихъ всѣ другія соображенія. Такія минуты хорошо были знакомы Пушкину, Гоголю, Руссо, Гете и многимъ другимъ писателямъ, и приходъ ихъ обыкновенно совпадаетъ еще съ

какимъ-либо, болѣе или менѣе, важнымъ событіемъ внутренней жизни тѣхъ лицъ.

Относительно Тургенева слѣдуетъ прибавить, что къ такой внутренней, субъективной правдивости мысли и рѣчи призывало уже его, кромѣ многаго другого, и самое положеніе дѣлъ и умовъ въ Россіи. Тургеневъ въ новомъ романѣ сводитъ правдивый итогъ впечатлѣній за послѣднее время своей многосторонней жизни... Въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ отступился, ради истины, отъ обычныхъ художническихъ пріемовъ своихъ, на успѣхъ которыхъ всегда и могъ положиться... Единственно изъ потребности выразить вполнѣ свое мнѣніе, рѣшился онъ освѣтить яркими, скажемъ, багровыми полосами свѣта, грубо и прямо кинутыми на уродливую сторону выводимыхъ лицъ, — нѣкоторыя сцены своего романа, которыя могъ бы легко окаймить полупрозрачной атмосферой, поглощающей добрую часть настоящаго выраженія физіономій.

П. Анненковъ.

* * *

*) Въ сущности „Дымъ“ есть вещь прекрасная, первостепенная, могущая стать на ряду со всѣмъ лучшимъ, что написалъ Тургеневъ. При этомъ мы разумѣемъ именно сущность „Дыма“, то-есть исторію Ирины и Литвинова. Эта исторія чрезвычайно похожа на ту, которая разсказана въ *Евгеніи Онѣгинѣ;* только на мѣсто мужчины поставлена женщина, и наоборотъ. Онѣгинъ, любимый Татьяной, сперва отказывается отъ нея, а потомъ, когда та замужемъ, влюбляется въ нее и страдаетъ. Такъ и въ *„Дымѣ“*: Ирина, любимая студентомъ Литвиновымъ, отказывается отъ него; а потомъ, когда сама она замужемъ, а у Литвинова есть невѣста, влюбляется въ него, и причиняетъ большія страданія и ему и себѣ. Въ обоихъ случаяхъ первоначально происходитъ ошибка, которую потомъ герои сознаютъ и

*) Н. Страховъ. „Заря“ 1871 г., № 2. Также „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“. Спб. 1887 г.

стараются поправить, да уже нельзя. Нравоученіе изъ той и другой басни вытекаетъ одинаковое:

„А счастье было такъ возможно,
Такъ близко!“

Онѣгинъ и Ирина не видятъ, въ чемъ ихъ настоящее счастье; они ослѣплены какими-то ложными взглядами и страстями,—за что и наказываются.

Ко всему этому въ „*Дымѣ*“ прибавлена еще грустная черта. Татьяна Пушкина не поддается преслѣдованіямъ Онѣгина; она остается чиста и безупречна, и олицетворяетъ передъ нами *милый идеалъ* русской женщины, непонятой тѣмъ, кого она полюбила. Литвиновъ же, играющій роль бабы, не устоялъ передъ Ириною и нанесъ тѣмъ новыя муки себѣ, Ринѣ и своей невѣстѣ. Таковы печальныя картины русской жизни, которыя оба поэта выставили для обнаруженія какого-то внутренняго разлада въ духовномъ строѣ нашего общества. Какъ у Пушкина, такъ и у Тургенева женщина поставлена выше мужчины — давно замѣченная черта нашей жизни. Но Ринѣ придана не только первенствующая, но и прямо дѣятельная роль, чтобы тѣмъ яснѣе была ничтожность нашихъ мужчинъ и нѣкоторое дурное начало, присутствующее въ нашихъ женщинахъ. Тургеневъ какъ бы хотѣлъ сказать: въ высшемъ кругу у насъ господствуютъ не пушкинскія Татьяны, а Ирины, испорченныя до мозга костей.

Въ „*Дымѣ*“ разсказана чисто русская исторія, характеры дѣйствующихъ лицъ и ходъ событій носятъ рѣзкій, отчетливый отпечатокъ русской жизни. И, слѣдовательно, *обличеніе*, заключающееся въ повѣсти Тургенева, имѣетъ полную силу. Русское безволіе въ Литвиновѣ, искаженіе богатыхъ и прекрасныхъ силъ въ Ринѣ, грубость и непреодолимость страсти, возникающей между ними, и какая-то смутная окружающая ихъ нравственная атмосфера, лишенная ясныхъ идеаловъ и прочныхъ началъ, — все это наше родное....

Тургеневъ вывелъ толпу такъ называемыхъ нами *нигиль-*

мистическихъ славянофиловъ и заставилъ Потугина изливать насмѣшки и возраженія противъ настоящихъ славянофиловъ. Все вмѣстѣ образовало *Дымъ*, нѣчто зыбкое и туманное, клочокъ хаоса, на которомъ ясно вырѣзывается только фигура Ирины, въ одно время и чарующая и отталкивающая...

Замѣтки Тургенева противъ славянофильства не лишены мѣткости и силы, но, очевидно, не составляютъ ничего цѣлаго. Самымъ существеннымъ въ этомъ отношеніи нужно считать то мѣсто, которое Тургеневъ *вставилъ* въ отдѣльное изданіе „Дыма“; приведемъ это мѣсто, вѣроятно, вовсе неизвѣстное тѣмъ, кто прочиталъ „*Дымъ*“ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“. Говоритъ Потугинъ:

„Кто же васъ заставляетъ перенимать зря? Вѣдь, вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому что оно вамъ пригодно: стало быть, вы соображаете, выбираете. *А что до результатовъ — такъ вы не извольте безпокоиться: своеобразность въ нихъ будетъ* въ силу самыхъ этихъ мѣстныхъ климатическихъ и прочихъ условій, о которыхъ вы упоминаете. Вы только предлагайте пищу добрую, а *народный желудокъ ее переваритъ по своему;* и со временемъ, когда организмъ окрѣпнетъ, онъ дастъ *свой* сокъ. Возьмите примѣръ хоть съ нашего языка. Петръ Великій наводнилъ его тысячами чужеземныхъ словъ, голландскихъ, французскихъ, нѣмецкихъ: слова эти выражали понятія, съ которыми нужно было познакомить русскій народъ; не мудрствуя и не церемонясь, Петръ влилъ эти слова цѣликомъ, ушатами, бочками въ нашу утробу. Сперва—точно вышло нѣчто чудовищное, а потомъ началось именно то перевариваніе, о которомъ я вамъ докладывалъ. Понятія привились и усвоились; чужія формы постепенно испарились, языкъ въ собственныхъ нѣдрахъ нашелъ чѣмъ ихъ замѣнить, и теперь вашъ покорнѣйшій слуга, стилистъ весьма посредственный, берется перевести любую страницу изъ Гегеля... да-съ, да-съ изъ Гегеля, не употребивъ ни одного неславянскаго слова. Что произошло съ языкомъ, то, должно надѣяться, произойдетъ и въ другихъ сферахъ.

Весь вопросъ въ томъ—крѣпка ли натура? а наша натура—ничего, выдержитъ: не въ такихъ была передрягахъ. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могутъ одни нервные больные да слабые народы; точно такъ же какъ восторгаться до пьяны у рта тому, что мы, молъ, русскіе — способны одни праздные люди. Я очень забочусь о своемъ здоровьи, но въ восторгъ отъ него не прихожу: совѣстно-съ".

— „Все такъ, заговорилъ въ свою очередь Литвиновъ; но зачѣмъ же непремѣнно подвергать насъ подобнымъ испытаніямъ? Сами жъ вы говорите, что сначала вышло нѣчто чудовищное! ну — а коли это чудовищное такъ бы и осталось? *Да оно и осталось, вы сами знаете*".

— „Только не въ языкѣ—а ужъ это много значитъ! А нашъ народъ не я дѣлалъ, не я виноватъ, что ему суждено проходить черезъ такую школу. „Нѣмцы правильно развивались", кричатъ славянофилы, — „подавайте и намъ правильное развитіе"! Да гдѣ жъ его взять, когда самый первый историческій поступокъ нашего племени—призваніе себѣ князей изъ-за моря—*есть уже неправильность, анормальность,* которая повторяется на каждомъ изъ насъ до сихъ поръ; каждый изъ насъ хоть разъ въ жизни непремѣнно чему-нибудь чужому, не русскому сказалъ: *иди владѣти и княжити надо мною!*—Я, пожалуй, готовъ согласиться, что, *вкладывая иностранную суть въ собственное тѣло, мы никакъ не можемъ навѣрное знать напередъ, что такое мы вкладываемъ: кусокъ хлѣба или кусокъ яда?*—да, вѣдь, извѣстное дѣло: отъ худого къ хорошему никогда не идешь черезъ лучшее, а всегда черезъ худшее,—*и ядъ въ медицинѣ бываетъ полезенъ.* Однимъ только тупицамъ или пройдохамъ прилично указывать съ торжествомъ на бѣдность крестьянъ послѣ освобожденія, на успленное ихъ пьянство послѣ уничтоженія откуповъ... черезъ худшее къ хорошему"?

Вотъ какое внутреннее противорѣчіе нашелъ въ славянофильствѣ Тургеневъ. Славянофильство, хочетъ онъ сказать, есть напрасная забота, ненужная идея; ибо именно тотъ,

кто вѣритъ въ своеобразіе русскаго народа, въ его здоровый желудокъ, тотъ не долженъ бояться заимствованій. Человѣкъ, вѣрующій въ народъ, не можетъ думать, что отъ него зависитъ то, каковъ этотъ народъ и что изъ него будетъ; слѣдовательно, не станетъ напрасно безпокоиться. Самая подражательность есть народная черта, и слѣдовательно славянофилы, возставая противъ нея, возстаютъ противъ самихъ себя, противъ своеобразія русскаго народа. Словомъ, славянофильство приходитъ къ какому-то невѣрію въ народныя силы, тогда какъ западничество будто бы твердо въ нихъ вѣритъ“.

Н. Страховъ.

* * *

*) По поводу критики Страхова, г. Буренинъ замѣчаетъ: „Почтенный критикъ дѣлаетъ, кажется, ошибку въ одномъ: онъ считаетъ „печальную исторію“ героевъ тургеневскаго романа сущностью „Дыма“, тогда какъ правильнѣе было бы считать ее только поводомъ для разоблаченія тѣхъ жизненныхъ теченій, среди которыхъ она разыгрывается и къ которымъ она привязана, по правдѣ сказать, довольно внѣшнимъ образомъ. Одно изъ этихъ теченій — заимствую у почтеннаго критика его мѣткое и остроумное выраженіе — есть „воздушная революція“, другое — не менѣе воздушная реакція. На изображеніе этихъ двухъ теченій въ романѣ Тургеневымъ потрачено немного страницъ — гораздо менѣе, чѣмъ на изображеніе интимной драмы героя и героини — но несомнѣнно, что именно эти страницы составляютъ существеннѣйшее содержаніе романа, его основной мотивъ, даже, если такъ можно выразиться, самыя высокія ноты этого мотива, въ свое время „ударившія по сердцамъ съ невѣдомою силой“, да и до сихъ поръ еще звучащія волнующимъ отголоскомъ. Въ изобличеніи пустоты, пошлости и грубости, въ изобличеніи несостоятельности двухъ мнимыхъ общественныхъ „партій“, существованіе

*) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

которыхъ на родной почвѣ обусловливалось въ то время, да, быть можетъ, и теперь еще обусловливается, не столько нашимъ естественнымъ внутреннимъ ростомъ, сколько нравственною расшатанностью и отрѣшенностью отъ народныхъ идеаловъ, отъ простого и здраваго дѣла на пользу народа и родной земли — въ изобличеніи этихъ партій заключается настоящій замыселъ романа. Это изобличеніе сдѣлано Тургеневымъ съ большою силою сатирическаго негодованія, съ художественною сжатостью и сосредоточенностью и главное съ тѣмъ „ума холоднымъ наблюденьемъ", которое составляетъ одинъ изъ выдающихся оригинальныхъ признаковъ дарованія нашего художника. Одинаковая степень презрѣнія къ той и другой „партіи", къ обоимъ теченіямъ, въ періодъ появленія „Дыма" наполнявшимъ русскую жизнь призрачной борьбой, одинаковая степень проницанія въ ихъ поверхностную тревожность и внутреннюю пустоту, даетъ Тургеневу самыя подходящія сатирическія краски, самые яркіе штрихи для оттѣнка отрицательныхъ явленій, воспроизводимыхъ имъ съ неумолимою суровостью и правдивостью художника.

Либеральная критика въ то время, когда появился „Дымъ", считала преступленіемъ со стороны Тургенева, что онъ осмѣлился выставить русскаго политическаго дѣятеля въ образѣ Губарева. Это неправда, озлобленная клевета, кричала тогда критика. Увы, эти крики были неправдою, и художникъ, къ несчастью, не клеветалъ, а воспроизводилъ факты, реальность которыхъ теперь нельзя отрицать: развѣ вы не видѣли во очію превращенія милыхъ прогрессивныхъ дѣятелей шестидесятыхъ годовъ въ настоящихъ Держиморд?.. А остальные „дѣятели" губаревскаго заграничнаго кружка — развѣ они не существовали не только въ дни нашей „воздушной революціи", но и позднѣе; мало того, развѣ они и теперь еще не существуютъ? Этотъ господинъ Бамбаевъ, вѣчный жалкій прихвостень всякой компаніи, прихвостничество котораго въ послѣдней степени исходитъ даже до роли простого шута — развѣ онъ не всегда былъ, есть и будетъ на Руси? Юный либеральный

мыслитель Ворошиловъ, начитавшійся безъ толку всякихъ книжекъ, который „однимъ духомъ“ выбрасываетъ имена Дрепера, Фиргофа, г-на Шелгунова, Бина, Гельмгольца, Стара, Стура, Реймонта, Іоганна Миллера физіолога, Іоганна Миллера историка, очевидно, смѣшивая ихъ, Тэна, Ренана, г. Щапова, а потомъ Томаса Пиша, Пиля, Грина, „предшественниковъ Шекспира, относящихся къ нему, какъ отроги Альпъ къ Монблану“ — развѣ это не типическій представитель большинства мнимонаучнаго направленія шестидесятыхъ годовъ? А Титъ Бипдасовъ, „съ виду шумный буршъ, въ сущности кулакъ и выжига, по рѣчамъ террористъ, по призванію квартальный, другъ россійскихъ купчиковъ и парижскихъ лоретокъ, лысый, беззубый, пьяный“, занимающій у всѣхъ, направо и налѣво, и никогда не заботящійся объ отдачѣ — развѣ это не „нашъ общій другъ“ во всякой либеральной кликѣ? А великолѣпная, неподражаемая Матрена Суханчикова, преемница Евдокіи Кукшиной, образцовая представительница либерально-кружковаго сплетничества, сумѣвшая образовать на Руси собственную партію „матреновцевъ“ въ количествѣ двухъ человѣкъ, съ которыми она и уѣхала въ Португалію—развѣ до сихъ поръ у насъ мало такихъ Матренъ?

В. Буренинъ.

* *
*

*) Всѣ читали и, конечно, всѣ замѣтили безотрадный, безнадежный взглядъ на русскую жизнь, высказанный въ повѣсти. Въ рѣчахъ Потугина, которымъ нѣтъ никакого противовѣса, и которыя вполнѣ согласуются и съ названіемъ повѣсти и съ ея общимъ заключеніемъ: *все русское—дымъ*, Россія представлена страною, безплодно существовавшею на свѣтѣ и не представляющею никакихъ силъ, никакихъ зачатковъ для будущаго. Такою она является предъ лицомъ западной *цивилизаціи*... Мысль, на которую столько намековъ разбросано въ повѣсти Тургенева, не

*) „Отечественныя Записки“ 1867 г., № 5.

только не составляетъ ничего новаго, но была нѣкогда выражена съ несравненно большею глубиною и полнотою, и наше умственное движеніе давно уже переросло ее... „Отрицаніе смысла русской жизни въ сравненіи съ жизнію Европы“ — таково именно было содержаніе „философическаго письма“ Чаадаева, появившагося въ 1836 году въ „Телескопѣ“, издававшемся подъ редакціей Надеждина. Письмо это есть классическое произведеніе нашей литературы, одинъ изъ ея вѣковѣчныхъ памятниковъ, потому что никогда и нигдѣ въ нашей литературѣ мысль, о которой мы говоримъ, не была выражена съ такою полнотою, глубиною и отчетливостью...

Въ тургеневской повѣсти есть еще другая мысль, повидимому, болѣе современная и болѣе правильная. Это мысль о шаткости нашего умственнаго развитія, о непрочности всѣхъ нашихъ идей и направленій, о ихъ быстрой, ничего не достигающей смѣнѣ. „*Вѣтеръ перемѣнился въ другую сторону*“... Но и эта замѣтка во многихъ отношеніяхъ не ускользнула отъ того-же Чаадаева...

Хотя у насъ и много дыму, много людей и понятій, ни къ чему не прикрѣпленныхъ и носящихся по волѣ вѣтра, но не все русское — дымъ. У насъ есть литература, есть послѣдовательное, правильное умственное движеніе, которое не можетъ повернуть назадъ, а можетъ только шире и шире развивать все тѣ же задатки.

„Отечественныя Записки“.

* * *

*) Въ „Дымѣ“ всѣ вопросы поставлены на самую не твердую позицію, хотя окружены обаяніемъ и цвѣтами поэзіи. Но увы, цвѣты тутъ не пригодились, поэзія не пошла въ прокъ, и, вмѣсто дыма, явилась копоть. Да прокоптѣлъ, сильно прокоптѣлъ романъ г. Тургенева отчужденіемъ ко всему чисто русскому. Что значатъ, напримѣръ, эти фразы Потугина!—

*) П. Соловьевъ. „Искусство и Жизнь“, ч. 2. М. 1869 г.

„Въ наличности ничего нѣтъ у насъ. Русь цѣлые десять вѣковъ ничего своего не выработала, ни въ управленіи, ни въ судѣ, ни въ наукѣ, ни въ искусствѣ, ни даже въ ремеслѣ (другой изъ неопытныхъ, пожалуй, въ самомъ дѣлѣ подумаетъ, что это такъ, — съ такой увѣренностію сказаны эти слова)... Да-съ, я западникъ, преданъ Европѣ, т.-е., говоря точнѣе, я преданъ образованности, надъ которою у насъ такъ мило потѣшаются, цивилизаціи.... Это слово лучше... и понятно, и чисто, и свято, а другія всѣ, народность тамъ, слова кровью пахнутъ“.—„Безъ цивилизаціи нѣтъ и поэзіи... Разверните наши былины, наши легенды“.

За этимъ слѣдуетъ презрительный отзывъ о произведеніяхъ нашей народной поэзіи, котораго мы уже приводить не будемъ. Догадываетесь ли вы, читатель, какъ горячо, неосторожно рвалось здѣсь перо автора? Безъ цивилизаціи нѣтъ и поэзіи; но, вѣдь, цивилизація есть атмосфера, образующаяся отъ болѣе или менѣе полнаго развитія науки, поэзіи и практическаго труда; значитъ, какъ же можно сравнить частное съ цѣлымъ? Понятіе цивилизаціи не заключаетъ, наконецъ, въ себѣ ничего абсолютнаго: есть цивилизаціи китайская, японская и т. д. И къ чему можетъ служить это предпочтеніе одного слова другому? Мнѣ лучше нравится слово цивилизація, чѣмъ слово народность. Да мало ли кому у насъ что нравилось. Было время, когда въ нашихъ журналахъ на каждой страницѣ по пяти разъ попадалось слово польза, у другихъ точно прилипло къ языку слово реализмъ, а третьи чуть было не оглушили народъ, крича во все горло Бокль, Бокль! И докричались, наконецъ, до того, что всѣмъ стало тошно. Мы никогда не забудемъ того забавнаго случая, совершившагося при насъ, когда разъ одна молодая особа произнесла слово Бокль въ присутствіи своей простой, необразованной и ворчливой матушки. Старуха, сидѣвшая до того времени смирно и молча, вдругъ оживилась. — Знаю я этого мошенника, мерзавца, подлеца! заговорила она, воображая, что рѣчь идетъ объ одномъ изъ петербургскихъ знакомыхъ ея дочери: до того

часто произносили при ней это имя. Ужели многоуважаемый И. С. Тургеневъ желалъ бы, чтобы слово цивилизація пошло также въ ходъ. И почему онъ думаетъ, что слово народность пахнетъ кровью, почему дѣлаетъ устами своего героя такой странный отзывъ о произведеніяхъ нашей народной поэзіи? На это у насъ ужъ и возраженій не хватаетъ. Родное дѣтище возстало противъ почвы, которая его вскормила, противъ звуковъ родины, заронившихъ съ дѣтства въ его душу идею гармоніи! И это сказано авторомъ „Бѣжина луга“ и другихъ почти безсмертныхъ по своей простотѣ вещей. Вотъ оно, что значитъ цивилизація! И не понимаемъ мы, какъ достаетъ духу смѣяться надъ произведеніями, сохранившимися не въ печати, не въ роскошныхъ изданіяхъ заграничнаго формата, а въ устахъ народа. Вѣдь, это тоже, что смѣяться надъ самой природой. Наша природа, наши русскіе виды, наши неоглядныя поля, дремучіе лѣса и многоводныя рѣки диктовали простолюдину эти пѣсни... Хоть у насъ и возможны вообще личности, которыя такъ думаютъ и такъ говорятъ, какъ Потугинъ, но словъ этихъ господъ нельзя оставить такъ, не давши имъ приличнаго ярлыка или вразумленія, особенно еще въ нашемъ шатающемся обществѣ. Что же послѣ этого станутъ у насъ говорить тѣ, для которыхъ и народность, и народныя пѣсни, и русское искусство, и талантливость всегда были хуже горькой рѣдьки. Вѣдь, г. Тургеневъ долженъ же знать, что слова и фразы его реалиста Базарова чуть было не положили въ основу цѣлаго журнала.

Н. Соловьевъ.

*

*) Изъ всѣхъ сужденій, возникшихъ по поводу „Дыма“, наибольшаго вниманія заслуживаетъ то, которое называетъ романъ не вполнѣ справедливымъ. Въ основаніе этого мнѣнія положены слѣдующія соображенія. Авторъ, взявшійся за изображеніе нравственнаго быта нашего, представляетъ

*) П. Анненковъ. „Вѣстникъ Европы“ 1867 г., № 6. Также „Воспоминанія и критическіе очерки“, отд. 2. Спб. 1879 г.

одну только сторону его, менѣе важную, и забылъ о другой, существенной сторонѣ его, которая одна только надлежащимъ образомъ его и выражаетъ. Пускай не оговаривается онъ тѣмъ, что имѣлъ въ виду положеніе дѣлъ и умовъ въ 1862 году, когда много задачъ, теперь поднятыхъ русскою жизнію, много великихъ начинаній, теперь приводимыхъ въ исполненіе ею, еще не стояли на очереди. Пониманіе этой серьезной стороны общественнаго быта нашего должно было, все-таки, сказаться въ духѣ и настроеніи романа, но оно тамъ не сказалось. Романъ не справедливъ и потому, что въ своей характеристикѣ лицъ и партій умалчиваетъ о важныхъ заслугахъ обществу, сдѣланныхъ нѣкоторыми изъ нихъ, и поддается искушенію представлять ихъ на основаніи уже обветшалыхъ воззрѣній на ихъ дѣло. Затѣмъ въ романѣ есть черты, позволяющія думать, что авторъ заподозрѣваетъ даже духовную сущность русскаго народа, его силы и способности, умѣвшія создать, однакожъ, наше громадное государство. Вообще на послѣднемъ произведеніи Тургенева лежитъ отпечатокъ того отрицанія, которое можно назвать *заграничнымъ* отрицаніемъ русской жизни и которое разнится съ домашнимъ, туземнымъ ея отрицаніемъ тѣмъ, что боится малѣйшей живой и свѣжей черты, такъ какъ всякая подобная черта уже не укладывается въ отвлеченное, мертвое, закостенѣлое представленіе русскихъ порядковъ, и должна быть устраняема имъ, для собственнаго его спасенія, всѣми силами и средствами.

П. Анненковъ.

* * *

*) Если мы возьмемъ массу обыденныхъ тружениковъ: учителей, медиковъ, адвокатовъ, ученыхъ, технологовъ и проч., самый ограниченный изъ всѣхъ ихъ навѣрно окажется гораздо положительнѣе, устойчивѣе, а главное дѣло честнѣе Литвинова въ своихъ отношеніяхъ и къ труду

*) А. Скабичевскій. „Отечественыя Записки“ 1868 г., № 1. Также Сочиненія А. Скабичевскаго, т. 1. Спб. 1890 г.

и къ любимой женщинѣ. А между тѣмъ, г. Тургеневъ положительно сочувствуетъ Литвинову, какъ хорошему человѣку, сочувствуетъ съ первой страницы и до послѣдней... Въ одномъ мѣстѣ своей повѣсти онъ имѣетъ даже поползновеніе оправдать дрянность своего героя общею ссылкою на природу, на которую обыкновенно ссылаются, когда хотятъ что-нибудь оправдать: „людямъ положительнымъ, говоритъ онъ, въ родѣ Литвинова, не слѣдовало бы увлекаться страстью... Но природа не справляется съ логикой, съ нашей человѣческой логикой; у ней есть своя, которую мы не понимаемъ и не признаемъ до тѣхъ поръ, пока она насъ, какъ колесомъ, не „переѣдетъ“. Что же за причина, что г. Тургеневъ такъ сочувственно относится къ Литвинову, тогда какъ этотъ Литвиновъ не выдерживаетъ самой снисходительной критики, по сравненію его съ дѣйствительно хорошими и здоровыми элементами нашей жизни? Причина очень простая... до 40-хъ годовъ вся русская образованность ограничивалась одною средою; на эту среду глядѣли, какъ на средоточіе, какъ альфу и омегу всего русскаго. Все, что говорилось и писалось — писалось объ этой средѣ и для нея. Все, что не принадлежало къ этой средѣ, третировалось съ презрительною насмѣшкою и въ рѣдкихъ случаяхъ съ тѣмъ высокомѣрнымъ снисхожденіемъ, которое почему-то называлось гуманностью къ низшимъ. Проведя первые годы своей юности, своего развитія подъ вліяніемъ такого порядка, г. Тургеневъ такъ свыкся съ нимъ, что не могъ отъ него отрѣшиться, несмотря даже на то, что подъ вліяніемъ 40-хъ годовъ усвоилъ отрицательный взглядъ на эту среду. У г. Тургенева слились вмѣстѣ два взгляда: взглядъ на извѣстную среду, какъ на средоточіе всего русскаго, и въ то же время взглядъ на эту среду, какъ на нѣчто дряблое, растлѣнное, изжившееся. Изъ подобнаго слитія двухъ взглядовъ слѣдуетъ прямой результатъ: если по жизни и нравамъ одной среды мы будемъ заключать о жизни и правахъ всего общества, и если эта жизнь представится намъ выдохшеюся, а нравы дряннымъ, въ такомъ случаѣ мы невольно придемъ къ вы-

воду, что и все общество никуда не годится. Вотъ чѣмъ только и можно объяснить постоянное сѣтованіе г. Тургенева, проходящее по всѣмъ его произведеніямъ, о томъ, что у насъ нѣтъ хорошихъ людей, что не только русское племя, но и всѣ вообще славяне страдаютъ отсутствіемъ силы воли и т. п... Чтобы судить справедливо о цѣломъ обществѣ, нужно прежде всего тщательно и всесторонне изучить это общество во всѣхъ его слояхъ и положеніяхъ, нужно до такой степени умственно отрѣшиться отъ своей среды, чтобы быть въ состояніи сравнивать безпристрастно жизнь и нравы разныхъ слоевъ. Г. Тургеневъ, сжившись съ своею узенькою средою, изучивъ нравы одного только слоя общества, по этому слою берется заключать обо всемъ обществѣ. И посмотрите, въ какой просакъ попадаетъ онъ на каждой страницѣ своей новѣсти. Между прочимъ, онъ взялся въ своемъ произведеніи покарать либераловъ. Ну, что-жъ, прекрасно. Очень можетъ быть, что либерализмъ этотъ—такая язва на русской почвѣ, что необходимо распутать всѣ его хитро-сплетенныя нити и вырвать это зло съ корнемъ. Это подвигъ вполнѣ достойный русскаго писателя и весьма обыкновенный на Руси, когда писателю перешло за 50 лѣтъ и когда онъ пересталъ уже сожигать то, чему поклонялся, и начинаетъ вновь поклоняться тому, что сожигалъ. Что же дѣлаетъ г. Тургеневъ для наказанія либераловъ? Онъ изображаетъ нѣсколько личностей, судя по его описанію, дѣйствительно пошлыхъ и дрянныхъ. Всѣ они прикидываются людьми что-то дѣлающими, но въ сущности они ничего не дѣлаютъ и фланируютъ за границей точно такъ же, какъ Литвиновъ и окружавшіе Ирину генералы. Г. Тургеневъ выставляетъ особенно на видъ, что Губареву его либерализмъ не мѣшалъ владѣть имѣньемъ посредствомъ братца-дантиста, а Ворошиловъ кончаетъ со своимъ либерализмомъ тѣмъ, что поступаетъ вновь на военную службу. Все это нисколько не удивительно; очень можетъ быть, что г. Тургеневъ взялъ всѣ эти личности изъ дѣйствительности, нисколько не исказивъ и не окарикатуривъ ихъ. Но что-жъ въ этомъ? Вы видите на-

глядно, что всѣ эти личности относятся все къ тому же разряду, къ какому принадлежитъ и Литвиновъ, и Потугинъ, и всѣ прочія. Но подобно тому, какъ нельзя судить о всеобщей жизни общества по одной средѣ, такъ нельзя судить и о либерализмѣ по тому, какъ этотъ либерализмъ проявляется въ этой средѣ. Для того, чтобы составить вѣрное понятіе о либерализмѣ на Руси, нужно опять-таки изучить, какъ проявляется онъ во всѣхъ слояхъ общества, и въ особенности въ такихъ слояхъ, гдѣ онъ является не какъ забава и игра въ кошки-мышки отъ нечего дѣлать, а естественно возникаетъ изъ самой жизни, гдѣ онъ явился бы самъ собою, и безъ вліянія запада, какъ неизбѣжное добро или зло, смотря по убѣжденіямъ писателя. И только послѣ такого изученія писатель имѣетъ право карать либерализмъ или преклоняться предъ нимъ. А если писатель не захочетъ приложить къ своему труду добросовѣстнаго изученія, если онъ мечтаетъ, что достаточно одного непосредственнаго творчества, чтобы быть судьею и карателемъ надъ всѣмъ обществомъ, въ такомъ случаѣ пусть ужъ онъ лучше всего ограничивается анализомъ любви, предметомъ, судя по всѣмъ произведеніямъ Тургенева, болѣе всего извѣстнымъ ему; пусть онъ знаетъ напередъ, что его караніе либерализма не принесетъ никакого вреда либерализму и никакой пользы тѣмъ людямъ, во имя которыхъ онъ караетъ либерализмъ, а окажется холостымъ выстрѣломъ въ воздухъ, ради потѣхи праздной толпы.

А. Скабичевскій.

* * *

*) Мы находимъ, что Литвиновъ слабо отвѣчалъ Потугину, когда, въ видахъ охлажденія его восторга къ иноземнымъ чудесамъ развитія и къ матеріаламъ для нашего подраженія, существующимъ въ Европѣ—указалъ ему только на игорные дома и на толпу *кокодесокъ*, французскихъ остроумцевъ и нашихъ князей и дворянъ, ихъ окружаю-

*) П. Анненковъ „Вѣстникъ Европы“ 1867 г., № 6. Также „Воспоминанія и критическіе очерки“. Спб. 1879 г.

щую. Благодаря слабости возраженій, можно подумать, будто Литвиновъ считаетъ игорные дома единственнымъ пятномъ Европы: отсюда такой выводъ, что если Пруссія и Бельгія согласятся, напримѣръ, закрыть ихъ на своихъ территоріяхъ, то никакого пятна на Европѣ уже не останется болѣе... Но, можетъ остаться — и это всего вѣрнѣе, что Литвиновъ, предлагая слабое свое возраженіе, невольно чувствовалъ, что собесѣдникъ его (Потугинъ) говоритъ не о той Европѣ, которой мы подражаемъ, а о той, *которую мало видимъ и почти не знаемъ*. Боже мой! Какая же это *малоизвѣстная намъ Европа*, намъ, исколесившимъ ее во всѣхъ направленіяхъ и изучившимъ ее болѣе своей родины? Да вотъ та самая, *на которую авторъ романа только и указываетъ своимъ читателямъ чрезъ посредство Потугина*. Отличіе отъ видимой Европы состоитъ въ томъ, что посреди множества отрицательныхъ, часто возмутительныхъ явленій своего быта, иногда подъ гнетомъ давленія матеріальной силы, еще далеко не устраненной ею, иногда въ пылу національныхъ увлеченій, подвигающихъ ее на вопіющія несправедливости—*она занята устройствомъ человѣческой личности, ближайшей среды, ее окружающей и возвышеніемъ духовной природы человѣка вообще*. Нашимъ туристамъ въ Европѣ (да и однимъ ли туристамъ) кажется, что знаменитые ея университеты, богатѣйшая литература и музеи, сохраняющіе геніальныя произведенія искусствъ, направлены къ тому, чтобы украшать жизнь, и безъ того достаточно красивую, избранныхъ классовъ или производить какъ можно больше ораторовъ, депутатовъ, профессоровъ, ученыхъ и писателей, между тѣмъ какъ они служатъ орудіемъ у той *малоизвѣстной намъ* Европы, о которой говоримъ,—*поднять мысль* самаго послѣдняго человѣка въ государствѣ, Генрихъ IV, по свидѣтельству, впрочемъ крайне подозрительному, своихъ современниковъ, опредѣлилъ назначеніе внутренней и внѣшней политики Франціи единственною цѣлію—доставить каждому изъ его подданныхъ возможность имѣть по праздникамъ „курицу“ на своемъ столѣ. Съ тѣхъ поръ, кромѣ этой „курицы“, во-

шедшей въ программы всѣхъ европейскихъ правительствъ, *мало извѣстная намъ Европа* нашла и *другое назначеніе для политики государствъ*. Главной ея задачей она поставляетъ *точное, общедоступное опредѣленіе идей нравственности, добра и красоты*, и такое распространеніе ихъ, которое помогло бы самому скромному и темному существованію выйти изъ сферы животныхъ инстинктовъ, воспитать въ себѣ чувства справедливости, благорасположенія и состраданія къ другимъ, понять важность разумныхъ отношеній между людьми и, наконецъ, получить способность *къ прозрѣнію „идеаловъ" единичнаго, семейнаго и общественнаго существованія*. Послѣдняя часть задачи, не во гнѣвъ будь сказано нашимъ реалистамъ, считается при этомъ и самой важной, существенной ея частью. Насколько успѣла эта, въ половину скрытая отъ насъ, Европа осуществить *свою неписанную, нигдѣ незаявленную,* но тѣмъ не менѣе страстно исполняемую *программу*—составляетъ другой вопросъ, хотя признаки *таинственной работы*, ею производимой, обнаруживаются уже и для глазъ, малоразличающихъ предметы, которые имъ сначала не указаны. Появленіе у насъ такихъ энтузіастовъ иноземщины, какъ Потугинъ, объясняется именно тѣмъ, что они успѣли *прозрѣть эту*, а не другую *какую-либо Европу*; да подъ ея же вліяніемъ написанъ и разбираемый нами романъ".

П. Анненковъ.

* * *

По поводу предыдущей критики г. Страховъ говоритъ: *) „Очевидно толки, о будущности Европы, въ которые пустился П. В. Анненковъ, о таинственной работѣ, незаявленной программѣ и проч., имѣетъ тотъ же смыслъ, какъ и толки о будущности Россіи, надъ которыми такъ потѣшаются Тургеневъ и его Потугинъ. Эти толки значатъ, что въ *наличности ничего нѣтъ* у Европы... Напирая такъ сильно на неписанныя программы и таинственныя задачи, критикъ только да-

*) Н. Страховъ. „Заря" 1871 г., № 2. Также критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ. Спб. 1887 г.

етъ разумѣть, что явныя и имѣющія въ дѣйствительности силу начала европейской жизни никуда не годятся. Онъ прибѣгъ къ будущему потому, что принужденъ отречься отъ настоящаго. Онъ вынужденъ сдѣлать поправку къ словамъ Тургенева, растолковать читателямъ, что поколѣніе должно относиться не къ нынѣшней, видимой и извѣстной Европѣ (таковъ однако же прямой и несомнѣнный смыслъ *Дыма*), а къ будущей, возможной, вѣроятной, таинственно-работающей, невидимой, неизвѣстной... Въ образахъ—Тургеневъ нигдѣ и никогда не рѣшался противопоставить западную жизнь русской жизни. Онъ ни разу не выводилъ на сцену европейцевъ съ тою цѣлію, чтобы противопоставить ихъ, какъ примѣръ и поученіе, русскимъ людямъ. (Въ такомъ смыслѣ выведенъ у графа Алексѣя Толстого въ „Царѣ-Борисѣ“ королевичъ женихъ Ксеніи, у Лажечникова „Басурманъ“). Напротивъ вездѣ, гдѣ у Тургенева являются западные люди: нѣмцы, французы, поляки и даже другіе наши братья славяне, онъ вездѣ съ величайшею тонкостью схватываетъ тѣ неуловимыя отвлеченными понятіями черты, по которымъ душевный складъ этихъ чужихъ людей намъ непремѣнно является ниже русскаго душевнаго склада. Чѣмъ, кажется, дуренъ болгаринъ Инсаровъ въ „Наканунѣ“? А между тѣмъ и онъ развѣнчанъ, какъ всѣ другіе герои Тургенева и даже болѣе другихъ. Въ немъ отсутствуетъ та русская мягкость сердца и широта ума, которыми отличаются Берсеневъ и Шубинъ. Вспомните нѣмокъ и нѣмцевъ, выводимыхъ на сцену Тургеневымъ; они всѣ комичны, всѣ жалки и грубы, сообразно нашему народному представленію, всегда находящему въ нѣмцѣ что-то смѣшное. Вспомните поляка графа Малевскаго въ „Первой любви“; да, наконецъ, вспомните весь Парижъ въ „Призракахъ“ и весь Баденъ-Баденъ въ самомъ „Дымѣ“: Потугинъ не даромъ называетъ его *противнымъ*; противенъ онъ, очевидно, и Тургеневу; противнымъ онъ и нарисованъ. Гдѣ же тутъ поученіе для русскихъ людей? Гдѣ та западная жизнь, которой намъ слѣдуетъ подражать, которая должна быть намъ примѣромъ?

А съ какою любовью, съ какою нѣжною симпатіею нарисованы у Тургенева многія лица, въ которыхъ нѣтъ ничего ни западнаго ни западническаго! Лиза „Дворянскаго Гнѣзда“, Маша „Затишья“, „Ася“, „Хоръ и Калинычъ“, „Касьянъ съ Красивой Мечи“ и проч., и проч.— гдѣ же тутъ западныя начала, при чемъ тутъ жизнь Европы и выработанные ею результаты? Тайное сочувствіе къ русскому складу ума и сердца, къ нравственнымъ началамъ, которыми сложилась и держится русская жизнь, безпрестанно сквозитъ у Тургенева.

И вообще, если взять въ цѣломъ произведенія Тургенева, то ихъ придется истолковать въ смыслѣ отнюдь неблагопріятномъ западничеству. Рисуя наше общество, давая образы представителей нашего прогресса, Тургеневъ, въ силу правдивости, всегда присущей поэзіи, изобразилъ намъ общество больное и представителей несостоятельныхъ. Онъ не прославилъ людей, оторвавшихся отъ своей почвы, а скорѣе обличилъ ихъ; его „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда“ и „Лишніе люди“ вошли въ пословицу...

Н. Страховъ.

* * *

*) Самою крупною новостью въ нашей изящной словесности должно бы почитать, по общему вниманію, обращенному на нее въ публикѣ, повѣсть г. Тургенева „Дымъ“, появившуюся въ послѣдней (мартовской) книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ за 1867 г. Г. Тургеневъ мало писалъ въ послѣднее время, и появленіе новаго его произведенія для многихъ покажется настоящимъ литературнымъ событіемъ. Послѣ романа „Отцы и Дѣти“, напечатаннаго, лѣтъ пять назадъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, „Дымъ“ есть первая вещь, на которой можетъ серьезно остановиться критика, такъ какъ и „Призраки“, и „Собака“, и „Довольно“—это больное исчадіе больного воображенія—были замѣчены въ литературѣ только потому, что подписаны именемъ Турге-

*) „Голосъ“ 1867 г., № 124. „*Дымъ*“, повѣсть И. С. Тургенева. (Библіографія и журналистика).

нева; иначе они были бы забыты на другой же день по прочтеніи. Совсѣмъ не то „Дымъ“, это произведеніе отличается тою же широтою замысла, тѣмъ же тенденціознымъ характеромъ, которые волновали насъ при чтеніи „Отцовъ и Дѣтей“ и „Наканунѣ“, гдѣ встрѣчались такія великолѣпныя картины нашего общественнаго быта, такой безпощадный анализъ нашихъ временныхъ увлеченій и, рядомъ съ любовью къ Россіи, такое суровое слово правды. Послѣднія произведенія г. Тургенева (мы разумѣемъ его капитальныя произведенія) являлись съ его стороны настоящими гражданскими подвигами: онъ не боялся разоблачать въ нихъ пошлость тѣхъ системъ, ученій и утопій, которыми въ данный моментъ увлекалась молодежь. Такъ, въ 1862 г., когда всеотрицаніе, какъ эпидемія, овладѣвало юными умами, г. Тургеневъ показалъ плоды его въ образахъ Базарова и Кукшиной; онъ, не задумавшись, снялъ съ нигилизма надѣтую имъ на себя привлекательную маску и предъ всѣми обнажилъ его внутреннее безобразіе, хотя и сдѣлалъ это со всею мягкостью, на которую способно его тонкое перо.

Первыя страницы новаго произведенія г. Тургенева обѣщаютъ, повидимому, такія же капитальныя достоинства. Тутъ достается отъ автора такъ-называемымъ республиканцамъ, реформаторамъ и либераламъ, достойнымъ сынамъ того самаго нигилизма, отъ котораго съ презрѣніемъ отвертываются нынѣ его же прежніе адепты. Лучше всякихъ изслѣдованій любой спеціальной комиссіи, г. Тургеневъ изображаетъ среду нашихъ „заговорщиковъ“. Глава ихъ и повелитель, нѣкто Губаревъ, господинъ наружности почтенной и немного туповатой, лобастый, глазастый, губастый, бородатый, съ широкой шеею, съ косвеннымъ, внизъ устремленнымъ взглядомъ; у него въ привычкѣ постоянно расхаживать взадъ и впередъ по комнатѣ, медленно и странно переваливаясь, какъ бы крадучись к то и дѣло подергивая и почесывая бороду концами длинныхъ и твердыхъ ногтей. Ораторъ Губаревъ плохой: онъ только мычитъ да изрѣдка вставляетъ какое-нибудь особенно рѣзкое

слово. Не по дарованіямъ, способностямъ, или характеру возымѣлъ Губаревъ несомнѣнное вліяніе на всѣхъ его окружающихъ, а единственно дѣйствіемъ своей воли и въ силу рѣшительнаго недостатка ея, по мнѣнію г. Тургенева, вообще у насъ, русскихъ: „захотѣлъ г. Губаревъ быть начальникомъ, и всѣ его начальникомъ признали“, какъ выражается Потугинъ, одно изъ дѣйствующихъ лицъ новой повѣсти. „Привычка рабства, какъ говоритъ тотъ же Потугинъ, слишкомъ глубоко въ насъ внѣдрилась, и намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ; бариномъ этимъ бываетъ или живой субъектъ или какое-нибудь направленіе — такъ, напримѣръ, мы всѣ недавно къ естественнымъ наукамъ въ кабалу записались. Но вотъ новый баринъ народится, тогда стараго долой. То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ: въ ухо Якова, въ ноги Сидору! Губаревъ высокаго о себѣ мнѣнія, вѣритъ въ себя, приказываетъ — главное приказываетъ; стало быть, онъ правъ, и слушаться его надо“. Нѣсколько лѣтъ неограниченно царилъ въ Гейдельбергѣ Губаревъ надъ неразвитою молодежью изъ русскихъ; оставаясь самъ въ сторонѣ, разсылалъ онъ своихъ приверженцевъ на разныя дурачества: пропаганду республиканскую проповѣдывать, швейными машинами всѣхъ женщинъ запасаться заставлять, чтобъ всѣ они вдругъ независимы стали, и на иныя, болѣе опасныя и преступныя затѣи. „Всѣ будутъ въ свое время потребованы къ отчету, пророческимъ тономъ произноситъ Губаревъ: — со всѣхъ взыщется!“ Но вотъ грянулъ громъ; многихъ позабрали „подъ сюркупъ“, а Губаревъ и тутъ остался въ сторонѣ. Молодежь отчасти напугалась, отчасти протрезвилась, и роль Губарева кончилась: онъ вернулся въ Россію и снова сталъ тѣмъ, чѣмъ всегда былъ по своей натурѣ — дантистомъ - помѣщикомъ. Отъ прежняго либерализма его не осталось и слѣда, да этого либерализма никогда и не было у него, ни въ его убѣжденіяхъ ни въ отношеніяхъ его съ соумышленниками. Вообще, не только либеральныхъ, но и какихъ бы то ни было убѣжденій напрасно стали бы вы искать въ средѣ этихъ республиканцевъ, состоявшей изъ безграничнo-глупой г-жи Суханчи-

ковой, жирнаго наглеца Биндасова, да рьянаго Ворошилова (изъ кадетъ), незнающаго что дѣлать изъ своей начитанности и какъ-то умѣющаго единымъ духомъ, чуть не захлебываясь, назвать Дрепера, Фиргофа, г. Шелгунова, Биша, Гельмгольца, Стара, Стура, Реймонта, Іоганна Миллера физіолога, Іоганна Миллера историка, Тена, Ренана, г. Щапова, а потомъ Томаса Ниша, Пиля, Грина, и на вопросъ о послѣднихъ трехъ, что это за птицы, хлёстко отвѣчать: „предшественники Шекспира, относящіеся въ нему, какъ отроги Альпъ къ Монблану! Какая-то наивная самоувѣренность, круглое невѣжество во всемъ, что касается истинныхъ условій внутренняго быта Россіи—главнаго, повидимому, предмета ихъ дѣятельности, или, точнѣе, ихъ словоизверженій; безграничная и безусловная нетерпимость ко всему, что выше ихъ; при этомъ совершенное, можно сказать, невинное безсиліе и безхарактерность—вотъ отличительныя черты нашихъ республиканцевъ, такъ недавно еще служившихъ пугалами для высшихъ сферъ нашего общества. Собираясь у Губарева, чтобъ обсуждать предстоящія имъ, будто бы, соціальныя задачи, они такъ логически вели свою бесѣду, что подъ конецъ сами уже себя не понимали: „и что, бишь, я такое говорилъ?“ твердилъ одинъ; „да съ кѣмъ же я это сейчасъ спорилъ, и о чемъ?“ спрашивалъ другой.

Такая ли среда можетъ внушать серьезныя опасенія? Эти ли болтуны могутъ въ самомъ дѣлѣ составлять заговоры? Только на болтовню ихъ и хватитъ, или на такія безумныя и одинокія выходки, что въ одномъ лишь общественномъ мнѣніи можетъ заключаться самая дѣйствительная для нихъ кара. Но далеко не лишена своего значенія возможность существованія въ Россіи такой жалкой среды, она имѣетъ серьезное значеніе, но только не съ той стороны, какъ многіе у насъ полагаютъ. Не политическія замашки этой среды, не дѣтскія ея попытки къ заговорамъ должны наводить умъ на печальныя размышленія, а именно та пустота, умственная немощь, та безхарактерность и безсознательность дѣйствій, которыми отличаются не одни

эти недоучившіеся либералы, но и большинство нашего общества, причемъ высшіе его слои чуть ли еще не въ большей мѣрѣ, чѣмъ эти Бендасовы и Ворошиловы. Отсутствіе воли, самостоятельности во взглядахъ, словомъ, отсутствіе самосознанія составляетъ почти общую болѣзнь всѣхъ насъ, русскихъ; въ немъ, въ этомъ отсутствіи, — причина всѣхъ нашихъ внутреннихъ неурядицъ, отчасти минувшихъ уже, отчасти еще существующихъ; въ немъ причина недостаточнаго уваженія къ намъ извнѣ, несмотря на громаду матеріальныхъ средствъ, которыми мы располагаемъ; въ немъ же, наконецъ, причина того, что наша наука, наши искусства, наша поэзія до сихъ поръ еще не утвердили за собою общечеловѣческаго значенія.

Рядомъ съ губаревскимъ кружкомъ, г. Тургеневъ рисуетъ въ своей повѣсти и другой кружокъ, кружокъ высшаго цвѣта нашей аристократіи, кружокъ гвардейскихъ титулованныхъ генераловъ, значительныхъ дипломатовъ, дѣльцовъ и чуть не государственныхъ людей, пребывающихъ въ отпуску за границею. И что же? Кружокъ этотъ не далеко ушелъ отъ губаревскаго. Если губаревцы хотятъ дѣйствовать заговорами, то члены того высшаго, аристократическаго кружка дѣйствуютъ интригою, обходя другъ друга и подставляя другъ другу ногу. Если губаревецъ кричитъ, что нужно сломать все существующее, а на мѣсто прежняго порядка установить спеціальную фаланстерію, то гвардейскій аристократъ считаетъ своею обязанностью „съ покорностью указывать перстомъ гражданина на бездну, куда все стремится“, онъ считаетъ своею обязанностью „съ почтительною твердостью предостерегать и говорить, что надо воротиться, воротиться назадъ, совсѣмъ назадъ, и чѣмъ дальше назадъ, тѣмъ лучше“, т. е. уничтожить новые гласные суды, да возстановить крѣпостное право, а то, помилуйте—„дворянскія имѣнія съ аукціона продавать приходится!“ Таковы, незначительныя на нашъ взглядъ, различія между нашими карбонаріями и нашими „мужами совѣта“, считающими себя столпами государства, какъ ихъ считаетъ г. Тургеневъ, причемъ „почтительное предосте-

реженіе“ чуть ли еще не почище будетъ чѣмъ огневыя, но безтолковыя рѣчи губаревцевъ. Пустота же обоихъ кружковъ совершенно одинакова, и они напрасно пылаютъ другъ къ другу взаимною ненавистью. Вотъ какими чертами изображаетъ г. Тургеневъ нашихъ аристократовъ въ Баден-Баденѣ:

„Къ русскому дереву—a l'arbre russe—обычнымъ порядкомъ собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы; подходили они пышно, небрежно, модно, привѣтствовали другъ друга величественно, изящно, развязно, какъ оно и слѣдуетъ существамъ, находящимся на самой высшей вершинѣ современнаго образованія; но сойдясь и усѣвшись, рѣшительно не знали, что сказать другъ другу, и пробавлялись либо дряненькимъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее, либо затасканными, крайне пахальными и крайне плоскими выходками давнымъ давно выдохшагося французскаго экс-литератора, въ жидовскихъ башмачкахъ на мизерныхъ ножкахъ, съ бородкой на паскудной мордочкѣ, шута и болтуна. Онъ имъ вралъ, à ces princes russes, всякую прѣсную дребедень изъ старыхъ альманаховъ Шаривари и Тентамарра, а они, ces princes russes, заливались благодарнымъ смѣхомъ, какъ бы невольно сознавая подавляющее превосходство чужестраннаго умника и собственную окончательную неспособность придумать что-нибудь забавное. А между тѣмъ, тутъ была почти вся „fine fleur“ нашего общества, „вся знать и моды образцы“. Тутъ былъ графъ X., нашъ несравненный дилетантъ, глубокая музыкальная натура, который такъ божественно „сказываетъ“ романсы, а въ сущности двухъ нотъ разобрать не можетъ, не тыкая вкось и вкривь указательнымъ пальцемъ по клавишамъ, и поетъ не то какъ плохой цыганъ, не то какъ парижскій куаферъ; тутъ былъ и нашъ восхитительный баронъ Z, этотъ мастеръ на всѣ руки: и литераторъ, и администраторъ, и ораторъ, и шулеръ; тутъ былъ и князь V, другъ религіи и народа, составившій себѣ, во время оно, въ блаженную эпоху откупа, громадное состояніе продажею сивухи, подмѣшанной дурманомъ;

и блестящій генералъ О. О., который что-то покорилъ, кого-то усмирилъ, и вотъ, однако, не знаетъ, куда дѣться и чѣмъ себя зарекомендовать; и Р. Р., забавный толстякъ, который считаетъ себя очень больнымъ и очень умнымъ человѣкомъ, а здоровъ какъ быкъ и глупъ какъ пень... Тотъ же Р. Р. почти одинъ въ наше время еще сохранилъ преданія львовъ сороковыхъ годовъ, эпохи *героя нашего времени* и графини Воротынской. Онъ сохранилъ и походку въ раскачку на каблукахъ, и „*le culte de la pose*“ (по русски этого даже и сказать нельзя), и неестественную медлительность движеній, и сонную величественность выраженія на неподвижномъ, словно обожженномъ лицѣ, и привычку зѣвая перебивать чужую рѣчь, тщательно разсматривать собственные пальцы и ногти, смѣяться въ носъ, внезапно передвигать шляпу съ затылка на брови и т. д. Тутъ были и государственные люди, дипломаты, тузы съ европейскими именами, мужи совѣта и разума, воображающіе, что золотая булла издана папою, а что англійскій „poortax“ есть налогъ на бѣдныхъ; тутъ были, наконецъ, и рьяные но застѣнчивые поклонники камелій, свѣтскіе молодые львы съ превосходнѣйшими проборами на затылкахъ, съ прекрасными висячими бакенбардами, одѣтые въ настоящіе лондонскіе костюмы, молодые львы, которымъ, казалось, ничто не мѣшало быть такими же пошляками, какъ и пресловутый французскій говорунъ... но нѣтъ! не въ ходу, знать, у насъ родное, и графиня Ш., извѣстная законодательница модъ и гранжанра, прозванная злыми языками „царицей осъ“ и „Медузою въ чепцѣ“, предпочитала, въ отсутствіи говоруна, обращаться къ тутъ же вертѣвшимся итальянцамъ, молдаванцамъ, американскимъ „спиритамъ“, бойкимъ секретарямъ иностранныхъ посольствъ, нѣмчикамъ съ женоподобною, но ужъ осторожною физіономіею и т. п. Подражая примѣру графини, и княгиня *Babette*, та самая, у которой на рукахъ умеръ Шопенъ (въ Европѣ считаютъ около тысячи дамъ, на рукахъ которыхъ онъ испустилъ духъ), и княгиня Annette, которая всѣмъ бы взяла, если бъ по временамъ, внезапно, какъ запахъ капусты среди тончайшей

амбры, не проскакивала въ ней простая деревенская прачка; и княгиня Pachette, съ которою случилось такое несчастіе: мужъ ея попалъ на видное мѣсто и вдругъ, Dieu sait pourquoi, прибилъ городского голову и укралъ 20.000 р. с. казенныхъ денегъ; и смѣшливая княжна Зизи и слезливая княжна Зозо,—всѣ они оставляли въ сторонѣ своихъ земляковъ, немилостиво обходились съ ними...“

И такъ, вотъ каковы, по мнѣнію г. Тургенева, два противоположные полюса, два крайніе пункта нашего общества, которые, какъ и всякія крайности, сходятся между собою въ своихъ отличительныхъ чертахъ. Неужели таково и *все* наше общество? Неужели нѣтъ ни малѣйшаго просвѣта въ этой мрачной картинѣ? Въ прежнихъ своихъ произведеніяхъ г. Тургеневъ, бывало, никогда не оставлялъ читателя подъ вліяніемъ какого-либо современно безотраднаго чувства. Онъ бывалъ безпощаденъ къ нашимъ слабостямъ, но всегда указывалъ и спасительный исходъ изъ нихъ. Рядомъ съ отрицательнымъ изображеніемъ нашего общества въ данную минуту, у него всегда выводилась и положительная черта, положительная личность. Россія вся въ будущемъ, восклицалъ обыкновенно и г. Тургеневъ, вслѣдъ за другими нашими поэтами. Гдѣ же эти дѣятели будущаго, эти свѣтлыя, положительныя личности въ новой повѣсти г. Тургенева. Ужъ не Литвиновъ ли съ Потугинымъ? Авторъ рекомендуетъ ихъ людьми средняго состоянія, равно презирающими пошлость, откуда бы она ни шла, сверху ли, снизу ли; уважающими нравы и обычаи родной земли и учрежденія, установившіяся въ ней путемъ историческаго развитія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ понимающими необходимость прогресса и неукоснительнаго движенія впередъ; любящими Россію и все русское, осуждающими внѣшнее обезьянство и покорство модѣ, но, въ то же время признающими несомнѣнное благо общечеловѣческихъ условій цивилизаціи, принциповъ и учрежденій, вѣками выработанныхъ въ Западной Европѣ, каковы: свобода слова и собраній, независимость судебной власти, гласность и равноправность предъ судомъ, самоуправленіе, народное пред-

ставительство, чего, какъ огня страшатся всѣ эти тучные, снисходительные и прочіе генералы, очерченные авторомъ въ десятой главѣ его новой повѣсти. Такими кажутся Литвиновъ и Потугинъ на первый взглядъ и читателю. Но всмотритесь въ нихъ попристальнѣе. Потугинъ, во-первыхъ. Разглагольствованіямъ этого человѣка дано въ повѣсти чуть ли не самое видное мѣсто, и всѣ эти разглагольствованія пропитаны самымъ безграничнымъ, самымъ отчаяннымъ нигилизмомъ... по отношенію, впрочемъ, къ одной Россіи. Онъ все, рѣшительно все отрицаетъ у русскихъ: и народный характеръ, и смышленность, и чувство поэзіи, и чуть ли не самую жизнь. „Въ цѣлые десять вѣковъ, восклицаетъ онъ,—Русь ничего своего не выработала: ни въ управленіи, ни въ судѣ, ни въ наукѣ, ни въ искусствѣ, ни даже въ ремеслѣ! Старыя наши выдумки къ намъ приползли съ Востока; новыя мы съ грѣхомъ пополамъ съ Запада перетащили.“ Положимъ, желчныя рѣчи и мизантропическое настроеніе духа Потугина авторъ объясняетъ тѣмъ, что Потугинъ не безмятежно провелъ дни своей жизни, что онъ встрѣтилъ на пути горе и борьбу, не вынесъ ея, покорился и сталъ, подобно Якову Пасынкову, рабомъ своей преданной страсти къ горделивой красавицѣ Иринѣ, парящей въ высшихъ сферахъ петербургской аристократіи. Но едва ли одною неудачею въ любви можно объяснять такое возмутительно несправедливое отрицаніе всего хорошаго въ въ своемъ отечествѣ, и едва ли, отыскивая исхода изъ удушливой атмосферы великосвѣтскаго пустозвонства, съ одной стороны, и нигилистическаго отребья, съ другой, позволительно было остановиться—въ такой тенденціозной повѣсти, какъ „Дымъ“— на апатически-желчной личности Потугина. Нѣкоторыя изъ сужденій этого господина, пожалуй, метки и справедливы. Такъ, онъ совершенно основательно глумится надъ нашими самородками, которые, пренебрегая трудомъ и ученіемъ, безъ знаній и науки, считаютъ себя геніями, художниками, преобразователями. Намъ лично извѣстны многіе изъ такихъ самородковъ и самоучекъ. Почувствовавъ, напримѣръ, при-

званіе къ живописи, они вдругъ кидаютъ военную службу, гдѣ начинали ужъ было дѣлать себѣ карьеру, и поступаютъ въ академію художествъ; но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ они кидаютъ и академію, потому что и преподаваніе и профессоры кажутся имъ тамъ рутинными, мелкими и недостойными ихъ великаго таланта; тогда они хватаются за литературу, сразу разсчитывая сдѣлаться великими писателями, или за дипломатію, или за музыку, или за науку, и потомъ, нигдѣ не достигнувъ въ результатѣ ни славы ни прочнаго положенія, они обвиняютъ общество въ нежеланіи и неумѣніи оцѣнить ихъ геній и ихъ заслуги. Но можно ли это глумленіе заводить такъ далеко, чтобъ отрицать вообще всякое искусство въ Россіи, и Брюлова обзывать, какъ это дѣлаетъ Потугинъ, презрительнымъ эпитетомъ „пухлой ничтожности?“ „Русское пруженье я знаю (внушительно толкуетъ г. Потугинъ), и русское безсиліе тоже знаю, а съ русскимъ художествомъ, виноватъ, не встрѣчался.“ Отъ обвиненій въ преувеличеніи и мизантропіи Потугинъ отдѣлывается избитою и пошлою остротою, что онъ вмѣстѣ „и любитъ и ненавидитъ“ свою „странную, милую, скверную, дорогую“ родину, Россію... Потугинъ любитъ Россію! Любовь ли къ Россіи можетъ заставить такъ нагло лгать на нее, такъ мало знать ее, такъ безучастно относиться къ ея тревогамъ послѣдняго времени, къ ея внутренней, тяжелой борьбѣ? Потугинъ позволяетъ себѣ, между прочимъ, и такую выходку: „Посѣтилъ я нынѣшнею весною, говоритъ онъ Литвинову: — хрустальный дворецъ возлѣ Лондона; въ этомъ дворцѣ помѣщается, какъ вамъ извѣстно, нѣчто въ родѣ выставки всего, до чего достигла людская изобрѣтательность, энциклопедія человѣчества, такъ сказать надо. Ну-съ, расхаживалъ я, расхаживалъ мимо всѣхъ этихъ машинъ и орудій и статуй великихъ людей; и подумалъ я въ тѣ поры: если бъ такой вышелъ приказъ, что, вмѣстѣ съ исчезновеніемъ какого либо народа съ лица земли, немедленно должно было бы исчезнуть изъ хрустальнаго дворца все то, что тотъ народъ выдумалъ, — наша матушка Русь православная прова-

литься могла бы въ таръ-тарары, и ни одного гвоздика ни одной булавочки не потревожила бы, родная: все бы преспокойно осталось на своемъ мѣстѣ, потому что даже самоваръ, и лапти, и дуга, и кнутъ—эти наши знаменитые продукты не нами выдуманы. Подобнаго опыта даже съ Сандвичевскими островами произвести невозможно; тамошніе жители какія-то лодки да копья изобрѣли: посѣтители замѣтили бы ихъ отсутствіе.“ Такъ угодно разсуждать г. Потугину, а всѣ побывавшіе на нынѣшней всемірной выставкѣ въ Парижѣ согласно утверждаютъ, что русское отдѣленіе занимаетъ на ней одно изъ самыхъ видныхъ и почетныхъ мѣстъ. Потугинъ смѣетъ увѣрять, что любитъ Россію, и въ то же время ставитъ ее ниже Сандвичевыхъ острововъ!...

Неужели же самъ авторъ говоритъ устами этого Потугина? Неужели Потугинъ выведенъ въ повѣсти только какъ комментарій, какъ дополнительное объясненіе къ изображенію Россіи, взятой съ двухъ концовъ ея? Неужели г. Тургеневъ глядитъ на все русское общество такими же глазами, какими глядитъ его Потугинъ? Неужели продолжительнаго пребыванія за границею достаточно для того, чтобъ вырвать изъ сердца человѣка любовь къ Россіи, и чтобъ все русское стало ему чуждо, даже противно? Нѣтъ, вѣрить этому не хочется. Но почему же, въ такомъ случаѣ, потугинскія рѣчи отдѣланы въ повѣсти съ особеннымъ тщаніемъ, съ особенною, такъ сказать, любовью? почему авторъ ничѣмъ, ни малѣйшимъ намекомъ, не старается доказать ихъ несостоятельность? почему Потугинъ не выставленъ съ сатирической точки зрѣнія; а его же самого, напротивъ того, употребляетъ авторъ, какъ орудіе сатиры противъ губаревскаго кружка? Правда, наружность Потугина описана не совсѣмъ красивою, но глаза его названы „очень умными“, натура его „недюжинною“, и о рѣчахъ его сказано, что онъ „и любилъ и *умѣлъ* говорить.“ Правда, авторъ говоритъ, что жизнь успѣла уже многое повытравить изъ Потугина; но разбитое сердце и безнадежная рабская страсть не составляютъ еще комической фигуры, да и самъ г.

Тургеневъ относится къ страданіямъ Потугина не съ насмѣшкою, а съ соболѣзнованіемъ и симпатіею, какъ относился онъ и къ страданіямъ Пасынкова. Правда, авторъ заставляетъ иногда Литвинова возражать на особенно рѣзкія выходки Потугина; но это, во-первыхъ, дѣлается только въ видѣ самыхъ краткихъ репликъ, чтобъ дать Потугину возможность точнѣе и подробнѣе развить свою мысль, а во вторыхъ, Литвиновъ не только не всегда возражаетъ на рѣзкости Потугина, но вслѣдъ за нѣкоторыми изъ нихъ, даже *сочувственно* вздыхаетъ. Правда, въ извѣстный моментъ повѣсти, Литвинову дымомъ и чадомъ кажутся, въ числѣ многаго другого, мизантропическія рѣчи Потугина, и Литвинова изобразилъ авторъ еще болѣе сочувственною для себя фигурою, чѣмъ Потугина. Но... но посмотримъ же, что такое и этотъ Литвиновъ.

Дважды блистательная и страстная Ирина покоряла его своему магнетическому вліянію, и дважды спасала и протрезвляла его, по словамъ автора, его здоровая натура. Вотъ отчего, увѣряетъ насъ авторъ, дѣятельность его плодотворнѣе и сужденія снисходительнѣе. Не раздѣляя, будто бы, ни озлобленной ироніи ни немощнаго отчаянія помѣщиковъ, потрясенныхъ въ своемъ достаткѣ эмансипаціею, Литвиновъ терпѣливо, сдержанно (даже слишкомъ сдержанно) приводитъ мало по малу (въ самомъ концѣ повѣсти) въ порядокъ свое хозяйство; съ другой стороны, не утративъ вѣры въ людей изъ-за того только, что Ирина не бѣжала съ нимъ, и хотѣла имѣть его тайнымъ любовникомъ, онъ чрезъ нѣсколько времени возвращается къ своей прежней, тихой, мѣщанской любви, къ своей прежней скромной, но истинно и преданно любящей невѣстѣ. Такъ ли это? Точно ли сужденія Литвинова только снисходительны, и точно ли плодотворна его дѣятельность? Дымомъ кажутся Литвинову рѣчи Потугина въ то время, когда онъ, послѣ разрыва съ Ириной, возвращался въ Россію; въ это время все имъ испытанное и видѣнное, и самая любовь къ Ринѣ, и „консервативные“ толки генераловъ, и „либеральныя“ бредни „республиканцевъ“,—все, все каза-

лось ему дымомъ (отчего самая повѣсть названа „Дымомъ“), чадомъ, угаромъ, отъ котораго онъ радъ былъ освободиться. Но возьмемъ нѣсколько назадъ, и увидимъ, что достаточно было для него одного страстнаго взгляда, чтобъ онъ, человѣкъ положительный, прекрасный, человѣкъ мысли и чувства, беззастѣнчиво, безъ борьбы, безъ муки оттолкнулъ отъ себя любящую дѣвушку, имъ самимъ избранную въ подруги жизни и имъ же самимъ выписанную изъ Россіи: Татьяна (такъ зовутъ невѣсту Литвинова) и любовь къ ней тоже казалось, должно быть, въ это время Литвинову „дымомъ“, какъ потомъ дымомъ показалась ему любовь его къ Иринѣ, а когда онъ „вздыхалъ сочувственно“ въ отвѣтъ на рѣчи Потугина, то дымомъ же ему казалась и вся Россія, все русское, все родное... Нѣтъ, не снисходительностью отзываются сужденія Литвинова, а полнѣйшимъ безотраднѣйшимъ индифферентизмомъ. Безучастнымъ зрителемъ сидитъ онъ на пирушкѣ губаревцевъ; безучастнымъ зрителемъ присутствуетъ онъ на пикникѣ генераловъ; безучастно выслушиваетъ онъ сарказмы Потугина и только изъ вѣжливости даетъ на нихъ краткія и разсѣянныя реплики, а когда совсѣмъ не находится что сказать, то молчитъ или *сочувственно* вздыхаетъ. Дѣятельность Литвинова, говорите вы, плодотворна, и онъ, не впадая ни въ озлобленіе ни въ отчаяніе, устроилъ свое сельское хозяйство. Но, Боже мой! въ то время, когда болѣе всего необходимо было бы его присутствіе, когда отецъ изнемогалъ въ борьбѣ съ крестьянами, съ мировыми посредниками, съ ломкою стараго, съ тугими всходами новаго, Литвиновъ предавался за границею игрѣ въ любовь, и чтобъ игра эта была сподручнѣе, онъ даже невѣсту выписалъ себѣ въ Баденъ-Баденъ. Домой вернулся онъ уже тогда, когда отецъ его совсѣмъ ужъ „похилѣлъ и осунулся“, а дѣла были уже сильно разстроены; проскрипѣвъ еще нѣсколько недѣль, бѣдный старикъ, напрасно передъ тѣмъ много разъ звавшій къ себѣ сына, „сошелъ съ земного поприща“. Это ли свѣтлая личность нашего времени? Это ли дѣятель будущаго?..

Несмотря на внѣшнюю отдѣлку и полировку, въ повѣсти много недосказаннаго, и какъ бы умышленно недосказаннаго. Желая изобразить нашихъ „эмигрантовъ“, г. Тургеневъ очертилъ одного только Губарева, и ничего не сказалъ о тѣхъ личностяхъ, предъ которыми и самъ Губаревъ то же, что Ворошиловъ, къ которымъ и самъ Губаревъ относится или относился съ раболѣпствомъ. Желая представить въ мрачномъ свѣтѣ высшіе, правящіе слои нашего общества, авторъ ограничился однѣми общими чертами великосвѣтской пустоты — явленія весьма обыкновеннаго и во всѣхъ другихъ странахъ (кромѣ развѣ одной Англіи), явленія, которое и до него всласть уже изображали намъ нѣкоторые изъ нашихъ писателей. Эта пустота не мѣшаетъ и въ Россіи быть истиннымъ государственнымъ людямъ, и если изъ высшихъ сферъ идетъ иногда давленіе, которымъ задерживается свободное развитіе свѣжихъ силъ, то оно идетъ отъ людей, гораздо болѣе серьезныхъ, чѣмъ всѣ эти тучные и снисходительные генералы. Но г. Тургеневъ ни единымъ словомъ не упомянулъ объ этихъ силахъ, какъ ничего не сказалъ и о тѣхъ истинныхъ патріотахъ, о тѣхъ достойныхъ труженикахъ, которые, имѣя въ виду дѣйствительное благо Россіи, неустанно борятся съ ежедневными и ежеминутными противодѣйствіями... Даже и по отношенію къ самой фабулѣ, для нѣкоторыхъ лицъ и нѣкоторыхъ фактовъ желалось бы большаго развитія. Богатая натура Ирины совсѣмъ изуродована вреднымъ вліяніемъ аристократической среды, а между тѣмъ, внутренній міръ Ирины раскрытъ слишкомъ недостаточно; тотъ правдивый фактъ, что она тяготилась пустотою великосвѣтской жизни и, въ то же время, не въ силахъ была отъ нея оторваться, остался только намѣченнымъ, но необъясненнымъ, потому что совсѣмъ не подвергнута анализу петербургская жизнь Ирины въ великосвѣтскомъ кругу, ни ея замужество (за благоухающаго генерала Ратмирова) ни ея отношенія къ мужу...

Вообще повѣсть производитъ какое то смутное, тяжелое, безотрадное впечатлѣніе. Вы ждете вѣрной картины пы-

нѣшняго, въ высшей степени интереснаго, состоянія русскаго общества, и вдругъ васъ дарятъ „Дымомъ“! Россія переживаетъ тревожныя минуты, она ведетъ борьбу на жизнь и на смерть, ей нужны работники, нужны люди, а Потугины, да Литвиновы болтаются по Баденъ-Бадену и Парижу, лелѣютъ свои мелкія страстишки, забываютъ интересы своей родины и съ грязнымъ цинизмомъ раскрываютъ передъ публикою свой индиферентизмъ и свое невѣжество! Не съ любовью глядитъ г. Тургеневъ на Россію „изъ своего прекраснаго далека“; презрѣніемъ мещетъ онъ въ нее оттуда! Да, безотрадное впечатлѣніе производитъ на читателя его послѣдняя повѣсть. Не даромъ названа она „Дымомъ“: она, какъ дымъ, ѣстъ глаза и дурманитъ голову. Богъ да сохранитъ отъ ея чада и угара впечатлительныя головы нашей читающей молодежи! Россія еще не такъ дурна, какъ изображаетъ ее теперь г. Тургеневъ. Онъ бы, вѣроятно, и самъ съ этимъ согласился, если бъ не отвыкъ отъ нея и узналъ ее покороче...

„Голосъ“ 1867 г.

* * *

*) Въ *Дымѣ*, оставляя въ сторонѣ любовную исторію Литвинова и Ирины, изображена компанія нигилистовъ, съ одной стороны, и компанія генераловъ — съ другой. Оказывается, что обѣ компаніи одна другой стоятъ. Говорятъ: крайности сходятся, и эта пословица оправдывается и здѣсь.

Если оказывается, что въ генералахъ, подъ внѣшнимъ лоскомъ, скрываются такъ-называемые „дантисты“, то и нигилисты, а всего болѣе главный изъ нихъ Губаревъ, уже безо всякаго внѣшняго лоска, тоже — „дантисты“. И убѣдившись въ этомъ, авторъ приходитъ къ тому заключенію, что все — „дымъ“, что нѣтъ никакого движенія въ русской жизни, а есть лишь броженіе и безплодный шумъ, производимый „дантистами“, изъ которыхъ одни пошли въ

*) Ю. Николаевъ. „Тургеневъ“. М. 1894 г.

генералы, а другіе—въ нигилисты. И такъ все „дымъ“, и въ Россіи есть только либо генералы, подобные Ратмирову и его компаніи, либо нигилисты, подобные Губареву и его компаніи: они „дѣлаютъ исторіи“. Такова мораль басни.

Что же не „дымъ“, что же у насъ есть положительнаго, чѣмъ же мы живемъ и движемся, отчего до сихъ поръ стоитъ и не развалилась Россія, ибо если все въ ней „дымъ“, то какъ же ей стоять и не развалиться? Это положительное представляетъ собою Созонтъ Ивановичъ Потугинъ и его идеи. Кто же такое этотъ Потугинъ? Да онъ и есть представитель и выразитель того общества, плотью отъ плоти и костью отъ костей котораго былъ самъ Тургеневъ, общества, въ сущности индифферентнаго ко всему, но усвоившаго себѣ — не европейскую цивилизацію, — а европейскіе вкусы, моды, обычаи-приличія, чувства и понятія, общества, которое знаетъ только поверхность русской жизни, а не глубину ея, которое, не подозрѣвая этой глубины, именно тому, что совершается на поверхности, придаетъ важное и рѣшающее значеніе, общества, которое убѣжденно, что исторію дѣлаютъ въ петербургскихъ канцеляріяхъ да въ петербургскихъ же „кружкахъ“ всевозможныхъ направленій. Вотъ почему какъ только это общество разочаруется въ петербургскихъ канцеляріяхъ и кружкахъ, оно разочаровывается и въ самой Россіи. Россія для него сосредоточена именно здѣсь, въ петербургской сутолкѣ.

Въ своей *Литературной автографіи* Тургеневъ пишетъ: „*Дымъ* хотя успѣхъ имѣлъ довольно значительный, однако возбудилъ противъ меня большое негодованіе. Особенно сильны были упреки въ недостаткѣ патріотизма, въ оскорбленіи родного края и т. п.“ „Оказалось“, продолжаетъ онъ, — „что я одинаково, хотя и съ различныхъ точекъ зрѣнія, оскорбилъ и правую и лѣвую сторону нашей читающей публики“.

Такимъ образомъ можно подумать, что въ *Дымѣ* было высказано новое слово, соединившее во враждѣ противъ

себя, — во враждѣ непониманія, обѣ стороны русскаго общества, и правую и лѣвую. Такіе случаи бывали. Такъ было съ Пушкинымъ, такъ было съ Гоголемъ, но не такъ было съ Тургеневымъ. Онъ вывелъ въ своемъ романѣ шалопаевъ изъ петербургскихъ кружковъ и изъ петербургскихъ канцелярій—очень понятно, что и тѣ и другіе шалопаи обидѣлись и выразили негодованіе противъ Тургенева. Но въ романѣ, кромѣ того, была высказана и общая идея, заключавшаяся въ отрицаніи Россіи, въ отрицаніи ея культурнаго значенія. Эту идею, высказанную въ романѣ, порицали и люди серіозные, порицали они Тургенева за поверхностное его отношеніе къ вопросу чрезвычайной важности. Но въ концѣ концовъ, Тургеневъ въ *Дымѣ*, какъ и всегда, подсказалъ обществу, той золотой срединѣ, рыхлой и индифферентной, его симпатіи и антипатіи. Ко времени появленія *Дыма* общество уже успѣло разочароваться въ движеніи, которое происходило на поверхности русской жизни — успѣло разочароваться въ нигилизмѣ, въ естественныхъ наукахъ, въ „новыхъ людяхъ“, во всей ихъ болтовнѣ—и Тургеневъ тотчасъ же выразилъ это общественное настроеніе. Вотъ они „новые люди“, сказалъ онъ въ *Дымѣ*, вотъ они тѣ, которые столько шумѣли и обѣщали, но ничего не сдѣлали, да и не могутъ сдѣлать, вотъ она—наша „партія дѣйствія“.

Все это прекрасно: Тургеневъ разоблачилъ миражное явленіе. Но такъ какъ общество придавало чрезвычайно важное значеніе всему этому шуму, происходившему на поверхности, всѣмъ этимъ „новымъ людямъ“, модѣ на естественныя науки и на политику, то разочаровавшись въ этомъ миражномъ явленіи, оно разочаровалось и въ самой Россіи. Это разочарованіе Тургеневъ и выразилъ въ своемъ романѣ. Выразилъ онъ именно такъ, какъ оно выражалось въ обществѣ — то-есть чрезвычайно комично. И дѣйствительно, фигура Потугина, который является представителемъ этого общества, такъ сказать, резонеромъ піесы, — фигура въ высшей степени комичная. Онъ комиченъ и своею совершенною умственною безпо-

мощностью, и тою забавною важностью, съ которою высказываетъ мнѣнія, высиженныя имъ въ продолженіе долгихъ часовъ томленія въ петербургской канцеляріи. Глядя изъ своего окошка, онъ увѣренъ, что только и свѣтъ въ этомъ окошкѣ. А изъ этого окошка онъ видѣлъ всего-навсего петербургскіе кружки, да петербургскія канцеляріи. Онъ ликовалъ со всѣмъ обществомъ, когда въ концѣ пятидесятыхъ годовъ начали проявлять себя наши „молодыя силы“, онъ ликовалъ по случаю нашего „возрожденія“, а Россія со всѣмъ ея прошлымъ, великимъ, трагическимъ представлялась ему просто пустымъ мѣстомъ. Все что происходило до этого „возрожденія“, до этого появленія, какъ казалось Потугинымъ, откуда-то изъ безвоздушнаго пространства, „молодыхъ силъ“,—все это представлялось не заслуживающимъ внаманія. Въ ихъ глазахъ культурный ростъ Россіи только вотъ теперь, сейчасъ начинается, именно здѣсь въ петербургскихъ кружкахъ всевозможныхъ оттѣнковъ.

Потугины не вѣрили въ Россію, въ ея духовную мощь, но вѣрили миражу, которымъ на поверхности отразился переломъ въ нашей исторической жизни, совершившійся въ концѣ пятидесятыхъ годовъ — вотъ въ чемъ все дѣло. Они не вѣрили въ Россію, создавшую Петра Великаго, создавшую Ломоносовыхъ и Карамзиныхъ, Пушкиныхъ и Гоголей, и ожидали какой-то новой Россіи, которая все начнетъ съ начала. Они думали, что вотъ теперь, въ этой новой Россіи, появятся подлинные европейцы. И когда оказалось, что, вмѣсто Европейцевъ, появилась всего только Губаревская компанія, взявшая на себя представлять эту новую Россію,—Потугины разочаровались въ Россіи, объявили, что она ничего не можетъ создать, кромѣ этихъ Губаревыхъ и Ворошиловыхъ.

Тургеневъ былъ увѣренъ, что написалъ свой романъ противъ славянофиловъ. Потугинъ тоже увѣренъ, что онъ говоритъ противъ славянофиловъ, критикуетъ ихъ. Но въ дѣйствительности вышло не такъ. Славянофилы предъявили къ Россіи, къ русскому народу огромное требованіе:

они думали, что народъ нашъ можетъ и долженъ создать самобытную культуру; они видѣли основаніе своего требованія и оправданіе своихъ чаяній во многострадательномъ историческомъ подвигѣ русскаго народа, въ пройденномъ уже имъ пути. Они думали, что народъ, который сохранилъ свою нравственную физіономію, сохранилъ неприкосновенною свою душу среди тяжкихъ историческихъ испытаній, можетъ и долженъ создать свою культуру. Такъ думали славянофилы. Потугины должны были бы видѣть и иное, чего не видѣли славянофилы: а именно, что созданіе русской культуры уже начато Петромъ Великимъ, что уже наша культурная мощь, выразилась въ нашей художественной литературѣ. Но вотъ этого-то они не видѣли и не хотѣли видѣть. Увѣренные, что вся культурная жизнь Россіи сосредоточена въ только-что появившихся, „по щучьему велѣнію, по моему прошенію“, „молодыхъ силахъ“, они, предъявляя свои требованія къ Россіи, становятся въ безконечно-комическое положеніе. Пробу культурной мощи Русскаго народа они видятъ не въ томъ, что изъ этого народа уже вышли Ломоносовы, Пушкины и Гоголи, а... въ зерносушилкѣ. „Выдумайте зерносушилку“, говоритъ Потугинъ,—„и я вамъ повѣрю“, т. е. повѣритъ въ культурныя способности „молодыхъ силъ“. Русскій народъ „выдумалъ“ Петра, Ломоносова, Пушкина—и Потугинъ не вѣритъ въ его культурную силу, а какъ только Губаревская компанія выдумаетъ зерносушилку, такъ онъ тотчасъ же и повѣритъ въ культурную силу этой компаніи.

Потугины, увѣровавъ въ Европу, но въ Европу *вообще*, въ цивилизацію *вообще*, проникнись и европейской вѣрой въ безконечный прогрессъ. Вотъ почему они не понимаютъ, въ чемъ заключается органическое развитіе народа, и видятъ прогрессъ только въ механической смѣнѣ поколѣній. Отсюда та важность, которую они придаютъ броженію происходящему на поверхности; для нихъ это броженіе не симптомъ болѣзни историческаго роста, а явленіе прогресса. Вотъ почему они такъ скоро приходятъ въ восторгъ и такъ скоро разочаровываются, вотъ почему они прини-

маютъ миражъ за дѣйствительность, вотъ почему они попадаютъ въ положеніе въ высшей степени комическое. Надо учиться у Европы, говорятъ они, — но не знаютъ чему. Въ Европѣ мы видимъ вѣковую культуру — видимъ и послѣдній фазисъ этой культуры, быть-можетъ знаменующій начало разложенія. У кого же намъ учиться въ Европѣ? У Канта или у Бюхнера? Чему учиться? Легитимизму или соціализму, піетизму или безбожію? Всѣ эти вопросы Потугины оставляютъ безъ отвѣта; они говорятъ: Европа, цивилизація—и только. Но вѣдь это общія мѣста—не болѣе. Какъ только разсужденія ихъ выходятъ изъ области общихъ мѣстъ, такъ они отвѣчаютъ: „выдумайте зерносушилку“. Имъ больше и нечего отвѣчать, потому что дѣло у нихъ идетъ не о Русскомъ народѣ, не объ его культурномъ ростѣ, а о миражныхъ явленіяхъ, которыя они принимаютъ за дѣйствительность. А разъ это такъ, то имъ уже и не возможно избѣжать увлеченія миражами. Сегодня разсѣется одинъ миражъ, завтра возникнетъ другой, и они снова побѣгутъ за нимъ; сегодня однѣ „молодыя силы“, знаменующія собою „прогрессъ“, окажутся несостоятельными, завтра появятся другія „молодыя силы“, снова знаменующія собою прогрессъ, и Потугины снова увлекутся ими. И такъ до безконечности. Для Потугиныхъ не существуетъ преемственности преданія, въ которомъ заключается единственная правильная мѣра историческаго развитія, и они всякую болѣзнь историческаго роста непремѣнно станутъ принимать за явленіе прогресса.

Ю. Николаевъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА „ДЫМА".

Литвиновъ.

*) Литвиновъ является наблюдателемъ нравовъ баденъ-баденскаго нигилизма du grand monde—наблюдателемъ, въ свою очередь, приходящимъ въ ужасъ. Но что же такое онъ самъ—не *новый* ли человѣкъ? Литвиновъ, несомнѣнно, со стремленіями къ дѣльности, къ производительному труду въ духѣ новыхъ потребностей, и даже къ народности—не въ любозвоновскомъ или ситниковскомъ, не въ пустозвонномъ, а въ дѣльномъ смыслѣ. Но все же онъ—слабая личность, человѣкъ, чуть не поставившій жизни на карту женской любви, слишкомъ долго служившій игрушкою какой нибудь великосвѣтской Ириѣ.

О. Миллеръ.

* * *

**) Литвиновъ, несмотря на множество добрыхъ качествъ, которыми наградилъ его авторъ, лицо довольно блѣдное. Онъ много говоритъ умныхъ вещей, сильно чувствуетъ, но въ немъ мало жизни, ему не достаетъ красокъ. Хотя по назначенію своему онъ и дѣловой человѣкъ, технологъ, но къ сущности принадлежитъ къ разряду лишнихъ людей. По его жизни также проѣхала колесомъ непрошеная страсть, и если онъ уцѣлѣлъ, то это не въ силу своей натуры, а благодаря добротѣ автора, женившаго его подъ конецъ на скромной дѣвушкѣ. Литвиновъ когда-то въ годы студенчества любимъ былъ Ириной; но она, разъ попавъ на великосвѣтскій балъ, до того была ослѣплена успѣхомъ, который произвела ея красота, что сейчасъ же согласилась на предложеніе своего знатнаго родственника князя—переѣхать въ Петербургъ. Вихрь свѣтской жизни увлекъ такимъ

*) О. Миллеръ. „Бесѣда" 1871 г., № 12. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя". Спб. 1890 г."

**) Н. Соловьевъ. „Искусство и Жизнь", ч. 2. М. 1869 г.

образомъ отъ него Ирину; послѣ она вышла замужъ за молодого генерала. Въ этомъ-то положеніи десять лѣтъ спустя и встрѣтилъ ее Литвиновъ въ Баденъ-Баденѣ. Старая привязанность вспыхнула, и вышелъ романъ.

Н. Соловьевъ.

* * *

*) По всей вѣроятности, г. Тургеневъ въ поступкѣ Литвинова хотѣлъ изобразить героизмъ, что вотъ, молъ, человѣкъ съ какими силами: ужъ если полюбилъ, то полюбилъ такъ сильно, что долженъ былъ оставить и университетъ и Москву, чтобы вылѣчиться отъ своей страсти. А вышелъ-то вовсе не сильный человѣкъ, а какое-то дрянцо, которое не могло раздѣлаться съ любовьишкою, когда окончательно разочаровалось въ этой страстишкѣ. Было наивное время, когда считали героями тѣхъ праздныхъ и дрянныхъ фатовъ, которые, въ отчаяніи отъ неудачной любви, уѣзжали на тотъ гибельный Кавказъ или пускались во всѣ тяжкія. Было время, когда сильная страсть къ женщинѣ, доводящая человѣка до сумасшествія или до самоубійства, почиталась признакомъ избранной натуры. Но это время давно миновало, и такія вулканическія страсти возбуждаютъ нынѣ одинъ смѣхъ. Онѣ служатъ признакомъ, что человѣкъ живетъ исключительно жизнію самца и что у него нѣтъ другихъ страстей, которыя уравновѣшивали бы половыя наклонности и не давали бы человѣку забываться до чертиковъ. Такой человѣкъ похожъ на корабль безъ балласта и безъ руля. Онъ носится взадъ и впередъ по волнамъ, куда подуетъ вѣтеръ, и малѣйшій шквалъ можетъ перевернуть его кверху дномъ...“

Продолжая далѣе разсуждать о неустойчивости Литвинова при встрѣчѣ съ Ириною въ Баденъ-Баденѣ, г. Скабичевскій говоритъ: „Увы, прощай и технологія, и агрономія, и мечта быть полезнымъ всему краю, и Татьяна! Стопло

*) А. Скабичевскій. „Отечественныя записки“ 1868 г., № 1. Также Сочиненія А. Скабичевскаго. Спб. 1890 г.

Иринѣ немного пококетничать съ нимъ для того, чтобъ онъ написалъ къ ней такое письмо:

„Моя невѣста уѣхала вчера; мы съ нею никогда больше не увидимся... Я даже не знаю навѣрное, гдѣ она жить будетъ. Она унесла съ собою все, что мнѣ до сихъ поръ казалось желаннымъ и дорогимъ; всѣ мои предположенія, планы, намѣренія исчезли вмѣстѣ съ нею; самые труды мои пропали, продолжительная работа обратилась въ ничто, всѣ мои занятія не имѣютъ никакого смысла и примѣненія; все это умерло, мое я, мое прежнее я умерло и похоронено со вчерашняго дня. Я это ясно чувствую, вижу, знаю... и нисколько объ этомъ не жалѣю. Не для того, чтобъ жаловаться, заговорилъ я объ этомъ съ тобою. Мнѣ ли жаловаться, когда ты меня любишь, Ирина! Я только хотѣлъ сказать тебѣ, что изъ всего этого мертваго прошедшаго, изъ всѣхъ этихъ, въ дымъ и прахъ обратившихся начинаній и надеждъ, осталось одно живое, несокрушимое: моя любовь къ тебѣ. Кромѣ этой любви, у меня ничего нѣтъ и не осталось; назвать ее моимъ единственнымъ сокровищемъ было бы недостаточно; я весь въ этой любви, эта любовь—весь я; въ ней мое будущее, мое призваніе, моя святыня, моя родина!“... Въ этомъ письмѣ Литвиновъ прекрасно высказался весь, до самаго нутра. Тутъ уже не приходится дѣлать никакихъ предположеній, потому что на лицо факты. Литвиновъ самъ говоритъ, что единственно живое въ его душѣ—любовь къ Иринѣ, а остальное все, т. е., его труды, начинанія, планы, его любовь къ Татьянѣ—все это разсѣялось, какъ нѣчто мертвое. И онъ имѣетъ полное право называть все это мертвымъ: да, дѣйствительно, только любовь къ Иринѣ была живою страстью въ его душѣ; остальное все было мертвое; потому что было надуманное, плодъ холоднаго принципа и усилій воли, посредствомъ которыхъ Литвиновъ принуждалъ себя къ своимъ трудамъ. Если бы это было не такъ, то Литвинову не легко было бы раздѣлаться со всѣмъ этимъ; какъ бы ни была сильна страсть его къ Иринѣ, другія страсти заявили бы свое; въ немъ была бы борьба, по крайней

мѣрѣ... Кой-какую борьбу вы еще замѣчаете въ немъ относительно разрыва съ Татьяной; но что касается до его трудовъ и плановъ, то онъ бросаетъ ихъ, очертя голову, нисколько не раскаиваясь въ этомъ. Мало того, онъ, пристрастившійся къ хозяйству, онъ, только что получившій письмо отъ отца, что имѣнье его въ крайнемъ разстройствѣ, мечтаетъ еще болѣе разстроить его продажею лѣса и разныхъ угодій для того, чтобы ѣхать съ Ириною куда-то въ Бельгію или Швейцарію.

А. Скабичевскій.

* * *

*) Характеръ Литвинова важенъ и любопытенъ, въ смыслѣ изъясненія нѣкоторыхъ сторонъ современной нашей исторіи. Къ нему одному Ирина подошла простой, любящей, отчасти даже молящей женщиной, этого было довольно, чтобы раскрыть прежнія раны его сердца. Да это еще бы ничего. Приближенія ея достаточно было, чтобы уничтожить всѣ здоровыя жизненныя начала и правила, выработанныя имъ съ такимъ трудомъ дома и за границей. Онъ мгновенно сдѣлался тѣмъ, чѣмъ мы его видимъ. Очевидно, честный, строгій къ себѣ и размышляющій Литвиновъ принадлежитъ къ числу русскихъ людей, которыхъ всегда можно застать *въ расплохъ*. Воспоминаніе о первой любви еще плохо объясняетъ въ немъ ту невыразимую степень увлеченія, какой онъ поддался: все-таки по ней прошелъ уже долгій промежутокъ времени, занятый серьезнымъ трудомъ, что должно было умѣрить ея ходъ... Авторъ романа, очевидно, имѣлъ въ виду представить знакомое намъ лицо, русскаго человѣка, приготовляющагося къ какой-то задачѣ, повидимому, весьма твердо намѣченной имъ для себя, который пріобрѣлъ даже всѣ внѣшнія очертанія серьезнаго и порядочнаго человѣка, достигнувъ уже и пониманія условій дѣльнаго существованія на землѣ. Съ обычнымъ своимъ тактомъ, авторъ не говоритъ только, что выйдетъ изъ всего

*) П. Анненковъ. „Вѣстникъ Европы“ 1867 г., № 6. Также „Воспоминанія и критическіе очерки“ П. Анненкова. Спб. 1879 г.

этого добра. Онъ ограничивается указаніемъ въ Литвиновѣ человѣка, такъ сказать, разнородныхъ *возможностей*, и совсѣмъ умалчиваетъ о его вѣрованіяхъ, политическихъ убѣжденіяхъ и проч., потому что все это должно развиться у него съ началомъ жизненнаго труда, когда только и развиваются всѣ вѣрованія и убѣжденія, достойныя вниманія. А затѣмъ авторъ разсказываетъ намъ печальную исторію погибели или, по крайней мѣрѣ, остановки дальнѣйшаго развитія своего героя. Въ самую послѣднюю минуту—въ двѣнадцатый часъ—долгаго европейскаго искуса, пройденнаго Литвиновымъ, онъ забываетъ все, къ чему готовился, поворачиваетъ совсѣмъ въ другую сторону и уносится за тридевять земель отъ всѣхъ своихъ цѣлей и намѣреній.

П. Анненковъ.

* * *

*) По своей безцвѣтности и вялости, Литвиновъ ускальзываетъ отъ всякаго анализа; въ немъ все такъ благоустроено, такъ неуловимо гладко, такъ аккуратно приглажено и примазано, что нѣтъ никакой возможности опредѣлить, зачѣмъ эта жизнь явилась на свѣтъ Божій и для чего она влачится. На Литвиновѣ, какъ на полированномъ стеклѣ, нѣтъ ни одного пятнышка, но отъ него какъ отъ стекла, не дождешься ни одного человѣческаго звука. Это, въ полномъ значеніи слова, благопристойное ничтожество, выведенное изъ своей рутинной сферы только на время любовью къ Иринѣ. Прежде и послѣ этого мимолетнаго періода его жизни, когда въ немъ шевельнулись было человѣческія чувства, забилось сердце, отъ прилива новыхъ, невѣдомыхъ ему страданій и радостей—онъ какъ былъ ничѣмъ, такъ и остался. Безъ любви Ирины все его существованіе было какой-то утомительной и безцѣльной ношей своей собственной особы. Ни молодость, ни путешествія, ни разнообразныя столкновенія съ людьми не могли возбудить въ

*) Н. Лунинъ. „Дѣло“ 1868 г., № 1—3.

немъ ни силъ, ни стремленій, ни надеждъ. Иногда ему сдавалось, что онъ собственный трупъ везетъ, и лишь пробѣгавшія изрѣдка горькія судороги пензлѣчимой душевной боли напоминали ему, что онъ еще носится съ жизнью. Мы даже думаемъ, что такая жалкая личность, какъ Литвиновъ, не способенъ любить страстно и горячо, какъ обыкновенно любятъ здоровые и нормальные люди. Любовь Литвинова могла быть либо слѣдствіемъ раздраженія спинного мозга, увлеченіемъ чисто животнымъ, и тогда онъ могъ, подъ вліяніемъ ловкой женщины, изобразить изъ себя прихвостня чужой страсти или чужой хитрости,— либо эта любовь, ни терпящая ни бурь ни волненій, могла быть строго-обдуманной и по пальцамъ разсчитанной интрижкой. Въ такомъ именно видѣ представляется его отвратительное лицемѣріе съ Татьяной, которая уже была его невѣстой и съ полнымъ довѣріемъ отдалась ему. Нѣтъ сомнѣнія, что Литвиновъ, увлеченный страстью Ирины, долженъ былъ бросить къ ея ногамъ не только свою тряпичную особу, но и другую жизнь—жизнь молодого и неопытнаго существа. Но какъ бросить, какъ выйти изъ этого гадкаго положенія, въ которое былъ поставленъ Литвиновъ этимъ столкновеніемъ противоположныхъ чувствъ? Человѣкъ умный и дѣйствительно честный, какимъ Тургеневъ изображаетъ Литвинова, не позволилъ бы себѣ ни на одну минуту лгать передъ дѣвушкой, преданной ему такъ искренно и безпредѣльно.

Онъ долженъ былъ понять, что всякое колебаніе, всякая двуличность въ этомъ случаѣ есть величайшая мерзость, которую нельзя извинить даже безхарактерностью. А между тѣмъ Литвиновъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней посѣщаетъ Татьяну, водитъ ее съ собой на гулянія, и въ то же время встрѣчается съ Ириной, передаетъ ей записочки, и ни однимъ мановеніемъ брови не даетъ почувствовать Татьянѣ, что она уже брошена имъ къ ногамъ Ирины. Наконецъ, послѣ безплодныхъ вздоховъ и воркованій, послѣ долгаго качанія изъ одной стороны въ другую, Литвиновъ сообразилъ, что лицемѣрить дольше, обманывать и отмалчиваться

тамъ, гдѣ нужна полная энергія и откровенность, не только гадко, но и опасно. И вотъ онъ рѣшается признаться Татьянѣ, что больше ее не любитъ. И что это за признаніе! Точно онъ пойманъ на самомъ грязномъ поступкѣ и, словно запуганный школьникъ, не знаетъ, какъ вывернуться изъ своего жуткаго положенія. Мы рѣшаемся выписать всю эту сцену, освѣщающую вполнѣ личность тургеневскаго героя.—

„Нѣтъ, подумалъ онъ, эдакъ продолжать невозможно.

„Таня! сказалъ съ усиліемъ Литвиновъ. Онъ въ первый разъ въ тотъ день называлъ ее этимъ именемъ.

Она обернулась къ нему.

Я... я имѣю сказать вамъ нѣчто важное:

(Послѣ такого казеннаго приступа оставалось только протянуть руки по швамъ или сдѣлать на прикладъ. Но послушаемъ какъ будетъ рапортовать *это нѣчто важное* господинъ Литвиновъ).

— А! въ самомъ дѣлѣ? Когда? Сейчасъ?—спрашиваетъ Татьяна.

— Нѣтъ, завтра.

— А! завтра. Ну, хорошо.

„Безконечная жалость мгновенно наполнила душу Литвинова. Онъ взялъ руку Татьяны и поцѣловалъ ее смиренно, какъ виноватый; сердце въ ней тихонько сжалось, и не порадовалъ ее этотъ поцѣлуй“.

. . . . . .

„Зачѣмъ я это ей сказалъ? думалъ на слѣдующее утро Литвиновъ, сидя у себя въ комнатѣ передъ окномъ. Онъ съ досадой пожалъ плечами: онъ именно для того и сказалъ Татьянѣ, *чтобы отрѣзать себѣ всякое отступленіе.*“

Читатель пойметъ, какая бездна тутъ человѣческой лжи и лицемѣрія передъ самимъ собою, передъ дѣвушкой, которая не подала ни малѣйшаго повода такъ безжалостно мучить себя. Чтобы отрѣзать себѣ *отступленіе,* т. е. чтобы помочь своей умственной и нравственной дряблости, Литвиновъ заставляетъ Татьяну провести безсонную, мучительную ночь, полную той внутренней борьбы, которая утихаетъ только отъ притупѣвшей боли и выплаканныхъ

слезъ.—Литвиновъ очень хорошо зналъ, что Татьяна ужъ давно догадывается на счетъ его отношеній къ Иринѣ; отъ ея женскаго инстинкта, особенно чуткаго подъ вліяніемъ любви, не скрылось двусмысленное поведеніе Литвинова, его натянутая любезность. Она предчувствовала что-то недоброе, но, терзаемая то сомнѣніями, то довѣріемъ, не знала, чѣмъ разрѣшить эту загадку. Литвиновъ посѣщаетъ насъ, Литвиновъ является со мной въ общество,—слѣдовательно, онъ не думаетъ покинуть меня,—такъ могла отвѣчать на свои жгучія сомнѣнія Татьяна. А съ другой стороны, она видѣла, что Литвиновъ съ нею холоденъ и молчаливъ, какъ этого не бывало прежде, и женское сердце могло подсказать ей зловѣщую перемѣну въ ея женихѣ. Въ этой борьбѣ она провела нѣсколько дней. И вотъ Литвиновъ даритъ ей еще одну ночь, какъ бы желая убить жалостное и довѣрчивое существо не сразу, а въ нѣсколько пріемовъ, съ хладнокровіемъ тупого палача. Онъ хорошо зналъ, что Таня для него погибла, что она уже принесена на жертву Иринѣ,—такъ зачѣмъ же было не сказать ей прямо, въ первое же свиданіе съ нею, чтобы избавить ее отъ долгой и томительной тоски. Если же онъ колебался, раздумывая о томъ, остаться ли ему съ его милой Таней, или отдаться Иринѣ, то зачѣмъ же онъ обманывалъ и ту и другую, и обманывалъ только потому, что, по своей крайней тряпичности, не зналъ, куда унесетъ его вѣтеръ и къ какому берегу онъ пристанетъ.—Такъ, впрочемъ, обыкновенно, бываетъ съ людьми, подобными Литвинову. Ихъ умственная убогость не позволяетъ имъ распоряжаться самостоятельно даже своими собственными чувствами.

Но вотъ проходитъ и ночь, и Литвиновъ, такъ искусно отрѣзавъ себѣ всякое отступленіе, является на другой день къ Татьянѣ.

„Онъ засталъ ее одну... Татьяна сидѣла на диванѣ и держала обѣими руками книжку. Она ее не читала и даже едва ли знала, что это была за книга. Она не шевелилась, но сердце сильно билось въ ея груди, и бѣлый воротничокъ вокругъ ея шеи вздрагивалъ замѣтно и мѣрно“.

„Литвиновъ смутился... Однако сѣлъ возлѣ нея, поздоровался, улыбнулся, и она безмолвно ему улыбнулась. Она поклонилась ему, когда онъ вошелъ, поклонилась вѣжливо, но не дружески, и не взглянула на него. Онъ протянулъ ей руку; она подала ему свои похолодѣвшіе пальцы, тотчасъ высвободила ихъ и снова взялась за книжку.—Литвиновъ чувствовалъ, что начать бесѣду съ предметовъ маловажныхъ значило оскорбить Татьяну; она, по обыкновенію, ничего не требовала, но все въ ней говорило: „я жду, я жду“. Надо было напомнить обѣщаніе. Но онъ — хотя почти всю ночь ни о чемъ другомъ не думалъ,— онъ не приготовилъ даже первыхъ вступительныхъ словъ, и рѣшительно не зналъ, какимъ образомъ прервать это жестокое молчаніе.

— „Таня, началъ онъ наконецъ,—я сказалъ вамъ вчера, что имѣю сообщить вамъ нѣчто важное (онъ въ Дрезденѣ наединѣ съ нею начиналъ ей говорить *ты*, но теперь объ этомъ и думать было нечего). Я готовъ, только прошу васъ заранѣе не сѣтовать на меня и быть увѣренной, что мои чувства къ вамъ“...

„Онъ остановился; ему духъ захватило. Татьяна все не шевелилась и не глядѣла на него; только крѣпче прежняго стискивала книжку.

— Между нами, продолжалъ Литвиновъ, не докончивъ начатой рѣчи,—между нами всегда была полная откровенность; я слишкомъ уважаю васъ, чтобы лукавить съ вами; я хочу доказать вамъ, что умѣю цѣнить возвышенность и свободу вашей души, и хотя я... хотя, конечно...

— Григорій Михайловичъ! начала Татьяна ровнымъ голосомъ, и все лицо ея покрылось мертвенною блѣдностью, я приду вамъ на помощь: вы разлюбили меня и не знаете какъ мнѣ это сказать.

Литвиновъ невольно вздрогнулъ.

— Почему же? проговорилъ онъ едва внятно, почему же вы могли подумать? О, право, не понимаю.

— Что же, неправда это? Не правда это? скажите.

Татьяна повернулась къ Литвинову всѣмъ тѣломъ; лицо

ея съ отброшенными назадъ волосами приблизилось къ его лицу и глаза ея, такъ долго на него не глядѣвшіе, такъ и впились въ его глаза.

— Не правда это?—повторила она.

Не выручи Татьяна Литвинова и на этотъ разъ, онъ—этотъ либеральный лицемѣръ, вѣроятно, и теперь солгалъ бы, по крайней мѣрѣ, отдѣлался бы какими-нибудь избитыми фразами, въ родѣ того, что „я умѣю цѣнить возвышенность и свободу вашей души,“ или какой нибудь пережеванной сентенціей своего пріятеля Потугина. Но Татьяна высказалась такъ просто и рѣшительно, что лгать далѣе не было никакой возможности. Такимъ образомъ, отступленіе было отрѣзано слабоумному Литвинову не имъ же самимъ, а его же жертвой, и герою оставалось только упасть на колѣни. Эта мелодраматическая сцена, къ которой обыкновенно прибѣгаютъ пошляки, какъ къ послѣднему средству для оправданія своихъ гаденькихъ поползновеній, сопровождалась у Литвинова приличнымъ краснорѣчіемъ и разными терзаніями сердца. Вѣроятно, онъ еще долго изливалъ бы свои жалобы и толковалъ о „возвышенности и свободѣ души,“ если бъ Татьяна не почувствовала всей гадости этого колѣнопреклоненнаго притворства и глупости.

— Я васъ прошу оставить меня одну на нѣсколько времени, Григорій Михайловичъ,—мы еще увидимся, мы еще потолкуемъ. Все это было такъ нежданно. Мнѣ надо немного собраться съ силами... оставьте меня... пощадите мою гордость. Мы еще увидимся.

Отряхнувъ прахъ съ своихъ панталонъ послѣ колѣнопреклоненія передъ Татьяной, Литвиновъ немедленно отправился къ Иринѣ, и положилъ къ ея ногамъ голову своей невѣсты.

Но Ирина была не изъ тѣхъ кроткихъ голубокъ, которыя нѣжно воркуютъ надъ подобными жертвоприношеніями.

Когда Литвиновъ предложилъ ей бѣжать съ нимъ, она очень разсудительно спросила его: приготовилъ ли онъ для этого средства? Оказалось, что Литвиновъ, по обыкновенію людей крѣпкихъ заднимъ умомъ, прежде чѣмъ подумать объ

этомъ, началъ говорить и предлагать. И потому, вмѣсто положительнаго отвѣта на вопросъ Ирины, онъ сталъ увѣрять ее въ томъ, что онъ не мечтатель, и дѣйствовать на ея сердечную сторону. „Подумай, наконецъ, говорилъ Литвиновъ, мнѣ уже для того должно разорвать всѣ связи съ прошедшимъ, чтобы не прослыть презрѣннымъ лгуномъ въ глазахъ той дѣвушки, которую я въ жертву тебѣ принесъ.“

„Ирина вдругъ выпрямилась и глаза ея засверкали.

— Ну ужъ извините, Григорій Михайловичъ! Если я рѣшусь, если я и убѣгу, то я убѣгу съ человѣкомъ, который это сдѣлаетъ для меня, собственно для меня, а не для того, чтобы не уронить себя во мнѣніи флегматической барышни, у которой въ жилахъ, вмѣсто крови, вода съ молокомъ, du lait coupè!

И еще скажу я вамъ: мнѣ, признаюсь, въ первый разъ довелось услышать, что тотъ, къ кому я благосклонна, достоинъ сожалѣнія, играетъ жалкую роль. *Я знаю роль болѣе жалкую, роль человѣка, который самъ не знаетъ, что происходитъ въ его душѣ.*“

Послѣ этого назиданія, Литвинову оставалось только утереться и отправиться въ свое наслѣдственное захолустье заниматься нововведеніемъ зерносушилокъ. Такъ онъ и поступилъ.

Таковъ герой Тургенева въ самые лучшіе моменты его жизни! Какъ Татьяна, такъ и Ирина, неизмѣримо выше его стоятъ по своимъ умственнымъ и нравственнымъ качествамъ. Простота и наивность первой, гаремная страстность второй имѣютъ хоть что нибудь опредѣленное, что можно любить или ненавидѣть, смотря по индивидуальнымъ симпатіямъ или антипатіямъ каждаго, но въ Литвиновѣ рѣшительно нѣтъ ничего похожаго на человѣческія достоинства или недостатки. Это—человѣкъ,—что называется, ни рыба ни мясо, это безличная ходячая монета, теряющая всякую цѣну вмѣстѣ съ вытертымъ гербомъ. Онъ самъ по себѣ не можетъ сдѣлать ни одного самостоятельнаго шага въ жизни. Ему нуженъ какой нибудь внѣшній толчокъ или посторонняя рука, чтобы вывести его изъ самаго обыкно-

вснаго положенія, имъ же самимъ устроеннаго. Онъ хочетъ поступить честно съ Татьяной, и поступаетъ до отвращенія гадко; онъ хочетъ разыграть роль героя съ Ириной, и разыгрываетъ онъ самую жалкую роль слабоумнаго донъ-Кихота. У этихъ людей нѣтъ ни убѣжденій, какъ сознается самъ Литвиновъ Губареву, ни того ни другого взгляда на вещи, ни даже опредѣленныхъ желаній. За нихъ прежде думали и хотѣли старые дядьки, а теперь ими распоряжаются наемные слуги. Чѣмъ будутъ они завтра, Литвиновы сами этого не знаютъ, и потому на всѣхъ ихъ поступкахъ отражается минутная вспышка, случайное раздраженіе, вліяніе всякой новой обстановки, какъ бы она ни была мелка и ничтожна. Однимъ словомъ, голова и сердце этихъ людей измѣняются съ повышеніемъ или пониженіемъ комнатнаго термометра. Изъ нихъ могутъ быть и порядочные люди и негодяи, смотря по тому, кто держитъ ихъ въ своихъ рукахъ и управляетъ ихъ мыслишками и крошечными ощущеньицами.

Теперь посмотримъ на героя Тургенева, на этотъ любимый его типъ, который въ романахъ его повторяется съ разными варіаціями,—съ другой стороны, какъ на человѣка общественнаго.

Отъ Тургенева публика привыкла ожидать, что называется, послѣдняго слова. Что отвѣтитъ онъ на наши ожиданія, сомнѣнія и предчувствія, что скажетъ онъ о томъ, что занимаетъ насъ въ настоящую минуту, и чему научитъ въ будущемъ: съ такою мыслію еще до сихъ поръ многіе принимаются за чтеніе романовъ Тургенева. Поэтому главныя дѣйствующія лица его, кромѣ чисто-романическаго интереса, имѣютъ общественное значеніе. Съ ними, обыкновенно, соединяются извѣстные взгляды на жизнь, тѣ или другія стремленія и планы.

Литвиновъ, дѣйствительно, является передъ нами не столько влюбленнымъ юношей, но и человѣкомъ, преслѣдующимъ извѣстныя цѣли въ жизни. Но что это за цѣли, и что такое самъ Литвиновъ, какъ членъ того общества, въ которомъ ему пришлось дѣйствовать?

Въ этомъ отношеніи самъ Литвиновъ знакомитъ насъ съ собою довольно коротко. Послѣ того, какъ онъ бросилъ Татьяну, онъ писалъ къ Иринѣ такъ: „Моя невѣста уѣхала вчера, мы съ ней никогда больше не увидимся... я даже не знаю навѣрное, гдѣ она жить будетъ. Она унесла съ собою все, что мнѣ казалось желаннымъ и дорогимъ, *всѣ мои предположенія, планы, намѣренія исчезли вмѣстѣ съ нею, самые труды мои пропали, продолжительная работа обратилась въ ничто; всѣ мои занятія не имѣютъ никакого смысла и примѣненія,—все это умерло*“... Потомъ, когда онъ долженъ былъ разлучиться съ Ириной, Тургеневъ изображаетъ нравственное состояніе Литвинова въ слѣдующихъ чертахъ: „Темная бездна обступила его со всѣхъ сторонъ, и онъ глядѣлъ въ эту темноту безсмысленно и отчаянно. И такъ опять, опять обманъ, или нѣтъ, хуже обмана—ложь и пошлость... *И жизнь разбита, все вырвано съ корнемъ до тла, и то единственное, за которое еще можно было ухватиться,—та послѣдняя опора въ дребезги тоже!*“ Изъ этого видно, что Литвиновъ жилъ только любовью, и когда любовь измѣняла ему, онъ „костенѣлъ“, какъ выражается Тургеневъ, т. е. впадалъ въ безысходную апатію, которую можетъ только испытывать человѣкъ ни на что болѣе не годный, какъ на сладострастную сцену съ той или другой женщиной. Татьяна оставляетъ Литвинова, и вся его жизнь разлетается въ дребезги, онъ чувствуетъ себя пустѣе пузыря и безсмысленнѣе малаго ребенка.—Ирина обманываетъ Литвинова, какъ онъ обманулъ Татьяну, и все его существованіе, все его прошлое и будущее опять суживается до орѣховой скорлупы. Порвана любовь: порвано все для Литвинова. Бревномъ онъ себя чувствуетъ въ минуту своихъ разочарованій, и не знаетъ, зачѣмъ навязали ему эту тяжелую ношу, эту безцѣльную жизнь. Въ такомъ состояніи могутъ пребывать только самыя дюжинныя натуры, у которыхъ, дѣйствительно, нѣтъ никакихъ задатковъ для какой бы то ни было полезной дѣятельности, а тѣмъ болѣе для общественной. Высшимъ идеаломъ этихъ людей служитъ хорошая жена и теплый

домашній халатъ. Но такъ какъ для осуществленія этого идеала, надо рано или поздно осуществить другой идеалъ— благопріобрѣтенное обезпеченіе, то Литвиновъ и посвятилъ всѣ свои досуги отъ любви этому пріятному занятію. Какъ помѣщикъ, какъ собственникъ наслѣдственнаго имѣнія, онъ долженъ былъ начать съ того, на чемъ покончилъ Чичиковъ, т. е. съ увеличенія доходовъ въ своемъ родовомъ имѣніи. Къ этой почтенной дѣятельности направлены всѣ силы и помыслы Литвинова. Съ этою цѣлью онъ снимаетъ съ себя бранные доспѣхи, ѣдетъ за границу учиться агрономіи и приглашаетъ Татьяну раздѣлить съ нимъ его труды и отдыхи, его заботы и удовольствія; на этомъ хозяйственномъ расчетѣ основывались всѣ человѣческія и гражданскія симпатіи Литвинова; онъ нашелъ себѣ достойнаго пріятеля въ Потугинѣ именно потому, что практическая мудрость надворнаго совѣтника вполнѣ согласовалась съ житейскими планами Литвинова. Увеличить доходъ, удесятерить его — вотъ начало и конецъ его міросозерцанію. Внѣ этого міра ему, какъ и Потугину, желающему цивилизовать Россію введеніемъ зерносушилки, все представляется дымомъ и прахомъ. „Все дымъ и паръ, думалъ онъ, отправляясь въ Россію послѣ своей агрономической экскурсіи по Европѣ; все какъ будто безпрестанно мѣняется, всюду новые образы, явленія бѣгутъ за явленіями, а въ сущности все то же да то же; все торопится, спѣшитъ куда-то, и все исчезаетъ безслѣдно, ничего не достигая; другой вѣтеръ подулъ, и бросилось все въ противоположную сторону, и тамъ опять та же безустанная, тревожная и ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что съ громомъ и трескомъ совершалось на его глазахъ въ послѣдніе годы... дымъ, шепталъ онъ, дымъ! Вспомнились ему горячіе споры, толки и крики у Губарева, у другихъ высоко и низко поставленныхъ, передовыхъ и отсталыхъ, старыхъ и молодыхъ людей... дымъ, повторялъ онъ, дымъ и паръ! Вспомнился, наконецъ, и знаменитый никникъ, вспомнились и другія сужденія и рѣчи другихъ государственныхъ людей и даже все то, что проповѣдывалъ Потугинъ... дымъ, дымъ и

больше ничего! А собственныя стремленія и чувства, попытки и мечтанія?.. онъ только махнулъ рукой". Такъ думалъ Литвиновъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ, проведенныхъ имъ за границей, и послѣ всего того, что привелось ему видѣть, слышать и изучать. Такъ точно думалъ и Чичиковъ, когда неотвязная, всепрожигающая его мечта о благопріобрѣтенномъ достояніи оставляла его на время. Все трынъ-трава, все прахъ, думалъ онъ, кромѣ мертвыхъ душъ, которыя онъ скупалъ ради увеличенія своего благосостоянія. Слѣдовательно на вопросъ: кто такой Литвиновъ?— мы должны отвѣчать то же самое, что Гоголь сказалъ о Чичиковѣ: „хозяинъ пріобрѣтатель". Въ сущности оба они, какъ двѣ капли воды, похожи другъ на друга, и если есть разница между ними, то эта разница чисто внѣшняя. Литвиновъ „пріобрѣтатель" новаго времени, рафинированный хозяинъ, либеральный и благовоспитанный, чѣмъ не могъ быть Чичиковъ,—продуктъ добраго стараго времени. Но это зависѣло отъ случайныхъ обстоятельствъ. Литвиновъ родился съ готовыми средствами для жизни, имѣлъ возможность получить образованіе и даже путешествовать по Европѣ, а Чичиковъ, кромѣ родительскаго благословенія и пары дырявыхъ сапогъ, ничего не наслѣдовалъ отъ отца; онъ долженъ былъ самъ и сѣять и пожинать; онъ самъ созидалъ свое благополучіе, не стѣсняясь никакими средствами на пути къ своей цѣли. Поэтому онъ сдѣлался мошенникомъ, а Литвинову не было надобности, какъ обезпеченному человѣку, прибѣгать къ темнымъ орудіямъ темнаго стяжанія. Чичиковъ лучше Коробочки и Манилова никого не видѣлъ въ жизни, а Литвиновъ находился въ обществѣ Губарева и разныхъ „высоко и низко поставленныхъ людей. Чичиковъ былъ вовсе доволенъ въ своихъ стремленіяхъ, консервативенъ въ своихъ мнѣніяхъ, а Литвиновъ, зараженный попутнымъ вѣтромъ грошоваго либерализма, весь состоялъ изъ противорѣчій и недоумѣній. Наконецъ, мы не знаемъ какъ бы хорошо хозяйничалъ Чичиковъ въ своемъ благопріобрѣтенномъ имѣніи, но Литвиновъ распоряжался положительно дурно; мы думаемъ что Чичиковъ

на этотъ разъ оказался бы гораздо смышленнѣе и неизмѣримо дѣятельнѣе Литвинова. Но все это различіе, повторяемъ, чисто-внѣшнее, обусловленное обстоятельствами времени и жизни. Въ корнѣ же и тотъ и другой совершенные близнецы, по своимъ общественнымъ стремленіямъ и гражданскому закалу.

Надо отдать справедливость Тургеневу, что онъ, противъ всякаго желанія, обрисовалъ намъ въ Литвиновѣ человѣка нашего времени. Новые Чичиковы сильно плодятся въ Россіи; зародышъ ихъ брошенъ экономической реформой послѣ освобожденія крестьянъ. Мы начинаемъ чувствовать прикосновеніе этихъ каракатицъ въ журналистикѣ, въ медицинѣ, въ наукѣ, въ судѣ и адвокатурѣ, въ помѣщичьихъ захолустьяхъ и въ столичныхъ великосвѣтскихъ кружкахъ. Что кулаки и стяжатели, подобные Чичикову и Литвинову, не переводились у насъ никогда—это совершенно ясно, но въ новомъ, благообразномъ и либеральномъ видѣ они являются только теперь.

Н. Лунинъ.

Ирина.

*) Ирина у Тургенева есть отдѣльный самый живой характеръ, если только можно назвать характеромъ лицо, главною чертою котораго — измѣнчивость, безхарактерность, правда, самая изящная, граціозная, чисто женская. Ирина отчасти похожа на Елену. Она тоже первическая барышня, въ ея тонкихъ, чуть улыбающихся губахъ было что-то своевольное, страстное, опасное для себя и для другихъ. Ирина, какъ и Елена, пользовалась самой неограниченной свободой въ своемъ домѣ, родители чувствовали къ ней даже страхъ. „Ирина бывало бровью пошевельнетъ, сидитъ неподвижно съ злою улыбкой на сумрачномъ лицѣ, а родителямъ ея одна эта улыбка горше всякихъ упрековъ. И чувствуютъ они себя безъ вины ви-

*) Н. Соловьевъ. „Искусство и Жизнь“, ч. 2. М. 1869 г.

новатыми". Развѣ было когда-нибудь, чтобы она не сдѣлала того, что она захотѣла, думалъ о ней отецъ. Когда она полюбила Литвинова по выходѣ изъ института, то она первая заговорила о любви, а потомъ, разлюбивши первая же и отказалась отъ него. Она граціозно топала ножкой, жала по-мужски руку, нервически дергала свои длинные, мягкіе локоны, у нея нерѣдко выступали слезы отъ досады...

Что же, спрашивается, раздражало такъ ея нервы? Что вообще раздражаетъ нервы нашимъ барышнямъ, нашимъ женщинамъ, такъ легко обращающимся въ нигилистокъ, какъ и въ свѣтскихъ франтихъ? Затворническое воспитаніе. Оно разстроило нервы француженкамъ, оно же повліяло и на нашихъ женщинъ. Ирина была институтка, какъ необыкновенно тонко замѣчено авторомъ; безъ этого важнаго обстоятельства было бы непонятно, почему она такъ быстро оставила свой домъ и такъ внезапно разсталась съ Литвиновымъ, прельстившись свѣтской карьерой. Въ свѣтѣ, разумѣется, нервы ея не успокоились, хотя Ирина и не сдѣлалась окончательно свѣтскою женщиной. Инстинктъ добра все еще былъ въ ней силенъ, она способна была къ хорошимъ влеченіямъ; но однихъ добрыхъ, хорошихъ инстинктовъ и влеченій недостаточно для жизни: для этого необходимо хоть слѣдъ убѣжденія въ чемъ-нибудь. Ирина же при всемъ богатствѣ ея натуры не руководилась ничѣмъ, кромѣ прихотей. Посмотрите, какая мѣна благороднѣйшихъ влеченій и самыхъ пошлыхъ, грязныхъ движеній души проявляется въ ея поступкахъ. „Мнѣ ужъ слишкомъ невыносимо, нестерпимо въ этомъ свѣтѣ, говоритъ она Литвинову въ одну изъ сердечныхъ минутъ. Когда я васъ увидѣла, все мое хорошее, молодое во мнѣ пробудилось, то время, когда я еще не выбрала своего жребія... Вы не знаете еще, что это за люди, которые меня окружаютъ. Вѣдь, они ничего не понимаютъ, ничему не сочувствуютъ, у нихъ ума даже нѣтъ, а только одно лукавство да сноровка... Не свѣтская женщина передъ вами теперь... я протягиваю къ вамъ руку, какъ

нищая“. И эта же самая Ирина послѣ, при другомъ настроеніи, когда Литвиновъ, окончательно увлекшійся ею, отказался отъ своей невѣсты, чтобы любить ее всецѣло, съ усмѣшкой вдругъ замѣчаетъ: — „Признаюсь, я хорошенько не понимаю, зачѣмъ это вамъ вздумалось объясниться съ невѣстою“, а за этимъ довольно ясно намекаетъ на возможность постоянныхъ свиданій помимо мужа. Но вотъ въ ней опять беретъ перевѣсъ инстинктъ добра.— „Ты видишь, какъ я испорчена, говоритъ она, чуть ли не плача. Спаси меня, вырви изъ этой бездны, пока еще не совсѣмъ погибла. Убѣжимъ отъ этихъ людей... Я сдѣлаю все, что ты прикажешь, пойду всюду, куда ты меня поведешь“. Литвиновъ, какъ человѣкъ, не привыкшій прибѣгать къ маленькимъ хитростямъ и предосторожностямъ въ дѣлахъ любви, требуетъ отъ нея разрыва съ мужемъ. „Могу ли кому позволить располагать тобою, пишетъ онъ къ ней послѣ перваго тайнаго свиданія. Ты будешь принадлежать ему, все существо мое, кровь моего сердца будетъ принадлежать ему, а я самъ... въ сторонѣ зрителемъ. Нѣтъ, это невозможно. Участвовать украдкой въ томъ, безъ чего невозможно дышать... Это ложь и смерть“.—„Приходи ко мнѣ сегодня, отвѣчала Ирина на это. Мужъ отлучился на цѣлый день. Твое письмо меня чрезвычайно взволновало“. Послѣ этого коротенькаго billet doux между ними опять происходитъ встрѣча: по какія то соображенія и обстоятельства уже удерживаютъ ее отъ прежняго увлеченія, она задаетъ ему сомнительные вопросы,—счастливъ ли онъ будетъ съ нею одною, не будетъ ли жалѣть? При этихъ словахъ, говоритъ авторъ, она нагнулась къ картону съ кружевами и начала перебирать ихъ. — „Не сердись на меня, мой милый, что я въ подобную минуту занимаюсь этимъ вздоромъ... Я принуждена ѣхать на балъ къ одной дамѣ. Мнѣ прислали эти тряпки, и я должна выбрать сегодня. Ахъ, мнѣ ужасно тяжело! воскликнула она вдругъ и прижалась лицомъ къ краю картона. Слезы снова закапали изъ ея глазъ“. Институтка, настоящая институтка! Послѣ этой сцены Ирина написала къ нему, какъ и мож-

но было ожидать, отказъ и даже уговаривала Литвинова пріѣхать въ Петербургъ за ними, жить тамъ, обѣщала найти ему занятіе, лишь бы только онъ любилъ ее и жилъ подлѣ. Но даже написавши это возмутительное письмо, Ирина все еще колебалась, оставаться ли ей въ своей средѣ, и чуть было не ушла къ нему опять и даже едва-едва не прыгнула въ вагонъ, когда онъ уѣзжалъ совсѣмъ.

Что же значитъ вся эта быстрая мѣна сильной привязанности и легкомыслія, негодованія противъ свѣта и рабства этому свѣту, колѣнопреклоненія передъ идеями добра и самаго циническаго нарушенія нравственности и чести. Какъ назвать эту безолаберную игру благородныхъ инстинктовъ и низкихъ побужденій, жертвою которой такъ часто дѣлаются женщины? Имя этому прихоти, капризы. И почему нибудь даже о мужчинѣ, не контролирующемъ своихъ желаній, говорятъ — онъ капризенъ, какъ женщина; значитъ, въ женщинѣ дѣйствительно есть что-то такое, что дѣлаетъ ее ненадежной, несмотря на всю страстную воспріимчивость къ добру и непреодолимое стремленіе къ семейственности. Вѣрованій, убѣжденій нѣтъ въ женщинѣ. Вѣрованія пріобрѣтаются религіей, убѣжденія— серьезнымъ образованіемъ; если же первыя, что не рѣдко случается, вынуты, то что же у нея остается? Образованіе солидное женщины рѣдко получаютъ: имъ большею частью предлагаютъ только обрывки, объѣдки изъ того, что употребляетъ умственно воспитывающійся мужчина. Ну и выходитъ, такимъ образомъ, что женщина остается безъ всякихъ принциповъ. На Ирину поэтому слѣдуетъ смотрѣть не какъ на свѣтскую только даму, но и какъ на одинъ изъ типическихъ отпечатковъ той женской слабости, которая составляетъ мученіе многихъ мужчинъ, и въ защиту которой въ послѣднее время выдумали было одно средство — не жениться, не входить ни въ какія постоянныя связи, послѣ которыхъ оставался бы какой слѣдъ, не связывать себя никакими узами, которыя къ чему бы нибудь обязывали. При этомъ, конечно, играло роль и преувеличенное понятіе о семейномъ счастіи: отъ семьи ожи-

дали какого-то непзсякаемаго блаженства, и черезъ это разочаровывали другихъ, тогда какъ положеніе семейное дѣлаетъ только человѣка болѣе осѣдлымъ, сближаетъ его со всѣмъ, что носило на себѣ печать женскаго и дѣтскаго. Морализирующее вліяніе дѣтей на общество несомнѣнно. Дѣти, это сама натура въ ея непосредственномъ, близкомъ въ нашей душѣ проявленіи. Кто не любитъ дѣтей, тотъ не видѣлъ природы человѣческой въ ея первобытной простотѣ. Ласка и игра съ дѣтьми есть въ своемъ родѣ великая школа, которая можетъ возвратить къ естественности самаго неискренняго, испорченнаго человѣка, самую грубую, невоздѣланную натуру. Значитъ, вырываясь изъ домашняго ада, человѣкъ ничего передъ собою не имѣетъ, кромѣ холостого одиночества или безпутства.

Н. Соловьевъ.

* * *

*) „Что это за женщина? говоритъ Анненковъ: — Трудно себѣ представить болѣе скудный запасъ предметовъ для мышленія въ образованной женщинѣ, при болѣе благородной натурѣ и при болѣе ослѣпительныхъ качествахъ тѣла. За то Ирина и опирается единственно на свой смѣлый, честный и откровенный характеръ, который, однакожъ, не можетъ дать ей, несмотря на всѣ благороднѣйшія порывы ея души, — ничего, кромѣ сознанія своего превосходства передъ другими, да пустыхъ наслажденій гордости и мести. Большая часть прежнихъ героинь Тургенева были, по своему, мыслящія головы (вспомнимъ Асю, Лизу „Дворянскаго гнѣзда“), даже глубоко-мыслящія головы, и читатели, конечно, не забыли того обаянія, которое онѣ производили, вообще, на публику, благодаря столько же ихъ женственной граціи, сколько и выраженію своеобычной идеи, игравшей на ихъ физіономіяхъ. Послѣдней черты мы именно и не можемъ уловить въ образѣ Ирины. Она осталась такой, какой вышла изъ рукъ благодатной природы,

*) П. Анненковъ. „Вѣстникъ Европы“ 1867 г., № 6. Также „Воспоминанія и критическіе очерки П. Анненкова“. Спб. 1879 г.

показавшей къ ней истинно материнскую щедрость: ни семья, ни общество, ни жизнь, ничего ей не дали сверхъ того, и сама она ничего не пріобрѣла. Рѣдко случалось намъ въ литературѣ нашей встрѣчать такое поразительное изображеніе томленій одного страстнаго сердца по какой-то лучшей жизни, къ которой, однакожъ, оно совершенно неспособно. Не пожалѣлъ же авторъ и труда для того, чтобъ достойнымъ образомъ обрисовать этотъ типъ съ двойнымъ его характеромъ, способнымъ дать высокое понятіе о природныхъ, естественныхъ силахъ почвы, его породившей и, въ то же время, обнаружить всю безпомощность ея образованія и недостатокъ воздуха для самаго существованія подобныхъ типовъ... Неожиданная встрѣча въ Баденѣ съ Литвиновымъ, прежнимъ своимъ женихомъ, давно покинутымъ ею, сразу возбуждаетъ въ ней предчувствіе, что въ этомъ случайномъ обстоятельствѣ заключается для нея единственный послѣдній исходъ изъ того состоянія духовнаго сиротства, въ которомъ она находится. Съ невыразимой нѣжностью прильнула она къ воображаемому своему спасителю, Литвинову, и въ награду за первое слово сочувствія, за одинъ призракъ настоящей, полной жизни, за одно обладаніе человѣческимъ обликомъ, отъ котораго она уже отвыкла, Ирина отдается ему вся, со своей честью, со своимъ именемъ и со своей будущностью. Но сдѣлавъ это, она останавливается. Литвиновъ, пожертвовавшій ей невѣстою и цѣлымъ, уже опредѣленнымъ строемъ жизни, продолжаетъ опрометчивую свою игру и требуетъ отъ нея разрыва съ міромъ, бѣгства и вѣчныхъ связей съ собою. Разница между ними обнаруживается тотчасъ: покуда онъ бродитъ во тьмѣ, она уже умѣетъ трезво распознать, сквозь весь чадъ и облако неподдѣльной страсти, голую истину: ей невозможно покинуть мѣсто, къ которому она прикована всѣми своими привычками, она способна пожертвовать жизнію, оказать примѣры героической рѣшимости, бороться съ судьбой до послѣдняго издыханія, но только на своемъ, на одномъ—презираемомъ мѣстѣ—и нигдѣ болѣе! На что же сводятся послѣ того сношенія

Ирины съ Литвиновымъ? Она прямо высказала свой взглядъ на нихъ, ужаснувшій Литвинова, когда предложила ему остаться другомъ ея сердца безъ дальнѣйшихъ условій...

Самый простой, скромный, незатѣйливый жизненный идеалъ помогъ бы ей освободиться, по крайней мѣрѣ, отъ слѣпой привязанности къ внѣшнимъ изысканнымъ формамъ существованія, чего она теперь не въ состояніи сдѣлать при всемъ своемъ умѣ и характерѣ. Нельзя забыть одной сцены романа, когда передъ первымъ своимъ выѣздомъ на балъ въ Москвѣ, рѣшившимъ ея судьбу, Ирина берется за конецъ вѣтки, украшавшей ея молодую голову, и ждетъ только слова Литвинова, чтобъ сорвать ее и отказаться отъ вечера. Въ эту минуту она лучше своего пламеннаго обожателя, тогда еще студента, прозрѣвала будущность и чувствовала, что дѣлаетъ выборъ между простой жизнью, озаряемой любовью и мыслью, и жизнью въ шумѣ и блескѣ пустыхъ призраковъ; но Литвиновъ не сказалъ ожидаемаго слова, и она ринулась въ потокъ, который принесъ ее въ объятія Ратмирова. Этой превосходной сценѣ можно противопоставить только другую въ концѣ романа, когда, спустя нѣсколько лѣтъ и передъ тѣмъ же Литвиновымъ, успѣвшимъ поумнѣть съ тѣхъ поръ, но все еще много уступающимъ ей въ пониманіи вещей и положенія, Ирина плачетъ искренними слезами любви, раздирая и топча ногами великолѣпныя кружева, съ которыми, однакожъ, разстаться не можетъ. Имѣй эта женщина возможность обрѣсти, съ какой-либо стороны, свѣтлое представленіе жизни, руководящій и обязательный нравственный идеалъ, она, можетъ быть, не сдѣлалась бы непремѣнно Литвиновой, но не была бы и Ратмировой, а главное, не прошла бы всего того, что ей пришлось пройти!

Послѣ всего сказаннаго рождается, самъ собою, вопросъ — откуда же беретъ Ирина ту власть надъ людьми, то неодолимое обаяніе, которое захватило Литвинова тотчасъ, какъ онъ подпалъ снова подъ дѣйствіе этой чарующей силы, которое разбило въ прахъ всѣ его мудрыя предначертанія, и не только разбило ихъ, но заставило его

измѣнить еще самымъ священнымъ обязанностямъ, превратило его почти въ лжеца и обманщика. Вмѣстѣ съ Литвиновымъ, конечно, только безъ горестныхъ послѣдствій, имъ испытанныхъ — обаянію этому невольно подчиняется и самъ читатель романа. Одна красота, какъ бы превосходно ни была она изображена писателемъ, не имѣетъ средствъ согласить всѣ мнѣнія и сообщить всѣмъ, или, по крайней мѣрѣ, значительному большинству читателей одно и то же ощущеніе, потому что пониманіе и представленіе физической красоты разнообразны до безконечности. Въ Ринѣ подчиняющее начало — есть духъ независимый, который отвѣчаетъ протестомъ и горькимъ обличеніемъ на то, чему она сама уже покорилась; это неумолкаемый гнѣвъ благороднаго сердца противъ пошлости ничтожества, часто обращенный на себя, не заговариваемый ни лестью, ни подкупомъ, ни коварными оправданіями самолюбія. Приближаясь къ Ринѣ, люди испытываютъ такое же чувство, какъ при встрѣчѣ съ опасностью. Отъ этого чувства не былъ свободенъ и Литвиновъ, завязывая съ ней вторичное знакомство, какъ никогда не былъ свободенъ отъ него и мужъ ея.

П. Анненковъ.

* * *

*) Разбирая характеръ Ирины, встрѣтившей Литвинова въ Баденъ-Баденѣ, г. Скабичевскій говоритъ: „Это не та уже Ирина, какую мы видѣли въ началѣ повѣсти. Это уже ненаивная институточка, плачущая надъ своимъ старенькимъ платьецемъ и готовая влюбиться въ перваго студента. Нѣсколько лѣтъ жизни въ большомъ свѣтѣ, жизни, полной разныхъ треволненій и опытовъ, не могли не наложить на нее своей печати. Съ одной стороны, она была слишкомъ умна, чтобы удовлетворяться пошлыми людьми, окружавшими ее, и пошлою жизнію, которою жила. Но съ другой стороны, эта пошлая жизнь успѣла всосать ее: какъ бы

*) А. Скабичевскій. „Отечественныя Записки“ 1868 г., № 1. Также Сочиненія А. Скабичевскаго. Спб. 1890 г.

ни были велики силы человѣка, данныя ему отъ природы, онѣ могутъ поддерживаться и развиваться только постояннымъ упражненіемъ; такое упражненіе представляютъ силамъ человѣка трудъ и борьба во имя какихъ-нибудь идей. Ирина была избавлена и отъ того и отъ другого. Пустая, праздная жизнь не могла не растлить ея силъ; она привыкла къ этой жизни, привыкла къ отупляющему farniente, къ пошлымъ развлеченіямъ, убивающимъ послѣднія силы, но болѣе всего къ тому растлѣвающему комфорту, при которомъ человѣку не приходится пальцемъ пошевельнуть, чуть что сама пища не летаетъ ему прямо въ ротъ, да еще разжеванная. Нѣтъ ничего мудренаго, что при такихъ условіяхъ изъ нея выработался одинъ изъ тѣхъ типовъ, которые были въ большомъ ходу въ тридцатые года, но которые и теперь еще встрѣчаются при извѣстныхъ условіяхъ: это типъ разочарованной и скучающей барыни, проклинающей среду, и въ то же время неспособной пошевелить пальцемъ, чтобъ выбиться изъ нея. Встрѣча съ Литвиновымъ, въ которомъ продолжала она видѣть человѣка иной среды, послужила для нея новымъ и свѣжимъ впечатлѣніемъ среди монотонной скуки ея жизни. Она увлеклась Литвиновымъ не для того, чтобы промѣнять старую жизнь на новую, а для того, чтобы хоть чѣмъ-нибудь наполнить эту старую жизнь, увлеклась отъ скуки, потому что свѣтскіе ловеласы и пошлые франты пріѣлись ей, и ей захотѣлось испытать неизвѣданныхъ впечатлѣній.

А. Скабичевскій.

* * *

*) Ирина произвела на читателей „Дыма“ самыя противоположныя впечатлѣнія. Однимъ она показалась идеаломъ добродѣтели, какъ женщина, рѣшившаяся пожертвовать своимъ блестящимъ положеніемъ чувству любви къ Литвинову, другіе усмотрѣли въ ней жалкую мученицу заѣвшей ее среды; наконецъ, нѣкоторымъ она представилась пустой

*) Н. Лупинъ. „Дѣло“ 1868 г., № 1 и 3.

развратницей, обманывающей Литвинова единственно потому, что сама не знаетъ, куда унесетъ ее завтра попутный вѣтеръ. Но всѣ эти разнорѣчія и толки оканчивались тѣмъ, что Ирину понять трудно. Дѣйствительно не легко опредѣлить характеръ личности, у которой все состоитъ изъ противорѣчій между головой и сердцемъ, которая живетъ однѣми минутными вспышками крови и нервными раздраженіями. Это самыя безцвѣтныя личности, о которыхъ нельзя навѣрно сказать, чѣмъ онѣ будутъ завтра и чѣмъ были вчера. Г. Тургеневъ какъ будто просто оставляетъ читателя въ постоянномъ недоумѣніи на счетъ своей героини. Онъ не даетъ намъ никакого понятія о ея будничной жизни, о развитіи ея наклонностей и объ отношеніяхъ ея къ другимъ лицамъ, кромѣ самого Литвинова. Это, впрочемъ, обыкновенный пріемъ г. Тургенева съ его женскими идеалами.

Онъ беретъ ихъ, какъ необходимый матеріалъ, для описанія страстныхъ любовныхъ сценъ и показываетъ ихъ намъ только съ этой стороны. За то онъ сосредоточиваетъ все свое вниманіе на малѣйшихъ подробностяхъ зарождающейся въ нихъ страсти, рисуетъ всѣ ея переходы отъ первой искры до полнаго пожара — и, какъ замѣчательный мастеръ своего дѣла, не упускаетъ изъ виду въ этомъ психическомъ анализѣ ни одной характеристической черты, такъ что когда читатель достигаетъ кульминаціонной точки разгоравшейся страсти, онъ ничего не видитъ и не желаетъ видѣть, кромѣ развязки драматическаго положенія героини. Но жить одною страстью невозможно; это жизнь не нормальная, и если она продолжается долго, то обыкновенно оканчивается сумасшествіемъ или идіотизмомъ. А нормальной жизни г. Тургеневъ касается только слегка, вѣроятно, считая ее недостойной эстетическаго пафоса. Точно въ такомъ же видѣ является и Ирина. Изъ всей ея жизни авторъ выхватилъ только два момента—это роковой балъ, разлучившій ее съ первою любовью, и свиданіе ея съ Литвиновымъ въ Баденъ-Баденѣ, окончательно рѣшившее судьбу ея поклонника. Чѣмъ была прежде и чѣмъ

сдѣлалась Ирина впослѣдствіи, — авторъ сообщаетъ намъ объ этомъ столько же, сколько можетъ сообщить намъ визитная карточка генеральши Ратмировой. Впрочемъ, мы напомнимъ читателю все, что извѣстно намъ изъ біографіи Ирины.

Дочь обѣднѣвшаго князя Осинина, которому изъ милости дали какое то „старозавѣтное“ служебное мѣсто въ Москвѣ, Ирина росла, какъ полевой цвѣтокъ среди репейника. Семейство Осининыхъ терпѣло нужду и часто выносило оскорбленія, и должая въ овощную лавку и частенько сидя безъ дровъ и безъ свѣчъ по зимамъ“. Г. Тургеневъ не говоритъ, какія впечатлѣнія оставляла на душѣ Ирины эта горькая бѣдность, это униженіе наслѣдственной гордости, сохранившейся въ Осининыхъ, даже послѣ ихъ задолжанія въ овощныхъ лавочкахъ; можно только догадываться, что Ирина не хладнокровно относилась къ этимъ обыденнымъ явленіямъ бѣдной жизни. „Бывало, говоритъ Тургеневъ, при какой нибудь слишкомъ унизительной сценѣ: лавочникъ ли придетъ и станетъ кричать на весь дворъ, что ему уже надоѣло таскаться за своими же деньгами,—собственные ли люди примутся въ глаза бранить своихъ господъ, что вы, молъ, за князья, коли сами съ голоду въ кулакъ свищете.— Ирина даже бровію не пошевельнетъ и сидитъ неподвижно съ злою улыбкой на сумрачномъ лицѣ; и родителямъ ея одна эта улыбка горьче всякихъ упрековъ, и чувствуютъ они себя виноватыми передъ этимъ существомъ, которому какъ будто съ самаго рожденія дано было право на богатство, на роскошь, на поклоненіе“... Такимъ образомъ, оскорбленія князей Осининыхъ вызывали на лицо Ирины только ядовитыя улыбки, и она ничего больше не требовала отъ своихъ родителей, какъ независимости въ семейномъ кругу. Ей не прекословили отецъ и мать и даже побаивались ея сосредоточеннаго и упрямаго характера. Отецъ былъ убѣжденъ, что Иринка еще вывезетъ его“, и потому, можетъ быть, не дотрогивался до ея неограниченной свободы. Вотъ все, что мы знаемъ о семейной обстановкѣ, среди которой росла

будущая генеральша Ратмирова. Далѣе мы знаемъ, что она воспитывалась въ институтѣ, но что она вышла оттуда, и какое вліяніе онъ имѣлъ на ея умственное развитіе,—неизвѣстно. Въ институтѣ называли ее то *первической барышней*, то *безсердечной дѣвушкой* и только. Такъ прожила Ирина до семнадцати лѣтъ, когда „налетѣла на нее любовь словно грозовая туча.“

Эта гроза исходила отъ Литвинова, молодого человѣка, еще не кончившаго курса въ университетѣ. „Литвиновъ, говоритъ авторъ, влюбился въ Ирину, какъ только увидалъ ее“ (эстетическая любовь слѣдуетъ классическому правилу: пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ). Долго Ирина любила своего обожателя, мѣсяца два она крѣпилась и не удостоивала Литвинова взаимностью, потомъ вдругъ въ одинъ день все измѣнилось, и Ирина изъ ледяной глыбы превратилась въ огненный ураганъ любви. Начались дни взаимнаго счастья и общихъ надеждъ. Литвиновъ и Ирина мечтали о своемъ будущемъ въ очень скромныхъ размѣрахъ, они думали даже трудиться, читать, но главное, подсказывала дѣвушка,—путешествовать. Эти мечты и минуты этого счастья такъ разсыропили Литвинова, что онъ и безъ этого сыроватый господинъ, теперь сдѣлался совершенно киселемъ. „И жутко ему было, и сладко, и ни о чемъ онъ не жалѣлъ, и ничего не берегъ. Размышлять о значеніи, объ обязанностяхъ супружества, о томъ, можетъ ли онъ, столь безвозвратно покоренный, быть хорошимъ мужемъ, и какая выйдетъ изъ Ирины жена, и правильны ли отношенія между ними—онъ не могъ рѣшительно; кровь его загорѣлась, и онъ зналъ одно: идти за нею, съ нею, впередъ и безъ конца, а тамъ будь, что будетъ.

Впрочемъ, это блаженное состояніе Литвинова продолжалось недолго. Налетѣла новая грозовая туча и разстроила всѣ его планы. Въ Москвѣ появился дворъ, и дворянское собраніе приготовило великолѣпный балъ. Князь Осининъ встрепенулся и, вылѣзши изъ халата, облачился въ мундиръ, желая во что бы то ни стало показать себя и свою дочь великосвѣтскому обществу на балѣ. Ирина сначала

не хотѣла ѣхать и не поѣхала бы, если бъ Литвиновъ не посовѣтовалъ ей.—Ну, хорошо, я поѣду, только помните, вы сами этого желали. Наступилъ день давно ожидаемаго параднаго собранія. Ирина одѣлась, убрала свою голову цвѣтами и предстала передъ Литвиновымъ во всемъ блескѣ своей красоты. Хочешь? скажи только слово, и я сорву все это и останусь дома.—Но Литвиновъ настаивалъ на поѣздкѣ.—Ну, такъ не подходите, платье измнете, поспѣшно проговорила она. Такимъ образомъ, Ирина уѣхала на балъ, и Литвиновъ уже больше не видѣлъ ее.

Общее вниманіе, обращенное на Ирину великосвѣтскими и сановными особами, вскружило голову молодой дѣвушкѣ. Она увидѣла блескъ и роскошь, сравнила ихъ съ Собачьей площадкой и убогимъ домишкомъ своихъ родителей, вспомнила, конечно, и о своемъ ненавистномъ кургузомъ салопишкѣ, и рѣшила, что Литвинову можно дать чистую отставку и позаботиться о себѣ иначе. Благопріятный случай не замедлилъ представиться. Графъ Рейзенбахъ, двоюродный братъ княгини Осининой, привыкшій извлекать выгоду изъ всего, что было легко и удобно, сообразилъ, что „Аринка“ не только можетъ вывезти стараго отца, но и его, аккуратнаго нѣмца. „Сообразивъ это, онъ предложилъ Осининымъ извѣстную сумму денегъ, и взялъ къ себѣ въ домъ прелестный товаръ. Осинины не долго думали и продали дочь съ перваго же слова. Дальнѣйшая судьба Ирины покрывается мракомъ неизвѣстности, пока она снова, уже жена генерала Ратмирова, не является на сценѣ въ Баденъ-Баденѣ.

Ирина, упрочивъ за собой новое положеніе и съ Собачьей площадки вдругъ очутившись на верху великосвѣтскаго Олимпа, увѣдомила Литвинова, что между ними все кончено. Ей тяжело и совѣстно было объясниться лично съ Литвиновымъ, а потому она написала ему письмо, въ которомъ просила „не стараться увидѣть ее больше“. Письмо это оглушило Литвинова и хуже всякой громовой тучи измяло его тряпичную натуру. Мы не станемъ повторять здѣсь его мученій; достаточно сказать, что „онъ

вдругъ зарыдалъ, говоритъ г. Тургеневъ, зарыдалъ судорожно, бѣшено, ядовито, перевернулся ницъ и захлебываясь и задыхаясь съ нечистовымъ наслажденіемъ, какъ бы жаждая растерзать и самого себя и все вокругъ себя, забилъ свое воспаленное лицо въ подушку дивана, укусилъ ее“... Но, спрашивается, за что же Литвиновъ укусилъ подушку, которая даже не совѣтовала Иринѣ ѣхать на балъ? Съ чего ему было захлебываться и задыхаться, когда въ поступкѣ Ирины не было ничего необыкновеннаго? Она поступила глупо и отвратительно, сдѣлавшись товаромъ графа Рейзенбаха, но совершенно послѣдовательно. Литвиновъ пришелъ, увидѣлъ и полюбилъ; отчего же Ирина не могла придти, увидѣть и полюбить? И какая огромная разница—придти на Собачью площадку и при сальномъ огаркѣ полюбить молодую дѣвушку, или пріѣхать на балъ и, подъ вліяніемъ блистательнаго освѣщенія, разфранченнаго общества и волнующаго кровь вальса, увидѣть хорошенькіе успки и полюбить ихъ. Поймутъ ли когда-либо Литвиновы, что только та любовь можетъ быть прочной и неизмѣнной, которая основывается на глубоко-нравственномъ сочувствіи двухъ умственно развитыхъ существъ; только тогда имѣлъ право Литвиновъ кусать подушку, когда онъ позаботился бы воспитать въ Ринѣ это человѣческое чувство, если оно не было воспитано обстоятельствами ея жизни. Но что же сдѣлалъ Литвиновъ въ этомъ отношеніи? Ровно ничего. Видѣвшись каждый день съ Ириной, онъ не уронилъ ни одного умнаго слова, ни одного просвѣтляющаго совѣта. Какъ только загорѣлась въ немъ кровь, такъ онъ и потерялъ всякую способность мыслить. Вотъ, напримѣръ, какъ Литвиновъ приготовлялъ себѣ будущаго друга жизни:

— „У васъ нѣтъ перчатокъ, съ разстановкой проговорила Ирина, и тотчасъ же прибавила: Фи! Какой вы... студентъ.“

— „Вы слишкомъ впечатлительны, Ирина, замѣтилъ Литвиновъ.“

— „Вы... настоящій студентъ, повторила она; vous n'êtes pas distingué!“

И повернувшись къ нему спиной, она вышла вонъ изъ комнаты. Въ другой разъ онъ засталъ её въ слезахъ, съ головой опертой на руки, съ распущенными локонами, и когда, весь перетревоженный, онъ спросилъ о причинѣ ея печали, она молча указала себѣ на грудь. Литвиновъ невольно вздрогнулъ. „Чахотка“ мелькнуло у него въ головѣ, и онъ схватилъ ее за руку.

— „Ты больна! произнесъ онъ трепетнымъ голосомъ (они уже начали въ важныхъ случаяхъ говорить *ты* другъ другу). —Такъ я сейчасъ за докторомъ...“

Но Ирина не дала кончить и съ досадой топнула ножкой.

— „ Я совершенно здорова... но это платье... развѣ вы не понимаете?“

— „Что такое?... это платье... проговорилъ онъ съ недоумѣніемъ.“

— „Что такое? А то, что у меня другого нѣтъ, и что оно старое, гадкое, и я принуждена надѣвать это платье каждый день, даже когда ты... Когда вы приходите... *ты, наконецъ, разлюбишь меня, видя меня такой замарашкой!*“

— „Помилуй, Ирина, что ты говоришь! И платье это премилое... Оно мнѣ еще потому дорого, что я въ первый разъ въ немъ тебя увидѣлъ.

Ирина покраснѣла.

— Не напоминайте мнѣ пожалуйста, Григорій Михайлычъ, что у меня уже и тогда не было другого платья.

— Но увѣряю, васъ, Ирина, оно прелесть какъ идетъ къ вамъ.

— Нѣтъ оно гадкое, гадкое, твердила она, нервически дергая свои длинные, мягкіе локоны.—Охъ, эта бѣдность, бѣдность, темнота. Какъ выйдти, выйдти изъ темноты!

Литвиновъ не зналъ, что сказать, и слегка отвернулся.

Вдругъ Ирина вскочила со стула и положила ему обѣ руки на плечи.

— Но, вѣдь, ты меня любишь? Ты любишь меня? промолвила она приблизивъ къ нему свое лицо, и глаза ея, еще полные слезъ, засверкали веселостью счастья. Ты любишь меня и въ этомъ гадкомъ платьѣ?

Литвиновъ бросился передъ ней на колѣни.

— Ахъ, люби меня, люби меня, мой милый, мой спаситель, прошептала она, пригибаясь къ нему.“

„Такъ неслись дни, проходили недѣли...“ Если такъ неслись дни и недѣли, если Литвиновъ на вопросъ полудикой дѣвушки: какъ выйдти изъ темноты?—отвѣчалъ глубокомысленнымъ молчаніемъ и, вмѣсто разумной рѣчи, падалъ на колѣни, то откуда же Ирина могла ожидать выхода изъ той тьмы, которая окружала её? Если она была такъ наивна, что боялась потерять любовь Литвинова изъ-за гадкаго платья, и любезный ея не могъ объяснить ей всей странности ея опасеній, то легко понять, какую освѣжающую струю мысли и чувства могъ внести въ душу Ирины тотъ цыпленокъ, избранный ея сердцемъ. А между тѣмъ нельзя отказать Иринѣ ни въ умѣ ни въ сообразительности. Если она чувствовала, что кругомъ ея стоитъ темнота, она желала выхода изъ нея, то не трудно было освѣтить передъ ней неизвѣстную ей другую жизнь, съ другими понятіями о любви, о значеніи женщины, о наслажденіяхъ этой другой жизни и ея свѣтломъ просторѣ. Встрѣться Ирина съ другимъ болѣе умнымъ человѣкомъ, полюби его, и онъ, въ силу этой самой любви, перевернулъ бы все ея міросозерцаніе и повелъ бы ее другой, свѣтлой и свободной дорогой. Тогда Ирина поняла бы всю мерзость той сдѣлки, которую предложилъ ей графъ Рейзенбахъ, и не измѣнила бы своей первой, чистой и сознательной любви. Но если Литвиновъ стоялъ почти на одинаковой степени умственнаго развитія съ Ириной, если онъ самъ смотрѣлъ на любовь, какъ на принадлежность новаго фрака, то зачѣмъ же ему было захлебываться отъ бѣшенства, когда его возлюбленная избрала себѣ другую болѣе изящную вѣшалку моднаго костюма?

Такимъ образомъ, Ирина перешла изъ одной тьмы въ другую. Выступая на новый жизненный путь, усѣянный для нея всевозможными опасностями, она не запаслась ничѣмъ, что-бы могло предохранить ее отъ подводныхъ скалъ; она бросилась въ море съ завязанными глазами, и только

какое нибудь чудо могло спасти её отъ погибели. У нея не было ни опытности, ни знанія людей, ни развитія, ни любви къ труду, а, съ другой стороны, ея хорошенькое тѣло возбуждало разныя гаденькія поползновенія въ Рейзенбахахъ, и она отдалась безсознательно, безъ сопротивленія, отдалась вся и навсегда встрѣтившему ее теченію жизни. Будь, что будетъ! подумала Ирина, но бѣдность и темнота Собачьей площадки все же хуже неизвѣстнаго будущаго. И эта судьба тысячи тысячъ Ринъ, разсѣянныхъ по лицу русской земли!

Но вотъ наступила и расплата за свое прошлое. Лотерейный билетъ оказался дутымъ выигрышемъ, и хотя кургузый салопчикъ смѣнился пышнымъ соболемъ, сальные огарки превратились въ великолѣпныя люстры, и холодная коморка въ роскошный будуаръ, но Ирина не нашла счастья и въ этомъ новомъ мірѣ. По прошествіи десяти лѣтъ, встрѣтившись съ Литвиновымъ въ Баденъ-Баденѣ, она призналась ему, что жизнь ея загублена даромъ: „О, нѣтъ, не свѣтлое то было время, говорила она, не на счастье покинула я Москву, ни одного мгновенія, ни одной минуты счастья я не знала... повѣрьте мнѣ, что бы ни разсказывали вамъ. Если бъ я была счастлива, могла ли бы я говорить съ вами такъ, какъ я теперь говорю. Я повторяю вамъ, вы не знаете, что это за люди. Вѣдь, они ничего не понимаютъ, ничему не сочувствуютъ, даже ума у нихъ нѣтъ, ни ésprit ни intelligence, а одно только лукавство да сноровка; вѣдь, въ сущности и музыка, и поэзія, и искусство имъ одинаково чужды... Вы скажете, что я ко всему этому была сама довольно равнодушна, но не въ такой степени, Григорій Михайловичъ, не въ такой степени! Не свѣтская женщина теперь передъ вами, вамъ только стоитъ взглянуть на меня, не львица, такъ, кажется величаютъ насъ... а бѣдное, бѣдное существо, которое, право, достойно сожалѣнія. Не удивляйтесь... мнѣ не до гордости теперь! Я протягиваю къ вамъ руку, какъ нищая, поймите же это, наконецъ,—какъ нищая... Я милостыни прошу, прибавила она вдругъ съ невольнымъ, неудержимымъ порывомъ, я прошу милостыни, а вы...“

А Литвиновъ не могъ подать ее, потому что у него было еще меньше умственныхъ и нравственныхъ сокровищъ, чѣмъ у самой Ирины. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ онъ особеннымъ могъ украсить и осмыслить жизнь Ирины, проснвшей, какъ милостыни, своего спасенія? Если Литвиновъ, полный молодости и силъ, не могъ устроить для Ирины лучшаго будущаго, то откуда же онъ могъ взять его теперь? Вѣдь Ирина, конечно, умоляла его не объ удобреніи черноземa, не о зерносушилкѣ, а о томъ, чтобы онъ открылъ ей глаза на жизнь и указалъ ея свѣтлыя стороны. Она просила о томъ же выходѣ изъ темноты, котораго желала назадъ тому десять лѣтъ, и если Ратмировъ не могъ дать ей ничего, кромѣ драгоцѣнныхъ bijoux, то чѣмъ же особенно отличался Литвиновъ отъ Ратмирова, и что онъ могъ предложить, кромѣ тѣхъ же bijoux? Вѣдь Ирина не могла не знать, какъ велъ себя Литвиновъ въ отношеніи своей невѣсты Татьяны, какъ онъ нагло и безпощадно растопталъ эту молодую жизнь, какъ онъ отвратительно лицемѣрилъ въ то время, когда она, безмолвная и покорная своей судьбѣ, страдала за него и за себя. Все это знала Ирина и должна была понять, что не у такихъ людей надо просить свѣтлой и свободной жизни, не такихъ людей призываютъ на помощь, чтобы вырваться изъ бездны, въ которой, какъ говорила Ирина, она еще не совсѣмъ погибла. Наконецъ, она видѣла отношенія Литвинова къ самой себѣ, и здѣсь онъ дѣйствовалъ почти такъ же, какъ съ Татьяной! По крайней мѣрѣ, не нужно было имѣть особенной проницательности, чтобы видѣть въ этихъ отношеніяхъ постоянныя качанія изъ стороны въ сторону и жалкое недовѣріе къ собственнымъ силамъ. Когда Литвиновъ оттолкнулъ отъ себя Татьяну и чувствовалъ потребность излиться передъ Ириной, вотъ что онъ писалъ къ ней..." (приводится извѣстное письмо къ Ринѣ).

„Когда Ирина прочитала этотъ риторическій гимнъ любви, то поняла, что ея любезный фразеръ можетъ легко погубить ее, если она безусловно отдастся ему; она сообразила, что не такъ говорятъ люди, на которыхъ можно положиться въ критическую минуту жизни. И потому она по-

старалась охладить Литвинова: „Твое письмо, другъ мой, сказала она, навело меня на размышленія... Вотъ ты пишешь, что моя любовь для тебя все замѣнила, что даже всѣ твои прежнія занятія теперь должны остаться безъ примѣненія, а я спрашиваю себя, можетъ ли жить мужчина одною любовью? не прискучитъ ли она ему наконецъ, не захочетъ ли онъ дѣятельности, и не будетъ ли онъ пенять на то, что его отъ нея отвлекло? Вотъ какая мысль меня пугаетъ, вотъ чего я боюсь.“ И совершенно основательно! Если человѣкъ предлагаетъ женщинѣ оставить мужа и идти съ нимъ безропотно и довѣрчиво на край свѣта, то неужели онъ станетъ такъ безцеремонно лгать, если только въ немъ есть хоть капля сознанія своего достоинства. Вѣдь, вѣроятно, онъ то же самое говорилъ и Татьянѣ, когда объяснялся съ нею въ любви. Поэтому сомнѣніе невольно запало въ душу Иринѣ, и слова ея на болѣе простомъ языкѣ выразились бы слѣдующимъ образомъ: „дуракъ ты, Литвиновъ, носишься ты съ своей любовью, какъ съ писаной торбой, и не можешь понять, что для женщины, которая хотѣла опереться на тебя, нужны не сентиментальныя фразы ни театральныя позы, а энергія, умъ, и правда человѣческаго чувства. Ей нужна вѣра въ твои дѣйствительныя силы, а не въ вѣчные обѣты любви... И когда наступила развязка этой драмы, когда надо было рѣшиться уйти съ Литвиновымъ или пожертвовать имъ еще разъ въ пользу Ратмирова, Ирина отступила назадъ, и вмѣсто свѣта, опять захотѣла тьмы.

Но если Литвиновъ былъ не изъ числа тѣхъ, съ которыми уходятъ на край свѣта, то и Ирина была не изъ тѣхъ, кого можно приглашать съ собою въ дальній и опасный путь. Г. Тургеневъ или не понялъ взятой имъ личности или, желая одраматизировать бездушное и пустое существо, навязалъ ему совершенно неестественныя черты и запуталъ его въ неисходныхъ противорѣчіяхъ. Вы видите, что Ирина въ одно и то же время хочетъ служить и Богу и мамону; она хотѣла бы свѣта и свободы, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы свѣтъ и свобода не

были лишены той блистательной обстановки, которую ей дала кромѣшняя тьма Рейзенбаховъ и Ратмировыхъ. Она не прочь была бы уйти на край свѣта съ своимъ просвѣтителемъ и обновителемъ ея жизни, но уйдти такъ, чтобъ захватить съ собой всѣ экипажи, всѣ bijoux, всю великолѣпную мебель и весь свой разнообразный модный гардеробъ. Отчего, въ самомъ дѣлѣ, не попробовать свѣта, если можно пріобрѣсти его такъ дешево. Но дѣло въ томъ, что желать свѣта и свободы въ продолженіе десяти лѣтъ и не сдѣлать ни одного шага впередъ,—это, по меньшей мѣрѣ, глупо, если только возможно. Въ десять лѣтъ и не такія натуры, какъ Ирина, могутъ быть засосаны тѣмъ омутомъ, изъ котораго она возсылала къ лучезарному солнцу свои прогрессивныя желанія. Если она въ молодости, на разсвѣтѣ своей жизни, когда Собачья площадка и докучливые лавочники кредиторы еще не успѣли пріучить ее къ роскоши и модному бездѣлью,—если она тогда ограничилась только одними вздохами о свободѣ и свѣтѣ, то теперь и подавно. Въ десять лѣтъ составляются извѣстныя привычки, которыя ломать въ себѣ не легко; въ десять лѣтъ природныя способности Ирины, среди праздной и безцѣльной жизни, могли отупѣть до такой степени, что всякое понятіе о свѣтѣ и новой жизни было бы немыслимо... Къ сожалѣнію, ни одна Ирина такъ разсуждаетъ. Между нами, въ романахъ и въ жизни, найдется много такихъ героевъ, которые хотѣли бы свѣта и свободы, но съ тѣмъ, чтобы, прежде набить свой кошелекъ презрѣннымъ металломъ, а потомъ уже идти искать свѣта... Нѣтъ сомнѣнія, что Павелъ Ивановичъ Чичиковъ стремился къ тѣмъ же благороднымъ цѣлямъ; сдѣлайся онъ собственникомъ хорошенькой деревеньки и кругленькаго капитальца, онъ, вѣроятно, тоже заговорилъ бы въ либеральномъ тонѣ, о благодѣяніяхъ человѣчеству. Но только эти искатели свѣта и свободы забываютъ ту простую истину, что время и силы употребленныя имъ на приготовительную работу, на обезпеченіе себя сперва презрѣннымъ металломъ, а потомъ уже свѣтомъ, истрачиваются вполнѣ, и рутина жизни, гдѣ надо

было разрывать въ темнотѣ золотыя розсыпи капитальца, безвозвратно поглощаетъ свою жертву. Когда наступаетъ пора подумать о томъ, какъ бы теперь выйти на свѣтъ, то въ наличности не оказывается болѣе ни силъ ни желаній. И часто подобный искатель свѣта оканчиваетъ, вмѣсто благодѣтеля человѣчества и героя мысли, мелкимъ ростовщикомъ на углу многолюдной улицы. Съ Ириной тоже самое. Пока она кипятилась, разгоряченная мечтами и фразами, ей казалось, что еще время не ушло для искапія свѣта и свободы. Но когда надо было превратить слова и сердечныя вспышки въ самое дѣло, она почувствовала свое полное безсиліе. „Милый мой! писала она Литвинову, въ отвѣтъ на его просьбу—рѣшить его участь тѣмъ или другимъ,—я всю ночь думала о твоемъ предложеніи... Я не стану съ тобой лукавить; ты былъ откровененъ со мною, и я буду откровенна: я не могу бѣжать съ тобою, *я не въ силахъ* это сдѣлать... Я ужасаюсь, я чувствую ненависть къ себѣ, но я не могу поступить иначе, не могу, не могу! Я не хочу оправдываться, не стану говорить тебѣ, что я *сама была увлечена*... Все это ничего не значитъ, но я хочу сказать тебѣ и повторить еще разъ: я твоя, твоя всегда, располагай мною, какъ хочешь, безотвѣтно и безотчетно,—я твоя. Но бѣжать, и все бросить... нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ! Я умоляю тебя спаси меня, я сама надѣялась все изгладить, сжечь все какъ въ огнѣ... но, видно, мнѣ нѣтъ спасенія, *видно ядъ слишкомъ глубоко проникъ въ меня, видно, нельзя безнаказанно въ теченіе многихъ лѣтъ дышать этимъ воздухомъ*. Оставить этотъ свѣтъ (прежде она называла тьмой) я не въ силахъ, но жить въ немъ безъ тебя я не могу.“ Капитальная ложь всей этой чувствительной тирады въ томъ, что ядъ когда глубоко проникаетъ, онъ отравляетъ насъ, и мы теряемъ всякое сознаніе о жизни. Ирина была давно отравлена, и потому стремленія ея къ свѣту и свободѣ были сочинены за нее самимъ г. Тургеневымъ.

Теперь понятна и любовь ея къ Литвинову. Она хотѣла любить его точно такъ же, какъ свѣтъ и свободу. Я твоя,

миленькій, твоя на вѣки, но я также и Ратмирова; устройся же такъ, чтобы мнѣ не бросить одного и не оставить другого. Ратмировъ мнѣ нуженъ, какъ тьма банковыхъ билетовъ, а ты мнѣ необходимъ, какъ чистый бессребренный свѣтъ. Пойми же, миленькій, что ты одинъ можешь осчастливить меня такимъ манеромъ...

Вотъ настоящая, лицевая сторона характера Ирины.

Н. Лунинъ.

Потугинъ.

*) Самая сильная личность въ „Дымѣ“ — это, конечно, Потугинъ; но онъ рѣшительно далекъ отъ того, чтобы быть человѣкомъ новымъ. Это скорѣе одинъ изъ послѣднихъ могикапъ того безшабашнаго Западничества, которое въ сущности вытекаетъ изъ препохвальнаго свойства нашей натуры, но свойства, способнаго вырождаться въ чортъ знаетъ что, — того свойства, которое очень мѣтко опредѣляетъ Базаровъ, говоря съ обычной своей углуватостью: „Русскій человѣкъ только тѣмъ и хорошъ, что самъ о себѣ прескверпаго мнѣнія“. Потугинъ — человѣкъ „священническаго поколѣнія“, которое, при всей чистотѣ своей русской крови, издавна искусилось въ водвореніи у насъ чужого—византійскаго образа, только сильною волей Петра Великаго окончательно замѣненнаго другимъ — западно-европейскимъ.

О. Миллеръ.

* * *

**) Потугинъ собственно не характеръ, а скорѣе тѣнь или болѣе или менѣе вѣрное отраженіе личныхъ мнѣній и чувствованій автора. Хотя беллетристу и нетрудно скрыть свои собственныя идеи, подъ видомъ идей и убѣжденій своихъ героевъ; тѣмъ не менѣе для читателя всегда есть

*) О. Миллеръ. „Бесѣда“ 1871 г., № 12. Также „Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

**) П. Соловьевъ. „Искусство и Жизнь“. ч. 2. М. 1869 г.

полная возможность узнать, насколько личнаго, субъективнаго отражается во фразахъ и рѣчахъ разсуждающихъ въ романѣ лицъ. Потугинъ у Тургенева весь какъ бы сшитъ изъ разсужденій, и ихъ вообще такъ много въ романѣ, что, несмотря на всю картинность, живость языка, свойственную перу этого писателя, разсужденія эти, говорю, нарушаютъ ходъ цѣлаго происшествія. Ко всему, что совершается, чѣмъ держится романъ, — длинныя и ловко поставленныя рѣчи Потугина приклеены въ видѣ какой-то критической статьи. Въ статьяхъ критическихъ нельзя, какъ извѣстно, высказываться на половину, не рискуя быть принятымъ за лицемѣра; но въ повѣстяхъ можно очень ограничиться, какъ бы ни былъ серьезенъ вопросъ, ими затрогиваемый. И въ этомъ-то ошибка многихъ художниковъ и беллетристовъ, что они, изображая людей, берутся иногда за рѣшеніе задачъ, не допускающихъ никакого вымысла, никакой поэтической шпрмы. Если бы, напримѣръ, Тургеневъ попробовалъ разъяснить путемъ серьезной отъ себя рѣчи, а не объективнымъ изображеніемъ, то, что онъ хотѣлъ высказать характеромъ Потугина, то онъ пришелъ бы, быть можетъ, къ другому результату, чѣмъ онъ у него вышелъ.

Н. Соловьевъ.

* * *

*) По словамъ Анненкова, Потугинъ—„робкій, сосредоточенный въ себѣ полусеминаристъ, полуразночинецъ, который, большею частью, скромно молчитъ, а вступая въ разговоръ съ другими, страшно конфузится при началѣ. Намъ знакома отчасти и его жизнь. Онъ дозволилъ себѣ однажды поползновеніе—правда, также робко, застѣнчиво, какъ все, что онъ дѣлаетъ—возвести изъ низменной сферы, гдѣ онъ влачитъ свое существованіе, молящіе глаза кверху, и помѣстить самое глубокое чувство своего сердца на голову высоко стоявшей надъ нимъ женщины. Что же

*) „Вѣстникъ Европы“ 1867 г., № 6. Также „Воспоминанія и критическіе очерки“ П. Анненкова. Спб. 1879 г.

вышло? Онъ платится за одно это поползновеніе годами покорныхъ и неоцѣненныхъ услугъ, цѣлымъ рядомъ безропотныхъ, молчаливыхъ и нескончаемыхъ жертвъ"... „Потугинъ — отчаянный *„западникъ"*, продолжающій лучшія преданія нашей литературы 40 годовъ. Онъ дѣлаетъ это въ эпоху реакціи противъ нихъ, въ то время, когда люди озлобились противъ вѣковѣчнаго, нескончаемаго ученія, на которое присуждались этой литературой, и противъ послушничества, неизбѣжно съ нимъ сопряженнаго. Носить одно прозваніе ученика европейской жизни и цивилизаціи всю жизнь, на безсрочное и неопредѣленное время, сдѣлалось уже не въ моготу русскому образованному міру. Неодолимая жажда повышенія, выхода, въ иное, въ болѣе выгодное и почетное званіе, на какихъ-бы то ни было основаніяхъ и резонахъ, почувствовалась всѣмъ обществомъ сразу. Движеніе имѣло, какъ всякое соціальное движеніе, свою законную причину и свою долю необходимости. Оно было вызвано отчасти надменностію, нестерпимымъ самохвальствомъ ближайшихъ нашихъ учителей изъ нѣмецкой братіи, которая и не скрывала своего презрѣнія къ обществу, опекаемому имъ на всѣхъ пунктахъ. Сюда присоединилось еще и вліяніе кровной ненависти Европы къ государству, которое никогда не жило съ ней общею жизнію, вошло, какъ проходимецъ, въ ея составъ, помимо ея воли и гаданій, и располагаетъ остаться на своемъ мѣстѣ, не слушая ругательствъ и проклятій...

П. Анненковъ.

* * *

*) Какъ всѣ прежнія произведенія Тургенева, „Дымъ" отличается мастерской мозаической отдѣлкой тѣхъ мишурно любовныхъ сценъ, той будуарной роскошью женскихъ чувствъ и положеній, которыми Тургеневъ такъ сильно дѣйствовалъ на своихъ читателей и особенно читательницъ. Читая эти сцены, вы, повидимому, живете дѣйствительною

*) Н. Лунинъ. „Дѣло" 1868 г. № 1—3.

жизнью, но, прочитавъ и закрывъ книгу, чувствуете такое же ощущеніе, какое остается у насъ во рту послѣ съѣденнаго вами ананаса на голодный желудокъ. Ни голода, ни жажды, ни даже вкуса не удовлетворили вы изящнымъ плодомъ, а между тѣмъ ѣсть было его очень пріятно. Но рядомъ съ этими медовыми сценами въ „Дымѣ“ авторъ предлагаетъ читателямъ вовсе не медовое обличеніе отставнаго надворнаго совѣтника Потугина, неизвѣстно гдѣ и какъ набравшагося аттической соли, которой, сколько намъ извѣстно, въ министерствѣ финансовъ никогда не водилось. А между тѣмъ въ Потугина, какъ видно, авторъ вложилъ не только всю свою аттическую соль, но и всю свою гражданскую мудрость и весь свой умственный запасъ. Слушая этого заштатнаго мудреца и обличителя, такъ и думаешь, что и камни начинаютъ вопіять противъ насъ. И чего только не касается надворный совѣтникъ въ своемъ обличеніи — и лобастаго Губарева и благопризнаннаго Литвинова, и Кохановской, и славянофиловъ, а пуще всего достается отъ вицъ-мундирнаго сократа самой Россіи, которой онъ отказываетъ даже въ изобрѣтеніи такихъ продуктовъ, какъ лапти, дуга и кнутъ. „Говорятъ мнѣ, съ паѳосомъ восклицаетъ Потугинъ: изобрѣтательность! Россійская изобрѣтательность! Вотъ наши помѣщики и жалуются горько и терпятъ убытки, оттого что не существуетъ удовлетворительной зерносушилки, которая избавила бы ихъ отъ необходимости сажать хлѣбные снопы въ овины, какъ во времена Рюрика; овины же страшно убыточны, не хуже лаптей и рогожъ, и горятъ они безпрестанно. Помѣщики жалуются, а зерносушилокъ все нѣтъ, какъ нѣтъ. А почему ихъ нѣтъ? Потому, что нѣмцу онѣ не нужны; онъ хлѣбъ сырымъ молотитъ, стало быть, и не хлопочетъ объ ихъ изобрѣтеніи, а мы не въ состояніи! Не въ состояніи и баста! Хоть ты что! Съ нынѣшняго дня обѣщаюсь, какъ только подвернется мнѣ самородокъ или самоучка—стой, скажу я ему, почтенный! а гдѣ зерносушилка? Подавай ее! Да куда имъ! Вотъ поднять старый стоптанный башмакъ, давнымъ давно свалившійся съ ноги Сенъ-Симона или Фурье, и, почти-

тельно возложивъ его на голову, носиться съ нимъ, какъ съ святыней—это мы въ состояніи, или статейку настрочить объ историческомъ и современномъ значеніи пролетаріата въ главныхъ городахъ Франціи—это тоже мы можемъ; а попробовалъ я какъ-то предложить одному такому сочинителю и политико-эконому, въ родѣ вашего г. Ворошилова, назвать мнѣ двадцать городовъ въ этой самой Франціи, такъ знаете ли что вышло? Вышло то, что политико-экономъ, съ отчаянія, въ числѣ французскихъ городовъ, назвалъ наконецъ Монфермель, вспомнивъ, вѣроятно, польдекоковскій романъ. И пришелъ мнѣ тутъ на память слѣдующій анекдотъ—и т. д.“

Такимъ образомъ, сколько мы ни трудились осмыслить чѣмъ нибудь длинные и скучные монологи этого громовержца, въ чинѣ надворнаго совѣтника, но, кромѣ зерносушилки, ничего не могли понять изъ его гражданской мудрости. Зерносушилка—это, изволите видѣть, якорь нашего спасенія, это то всеисцѣляющее средство, которое выведетъ насъ на путь настоящей европейской цивилизаціи. И если бы Потугину отдали подъ команду всѣхъ россійскихъ писателей, то онъ заставилъ бы ихъ писать только о зерносушилкахъ, и развѣ одному Тургеневу, по дружбѣ и сочувствію въ образѣ мыслей, позволилъ бы развлекать цивилизованныхъ зерносушилками помѣщиковъ нѣжно-эротическими романами. Досталось отъ Потугина и естественнымъ наукамъ. „Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ, говоритъ онъ, бариномъ этимъ бываетъ большею частью живой субъектъ, иногда какое-нибудь такъ называемое направленіе надъ нами власть возымѣетъ; теперь, напримѣръ, мы всѣ къ естественнымъ наукамъ въ кабалу записались... Почему, въ силу какихъ резоновъ, мы записываемся въ кабалу—это дѣло темное; такая ужъ, видно, наша натура. Но главное дѣло, чтобъ былъ у насъ баринъ“.

Это безцѣльное, безсвязное и исполненное противорѣчій старческое ворчаніе производитъ на читателя странное впечатлѣніе. Что это такое?—думаетъ онъ. Личное раздраженіе заштатнаго чиновника, страдающаго геммороидальными

припадками печени, или сатира, вызванная сознаніемъ нашихъ недостатковъ и основанная на убѣжденіи? Но въ силу какихъ же данныхъ это убѣжденіе могло явиться въ надворномъ совѣтникѣ, котораго вся дѣятельность заключалась въ составленіи канцелярскихъ отношеній и докладовъ? Откуда эта обличительная прыть у человѣка, о которомъ, въ обратномъ отношеніи, можно сказать то же самое, что Потугинъ говоритъ о томъ сочинителѣ, который весь свой вѣкъ и стихами и прозой бранилъ пьянство, откупъ укорялъ... Да вдругъ самъ взялъ да два винные завода купилъ, и снялъ сотню кабаковъ—и ничего! Другого-бы съ лица земли стерли, а его даже не упрекаютъ!“ Но если бы мы спросили, что думаетъ этотъ сочинитель о Потугинѣ, то, вѣроятно, онъ сказалъ бы такъ: Посмотрите на этого Ювенала, онъ всю свою жизнь ни о чемъ не думалъ, ничѣмъ не волновался, ничего не обличалъ, и вдругъ, попавъ въ Баденъ-Баденъ, сталъ все обличать и все отрицать, кромѣ зерносушилки, и, ужъ разумѣется, своего ножизненнаго пенсіона. — И сочинитель былъ бы совершенно правъ, потому что одинъ другого стоитъ. Вся разница только въ томъ, что первый началъ тѣмъ, чѣмъ оканчиваетъ второй. Такимъ образомъ, мы думаемъ, что конечное обличеніе Потугина—скорѣе плодъ личнаго раздраженія, уязвленнаго самолюбія, котораго нѣкоторую долю долженъ принять на себя самъ Тургеневъ. На это предположеніе наводитъ насъ, во-первыхъ, не совсѣмъ искусно скрытая авторомъ мелочность закулисныхъ фактовъ, излагаемымъ устами Потугина, и, во-вторыхъ, самый тонъ сатиры, направленный туда, куда Потугину направлять ее вовсе не приходится. Поэтому надворный совѣтникъ является въ романѣ лицомъ крайне комическимъ, пришитымъ къ общему ходу разсказа такъ себѣ, непзвѣстно зачѣмъ и ради чего; очевидно, онъ былъ нуженъ автору, какъ маска его собственныхъ назиданій, бѣдность которыхъ надо же было чѣмъ нибудь прикрыть, хоть надворнымъ совѣтникомъ Потугинымъ. Для насъ удивительно только, что вся практическая мудрость автора не могла стать выше

чина надворнаго совѣтника... Ну отчего бы, кажется, не воспарить въ своей сатирѣ хоть до дѣйствительнаго статскаго!

Н. Лунинъ.

Губаревъ.

*) Особенно хорошо у Тургенева изображенъ главный вожака Губаревъ. Немного о немъ сказано, но все сказанное такъ и бьется на полотно. Это умѣнье исполнить роль большого прогрессиста и напустить пыли въ глаза малымъ, это неподражаемое вращеніе глазами, краснорѣчивое мм! и это, наконецъ, повертываніе на каблукахъ и умѣнье уйти отъ возраженія противника, и ни съ того ни съ сего вдругъ перейти къ матеріямъ важнымъ и даже бурѣть отъ благороднаго негодованія—все это черты типичныя, проявляющіяся не только въ жизни, но даже и въ литературѣ. Не вращаютъ ли только глазами всѣ теперешніе вожаки и идолы фельетонистовъ, не бурѣютъ ли они отъ ярости, когда нужно говорить дѣло и не отдѣлываются ли краснорѣчивымъ мм!, когда бываютъ разоблачены въ своемъ невѣжествѣ? Очень любопытно также у Тургенева объясненіе тому необыкновенному факту, что необразованная толпа у насъ нерѣдко покоряется самой слабоумной личности, въ родѣ Губарева.

Н. Соловьевъ.

Ворошиловъ.

Соловьевъ, между прочимъ, въ своей статьѣ упоминаетъ о Ворошиловѣ: „Какъ крупно-породистый Базаровъ былъ въ свое время снимкомъ съ разныхъ литературныхъ вожатаевъ, такъ и мелкая фигурка Ворошилова есть дагеротипическій снимокъ, хотя, быть можетъ, и безъ умысла, одною только силою свѣта и правды отразившійся на по-

*) Н. Соловьевъ. „Искусство и Жизнь“, ч. 2. М. 1869 г.

лотнѣ тургеневскаго романа. Въ обыденной жизни такіе субъекты, пожалуй, встрѣчаются рѣдко, но въ сходкахъ, называемыхъ литературными кружками, они попадаются зачастую и даже играютъ иногда очень видную роль.

Н. Соловьевъ.

Татьяна.

*) Татьяна — это типъ доброй, кроткой, недалекой женщины, у которой единственное содержаніе въ жизни — нѣжная, всепрощающая любовь. Разъ предавшись любимому человѣку, такія женщины любятъ тихою, какъ свѣчка теплящеюся, любовью до гроба, и готовы бываютъ простить милому человѣку что угодно. Эта всепрощаемость достойна сожалѣнія; она возбуждаетъ тѣмъ болѣе грустное чувство, что ею обыкновенно пользуются и злоупотребляютъ на каждомъ шагу такіе люди, какъ Литвиновъ.

А. Скабичевскій.

БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКІЕ ЭТЮДЫ ТУРГЕНЕВА ВЪ ПЕРІОДЪ МЕЖДУ „ДЫМОМЪ“ И „НОВЬЮ“.

**) Десятилѣтній срокъ отдѣляетъ романъ „Дымъ“ отъ романа „Новь“ — послѣдняго изъ крупныхъ произведеній Тургенева. Въ эти десять лѣтъ Тургеневъ постоянно жилъ вдали отъ родины, на короткое время пріѣзжая иногда въ Россію. Его творчество въ этотъ періодъ очевидно питалось только тѣми матеріалами, которые накопились въ давнихъ воспоминаніяхъ, и не касалось современности, ея тревогъ и колебаній. Почти каждый годъ первая книга журнала „Вѣстникъ Евроны“ являлась „украшенной“ какимъ-нибудь небольшимъ произведеніемъ Тургенева; но эти „украшающія“ произведенія не возбуждали уже никакихъ вол-

*) А. Скабичевскій. „Отечественныя Записки“ 1868 г., № 1. Также Сочиненія А. Скабичевскаго. Спб. 1870 г.

**) В. Буренинъ. „Литературная дѣятельность Тургенева“. Спб. 1884 г.

ненiй ни въ публикѣ ни въ литературѣ, не отвѣчали ни на какiе вопросы времени. Даже наиболѣе выдающiяся изъ этихъ произведенiй, двѣ довольно значительныхъ по объему повѣсти: „Степной король Лиръ“ и „Вешнiя воды“, въ художественномъ отношенiи представляющiя истинные шедевры — даже и эти повѣсти не произвели особеннаго впечатлѣнiя. А между тѣмъ въ первой изъ нихъ талантъ Тургенева блеснулъ со всею былою силою и выразительностью въ изображенiи оригинальныхъ бытовыхъ картинъ и характеровъ, мастерски задуманныхъ и обработанныхъ. Точно также и отъ „Вешнихъ водъ“ вѣетъ всею поэзiею и изяществомъ тургеневскаго творчества самой счастливой, самой лучшей и зрѣлой поры. Мотивъ этой повѣсти уже не разъ былъ затрогиваемъ художникомъ въ прежнихъ произведенiяхъ: въ „Перепискѣ“, отчасти въ „Асѣ“; характеръ ея главнаго героя также старый, не разъ воспроизведенный Тургеневымъ характеръ безвольнаго идеалиста сороковыхъ годовъ; но, тѣмъ не менѣе, упомянутый мотивъ въ „Вешнихъ водахъ“ варьированъ превосходно. Въ новыхъ варiацiяхъ на знакомую тему художникъ выказалъ бездну свѣжаго чувства, изящества, тонкой психологiи, чудесной живописи, краски которой также ярки и блестящи, какъ въ его молодыхъ работахъ.

Въ продолженiи десятилѣтiя, раздѣляющаго „Новь“ отъ „Дыма“, критика, вообще говоря, холодно относилась къ произведенiямъ Тургенева, точно такъ же, какъ и публика. Иногда его маленькiе и болѣе обширные по объему беллетристическiе этюды побранивали, прозрѣвая въ нихъ упадокъ таланта, иногда похваливали, но однако же безъ особеннаго восторга, а больше по привычкѣ, больше за старыя заслуги любимаго писателя. Въ критикѣ тогдашней можно немного насчитать попытокъ пристальнаго и вдумчиваго истолкованiя общаго внутренняго смысла тѣхъ беллетристическихъ этюдовъ, которые художникъ давалъ почти каждый годъ. Какъ на одну изъ такихъ счастливыхъ попытокъ критики можно указать на прекрасную и глубокую статью г. Страхова въ журналѣ „Заря“. Почтенный кри-

тикъ очень оригинально и остроумно опредѣляетъ затаенный смыслъ большинства тургеневскихъ этюдовъ, появившихся послѣ „Дыма“. Въ этихъ этюдахъ, говоритъ г. Страховъ, „вездѣ слышится чуткое, раздражительное недовольство нашимъ народнымъ характеромъ, невѣріе въ изящество его проявленій. Съ тѣхъ поръ, какъ Тургеневу измѣнило молодое поколѣніе, и онъ пересталъ выводить намъ представителей нашего прогресса, этихъ героевъ нашего общества, онъ, очевидно, обобщилъ свою задачу, и сталъ вообще изображать, какъ въ русской жизни проявляются сильныя страсти, какія въ ней встрѣчаются исторіи, болѣе или менѣе романическія, болѣе или менѣе странныя. Передъ поэтомъ какъ бы постоянно носятся образы западнаго искусства—Лиръ, Вертеръ, и пр., и онъ ищетъ имъ подобій въ нашей скучной и блѣдной жизни. Пошлость русскаго быта, общая низменность нравовъ и характеровъ составляетъ необыкновенно яркій контрастъ съ порывами сильныхъ страстей, съ исключительными событіями и лицами, въ которыхъ какъ бы открывается иная природа, міръ явленій болѣе высокаго порядка. Вотъ дѣвушка, исполненная самоотверженія и пламенной религіозности. Куда же ушли эти силы? Она стала спутницею грязнаго и дикаго юродиваго (г. Страховъ разумѣетъ разсказъ „Странная исторія“). Вотъ фантастическое явленіе „Собаки“, достойное воплотить въ себѣ глубокій смыслъ, быть страшнымъ откровеніемъ человѣческихъ тайнъ. Съ кѣмъ же оно случилось? Съ пошлякомъ-помѣщикомъ, къ которому оно такъ же идетъ, какъ къ коровѣ сѣдло. Да мало того — въ этомъ чудѣ нѣтъ никакого смысла ни для него и ни для насъ. Вотъ примѣръ неизмѣнной, неугасающей любви—„Бригадиръ“. Боже мой! Что за фигура, что за обстановка, какая неизмѣримая, безвыходная пошлость! Самыя формы этой любви, просительныя письма бригадира, его толки о подаркахъ, даже его фамилія — Гуськовъ — все представляетъ картину, оскорбляющую чувство красоты, все даетъ чувствовать нестерпимый диссонансъ между безобразіемъ дѣйствительности и тою искрою идеальной жи-

зни, которая попала въ эту грязь. А вотъ и самъ король Лиръ, вотъ величіе въ образѣ Мартына Харлова. Его двѣ дочери — такія же красавицы и такія же злодѣйки, какъ Гонерилья и Регана. Есть и Эдмундъ—Слеткинъ, плѣнившій обѣихъ сестеръ. Шутъ — это Сувенпръ. Кентъ — казачокъ Максимка и т. д. Тургеневъ самымъ серьезнымъ образомъ переложилъ Шекспира на русскіе нравы, пародировалъ одну изъ чудеснѣйшихъ драмъ. Искусство, съ которымъ это сдѣлано — выше всѣхъ похвалъ. Вообще, во всемъ, что создаетъ Тургеневъ — онъ до величайшей степени вѣренъ русской жизни; онъ не вноситъ въ нее чужихъ элементовъ; напротивъ, тщательно объективируетъ ее, тщательно отличаетъ ее отъ всякой другой жизни, съ тѣмъ, чтобы вѣрнѣе и явственнѣе выступила противоположность ея съ идеалами страстей, съ мощными и изящными проявленіями души человѣческой.

В. Буренинъ.

«Лейтенантъ Ергуновъ».

*) Въ этой повѣсти есть любовь, убійство, восточная красавица, пѣсни, пляски, волшебныя грезы... Но подставку для этихъ событій и картинъ, нить, на которую они нанизаны составляетъ пустѣйшій и прозаичнѣйшій въ мірѣ человѣкъ, морякъ Ергуновъ (одна фамилія чего стоитъ!). Въ этой противоположности заключается вся соль, вся пикантность этого разсказа.

Н. Страховъ.

«Несчастная».

**) Въ „Голосѣ“ за 1869 г. между прочимъ говорится: „Въ январской книжкѣ „Русскаго Вѣстника“ помѣщена повѣсть г. Тургенева „Несчастная“. Многаго сказать объ

*) Н. Страховъ. „Заря“ 1871 г., № 2. Также „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“. Спб. 1887 г.

**) „Голосъ“ 1869 г., № 50. „Библіографія и журналистика“.

этой повѣсти нельзя. Прошло уже то время, когда всякое новое произведеніе г. Тургенева шевелило умъ и сердце, возбуждало многоразличные толки и живѣйшій интересъ въ обществѣ. Теперь Тургеневъ отшатнулся отъ Россіи, и Россія отъ него отшатнулась. „Несчастной“ суждено пройти почти незамѣтно. Для всякаго другого писателя эта повѣсть была бы, пожалуй, нѣкоторою литературною заслугою—для Тургенева, и при томъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ молчанія, произведеніе это слишкомъ незначительно. Въ немъ разсказывается избитая и перезбитая исторія о душевныхъ и сердечныхъ страданіяхъ незаконной дочери богатаго барина, воспитанной въ холѣ, но безъ отцовской ласки и любви, преслѣдуемой мужемъ ея матери и вдвойнѣ несчастной въ любви; одного молодого человѣка, котораго любила Сусанна (такъ зовутъ героиню повѣсти), похитила у нея смерть; другой, повѣривъ клеветѣ, самъ ее бросилъ и послужилъ причиною ея собственной преждевременной смерти. Печальное происшествіе это легко могло-бы быть перенесено изъ Россіи во Францію или куда хотите. Мѣстнаго, національнаго нѣтъ ничего ни въ характерѣ Сусанны ни въ ея несчастіяхъ. При томъ, она даже выставлена, какъ дочь еврейки, а ея несчастія, страданія и смерть вызваны чисто-случайнымъ сцѣпленіемъ обстоятельствъ, которымъ только въ слабой степени способствуетъ обстановка русскаго помѣщичьяго быта. Несчастія Сусанны, зависѣвшія отъ помѣщичьяго произвола, были лишь временными несчастіями, которыя самъ авторъ относитъ притомъ къ прошедшему; настоящія же страданія ея, составляющія главный предметъ повѣсти, вызваны, повторяемъ, обстоятельствами чисто случайнаго свойства. Безъ сомнѣнія, разсказана повѣсть съ свойственнымъ г. Тургеневу мастерствомъ, и нѣкоторыя изъ второстепенныхъ характеровъ обрисованы прекрасно. Таковъ, напримѣръ, Иванъ Матвѣичъ Колтовской, незаконный отецъ Сусанны, совершенный французскій маркизъ, красивый, свѣжій, опрятный, утонченный, начитанный, деликатный, такъ что даже со слугами говорилъ учтиво, но совершенно безсердечный:

онъ никогда не улыбался, а какъ то завастривалъ и выдвигалъ впередъ губы; съ дочерью онъ обходился въ высшей степени вѣжливо и, даже больной незадолго до своей смерти, всякій разъ вставалъ съ кресла, когда она входила въ компату, но нѣжности и ласки не допускалъ съ нею никакой и о будущемъ ея не позаботился. По-русски Колтовской почти совсѣмъ не умѣлъ говорить и презиралъ наше „грубое нарѣчіе“, ce jargon vulgaire et rude. Съ крестьянами считалъ нужнымъ, въ извѣстные, установленные имъ пріемные дни, либеральничать и, выходя къ нимъ въ залу или на балконъ съ розаномъ въ петличкѣ, прикасался губами къ серебряному стаканчику съ водкой, держа рѣчь въ родѣ слѣдующей: „Вы довольны моими поступками, сколь и я доволенъ вашимъ усердствованіемъ; сему радуюсь истинно. Мы всѣ *браты*; само рожденіе насъ производитъ равными; пью ваше здоровье!“ Съ этими словами онъ кланялся имъ, и крестьяне кланялись ему—въ поясъ, а не въ землю, что было строго запрещено. Колтовской былъ вольнодумецъ; на этихъ народныхъ празднествахъ и при другихъ онъ обходился всегда „безъ участія духовенства“, sans le concours du clergé; передъ смертію священника къ себѣ не позвалъ, и когда съ нимъ случился послѣдній ударъ, то его застали сидѣвшимъ на полу скорчившись, причемъ онъ два раза сряду повторилъ: „Вотъ тебѣ, бабушка, и юрьевъ день!“

„*Голосъ*“ *1869 г.*

* * *

*) Въ *Несчастной* мы видимъ передъ собою еврейку, отецъ которой, живописецъ, былъ вывезенъ изъ-за границы, и дочь этой еврейки Сусанну,—женщинъ иного племени, иного душевнаго склада, окруженныхъ русскою жизнію, и чистыми русскими, и русскими съ нѣмецкою кровью, и обрусѣвшими чехами. Какія мастерскія фигуры—Колтовской, Фустовъ, Рачъ, Викторъ!

*) Н. Страховъ. „Заря“ 1871 г., № 2. Также „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ“. Спб. 1867 г.

„Помнится,“ говоритъ Тургеневъ, „гдѣ-то у Шекспира говорится о *бѣломъ голубѣ въ стаѣ черныхъ вороновъ;* подобное впечатлѣніе произвела на меня вошедшая дѣвушка: *между окружающимъ ее міромъ и ею было слишкомъ мало общаго*; казалось, она сама втайнѣ недоумѣвала и дивилась, какъ она попала сюда“.

Вотъ смыслъ всего разсказа. Попавши въ чужой міръ, мать и дочь невыразимо страдаютъ и, наконецъ, гибнутъ. Мать любила когда-то Колтовскаго, чему не мало удивляется Сусанна; Колтовской, не умѣвшій любить и, по знаменитому выраженію, *только пребывавшій благосклоннымъ* къ своей любовницѣ, измучилъ и ее и дочь. Дочь, полюбившая Фустова, находитъ въ немъ холодность и недовѣрчивость, отъ которой и гибнетъ. Это двѣ души, глубоко оскорбленныя дѣйствительностію, два бѣлыхъ голубя среди вороновъ.

Н. Страховъ.

* * *

*) Чувство красоты и гармоніи наполняло всю душу нашего художника и невольно увлекало его къ нѣкоторому подбору своихъ картинъ. Тургеневъ знаетъ, что въ жизни есть отвратительное и ужасное; онъ мимоходомъ можетъ натолкнуться на нихъ, но торопится пройти мимо, не томя ни себя ни читателей зрѣлищемъ грязи и ужаса. Картинъ такого рода вы почти не встрѣтите у Тургенева. Возьмите, напримѣръ, его „Несчастную“ — повѣсть исключительную по тяжелой обстановкѣ, въ которую Тургеневъ поставилъ свою героиню... Судьба ея ужасна, и дѣвушка дѣйствительно кончаетъ самоубійствомъ. Тяжелую картину пишетъ Тургеневъ, но за то съ какимъ стараніемъ приготовляетъ онъ въ этой погибшей жизни свѣтлый, хотя мимолетный оазисъ любви: ему будто самому хочется отдохнуть отъ страданія. Самое же типичное—онъ вамъ рисуетъ все-таки замѣчательно прекрасный образъ страдалицы, умѣвшей вы-

*) К. Григорьевъ. „Дѣло“ 1884 г., № 1.

работать и до конца сохранить въ себѣ высокія черты человѣческой личности. Вы видите несчастную жизнь, но не видите самаго ужаса несчастной жизни, видите самоубійство, но не видите паденія. А иной скептикъ могъ бы задать себѣ вопросъ: какъ это могла сохраниться такая чистая душевная красота? какъ не обезобразилась она, какъ не сдѣлалась дѣвушка хоть любовницею старика-помѣщика, какъ онъ даже не изнасиловалъ ее, хотя при данныхъ условіяхъ очень могъ это сдѣлать. Для Тургенева это слишкомъ ужасно. У него есть одна такая сцена, т. е., лучше сказать, случай («Сонъ»), но художникъ говоритъ о немъ въ двухъ словахъ, торопливо, какъ будто проговариваясь бредомъ больной женщины, и не останавливается ни на какомъ описаніи. Возвратимся, впрочемъ, къ „Несчастной“. Тургеневъ, повторяю, бережетъ ее отъ всего, что въ дѣйствительной жизни наиболѣе ужасно. Онъ даже даритъ несчастной любовь, не долгую, но такую, о которой помнятъ весь вѣкъ. Дѣвушка влюбляется въ сына того самаго помѣщика, отдается ему, и молодой наслѣдникъ, воспитанный на петербургской жизни тогдашнихъ дворянчиковъ, оказывается не негодяемъ, даже не шалопаемъ, не играетъ съ дѣвушкой, а отдается ей вполнѣ, выдерживаетъ изъ за нея разрывъ съ отцомъ, и не успѣваетъ создать рай для несчастной только потому, что умираетъ. Когда, въ концѣ концовъ, несчастная погибаетъ, и вы закрываете послѣднюю страницу — не легко у васъ на душѣ, но въ воображеніи вашемъ остается все-таки изящный, полный красоты образъ утопленницы, и не ужасъ, а тихая грусть наполняетъ вашу душу.

К. Григорьевъ.

„Странная исторія“.

*) Здѣсь фантастическое есть дѣйствіе таинственной физической силы — магнетизма. Юродивый Василій, самъ неподозрѣвающій, что онъ магнитизеръ, считающій себя въ

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

своемъ болѣзненномъ положеніи человѣкомъ Божьимъ, постникъ и молельщикъ, носящій тяжелыя вериги, совершаетъ чудеса, вызываетъ тѣни умершихъ своею таинственной силой, развившейся въ его организмѣ вмѣстѣ съ страшной падучей болѣзнью.

Разсказчикъ повѣсти говоритъ, какъ Василій показалъ ему оригинальную голову его давно умершаго гувернера-француза. Василій вошелъ тихо и незамѣтно въ полуосвѣщенную комнату; онъ

„дышалъ усиленно, точно на гору взбирался или ношу поднималъ, а глаза его какъ-будто расширялись, какъ-будто приближались ко мнѣ (повѣствуетъ разсказчикъ), и неловко мнѣ становилось подъ ихъ упорнымъ, тяжелымъ, грознымъ взоромъ; по временамъ эти глаза загорались зловѣщимъ внутреннимъ огонькомъ; подобный огонекъ замѣчалъ я у борзой собаки, когда она „воззрится“ въ зайца и, подобно борзой собакѣ, тотъ весь устремлялся своимъ взоромъ вслѣдъ за моимъ, когда я „дѣлалъ угонку“, т. е. пробовалъ отвести глаза въ сторону.

Такъ прошло, не знаю, сколько времени: быть можетъ, минута; быть можетъ, четверть часа. Онъ все глядѣлъ на меня; я все ощущалъ нѣкоторую неловкость и страхъ, и все думалъ о французѣ. Раза два я попытался сказать самому себѣ: „что за вздоръ! что за комедія!“ попытался улыбнуться, пожать плечомъ... Напрасно! Всякое рѣшеніе во мнѣ тотчасъ „застывало“, — я другого слова подобрать не умѣю. Мною овладѣло какое-то оцѣпенѣніе.

Затѣмъ юродивый сталъ приближаться странными движеніями и прыжками, набѣжалъ какой-то туманъ, — и послѣдовало видѣніе. Это видѣніе утомило всего болѣе самого Василія:

„онъ подошелъ, шатаясь, къ стѣнѣ, уперся въ нее головой и обѣими руками, и, задыхаясь, какъ запаленая лошадь, хриплымъ голосомъ проговорилъ: чаю!“

Замѣчательно, что съ магнетизмомъ Василія связанъ и обманъ, — только не Василій обманываетъ, а воспитавшая его женщина, торговка Мастридія Карповна, хитрая, плутоватая и пристрастная къ водкѣ. Она развила въ своемъ пріемышѣ какими-то извѣстными ей средствами падучую болѣзнь и вмѣстѣ таинственную силу. Поэтъ намекаетъ;

что Василій—не единственный случай подобныхъ ея дѣйствій: онъ слышалъ въ ея комнатѣ, когда пришелъ къ ней, „жалобный писк ребенка“; а Василія она назвала своимъ сыномъ по духу“, и прибавила: „много у меня спротъ-то!“

Въ повѣсти очень симпатичными чертами нарисованъ образъ молодой дѣвушки—Софи Т*. Вотъ какою представилась она разсказчику, когда онъ впервые увидѣлъ ее въ домѣ ея отца:

„Лицо у ней было совсѣмъ дѣтское, круглое, съ маленькими, пріятными, но неподвижными чертами: голубые глазки подъ высокими, тоже неподвижными неровными бровями, глядѣли внимательно, почти изумленно, точно они начали замѣчать что-то для нихъ неожиданное; пухлый ротикъ, съ приподнятой верхней губой, не только не улыбался, но, казалось, не имѣлъ этой привычки вовсе... Общее впечатлѣніе, производимое этой дѣвушкой, было не то, чтобы болѣзненное, но загадочное“. Она казалась „существомъ съ особеннымъ... неяснымъ отпечаткомъ. Оно меня не привлекало и не отталкивало; я его не вполнѣ понималъ и только чувствовалъ, что мнѣ еще не удавалось встрѣтить болѣе искреннюю душу. Жалость... да! жалость возбуждала во мнѣ эта молодая, серьезная, настороженная жизнь—Богъ вѣдаетъ почему! „Не отъ земли сея“, думалось мнѣ, хотя собственно въ выраженіи лица ея не было ничего „идеальнаго“.

При второй встрѣчѣ, на балу, она показалась разсказчику болѣе поэтической; онъ говоритъ про нее:

„ничего болѣе трогательно-молодого и чистаго нельзя было себѣ представить“.

Софи была дѣвушка искренно и глубоко вѣрующая. Онъ разсказалъ ей о своей встрѣчѣ съ „Васенькой“, распространился о магнетизмѣ и закончилъ восклицаніемъ: „не допускаете же вы чудесъ?“

„Конечно, допускаю, спокойно промолвила она. Да и какъ можно не допускать ихъ? Развѣ не сказано въ Евангеліи, что у кого на одно горчишное сѣмя вѣры, тотъ можетъ горы поднимать съ мѣста? Нужно только вѣру имѣть, чудеса будутъ.

— Видно, мало вѣры въ наше время стало, возразилъ я: что-то не слыхать про чудеса!

Однако, вотъ бываютъ же; вы сами видѣли. Нѣтъ, вѣра не перевелась въ наше время, а начало вѣры...

— Начало премудрости страхъ Божій,—перебилъ я.

Начало вѣры, продолжала Софи, нисколько не смутившись: самоотверженіе... уничиженіе!

— Даже уничиженіе? спросилъ я.

Да. Гордость человѣческая, гордыня, высокомѣріе, вотъ что надо искоренить до тла. Вы вотъ упомянули о волѣ... ее-то и надо сломить.

Я окинулъ взоромъ всю фигуру молоденькой дѣвушки, произносившей такія рѣчи... „А вѣдь этотъ ребенокъ не шутитъ!“ подумалось мнѣ.

. . . . . .

Для чистаго нѣтъ ничего нечистаго (продолжала она). Лишь бы учителя найти, наставника найти!“

Святымъ выраженіемъ лица, съ которымъ она говорила эти слова, она напомнила собесѣднику „до-Рафаэлевскихъ мадоннъ“.

Софи и отыскала себѣ наставника, учителя: она пошла за пустившимся въ скитанія юродивымъ Васпліемъ и стала служить ему. И тогда къ ея

„прежнему, задумчиво-изумленному выраженію присоединилось другое, рѣшительное, почти смѣлое, сосредоточенно-восторженное выраженіе. Дѣтскаго въ этомъ лицѣ уже не оставалось ни слѣда“.

Замѣчательны отношенія автора къ Софи: онъ сожалѣетъ ее, скорбитъ о ней, потому что служеніе ея — ошибка, и матерьяльную силу она приняла за духовную; но онъ сочувствуетъ ея вѣрѣ, ея жаждѣ духовнаго, чудеснаго.

„Раздумье нашло на меня (говоритъ онъ). Я ничего не понималъ; я не понималъ, какъ могла такая хорошо воспитанная, молодая, богатая дѣвушка бросить все и всѣхъ,—родной домъ, семью, знакомыхъ, махнуть рукой на всѣ привычки, на всѣ удобства жизни, и для чего? Для того, чтобы пойти вслѣдъ полусумашедшему бродягѣ, чтобъ сдѣлаться его прислужницей?.. Я не понималъ поступка Софи; но я не осуждалъ ее... я не могъ не сожалѣть, что Софи пошла именно этимъ путемъ, но отказать ей въ удивленіи, скажу болѣе, въ уваженіи, я также не могъ. Не даромъ она говорила мнѣ о самоотверженіи, объ уничиженіи... у

ней слова не розняились съ дѣломъ. Она искала наставника и вождя, и нашла его... въ комъ, Боже мой!

Да, она заставила топтать, попирать себя ногами... Миръ сердцу твоему, бѣдное, загадочное существо!"

А. Незеленовъ.

«Стукъ, стукъ, стукъ!»

*) „Въ *Стукъ, стукъ, стукъ!* выставленъ пошлый, тупой, неуклюжій и безтушный офицеръ, который вздумалъ разыграть изъ себя героя. Ни въ немъ самомъ ни вокругъ него нѣтъ ничего героическаго, необыкновеннаго, способнаго возбудить и питать фантазію. Но онъ выдумываетъ, сочиняетъ себѣ несчастія, дѣйствія судьбы, чудесныя явленія. Эти безмѣрно-упрямыя попытки подняться въ *идеальный міръ* оканчиваются тѣмъ, что герой убиваетъ себя безъ всякой на то причины, единственно изъ желанія выдержать роль рокового человѣка. Тутъ изображенъ контрастъ между низменною и тупою натурою и идеальными стремленіями. Вотъ какъ русскіе люди иногда пытаются быть героями! Они не имѣютъ на это ни правъ ни способностей".

Н. Страховъ.

* * *

**) Иллюстрируя живую обрисовку индивидуальныхъ особенностей характера, отсутствіе типичности, отсутствіе творческой фантазіи и крайней скудости вымысла у Тургенева, критикъ „Дѣла" говоритъ: „Если бы за разработку этой темы взялся настоящій художникъ, онъ бы изобразилъ намъ въ характерѣ Тяглева (фамилія офицера) типическія черты меланхолика; при томъ широкомъ распространеніи, которое получила въ наше время эта болѣзнь, такой характеръ, будь онъ типиченъ, возбуждалъ бы въ насъ живой интересъ, и самое развитіе темы разсказа (меланхолія, приводящая къ самоубійству) не потребовала бы никакихъ

*) Н. Страховъ. „Заря" 1871 г., № 2. Также „Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ", Спб. 1887 г.

**) „Дѣло" 1872 г., № 12. Статья Постнаго.

постороннихъ эффектовъ, никакихъ чисто-театральныхъ „совпаденій“, искусственно подогнанныхъ случайностей. Но тургеневскій Тяглевъ не имѣетъ въ себѣ ничего типическаго, и это характеръ совершенно индивидуальный, въ которомъ меланхолія до такой степени перемѣшана съ его чисто личными свойствами, также не отличающимися никакою типичностью, что трудно даже сказать, меланхоликъ ли это или только невѣжественный, суевѣрный и болѣзненно-самолюбивый человѣкъ. Повидимому, самъ авторъ смотритъ на него, какъ на человѣка здороваго. Оттого и самое самоубійство получаетъ характеръ не роковой неизбѣжности, а простой случайности. Оно не вытекаетъ, какъ естественное послѣдствіе основныхъ факторовъ его внутренней жизни, а вызывается чисто внѣшними посторонними условіями. Тургеневъ предварительно заставляетъ Тяглева разорвать связь съ любимою имъ дѣвушкою, потомъ напугиваетъ его своимъ „стукъ, стукъ, стукъ“, потомъ убиваетъ эту дѣвушку холерою, приводитъ его къ мысли, что она отравилась изъ-за него, что онъ ее убилъ. Теперь, кажется, идея самоубійства (къ которой онъ, какъ меланхоликъ, и прежде чувствовалъ склонность) должна-бы окончательно овладѣть его умомъ; безъ всякаго посторонняго вмѣшательства, безъ всякихъ „новыхъ случайностей“ она сдѣлаетъ свое дѣло... Если бы мы имѣли передъ собою типическій характеръ, мы ни на минуту не могли бы въ этомъ усумниться. Но за Тяглева поручиться нельзя; г. Тургеневъ того-же мнѣнія. И вотъ онъ призываетъ на помощь свою фантазію, устраиваетъ новое coup de théâtre. Онъ выдумываетъ какого-то гребенщика, котораго, какъ и Тяглева, зовутъ Ильею; гребенщикъ назначаетъ своей любовницѣ свиданіе около тяглевскаго дома, а г. Тургеневъ заставляетъ эту любовницу громко звать своего возлюбленнаго по имени. Тяглевъ, услышавъ среди ночи свое имя, воображаетъ, что это зоветъ его отвергнутая имъ дѣвушка. Узнавъ на другой день, что она умерла, онъ окончательно убѣждается въ этой идеѣ, и тогда только застрѣливается“.

Дѣло 1872 г. Статья Постнаго.

*) „Стукъ... стукъ... стукъ!..“, студія, 1870 г.., относится къ чудесному съ величайшимъ скептицизмомъ и недовѣріемъ; оно представлено здѣсь простымъ самообманомъ человѣческаго себялюбія. Герой произведенія—офицеръ Тѣглевъ—изображенъ очень несимпатичной личностью. Ограниченный, мало знающій, отличающійся громаднымъ самолюбіемъ, хотя, впрочемъ, добродушный и простосердечный, онъ, подъ вліяніемъ направленія, даннаго нѣкоторымъ кругамъ русскаго общества повѣстями Марлинскаго, искренно воображаетъ себя „фатальнымъ человѣкомъ“.

„Марлинскій теперь устарѣлъ (говоритъ Тургеневъ), никто его не читаетъ, и даже надъ именемъ его глумятся; но въ 30-хъ годахъ онъ гремѣлъ какъ никто—и Пушкинъ, по понятію тогдашней молодежи, не могъ идти въ сравненіе съ нимъ. Онъ не только пользовался славой перваго русскаго писателя, онъ даже,—что гораздо труднѣе и рѣже встрѣчается—до нѣкоторой степени наложилъ свою печать на современное ему поколѣніе. Герои à la Марлинскій попадались вездѣ, особенно въ провинціи и особенно между армейцами и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языкомъ; въ обществѣ держались сумрачно, сдержанно—„съ бурей въ душѣ и пламенемъ въ крови“, какъ лейтенантъ Бѣлозоръ „Фрегата Надежды“. Женскія сердца „пожирались“ ими. Про нихъ сложилось тогда прозвище: „фатальный“. Типъ этотъ, какъ извѣстно, сохранялся долго, до временъ Печорина. Чего-чего не было въ этомъ типѣ? И байронизмъ, и романтизмъ; воспоминанія о французской революціи, о декабристахъ—и обожаніе Наполеона; вѣра въ судьбу, въ звѣзду, въ силу характера, поза и фраза—и тоска пустоты; тревожныя волненія мелкаго самолюбія и дѣйствительная сила и отвага; благородныя стремленья — и плохое воспитаніе, невѣжество, аристократическія замашки—и щеголяніе игрушками...“

Тѣглевъ былъ такимъ „фатальнымъ“ человѣкомъ; два совершенно случайныхъ происшествія утвердили его въ вѣрѣ въ свою фатальность: однажды ему удалось съ тонкаго, плывущаго льда спасти собаку, и въ другой разъ онъ на карточномъ вечерѣ у батарейнаго командира угадалъ три карты подъ рядъ. Товарищи не любили его, но вѣрили,

*) А. Незеленовъ. „Тургеневъ въ его произведеніяхъ“. Спб. 1885 г.

особенно послѣ этихъ двухъ случаевъ, въ его „звѣзду“. Человѣкъ онъ былъ (иронически говоритъ Тургеневъ) „съ предопредѣленіемъ“, какъ бываютъ люди „со вздохомъ“ и „со слезою“.

Пошлый и тщеславный, Тѣглевъ не женился на любимой имъ и любившей его дѣвушкѣ, потому что она была мѣщанка, и высокопоставленный дядя его не одобрялъ этого брака; а между тѣмъ дѣвушку эту тетка его, у которой она, сирота, воспитывалась, прогнала изъ дому изъ-за него.

Случайно услышавъ ночью на улицѣ въ туманѣ таинственный голосъ, произнесшій его имя—Илья (потомъ оказалось, что это крестьянская дѣвушка звала на свиданье разнощика Илью), Тѣглевъ рѣшилъ, что слышалъ голосъ покинутой имъ Маши, что она умерла, лишила себя жизни, какъ грозила ему при разлукѣ.—Онъ отправился на другой же день изъ лагеря въ городъ—разузнавать о судьбѣ дѣвушки (причемъ не забылъ завиться). Оказалось, что она дѣйствительно умерла, но отъ холеры. Это послѣднее обстоятельство разрушало всѣ соображенія и фатальныя вѣрованія Тѣглева: ему нужно было, чтобы она отравилась, и онъ до тѣхъ поръ приставалъ къ лѣчившему ее доктору, пока тотъ, чтобы отвязаться, не сказалъ ему, наконецъ:

„Ну, отравилась она, коли вамъ этакъ пріятнѣе“.

Тѣглевъ поблагодарилъ его, даже руку пожалъ, и затѣмъ рѣшилъ, что и онъ долженъ умереть, ибо, кромѣ этой причины, по его нелѣпымъ ариѳметическимъ расчетамъ, итоги цифръ годовъ, мѣсяцовъ и дней рожденія и смерти его и Наполеона совпадутъ, если онъ умретъ 21-го іюля 1834 года. Онъ такъ и сдѣлалъ: застрѣлился въ названное число, поддержалъ репутацію „фатальнаго человѣка“.

Тѣглевъ оставилъ послѣ себя письмо къ высокопоставленной особѣ, своему высшему начальнику; это письмо производило „тяжелое и непріятное“ впечатлѣніе; только подъ конецъ его (говоритъ разсказчикъ)

„вырвался изъ сердца Тѣглева искренній крикъ. „Ахъ, Ваше В—ство! такъ заключалъ онъ свое посланіе,—я сирота, меня не-

кому было любить смолоду—и всѣ меня чуждались... а единственное сердце, которое отдалось мнѣ,—я самъ загубилъ“.

Эти искреннія слова объясняютъ намъ, почему разсказчикъ повѣсти говоритъ про Тѣглева, что „помимо его напускной фатальности надъ нимъ дѣйствительно тяготѣетъ трагическая судьба, которой онъ самъ не подозрѣваетъ“. Эта судьба—тяжелыя обстоятельства его жизни.

А. Незеленовъ.

„Вешнія воды“.

*) Чтобъ иллюстрировать примѣромъ тургеневскую идеализацію полового чувства, я обращу вниманіе читателя на одну изъ его повѣстей, напечатанную въ январской книжкѣ „Вѣстника Европы“ за 1872 годъ. Называется она „Вешнія воды“, и описывается въ ней „первая любовь“ нѣкоего шалопая изъ „дворянскихъ дѣтокъ“ и нѣкоей „прелестной“ итальянки, торговавшей вмѣстѣ съ матерью въ „Итальянской кондитерской Джіованни Розели“, во Франкфуртѣ. Юношѣ было 22 года, а Джеммѣ (такъ звали „прелестную“ итальянку) не болѣе, вѣроятно, 18-ти. Самая, что называется, пора для пламенной любви. И, разумѣется, за любовью дѣло не стало. Послѣ самаго непродолжительнаго времени (хотя и обильнаго разными приключеніями, въ томъ числѣ и дуэлью), оба они запылали и, представьте себѣ, *первою любовью!* „Первая любовь, восклицаетъ по этому поводу самъ авторъ, — первая любовь — та же революція: однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбитъ и разрушенъ въ одно мгновеніе, молодость стоитъ на баррикадѣ, высоко вьется ея яркое знамя, и чтобы тамъ впереди ее не ждало, смерть или новая жизнь — всему она шлетъ свой восторженный привѣтъ“. Это очень поэтично. Только сантиментальныя барышни и незрѣлые юноши не должны вѣрить г. Тургеневу на слово. Никакой тутъ „революціи“, „разрушенія

*) „Дѣло“ 1872 г. Статья Постнаго.

правильнаго строя жизни“ и тому подобнаго на лицо не оказалось. „Прелестная“ итальянка, просто на просто, немножко взбудоражила нашего соотечественника и больше ничего. Стоило только этому соотечественнику на *три дня*, на *три* всего дня, отлучиться отъ предмета своей страсти, и первая любовь, со всею ея поэзіей и проч., забыта. Въ три дня онъ снова влюбляется, и на этотъ разъ уже не въ иностранку, а въ свою же соотечественницу, жену своего пріятеля. Вотъ какую „первую любовь“ прославляетъ и поэтизируетъ романистъ! Но это еще не все. Судя по характеру Санина (такъ звали нашего соотечественника) и по его быстрой забывчивости и влюбчивости, можно было бы думать, что вторая любовь будетъ столь же продолжительна, какъ и первая, и что вообще всѣ эти его „любови“, имѣющія характеръ мимолетной прихоти, могутъ, конечно, преждевременно разстроить его физическій организмъ, но никакихъ особыхъ переворотовъ въ его нравственномъ и интеллектуальномъ мірѣ не произведутъ. Но мы уже сказали, что у большинства нашихъ романистовъ вообще, и у Тургенева въ частности, *характеръ* и *любовь* рѣдко гармонируютъ между собою. Такъ случилось и съ Саниным. Можете себѣ представить: этотъ легкомысленный шалопай сдѣлался жертвою любви. Вторая любовь, въ противность всему, что мы знаемъ объ этомъ изъ практики и изъ теоріи, оказалась не только продолжительнѣе, но и гораздо сильнѣе первой. Санинъ до такой степени воспылалъ страстью къ нашей „плѣнительной“ соотечественницѣ, что превратился вскорѣ изъ ея любовника въ покорнаго и безгласнаго раба, „которому не позволялось ни ревновать ни жаловаться“; онъ всюду ѣздилъ за гордою „владычицею своего сердца“ и съ упорнымъ постоянствомъ разыгрывалъ роль ея вѣрнаго и самоотверженнаго рыцаря. Наконецъ, онъ до того надоѣлъ, что его бросили. И вотъ, увѣряетъ насъ г. Тургеневъ, „жизнь, его была *отравлена* и *опустошена*“ (ib), онъ сдѣлался совсѣмъ несчастнымъ человѣкомъ, и сталъ впадать даже въ меланхолію. Въ одну изъ такихъ меланхолическихъ минутъ

онъ вдругъ вспомнилъ о своей „первой любви“. Повидимому, о такихъ пустякахъ и не стопло бы вспоминать, тѣмъ болѣе черезъ 30 лѣтъ! А между тѣмъ, дѣло-то это опять оказалось не пустяками; вообразите: старикъ-Санинъ все еще ощущалъ нѣкоторое нѣжное чувство къ „прелестной итальянкѣ“, той итальянкѣ, съ которою Санинъ-юноша *около недѣли* упражнялся въ любовныхъ разговорахъ! О, святая любовь! какія ты творишь чудеса! Воспоминаніе о первой любовной шалости опять произвело „революцію“, опять „однообразно-правильный строй сложившейся жизни былъ разбитъ и разрушенъ въ одно мгновеніе“. И на этотъ разъ онъ былъ дѣйствительно разбитъ и разрушенъ. Санинъ бросаетъ свои дѣла и знакомыхъ, отправляется во Франкфуртъ, узнаетъ тамъ, что „прелестная итальянка“ давнымъ-давно вышла замужъ и живетъ въ Америкѣ,—разыскиваетъ ея адресъ, пишетъ ей нѣжное и трогательное письмо, умоляя ее простить его „вину“ (это черезъ тридцать то лѣтъ!) и тѣмъ дать ему хоть возможность спокойно умереть. Получивъ отъ „итальянки“ полное прощеніе, онъ, недолго думая, сталъ распродавать всѣ свои имѣнія и собираться въ Америку.

Но, Боже мой! неужели это поэзія, неужели это художественность? Въ такомъ случаѣ, гдѣ же грань, отдѣляющая поэзію отъ нелѣпости, художественность отъ „не любо—не слушай и врать не мѣшай“?

„Дѣло“ 1872 г.

„Наши послали“.

*) *Наши послали* повѣствуетъ о томъ, какъ г. Тургеневъ, отправившійся въ іюньскіе дни въ Парижъ поглазѣть на баррикады, скрылся затѣмъ въ одномъ домѣ съ извѣстнымъ нѣмецкимъ поэтомъ и революціонеромъ Г. (Гервегомъ), и какъ къ этому Г. сквозь баррикады и улицы, пылающія огнемъ сраженія, рискуя сто разъ своею

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1874 г., № 5. Статья (М.).

жизнью, приходитъ старый блузникъ, котораго „наши (т.-е. инсургенты) послали“ сказать ему, что малолѣтній сынъ Г., пріѣзда котораго отецъ ждетъ съ замираніемъ сердца, такъ какъ Сѣверная Дорога, по которой долженъ прибыть мальчикъ, занята правительственными войсками, и вокругъ ея станціи происходитъ жаркая схватка,—прибылъ въ Парижъ благополучно, цѣлъ и невредимъ... Краткій разсказъ этотъ отличается большимъ техническимъ мастерствомъ изложенія, въ особенности та часть его, гдѣ рисуется картина перваго столкновенія инсургентовъ съ наступавшею на нихъ колонною національной гвардіи (на баррикадѣ близъ воротъ Сенъ-Дени). Усмотрѣвъ этотъ ужасный видъ, г. Тургеневъ весьма интересно передаетъ намъ, какъ онъ „устремился“ вспять съ „другими фланерами, какъ онъ самъ“, — подражая въ этомъ отношеніи другому платоническому любовнику сильныхъ ощущеній, Герцену, завѣщавшему потомству подобный же откровенный разсказъ о томъ, какъ самъ стоялъ на баррикадахъ, и „устремился“ оттуда подъ болѣе безопасную сѣнь.

„Русскій Вѣстникъ“.

„Пунинъ и Бабуринъ“.

*) Въ этомъ разсказѣ нашъ мастистый беллетристъ прибѣгъ къ обычному техническому эффекту, который столько разъ уже помогалъ ему блеснуть своимъ мастерствомъ въ индивидуализаціи типовъ. Г. Тургеневъ беретъ большею частью двухъ или нѣсколькихъ человѣкъ, связываетъ ихъ, говоря простонароднымъ языкомъ, какъ чортъ веревочкой, либо общностью положенія, либо тѣсной дружбой, и затѣмъ надѣляетъ ихъ самыми разнообразными физіономіями. Пріемъ, требующій большого искусства, большой тонкости работы, и только истинный художникъ владѣетъ этимъ даромъ „вязать и рѣшить“ вмѣстѣ. Г. Тургеневъ имъ несомнѣнно владѣетъ и любитъ щеголять. Такое щегольство

*) П. Михайловскій. „Отечественныя Записки“ 1874 г., № 4.

обнаружилъ онъ, напримѣръ, въ „Наканунѣ", окруживъ Елену Инсаровымъ, Шубинымъ, Берсеневымъ и Курнатовскимъ; въ „Первой любви", гдѣ героиня тоже окружена цѣлой группой образовъ, стоящихъ по отношенію къ ней въ одинаковомъ положеніи; въ „Дымѣ" (двѣ героини около Литвинова), въ „Вешнихъ водахъ" (двѣ героини около Санина), въ „Запискахъ охотника" („Хорь и Калинычъ", „Чертопхановъ и Недопюскинъ", „Пѣвцы"). Пріемъ этотъ, несмотря на свою техническую трудность, съ другой стороны, для мастера въ высшей степени благодаренъ. При немъ состязаніе, какъ въ „Наканунѣ", „Первой любви", „Дымѣ" „Вешнихъ водахъ", „Пѣвцахъ", или тѣсная дружба, какъ въ „Хорѣ и Калинычѣ", „Чертопхановѣ и Недопюскинѣ", „Пунинѣ и Бабуринѣ",—образуютъ нѣкоторый общій фонъ, на которомъ отдѣльныя фигуры вырѣзываются съ особенною отчетливостью, и воображеніе художника можетъ смѣло комбинировать ихъ на разные лады. Къ сожалѣнію, за послѣднее время г. Тургеневъ точно истощилъ свои комбинаціи, и безпрестанно повторяетъ самого себя. Такъ, состязающіяся героини „Вешнихъ водъ" очень уже напоминаютъ героинь „Дыма", а отношенія пріятелей Пунина и Бабурина не только въ общемъ, но и во множествѣ мелкихъ подробностей прямо списаны съ отношеній Чертопханова и Недопюскина. Къ еще большему сожалѣнію, копіи эти гораздо слабѣе оригиналовъ. Покровительственно дружественныя отношенія Чертопханова къ Недопюскину и почтительно-дружественныя отношенія послѣдняго къ первому совершенно ясны и понятны, потому что передъ читателемъ проходитъ и зарожденіе и развитіе ихъ. Комбинація Пунинъ-Бабуринъ, напротивъ, очень туманна, потому что въ разсказѣ вся она держится на одномъ словѣ Бабурина: „по справедливости". Поневолѣ заподозрѣваешь самое это слово, т.-е. заподозрѣваешь, могло ли оно быть сказано, т.-е., заподозрѣваешь возможность самого Бабурина. Это одинъ изъ самыхъ неудачныхъ образовъ г. Тургенева. Авторъ на первой же страницѣ заставляетъ „дрогнуть" его брови, при обращеніи къ нему мѣстоименія „ты", и затѣмъ строго на

строго блюдетъ, чтобы онъ ежеминутно заявлялъ себя „республиканцемъ“. Несмотря, однако, на этотъ строгій надзоръ или, вѣрнѣе, именно благодаря строгости этого надзора, Бабуринъ блѣденъ, какъ тѣ листы бумаги, на которыхъ г. Тургеневъ писалъ свою повѣсть.

Вообще говоря, разсказъ г. Тургенева понравился. Критика, за послѣднее время не совсѣмъ благосклонная къ нашему знаменитому романисту, на „Пунинѣ и Бабуринѣ“ съ нимъ помирилась. Критикъ „Голоса“ доказываетъ, что разсказъ превосходенъ и что Бабурины—типъ, несомнѣнно существующій и впервые эксплуатируемый. Критикъ „Петербургскихъ Вѣдомостей“ находитъ, что разсказъ прекрасенъ, что онъ кажется не вымысломъ, а былью,—столько въ немъ правды и такова сила таланта. На это возразить труднѣе, потому что тутъ дѣло не въ фактахъ, а въ томъ, что кому кажется. Мнѣ кажется, что Бабуринъ весь—одна голая неправда, и для меня даже совершенно ясна причина этой неправды, — ее объясняютъ подпись подъ разсказомъ: „Парижъ 1874“, и другой разсказъ г. Тургенева: „Наши послали“, напечатанный въ „Недѣлѣ“.

Въ прошлой книжкѣ „Отечественныхъ Записокъ“ я пытался доказать, что пришествіе разночинца было событіемъ, заставившимъ людей сороковыхъ годовъ—и г. Тургенева ужъ, конечно, не меньше, чѣмъ другихъ—отшатнуться отъ послѣдняго нашего общественнаго движенія. Но вотъ является г. Тургеневъ съ повѣстью, въ которой фигурируютъ разночинцы (они такъ и называются въ разсказѣ „разночинцами“, и я глубоко польщенъ этимъ совпаденіемъ) и въ которой авторъ выказываетъ весьма ясную симпатію къ нимъ. Да, mea culpa, mea maxima. Но вѣдь и то сказать: какого разночинца-то подхватилъ г. Тургеневъ! Пунинъ, конечно, въ счетъ не идетъ, но Бабуринъ-то каковъ! Онъ, правда, нѣсколько грубъ, какъ и подобаетъ „сыну толпы“, но совершенно по-европейски; онъ формально декларируетъ, именно декларируетъ права человѣка и гражданина; въ 1830 году, въ какой-то Тмутаракани, онъ требуетъ, чтобы къ нему входили по-европейски, постучавъ предвари-

тельно въ дверь. Мимоходомъ сказать, г. Тургеневъ, очевидно, придаетъ большое значеніе способу вхожденія къ знакомымъ, потому что и въ другомъ мѣстѣ упоминаетъ объ немъ: „Ни у кого не спросясь, по студенческой безцеремонной привычкѣ, я прямо пробрался“ къ Тархову. Какой укоръ этимъ безцеремоннымъ студентамъ представляетъ утонченный европеецъ Бабуринъ! Странно только, что мѣщанина, плохо выносящаго мѣстоименіе „ты“ и совершенно не выносящаго вхожденія къ нему въ комнату безъ предварительнаго постукиванія, странно, что въ 30 — 40 годахъ его не прибилъ и не выпоролъ ни одинъ городничій, ни одинъ исправникъ, ни одинъ становой... Такъ вотъ каковъ этотъ разночинецъ... Блага цивилизаціи онъ способенъ оцѣнить вполнѣ, а не то, что Маркъ Волоховъ — черезъ окошко или черезъ заборъ все норовитъ, или какъ Михаилъ Ивановичъ — напьется и горланитъ про „прижимку“. То азіаты...

Н. Михайловскій.

* * *

*) Изъ смысла разсказа выходитъ, что Бабуринъ, какъ-бы не имѣетъ никакихъ лично причинъ къ недовольству, что самъ онъ какъ бы не испытывалъ притѣсненій, страданій, униженій; онъ ненавидитъ несправедливость *безкорыстно*, единственно потому... „потому что онъ — *республиканецъ* (sic), спѣшитъ авторъ наклеить ему ярлыкъ устами все того же Пунина, на первыхъ же порахъ знакомства сего послѣдняго съ Петромъ Петровичемъ Б., которому въ то время было всего 12 лѣтъ отъ роду. Какимъ образомъ въ богоспасаемомъ государствѣ Россійскомъ, въ годъ отъ Р. Хр. 1830-й, могъ народиться „республиканецъ“ въ лицѣ *мѣщанина Бабурина*, остается тайною между имъ и его сочинителемъ: его прошлое воспитаніе, обстоятельства, вліянія, которыя могли бы навести его умъ на этотъ именно *республиканскій*, а не на какой-либо иной складъ полити-

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1874 г., № 5. Статья (М.).

ческихъ понятій,—обо всемъ этомъ ни слова, даже намека не находитъ читатель въ разсказѣ... Просто взялъ себѣ, да родился въ одинъ прекрасный Божій день 1830 года, во всеоружіи, русскій „республиканецъ“, какъ родилась премудрая Аѳина богиня изъ черепа отца боговъ. Зевсъ и господинъ Тургеневъ—каждый свое по силамъ... Съ этимъ ярлыкомъ на безостановочный пропускъ въ извѣстный лагерь, „республиканецъ“ тридцатаго года продѣлываетъ весь формулярный списокъ подвиговъ, предписанныхъ героямъ этого лагеря: онъ и терпитъ за меньшую братію, и внушительныя рѣчи говоритъ, и *дворянъ* ненавидитъ, и въ Бога не вѣруетъ, и принимаетъ участіе въ политическомъ заговорѣ, и вѣнчается за сіе ореоломъ мученичества—въ Сибирь попадаетъ: „оправданный судомъ“, но, какъ водится, „административнымъ порядкомъ сосланный туда на жительство“...

Либеральная лубочная картина по замыслу, Бабуринъ въ исполненіи оказался деревянной вѣшалкой подъ вышошеннымъ до нитки *либеральнымъ плащомъ*, который авторомъ занятъ у другихъ,—и такою вѣшалкой пребываетъ республиканецъ Бабуринъ отъ начала и до конца своей „республиканской“ эпопеи...“

Разбирая типъ Музы, жены Бабурина, критикъ „Русскаго Вѣстника“, говоритъ: „Муза между тѣмъ убѣдившись, какъ видно, что Петръ Петровичъ, „скромный человѣкъ“, а не „болтунъ“, повѣряетъ ему, что Бабуринъ намѣренъ на ней жениться, но что для нея „женой его быть—лучше смерть, лучше прямо въ гробъ!.. И на что мнѣ эти старики!..“ справедливо разсуждаетъ *новый типъ*;—„еще холодною меня величаютъ. Съ нимъ да горячей быть? Станутъ принуждать—уйду! Самъ же Парамонъ Семенычъ все говоритъ: свобода! свобода! Ну вотъ и я захотѣла свободы! А то—что же это такое? Всѣмъ воля, а меня въ тюрьмѣ держатъ!..“ Эти слова Музы разсѣиваютъ всякую возможность иллюзіи на счетъ дѣйствительнаго значенія выводимыхъ въ разсказѣ лицъ, и самымъ *реальнымъ* образомъ низводятъ ихъ съ того присочиненнаго къ нимъ пьедестала, на который нудится

вознести ихъ *гражданская* похоть г. Тургенева. Его „республиканецъ“ — горячій защитникъ меньшей братіи, искатель и поборникъ „свободы“ и „справедливости“, оказывается на дѣлѣ мелкимъ и близорукимъ себялюбцемъ, которому съ высоты его *республиканскаго* величія и въ голову не приходитъ, что онъ, говоря языкомъ нашихъ *прогрессистовъ*, „заѣдаетъ чужую жизнь“, призрѣнной и воспитанной имъ молоденькой дѣвочки, съ которою онъ хочетъ соединить навсегда свое старческое, почти нищенское и кислое существованіе; онъ не спрашиваетъ себя, можетъ ли быть счастливо съ нимъ это молодое и зависящее отъ него существо, не смущается мыслію о несоотвѣтственности его лѣтъ съ юнымъ возрастомъ Музы, о томъ, что она можетъ и что естественно ей—полюбить другого. Красивая, „свѣжая“ Муза нравится ему, какъ женщина, и онъ предлагаетъ ей свою руку, зная, что ей отказать ему нельзя, такъ какъ иначе ей дѣться некуда. Полюбивъ Тархова, Муза тщательно скрываетъ эту любовь отъ своего воспитателя: онъ, очевидно, не умѣлъ внушить своей воспитанницѣ никакого довѣрія къ себѣ, никакого убѣжденія въ его „справедливость“, въ безкорыстіе и чистоту чувства его къ ней. Далеко напротивъ, ничего, кромѣ отвращенія, не сумѣлъ возбудить въ ней къ себѣ этотъ „старикъ“ *благодѣтель* ея: „лучше въ гробъ, чѣмъ быть его женою“, говоритъ она... *Республиканская* проповѣдь Бабурина, его ученіе о „свободѣ“ возрастили въ его воспитанницѣ самый соотвѣтствующій имъ нравственный плодъ: она при первомъ представившемся ей случаѣ „сбѣгаетъ“ отъ стараго бѣдняка, который, по выраженію Пунина, „взялъ ее, одѣлъ, согрѣлъ и вывелъ птенчика“, и идетъ на содержаніе къ богатому молодому любовнику, подъ тѣмъ предлогомъ, что и она также „захотѣла свободы“... Можно было бы только поздравить г. Тургенева съ открытіемъ такого удивительно *новаго* типа; но, къ сожалѣнію для него, онъ даже не открылъ и этой Америки, а проѣхался по ней по слѣдамъ, давно проложеннымъ всякими Рѣшетниковыми, Успенскими, Омулевскими, всѣми нынѣшними учителями и пророками

автора „Записокъ охотника“ и „Дворянскаго гнѣзда“. При этомъ, однако, случилось слѣдующее: воспроизводя съ китайскою раболѣпною точностію заказныя черты *свободно мыслящей* и *свободно располагающей собою* „новой женщины“, г. Тургеневъ, очевидно, не былъ въ состояніи достаточно проникнуться ученіемъ своихъ пророковъ, не могъ *повѣрить* въ то, что онъ взялся изображать въ угоду „направленію“. Сквозь ребячески наивную окраску въ „новый типъ“, выступаетъ предъ нами во всей неприглядной, *реальной* наготѣ своей эта „мѣщанка швея“, грубое и безсердечное существо, лишенное всякаго руководящаго нравственнаго начала, въ душѣ которой, слѣдовательно, не можетъ происходить ничего похожаго на борьбу, какой-либо психическій процессъ, способный возбудить сочувствіе или, по крайней мѣрѣ, интересъ въ читателѣ. И читатель, одаренный художественнымъ чутьемъ, относится къ претензіямъ автора касательно этого „новаго типа“ съ тѣмъ же самымъ чувствомъ, съ какимъ относится сама Муза къ претензіи благодѣтельнаго „республиканца“на ея руку...“

По мнѣнію критика „Русскаго Вѣстника“, постоянный разладъ между поступками Бабурина и тѣмъ, что о немъ говорится, происходитъ отъ того, что Бабуринъ „не живой человѣкъ, а *либеральный ярлыкъ*, на деревянномъ манекенѣ“. Во всемъ же разсказѣ единственное живое лицо, хотя и незавидное—это Петръ Петровичъ.

Сказать по правдѣ, все это жалостное повѣствованіе производитъ то же впечатлѣніе, какъ если бы на улицѣ почтенный съ виду джентльменъ принялся выдѣлывать коленца, и надтреснутымъ, фальшивымъ голосомъ сталъ пѣть *Барыню* на потѣху собравшейся толпы мальчишекъ. Быть можетъ, эта толпа и одобрила бы старца за усердіе, но взрослые люди съ невеселою улыбкой прошли бы мимо. Тяжело видѣть это комическое заскиваніе, это танцмейстерское расшаркиванье когда-то уважаемаго писателя предъ чѣмъ-то несуществующимъ, предъ смутнымъ призракомъ чего-то имъ самимъ сочиненнаго и до сихъ поръ почитаемаго за какую-то силу... Вы чувствуете, что авторъ никогда не видалъ

ни своего „республиканца“ ни своего „новаго типа“, что они во всякомъ случаѣ не *восприняты*, не *почувствованы* имъ, какъ, напр., Рудинъ и Базаровъ, что все это *дѣлано*, все это спѣто съ чужихъ голосовъ, съ голосовъ до сыта прослушанныхъ и успѣвшихъ надоѣсть даже самимъ себѣ. Усердіе сочинителя *Пунина* и *Бабурина* опоздало на десятокъ лѣтъ, и такой анахронизмъ сказывается тѣмъ явственнѣе, что при этомъ привычные г. Тургеневу пріемы, его осторожные *подходы* къ своему предмету, расчетъ на читателя, умѣющаго искать смысла *между строкъ*, остались всѣ тѣ же, какъ и въ ту пору, когда безъ этого не могъ обойтись писатель, касавшійся жгучихъ тогда общественныхъ вопросовъ. Но вся эта стародавняя манера разсчитанныхъ недомолвокъ, тонкихъ намековъ и забористыхъ подразумѣваній, примѣненныя къ предмету молотому и перемолотому чуть не на площадяхъ, пережеванному до тошноты школьниками, но эти дѣтски-робкія оглядки куда-то, — все это теперь, надо признаться, выходитъ очень карикатурно.

Тѣмъ не менѣе, за усердіе свое авторъ *Пунина* и *Бабурина* получилъ отъ петербургскаго фельетона подобающую аппробацію, съ чѣмъ его усерднѣйше и поздравляемъ.. Въ какой мѣрѣ, въ этомъ случаѣ и съ этой стороны, такое поощрительное поглаживанье стрекулистами его сѣдой головы можетъ прибавить къ славѣ г. Тургенева и быть почитаемо для него лестнымъ — другой вопросъ. Г. Тургеневъ въ свое время сослужилъ службу. Его *Записки Охотника*, прочитанныя всѣми читающими въ нашемъ отечествѣ, отъ студентскаго чердака до царскихъ чертоговъ, остались, быть можетъ, не безъ вліянія на рѣшеніе великаго дѣла нынѣшняго царствованія. Въ этомъ отношеніи г. Тургеневъ могъ бы давно почить на заслуженныхъ имъ лаврахъ: но самъ онъ добровольно ощипываетъ теперь эти лавры, листъ за листомъ, въ безсильной погонѣ за новыми вѣнками того же, обольщаетъ онъ себя, свойства. Увы, жертвуя для нихъ своимъ достоинствомъ человѣка и художника, онъ съ каждымъ новымъ усиліемъ въ эту сторону лишь все без-

жалостнѣе губитъ самъ обаяніе своего имени. Лучше бы г. Тургеневъ окончательно смолкъ, если уже ничего, кромѣ какъ о Бабуринхъ, ему не остается повѣдать русскому читателю, если дѣйствительно, — употребляя образное выраженіе французскихъ художниковъ, — ничего уже нѣтъ у него въ мѣшкѣ, s'il n'a plus rien dans le sac!...

„*Русскій Вѣстникъ*“ *1874 г.*

„Живыя мощи“.

*) *Живыя мощи* по художественной правдѣ и тонкости рисунка принадлежатъ вполнѣ къ той счастливой эпохѣ г. Тургенева, когда былъ написанъ этотъ разсказъ. Если, при желаніи быть очень придирчивымъ, и можно было бы замѣтить въ общемъ его тонѣ нѣкоторую манерность, если въ постановкѣ сюжета сказывается какое-то вліяніе Жоржъ-Сандовскихъ идиллій того времени, то все это исчезаетъ безъ слѣда подъ силою главнаго впечатлѣнія, которое выноситъ читатель изъ этого маленькаго разсказа. Кѣмъ бы ни былъ данъ камертонъ г. Тургеневу, взятый имъ мотивъ — чисто русскій мотивъ; образъ *Лукерьи*, этой когда-то цвѣтущей, счастливой дѣвушки, которую онъ находитъ безропотно угасающею въ *омшанникѣ* забытаго хутора — чисто русскій образъ. Поэзія этой безконечной кротости, этого свѣтлаго, почти счастливаго отношенія *Лукерьи* къ своимъ страданіямъ, бьетъ живымъ ключомъ изъ родника нашей народной жизни, когда-то непосредственно знакомой и любезной г. Тургеневу.

„*Русскій Вѣстникъ*“ *1874 г.*

* * *

**) Есть у Тургенева не портретъ, а типъ, опережающій всѣ его остальные женскіе типы. Это — простая крестьянка,

*) „Русскій Вѣстникъ“ 1874 г., № 5. Статья (М).
Разборъ этого разсказа еще смотрите въ первомъ выпускѣ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева“, стр. 224.
**) О. Миллеръ. „Женскіе образы у Тургенева“. „Русское Богатство“ 1883 г., № 12. Также„ Русскіе писатели послѣ Гоголя“. Спб. 1890 г.

которой предшественницы намъ уже не найти у Пушкина. Если въ умѣніи вообще почувствовать въ народѣ *живую душу* и выставить всѣмъ на видъ ея уцѣлѣвшую, несмотря ни на что, природную красоту, Тургеневъ—прямой ученикъ Пушкина, — то, создавъ Лукерью въ „Живыхъ мощахъ“, онъ сдѣлалъ рѣшительный шагъ впередъ противъ Пушкина; а если правда, что Жоржъ Зандъ восхищалась этимъ образомъ, то вотъ и свидѣтельство въ пользу его міровой красоты.

Еще недавно живая, веселая хороводница,, невѣста—Лукерья, по несчастному случаю, навсегда привязана къ одру болѣзни. Бывшимъ подружкамъ не до нея, женихъ, разумѣется, сталъ чужимъ женихомъ, чужимъ мужемъ, — а она лежитъ себѣ, да лежитъ безъ движенія; но народъ не даромъ призналъ ее не живымъ трупомъ, а „живыми мощами“. Дѣло не въ ея немыслимой у живого существа худобѣ-сухотѣ, но и въ той особаго рода святости, какою запечатлѣлась она въ своемъ невольномъ отшельничествѣ. Дѣло въ томъ, что въ этомъ отшельничествѣ она не уединена, а тутъ-то у нея и завязались тѣмъ болѣе крѣпкія связи со всѣмъ міромъ Божіимъ. Если она только созерцаетъ его душой, а не дѣйствуетъ въ немъ, то виною тутъ не она, а ея неподвижное тѣло. Запаса дѣятельной любви въ ней такъ много, такъ непзмѣримо много! Она грамотна, но не въ силахъ держать книжку, а читать ей въ слухъ —некому. Порою она читаетъ наизусть молитвы. „Только немного я знаю ихъ, этихъ самыхъ молитвъ, говоритъ она. Да и на что я стану Господу Богу наскучать? О чемъ я его просить могу? Онъ знаетъ лучше меня, что мнѣ надобно“. Къ положенію своему она уже „привыкла, обтерпѣлась“; она съ нимъ помирилась на томъ, что „нимъ еще хуже бываетъ“. Она вознаграждена своимъ внутреннимъ міромъ, онъ же въ ней не отъ книгъ, а отъ того, что, неподвижная на своей постели, она можетъ за то на досугѣ вчитываться въ великую книгу Божью — ту книгу жизни, въ которой сама она—буква, что-нибудь значащая лишь въ связи со всѣмъ остальнымъ. „Кротъ подъ землею

роется, я и то слышу. Пчелы на пасѣкѣ жужжатъ да гудятъ; голубь на крышу сядетъ и заворкуетъ... Въ позапрошломъ году такъ даже ласточки вонъ тамъ въ углу гнѣзда себѣ свили и дѣтей вывели. Ужъ какъ же оно было занятно! Одна влетитъ къ гнѣздышку—припадетъ, дѣтокъ покормитъ—и вонъ... Иногда не влетитъ, только мимо раскрытой двери пронесется, а дѣтки тотчасъ—ну пищать, да клевы раскрывать... Я ихъ на слѣдующій годъ поджидала, да ихъ, говорятъ, одинъ здѣшній охотникъ изъ ружья застрѣлилъ. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука“.

Общенье этой крестьянки съ природой въ своемъ родѣ не уступитъ тому, о которомъ говорилъ Баратынскій, поминая германскаго мірового поэта:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ
И чувствовалъ травъ прозябанье.

Но мірового генія не даромъ попрекали тѣмъ, что онъ подчасъ относился къ сознательной человѣческой жизни — какъ къ той же *природѣ*, слишкомъ мало участвовалъ своимъ олимпійски-спокойнымъ сердцемъ въ человѣческой злобѣ дня. Не то, совершенно не то въ міросозерцаніи нашей крестьянки. — Самый недостатокъ умственнаго развитія сдѣлалъ ее неспособной философски уйти въ безмятежную даль олимпійскихъ высотъ. Въ самой природѣ особенно ее привлекаетъ то, что въ самомъ дѣлѣ одушевлено. Она сердцемъ участвуетъ въ семейномъ житьѣ-бытьѣ птички, часто по-человѣчески чуя въ ней то, чего не удалось ей испытать на себѣ самой. Но, при всемъ своемъ одиночествѣ, по преимуществу связанною оказывается она съ человѣческимъ міромъ — съ его разсѣянною по лицу всей земли нуждой и бѣдой, но за то и съ его духовными радостями. „Странница забредетъ, говоритъ она, станетъ про Іерусалимъ разсказывать, про Кіевъ, про святые города“. А мы знаемъ отъ недавно также покинувшаго насъ поэта—„печальника народнаго горя“, какъ его называли, что значитъ въ на-

родной жизни *странничество*. Имъ поддерживается связь между народной душой и безпредѣльнымъ человѣческимъ міромъ. Разсказывать объ Іерусалимѣ—значитъ разсказывать о христіанахъ на востокѣ, о томъ, что терпѣли и терпятъ они отъ агарянъ. Говорить объ Іерусалимѣ — значитъ говорить и о Цареградѣ, обо всемъ томъ, отъ чего еще такъ недавно всколебался у насъ народъ при слухѣ, что „нашихъ бьютъ“. Тургеневъ не былъ свидѣтелемъ, какъ отозвался у насъ этотъ слухъ, и потому, надо думать, въ первомъ изъ своихъ стихотвореній въ прозѣ, рисуя „довольство, покой, избытокъ русской вольной деревни, ея тишь и благодать“, спросилъ: „къ чему намъ тутъ и крестъ на куполѣ святой Софіи въ Царь-градѣ, и все, чего такъ добиваемся мы, городскіе люди“? (въ этомъ, впрочемъ, онъ сошелся съ гр. Л. Н. Толстымъ *). Нѣтъ, отвѣтимъ мы Тургеневу-публицисту отъ лица Тургенева-художника, во имя широкой души его же крестьянскихъ типовъ,—нѣтъ, тутъ дѣло не въ городскихъ людяхъ. Дѣло между прочимъ тутъ въ томъ, что „довольство, покой, избытокъ“ и теперь еще далеко не такъ идутъ къ нашей русской деревнѣ, какъ тѣ два стиха Тютчева, которые выбралъ Тургеневъ эпиграфомъ къ „Живымъ мощамъ“:

Край родной долготерпѣнья,
Край ты русскаго народа!

Во имя своего собственнаго долготерпѣнья, народъ по своему разумѣетъ и принимаетъ къ сердцу и долготерпѣливый восточный вопросъ. По своему и тургеневская Лукерья должна бы была откликнуться на него. Не даромъ она подставила агарянъ въ переданный ей какимъ-то начетчикомъ разсказъ о стародавнемъ событіи изъ жизни чужого, вполнѣ ей невѣдомаго народа—въ эту пору, по крайней мѣрѣ, не имѣвшаго столкновеній съ агарянами. „Была

*) Къ чему? А стихотвореніе самого Тургенева „Крокетъ“, гдѣ къ ногамъ королевы англійской катятся окровавленныя головки болгарскихъ малютокъ? Тутъ опять, какъ и очень часто у Тургенева, *художникъ* энергически возражалъ *публицисту*.

нѣкая страна, пересказываетъ она, и ту страну агаряне завоевали, и всѣхъ жителевъ они мучили и убивали. И проявись тутъ между тѣми жителями святая дѣвственница; взяла она мечъ великій, латы на себя возложила двухпудовыя, пошла на агарянъ и всѣхъ ихъ прогнала за море. А только прогнавши ихъ говоритъ имъ: теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обѣщаніе, чтобы мнѣ огненною смертью за свой народъ помереть. И агаряне ее взяли и сожгли, а народъ съ той поры на всегда освободился“. Вотъ въ какомъ преображенномъ видѣ отразился въ ея сознаніи подвигъ Орлеанской дѣвы—отразился такъ, что и самая смерть Жанны д'Аркъ представляется добровольною жертвою. Отдаленное и чужое, какъ человѣческое, становится тутъ своимъ — и еще доводится до особой, скажу, чисто *деревенской идеализаціи* *). Это увлеченіе русской крестьянки Жанною д'Аркъ представлялось бы фальшью, чѣмъ то дѣланнымъ, *городскимъ*—если бы оставалось отвлеченнымъ, если бы изъ-за увлеченія прошлымъ и отдаленнымъ позабывалось то, что совершается на глазахъ. Тогда бы тутъ выходило своего рода Рудинство, неизгладившееся, пожалуй, въ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ *городскихъ* людей, которые, не умѣя жить дома, уходили умирать въ Сербію —потому что она тогда подвернулась (какъ Рудину подвернулись парижскія баррикады). Не то, совершенно не то въ Тургеневской крестьянкѣ. Увлеченіе чужимъ и отдаленнымъ подвигомъ только усиливаетъ въ ней способность совсѣмъ позабыть себя — зорче видя все то, что вокругъ: „Ничего мнѣ не нужно, говоритъ она; всѣмъ довольна, слава Богу... А вотъ вамъ бы, баринъ, матушку вашу уговорить — крестьяне здѣшніе бѣдные—хоть бы малость оброку съ нихъ она сбавила! Земли у нихъ недостаточно, угодій нѣтъ... Они бы за васъ Богу помолились“, прибавляетъ она — не рѣшаясь, повидимому, разсчитывать въ своемъ обращеніи

*) Тургеневъ, такимъ образомъ, опять какъ *художникъ*, точно будто заранѣе взялся изобразить въ лицахъ то наше „всечеловѣчество“, которое впослѣдствіи провозглашено было Достоевскимъ въ его Пушкинской рѣчи и на которое особенно напали въ ней именно наши космополиты.

къ господамъ на то полнѣйшее безкорыстіе христіанскаго чувства, до какого дошло оно въ ней самой... Этого безкорыстія въ религіозности, какъ видѣли мы, нѣтъ даже въ самоотверженной Тургеневской Лизѣ, нѣтъ, несмотря на многопрославленную *народность* Лизы. Насъ и до сихъ поръ еще увѣряютъ, будто бы личная, очень и очень заинтересованная любовь къ Богу есть существенная черта народнаго религіознаго чувства. Самъ Тургеневъ своими „Живыми мощами“ вовсе не утверждаетъ этого: его Лукерья не думаетъ о наградѣ на небѣ и даже не намѣрена наскучать Господу своими молитвами. И она у Тургенева не одна—ей по самоотверженности совершенно чета и его Калинычъ и его Касьянъ. Но ей же чета и Платонъ Каратаевъ у Л. Н. Толстого и, наконецъ, самъ любимый герой нашего народнаго эпоса, и церкви-то строющій на поминъ—не своей души.

О. Миллеръ.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква **Ѣ**. Составленъ по „Руководству" Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд. 8-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время восемь изданій, обнимаетъ всѣ этимологическіе случаи правописанія. Она состоитъ изъ ороографическихъ правилъ, ороографическаго словаря и списка *всѣхъ* словъ съ буквою *ѣ*. Изложеніе ея алфавитное,—почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто: при помощи приложеннаго „Указателя" открывается страница на буквѣ, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и подъ буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извосчикъ, извозщикъ, извосщикъ или извощикъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: **з, с, ч, щ,** а также и въ ороографическомъ словарѣ подъ буквой **и**—вездѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, пріобрѣтающемся менѣе чѣмъ въ часъ, справка по ней дѣлается въ нѣсколько секундъ.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 25 к.

4. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система для практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 6-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

5. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 3-е. М. 1894 г. Ц. 40 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта". Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику ороографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія ороографіи, тутъ еще попутно указываются въ каждомъ словѣ диктанта сомнительные случаи правописанія съ соотвѣтственными разъясненіями; 3) особеннымъ способомъ печати развиваетъ ороографическую зоркость и укрѣпляетъ зрительные навыки правильнаго письма; 4) система руководства, будучи основана на новѣйшей методикѣ, предупреждаетъ ошибки, а не заставляетъ учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ уже исправлять; 5) даетъ значительную возможность изучать

правописаніе самодѣятельно, безъ помощи учителя; 6) по этой книгѣ каждый безъ посторонней помощи можетъ провѣрить себя, насколько онъ грамотно или неграмотно пишетъ; 7) имѣя въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, репетиторъ, гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой орѳографіи, такъ и методики ея преподаванія,—съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣтей въ занятіяхъ по орѳографіи; 8) почему-либо отставшіе въ школѣ отъ товарищей и вообще неуспѣвающіе въ орѳографіи ученики, съ помощью этого руководства, посредствомъ самодѣятельности, легко и скоро пріобрѣтаютъ орѳографическія знанія и прочный навыкъ правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно готовящихся къ какимъ-либо экзаменамъ, а еще болѣе—для самоучекъ; 10) въ школахъ, гдѣ учителю приходится заниматься одновременно съ двумя—тремя группами, по этой книгѣ весьма удобно назначать той или другой группѣ самостоятельныя классныя занятія по русскому языку; 11) при веденіи обученія орѳографіи по этому руководству, провѣрка ученическихъ тетрадокъ идетъ во много разъ легче и скорѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ диктовки; 12) эта книга совмѣщаетъ въ себѣ всѣ три способа обученія правописанію, а именно: списываніе съ книги, диктовку и писаніе заученнаго наизусть.

6. Справочный словарь буквы Ѣ. Полный списокъ коренныхъ и производн. словъ, пишущихся черезъ Ѣ. Изд. 3-е. М. 1892 г. Ц. 25 к.

7. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголъ. Цѣна каждой таблицы—2 к.

8. Корнесловъ русскаго языка. Составленъ по изслѣдованіямъ авторитетныхъ филологовъ. М. 1891 г. Ц. 50 к.

9. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію". М. 1892 г. Ц. 25 к.

II. Руководства по преподаванію русскаго языка:

10. Методическія указанія и образцовые уроки по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. М. 1891 г. Ц. 1 р.

11. Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію, разраб. извѣстными русскими педагогами. М. 1891 г. Ц. 1 р.

12. Обученіе грамотѣ по звуковому способу. Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, пріемовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разработанныхъ извѣстными педагогами. М. 1893 г. Ц. 1 р.

III. Пособія по исторіи русской литературы:

13. Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева. Два выпуска. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. по 2 рубля за выпускъ.—Прибавленіе къ „Собранію критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева" печатается.

14. Критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго. Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 2-е. М. 1894 г. Ц. 3 р. 50 к.

15. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части. М. 1886—1887 г. Ц. 3 р. (Кажд. часть продается отдѣльно по 1 р.).

16. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. М. 1887—1888 г. Ц. 3 р. (Каждая часть продается отдѣльно по 1 р.).

17. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. М. 1888 г. Ц. 3 р. (Кажд. часть продается отдѣльно по 1 р.).

18. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Двѣ части. Москва. 1889—1893 г. Ц. 2 р. (Каждая часть по 1 р.).

19. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти". Ц. 35 к.

20. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы". Ц. 50 к.

21. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Двѣ части. Ц. по 1 р. за часть. Третья часть печатается.

22. Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда" и „Наканунѣ" — Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева". М. 1895 г. Ц. 70 к.

IV. Серія разныхъ книжекъ.

23. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

24. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

25. Исторія коронованія россійскихъ царей, императрицъ и императоровъ (Печатается вторымъ изданіемъ).

26. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ съ подстрочнымъ словаремъ, для внѣкласснаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. № 1 (Louis XVII, Prascovie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

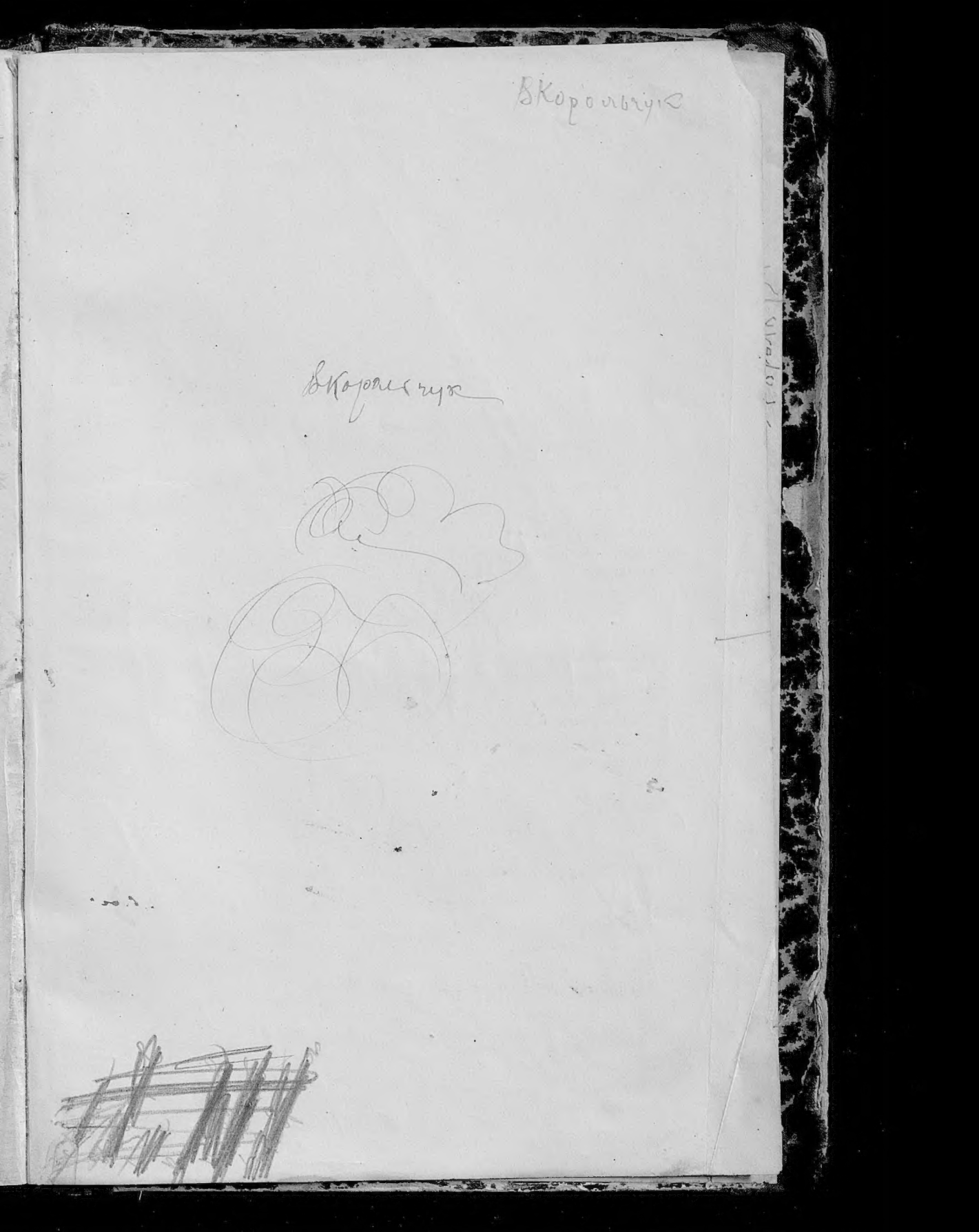
27. Мурадъ неудачникъ. Переводъ съ Англійскаго. (Печатается).

Всѣ перечисленныя книги, за исключеніемъ критическихъ сборниковъ, имѣются въ переплетахъ, по 15 к. за переплетъ.

Складъ изданій В. А. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патріаршіе пруды, домъ Мозжухина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ за пересылку 20 к. на каждый рубль стоимости книгъ. Небольшія суммы можно высылать почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

Изъ склада изданій **В. Зелинскаго** можно выписывать всякія книги.



Тарасова
Клавдия
уч. III класса К. С. с/х у
1923 г. 23 год 22/III

МЧ. ОВ. ХК. МВ. И. Г. И. С. МС. О. Д. Л. О. И. Я. АВ. М. Г.
М. Г. К. О. К. Т. Г. К. Я. С. К. З. И. М. К. Т. А. С. Г. А.

0-80 к.

Гороль Чук